

Марк Алданов ПРЯМОЕ ДЕЙСТВИЕ

# Марк Алданов

ПРЯМОЕ ДЕЙСТВИЕ



ВПЕРВЫЕ ИЗДАЕТСЯ В РОССИИ

НОВОСТИ

НОВОСТИ

## ПРЯМОЕ ДЕЙСТВИЕ

# **Впервые в России МАРК АЛДАНОВ**

**Сочинения в 6 книгах**

## **Книга 1. Портреты**

«Жозефина Богарне и ее гадалка»

«Сталин»

«Пилсудский»

«Уинстон Черчилль» и другие очерки

## **Книга 2. Очерки**

«Ванна Марата»

«Печоринский роман Толстого»

«Французская карьера Дантеса»

«Мата Хари» и другие очерки

## **Книга 3. Прямое действие. Рассказы**

«Фельдмаршал»

«Грета и Танк»

«На «Розе Люксембург»

«Рубин» и другие рассказы

## **Книга 4. Начало конца**

«Начало конца». Роман

«Десятая симфония», «Могила воина»

Исторические повести

## **Книга 5. Живи как хочешь**

«Живи как хочешь». Роман

«Линия Брунгильды». Пьеса

## **Книга 6. Ульмская ночь**

«Ульмская ночь»

Сборник философских диалогов

Статьи о литературе

**Марк  
Алданов**  
**ПРЯМОЕ ДЕЙСТВИЕ**

**Новосги**

Москва, 1994

ББК 84Р  
А49

*Под общей редакцией  
доктора филологических наук, профессора  
Андрея ЧЕРНЫШЕВА*

Орфография, пунктуация, написание географических названий и собственных имен в книге приведены в соответствие с современными нормами русского языка.

*Шеститомное издание произведений Марка Алданова,  
впервые выходящих в России, выпущено при участии фирмы  
„Авеста“.*

По вопросам оптовой закупки книг обращаться по телефонам  
265-50-53 и 265-56-62.

© А. А. Чернышев, составление, подготовка текста, 1994  
©Николас Ли, автор предисловия, 1994  
©Б. Н. Федюшкин, рисунки, 1994  
©В. В. Анохин, оформление, 1994

## РАССКАЗЫ МАРКА АЛДАНОВА

При подготовке полного библиографического указателя произведений Марка Александровича Алданова мне удалось найти пока тринадцать его рассказов, опубликованных в книгах и периодических изданиях. Все они появились в печати в последние два десятилетия его жизни и были изданы в следующем хронологическом порядке: «Бельведерский торс» (1936), «Фельдмаршал», «Грета и Танк», «Микрофон», «Тьма», «На «Розе Люксембург» (все — 1942), «Астролог» (1947), «Номер 14», «Истребитель», «Ночь в терминале», «Прямое действие», «Рубин» (все — 1948), «Павлинье перо» (1957). Все рассказы, кроме первого, написаны уже после начала второй мировой войны и, пожалуй, являются своеобразным водоразделом в литературном творчестве М. Алданова. Со времени своего бегства из Европы в Соединенные Штаты в конце 1940 года и до кончины в 1957 году он, по существу, прекратил публиковать исторические эссе и очерки о современниках, что составляло важную часть его литературной деятельности до вторжения Германии во Францию.

Такой поворот к коротким рассказам, предназначенным для публикации в периодической печати, совпавший по времени с переездом М. Алданова в Америку, вполне мог быть результатом сознательного решения автора избрать новые направления своего литературного творчества в связи с переменой местожительства. Можно предположить, что писать рассказы во время жизни в Соединенных Штатах его вынудили финансовые соображения. Он надеялся, что в пере-

---

\* Помимо рассматриваемых автором предисловия, в данном издании публикуется еще один рассказ, «Каид».

Статья Н. Ли опубликована: *Mnemozina: Studia litteraria russica in honorem Vsevolod Setchkarev*. München: Wilhelm Fink Verlag. 1974. Перевод публикуется с небольшими сокращениями.

© А. В. Карпов, авторизованный перевод на русский язык, 1994

воде они интересуют англоязычных читателей в большей степени, нежели публицистика, в области которой конкуренция со стороны американских журналистов всегда была чрезвычайно сильна. Даже после своего возвращения во Францию в 1947 году Алданов не стал вновь писать статьи и очерки для периодической печати, хотя наверняка знал, что является общепризнанным мастером этого жанра, и многие европейские читатели все еще помнят его как блестящего очеркиста, а не как автора рассказов. Совершенно очевидно, что с возрастом Алданов стал считать себя в первую очередь писателем, автором не публицистических, а художественных произведений.

В этом предисловии я поставил своей основной целью набросать несколько общих замечаний, касающихся характерных признаков рассказов Алданова, чтобы определить их место в более широкой мозаичной картине всего его литературного наследия.

В рассказах Алданова, как и в его романах и повестях, структурная линия повествования зависит от того, происходит ли действие в наши дни или разворачивается на фоне далекого исторического события. Сюжет «Бельведерского торса», например, связан с Италией 60-х годов XVI века, закатом жизни Микеланджело; «Прямое действие» — с убийством австрийской императрицы Елизаветы в 1898 году. Первые рассказы, изданные Алдановым в Америке, — «Фельдмаршал» и «Грета и Танк» — он назвал «политическими рассказами», а в предисловии к ним писал, что «автор не чувствовал себя способным писать теперь на темы, не имеющие отношения к происходящим в мире событиям». Даже после разгрома фашизма в 1945 году он оставался верен этому своему принципу. Все его последующие рассказы, за исключением «Прямого действия», либо непосредственно связаны с актуальными проблемами, либо рассказывают о давно прошедших днях в свете современности. Другой важнейший композиционный фактор его рассказов, впрочем, как и романов, — это присутствие в действии или в рассказе героев — реально существовавших личностей. Они задействованы на переднем плане не только в повествованиях о далеком прошлом, но и, например, в «Микрофоне», где фигурирует Черчилль во время битвы за Англию, или в «Номере 14», где описываются послед-

ние дни жизни Муссолини. В других рассказах знаменитые исторические личности выступают за кулисами основного действия. Так, вымышленные персонажи мельком видят Сталина в «Истребителе» или Гитлера в «Фельдмаршале» и «Астрологе», тогда как Насер дает пространные интервью двум ведущим персонажам рассказа «Павлинье перо».

Под категорию «политических» подпадают также три рассказа, где все действующие лица вымышленные. Это «Тьма», сюжет которого связан с деятельностью французского движения Сопротивления, «Грета и Танк» — в основе его лежит действительный факт, взятый из мемуарной литературы о международном шпионаже, и «На «Розе Люксембург», где рассказывается, как экипаж советского парохода, перевозящего английского и американского пассажиров, перехитрил фанатичного командира немецкой подводной лодки. Два оставшихся рассказа — «Ночь в терминале» и «Рубин» — более всего подходят под классификацию «философские рассказы», хотя они и не имеют композиционной схожести с произведениями, названными Алдановым «философскими повестями», — с «Десятой симфонией», «Пуншевой водкой» и «Могилей воина». На фоне современной действительности каждый «философский рассказ» дает живой пример определенного философского принципа посредством некоего Макса Норфолька, вымышленного персонажа, который играет важную роль и в романе «Живи как хочешь».

В этом предисловии мне хотелось бы бегло просмотреть каждый рассказ Алданова и постараться определить в нем тематические точки соприкосновения с другими произведениями писателя, в которых проступают схожие структурные формы и описываются уже знакомые читателям литературные образы и где намечены новые направления, получающие дальнейшее развитие в его последующих произведениях.

Рассказ «Бельведерский торс» по своей композиции отстоит от других дальше всех и ближе всех приближается к философским повестям. Это дебют Алданова в жанре короткого рассказа, созданный задолго до второй мировой войны; здесь изображен исторический период, дальше всех отстоящий по времени от любого другого события, описываемого в его произведениях. Почти полное отсутствие политических мотивов при-



дает этому рассказу лирический настрой, напоминающий «Десятую симфонию». И повесть и рассказ — миниатюрные сцены, связанные образом наблюдателя, а не разрозненные эпизоды, призванные показать причину и следствие. Ряд на первый взгляд не связанных между собой мотивов преломляется через личные чаяния и тревоги автора. Главным средоточием разных мотивов в «Бельведерском торсе» является Джордж Вазари — не только живописец по призванию, но и биограф многих художников той поры. Он выполняет функции, которые в «Десятой симфонии» автор возложил на двух других исторических персонажей: покровителя Бетховена графа Андрея Кирилловича Разумовского и французского художника-миниатюриста Изабе. Вазари обладает чувствительностью Разумовского к «скрытому в искусстве и тревожному мучительному началу», а фреска Микеланджело «Страшный суд» в Сикстинской капелле рождает у него такие же чувства, какие испытывал Разумовский, слушая Девятую симфонию. Сострадание и ужас вызывают у него фрагменты фрески, напоминающие пассажи Бетховена из Девятой симфонии. Символические сцены рисуют одинаковую реакцию истерического ужаса перед жестокостью человека у Бетховена и у Бенедетто Аккольти, молодого безумца в «Бельведерском торсе», которого внутренний голос заставил задумать покушение на папу Пия IV. Вазари испытывает с Изабе одно и то же чувство, которое он называет «страстной любовью к жизни и желанием взять от нее все, что возможно». Итальянца это жизнелюбие ведет к пагубной связи с девицей легкого поведения, которая называет себя стрегой (колдуньей). После несчастного романа со стрегой Вазари задумается о том, превосходит ли он мудростью его знакомых великих художников, которые способны выразить значимые мысли лишь в своих картинах, а в жизни совершают глупости.

Мудрость — центральный лейтмотив алдановской «сказки о мудрости» «Могила воина»\*. В идиллических сценах, показывающих Леонардо, племянника Микеланджело, мирно наслаждающегося домашним уютом, гостеприимством и семьей, «Бельведерский торс» содержит в себе тем не менее метафору для обозначения

\* Публикуется в четвертой книге настоящего собрания сочинений. — *Прим ред.*

ния мудрости, которая отсутствует в философской сказке. В обоих произведениях некая неуловимая схожесть объединяет персонажей путем введения несхожей на первый взгляд подоплеки: в философской сказке английский поэт Байрон сравнивает себя с русским императором Александром I, а в коротком рассказе Вазари ощущает в себе дьявольское начало в характере, схожее с подобным началом в характерах Микеланджело и Бенедетто Аккольти. Такое совпадение играет роль главного звена в цепи случайностей в «Бельведерском торсе», так же как и в философской сказке «Пуншева водка». В обоих повествованиях акт насилия, продиктованный политическими мотивами, занимает центральное место, хотя он нигде прямо и не описывается.

Вазари видит Аккольти во время своего пребывания в Риме четыре раза и узнает о его попытке убить папу в контексте, который предполагает, что преступники и душевнобольные, выписанные на фреске «Страшный суд», привели в неистовство молодого безумца. В целой цепи совпадений и других случайностей и тот факт, что Аккольти снимает комнату в том же доме, где живет и страга — любовница Вазари, и начинает чувствовать к ней тяготение столь сильное, что временами даже выбрасывает из головы мысль о покушении. Среди других общих черт в философских повестях и «Бельведерском торсе» — всеохватывающая ирония при сопоставлении случайностей и ситуаций в сочетании с избытком символов, которые сплавают в единое целое совершенно различные лейтмотивы произведений. Из многих иронических ситуаций в повествованиях Алданова особенно образно выступают те, которые касаются жизни и творчества Микеланджело. Человек, которого Вазари считает величайшим художником всех времен, является душителем искусства, озлобленным человеконенавистником, который помнит из прожитой жизни больше страдания, чем наслаждения, и восхищается простотой найденного при раскопках Бельведерского торса больше, чем любым созданным им самим произведением. Наряду с фреской «Страшный суд» самым ярким символом в рассказе является сирокко, горячий сухой ветер, который удерживает Аккольти от попытки покушения в одном месте и подталкивает к ней в другом.

Впервые увидев Аккольти, Вазари тихо произнес про себя: «Как они тут в Риме от этого проклятого сирокко не сходят все с ума?» Хозяин гостиницы, который знакомит его со стрегой, замечает, что в Риме летом такого сухого ветра никогда не бывает, «это поздний сирокко, пронсящийся чрезвычайно редко, быть может, раз в человеческую жизнь». Когда Вазари бежит на свидание с колдуньей, «сбоку, со стороны сада, рванул и обжег его сирокко». Философские повести с «Бельведерским торсом» сближает мотив раздвоенности жизни и искусства, которую автор иллюстрирует переплетением мотивов, связанных с мудростью, счастьем, злодейством, безумством, с трансцендентным предназначением любви в человеческой жизни.

«Бельведерский торс» — первое из двух повествований Алданова, действие которых происходит до двадцатого века. Другой рассказ, «Прямое действие», является чем-то вроде драматизированного варианта очерков того же автора об исторических лицах и эпизодах, написанных в годы, предшествующие второй мировой войне. Как и в очерках, в этом рассказе предпринимается попытка разгадать историческую загадку и прояснить ее посредством иронического сопоставления абсурдных предположений с тем, что автор воспринимает как трагическую правду. Перенос действительности в художественный вымысел дает Алданову свободу всеведущего автора для мотивации поведения персонажей его рассказа. Он воспроизводит диалоги между различными реально существовавшими и вымышленными лицами, воссоздает мысли главных участников и свидетелей ужасного происшествия. Он строит свою версию побудительных мотивов убийцы на основе документальных данных, подкрепляющих его умозаключения. Простота построения — характерная особенность как рассказа, так и тех очерков, центральная тема которых — покушение. В повествовании делается намек на таинственную связь между скучающей императрицей\* и анархистом — «по-видимому, ему его жизнь опротивела, как убитой императрице опротивела ее жизнь». Конечный вывод автора: убийца

---

\* Императрица Елизавета, убийству которой посвящен рассказ, была матерью кронпринца Рудольфа — см. о нем очерк М. Алданова во второй книге настоящего собрания сочинений. — *Прим. ред.*

решил произвести «прямое действие» против императрицы потому, что «душу его разрывало дикое, необузданное тщеславие — одна из самых страшных движущих миром сил, в нем развившаяся безмерно за счет других свойственных людям чувств».

Композиционные принципы «Прямого действия» повторяются в двух других рассказах Алданова, герои которых — современные политические фигуры. Внешние детали побега Муссолини из Милана и последующей его казни («Номер 14») увязываются с внутренним психологическим анализом, что усиливает напряженность действия. Как и почти во всех очерках, романах и рассказах Алданова, название этого рассказа несет в себе загадочную символическую связь с фавбулой: Муссолини видит на воротах дома, где его расстреляют, номер 14, а рядом на стене этого дома плохо замаскированную надпись: «Муссолини всегда прав». В образном воссоздании действительных событий повествование и диалоги строятся таким образом, чтобы драматизировать мысли и поступки Клары Петаччи, верной любовницы Муссолини, рыцарственного молодого капитана, проявляющего жалость к беглецам, и беспринципного полковника, совершившего казнь. Наибольший драматический интерес автор проявляет, естественно, к полубезумному диктатору, когда тот в последнюю ночь перед казнью подытоживает свои земные дела и перед ним проходят обрывки воспоминаний, возникают бредовые мысли, снятся жуткие сны. Наконец, Алданов подводит героя к черте, у которой он постиг правду о себе и предвосхитил свою судьбу: «Да, я тоже, как все, был лишен способности оглядываться на себя и вот теперь приобрел эту способность в свою последнюю ночь!..»

Метод творческой реконструкции прошлого определяет также и композицию рассказа «Микрофон», где выведен Уинстон Черчилль в самые мрачные и самые волнующие часы битвы за Англию. В начале повествования внимание автора сосредоточено на вымышленном образе — инженере средних лет, критически воспринимающем политику Черчилля. Он приходит в резиденцию премьер-министра на Даунинг-стрит, 10, чтобы подменить мастера, который ранее всегда устанавливал там микрофон для выступлений премьера по радио. К концу выступления Черчилля иронический

скептицизм инженера уступает место пламенному патриотизму. Всеведущий автор впоследствии обращает внимание на членов кабинета министров, обсуждающих речь Черчилля, и напоследок переносит это внимание на образ самого «большого человека», размышляющего в одиночестве в своем кабинете, а потом вышедшего на улицы Лондона после воздушного налета врага, чтобы поднять моральный дух народа. Автор развивает и некоторые другие свои излюбленные идеи. Инженер работает в свободное время над философским трудом, в котором отрицается понятие случайности, и даже когда лишь чистая случайность задерживает его и он не укрывается в бомбоубежище, куда попадает бомба, он тем не менее не отказывается от своего убеждения. И хотя тема Его Величества Случая проходит красной нитью через все крупные произведения Алданова, в частности, является основной в его небеллетристическом произведении «Ульмская ночь», «Микрофон» — единственный из коротких рассказов, где эта тема разбирается довольно досконально.

К рассказам, где исторические личности выступают во второстепенных или даже третьестепенных ролях, относятся два, связанных с Гитлером. Один из них, «Фельдмаршал», целиком построен на авторском вымысле и тем не менее оказался поистине пророческим. В начале 1942 года Алданов в примечании к рассказу писал, что в нем «сделана попытка угадать настроение отдельных германских офицеров. Только будущее может, конечно, показать, угадано ли это настроение верно». В специальном поезде едет в Берлин старый фельдмаршал в сопровождении подполковника из своей свиты. Как оказывается, он едет, чтобы предпринять тщетную попытку убедить Гитлера и его советников не нападать на Россию. Действие рассказа развертывается почти исключительно вокруг размышлений, подозрений, надежд и опасений фельдмаршала, когда он пытается представить себе, как военные офицеры смогут организовать заговор и свергнуть Гитлера. Его мысли прерывают разговоры с полковником, а затем со знакомым врачом в здании рейхсканцелярии, где он ждет, надеясь на прием Гитлером. Врач упоминает, что фюрер консультировался у астролога, и эта проскользнувшая в беседе деталь устанавливает свободную связь между «Фельдмаршалом» и другим

рассказом, который так и называется — «Астролог». Его действие также разворачивается в Берлине, но уже в самом конце второй мировой войны. В «Астрологе» также несколько раз упоминается уже имевший место в действительности разгромленный заговор германских генералов. Используя собственные знакомства с астрологами в качестве первоисточников, Алданов создает образ трогательно добросовестного и сострадательного шарлатана, старого профессора, который составляет гороскопы, гадает по ладони и предсказывает будущее на картах. 13 апреля 1945 года он принимает утром по отдельности двух посетителей. Первой была молодая обезумевшая женщина, которой он пообещал, что ее любовник женится на ней. Вторым он принял грубого молодого человека, которого уверил, что тот возьмет верх над врагом. Для составления гороскопа дама сообщает астрологу некоторые сведения о любовнике, а молодой человек — о своем враге, и профессор обещает составить каждому гороскоп на следующий день. Сопоставив сведения, он обнаруживает, что любовник и враг это одно и то же лицо — Адольф Гитлер. Поэтому он решает поскорее «унести ноги» и спрятаться в Швейцарии, прежде чем его клиенты придут за гороскопами. Пытаясь отыскать высокопоставленного чиновника, обещавшего достать ему билет на самолет, профессор оказывается в бункере самого фюрера, подземном убежище для высшего руководства нацистов. Там он мельком видит своего молодого клиента, а потом замечает и фюрера, выходящего из уборной. В бункере астролог внезапно заболевает, теряет сознание, а очнувшись через несколько дней, узнает из болтовни секретарш и военных офицеров подробности женитьбы Гитлера на Еве Браун и последующем их самоубийстве.

Этот рассказ, как и многие художественные произведения Алданова, начинается с интригующей завязки, а заканчивается в манере, резко отличающейся от первоначально намеченного замысла. Несмотря на поразительные совпадения в начале действия, драма между Гитлером, Евой Браун и грубым молодым человеком разворачивается за кулисами сцены, в результате чего астролог, который в более традиционном рассказе оказался бы на вторых ролях, выступает на первый план. Его образ — типичный пример жизненной позиции

простых немцев, запуганных Гитлером, но обреченных жить под фашистской пятой.

В рассказе «Истребитель» автор описывает уже не одного, а сразу трех политических лидеров — Черчилля, Рузвельта и Сталина, собравшихся на Ялтинскую конференцию в 1945 году. Однако наиболее интересные события разворачиваются вокруг вымышленных главных героев. Здесь, как и в «Астрологе», меняется традиционная иерархия главных и второстепенных образов. Иван Васильевич, вдовец средних лет, который зарабатывает себе на жизнь истреблением насекомых в домах и крымских садах, воспылал «тургеневской» страстью к Марье Игнатьевне, женщине не первой молодости, декоратору по профессии. Она подыскивает ему работу по дезинфекции комнат во дворце Николая II в Ливадии — резиденции Рузвельта. Сама Марья Игнатьевна включена в комиссию по приведению в порядок Воронцовского дворца в Алушке, где будет проходить Ялтинская конференция. Обнаружив у себя опухоль, Иван Васильевич теряет всякую надежду предложить ей руку и сердце. Узнав впоследствии, что опухоль оказалась доброкачественной, он снова надеется на женитьбу, хотя окончательная развязка преднамеренно оставлена автором не решенной до конца.

Тема исходной ситуации повторяется в двух романах Алданова из современной жизни, в которых герои ищут в женитьбе облегчение от гнета коммунистического режима. Но в этих романах оба героя — шпионы, которые хотят порвать со своей шпионской профессией и перебежать на Запад, в то время как Иван Васильевич — законопослушный гражданин. Самый серьезный акт гражданского неповиновения он совершает, когда, напившись пьяным, кричит, что Сталин тоже истребитель (людей). Иван Васильевич защищает право простого смиренного гражданина на личное достоинство и неприкосновенность. Его счастливое чувство, когда он узнает, что опухоль оказалась доброкачественной, омрачено сознанием того, что, подобно опухоли, распространяется власть политических лидеров над простыми людьми. В символ наслаждений, которых незадачливый истребитель насекомых лишен в личной жизни, Алданов превращает самый дорогой предмет, принадлежащий герою: дореволюционную поваренную книгу и вложенный в нее листок бумаги с золотым

обрезом, на котором выписаны любовные стихи и рецепты блюд с ингредиентами, давно исчезнувшими с полок советских продовольственных магазинов. Иван Васильевич придает символическое значение статуям четырех львов у парадного входа Алупкинського дворца. Один лев спит, другой просыпается, третий рычит, а четвертый готовится к прыжку. Хотя истребитель насекомых уверен, что его поколение никогда не изготовится к прыжку, он надеется, что те, кто придет им на смену, будут более счастливы.

Павлинье перо — метафора, используемая в рассказе под тем же названием, чтобы объяснить напряженность, возникшую в результате Суэцкого кризиса в 1955 году. Когда-то последний туземный властитель Алжира нанес оскорбление французскому консулу, хлестнув его по лицу павлиньим пером, а французы отомстили за поруганную честь консула, направив экспедиционный корпус в эту страну. С этого инцидента началось создание французской колониальной империи в Африке. Позже вспыхнули кровопролитные восстания арабов против французских колонизаторов — и здесь завязка сюжета. Алданов освещает некоторые стороны сложнейшей проблемы путем сведения вместе спорящих пассажиров, летящих из Европы в Каир. Среди них — раздраженный английский дипломат, французский миллионер по имени Дарси, советский агент КГБ Гранитов, направляющийся в Египет под видом военного инструктора, американская журналистка Мэрилин Брюс, тщеславный молодой радикальный политик из Марокко и высокопоставленный чиновник из Лиги арабских государств вместе со своим омерзительным телохранителем по имени Якуб. Дарси узнает в Якубе своего бывшего конюха, которого уволил за безобразное поведение; потом Якуб возглавит банду грабителей-арабов и убьет Дарси вместе с его любовницей еврейкой Суламифью.

В конце рассказа появляется Насер, который сначала предстает перед читателем в авторском описании, затем во время аудиенции Гранитову, который только что прочел в газете репортаж об убийстве Дарси; и, наконец, в сцене интервью журналистке Мэрилин, которая в блаженном неведении никак не возьмет в толк, каким образом арабская революция повлияла на трагическую судьбу ее французского друга Дарси.



«Павлинье перо» — самый длинный из рассказов Алданова, который он несколько раз называет повестью. Своей структурой он напоминает романы автора о современности. Француз, русский, марокканец, американка, араб Якуб, еврейка — любовница француза, наконец, Насер — все они изображены довольно подробно, но взаимодействуют друг с другом весьма мало. Зато личные судьбы героев переплелись довольно тесно, а сумма всех индивидуальных слагаемых судеб составляет единую композиционную картину, иллюстрирующую всю сложность натянутых отношений между арабскими странами, с одной стороны, и западными государствами — с другой. Подобно другим произведениям, действие которых происходит после 1930 года, «Павлинье перо» задумано, чтобы показать, как политические коллизии затрагивают судьбы простых людей, не проявляющих поначалу интереса к политике. Достоинно внимания то, что переживаемое ими в первую очередь углубляет понимание окружающего мира; лучшее познание самих себя играет лишь второстепенную роль.

Персонажи Алданова из произведений, действие которых разворачивается в XX веке, обычно в большей или меньшей мере выступают как жертвы слепых сил, не поддающихся их контролю. Это — метафизические силы, но не в обычном понимании какой-то смутной, хотя и реально существующей угрозы, а как конкретное проявление дьявольских черт характера человека в сфере общественных отношений. Рядовые персонажи живут в мире такой ужасающей сложности, что в целях поддержания своей психической уравновешенности они вынуждены развивать в себе неосознанное безразличие к сложным глобальным проблемам, на которые не в силах не только повлиять, но даже охватить их умом. И все же политическая обстановка оказывает свое воздействие на их личную жизнь, хотя бы через газеты, читая которые они пытаются осознать и оценить текущие события. Более глубокое познание жизненных реальностей иногда приходит путем сильнейшего потрясения: к примеру, Дарси и Суламифь заплатили своими жизнями за более полное понимание глубинных причин восстания арабов. Некоторые литературные герои достигают глубокой внутренней проницательности лишь по чистой случайности:

так газетный репортаж об убийстве Дарси обостряет скептический настрой Гранитова во время его аудиенции у Насера. Мэрилин заканчивает интервью с Насером в полной уверенности, что ей удалось раскрыть суть арабо-израильского конфликта с помощью его символического переноса на суть конфликта героев романа Эмили Бронте «Грозовой перевал».

Жанр короткого рассказа «все еще находится в процессе становления и, по всей видимости, ждет своего окончательного определения»\*. Алданов очень хорошо владел этим жанром прежде всего потому, что не связывал его жесткими рамками привычных условностей, что давало ему возможность глубоко проникнуть в жизнь людей, действительно существовавших или созданных авторским воображением.

Сжатость и экспрессия, обычно присущие жанру рассказа, характерны и для тех произведений Алданова, где участвуют одни лишь вымышленные персонажи. Художественное единство рассказа «Тьма» создается гнетущей атмосферой холодного сырого осеннего вечера в оккупированном немцами Париже, приобретающей символическое значение. Местом действия Алданов выбирает известный старый ресторан, который подобен призрачной твердыне света и тепла среди окружающей тьмы, рассказывает его историю и заглядывает внутрь, в зал, описывая посетителей. Среди них — богатые французские спекулянты-коллорационисты, офицеры германской армии и одинокий, не принадлежащий ни к какой группе человек с траурной повязкой на рукаве пиджака и с выражением печали и страдания на лице. Проницательный автор записывает слова и мысли метрдотеля и двух немцев-военных — надменного штабного офицера и его чуть более приятного спутника, приехавшего в отпуск в Париж с фронта. Человек с траурной повязкой на рукаве выходит из ресторана и уезжает на велосипеде, а затем ресторан покидают и оба офицера. Штабной офицер подвозит своего компаньона в служебной автомашине до станции метро. Тот, перед тем как спуститься на перрон, закуривает сигарету, а в этот момент человек, уехавший на велосипеде, внезапно возникает из тьмы, зву-

---

\* William L Phillips «Short Story» Encyclopedia Britannica, Chicago, Berton, 1967. V. XXIV, p. 448.

чат выстрелы, и офицер сползает на землю. Этот рассказ соединяет в себе простоту замысла и богатство деталей, увиденных глазами самых разных людей. Сюжетная неожиданность рассказа лишает читателя удовольствия от чувства моральной оправданности действия, так как велосипедист убивает более симпатичного из двух офицеров вместо того, кто поистине заслуживает возмездия.

«Грета и Танк» — другой рассказ Алданова, в котором применен прием внезапного шока, помогающего герою пересмотреть свои дилетантские представления о взаимосвязи между теорией и практикой в политике. Фабула рассказа такова: в столице одного небольшого европейского государства радикально настроенный западный эссеист, коллекционирующий «человеческие документы» для своей большой книги, уславливается о встрече с агентом ГПУ, носящим псевдоним Грета. Он хочет узнать некоторые детали ее связей с гестаповским шпионом по кличке Танк, которого она отравила еще в 1936 году, когда ни немецкие, ни советские власти не сочли нужным завести на нее уголовное дело. Грета встречается с эссеистом в отдельном кабинете местного ресторана, и тот приходит в большое смятение, когда в беседе выясняется, что они сидят в том же кабинете, где она отравила Танка, и пьют то же вино, которое они пили в тот роковой для Танка вечер. Из всех рассказов Алданова этот является, пожалуй, самым поразительным по ситуационной оправданности и по глубине сочувственного понимания человеческих побуждений. Грета моментально распознает своекорыстие эссеиста, который торгует страданиями человека ради собственной выгоды, и насмехается над ним за его пристрастие к «человеческим документам», которые он пытается обратить себе на пользу. В то же время образ Греты, хотя она и выставляет себя в карикатурном, привычно стереотипном виде, приобретает трагический оттенок.

В рассказе «На «Розе Люксембург» выведены действующие лица разных национальностей, что напоминает повесть «Павлинье перо». «Роза Люксембург» — старый советский пароход, переоборудованный под судно-ловушку с замаскированными артиллерийскими орудиями. На нем переправляются из Мурманска к поджидающей в Баренцевом море эскадре британских

военных кораблей два пассажира — английский командэр Деффилд и молодой американский младший лейтенант Гамильтон. Капитан парохода Прокофьев очень волнуется, так как предстоит переход через воды, где патрулирует немецкая подводная лодка пресловутого капитана Лоренца. В то же время его отношения с иностранными гостями, находящимися на борту судна, несколько натянуты из-за флирта между Гамильтоном и судовым врачом Марьей Ильинишной Ляшенко, к которой он сам питает чувство влюбленности, сходное с привязанностью Ивана Васильевича к Марье Игнатьевне в рассказе «Истребитель». Любовная интрига еще более драматизирует и без того напряженное действие. Немецкая подводная лодка капитана Лоренца, едва ускользнув от торпедной атаки английского эсминца, нападает на «Розу Люксембург», и только мастерство Прокофьева помогает спасти пароход и потопить подводную лодку. Таким образом, оба иностранных пассажира благополучно прибывают к месту назначения. Этот рассказ, несмотря на большое количество персонажей, обладает необходимыми для короткого произведения четкой композицией и сжатостью, сочетая в себе разворачивание одновременно двух конфликтов: между Прокофьевым и Лоренцем, где ставка — «Роза Люксембург», и между Прокофьевым и Гамильтоном, где награда — Марья Ильинишна. В самом начале пространного изложения вездесущий автор индивидуализирует психологические портреты нескольких русских людей чрезвычайно различных биографий, фашистского фанатика, английского аристократа старой школы и нерешительного молодого американского либерала. Различные романтические и приключенческие эпизоды необычно ловко вписываются Алдановым в рассказ и вливаются один в другой с почти кинематографической точностью.

«Ночь в терминале» принадлежит к философским повествованиям. В нем тоже объединена путешествующая группа самых разных пассажиров. Этот «фантастический рассказ», как назвал его сам автор в газете «Новое русское слово», где он печатался с продолжением, начинается на борту роскошного авиалайнера «Синяя Звезда». Он перевозит пассажиров из одной страны в другую во время серьезного международного кризиса, когда вот-вот должна начаться новая мировая

война. Самолет делает промежуточную посадку на островке, который будет неминуемо уничтожен в ту же минуту, как только разразится война; на пассажиров одна за другой начинают сыпаться беды. Самолет вынужден совершить посадку из-за неисправности двигателя, свирепый шторм не дает возможности приземлиться другому самолету и увести застрявших пассажиров, подложенная анархистом бомба взрывает контрольную башню, прервав всякую радиосвязь с внешним миром. Поместив всех пассажиров на отдельном острове в ситуацию, когда они знают, что наверняка погибнут завтра, Алданов наблюдает за поведением каждого персонажа: директора терминала, кассирши из магазинчика при терминале, стюардессы с «Синей Звезды», анархиста и Макса Норфолька, приплывших к острову на грузовом суденышке для заправки топливом. Среди застрявших на острове пассажиры оказываются также пожилой дипломат и его взрослая дочь, профессор социологии — догматик и ипохондрик, застенчивый шахматный мастер, спешащий на матч, приветливая пожилая чета голландцев и до неприятности амбициозный эссеист, летящий читать лекции по приглашению. Каждый из них думает, что это его последний день на этом свете, и стремится осуществить свои сокровенные желания, что нередко идет вразрез с принятыми правилами сексуального поведения. Утром же шторм утих, прилетел другой роскошный авиалайнер «Белая Звезда», чтобы увести пассажиров с острова, и они узнают, что угроза войны миновала и жизнь продолжается, а стюардесса с «Белой Звезды», точная копия стюардессы с «Синей Звезды», механически повторяет ее же слова и ее же жесты, приглашая пассажиров занять свои места в салоне авиалайнера. Эти самолеты символизируют ложную безопасность цивилизации среди хаоса космоса, чем-то напоминая ресторан из «Тьмы». Но рассказ «Ночь в терминале» несет в себе более точно определенную и совсем другую мораль, выраженную следующими словами Макса Норфолька: «Человек лучше, гораздо лучше своей подмоченной репутации. Он только очень слаб и очень несчастен. Ну что «очищение страданием», зачем «очищение страданием»? Дайте бедным людям возможность немного очиститься счастьем, и вы увидите, как они будут хороши. Нет, философия

Достоевского, при всей ее беспредельной глубине, поκειται на серьезной психологической ошибке. Вдобавок его мысль была довольно безнравственна: если страдание очищает людей, то какой-нибудь Гитлер был благодетелем человечества».

В рассказе «Рубин» тот же Макс служит привратником в захудалой лондонской гостинице. У него есть небольшой побочный заработок в виде комиссионных от сделок, в том числе от перепродажи драгоценностей и сводничества с проститутками клиентов, добивающихся для себя обвинений в прелюбодеянии, чтобы получить развод. Один из таких клиентов — честолюбивый социалист, добивающийся развода, чтобы жениться на дочери богатого фабриканта. Макс с первого же взгляда невзлюбил Чарльза Джонсона, но все же знакомит его с одной из своих фавориток — молодой эмигранткой Мэри. Сначала молодого человека приводит в ужас одна лишь мысль о том, что он будет иметь что-то общее с этой женщиной. Но общение с Мэри разрушает его устоявшиеся стереотипы мысли и поведения. Эта встреча оказывается для него большим, нежели просто еще один жизненный урок. Он увлекается Мэри и заканчивает проведенную с нею ночь в ситуации, неприятно напомнившей ему аналогичный эпизод из романа Толстого «Воскресение». Макс рассержен, он даже отказывается продать Джонсону большой рубин, который передал ему накануне для оценки. Макс верит в магическую силу драгоценных камней. Он говорит Джонсону: «Рубин — камень правды. Есть что-то вызывающее в его яркой беззастенчивой циничной красоте. Человек, носящий на себе рубин, правдив целиком, то есть не лжет ни себе, ни другим». Вспоминая эти слова, Джонсон безропотно воспринимает отказ старика.

В этих двух философских рассказах Макс выступает поборником морали снисхождения, которая позволяет относиться терпимо к фальши, но только во имя сострадания и любви. Он будет говорить неправду, чтобы спасти несчастного преступника в рассказе «Ночь в терминале», но не окажет помощи своекорыстному буржуазному лицемеру Джонсону, для которого амбиции выше естественных устремлений.

В своих рассказах Алданов выводит характеры чрезвычайно разнообразного психологического склада.

Как и Алехин в рассказе Чехова «О любви», он считает, что нужно «индивидуализировать каждый отдельный случай». В «Ночи в терминале» устами Макса автор высказывает характерную, вероятно, и для самого автора мысль: «Что делать, я и в 67 лет сохранил большое любопытство к людям. Они меня интересуют даже тогда, когда они стандартны, как автомобили Форда. Мистер Бэббит не менее интересен, чем Гамлет». Индивидуальный подход Алданова к каждому характеру состоит в том, что он применяет единый метод анализа для создания разных художественных образов и самых разных характеров. Абстрагируясь от специфических черт конкретного персонажа, Алданов интересуется в первую очередь тем, согласуется ли придуманное им явление с действительностью. Меньше всего он озабочен тем, чтобы сорвать «официальную» маску с личности и выставить ее в истинном свете, как это делал Толстой. Его цель определить слагаемые, из которых составляется образ персонажа. В этом смысле он разделяет понимание Чеховым свойства характера, которое известный литературовед-эмигрант Д. Мирский назвал «демократическим» и которое подразумевает поиски однородных компонентов «человека в целом» и одновременно индивидуальных штрихов в каждой человеческой личности. Критерии, на основании которых он судит своих литературных героев, реальных или вымышленных, — это рационализм и нравственность. Алданов делает вид, будто воспринимает своих героев без чеховского сочувствия, но и без толстовского осуждения. Для него характерна поза Гранитова, о котором он сам говорит, что тот «отроду ничем не возмущался, действия и своего правительства, и иностранцев, и свои собственные обсуждал и расценивал только практически: умно ли? полезно ли? целесообразно ли?». Эта маска кажущейся беспристрастности идеально подходит, когда нужно представить в смешном виде тупость зла, что характерно для всех произведений Алданова. Его метод изображения характера, возможно, и контрастирует с тем, который применяла американская журналистка в «Павлиньем пере»: «Как Толстой, которого она читала всегда с восхищением, Мэрилин при описании людей, дававших ей интервью, строила все в их наружности на одной черте». При характеристике героев Алданов

меньше полагается на описание внешности, и в его рассказах прослеживается тенденция дать краткую жизненную биографию героев на манер толстовских героев в «Воскресении», но без элементов неприкрытого морального осуждения. Подобно полицейскому чиновнику, педантично собирающему факты в досье, Алданов при описании большинства своих литературных героев подробно рассказывает об их пристрастиях в одежде, пище, напитках, искусстве, литературе, философии, политике; не забывает сообщить и о состоянии их здоровья. Большинство персонажей оказываются добродушными материалистами со здоровой страстью к жизни. Алданов быстро срывает маску с тех героев, которые придерживаются мировоззрения, оправдывающего преступное поведение во имя идеалов, не считающихся с приоритетом свободы личности и человеческого достоинства. О духовных ценностях речь идет редко и бегло. Они занимают слишком малое место в мыслях персонажей, чтобы оказать серьезное влияние на их поведение. Похоже на то, что злые начала в человеческой душе привлекают наибольшее внимание Алданова. Неуклонно разоблачая псевдофанатичные и фальшивые демонические черты характера, он отмечает истинно дьявольскую природу в человеческих поступках, хотя сам всегда стоит на стороне борющихся за добро. Его настойчивое стремление объяснить поведение человека сугубо житейскими причинами ведет к беспристрастности при описании действительно существовавших людей, но в то же время несколько снижает драматическую напряженность характеров вымышленных персонажей.

Алданов особенно тяготел к людям с большим жизненным опытом и без особых комплексов. Характерные образы, выведенные в романах, могут появляться и в коротких рассказах. К примеру, Макс Норфольк, живое воплощение философского подхода, столь явного для ранних произведений Алданова. Словоохотливость, цинизм, таинственное происхождение и левантийские черты лица Макса роднят его с Пьером Ламором, сердитым и язвительным резонером из первого цикла исторических романов Алданова. Нигилистическая мизантропия Ламора преобразуется в Максе в добродушную снисходительность, но он вовсе не теряет при этом иронического подхода к оценке явле-



ний, что присуще всем алдановским героям в зрелом возрасте. В коротких повествованиях чаще, чем в романах, Алданов позволяет себе давать свободу любопытству и склонности к гипотетическим предположениям. В небольших произведениях он может расследовать индивидуальные психологии, как таковые, не заботясь о том, чтобы подгонять их к более крупной повествовательной структуре или подчинять какой-то общей идее, как в романах.

У Алданова, постоянно широко использовавшего в своем творчестве психологический, исторический и философский материал, существует тесная связь между темой и характерными персонажами как в рассказах, так и в очерках и романах. Тем не менее короткое художественное произведение несет в себе определенные характерные признаки, отличающие его от других жанров, в которых писал Алданов. Хотя «Бельведерский торс» и напоминает философские сказки, в нем присутствует своеобразная свободная гибкость при описании эпизодов и взаимоотношений героев. «Прямое действие», «Номер 14» и «Микрофон», несмотря на всю их схожесть с алдановскими очерками, почти полностью освобождены от авторских комментариев в пользу насыщенного действия. Рассказы, в которых политические фигуры выведены на обочине основного действия, напоминают те главы из романов Алданова, где придуманное автором действие прерывается документальным пояснительным этюдом. Присутствие на страницах рассказов реальных исторических личностей органически совместимо с конкретной ситуацией: в фабуле «Фельдмаршала», «Астролога», «Истребителя» четко прослеживается завязка, развитие действия и развязка. Даже, казалось бы, размытый финал «Павлиньего пера» можно считать своеобразным эпилогом эпизода убийства Дарси, который создает драматически напряженную кульминацию. Рассказы с вымышленными персонажами — «Тьма» и «Грета и Танк» являются замкнутыми миниатюрными этюдами на тему о том, как люди стараются справиться с необычным психологическим давлением.

Подводя итог сказанному, можно констатировать, что форма короткого рассказа аккумулировала многие характерные особенности других литературных жанров, используемых Алдановым. Она предоставляет

свободу воображению, присущую роману, без необходимости придерживать­ся ста­бильной и сложной композиции в рамках единой фабулы. Она обладает краткостью очерка, но не заставляет автора ограничиваться лишь размышлениями о внутренних побуждениях его литературных героев. Она дает автору возможность использовать композиционную гибкость философской повести и вместе с тем не требует от него абстрактного замысла ради единства действия.

*С. Николас Ли,  
Боулдер, Университет штата Колорадо, США*

# БЕЛЬВЕДЕРСКИЙ ТОРС

*Руки Микеланджело не всегда могли выразить его великие и страшные мысли.*

*Вазари*

*В обстоятельных трудах по истории папского Рима обычно уделяется несколько страниц (а чаще строк) покушению Бенедетто Аккольти. Много лет тому назад Леопольд фон Ранке, имевший доступ ко всем книгохранилищам Рима, нашел рукопись под названием «Questo è il sommario della mia depositione par la qual cause io toro» («Сущность моего показания о том, из-за чего я умираю»). Знаменитый историк очень кратко изложил содержание дела, упомянув (не совсем точно), что никаких других сведений о нем нет. Новейшие исследователи почти ничего не прибавили к рассказу Ранке, да и вряд ли видели рукопись № 674 (некоторые из них называют главное действующее лицо Аккольти); и лишь совсем недавно рукопись была опубликована бароном Пастором. Это главный источник по темному и странному делу, которое лежит в основе рассказа.*

## I

### ПОЗДНИЙ СИРОККО

#### 1

**Н**а этого человека, который впоследствии погиб страшной смертью, тогда еще обратил внимание один из сторожей капеллы. День был праздничный, богослужение кончилось, посторонних пускали свободно. Обмениваясь шепотом восторженными замечаниями, они осматривали — кто фрески Перуджино, кто Филиппи, а большинство зрителей стену со «Страшным судом». Потолком любовались бегло, ибо держать долго запрокинутой голову было неприятно, особенно в такой

знойный день. Прислушиваясь со снисходительной улыбкой к замечаниям соседей, молодой художник копировал ту часть фрески, где Боттичелли изобразил себя с Моисеем. Невысокий, некрасивый человек в потертой темно-синей куртке, не взглянув ни на что другое, долго стоял перед стеной «Страшного суда», отошел, снова вернулся и уставился неподвижным взглядом на произведение Микеланджело Буонарроти. Люди стали расходиться, утомленные жарой и обилием фресок, — всего не рассмотришь. Молодой художник, собрав свои вещи, ушел. Сторож, торопившийся, как все, на игры Тестацчо, проходя мимо человека в темно-синей куртке, сказал, что капелла сейчас закроется. Оттого ли, что сторож сказал это громко (тогда как в капелле все говорили вполголоса, почти шепотом), или потому, что он не заметил приближения сторожа, человек в темно-синей куртке вздрогнул и изменился в лице. Сторожу тогда показалось, что он уже несколько раз на своих дежурствах видел в капелле этого человека. «Десятый час, капелла закрывается», — повторил сторож. Человек в темно-синей куртке что-то пробормотал и вышел.

Покинув Ватикан, он рассеянно пошел туда, куда шли другие, по правому берегу Тибра, в направлении к Авентину. Уже вторую неделю в Риме стояла нестерпимая жара — такая, что непривычные люди, случалось, падали замертво, а привычные — с полудня до вечера сидели полуголые дома, часто обливаясь тепловатой, почти не освежавшей водой. В этот день подул, поднимая столбы пыли, сухой, горячий ветер, редкий в Риме поздний сирокко. Странный человек перешел через реку у острова. На Козьей Горе<sup>1</sup>, изнемогая, он присел на огромный, пролежавший века без движения камень и уставился на средину площади. Не так давно по совету Микеланджело на эту площадь перенесли древнюю конную статую, которая изображала не то Константина Великого, не то Марка Аврелия. Человек в темно-синей куртке подумал, что, быть может, где-нибудь тут же будет стоять и его памятник. Он взглянул на свои худые, слабые руки, сравнил себя мысленно с бронзовым атлетом на лошади и горько усмех-

---

<sup>1</sup> Так тогда именовался превращенный в пастбище Капитолий — *Здесь и далее прим. авт., если это не оговорено особо*

нулся. А впрочем, верно, и Марк Аврелий не был похож на свой памятник. Так он просидел минут пять, глядя на корову, пасшуюся посредине площади. И вдруг он снова услышал голос. Бледное измученное лицо его стало еще бледнее.

Свиньи хрюкали на форуме. Проходили люди, спешившие на игры. Человек в темно-синей куртке пошел за ними. По дороге он вспомнил, что ничего не ел с утра. Есть ему не хотелось, но силы были нужны. Он вошел в трактир. Там было жарко, душно, пахло дымом и дешевой плохой едой: хозяйка приготовила к обеду бараний суп, с чесноком и капустой. Запах этот был ему противен. Он присел к краю стола и спросил молока и хлеба. Хозяйка посмотрела на него неласково, как и соседи по столу. Обед кончался, вина было выпито немало, разговор был общий и веселый; в этом бедном маленьком трактире все друг друга знали. Говорили об играх; мельник сказал, что их цех пожертвовал таких быков, каких никто не видел с сотворения Рима; за пустое хвастовство женщина плеснула в мельника остатками супа, он швырнул в нее коркой, все захохотали. В комнату неторопливо зашел мул, — опять раздался хохот. Человек в темно-синей куртке ел хлеб, ни с кем не разговаривая, глядя все в одну точку: туда, где упиралось в стену второе из закопченных крашеных бревен потолка с повисшей на нем паутиной. Допив молоко, он расплатился и направился к выходу, но, увидев полку с разноцветными бутылками, точно только теперь догадавшись, что в трактире могут быть спиртные напитки, спросил рюмку водки и проглотил ее залпом.

С непривычки быстро захмелев, он пошел за толпою. Так же рассеянно, без всякого интереса, смотрел, как на вершине Тестацчо выстраивались обитые красным сукном телеги, как, при общем радостном хохоте, погонщики привязывали визжащих поросят и впрягали озирающихся быков, как занимали назначенные им места игроки, — некоторые из них бледнели, обнажая мечи. Раздался сигнал. Ошалевшие от жары, от ветра, от шума, от ударов, от укулов быки понеслись с горы, побежали и столь же ошалевшие участники игры. Когда один из них, задыхаясь, проскользнул перед самой мордой разъяренного быка, взмахнул мечом и страш-

ным ударом отрубил поросенку голову, в общем реве, гоготе, визге потонул и отчаянный крик человека в темно-синей куртке. Пошатываясь, дрожа мелкой дрожью, он пошел прочь. Он и не видел, что внизу один из игроков, столкнувшись с другим, упал под ноги быка и что к месту, по которому пронеслись телеги, бросились люди с носилками. С искаженным лицом он шел по направлению к термам Каракаллы. Ему хотелось выпить еще водки, но трактира по дороге не было.

Голос, мучивший его по ночам, теперь преследовал его и днем. В этот день голос с самой минуты его пробуждения, изредка лишь замолкая, твердил ему все одно и то же, твердил, что он избранный человек, что он должен совершить убийство, что он должен заколоть отравленным кинжалом папу Пия IV.

Впоследствии стало известно, что его зовут Бенедетто Аккольти и что он сын давно сосланного, преступного кардинала. Знавшие его люди, как водится в таких случаях, рассказывали, что всегда считали его человеком, способным на самые ужасные дела. Но другие знавшие его люди, тоже как водится (только шепотом), утверждали, что Бенедетто Аккольти не способен был бы обидеть муху. Некоторые вспоминали, что в глазах у него часто зажигались безумные огоньки; прежде, однако, они об этих безумных огоньках не говорили. Что он был за человек, так и осталось тайной.

## 2

Известный художник и писатель Джорджо Вазари, побывав в Ассизи для изучения фресок Сан-Франческо, решил перед возвращением во Флоренцию заехать в Рим, хоть было это никак не по дороге. Вазари придумал для себя дела, но главная цель его поездки заключалась, собственно, в том, чтобы еще раз побывать в Риме, подышать римским воздухом, полюбоваться римскими сокровищами и повидать разных художников, ваятелей, архитекторов: он готовил второе, переработанное издание своей книги о людях искусства, которая принесла ему, пожалуй, больше славы, чем его

картины. Образованные итальянцы читали его книгу с интересом и с гордостью: почти никто из них и не знал, что в Италии есть столь великие и изумительные люди. Остались, в общем, довольны книгой и художники, но каждый из них находил, что Вазари перехвалил других.

В этом была единственная неприятная сторона его поездки: он знал, что в Риме ему опять придется выслушать немало упреков, жалоб и даже брани. Думал он об этом с покорной скукой: иначе и быть не может. По долгому опыту ему было известно, что бесполезно говорить с художниками о других художниках, — а уж если говорить, то надо это делать умеючи. Вазари не очень любил людей, хотя прекрасно с ними уживался. Художников он предпочитал другим людям — тем, у которых никогда не будет биографов и которые никак не могли бы отличить Рафаэля от Джорджоне. Однако всех художников, за редкими исключениями, он считал людьми ненормальными, а многих и буйно-помешанными. Так как никакой власти они друг над другом не имели и даже встречались редко, давно между собой рассорившись или просто будучи очень противны один другому, то особой опасности собой не представляли, в отличие от многих других сумасшедших. Тициан с яростью говорил Вазари, что Веронезе и Тинторетто не имеют представления о красках; Микеланджело, в одну из своих редких кротких минут, объяснял ему, что из Тициана мог бы выйти превосходный живописец, если бы только он умел рисовать. Вазари вежливо слушал, мягко соглашался или чуть спорил для приличия и с Тицианом, и с Микеланджело.

Когда художники очень ему надоедали, Вазари порою хотелось сообщить всю правду о том, что они говорили ему друг о друге. Это способствовало бы продаже его книги, но ему совестно было печатать такой вздор; скандалов он не любил и суждения художников передавал в очень смягченном и даже приукрашенном виде. Приукрашивал он и те общие мысли, которые слышал от великих мастеров. Иногда Вазари с огорчением, но и с усмешкой думал, что от громадного большинства людей искусства вообще за всю свою жизнь ни одного умного слова не слышал; как он ни украшал их суждения, выходило все-таки неинтерес-

но. Он, впрочем, говорил себе, что настоящее они берегут для себя и выражают — и то лишь неполно — в своих произведениях. Вдобавок знал он не всех и думал, что, верно, Леонардо да Винчи был другой.

Те же люди искусства, которых он знал, говорили с ним больше о делах житейских. Одни горько жаловались, что их все обижают и что живут они в совершенной нищете; другие постоянно рассказывали, как они знамениты и как их боготворят бесчисленные поклонники. Вазари все выслушивал и многое записывал, хоть отлично знал, что его собеседники все врут или, по крайней мере, привирают: одни не умирают от голода, другие не получают по пяти тысячи дукатов за картину. Слушал он и жен художников, которые были еще ревнивей к славе мужей, чем сами мужья, — с женатыми художниками было совсем трудно. Но к трудностям своего ремесла он давно привык; отвлекая необходимое время вздору, жалобам, упрекам, брани, похвальбе, переходил к делу и небрежно спрашивал, нет ли чего интересного в мастерской. Обычно оказывалось, что настоящего, собственно, ничего сейчас нет, но есть так, пустячки. Показывая эти пустячки, снимая покрывало с картины, мастер часто менялся в лице и с беспокойством на него глядел: всем было известно, какой он знаток. Это льстило Вазари: он знал, что суждению тонких ценителей из общества художники никакого значения не придают, и если, слушая, не хохочут, то лишь из вежливости или из боязни. Благодаря своему опыту, терпению и порядочности Вазари поддерживал очень добрые отношения с громадным большинством знаменитых мастеров и только с одним из них навсегда рассорился: этот дурак нагло ему сказал, что он, Вазари, пишет под влиянием Андреа дель Сарто и что его «Тайная вечеря» в монастыре Мурате много хуже той, которую покойный Леонардо написал в трапезной Санта Мария делле Грацие.

### 3

Дорога утомила Вазари, хоть путешествовал он не торопясь: дела были не спешные. Он с грустью думал, что прежде, в молодости, совершал гораздо более дальние поездки, притом не на муле, а на горячем



жеребце, и усталости не чувствовал, или усталость тогда бывала другая. В ту пору путешествия, пожалуй, были главной радостью жизни: так любил он все новое, новые города, новые сельские виды, новые сокровища искусства, которые были лучше всяких картин природы. Он постоянно переезжал из города в город, нигде не засиживаясь, не привязываясь к отдельным местам, не требуя никаких удобств. Путешествия были, пожалуй, радостью еще и теперь, но со второго, с третьего дня приходили мысли о мягкой постели, о радостях оседлой жизни. Эти мысли его пугали, хоть было в них и чувство спокойной безнадежности, порою почти приятное.

К некоторому своему удивлению, он о женщинах теперь думал много больше, чем в юности. Тогда все было просто, мимолетно, как будто весело, — так, по крайней мере, ему казалось. А может быть, он тогда совершенно ошибался: это весело не было. Иногда всю ночь напролет он думал об этом, — о том, как нелепо и страшно устроен человек. Когда ему встречалась влюбленная пара, он смотрел на нее не с веселым сочувствием, как в молодости, а с чувствами мрачными — и чуть не с облегчением думал, что и для них придет — очень скоро — время увядания, старости и смерти. В чувствах и мыслях этих ничего не было, он знал, ни умного, ни нового, ни хорошего. Но отделаться от них Вазари не мог. С приятелями и сверстниками он беседовал о любви неохотно, так как они говорили о ней неискренно: одни прикидывались жизнерадостными победителями и развратниками; другие — давно остепенившимися людьми, и все говорили весело о том, о чем ему думать было тоскливо и страшно. Вазари думал, что в его жизни снова должна быть и будет большая, настоящая любовь — последняя, а то, может быть, и предпоследняя. Он думал также, с усмешкой, что Тициан, которому исполнилось 86 лет и который всех уверял, что ему скоро 80, еще бегаёт за дамами, — правда, дамы и гонят его, со всей его гениальностью и славой. Однако 52 года совсем не то, что 86.

В Ассизи Вазари был слишком занят фресками. Но в дороге мысли эти им овладевали при виде любой молодой женщины — ни с одной ведь больше никогда встретиться не придется, и так она и не узнает ни о нем, ни о его мыслях.

Когда он находился в нескольких переходах от Рима, вдруг началась нестерпимая жара. Он останавливался у каждой избы и жадно пил что давали: молоко было теплое, желтовато-розовое дженцано невкусно, — во Флоренции у него был запас превосходного французского вина из Арбуа. На переходах от колодца к колодцу Вазари очень страдал от палящего зноя: если бы знал, что будет так жарко, то отказался бы от поездки в Рим.

У одного из последних колодцев перед Римом он неожиданно встретил флорентийского знакомого, Леонардо Буонарроти, племянника Микеланджело. Это был приятный, но простой, малообразованный человек, интересовавшийся искусством только по семейной необходимости — из-за дяди. Вазари был рад встрече, он соскучился по человеческому разговору: в последние дни говорил только о питье, о ночлеге, о том, шалят ли поблизости разбойники. Ему, однако, показалось, что Буонарроти не очень обрадовался. На вопрос о здоровье Микеланджело уклончиво ответил, что дядя, кажется, здоров, но писем от него давно не было: уже ничего не видит, и писать ему трудно. Тут же, немного поколебавшись, он сконфуженно попросил Вазари ничего не рассказывать об их встрече: «Дядя не должен знать, что я в Риме». Вазари понял, что Буонарроти приехал на разведку: он был наследником Микеланджело. С улыбкой, сделав вид, что считает просьбу вполне естественной, Вазари перевел разговор на другой предмет. Но настроение у него стало еще хуже, и опять он, в тысячный раз, вспомнил свое правило: ничего не ждать от людей и заниматься только тем, что создают и после себя оставляют некоторые, наиболее нелепые и несчастливые из них.

Вазари всегда останавливался в Риме на одном и том же постоялом дворе, где его знали и делали ему скидку как знаменитому человеку. Но на этот раз, сам как будто не зная почему, он выбрал другой постоянный двор, между Квириналом и Тибром. Ему отвели комнату в верхнем этаже. Поднимаясь по крутой лестнице, он вдруг с ужасом почувствовал сердцебиение — этого прежде с ним никогда не было; очевидно, так действовала на него жара послеполуденных часов.

Не раздеваясь, он повалился на диван. Слуга предложил поесть, Вазари не мог и думать о еде; потребовал кувшин воды и выпил залпом три стакана. К большой его радости, на постоялом дворе можно было принять ванну; он велел ее приготовить с мускусом, с мятой, с кедровыми листьями. В ванне отдохнул и успокоился: сердцебиение было от жары и от этого адского ветра.

Шел шестой час вечера. Как бывает с людьми, приехавшими в город, где у них много знакомых и мало дела, Вазари испытывал не совсем приятное недоумение: как будто на все и времени не хватит, а сейчас делать нечего; повидать следовало очень много людей, но никого не нужно было видеть в особенности; все, вероятно, были бы рады встрече, но никто не был бы ему рад чрезвычайно; и к каждому из знакомых лучше было для начала прийти днем, а то вечером, без предупреждения, можно и помешать. Прежде всего, конечно, надо было бы зайти к Буонарроти, но мысль об этом посещении не очень улыбалась Вазари, хотя оно могло дать несколько интересных страниц для второго издания книги: Микеланджело в 90 лет.

Чувства к этому человеку были у него двойственные. Он считал Буонарроти величайшим живописцем, скульптором, архитектором, когда-либо существовавшим на земле, и в письмах своих отзывался о старике в самых восторженных, нежных выражениях. При встречах они обнимались и даже плакали «*per dolcezza*»<sup>1</sup> (старик был слаб на слезы, хоть едва ли кого-либо любил). Дружба была старая, прочная, однако Вазари никогда не мог до конца преодолеть в себе ужас перед неестественным или сверхъестественным существом Микеланджело. В последний свой приезд в Рим он побывал у старика поздно вечером. Страдая бессонницей, Буонарроти работал и по ночам; в халате, в странной высокой шапке, к которой была прикреплена свеча из козьего жира, стоя на табурете с молотком и резцом в руках, дряхлый старик яростно правил статую, — у него она вызывала злобу и бешенство, а Вазари показалась верхом совершенства. При

---

<sup>1</sup> Здесь — от умиления (*итал.*) — Здесь и далее переводы иностранных текстов даны ред.

слабом, дрожащем свете свечи, в мастерской с пляшущими тенями, Микеланджело был похож на дьявола. Срывающимся старческим голосом он проклинал всех и все — и свое искусство, и жизнь, и мир, в котором он так засиделся. Воплем и проклятьем были и чудесные его стихи.

Вазари надел надушенное белье, выбрал самый легкий шелковый костюм, с досадой увидев, что в сундуке наверху лежал тяжелый бархатный, отороченный мехом кафтан, взятый на всякий случай: вечера бывают холодные. Одевался он, как подобало человеку его лет: без тщательности, но опытному глазу было видно, что этот небрежно одетый человек привык и умеет одеваться отлично. Он очень легко поужинал, поговорил с хозяином, — тот, очевидно, никогда не слышал и его имени, — да, слава условна; в сущности, условно и доброе имя.

Он вышел с хозяином за ворота. Хозяин, точно чувствуя себя виноватым, говорил, что такого отвратительного сухого ветра в Риме летом никогда не бывает, это поздний сирокко, проносющийся чрезвычайно редко, быть может, раз в человеческую жизнь.

Жара все-таки немного спала. Давно знакомое, ни с чем не сравнимое очарование Рима охватило Вазари. Здесь с особой ясностью чувствовалось, что все условно, что надо пользоваться жизнью, что и в большом, и в малом надо жить по-своему, не оглядываясь ни на кого и всего менее на добродетельных семейных граждан. Вазари небрежным, чуть вызывающим тоном задал хозяину несколько вопросов. Хозяин нисколько не удивился — привык давать гостям всевозможные указания — и, почти не понизив голоса, посоветовал сходить к одной очень славненькой генуэзке, недавно приехавшей в Рим и жившей совсем близко, у реки, — объяснил, как пройти, но предупредил, что эта женщина стрегает<sup>1</sup>. «Ну, они все колдуньи», — сказал Вазари. Хотя мнение хозяина нисколько его не интересовало, ему все же было приятно, что, несмотря на его возраст, тот, видимо, не нашел ничего удивительного в его желании. «Да, но некоторые не любят», — ответил хозяин. Вазари снова поднялся к себе в комнату.

---

<sup>1</sup> Колдунья (*итал.*). — Прим ред

Сердцебиения не было. Он расчесал гребнем из слоновой кости длинную, с густой проседью, бороду, — недоброжелатели говорили, что Вазари и бороду носит под Леонардо, — спрятал в сундук деньги, захватил кинжал и вышел в хорошем настроении духа.

Невысокая, совсем молоденькая, еще с девичьей угловатостью женщина, с красивыми чертами без нужды поддурмяненного, умного личика, с большими, раз навсегда изумленными глазами, с выкрашенными в черный цвет, по-генуэзски, зубами, очень ему понравилась. Она действительно оказалась стрегой и скоро ему в этом созналась, добавив, что ее сестра — сибилла, а тетка — фата-моргана. Вазари, хорошо знавший женщин веселого поведения, нисколько не возражал, не делал вида, будто поражен или принимает сообщение в шутку, и равнодушно поддакивал: фата-моргана так фата-моргана. Стрега торговала разными полезными снадобьями: в красивом бронзовом ящичке у нее оказались берцовая кость, кусок человеческой кожи, подошва, срезанная с сапога покойника, детский пупок и несколько волшебных мазей разного назначения. Никакого снадобья Вазари не купил, но ящичек зарисовал в записной книжке. Узнав, что он живописец, стрега обрадовалась и попросила написать ее: ей давно хочется, так хочется, иметь свой портрет, хороший, настоящий. Вазари засмеялся. В этой милой молоденькой женщине, неизвестно почему занимавшейся таким ремеслом, было то самое, что когда-то было в нем, а может, и еще сохранилось: страстная любовь к жизни, желание взять от нее все, что можно. Он с улыбкой подумал, что, верно, она и свое ремесло стреги знает превосходно и что она своими руками готова была бы задушить других стрег. «При вечернем свете нельзя, я приду завтра», — сказал он весело.

В маленькой комнате было жарко и душно, пахло мускусом и снадобьями, — стрега красила черные волосы в соломенный цвет смесью из апельсинной корки, виноградного сока, пепла и чего-то еще. Она принесла белого вина, — Вазари присмотрелся к нему подозрительно, но вино было обыкновенное, без детских пупков, и недурное, только теплое. Он был очень доволен этим первым вечером в Риме. Под утро стрега заплетающимся языком объяснила ему, что недавно

летала на крыльях в Париж и очень боится, как бы ее не сожгли. Вазари, засыпая, лениво и невнятно спрашивал ее, хорошо ли она слетала и свежо ли было в воздухе, на большой высоте.

Утром стрега накормила его яичницей и *fritto misto*<sup>1</sup>. Он сказал ей, что давно так вкусно не завтракал. Стрега посмотрела на него, широко раскрыв изумленные глаза, — точно он говорил необыкновенные, волшебные слова. От платы она отказалась, сказав совершенно искренно, что любит его, и взяла только за вино и завтрак; но за вино и завтрак получила столько, что в обиде не осталась. Это тоже позабавило Вазари; он незаметно сунул в ящичек дукат. На прощание она заставила его обещать, что завтра он к ней вернется, и срезала прядь его волос, на память. Вазари знал, что она прокипятит волосы в масле и будет продавать как любовное снадобье. Но он ничего против этого не имел: всем надо жить, надо жить и стреге.

Сирокко еще усилился за ночь. Вазари быстро шел по узкой улице, зажмурив глаза и сжав губы. Он думал, что эта женщина необыкновенно мила и что он чуть только не влюбился в стрегу. Ему было и смешно, и совестно: вот что такое оказалось жить по-своему! Конечно, было бы гораздо лучше сделать визит Микеланджело или осмотреть свои давние работы. Но ни Микеланджело, ни фрески не уйдут. Опять ему пришли в голову мысли, что в любви и в творчестве есть общее.

Хозяин постоялого двора с одобрительной улыбкой встретил его у ворот. Вазари смущенно улыбнулся и снова заказал прохладную ванну. Солнце палило, дышать при этом ветре было трудно и больно.

#### 4

В канцелярии папы Вазари пришлось ждать довольно долго. Из кабинета заведующего доносились голоса; посетителей, очевидно, можно было принимать только по очереди; тем не менее Вазари чув-

---

<sup>1</sup> Жаркое из оленя (*итал.*).

ствовал раздражение: во Флоренции положение его в последние годы стало значительным, он привык к почету со стороны сановников и самого герцога. В приемной было очень душно; окна были затворены из-за сирокко.

Заведующего ждали четыре человека. В трех из них легко было узнать художников; они желали получить пропуск в капеллу папы Сикста для копирования фресок. Никто из них Вазари не узнал. Этому тоже удивляться не приходилось, — откуда им было знать его по наружности? Но он угрюмо думал, что если б сторож сейчас громко назвал его фамилию, то не последовало бы восторженного шепота: «Вазари, Вазари!» Молодые художники становились все невежественнее.

Вскользь, по профессиональной привычке к наблюдению, он обратил внимание на четвертого посетителя, немолодого, некрасивого человека в темно-синей куртке. Этот был не художник. Лицо у него было странное, изможденное и злобное; оно чем-то напоминало Вазари лицо Микеланджело. Человек в темно-синей куртке не сидел на месте, как другие, а все пересаживался со стула на стул или быстрыми маленькими шагами прохаживался вдоль стены. Художники поглядывали на него с насмешливым недоумением. Его первым позвали к заведующему; через минуту он вышел из кабинета с пропуском в руке — так и не спрятав пропуска в карман, — еще раз прошелся по приемной, точно не мог сообразить, что теперь нужно делать и где выходная дверь, затем, ни на кого не взглянув, поспешно удалился.

Позвали наконец в кабинет и Вазари. Он сухо объяснил старому благодушному монаху, что дела, собственно, не имеет, но, находясь проездом в Риме, счел долгом явиться в Ватикан и был бы весьма признателен, если бы при случае о нем доложили святому отцу; быть может, папа пожелает объявить ему свою волю относительно времени возобновления работы над фресками *Scala Regia*, начатой им три года тому назад?

Заведующий канцелярией был очень любезен. Сказал, что слышал о нем, Вазари, самое доброе, книг же его не читал и картин не видел или не помнит. «Это ведь дело не наше», — пояснил он с такой простодушной улыбкой, что обидеться было никак нельзя. Он

посоветовал Вазари явиться на ближайший выход папы: святой отец, наверное, побеседует с ним отдельно, а может быть, его пригласят и к столу, — папа Пий очень прост, с церемониалом мало считается, не то что покойный папа Павел, — и нередко приглашает к своему столу писателей, ученых, художников. Вазари поклонился. Являться на выход в надежде, что позовут к столу, было совестно, — а вдруг не позовут? Ему, впрочем, случилось обедать за столом папы. Стол в Ватикане был превосходный, подавались и трюфели, и феррарская стерлядь, и павлины со спаржей, и необыкновенные вина, — но те светские люди, которые любили поесть, принимали приглашение к папскому столу не слишком охотно: по церемониалу, каждый раз, как папа подносил кубок к губам, все гости должны были вставать; а если папа отказывался от какого-либо блюда, то его не давали и гостям. Вазари, однако, чувствовал, что, несмотря на эти неудобства, от приглашения папы не откажется.

Получив постоянный пропуск, он вышел из канцелярии. Ветер — все тот же жгучий, мучительный — дул еще сильнее, чем раньше. «Как они тут в Риме от этого проклятого сирокко не сходят все с ума?» — хмуро подумал Вазари. Вдруг на дворе произошла суматоха. Конюхи быстро провели великолепного мантуйского жеребца. Стража вытянулась, люди упали на колени. Вазари издали увидел, что по лестнице спустился папа Пий IV. Он кивнул головой сопровождавшим его людям, очень легко, несмотря на свой возраст, вскочил на коня, расправил поводья и ускакал по направлению к Ватиканским садам. За ним, в некотором отдалении, поскакали тайные полицейские агенты, — папа ездил каждый день верхом по Риму и не выносил сопровождения стражи. Упавшие на колени люди вставали и обменивались восторженными замечаниями: римляне очень любили доброго, милостивого папу и ласково его называли Медичино: он был из простых миланских Медичи, не имевших общего с знаменитой флорентийской семьей. Нравилось римлянам и то, что в свои годы он ездил верхом, да еще так прекрасно: этого не видели со времен Льва X. У лестницы Вазари с неприятным чувством увидел того же человека в темно-синей куртке, — как и все, он глядел вслед папе. «Какое страшное лицо!» — подумал тревожно Вазари.



Он вошел в вестибюль. Осмотр фресок не доставил ему никакого удовольствия. С тягостным недоумением глядел Вазари на свою работу: неужели это написал он? В сущности, и сделано было не очень много, работы оставалось на годы. Не понравился ему теперь и замысел, — а ведь тогда казалось чудесно. Долго осматривал он фрески и становился все мрачнее. Кто-то было, правда, недурно, но и это требовало переделки: лучше бы все начать сначала. «Да, если бы еще прожить лет сто, можно было бы оставить и настоящее...» В вестибюле, на лестнице никого не было: никто его живописью, очевидно, не интересовался.

В капелле папы Сикста, напротив, работало человек десять художников; почти все они копировали Микеланджело. Посетителей не было, — только впереди кто-то стоял перед стеною. Художники оторвались от работы и бегло взглянули на вошедшего человека; шепота «Вазари, Вазари!» опять не последовало. Вазари оглядел потолок, столь давно ему знакомый: он знал тут не только каждую группу, но каждое красочное пятно, знал — когда-то изучал с восторженным изумлением — чудеса этих фресок. Все это было, конечно, чудом искусства, чудом знания, чудом изобретательности: техническим откровением был каждый ракурс. Но ему теперь не хотелось восторгаться Микеланджело.

Рядом с ним какой-то юноша уже почти закончил «Иеремию». Вазари с отвращением смотрел и на него, и на его работу: этот молодой человек был явно бездарен, и ему лучше всего было бы немедленно бросить живопись и заняться торговлей или скотоводством. Другие казались как будто способнее, но и их следовало бы отсюда выгнать. Вазари думал, что престарелый Микеланджело давно стал душителем искусства: он их раздавил своим гением, авторитетом и славой, все они хотели бы писать под него, и выходит дрянь, так как писать под него невозможно. Микеланджело иногда горько жаловался, что не оставляет после себя школы. Но Вазари, знавший его наизусть, отлично понимал, что старик и не хочет никого учить, — никому никогда, за самыми редкими исключениями, своих секретов не раскрывает, именно для того, чтобы не делать художников. И, в сущности,

он прав: если наказывают плетью за обыкновенное воровство, то надо было бы наказывать плетью и за воровство в искусстве. Однако тут же Вазари угрюмо подумал, что сам он учился у Андреа дель Сарто, у многих других и всего больше на этих же фресках, — да учился же в молодости и Микеланджело! Мысли его о молодых художниках были несправедливы, но он не подрадился всегда и во всем быть справедливым.

Вазари приблизился к стене «Страшного суда». Он знал, конечно, и это старческое произведение Буонарроти, но оттого ли, что с этими фресками он познакомился не в молодом возрасте, а гораздо позднее, «Страшный суд» запечатлелся в его памяти гораздо хуже, чем фрески потолка. Он оглядел все, затем отдельные группы, фигуры, подробности фигур, затем снова все.

Вазари не помнил, кто тут кого изображал. Смутно ему вспоминалось, что изверг внизу, замахнувшийся веслом на толпу, был, кажется, Харон, а человек, непристойно охваченный змеей, — Минос, а может быть, и не Минос: кто их разберет, да и как они-то сюда попали? На фресках были тела, все голые, страшные, неестественно-атлетические тела, — сколько их? двести? триста? — а то кости без мяса, кости, чуть обросшие мясом, скелеты, уже похожие на людей, люди, еще похожие на скелеты. Тут были изображены все виды страданий и мучений, несчастны, неприятны были и те, кого оправдал суд. Вазари спросил себя, что все это может означать. Он знал, как пишут художники, и понимал, что философского смысла в картинах искать и не следует. Это, однако, был Микеланджело, к нему требования другие. Вазари порою сомневался, верит ли старик хоть во что-нибудь, и скорее склонялся к тому, что не верит ни во что: уж очень он мрачен и уж очень всех ненавидит. «Но с чертями у него счет запутанный. Вот и здесь черти торжествуют так весело. В это, в торжество чертей в мире, он верит. И так естественно идут у него люди в ад: туда им всем и дорога. Чем же мы виноваты, что ему смертельно опротивел мир? А может быть, ему просто надо было изобразить по-новому сотни тел, так, как их до него никто не изображал, и так, чтобы ни одна поза не повторяла другую? Лучше бы тогда изображал что-

либо другое, только сбивает с толку людей, — с раздражением думал Вазари, вспоминая, что и папа был недоволен фресками Микеланджело, и если не велел их замазать, то лишь из уважения к гениальному человеку. — У этого полубезумного старика душа преступника, и место его фрескам на стене ада или дома умалишенных...»

Вдруг взор Вазари упал на человека, который стоял наискось от него, впившись глазами в стену. Это был тот самый человек в темно-синей куртке, с мрачным, преступным лицом, попадавший к нему сегодня в третий раз. И из-за мыслей, только что у него проскользнувших, сходство этого человека с Микеланджело теперь поразило Вазари.

В самом мрачном настроении он вышел из зала и быстро спустился по лестнице, стараясь не глядеть на свои фрески: все-таки после фресок Микеланджело ему на свои смотреть стало еще тяжелее. Он внезапно почувствовал усталость и сел на скамью в вестибюле. Кругом стояли статуи, много статуй, все прекрасные статуи. Статуи стояли и за стеной, за окнами; там на бельведерском дворе стоял и нашумевший древний торс, найденный при раскопках у театра Помпея. Вазари и собирался все это осмотреть, освежить в памяти торс, статуи, казино. Но теперь ему никуда идти не хотелось: он чувствовал отвращение от искусства, от скрытого в нем тревожного, мучительного начала. Он думал, что только неискренние люди могут долгими часами подряд любоваться всеми этими уютно-белыми фигурами, вот хотя бы этой мраморной красавицей... Вдруг на мраморной красавице появились изумленные глаза, плечи ее стали угловаты, и она пошла к очагу быстрой, энергичной походкой, как-то странно, набок, размахивая на ходу руками. «Старый дурак, ошалел от этой стреги!» — озадаченно сказал себе Вазари. Но лицо его просветлело. Он встал и направился к выходу. «Уж не это ли настоящее? Поздно же догадался», — с насмешкой над собою думал он. Сбоку, со стороны сада, рванул и обжег его сирокко.

Стрега не без волнения поднялась по лестнице и постучала в дверь к жившему над ней соседу. Он поселился тут совсем недавно, вскоре после нее, и очень ее интересовал: по ночам долго ходил по комнате, разговаривал, кажется, сам с собою, а иногда громко вскрикивал, — потолок был тонкий, окна отворены, и слышно было почти все, что делалось у соседа. Шум не мешал ей, спала она отлично, но ее очень занимало: что за человек? По некоторым признакам ей казалось, что он колдун. Стрега знала, что есть колдуны настоящие — не такие, как она. Вдруг этот настоящий? Впрочем, по другим признакам как будто выходило иначе: нет, не колдун.

Изнутри кто-то на цыпочках подкрался к двери, — это не понравилось стреге. Через полминуты хриплый голос негромко спросил: «Кто стучит?» Дверь отворил человек в темно-синей куртке: он... Из квартиры пахло острым, неприятным запахом трав или лекарств. «Так и есть, колдун!» — подумала стрега, замирая, и пожалела, что пришла. Запинаясь, объяснила: он, верно, ее знает, она его соседка по дому, у нее в кухне погас очаг, а трута, как на беду, нет, нельзя ли получить огня? На всякий случай улыбнулась деловой улыбкой. В первую минуту ей показалось, что напрасно она старается: тут делать нечего. Человек в темно-синей куртке оглядел ее тяжелым взглядом, подумал, заглянул в свою комнату и вполголоса попросил соседку войти.

Оттого ли, что голос у него был тихий, лицо с отсутствием и следов улыбки, а глаза неподвижные, или от сильного запаха в комнате, ей стало не по себе. Комната была такая же, как у нее (это почему-то немного ее успокоило), но обставлена иначе, — потом она смутно вспомнила, что там были книги, что-то стеклянное, непонятная посуда. На столе стоял котел, — отсюда, верно, и шел запах. Но стоял он не на огне, — значит, не суп и не лекарства: она свои снадобья всегда варила, больше по привычке, в кухне. «Очень трудно мужчине, если кто одинокий», — сказала она, чтобы не молчать, привычную фразу. И вдруг ей показалось, что первое впечатление, редко ее обманыва-

вшее в таких делах, могло быть неверным. Ничего не ответив, не сводя с нее своих маленьких, стеклянных глаз, он зажег и подал ей щепку. Ей без причины стало совсем жутко. Она что-то пробормотала, не dokonчила и поспешно вышла, точно опасаясь нападения.

На лестнице стрега, немного успокоившись, с досадой бросила и растоптала щепку: огонь у нее был. «Неприятный человек! Тяжелый человек! — подумала она. — Какие разные бывают мужчины: сравнить только со вчерашним живописцем! Тот такой милый, какая жалость, что старик...» Она спустилась по лестнице с беспокойным чувством, — неприятно все-таки иметь такого соседа, — и радостно вскрикнула: на пороге входной двери появился вчерашний живописец.

Аккольти задвинул засов и со вздохом вернулся к работе. Снял крышку с котла, — неприятный запах очень усилился. В котле готовился вежетабль: отравленные мышьяком, мелко истолченные жабы в немецком соленом вине настаивались на ядовитых травах. Это было действеннее, чем сулема, фосфор или яд Цезаря Борджиа. Из вежетабля изготовлялась мазь, которой смазывалось оружие.

Снизу послышались радостные голоса. Он прислушался. У этой блудницы был гость, — один из тех людей, что там изображены, на стене, в правом нижнем углу. В ад ему и дорога! Ее жалко... Аккольти помешивал в котле палочку, прислушиваясь: не заговорит ли голос? Но голос, как на беду, молчал и больше не объяснял, почему надо убить папу. Все говорили, что папа очень добр. Но ведь это знал и голос, а он неизменно твердил: надо убить папу, надо претерпеть муку, очень скоро будет столпотворение<sup>1</sup>, затем страшный суд — тот самый, что написан там на стене, — и он, Аккольти, станет владыкой мира. Внизу целовались. Он вдруг пришел в волнение и даже вынул палочку из котла. Велика в мире власть женщины... Не лучше ли привлечь сообщников. Монфредди влюблен в

---

<sup>1</sup> Посланнык герцога Феррарского в Риме, Фр. Приорато, видевший Аккольти в тюрьме, на своеобразном итальянско-немецком языке доносил герцогу об этом Горгулове XVI века: «Inspirato dal demonio et da pazzia Accolti verkündet so falsche Prophezeiungen, dieses Jahr werde alles drunter und drüber gehen, dass er pazzo scheint» («Под влиянием демона и своего безумия Аккольти делает столь нелепые предсказания (в этом году все пойдет прахом), что он кажется сумасшедшим».)

графиню Каносса, можно привлечь всех трех... Если дело завтра не удастся, надо будет привлечь их. Это значит отложить надолго. Но, может быть, нужно еще пожить грешной жизнью: ведь голос молчит... Он зашагал по комнате, прислушиваясь к тому, что происходило внизу. Ему захотелось, чтобы завтрашнее дело оказалось неосуществимым.

## 6

— Бракеттоне! Бракеттоне!<sup>1</sup> — закричали молодые художники. Безобидного вида старичок вошел, с трудом волоча за собой лесенку. Его так встречали всегда, и он давно привык к своему прозвищу. Но на этот раз хор был особенно шумный и продолжительный: молодых художников собралось много, и им было весело. По долгому опыту бракеттоне знал, что лучше всего делать вид, будто их крики очень ему приятны. Руки у него были заняты, да и голову наклонять было из-за лесенки неудобно, и он раскланивался только глазами и бровями. Хор продолжал петь, у молодых художников давно выработался и напев. Бракеттоне осторожно поставил лесенку у стены «Страшного суда», попробовал, как бы не повалилась, затем снял, как все, куртку, вытер голову платком и неторопливо полез наверх. Ему было поручено начальством закрасивать неприличные места на фресках Микеланджело. Плата была не сдельная, а помесечная, и старичок не спешил. Он этой работой жил не первый год, как до него жили другие. Начальство смотрело на медленность работы сквозь пальцы: за такое дело возьмется не всякий.

Молодые люди орали: это было приятным, хоть и утомительным в жару, развлечением. Бракеттоне не обращал на них ни малейшего внимания. Вид его ясно говорил: «Охота ж вам, право! Разве я сам не понимаю? Но ведь есть и пить надо?..» Художникам скоро надоело орать, они занялись своим делом, разве изредка кто-либо пробасит или выкрикнет фальцетом: «Бракеттоне!..»

Юноша, закончивший «Иеремию», теперь работал

---

<sup>1</sup> Переводится. панталонщик

над «Созданием человека». Старичок с лесенки сказал ему комплимент: Адам очень подвинулся с прошлой недели, а левая рука у него и совсем хороша. Бракеттоне не пользовался авторитетом, над ним все потешались, однако юноша просветлел: левой рукой Адама он и в самом деле особенно гордился, хоть ему чрезвычайно нравилось и все остальное: ну не как у Микеланджело, а все-таки очень, очень хорошо. Старичок дал ему полезный совет относительно красок; хоть претензий он давно не имел, но кое-что знал в своем деле; к его указанию прислушались и художники постарше, а один даже что-то переспросил. Ободренный вниманием, бракеттоне стал рассказывать о прежних художниках. Он отлично помнил, как Буонарроти писал этот потолок, был знаком с Рафаэлем и даже присутствовал при легендарной ссоре Микеланджело с Леонардо да Винчи. «Врешь, врешь», — закричали художники, и в самом деле, как будто это по годам не выходило: Леонардо умер почти полвека тому назад, и не перед самой же его смертью была ссора. Но бракеттоне божился, что собственными глазами видел, — как сейчас помнит, вот как стоял Леонардо, — «красавец был, ах, какой красавец!». «Врешь, ну конечно, врешь», — твердили художники. Старичок не обиделся и продолжал рассказывать. Он вообще много видел собственными глазами. Побывал и во Франции, и в Германии; в Эйслебене на улице ему однажды показали нечестивого монаха Лютера, у которого на голове были рога, как у оленя. Его как раз вскоре после того свели в могилу евреи: он простудился, а они сейчас же стоворились с дьяволом и послали ледяной ветер, — разумеется, на этот раз очень хорошо сделали, но... «Врешь, врешь!..» — заорали художники.

Вдруг дверь отворилась — так, как отворяется только перед высокопоставленными людьми. Поспешно вошел слуга и, повернувшись, помог войти дряхлому сгорбленному человеку. В зале произошло смятение. Бракеттоне застыл на лесенке. Молодые люди вскочили с табуретов. «Микеланджело!» — прошептал кто-то. Юноша так и обомлел. Одни художники не видели этого человека никогда, другие не видели очень давно. Ему было почти девяносто лет, он редко выходил из дому и, по слухам, болел; говорили, что он может умереть каждую минуту.

Он был в самом деле очень дряхл и неестественно сгорблен, — трудно было даже понять, как, собственно, он ходит. При согнутой колесом спине, голова его была поднята, и это придавало ему звериный вид. Правой рукой он тяжело опирался на палку, левой нервно обдергивал редкую, довольно длинную желтовато-седую бороду. Он остановился на пороге, не сразу сообразив, где находится, — видел теперь очень плохо; на солнце, через 10—15 минут, больше не видел почти ничего, и прогулка для него всегда была опасна, хоть его сопровождали слуги. При мягком свете залы зрение к нему вернулось; маленькие карие глаза вдруг зажглись. Он тяжело вздохнул, шагнул вперед и снова остановился, как бы не зная, что делать дальше.

Бракеттоне бесшумно, на цыпочках, спустился по лесенке, надел куртку, маленькими шажками приблизился к старику и произнес цветистое приветствие: для них, для скромных художников, великая честь и счастье увидеть своего короля, гордость мира, солнце Италии. Микеланджело молча на него уставился, не слыша или не понимая его слов. Художники продолжали стоять, раскрыв рты. Этот человек, создавший несколько искусств, споривший с Леонардо да Винчи, бывший знаменитостью почти семьдесят лет тому назад, собственно, уже не мог и считаться человеком: он был сказкой, как Данте, Гомер или Фидий.

Слуга, наклонившись к его уху, громко сказал, что тут молодые художники хотят показать ему свои картины — хорошие картины, — и, подмигнув, знаком велел художнику, стоявшему ближе других, подать что есть. Художник сорвался с места и схватил свою картину с подставкой. Это была копия одной из групп «Страшного суда». Микеланджело как будто не понял, чего от него хотят, затем приблизил голову к картине. Он не сразу узнал, что это такое, и ужаснулся, что не сразу узнал. Еле слышным голосом он сказал несколько слов. Растерянный художник низко поклонился и потянулся было, чтобы поцеловать ему руку. Но Микеланджело, тяжело опираясь на палку, пошел дальше.

В этом помещении он провел много лет. Четыре года подряд, весь день и часть ночи, лежал наверху на



досках, работая над фресками потолка. Затем уже почти стариком снова сюда вернулся для работы над «Страшным судом». Столько мук, столько горя, столько же радости и счастья — нет, радости и счастья гораздо меньше, неизмеримо меньше! — пережил он в этой на весь мир, на тысячелетия, прославленной им капелле. Теперь он едва видел то, что здесь создал, и знал, что видит это в последний раз в жизни...

Бракеттоне почтительно следовал за ним, стараясь отвлечь его от стены «Страшного суда». Молодые художники пришли в себя и заговорили. Старик на них оглянулся: это все были молодые люди, учившиеся искусству, — их ждал тот же обман, их ждет то же, что ждет его, быть может, сегодня, самое большое через несколько месяцев. «Потолок этой капеллы лучше звездного неба, и когдамотришь хотя бы на «Создание Адама»... — журчал испуганно бракеттоне. Микеланджело упорно шел к стене. Взгляд его остановился на «Страшном суде». Он подумал, что навсегда унесет с собою все то, что хотел сказать, все свои тяжелые, страшные мысли. «...Чувствуешь, что несешься в рай!» — уже с трепетом прожурчал старичок. Микеланджело заметил его работу. Он знал, но забыл, что его фрески приводят в порядок, — это когда-то вызывало у него припадки бешенства. Из его уст полилась ужасная брань, смешанная с проклятиями, которых и не слышали никогда молодые художники: это были ругательства прошлого века.

Бракеттоне перестал журчать, на лице его изобразилось почтительное огорчение: он явно был тут ни при чем. Слуга неодобрительно качал головой: нехорошо старику так ругаться. Молодые художники молчали. Вид Микеланджело был страшен. Пошатываясь, он пошел к выходу. Бракеттоне тревожно на него глядел: что, если он сейчас умрет?

## 7

Аккольти в этот день с утра побывал в Ватикане. На этот раз больше по привычке, и то лишь на мгновение, рассеянно остановился перед фресками Микеланджело. Вид у него был уверенный: «Да, знаю, все знаю!...» Он в этот день, рано утром, снова услышал

голос: дело надо совершить сегодня. Пришел он для того, чтобы все в последний раз осмотреть и обдумать на месте. Времяпровождение папы ему было теперь хорошо знакомо: утром прогулка верхом, затем месса, государственные дела в кабинете, обед, прогулка пешком в саду, аудиенции. Давно было принято решение, что заколоть папу надо во время послеобеденной прогулки, было выбрано и место. Пий IV гулял без охраны, лишь в сопровождении слуги, который нес за ним зонтик.

С виду Аккольти был совершенно спокоен, и разве только очень наблюдательный человек мог бы заметить в его поведении что-либо странное. По двору вели лошадей: да, в самом деле, папа должен отправиться на прогулку верхом. Аккольти подумал было, не совершить ли дело сейчас. Нет, голос сказал: после обеда. И в самом деле, тут папу всегда провожает много людей. А что все-таки, если попробовать сейчас? Скорее конец... Он задумался — и не сразу вспомнил, что ведь кинжала при нем нет, — сам удивился, как мог забыть об этом. Глядя вслед лошадям, он представил себе снова, в сотый раз, сцену четвертования. Страшно? Да, конечно, страшно, но голос знает, что нужно. Вдруг он увидел, что гнедую лошадь ведут не к лестнице, по которой папа выходил из своих покоев, а куда-то дальше, в сад. Это чрезвычайно его взволновало: в чем дело? Он поспешно подошел к разгуливавшему по двору гвардейцу и спросил, куда же это ведут лошадей святого отца, — спросил и сам ужаснулся неосторожности своего вопроса. Но гвардеец, очевидно, ничего странного в вопросе не нашел и ответил, что папа из-за адской жары и сирокко переехал вчера в свой летний домик, в казино.

Аккольти остановился пораженный. Однако голос все знал и тут же твердо заявил, что перемена решительно ничего не значит: хотя папа ночует в другом здании, порядок его дня не изменился, и он, конечно, сегодня пойдет гулять так же, как во все другие дни, только из казино. Это было верно. Ну что ж... Аккольти прошел к аллее, которая вела от казино к Бельведеру. Пускали всех свободно, никакой особой охраны не было. Да, голос прав, он всегда прав.

Выбрав новое место, Аккольти вернулся домой: еще оставалось немало дела. Мазь из вежетабля была

готова, но надо было смазать кинжал. Поднимаясь к себе по лестнице, он вспомнил о женщине, которая к нему заходила, почему-то остановился у ее двери и прислушался. Лицо у него стало тяжелое. Не было слышно ничего: верно, нет дома. Аккольти вошел в свою квартиру, задвинул тщательно засов и достал из ящика большой кинжал прекрасной восточной работы. Кинжал был в ножнах. Он долго думал, оставить ли ножны. Если оставить, — потеряешь несколько секунд, от которых все может зависеть. Если взять без ножен, — очень легко уколется. Аккольти решил, что можно вместо тонкой куртки надеть кафтан, а под кафтан толстый кожаный камзол, — тогда не уколешься. Попробовал, переоделся, в самом деле выходило хорошо: под кафтаном кинжал совершенно незаметен, а выхватить его — одно мгновение. Он смазал лезвие мазью так ловко и осторожно, точно всю жизнь этим занимался. Теперь любая рана смертельна.

Засунул кинжал концом длинной рукоятки за пояс камзола, лезвием вверх, попробовал — очень удобно, — походил по комнате, ожидая, не заговорит ли голос, и, ничего не услышав, лег на постель. Так он пролежал с полчаса. Вдруг он поднялся, трясая всем телом. «Нет, не боюсь, не боюсь!..» — пробормотал он, озираясь по сторонам, и с невыразимым облегчением подумал, что можно выпить водки. В бутылке ничего не оставалось. В самом деле, все выпито прошлой ночью. В лавку идти далеко, да лавки и закрыты в эти часы. Он подумал снова о своей соседке: у таких женщин всегда бывает вино. Спустился по лестнице и постучал, сначала тихо, потом вдруг громко и яростно.

За дверью послышался недовольный мужской голос, женский шепот. Стрега отворила дверь и попятилась. Он оглядел ее тяжелым взглядом, шагнул вперед, она взвизгнула и бросилась в комнату. На пороге появился полуодетый мужчина. На его лице изобразилось изумление. «Что вам нужно?» — резко спросил он. Глядя на него с ненавистью, Аккольти объяснил свою просьбу и тут только сообразил, что под расстегнутым кафтаном у него за поясом кинжал, лезвием вверх. Он очень смутился, что-то пробормотал и запахнул кафтан. Вазари продолжал с изумлением на него глядеть. Стрега, стоявшая на пороге комнаты,

засуетилась: «Водка? Ну да, разумеется, есть водка, отличная, сейчас, сейчас...» — и, потащив за рукав рубашки Вазари, скрылась за дверь. Аккольти слышал, как мужчина спросил вполголоса: «Кто этот сумасшедший?..» Женщина зашикала и вынесла незакупоренную глиняную бутылочку. «Отличная старая водка...» Он поблагодарил с изысканной учтивостью и предложил заплатить. «Что вы, что вы, какая плата между соседями!» — говорила, вздрагивая, стрега. Мужчина стоял на пороге, и, кажется, у него теперь что-то было в руке. Аккольти поблагодарил еще изысканнее и вышел. Дверь захлопнулась несколько быстрее и громче обычного.

Он поднялся к себе и выпил залпом всю порцию водки. Его очень обожгло, но стало гораздо легче. Сел на постель и подумал, что потерял голову: как же можно было в таком виде показываться людям? Донесут? Нет, не успеют. Аккольти подошел к окну, времени все еще оставалось много. Снизу, из окна, до него донесся смех, звук поцелуев. Он вдруг пришел в ярость, вышел, хотел было снова постучать — и опомнился. Застегнув кафтан, он выбежал из дому.

## 8

...За Микеланджело, стараясь приспособиться к его ходу, шел тот молодой художник, который копировал группу «Страшного суда». Он что-то восторженно говорил. Микеланджело шел, не глядя на него и не слушая, он только чувствовал, что это счастливый человек, верящий — как они все — в искусство, верящий в то, что искусство — великая радость. Бесплезно и незачем было объяснять им правду. Он думал, что теперь все кончено: посмотрел в последний раз, руки больше не слушаются, глаза больше не видят. На солнце он опять лишился зрения. Сбоку заржала лошадь, он не видел лошади, но по ржанию почувствовал, что это прекрасное животное, — страстно любил все живое, за исключением людей. Молодой художник продолжал нести вздор о «Страшном суде», — точно он мог это понять, точно кто-либо мог понять это...

Какой-то человек нагнал их и, низко поклонившись, сказал, что святой отец просит мессера Буонарроти

пожаловать к нему, в сад. Микеланджело не обратил внимания на эти слова, — зачем ему теперь люди, зачем ему и сам папа? Слуга вполголоса ответил, что старик очень устал и болен: святой отец извинит.

«Если домой, то направо», — прокричал слуга. Микеланджело остановился и растерянно обвел двор ничего не видящими глазами. «Это бельведерский двор, вот торс, ваш торс», — пояснил с улыбкой художник.

— Бельведерский торс! — вскрикнул Микеланджело.

На дворе стоял древний торс, найденный при раскопках у театра Помпея. Художникам было хорошо известно, что Микеланджело считает этот обломок высшим из самых высоких творений искусства: он говорил, что никто никогда не создал ничего хотя бы близкого к этому по достоинству. Слуга осторожно подвел его к торсу. Старик прикоснулся к мрамору одной рукой, потом двумя, на лице его изобразилась радость и нежность. Неизвестно, когда жил в древности человек, неизвестный афинянин Аполлоний, сын Нестора, и изваял эту статую, и два тысячелетия ждал другого человека, который мог ее оценить, хотя не мог создать равного. Он думал, что в этом торсе есть священная простота, без которой нет ничего, и что сам он был ее лишен и потому проиграл свою жизнь. В его фресках было значение, непонятное другим людям. Но это ничего не значило. Тот лучше знал, как надо творить, — он же во всем заблуждался: все было обман. «*Beati pauperes spiritu, quoniam ipsorum est regnum caelorum*»<sup>1</sup>, — сказал он вдруг и заплакал. Художник смотрел на него с недоумением, испугом и жалостью. Микеланджело рыдал, глядя руками мрамор Бельведерского торса.

## 9

Пий IV в самом деле не считался с церемониалом. К обеду приглашал гостей, хоть папе полагалось обедать одному, за небольшим столом, под балдахином; а некоторых приглашенных, притом не самых почетных, сажал против себя, хоть по правилам никто не

---

<sup>1</sup> «Блаженны нищие духом, ибо их есть царствие небесное» (лат.).

должен был сидеть против папы. В этот день, впрочем, заведующий церемониалом не мог особенно пожаловаться: к столу, в только что отстроенном казино, были приглашены кардиналы и иностранные послы. К концу обеда мажордом доложил, что в Ватикане сейчас находится престарелый Микеланджело. Папа обеспокоился: зачем старик выходит в такую жару, при сирокко? — велел позвать гостя к себе в сад и вынести для него из дворца покойное кресло. Гости только переглянулись: никто из них иначе как за столом не садился в присутствии папы. Заведующий церемониалом был так недоволен, что, докладывая просьбы об аудиенции, пропустил в этот день имя Вазари: достаточно милостей художникам.

Гости перешли во вторую залу. Папа отправился на прогулку. За ним слева шел слуга, несший над его головой зонтик. Только важнейшие должностные лица знали, что этот ничем как будто не выделявшийся лакей в действительности лучший римский сыщик, приставленный к папе для незаметной охраны. По его виду никак нельзя было подумать, что он ударом кулака может сбить с ног сильного человека, что зрение у него, как у хищной птицы, что он все видит, ни на что не глядя. Так и теперь сыщик, не сводивший, казалось, глаз со своего зонтика (держал его очень ровно, все на одном расстоянии от головы папы), еще шагах в пятидесяти заметил, что в конце главной аллеи, справа, несколько раньше, чем нужно, опустился на колени какой-то человек. Сыщик не рассуждал логически и не подумал вполне отчетливо, что у этого человека из-под черного бархатного кафтана торчит снизу кожаный камзол, что люди так не одеваются, особенно в жару, что упал он на колени ближе к середине аллеи, чем полагалось бы, и что сделал рукою странное движение. Но почти бессознательно сыщик впитал в себя все это. Самым естественным, незаметным движением он взял зонтик из правой руки в левую, отстал, как бы случайно, на полшага, оказался по правую сторону папы и небрежно опустил руку в карман, где у него находился тяжелый, короткий кастет. Чуть наклонившись собранным телом вперед, нисколько не изменив положения зонтика, он задумчиво шел за папой дальше, совершенно не глядя на упавшего на колени человека.

Аккольти сунул руку за пазуху и осторожно, не коснувшись лезвия, взял кинжал за рукоятку. Он вполне владел собой и твердо помнил: уколотся — умереть. Подумал еще, что это был бы лучший исход: совершить великое дело, избегнув пыток и казни. Папа подходил все ближе. Аккольти чуть приподнял от земли левое колено, уперся носком в землю и повернул руку за пазухой. Сыщик, еще немного наклонившись, искоса бросил на него мгновенный режущий взгляд, на всю жизнь запомнил его лицо и подумал, что надо, непременно надо возможно скорее выяснить, кто этот человек. Аккольти показалось, что неприятный лакей, так неудачно загоротивший ему дорогу, может помешать делу.

В эту минуту с новой силой рванул затихший было сирокко. И в порыве ветра Аккольти вдруг услышал голос. Он замер: голос предписывал ему отложить дело, необходимы сообщники. Рука его разжалась, его душу залило счастье, почему-то в воображении промелькнула соседка... Папа прошел по аллее. Неприятный лакей рассеянно оглянулся и поверх головы Аккольти смотрел назад, куда-то вдаль. Зонтик плыл в воздухе все на том же расстоянии от головы папы.

## II

### МУДРЕЦ

Молодые Буонарроти очень обрадовались, узнав о предстоящем приезде Вазари. Трудно было найти более приятного гостя, а они теперь были рады всем — с особым удовольствием показывали свое новое имение. Оно этого действительно стоило. С ремонтом, с пристройками, с покупками обошлось в большую сумму, но Леонардо мог себе это позволить: получил от дяди огромное наследство. Микеланджело их при жизни не баловал, да и сам жил весьма небогато, во многом себе отказывал, постоянно всех уверял, что разорен и что умрет под забором.

На наследство они с Кассандрой рассчитывали давно, часто между собой по вечерам, уложив спать детей, об этом наследстве тихо говорили. «Что, если он все оставит на благотворительные дела? Что будет с деть-

ми?» — испуганно спрашивала мужа Кассандра. «Нет, никогда он этого не сделает, он нас любит, — обычно отвечал Леонардо, — рано или поздно все останется нашим детям» (легче было говорить: «детям», чем «нам»). Но уверенности у них не было, и говорили они «рано или поздно» уже немало лет. Разговор о наследстве, несмотря на некоторую его семейную уютность, был скорее неприятен Леонардо: он любил дядю, хоть с детских лет очень его боялся. Думал про себя, что старик поступает нехорошо и неразумно: если б выделил им при жизни часть своего богатства, они жили бы как следует — много ли им нужно? — молились бы за него Богу и всей душой желали бы ему долголетия. «Впрочем, мы и так желаем», — испугавшись, мысленно добавлял он.

К кончине Микеланджело он опоздал: получил извещение о болезни поздно; выехав из Флоренции в Рим в тот же день, застал дядю уже в гробу и тотчас, еще на лестнице, там, где дядя написал на стене «Смерть», узнал, что почти все превзошедшее ожидания богатство завещано им. Теперь Кассандре, детям навсегда была обеспечена свободная, привольная, хорошая жизнь. Леонардо не мог этому не радоваться, так как страстно любил семью: ему самому и вправду почти ничего не было нужно, — были бы кров, обед и бутылка сносного вина. Однако, увидев на зловещем парадном красном атласе желтое, ссохшееся, сморщенное, теперь, с закрытыми глазами, больше не страшное лицо дяди, он горько заплакал навзрыд: все-таки старик если и не любил его (никого ведь он не любил), то поддерживал их всегда, а теперь их обогатил, и с ним прошла, хоть большей частью издали, вся жизнь, и был он великий человек, — Леонардо не интересовался искусством, но отлично это знал; а если б и не знал, то об этом достаточно наглядно свидетельствовали скорбь всех ученых людей во Флоренции и в Риме и те почти королевские почести, которые воздавались праху дяди. Леонардо роздал большие деньги на помин души, слугам, бедным и всем вообще, кто его о деньгах просил. Траур был соблюден строго. Имение они купили под Флоренцией лишь тогда, когда это никому не могло показаться преждевременным и неприличным.



О бумагах, оставшихся после Микеланджело, Вазари ему написал тотчас после кончины старика. Потом они вскользь обменялись об этом несколькими словами во Флоренции, на необыкновенно пышных похоронах. Вазари едва мог разговаривать: беспрестанно вытирал слезы, говоря, что этот человек унес с собой весь гений и всю славу мира. Оттого что он плакал и что с ним плакали, забыв теперь вражду, зависть, личные счеты, старые люди, знаменитейшие художники Италии, все росли горе и волнение Леонардо.

Свидание по делу о бумагах Микеланджело довольно долго не налаживалось. Получив письмо, Леонардо тотчас ответил, что Кассандра и он будут чрезвычайно рады приезду Вазари, ждут его непременно. В большом прекрасном доме все пять комнат, предназначенные для гостей, в эти чудесные весенние дни были заняты. Для нового гостя приготовили лучшую комнату дома, называвшуюся рабочим кабинетом, хоть, собственно, Леонардо ни над чем не работал. Хозяева отправили во Флоренцию дворецкого (у них теперь был и дворецкий), велели купить книг — много, не меньше ста, — положившись на выбор книгопродавца, а также ящик с красками, холсты, картоны. Леонардо все же недаром был племянником Микеланджело: знал, что нужно для такого гостя, и надеялся, что он прогостит у них долго. Выбрал для Вазари лучшую из двенадцати лошадей, теперь стоявших у него на конюшне, велел заново выкрасить ее и надуть благовонной жидкостью, как делали только очень богатые люди, и в назначенный день, на другой свежевывкрашенной лошади, выехал встречать гостя.

Леонардо ахнул при виде Вазари, — так тот изменился: состарился, исхудал, поседел. Тут только Леонардо вспомнил то, что мельком, стороной слышал: с его знакомым случилась история, на старости лет он влюбился будто бы как юноша в женщину веселого нрава, чуть только не колдунью, которая его, разумеется, скоро бросила и даже, как говорили, обобрала. По разговору Вазари, однако, никак нельзя было сделать вывод, что он несчастлив. Как всегда, — быть может, даже несколько больше, чем всегда, — он был оживлен, приветлив, занимателен. Всем интересовался, как оказалось, очень много работал и по живописи, и над вторым изданием своей книги. Кассандре нагово-

рил любезностей, от которых она, по непривычке, зарделась, детей расцеловал и роздал им дорогие подарки, чрезвычайно хвалил дом, сад, мебель. Вправду, невозможно было подыскать более приятного, светского гостя.

Пока Леонардо показывал — Вазари в первый раз, а другим гостям в третий или четвертый — имение, лошадей, собак, Кассандра, дворецкий и повар работали над обедом. Он был изготовлен и сервирован превосходно. Салат с кремонской мортаделлой имел форму слона, устрицы были в раззолоченных раковинах, соус надушен, птица начинена орехами; перед обедом в серебряных кубках подали венгерское, а после обеда апельсины в горящем соусе и генуэзский пирог, политый еврейским вином. Все это было модно и доступно только богатым людям. Но, хотя гости были люди не очень большого достатка и хотя всем им было отлично известно, что еще совсем недавно молодые Буонарроти жили почти бедно, на деньги, которые им присылал изредка Микеланджело, насмешливого недоброежелательства к хозяевам почти не было: так ясны были каждому их добродушие и желание доставить возможно больше удовольствия приглашенным; они были новыми богачами, но без пороков и чванства новых богачей.

За обедом разговор зашел о политических новостях, о заговоре против папы. Один из гостей, приехавший прямо из Рима, рассказывал подробности этого дела. Главарем был некий Бенедетто Аккольти, по видимому, сумасшедший. Он утверждал, что ему предписал убить папу какой-то голос, что скоро произойдет изгнание турок из Европы, потом столпотворение, потом что-то еще, — и весь мир станет счастливым...

— Возьмите к мясу этой фиговой подливки, она очень вкусная, — предложила Кассандра. — Извините, я вас перебила. Так как же вы сказали?

— Дело это темное... Подробности держатся в тайне. Говорят, что Аккольти должен был заколоть отравленным кинжалом папу не то в Сигнатории, не то в Сикстовой капелле — у фресок вашего дяди, — сказал гость с улыбкой, обращаясь отчасти к Леонардо, отчасти к Вазари, как к самому осведомленному во фресках человеку (всем показалось, что Вазари немно-

го изменился в лице). Когда папа проходил во главе процессии, Аккольти бросился на него с отравленным кинжалом. По другим слухам, он только пытался выхватить кинжал и не решился, а арестовали его дома, их выследил какой-то замечательный сыщик. А может быть, их просто выдали... Удивительнее всего то, что ему удалось найти сообщников, которые уверовали в его бред, и он их совершенно подчинил своему влиянию, а между ними были люди из хороших семейств, как, например, граф Каносса...

— Каносса? — переспросил Леонардо и рассказал, что покойный дядя вел их род от каких-то графов Каносса. — Серьезно требовал, чтобы я подписывался Леонардо ди Буонаррото Буонарроти Симони... Как многие незнатные дворяне, дядя часто говорил о своем происхождении, и я отлично знаю, что настоящие князья и графы над этим смеялись.

— У великих людей есть маленькие слабости, — сказал приехавший из Рима гость. — Что до этого Каносса, то он умер под пыткой. Другие были четвертованы на Козьей Горе. Аккольти проявил необыкновенное мужество...

— Козья Гора ведь это Капитолий? — спросил Леонардо, упорно желавший перевести разговор на менее мрачные предметы. Он рассказал, что покойный дядя очень интересовался раскопками в старом Риме и чрезвычайно высоко ставил найденный при раскопках торс.

— Не смею говорить в вашем присутствии, — обратился он к Вазари, который все время молчал, — но мы, простые люди, ничего особенного в этом торсе не видим. Я, однако, вполне признаю, — смеясь, добавил он, — что дядя понимал это лучше меня. Его лакей рассказывал мне, что он уже слепым приходил к этому торсу, гладил его и плакал. Это так меня взволновало, что я тогда же, в Риме, заказал себе хорошую копию торса. Вы ее, верно, видели? Она стоит в моем кабинете...

— И я допускаю, что ваш дядя понимал многое нам недоступное, — сказал, тоже улыбаясь, Вазари.

После обеда Вазари повели к детям. «Так уж у нас полагается, ничего не поделаете», — говорили весело

родители. Нельзя было не поддаться атмосфере радостной, привольной, честной жизни, которая стояла в этом счастливом доме. Дети были славные. «Который гениальный?» — спросил, не удержавшись, Вазари. «Ни одного гениального нет, — смеясь, ответил Леонардо, — вся наша семейная гениальность, видно, ушла в покойного дядю, а они будут, как я, неучи и дураки... Правда, Буонаррото?..» «Ну, ну, перестань», — запротестовала Кассандра.

Обещав детям сейчас же вернуться, они прошли в кабинет устраивать гостя. Там Вазари заговорил о своем деле; Леонардо тотчас, с полной готовностью, достал из шкафа дорогую шкатулку: в ней было все, что осталось от Микеланджело. «Рисунков сохранилось мало, дядя многое сжег перед смертью», — пояснил Леонардо. «Вот уж не понимаю зачем. Лучше бы оставил для бедных, верно, за каждый его рисунок можно получить золотой», — вставила Кассандра. «Дело не в этом, — поспешно поправил ее муж, — зато письма у меня сохранились, кажется, все. Одно только, — сказал он, засмеявшись на этот раз несколько принужденно, — дядя был человек суровый и со мной не церемонился. Я не хотел бы все же, чтобы вы судили меня слишком строго. Дядя иногда бывал ко мне несправедлив...» Вазари успокоительно потрепал его по плечу. «Я достаточно знал Микеланджело», — сказал он.

Оставшись один, Вазари устало опустился в кресло. Он почти жалел, что приехал: так тоскливо ему было в этом чужом доме. Подумал, что с утра его, верно, рано разбудят: детская была рядом с кабинетом, и оттуда доносились радостные крики. На столе в необыкновенном порядке были расставлены письменные принадлежности. Около стола, на этажерке, стоял тот самый торс. «Изваял афинянин Аполлоний, сын Нестора», — прочел Вазари греческую надпись. «Да, конечно, это прекрасно, я помню, — подумал он, — но одним художественным совершенством ничто не могло поразить Микеланджело. И сам он мне что-то говорил о простоте, о спокойствии, о мудрости. Он называл этого грека мудрецом... Теперь это пенат у Леонардо... Ну что ж, и этот тоже мудрец».

Вазари вздохнул и стал просматривать письма, написанные хорошо ему знакомым твердым, четким, вертикальным почерком. В них интересного было немного: все дела житейские и семейные. Микеланджело действительно не церемонился с племянником. «Не знаю, приехал ли бы ты ко мне, если бы я находился в нищете и без куска хлеба, — читал Вазари. — Ты только и заботишься о том, как бы получить мое наследство, а говоришь, что это был твой долг приехать сюда из любви ко мне. Если бы ты и вправду так любил меня, ты бы написал: «Дорогой Микеланджело, истратьте эти деньги на себя в Риме, так как вы нам уже достаточно давали, нам ваша жизнь дороже ваших денег...» Я был болен, ты же пришел ко мне, ожидая моей смерти и желая знать, оставляю ли я тебе что-нибудь. Неужели тебе мало того, что я имею во Флоренции? Ты очень похож на твоего отца, который выгнал меня из моего собственного дома. Знай, я так составил мое завещание, что ты не должен больше мечтать о моем имуществе в Риме. Убирайся с Богом, не показывайся мне на глаза и не пиши мне больше...» Эти письма, очевидно, нельзя было использовать в книге.

Оказались в шкатулке и стихи Микеланджело. «*Condotto da molti anni all'ultime ore — Tardi conosco, o mondo, i tuoi diletti...*»<sup>1</sup> — читал Вазари. «Да, невесело прожил старик, — подумал он. — Но кто же прожил умно? Уж не я ли?..» Он усмехнулся и, оторвавшись от стихов, усталился в выходявшее в сад окно. «Вот и я узнал поздно... Она ворвалась в мою жизнь, исковеркала ее... Она в самом деле была колдунья... Нет, она просто не понимала, в чем дело: за что я сержусь, почему мучаюсь, чего хочу? Повеселились — и слава Богу... От меня сбежала с мальчишкой, теперь сбежала и от него...» Из детской донесли счастливые голоса, визг. «...*La pace, che non hai, altrui prometti, — E quel ripose che anzi al nascer tuore... — Che'l vecchio e dolce ergore...*»<sup>2</sup> «Она тоже говорила, что все было ошибкой... Я знаю, ей не сносить головы, как тому сумасшед-

---

<sup>1</sup> «До последнего часа сожалею об истекших годах, поздно изведал я, мир, твои наслаждения...» (итал.)

<sup>2</sup> «...Неведомый тебе покой другому ты сулишь, покой, что умирает, не родившись, лишь сладостное заблужденье...» (итал.)

шему...» «Di me, che'n ciel quel sol ha miglior serte — Che ebbe al suo parte più presa la morte...»<sup>1</sup> «Вот разве что так. Но чему же тогда научил его афинянин Аполлоний, сын Нестора!» «Ты глуп, Буонаррото, ах как ты глуп, Буонаррото Буонарроти Симони!» — говорил за стеной счастливый голос Леонардо.

---

<sup>1</sup> «Скажи мне о том, что небо, на котором прекрасное солнце восходит, многое знало о смерти...» *(итал.)*

## ФЕЛЬДМАРШАЛ

*«Фельдмаршал» и «Грета и Танк» принадлежат к серии рассказов, несколько не связанных между собой содержанием. Автор не чувствовал себя способным писать теперь на темы, не имеющие отношения к происходящим в мире событиям.*

*В рассказе «Фельдмаршал» сделана попытка угадать настроение отдельных германских офицеров. Только будущее может, конечно, показать, угадано ли это настроение верно.*

*В основу рассказа «Грета и Танк» положено истинное происшествие, отмеченное в мемуарной литературе.*

*К этой же серии «Политических рассказов» относится «Микрофон», недавно напечатанный по-английски в «American Mercury». По-русски он появится в сборнике «Ковчег».*

Несмотря на изношенность рельсового пути, поезд фельдмаршала мчался с необыкновенной быстротой. Фельдмаршал не всегда ездил в экстренных поездах. Когда можно было, он, ради экономии, пользовался автомобилем или же приказывал присоединить свой вагон к обыкновенному поезду. Но на этот раз полученные из Берлина вести были слишком тревожны; они явно требовали его немедленного приезда. В них не было нового, совершенно нового, — дело это уже не раз обсуждалось, и его собственное мнение было известно тем, кому надлежало знать. Однако до сих пор обсуждалось дело лишь в предположительной форме. Очевидно, теперь собирались принять решение без него. Фельдмаршал был оскорблен и еще больше взволнован, поскольку он вообще мог волноваться: восторженные газетчики уже почти два года, точно сговорившись, твердили, что у него «железные нервы»,

«железная воля», «стальной характер», — все в нем было железное или стальное. Недоброжелатели же, не считавшие его военным гением и приписывавшие его блестящие успехи преимущественно усидчивости и работоспособности, говорили, что и зад у него железный.

Спал фельдмаршал довольно плохо. Глубокой ночью он проснулся с тоской и тревогой, поднялся на постели и с бьющимся сердцем, с расширенными глазами прислушался: «Что такое? Что это произошло?» Было темно и тихо. Вдруг поезд сильно качнуло, вдали нарастающе-тоскливо занял свисток локомотива. Фельдмаршал пришел в себя и с невыразимым облегчением убедился, что ничего страшного пока не произошло. «Да, да, «объявляю вас *арестованным*»... Но до этого еще далеко. Может быть, этого и вообще не будет... Я еду в Берлин, где выскажу свое мнение... Перед историей моя совесть будет чиста...» У него слегка стучали зубы — их по ночам во рту было немного. Он повернулся лицом к спинке дивана, подтянул сбившееся шершавое одеяло и скоро опять заснул — уже без кошмаров и сновидений. По полувековой привычке фельдмаршал проснулся без будильника — ровно в семь. «Morgenstunde hat Gold im Munde»<sup>1</sup> — так говорил в корпусе воспитатель.

Не оставаясь ни одной лишней минуты в постели, не обращая внимания на легкую головную боль, с утра особенно неприятную, — когда с ней просыпаешься, то уж на целый день, — он встал, вынул из стакана с расплескавшейся водой фальшивую челюсть и, брезгливо морщась, вставил ее в рот. Челюсть была сделана недурно, но изредка пластинка срывалась с неба (ему почему-то казалось, что это бывает с ним в минуты большого волнения). Фельдмаршал расстегнул пижаму и занялся гимнастикой. В тесном спальном отделении вагона при толчках поезда делать гимнастику было неудобно. На третьем движении Сандова, которое следовало повторить десять раз, он пошатнулся и, хоть успел схватиться крепкой сухой рукой за умывальник, больно стукнулся животом о выступ откидного столика. «Для моих камней это некстати!» — сердито подумал он, потирая ушибленное место. Недавно рентгенограмма показала, что у него в левой почке

---

<sup>1</sup> «Кто рано встает, тому Бог дает» (нем.).



камни: семь камешков, точно драгоценности в мешочке, аккуратно лежали на дне; смотреть на этот необыкновенно отчетливый удачный снимок ему было чрезвычайно неприятно. «Хорошо бы, если б они наконец придумали, что ли, какую-нибудь жидкость, чтобы растворить эту дрянь. Да верно и придумают — когда меня уже не будет в живых...» Он взглянул на себя в зеркало и поморщился. Решительно ничего *железного* не было в усталом, изрытом морщинами, невыбритом лице, в невысокой фигуре с обозначившимися ребрами, с уже ссыхающимися мускулами, с рыжеватой густой щетиной на груди. «Камни, фальшивые зубы. «Nur von Natur — hatte sie keine Spur...»<sup>1</sup> — еле слышно пропел он, усмехаясь, из какой-то оперетки, которую слышал в молодости. «Ну да на нужное время хватит!» Хотел было побриться, но раздумал: в поезде трясет, можно будет дома. Надевая тужурку, он слегка оцарапал руку приколотым к наружному боковому карману железным крестом. «Да, день неудачный, в такие дни ничего не выходит...»

«...Was sie hatte — War nur Watte — Falsche Zähne — und Frisur...»<sup>2</sup>

Фельдмаршал вышел в соседнее отделение вагона, служившее ему кабинетом, и принялся за работу. Он внимательно читал последние телефонограммы, сводки, доклады, делал отметки на полях и по некоторым вопросам тут же принимал резолюции. Но оттого ли, что у него болела голова, или все из-за беспричинной тревоги, работа не доставляла ему в это утро обычного удовлетворения. Он даже подумал, что германская армия не погибла бы, если бы он этих резолюций не принимал. Это была совсем необычная, *штатская* мысль. Не доставила ему удовольствия и первая папироса; хороших папирос у него уже давно не было, хоть кое-что было реквизировано в дружественной Болгарии.

В восемь часов денщик, ступая на цыпочках, как всегда глядя на него с изумлением и ужасом (фельдмаршал никогда не был с ним груб или чрезмерно строг, он просто его не замечал), принес чашку горячего — тоже плохого — кофе и какую-то еду. Фельдмар-

<sup>1</sup> «Ни следа чего бы то ни было природного в ней не было» (нем.). — Пер. авт.

<sup>2</sup> «Она состояла из ваты, фальшивых зубов и накладных волос» (нем.). — Пер. авт.

шал отпил глоток, поезд толкнуло, кофе пролилось на стол, испачкав угол превосходно отбитого на машинке доклада, — да, неудачный день: ничего хорошего сегодня ждать нельзя.

Прочитав важнейшие из бумаг (захвачено их в дороге было множество), он закурил новую, уже шестую за утро, папиросу и, откинув седую голову на борт кресла, положив ногу на ногу, стал обдумывать план предстоящего доклада фюреру. «На этот раз я скажу ему всю правду», — нерешительно подумал он. Вся правда заключалась в том, что военные дела надо предоставить военным людям. «Его дело — политика... Однако этот вопрос столь же политический, сколь военный? Все равно, он обязан тут с нами считаться. С военной точки зрения эта авантюра — безумие!» — сказал себе с силой фельдмаршал. Но он не был уверен, что с такой же силой скажет это вечером в докладе. «К несчастью, убедительность теряется оттого, что его любимчики и лизоблюды говорят ему другое!» — сердито подумал он, разумея фельдмаршалов, стоявших за войну с Россией. Эти фельдмаршалы вызывали у него сильное раздражение. Однако он интересовался только ими. Собственно, он лишь их да еще несколько десятков высших офицеров считал настоящими людьми. Ему и войну трудно было рассматривать иначе как историю разногласий и личных неприятностей между фельдмаршалами и генералами германской армии. «Если бы верховное командование проявляло больше гражданского мужества, если бы оно согласилось с моей точкой зрения, дела шли бы иначе...» Он сам себе ответил, что дела все же идут недурно. «Маляр часто бывал прав. Есть люди, серьезно — не только из подхалимства — считающие его гением...»

Эта мысль была тяжела фельдмаршалу не только потому, что Гитлер был ему очень неприятен, просто физически неприятен, своей косо закинутой вверх головой, своими усиками, своим чешско-австрийским говором, своим невоенным мундиром с открытым воротником и галстучком. Если б маляр оказался гениальным философом или великим физиком, фельдмаршал решительно ничего против этого не имел бы; он, как немец, этому порадовался бы. Но человек, не учившийся в военных школах, не получивший и общего образования, никак военным гением быть не мог, — это

для фельдмаршала была аксиома, отрицание которой означало вызов здравому смыслу и даже смыслу его собственного существования. «Достаточно и того, что уже пришлось нам всем пересмотреть! — подумал он. — Шикльгрюбер полновластный владыка Германии!..»

В час дня фельдмаршал встал и велел позвать к завтраку сопровождавшего его офицера. Фельдмаршала сопровождал в Берлин подполковник его штаба, носивший титулованную, сложную, со сквозняками, фамилию, перемежавшуюся частицами «фон» и «цу». Это был не первой молодости офицер, служивший в прошлую войну в кавалерии, не очень много знавший в новейшей военной технике и не очень желавший ее знать: для него *настоящая* война кончилась вместе с кавалерией, как *настоящая* жизнь кончилась с прошлой войною. Подполковник почти не принимал всерьез новый государственный строй. После падения монархии он двадцать лет прожил в своем имении, занимаясь сельским хозяйством и собиранием материалов для истории своего рода. В его округе подполковника называли за глаза просто «Der Graf» или «Herr Graf», без упоминания фамилии. Когда он приезжал из имения в соседний городок, на улице прохожие и лавочники почтительно кланялись, за исключением отъявленных социалистов, которые лишь приподнимали шляпу. В свой штаб фельдмаршал пригласил подполковника без восторга, по старому знакомству с его отцом; знал, что толку от него мало, но относился к нему благодушно. Теперь подполковник с утра, лежа в своем купе, читал английский уголовный роман: ему в дороге делать было решительно нечего.

Они позавтракали во втором вагоне поезда. Завтрак был не очень обильный, — война требовала уступок народным лишениям, спартанским нравам и тому общеизвестному важному факту, что фюрер не ест жаркого и не пьет вина, — однако недурной благодаря мясу, реквизированному в Югославии, маслу, реквизированному в Дании, овощам и фруктам, реквизированным в Греции, и особенно благодаря вину, реквизированному во Франции. Подполковник допустил вольность: сделал вопросительное предложение о бутылке шампанского. Хотя головная боль у фельд-

маршала не прошла и хотя врачи запретили ему алкоголь, он кивнул головой: вдруг именно от вина пройдет? Немного поколебавшись в вопросе о марках (выбор был немалый), подполковник остановился на Редерере.

— Бисмарк говорил, что пиво хорошо для фельдфебелей, красное вино для дам, а шампанское для порядочных людей, — сказал подполковник, повеселевший при виде ведерка со льдом. Никого не называя, он добавил что-то непочтительное о людях, пьющих воду и питающихся вегетарианской дрянью.

Фельдмаршал посмотрел на него и усмехнулся. Он знал, что его собеседник тоже терпеть не может фюрера. Но, хотя они совершенно доверяли друг другу, называть вещи своими именами не полагалось и между ними. Разумеется, подобно всем людям мира в счастливом 1941 году, они иногда обменивались мнениями о не пьющем ничего, кроме воды, маляре; все же полагалось соблюдать меру: *как-никак* у этого человека огромные заслуги перед Германией.

Несмотря на давнее соглашение: за столом войны не касаться, — они всегда невольно на войну сбивались, ибо с нею было теперь связано решительно все, вплоть до их личных интимных дел. Подполковник с увлечением рассказывал содержание английского романа — *kolourgamidal!*<sup>1</sup> — старый баронет найден с пулей в затылке за письменным столом своего кабинета в тот момент, когда он переделывал завещание; подзрения падают на одного из наследников, но в действительности... Фельдмаршал, почти не слушая, смотрел на него благодушно и думал, что у подполковника типично *породистое* лицо, — «разумеется, это очень условно: что такое породистая наружность?» — что в традиционных украшениях этого лица, шрамах от мезур и монокле, есть нечто наивное и ложно-самоуверенное и что говорит он так, как в Потсдаме при последнем императоре говорили уже лишь немногие. Все это было и забавно, и приятно фельдмаршалу. «Да, он не орел, однако в его стиле есть что-то милое и жалкое, как в старинных гравюрах. С ним можно быть откровенным, но незачем: какая от них польза? Впрочем, если ни с кем не говорить, то и сделать дело нельзя...»

---

<sup>1</sup> Восхитительно (нем.).

Он тотчас почувствовал легкий холодок в сердце, как всегда при мысли о *деле*. Мысль была пока несерьезная, далекая, теоретическая: не мысль, а *так*: что, если?.. «Разумеется, это пока не в порядке дня, это зависит от тысячи обстоятельств, и говорить об этом было бы нелепо или, во всяком случае, преждевременно. Однако между «преждевременно» и «поздно» тут нет середины... Да, от этого и от таких, как он, пользы ни малейшей. Редерер, Amorsäle, Adlon, — прежде двор и парады, — это они знают, больше ничего. В лучшем случае они могут быть декоративными адъютантами при Наполеоне. С их допотопными взглядами сам Наполеон умер бы подполковником армии Конде. К народу, даже к армии, с *этим* идти нельзя... Но в нем приятно джентльменство, порядочность, то, что он презирает гестапо и дружинников, просто не считает их людьми»... Подполковник от старого баронета перешел к англичанам вообще.

— ...В сущности, они последняя *настоящая* нация: нация, которая понимает и ценит традиции.

— Schon gut, schon gut<sup>1</sup>, — сказал, смеясь, фельдмаршал. — Вам надо было, дорогой мой, родиться в 17-м или в 15-м столетии.

Разговор перешел на войну. Они говорили о ней спокойно и беспристрастно, почти без хвастовства: вранье можно предоставить «Дойче нахрихтен бюро». Прямой смысл их мнений был: дела идут хорошо, но далеко не все еще ясно. Подразумевавшийся же смысл сводился к тому, что было бы гораздо лучше, если б... Однако даже за бутылкой шампанского между вполне верящими друг другу людьми невозможно было докончить: «...если б верховный главнокомандующий, бывший маляр по профессии и ефрейтор по службе, оставался по-прежнему ефрейтором и маляром».

— В стране, где ценят традиции, — сказал подполковник, — все знают свое место. Очень забавно то, что в «последней европейской демократии» (слово «демократия» подполковник произнес так, точно проглотил что-то очень невкусное), в «последней демократии» в решительную минуту на решающем месте оказался правнук герцога Мальборо, тогда как кое-где правят сын кузнеца, сын сапожника и еще черт знает кто! —

---

<sup>1</sup> Ладно, ладно (нем.) — Пер. авт.

Выражение «черт знает кто» могло включать и маляров, но это сказано не было. — Не выпить ли еще бутылку?

Фельдмаршал отрицательно мотнул головой и встал. В больших количествах взгляды подполковника его утомляли. Он вернулся в свой вагон, но сел не за письменный стол, а у окна, лицом к локомотиву. Поезд теперь качало меньше. «Да, это ненужная авантюра. Без нее война почти выиграна. Московские разбойники будут и дальше поставлять нам хлеб, сырье, нефть, марганец — все, что нам нужно. Напасть на нас они никогда не посмеют. Зачем же эта новая война? Разумеется, будут победы, блестящие победы, но дело не в победах, — не вполне убежденно подумал фельдмаршал: победы, блестящие победы, это и само по себе было очень недурно; он, в частности, имел в виду победы, одержанные им, а не другими фельдмаршалами. — Дело в том, чтобы выиграть войну и заставить Англию принять мир. Ведь всякий мир теперь будет полным нашим торжеством. А для этой цели мой план — единственный, отвечающий нашим интересам». Его план заключается в одновременном ударе на Гибралтар через Испанию и на Ближний Восток и Африку через Турцию. «Тогда еще несколько месяцев, и мир был бы заключен, тогда как эта новая авантюра ставит на карту *все!* Конечно, она не безнадежна, она имеет свои преимущества, — странно: *все* имеет свои преимущества, — но как можно идти на столь страшный риск? Он азартный игрок!» В душе фельдмаршал сочувствовал азартным игрокам: «Наполеон говорил, что его генералы порой проигрывают сражения потому, что думают, будто войну можно вести без риска... Однако...»

«Однако» не уложилось в определенные мысли. Он просто чувствовал, что война начинает его утомлять, — головная боль усиливала это чувство. «Величие Германии? Слава? Да, но всего этого у нас уже есть более чем достаточно. Что такое дела старика Мольтке в сравнении с нашими! После *такого* мира с Англией мы могли бы почтить на лаврах, не ожидая вмешательства проклятых американцев... Что же тогда? Маляр был бы одним из величайших людей в истории. Я...» Он уже получил все награды, — фельдмаршалом его сделал именно маляр, и ему трудно было поэтому отделаться от чувства, что он не совсем настоящий фельдмаршал: не такой, какими были Мольтке, или

Гинденбург, или Блюхер. «В прежние времена я стал бы графом...» Эту мысль он тотчас от себя отогнал, признав ее недостойной. «Весь вопрос в том, что нужно Германии».

На полях работали военнопленные. Фельдмаршал смотрел на них с неприятным чувством. «Работа как работа. Рабский труд? Ну что ж, не мы первые это выдумали. Конечно, в этом есть нечто тягостное...» Почему-то он вспомнил свой последний обход лазаретов на фронте и поморщился, — ранения, особенно ожоги, были ужасны; таких в ту войну не было. «Не довольно ли? — спросил он себя и еще раз удивился штатскому характеру своих мыслей. — Верно то, что нами — пусть под его руководством — сделаны гигантские дела, память о которых не умрет никогда. Но если все кончится катастрофой? Да, все дело в надлежащем выборе момента; не слишком рано и не слишком поздно. И едва ли это кончится без нас!»

Мысль его опять вернулась к тому, о чем говорить было невозможно, *преждевременно*, о чем и думать было страшно. Кто же *мы*? Два-три человека — и обчелся: другие не годятся и не пойдут. Но и с двумя-тремя поговорить об этом нельзя, по крайней мере сейчас. А нужны десятки людей! Всякий заговор предполагает сговор. А всякий сговор предполагает предательство... Да, конечно, пока это *так*... Он опять вспомнил о Наполеоне и усмехнулся. «В пору Наполеона не было гестапо. Забавно, что о роли Наполеона я мечтал и в двадцать лет, когда у нас для этого не было решительно никакой почвы. Но разве не сбилось многое из того, о чем я мечтал в двадцать лет?»

Фельдмаршал вздохнул, оторвался от окна и развернул купленную денщиком на станции газету. Он сначала просмотрел ее *начерно* — кажется, ничего важного. Не было как будто нигде и его имени. Прочел военный обзор, написанный штатским журналистом и потому совершенно не интересный. Его имя действительно в обзоре на этот раз упомянуто не было, хотя штатский журналист вообще ему покровительствовал. «Удивительно, что эти господа лучше нас знают положение на фронтах и так ясно во всем разбираются...» Прочел телеграммы, — ничего сенсационного как будто нет, но он понял, что первое его впечатление от газеты было ошибочным: есть важное, есть новое —

оно почти неуловимо чувствовалось и в телеграммах. Это была самая осведомленная и влиятельная газета, порою пользовавшаяся собственной информацией. Фельдмаршал с все росшим тревожным чувством прочел передовую статью по внешней политике. В ней тоже как будто не было сенсаций, но ему, как посвященному человеку, были ясны отдельные отдаленные намеки, *почти* ничего не означающие и вместе с тем очень значительные. «Да, по-видимому, у них дело уже решено!» Он сердито швырнул газету на диван, чуть было ее не *скомкал*, — очень неестественное движение, — придавил о пепельницу недокуренную папиросу и прилег.

«Однако мы теперь с ним связаны круговой порукой: если он полетит, то полетим и мы. Конечно, строй не выдержит поражения. А в случае поражения Германию не пощадят. Версальский мир ничто по сравнению с тем, который был бы нам навязан...» Мысль о том, что в этом случае пришлось бы возложить надежды на чужое сострадание, на чужой здравый смысл, на человечность, на всякие такие несуществующие и ни с чем не сообразные вещи, была невыносима. Он злобно перебрал в памяти прошлое. «1919 год, Эберты, Шейдеманы, Мюллеры... Версальский договор — «пусть отсохнет рука, которая его подпишет!»... А затем подпись под этим договором того коммивояжера по клозетам: вероятно, подпись с таким элегантным коммивояжерским росчерком... Комиссия по разоружению, доносы иностранным комиссиям немцев на немцев... Спартаковцы, Барматы, парламентское большинство в три голоса, занятие Рура... И тут же: «Свобода, равенство, братство». И тут же: «Какая радость: Германию удостоили приема в Лигу Наций!» От всего этого нас избавил *он*. Но это не резон, чтобы Германии с ним погибать, если все-таки он сумасшедший. Заговор вовремя, пока мы не разбиты. Какова же техника заговоров? Есть разные способы. Втереться к нему в доверие? Стидно? Нет, вздор, ничего не стыдно после всего того, что было, после того, что мы проделали или проглотили. В наши дни (может быть, и во всякие? но особенно в наши) люди, прожившие свой век джентльменами или даже рыцарями, должны понимать, что по счастливой случайности жизнь не поставила их в такие условия, при которых им нельзя было бы, никак нельзя, оставаться джентльменами и рыцарями. Это убавило бы



в них брезгливости, — сказал себе он, вспоминая кое-что в собственной карьере. — Заговор? Если на фронтах все будет идти хорошо, то, разумеется, в нем не будет необходимости», — почти с сожалением подумал фельдмаршал.

Мысль о заговоре в последнее время была одной из самых частых и самых страшных его мыслей именно вследствие полной новизны; такой мысли не было и не могло быть у его предков. «Разве лет триста тому назад?» Фельдмаршал открыл взятое в дорогу карманное немецкое издание Плутарха (на войне он считал нужным читать возвышающие душу книги, да еще легкие романы из военной жизни: Омптеду, Самарова). Но теперь ему не хотелось возвышать душу. «Если говорить правду (в этот день он все хотел говорить правду), классики очень раздуты. Меня они всегда утомляли, хоть я и старался восхищаться ими...» Опять развернул газету, попалась какая-то научно-популярная статья о пауках и мухах. «Итак, паутина по военной технике верх совершенства, а паук великий полководец. Его цель подвергнуть муху медленной страшной смерти... Отлично... Любопытно, как это совмещается с мыслью о благом Творце, так хорошо все это создавшем. Быть может, у пауков есть свое представление о Боге — о паучьем Боге...» Он опять удивился своим невоенным и вдобавок нечестивым мыслям. Прежде такие мысли никогда ему не приходили в голову. «Верно, общая моральная расшатанность сказалась и на мне. В молодости мы об этом не думали. Была настоящая Германия, был настоящий император, был настоящий Бог, все было настоящее, надежное, прочное, вот как валюта того времени. Мы всего этого и не обсуждали, мы даже не говорили и не думали об этом, как не говорили и не думали о валюте (прежде мне не пришло бы в голову и такое сравнение)... По службе от нас не требовалось ни пресмыкательства, ни подлостей, ни убийств... Чего же я хочу? Возврата к прежнему? Он все-таки невозможен. Величия Германии? Но это само собой, это выносится за общие скобки». Он не мог себя обманывать: ему эта война была нужна преимущественно для побед, для того, чтобы смыть позор прошлого поражения. Рынки, контрибуции, завоевания — это все было тоже лишь «само собой». «Какое именно величие и

какой именно Германии? Величие Шикльгрубера и его шайки меня не интересует! Что еще? Конечно, слава... Хотя слава в эту войну делится между слишком большим числом людей, не так, как во времена Цезаря или Ганнибала... И *главная слава* ведь достанется Шикльгруберу... В наших именах публика уже разбирается плохо: три немца из четырех, наверное, и не помнят, кто из нас на каком фронте командует... Так что же? — с досадой спросил себя он, чувствуя, что запутывается в мыслях. — Да, прежде все было ясно: надо исполнять приказы Его Величества. Теперь я *так* чувствовать не могу. Теперь я, пожалуй, не мог бы так чувствовать, даже если б был император. Я потерял способность быть колесом в машине», — нашел было он определение и поморщился: в этом определении тоже было нечто штатское и потому глупое и непривлекательное. Он закрыл глаза и скоро задремал.

Когда он проснулся, поезд уже подходил к Берлину. Подполковник почтительно осведомился, какие будут приказания. «Что бы ему приказать? Он мне решительно ни для чего не нужен». Фельдмаршалу не слишком хотелось показываться *там* в обществе этого офицера, взгляды и чувства которого сказывались во всем, от фамилии до монокля. «Мы, пожалуй, могли бы встретиться вечером, — начал он и не докончил, заметив разочарование, скользнувшее на лице подполковника. — Хотя нет, я буду занят. Вы можете, дорогой мой, провести вечер как вам будет угодно, и я надеюсь, что вы проведете его приятно», — сказал он, улыбаясь.

На перроне экстренный поезд встретили только власти вокзала. Приезд фельдмаршала держался в секрете, однако люди, составлявшие то, что в газетах загадочно называлось «осведомленными кругами», конечно, о нем знали. «Кое-кто мог бы побеспокоиться...» В сопровождении начальника станции и денщика с вещами фельдмаршал направился к выходу. На вокзале было немало солдат, они вытягивались и глядели на него выпученными глазами. Узнали его и в публике. Фотографии фельдмаршала часто печатались в газетах, но люди, не помнившие фотографий и не разбиравшиеся в погонах, тотчас замечали его по тому, как вытягивались солдаты. «Фельдмаршал фон...» — донесся до него шепот. На перроне люди поспешно

уступали ему дорогу и даже пятились к краю, точно было тесно, — начальник станции грозно обводил глазами встречающих людей. У выходной двери перед фельдмаршалом сам собой разрезался проход. Все это еще доставляло ему удовольствие, но уже не доставляло прежнего удовольствия. Он шел быстро, зорко глядя по сторонам. Вокзал был еще чист, но не так чист, как в обычное время. У солдат вид был еще хороший, но не столь хороший, как в начале войны. И общая картина вокзала еще свидетельствовала о порядке, но это был не прежний образцовый германский порядок. «По-видимому, механизм начинает изнашиваться. Однако его хватит еще надолго», — угрюмо думал фельдмаршал (почти в тех же выражениях, как о своем здоровье). Ему казалось, что и настроение на вокзале тревожное.

Дома ждать его было некому: семья не жила теперь в Берлине. Подъемная машина не действовала. Швейцара взяли на войну. Фельдмаршал отворил дверь своим ключом. У него была приблизительно такая же квартира, как у всех не слишком богатых, но и далеко не бедных немцев: балкончики в цветочках, раздвигающаяся дверь между новенькими парадными комнатами, в гостиной огромный Umbau<sup>1</sup> с Гёте и Шиллером в тисненых золотом коленкорových переплетах на полочках (настоящие книги были в шкафу в кабинете), большой бютнеровский рояль, горка фарфора, а в столовой стол необычайных размеров даже в нераздвижном виде, столь же колоссальный, с хитроумными приспособлениями буфет «Ренессанс», тяжелые стулья «кордовой кожи» с Лейпцигерштрассе, на стенах недорогие *nature morte*, изображавшие дорогую еду. Были, впрочем, и старинные дедовские вещи. На стене висела большая копия «Hunnenschlacht»<sup>2</sup> Каульбаха. На полке Umbau стояли бюсты Фридриха и Наполеона. Теперь на квартиру был старательно наведен летний беспорядок. Воздух был сухой и душный. Пахло нафталином. Денщик — все на цыпочках — отворил ставни, на солнечных лучах заиграла пыль. Мебель в чехлах была сдвинута к стенам. В ванной из кранов текла только холодная вода. Он выкупался и выбрился

---

<sup>1</sup> Шкаф (нем.)

<sup>2</sup> «Гуннская битва» (нем.).

без горячей воды, прошел в кабинет, где стулья почему-то были повернуты спинками вперед — дамская идея! — а стол покрыт листами «Фелькишер беобахтер» и «Локаль анцайгер». В доме, с тех пор как исчезла «Крейццайтунг», читались эти две газеты: первая, потому что ее *надо* читать, а вторая — для удовольствия: в ней все было старое, хорошее и солидное, и информация, и, в меру возможного, руководящие статьи, все вплоть до антисемитизма, тоже не уличного, а старого, хорошего, солидного.

Он подошел к шкафу. Над книгами средней полки лежала аккуратно перевязанная папка с рукописью: это были его мемуары, начатые уже довольно давно. «Недурно было бы подвинуть их вперед, нового материала достаточно», — подумал фельдмаршал, вспоминая толстые тома воспоминаний Людендорфа, Гинденбурга, Гофмана (папка как раз над ними и лежала). «Это что такое? Помнится, что-то неприятное. — Он развернул другую, лежавшую на этажерке папку и поморщился: рентгенограмма. Приподнял и посмотрел. — Да, проклятые камешки лежат так подло аккуратно, почти элегантно, этакая дрянь! Не надо было просвечиваться. Если любому человеку просветить его органы, то непременно что-либо найдешь. Ну, они нашли камни, это они умеют, а дальше что? Диета, да и той я не соблюдаю, и ничего...» Он опять подумал о какой-то жидкости, которую кто-либо мог изобрести и которая быстро растворила бы эти камешки, — гляди и нет их — вот как сахар быстро и приятно растворяется в чашке чая. Фельдмаршал спрятал снимок, оглянулся — по привычке, связавшейся с этой комнатой, — на стену, но отцовские часы с выскакивавшими, как в Ротенбурге, фигурами показывали двадцать минут одиннадцатого; вынул карманный хронометр, — «половина пятого, еще рано», — перешел в гостиную и устало опустил в кресло, резавшее его любящий симметрию взгляд своим странным положением, рядом с роялем сбоку. Он смотрел на «Гуннскую битву» и думал, что с камешками в левой почке и с фальшивой челюстью нельзя быть гунном. «Или в самом деле мне *это* надоело? Что же тогда осталось? Для чего жить?.. Нормальная жизнь тоже имеет свои преимущества. Недурно бы пожить спокойно, послушать опять музыку...»

В гостиной в мирное время его племянница с половины восьмого утра (раньше нельзя, хоть соседи не решились бы пожаловаться на генерала) играла «Лунную сонату» и «Кампанеллу» Листа. Сам он в это время завтракал один в своем кабинете. Фельдмаршал придавал особое значение утреннему завтраку и удивлялся, почему люди, старающиеся разнообразить блюда в полдень и вечером, по утрам годами едят одно и то же. Ему утренний завтрак подавался каждый день другой, только кофе был неизменный: очень крепкий, самый дорогой, из лучшего магазина, со свежими густыми сливками, с солоноватыми Semmeln<sup>1</sup> и с привозным датским, тоже превосходным, маслом («пушки или масло — как глупо! Далась им всем эта идиотская фраза! Точно при императорах не было у нас и масла, и пушек»). В его памяти этот удивительный кофе сливался со звуками «Лунной сонаты», — племянница, окончившая консерваторию, после трех лет играла и сонату и кампанеллу весьма недурно, с каждым днем лучше (как он с каждым днем все лучше постигал свое дело).

Теперь прежняя музыка, прежние завтраки, все лучшее в прежнем были далеко, очень далеко, и это сейчас было ему особенно ясно. Ощущения фельдмаршала от Берлина, от вокзала, от улиц, от попавшихся ему на пути разрушенных — пока еще, впрочем, редких — домов, от запущенной квартиры были нехороши. «Да, нехорошо, нехорошо дело! В мое время этого не было. И скверно то, что все вы, подлецы, меня предали», — угрюмо говорил со стены Вильгельм I в золотой раме (в комнате прежде был еще портрет Вильгельма II, снятый со стены — нерешительно — в 1918 году; пятнадцатью годами позднее он хотел повесить этот портрет снова, но раздумал). Голова у фельдмаршала болела все сильнее. «Неужели захворал? Этого бы только не хватало! Наполеон умер пятидесяти двух лет от роду...» Ехать с докладами еще было рано, но и сидеть здесь так без дела было тягостно и скучно.

Перед зданием канцлерства стояла большая толпа. «Это что же? Или они уже собираются объявлять?» — с беспокойством подумал фельдмаршал. На него в

---

<sup>1</sup> Булочки (нем.).

толпе не обратили внимания. К зданию почти беспрерывно подъезжали великолепные автомобили, из них с величественным видом выходили новые сановники. Все же какой-то фотограф узнал фельдмаршала и быстро щелкнул аппаратом. В холле дежурные дружинники отдали честь, но не так, как ему отдавали честь солдаты. Он окинул их недоброжелательным взглядом и такую же недоброжелательность прочел на их лицах — или, по крайней мере, ему это показалось. «Погодите, голубчики, скоро мы вас уйдем...» Какой-то неприятного вида человек в их форме, весьма почтительно, но с кривой улыбочкой на лице, проводил его в комнату с широкой дверью и мягко сказал, что тотчас доложит фюреру. Фельдмаршал сел у отворенного окна и уставился на толпу. «Да, что-то готовится. Значит, опоздал!» Он — для истории — взглянул на часы и запомнил время. По комнате беспрестанно проходили люди, все в их форме, необычайно воинственного облика, какой на фронте никогда не встречался. «Что за лица! Где это он таких набрал? Господам демократам полюбоваться бы!»

В веймарское время фельдмаршалу случалось встречаться с теми людьми, которых теперь в Германии объединяли под названием демократов (обычно к этому существительному добавлялись весьма нелестные прилагательные). Перед некоторыми демократами ему даже приходилось в свое время заискивать, хоть и без пресмыкательства (все же вспоминать об этом было неприятно). «С точки зрения господ демократов, это место — нечто вроде столицы царства зла, девятый круг Дантова ада. Меня, конечно, не интересует точка зрения господ демократов, но почему же и я чувствую здесь острое отвращение? Эти люди так же не *наши*, как евреи. Достаточно взглянуть на их лица! У демократов горбинка на носу и курчавые волосы, а на этих — Каинова печать. Шикльгрубер смеет говорить о немецких традициях, и его фамилия, вид, говор, место рождения вносят в это смешную ноту... Да, хороши лица! Каковы же в каторжной тюрьме?» Он тоскливо вспомнил приемы во дворце. «У нас таких людей не было и быть не могло. Как-никак наш строй существовал веками и строился в расчете на века. Нам были нужны люди с традициями, более или менее (конечно, лишь более или менее) застрахованные вос-

питанием, общепризнанными правилами, мнением своей среды, наконец, религией от царящей здесь низости. У нас было что защищать, а этим подонкам общества, вчера вылезшим из подполья, им наплевать на все: «хоть день, да мой, поживу и я в свое удовольствие!». Враги монархии и не понимают, какую устойчивость в мире она создавала. Мы не церемонились с врагами, но монархи, собравшиеся в 1815 году на конгресс в Вене, не навязали ведь побежденной Франции тех условий, которые демократы через сто лет навязали побежденной Германии. «Ведь из-за этих условий все и произошло, — по привычке сказал он себе и сам тотчас усомнился: — Новая война произошла бы и без этих условий, — он сам ее требовал бы. Монархи сознавали свою ответственность перед Европой и вдобавок верили в Бога. А эти!..» Вдруг на улице кто-то запел песню, тотчас подхваченную другими. «Как будто что-то новое? — подумал фельдмаршал, вслушиваясь в незатейливую мелодию и стараясь разобрать слова. «Führer, Führer, sei so nett, — Zeige Dich am Fensterbrett...»<sup>1</sup> Очень хорошо. Только и всего? Опять сначала? Отлично...» Фельдмаршал снова посмотрел на часы. Он с веймарских времен отвык ждать.

Кто-то из проходивших по комнате людей окликнул его радостным голосом, не то чтобы фамильярно, но без «Ваше Превосходительство» и не совсем так, как теперь говорило с фельдмаршалом большинство людей. Фельдмаршал с неудовольствием оглянулся. К нему подходил с протянутыми руками осажденный господин в штатском платье, явно выделявшийся своим видом среди хозяев этого здания. На лице фельдмаршала появилась приветливая улыбка. Этот господин имел право если не на фамильярность, то почти на равенство, поскольку вообще штатский человек мог претендовать на равенство с фельдмаршалом: это был знаменитый врач, лечивший виднейших людей Германии.

— Да, какими счастливыми судьбами, — повторил его выражение фельдмаршал, впрочем, протягивая лишь одну руку. «Все-таки приятно здесь увидеть человеческое лицо... Не спросить ли его тут же о головной боли и усталости?» — подумал он, но не спросил:

---

<sup>1</sup> «Фюрер, фюрер, будь так мил, покажись у окна...» (нем.) — Пер. авт.

железному человеку теперь не полагалось ни болеть, ни быть усталым.

— Я вас не поздравляю с победами, потому что уже поздравлял, и побед было так много, что я просто не помню, поздравлял ли я вас после самых последних. Вообще поздравлять вас всех теперь пришлось бы каждый день, — весело сказал профессор. Слова «вас всех» не понравились фельдмаршалу: он был не «вы все»... Не очень понравился ему и тон фразы. Знаменитый врач лечил сановников и богатых людей при императорском, при веймарском и при нынешнем строе, причем ухитрялся со всеми во все времена, даже с евреями при Гитлере, поддерживать хорошие отношения. Он зарабатывал и тратил огромные деньги, страстно любил жизнь, женщин, вино, роскошь и старательно молодился. По-видимому, больше всего он опасался, как бы в нем не сказалась черта *старческого брюзжания*; принадлежал он к той не слишком привлекательной породе стариков, у которых на лице написано, что они *молоды духом*. Профессор увлекался всем новым в медицине, в политике, в экономической жизни, радостно предсказывал близкий конец капиталистического строя и непрерывно покупал все новые дома и акции промышленных предприятий, работающих на оборону, но и не слишком связанных с войной. В военное время он продолжал заниматься (или говорил, что занимается) дорогими, по возможности, новыми видами спорта. В этом могло бы показаться нечто вызывающее: «война войной, а спорт спортом, одно другому не мешает», но он никакого вызова не имел в виду. В разгар войны профессор уезжал в Сент-Моритц, в Интерлакен и, вернувшись на родину, в беседах с расистами бодро и жизнерадостно хвалил швейцарские порядки: «Они делают большие шаги вперед». «Благодаря демократическому строю?» — спрашивали его иронически. «Или несмотря на демократический строй», — отвечал он более или менее уклончиво: все-таки чрезмерно рисковать не надо. Хотя профессор беспрестанно говорил о политике, никто не мог бы сказать, каковы его политические взгляды. Он занимал такое положение в медицинском мире, и в нем так нуждались правители государства, что он мог себе позволить гораздо больше, чем другие. Ему не отказывали в визах, в услугах и поддерживали с ним



приятельские отношения. «Верно, он и сейчас устраивает себе здесь какую-нибудь визу? Или лечит высокопоставленных пациентов? Или хлопчет о каком-нибудь богатом еврее?» — подумал фельдмаршал. Профессор сел рядом с ним и принялся его расспрашивать о здоровье.

— В чужом доме я за консультации денег не беру, — пошутил он, — но мне не нравится ваш вид. Между тем вы нужны Германии, — прибавил профессор, вглядываясь в лицо фельдмаршала и показывая интонацией, что больше не шутит. Выслушав беглые, как бы неохотные показания собеседника, он посоветовал ему проводить возможно больше времени на воздухе и поменьше волноваться. «Не давать же ему бромистый натр», — подумал профессор, чувствуя, что неудобно рекомендовать железному человеку средства против расстройства нервов. Сам он в железных людей не верил, почти всех их лечил и знал, что по мнительности и слабостям они ничем не уступают нежелезным. Фельдмаршал слушал его с хмурой усмешкой.

— Возможно меньше волноваться и проводить время на свежем воздухе? — иронически переспросил он. — Не уехать ли лучше в горы, так, месяца на три?

— Это было бы превосходно, — рассеянно ответил профессор и, спохватившись, засмеялся, придав своему ответу вид шутки. Он заговорил о войне. — Насколько я могу судить, скоро надо ждать больших событий, — понизив голос, сказал он и полувопросительно взглянул на фельдмаршала, как бы говоря: «Конечно, вам все известно, и вы вправе не сообщать». «Если б он знал, что мне известно меньше, чем ему!» — подумал фельдмаршал.

— Не могу сказать, — кратко ответил он. Профессор посмотрел на него.

— Я могу судить только по состоянию главного пациента, — сказал он, наклонившись (от него запахло вином) и понижая голос почти до шепота, хотя в комнате никого не было.

— И что же? — быстро, тоже почти шепотом, спросил фельдмаршал.

— *Мы* в большой агитации, — прошептал профессор. — Говорят даже, что *мы* вызвали астролога. — Фельдмаршал изменился в лице. — Но может быть, это и враки: ведь ни о ком на свете не врут столько,

сколько о нем. — На лице профессора заиграла неопределенная улыбка, тотчас передавшаяся фельдмаршалу, как будто на нем отразившаяся. С минуту они молча смотрели друг на друга. Оба чуть побледнели. — Конечно, неизвестно, что из всего этого может выйти, — прошептал профессор. — Я, впрочем, не думаю, чтобы в ближайшие дни последовало что-либо важное. — С улицы донесся опять тот же куплет. Кто-то заглянул в гостиную. — Очень славные стишки, — сказал профессор громко. — Не Гёте, но очень мило. Есть и зимний вариант, вы не слышали? «Führer, Führer, komme bald, — Unsre Füße werden kalt»<sup>1</sup>, — спел он, все так же улыбаясь. Профессор взглянул на часы, ахнул, крепко пожал руку фельдмаршалу и пошел к выходу спортивной походкой *совсем молодого человека*. Как молодой человек, он летом и зимой ходил без шляпы и очень этим гордился.

«Когда он подошел к реке Рубикон, отделяющей альпийскую Галлию от остальной Италии, мысль у него заработала. Опасность близилась. Он очень колебался, думая о величии предприятия, которое начал. Цезарь приказал сделать остановку и погрузился в размышления. Он постоянно менял намерения, не произнося ни слова. Мысли его шатались. Затем он поговорил с друзьями, которые были с ним (один из них был Азиний Полло), размышляя о том, какое множество бедствий для человечества повлечет за собой переход через эту реку и в каком свете он будет передан потомству. В конце концов, в припадке страсти, отбросив размышления, положившись на то, чему суждено быть, он произнес поговорку людей, решающихся на опасный и смелый поступок: «Жребий брошен!» С этими словами он перешел через Рубикон. Говорят, что в ночь накануне этого дня Цезарь видел нечестивый сон: он имел неестественную связь со своей матерью».

Так рассказывает Плутарх. «Может быть, и неправда? Он лгун», — думал фельдмаршал, вспоминая этот рассказ. «Говорят также, что перед «*Alea jacta est!*»<sup>2</sup> Цезарь сказал: «Либо остаться по эту сторону Рубико-

---

<sup>1</sup> «Фюрер, фюрер, появись поскорей, у нас созябли ноги» (нем.). — Пер. авт.

<sup>2</sup> «Жребий брошен!» (лат.)

на, на свое собственное несчастье, либо перейти через реку, на несчастье человеческого рода...» Фельдмаршал и сам ясно себе не представлял, о ком он думает, вспоминая Цезаря: о себе или о фюрере?

Его все еще заставляли ждать, и раздражение у него росло. За дверь, по галерее проходили люди. Некоторых из них он знал. «Да, низшая порода людей. Мой граф головой выше их! — думал он со злобой. — Рубикон? Быть может, сегодня переходится такой Рубикон, по сравнению с которым тот ничего не стоил. О чем же они размышляют? Какие сны снятся *им*? Да ровно ничего! Идет болтовня за пивом: «...Но какое впечатление произведет в Америке то, что мы объявляем войну коммунизму?..» «У них есть, однако, от 160 до 180 дивизий...» «Мы врежемся в них, как нож в масло...» «Нам нужны нефть, хлеб, естественные богатства русской сволочи!» Все это наудачу, без знаний, без проверки, первое, что приходит в голову каждому из них, ничтожеств и полузверей. Но ведь их поддерживают и некоторые фельдмаршалы? Да, преимущественно лизоблюды, из тех, что ловят каждую *его* мысль и стараются забежать вперед. И еще те, которым всякая военная задача интересна как военная задача; так шахматисты пробуют новый дебют: посмотрим, что из этого выйдет... Мой план тоже связан с кровопролитием, и я, слава Богу, не вегетарианец, но мой план куда-то ведет, он обещает дорогу к миру, и при нем крови, немецкой крови, было бы пролито неизмеримо меньше. Что же думает сам Шикльгрубер, тот, от которого все зависит? Вероятно, он ждет *внутреннего голоса* или толкует слова астролога! Кроме того, он наслаждается. Я знаю твердо: это его главное наслаждение — из-за природной несклонности к другим для него нет ничего слаще того, что все, весь мир, ждут решения, *его* решения. И, должно быть, в ту минуту, когда кто-либо из них, например толстяк в шитом мундире, называющийся «рейхсмаршалом» (и чин такой для него выдумали!), больше всего на свете любящий пиво и золотое шитье, высказывает свои глубоко-мысленные соображения, — Шикльгрубер слышит *вну-*

*трениый голос!* О, бедная муза истории! Из-за внутреннего голоса, слышащегося не вполне здоровому человеку, погибли миллионы людей, и другие миллионы будут искалечены, — немцы! какое мне дело до русских? — и десятки поколений заслуженных, ординарных, экстраординарных профессоров будут глубокомысленно изучать причины этого явления!»

Мысль его снова сладко-тревожно остановилась на заговоре. «Как это сделать? Да, конечно, лучше всего использовать момент, когда он будет находиться в одной из наших ставок... Какие же это *наши* ставки? Только одна и есть: моя. Быть может, о том же думают и другие, но они мне не скажут, как и я не скажу им... «Фюрер, объявляю вас арестованным!» В этом случае можно бы обойтись и без обращения «фюрер». Его сопровождают дружинники. Нужны *исполнители*. Такие, как мой граф? Но допустим, что исполнителей я найду. Дальше что? После того как он будет *арестован* (с еще более сладко-тревожным замиранием сердца фельдмаршал подумал, что слово «арестован» тут чистейший эвфемизм: в таких делах не арестовывают). Тогда объявляется диктатура... Кроме себя, я не вижу кандидата... Выпускается воззвание к немецкому народу: мы решились на это дело, чтобы спасти Германию, чтобы обеспечить выгодный и почетный мир, невозможный при этом безумце. Одновременно Англии делается мирное предложение. Одновременно армия *арестовывает* ближайших к нему людей, всю сволочь гестапо, всю партийную шайку. Армия пойдет за нами и сохранит дисциплину. Затем восстановление монархов при *нашей* фактической диктатуре...»

В галерее что-то произошло. Вдали отворилась большая дверь, отворилась не так, как вообще отворяются двери. За ней были видны высокие стоячие канделябры, огромные картины, люди, выстроившиеся четырехугольником в нечеловеческом порядке. По галерее быстро прошел человек в невоенном мундире, с открытым воротником. Глаза у него горели, лицо было вдохновенное. «О, пародия на Цезаря! — с удиви-

вшей его самого ненавистью подумал фельдмаршал. — Вот то малое, гаденькое, ничтожное, что в воображении людей погубит настоящее и большое!»

Двери затворились так же неестественно. Послышался голос, *этот* голос, теперь известный каждому человеку в мире. «Значит, мне ждать еще по меньшей мере полчаса!» — сказал себе фельдмаршал. К нему подходил человек с кривой улыбочкой. По его виду было ясно, что произошло нечто неприятное: неприятное не для него самого. «Какая, однако, гнусная фигура, выделяется даже здесь...» Остановившись в дверях, человек с улыбочкой вынул спички и стал неторопливо закуривать папиросу. Первая спичка потухла. Он оглянулся, разыскивая пепельницу, сунул спичку назад в коробочку, зажег вторую и закурил.

— Фюрер не любит, чтобы тут курили, — сказал он ласково, — но ведь окна отворены... Фюрер приказал передать Вашему Превосходительству... — Он втянул и выпустил дым. — ...приказал передать Вашему Превосходительству, что не может принять Ваше Превосходительство... Фюрер занят *важными* делами. — Эти слова он прибавил от себя. — Фюрер также просит Ваше Превосходительство выехать по месту службы Вашего Превосходительства... По возможности немедленно, — тоже от себя вставил он.

Челюсть шевельнулась во рту у фельдмаршала. Он вспыхнул, хотел было что-то сказать, но не нашел нужных слов. Он простоял с минуту неподвижно (потом об этой минуте сожалел так, что лицо дергалось при воспоминании). Повернувшись на каблуках, он пошел к выходу, не сказав ни слова. В ту же секунду он почувствовал, что больше всего в мире ненавидит маляра со смешной фамилией, с фальшиво-вдохновенным лицом, в невоенном мундире, под серый сюртук Наполеона. И сколько бы Шикльгрубер ни сделал для армии, для славы, для Германии — мысль должна работать только для одной цели: чтобы преждевременное не стало поздним. «Фюрер, объявляю вас *арестованным...*»

Человечек с кривой улыбочкой уже не обращал внимания на фельдмаршала или делал вид, что не обращает. «Экое дурачье! Чего они орут? Фюрер и не думает выступать сегодня. Так всегда: распустят какие-нибудь идиотские слухи и верят», — сказал он кому-то из людей, вошедших за ним в приемную. Выйдя на балкон, он высоко поднял руку. За окном пронесся радостный гул, перешедший в долгий адский рев. Затем снова послышалось пение:

Führer, Führer, sei so nett,  
Zeige Dich am Fensterbrett.

## ГРЕТА И ТАНК

Он был грозный эссеист, собиравшийся стать великим романистом, — опасная порода людей. В журналах и газетах крайне радикального направления часто — по мнению многих, слишком часто — появлялись его статьи, обычно заключавшие в себе разносы. Работал он легко и в два-три часа разносил книгу, стоившую ее автору нескольких лет труда. Не было, кажется, в мире знаменитого писателя, которому он не объяснял бы, как следует писать. Расчет был правилен: его тон создал ему немалую репутацию. В газетах его называли «метром», и он читал это с тем же примерно удовольствием, какое испытывает ветеринар, когда вежливые или нуждающиеся в нем люди называют его доктором. Кроме литературно-критических статей, он писал общие этюды — так, ни о чем в частности, — называл их философскими. Писал и чисто политические статьи, чрезвычайно суровые в отношении капиталистического мира. Он иронически обсуждал ошибки президента Рузвельта и снисходительно трепал по плечу Уинстона Черчилля, — от этого легкомысленного сорванца чего уж требовать? Когда же в одном из тех, весьма разнообразных, «кругов», в которых он, по принятому, но непонятному выражению, *вращался*, заходила речь о политике большевиков, эссеист обычно молчал с легкой усмешкой и лишь изредка небрежно *бросал*: «Все это совершенно неверно», ясно показывая интонацией и выражением лица, что если бы он мог и хотел поделиться с собеседниками известными ему тайнами, то они не несли бы такого вздора и сами его постыдились бы. Он был членом многих культурно-политических обществ и виднейшим деятелем Общества друзей СССР.

В среднем он наставлял мир три раза в месяц. У него были большие связи в светских, литературных и политических кругах разных стран. Немалое, унасле-

дованное от отца-биржевика состояние очень способствовало его связям. Он много путешествовал, во время путешествий писал изящные путевые очерки, пестревшие редкими и звучными именами старых итальянских или испанских архитекторов, художников, скульпторов вроде Арнольфо ди Лапо, Симоне ди Крочифисси, Хацинто Жеронимо де Эспиноза, Хуана Руиса де Кастанеды. Враги его, читая, пожимали плечами и говорили: «Графоман!» В свободное время он понемногу подготавливал материалы для большого художественного произведения, которое должно было наконец показать миру, что такое настоящая литература. Об этом подготавливаемом *opus magnum* уже неоднократно появлялись многообещающие заметки в литературной хронике газет: он громил прославленных писателей, но всегда старательно поддерживал добрые отношения с хроникерами.

Он считался идейным человеком и был бы искренне изумлен, если бы кто-либо высказал предположение, что ничего идейного в нем нет, что душа у него насквозь проплеванная, притом от природы, что он просто прохвост, сам того не замечающий: как большинство людей, он был почти лишен способности оглядываться на себя, на свои поступки и на настоящие причины своих поступков. С этим свойством трудно стать романистом, и роман его был бы, во всяком случае, лишь подделкой под искусство. Но к подделкам он привык, глаз у него был наметанный, и, возможно, ему удалось бы написать роман, который был бы ничем не хуже сотен других романов, появляющихся во всех странах мира и порою имеющих большой успех. Для этой книги (ее сюжет еще был почти не намечен) эссеист, по собственному выражению, «коллекционировал человеческие документы».

Как коллекционер человеческих документов, он, находясь проездом в одной из небольших европейских столиц, и познакомился с Гретой. Ему было известно, что именно Грета отравила человека, кое-где известного под кличкой Танк. Это убийство, совершенное в 1936 году при загадочных обстоятельствах, не вызвало шума в мире. Обе борющиеся стороны, ГПУ и гестапо, были тогда одинаково мало заинтересованы в том, чтобы оно вызвало шум, а местные следственные власти и полиция охотно избавились от дела, которое



ничего, кроме политических неприятностей, не сулило. К тому же факт насильственной смерти доказан не был. Однако кое-кто из близких друзей Союза знал, что организатором убийства был человек с кличкой Шеф, а исполнительницей — Грета. Эссеист слышал об этом от одного из второстепенных участников. Этот участник вообще болтлив не был, — болтливые люди к подобным делам не привлекаются, — но за бутылкой вина иногда говорил лишнее. Благодаря вину и врожденной человеческой потребности в хвастовстве совершенных тайн не бывает и в нынешнем темном, очень темном мире.

В числе многих кругов, в которых эссеист вращался, были и круги весьма влиятельные: там его ценили как человека богатого и идейного, — богатство еще увеличивало его идейность: он ведь был другом Союза, отменившего частную собственность (правда, своей частной собственности он не отменил). Благодаря своим связям эссеист однажды имел возможность оказать Шефу услугу. Он был с ним знаком и даже знал его настоящую фамилию. Подлинного имени Танка эссеист не знал. Ему было лишь известно, что Танк не немец, что это бывший офицер какой-то иностранной армии, почему-то поступивший на службу гестапо и получивший странное прозвище за свою необычайную физическую силу и размеры. Что до Греты, то так прозвал ее сам эссеист: при первом же знакомстве она показалась ему похожей на Грету Гарбо. Он тотчас ей это сказал — какие же лучшие слова можно для установления хороших отношений сказать молодой даме, будь она хотя бы и архикоммунисткой?

— Мне это уже не раз говорили, — ответила она, засмеявшись. Смех у нее был не совсем приятный. В голосе у нее были не три октавы, как у Малибран, а как будто лишь три ноты.

— Но вы еще демоничнее, чем Грета, — сказал он, тоже смеясь. — Не скрою от вас, ваша биография мне не совсем незнакома.

Он хотел дать ей понять, что ему известна ее роль в убийстве Танка. Она ничего не ответила. Только уголок рта у нее чуть шевельнулся, — «совсем как у Греты!» — подумал эссеист. Ему показалось также, что «в ее стеклянных глазах промелькнул ужас». Однако, быть может, ее глаза не показались бы ему стеклян-

ными и, быть может, он не заметил бы в них ужаса, если бы не знал, что она отравила человека.

Они заговорили о другом. Как женщина, она его не волновала; ему не нравились женщины этого типа. «Не отрицаю, она красива... Для моего романа нельзя подыскать героиню лучше», — сказал он себе и радостно подумал, что борьба ГПУ с гестапо могла бы дать превосходный сюжет. «Все, кажется, уже использовано в литературе, кроме этого! Надо будет показать, что только идиоты или мерзавцы могут находить что-либо общее в этих двух организациях: общее между идеалистами и гангстерами!» Он тут же решил, что так или иначе добьется «исповеди» Греты: ему исповедовалось столько женщин! «Занимается ли она и сейчас этим ремеслом? Казалось бы, в этой благословенной провинции им заниматься трудно... Да, она красива. Но в ней есть нечто змеиное...»

Он вдруг вспомнил, что очень давно, когда ему было лет восемнадцать, в его родной городок приехала бродячая труппа, показывавшая вместе с другими зрелищами «женщину с удавом». Мрачная брюнетка совершала разные движения на эстраде балагана, причем вокруг ее тела обвивалась громадная змея. Брюнетка была молода, недурна собой и вполне доступна; тем не менее никакого успеха у веселящихся мужчин она не имела. «Неуютно: вдруг из-под дивана выползет этот проклятый удав!» — так кто-то выразил общее чувство. Это воспоминание очень его позабавило.

— Я знаю, что вы писатель, — сказала Грета, медленно вскинув на него глаза, — но ничего вашего я не читала. И даже не знаю, о чем вы пишете.

— Вероятно, вы не очень интересуетесь литературой? — спросил он сухо и поделился с ней воспоминанием о женщине с удавом. Хотя он придавал воспоминанию другую, скорее лестную форму, Грете оно не понравилось. Она «смерила его взглядом», как на экране разорившаяся княгиня, ставшая манекеншей в модном магазине, мерит взглядом человека, принявшего ее за настоящую манекеншу. «Положительно, в ее жизни кинематограф сыграл большую роль. По кинематографу, надо думать, живет немало женщин ее профессии», — подумал он. Ему пришло в голову, что слова «женщина с удавом» могли бы быть хорошим заглавием для романа. Он, впрочем, жестоко разбра-

нил бы за пошлость всякого другого романиста, который выпустил бы книгу под таким заглавием.

На следующий день он послал ей тщательно подобранный букет. Тут были орхидеи, что-то красное, что-то черное — все это могло иметь сложный символический смысл. Он отлично знал язык цветов; дамы, у которых эссеист обедал в течение года, долго обсуждали и толковали состав его новогодних и других букетов. Все же *подобной* даме он еще никогда в жизни цветов не посылал. Она ответила ему запиской; в ней были две орфографические ошибки, но в основном записка была такая, какую могла бы написать обыкновенная светская женщина.

Они встретились снова и на этот раз разговаривали долго. Ей было известно, что к нему относятся с доверием. Он был два раза в Москве и небрежно рассказывал, немного преувеличивая, о своей дружбе с московскими сановниками. Она слушала внимательно. Говорили и о многом другом. Уровень ее образования был ему неясен. Его удивило то, что она порою впадала в грубовато-циничный тон, почти в тон женщины легкого поведения. Но в этих случаях было ясно, что это делается как бы в кавычках: «Вот как можно было бы сказать на языке кокоток — и почему же не сказать?» Это не мешало ей вполне прилично поддерживать и разговор интеллигентский. Она даже вставляла, впрочем редко, ученые слова с интонацией: «Ну что ж, могу говорить и так, знаю и это...» Тон ее вообще менялся, словно Грета то забывала, что она роковая женщина, то спохватывалась. Если бы не ее неприятный голос, он был бы вполне ею доволен. Вторая беседа очень подвинула его дело: теперь он был почти уверен, что в подходящей обстановке, при достаточном количестве вина добьется ее исповеди. Прощаясь, он предложил на следующий день покататься в автомобиле по окрестностям города, — «говорят, здесь очаровательные окрестности!» — а затем вместе пообедать. Она опять вскинула на него глаза и засмеялась. Ее лицо вдруг переменялось, плечи сузились, фигура стала дряблой, голова склонилась вперед и набок.

— «Говорят, здесь очаровательные окрестности!» — сказала она. Эссеист остолбенел. Он почти не замечал своего говора, интонаций, манер, однако почувствовал разительное сходство.

— Я не знал, что у вас дар имитации, — холодно сказал он.

— Надо же и мне иметь какой-нибудь дар. Кататься я с вами не поеду.

— Почему же?

— Не поеду. Меня укачивает в автомобиле. И я не так люблю природу. Да и окрестности тут не такие уж очаровательные: озеро, роща, все, что есть везде. А пообедать с вами я рада... Разумеется, в отдельном кабинете? — с неприятной, злой усмешкой спросила она.

— Да, я предпочел бы, если вы позволите... Что может быть лучше атмосферы интимной беседы с женщиной, которая... — начал он. Она его перебила.

— Здесь есть отличный ресторан с отдельными кабинетами, но это обойдется вам дорого. — Он вспыхнул. — Впрочем, у вас много денег.

— Как приедешь, я тут ничего не знаю. Пожалуйста, выберите сами место...

— Я выберу, — сказала она и залилась смехом роковой женщины кинематографа.

Отдельный кабинет (тоже принятое и непонятое слово) был не совсем такой, как кабинеты первоклассных ресторанов в больших столицах. В нем эссеисту понравилась старомодная, уютная провинциальная солидность. «Есть тут что-то благодушно-буржуазное, это комната не для кутежей, а для небольших юбилейных обедов. Сколько тостов, верно, здесь произносилось по случаю 25-летия беспорочной службы глубокоуважаемого юбиляра», — подумал он. У стола стояло лишь два тяжелых кожаных стула. Остальные были расставлены по стенам. Только широкий диван мог иметь не юбилейное назначение. Входили в кабинет через небольшую переднюю с огромным зеркалом.

Он вслух, в вопросительной форме, читал поданное лакеем меню, вставляя свои гастрономические соображения.

— Нет, супа я не хочу. Закуску... И рыбу, — сказала она, раскрыв переплетенную карту вин.

— Вы начнете с коктейля? Я предпочитаю классический херес наших отцов.

— Я предпочитаю водку. У них есть русская водка. К рыбе Chablis, к мясу Château-Margaux. Потом шампанское.

— Превосходно. Вполне одобряю, — заметил эссеист, впрочем не совсем довольный. В его планы входило подпоить ее, и скуп он не был; однако ему показалось, что она заказала слишком много вина. «Неужели она алкоголичка? Собственно, ей полагалось бы быть морфинисткой или эфироманкой».

Когда выпито было достаточно, он, после осторожных подготовительных разговоров, особенно прочувствованным тоном попросил ее рассказать о деле Танка. Разумеется, слова «убийство» он не произнес.

— Вы знаете, что я друг и что мне можно рассказать *все*.

— Зачем? Не понимаю, — сказала она, подливая себе вина. — Ведь об этом писать в газетах, разумеется, невозможно. — Она нервно передвинула с левой стороны на правую лежавшую перед ней красную, под цвет перчаток, вечернюю сумку.

— Я не газетчик, — обиженно ответил он. — Вы, надеюсь, не предполагаете, что я хочу вас использовать для интервью? И я достаточно ответственный человек, чтобы понимать, что можно и чего нельзя печатать.

— Зачем же это вам нужно?

— Все, что вас касается, интересует меня. Мы, писатели, теперь выполняем роль священников. Ведь в идее исповеди есть глубокий психологический и моральный смысл...

Она засмеялась.

— Исповедоваться я не собираюсь. Ни священникам, ни вам. А бояться мне нечего: ни малейших улик. Ну что ж, если хотите, спрашивайте.

— Благодарю вас от всей души за этот знак доверия, — сказал он и прикоснулся к ее руке в доказательство того, как он тронут. — Итак, я буду спрашивать. Вам поручил сделать это Шеф? Я с ним знаком, ведь я от него узнал о вашем участии в этом деле, — соврал он, чтобы рассеять в ней остатки осторожности. — Но я не знаю его близко. Что он за человек?

— Что за человек Шеф? — переспросила она удивленно. — Так вы не знаете, что он за человек? — Она засмеялась. — У нас, впрочем, этим не интересуются. Делай свое дело исправно, это все, что требуется. Он свое дело знает... Что за человек Шеф! — повторила

она и снова засмеялась. — Что ж, вы его встречали, значит, знаете, что он большой шутник. Шеф обо всем всегда говорит шутливо, он иначе и не умеет разговаривать. У него выработался какой-то шутовской стиль... — «Она его ненавидит», — сделал нетрудное заключение эссеист. Ее лицо опять совершенно изменилось. Эссеист ахнул: перед ним был Шеф, со своей сладенькой улыбочкой и бегающими злыми, жестокими глазками. — «Милая, прелесть, — сказала она, с необыкновенным искусством воспроизводя голос и интонации Шефа, — да это просто, это чрезвычайно просто. Ведь Танк — пьяница, и это наш главный шанс. Пьяницы, дорогая, бывают разные. Одни веселят от вина и становятся разговорчивыми, он, к несчастью, не таков. Другие от вина становятся злы и проницательны, он, к счастью, и не из этих. Третьи просто тупеют. Таков Танк...»

— Как вы изумительно ему подражаете! Но, простите меня, я вас перебиваю: он именно *это* говорил или вы просто воспроизводите его манеру речи?

— Он это говорил, — сказала она, помолчав.

— Умоляю вас, продолжайте! Что же он сказал?

— Что сказал? Велел его отравить. Только и всего.

— «Велел его отравить», — повторил эссеист и остановился: так странно было слышать такие слова, особенно за ужином, в этой уютной комнате. Ни ужаса, ни отвращения он испытывать не мог: наше время — эпоха великих социальных потрясений, человечество переходит к лучшему будущему, и было бы глупо подходить к явлениям и к людям со старыми моральными мерилками. Правда, применял он этот принцип лишь односторонне; но, когда при нем ограниченные люди без исторического масштаба говорили о преступлениях большевиков, его *легкая усмешка* становилась особенно пренебрежительной: кто будет вспоминать через пятьдесят лет о таких пустяках! — Шеф, вероятно, и выработал план? Или вы?

— Он. Да, собственно, и плана не было. Шеф велел мне пообедать с ним и подлить ему снадобья. Только и всего.

— Он и дал вам это снадобье?

— Ну да, он. А то кто же?

— Что это было? Стрихнин? Стрихнин действует отлично, — сказал эссеист самым обыкновенным то-

ном, как будто он сам много раз отравлял людей стрихнином. «Я впадаю в тон Шефа», — подумал он, дивясь этому странному разговору и восторгаясь им, как кладом для романа. — Или, может быть, синильная кислота?

— Не знаю, что это было. Нет, не стрихнин и не кислота. Это было что-то медленно действующее.

— Быть может, бактерии? Впрочем, это не существенно... Вы согласились сразу или у вас были колебания? Что вы испытывали?

— Страх.

— Страх и вы! Я не верю.

— Можете верить... Вы видели когда-нибудь Танка?

— Помилуйте! Где же я мог его видеть!

— То-то. Это был очень страшный человек. Мы все его боялись, мы считали его опаснейшим врагом. Шеф говорил, что за Танком значатся десятки самых ужасных дел. Он собственноручно душил людей. Они и взяли его в гестапо за его чудовищную физическую силу. Сила очень полезная вещь в жизни вообще, а особенно в нашем деле... В их деле, — поправилась она. — Если бы он был так силен при обыкновенном росте, он был бы для гестапо кладом. Но Танк был настоящий колосс, его фигура бросалась в глаза и запоминалась. Такому великану трудно заниматься конспирацией. Ведь рост, да еще глаза, это единственное, чего нельзя изменить в наружности человека. По мнению Шефа, они взяли его на службу из спортивного увлечения. Да еще потому, что им лестно иметь на службе иностранцев: им очень завидно, что у нас в ГПУ служат лица всех национальностей, а у них почти исключительно немцы.

— Почему же он пошел к ним на службу? — спросил эссеист. Хотя он хорошо знал, где она служит, слова «у нас в ГПУ» своей необычностью тоже немного щекотали нервы.

— Вероятно, для денег, — ответила Грета и зевнула. — Впрочем, нет... Не знаю.

— Ради Бога, продолжайте!.. Ваше знакомство с Танком произошло случайно?

— Разумеется, нет. Шеф велел мне с ним познакомиться. Танк ежедневно в три часа бывал в одной здешней кофейне, где собираются женщины. Он знал, что за ним следят, и в публичных местах появлялся только днем... Он очень любил женщин. В три часа их в кофейнях еще мало. Я с ним и познакомилась. На второй день он пригласил меня пообедать с ним.

— И что же?

— И ничего. И я его отравила.

Оба замолчали. «Да, живет и даже говорит по кинематографу», — думал эссеист, не зная, что сказать: надо было сказать что-либо глубокое и тонкое. В дверь постучали. В передней, отразившись в большом зеркале, показался лакей. Он почтительно спросил, не будет ли приказаний, и вышел, затворив за собой дверь.

— Так вы говорите, что вам было страшно? — спросил эссеист, снова взяв ее за руку, чтобы создать большую интимность. Она опять нервно передвинула сумку. Пальцы у нее немного дрожали.

— А вам не было бы?.. Накануне Шеф сказал мне: «Дорогая, ваша безопасность обеспечена на все сто процентов. Взгляните на эту штучку: ни цвета, ни запаха, ни вкуса. Подлейте ему малость и будьте совершенно спокойны: он умрет не скоро и, конечно, не в ресторане. Вы проститесь и уйдете куда хотите, — я буду счастлив, если в мои объятия. Ни малейших подозрений против вас не будет и быть не может. Ваш паспорт так же надежен, как паспорт английской королевы. Любое страховое общество, зная все обстоятельства дела, застраховало бы вас за гроши. Однако при одном условии, имейте это в виду: при том условии, что у Танка не возникнет подозрений. Если же они возникнут, если он что-нибудь заметит, то извините, бесценная, он возьмет вас за шейку, вот так, и подержит, недолго, совсем недолго, минуты две или три, после чего на свете будет одной очаровательной жен-



щиной меньше...» — Она побледнела, засмеялась и выпила залпом бокал шампанского. — Он всегда так говорит, Шеф. При этом он взял меня «за шейку», со своей улыбочкой, помните? Какая у него улыбочка, а? Хитрая? Да, и хитрая, дьявольская, ведь он черт! — сказала она убежденно, точно констатируя обыкновенный факт. — Но и сумасшедшая! Он тоже сумасшедший, как мы все. Даже он! В нашем деле без этого нельзя.

— Отчего же нельзя? — спросил эссеист и сам признал, что этот вопрос нельзя считать особенно глубоким и тонким. — Вы ему нравились?

— Шефу? Он зачем-то делал вид, будто я ему нравлюсь. В действительности он был ко мне вполне равнодушен. Вот как вы! У него и руки холодные, как у вас. — Эссеист отдернул руку, он был неприятно озадачен. — Что вы хотите знать еще?

— Все подробности дела. Ведь мне приходится из вас их вытягивать, как клещами... Что было на обеде? Танк много пил?

— Очень много пил и ел. За икрой и селедкой он выпил полбутылки водки. К рыбе пил Chablis, к жаркому Château-Margaux, потом шампанское.

— То же самое, что заказали вы! — сказал эссеист с еще более неприятным чувством. — Вы помогли ему пить?

— Делала вид, будто помогаю. Чтобы у него не было подозрений. Впрочем, несколько рюмок выпила. Вино тоже пила... Довольно много.

— Ваше снадобье вы подлили в вино?

— Нет, позже. В коньяк.

— Чего же вы ждали?

— Надо было подождать конца... После шампанского было то, для чего он меня пригласил, — сказала она тем же грубым тоном, каким накануне сказала: «это обойдется вам дорого». Но на этот раз она не засмеялась. Лицо ее стало мертвенно-бледно. Эссеист смущенно раскуривал папиросу. — Сама не знаю, зачем я вам это рассказываю.

— Вы отлично знаете, что я друг. Друг и партии, и вас лично, — сказал он, уже не считая нужным говорить о глубоком психологическом и моральном смысле исповеди. — Шеф мне доверял и не такие вещи, —

снова соврал он. Она, не отвечая, подлила себе вина, которого уже оставалось немного. Эссеист с неудовольствием подумал, что придется, пожалуй, заказать еще полбутылки.

— Танк был очень несчастный человек, — вдруг тихо сказала она. Он взглянул на нее изумленно.

— Несчастный?

— Очень. Он мне рассказывал свою жизнь. Я не знаю, для чего он пошел к ним на службу. Ведь он был не немец. Он мне говорил что-то о мести общим врагам... Не знаю.

— И вы его пожалели?

— Да.

— А пожалев, подлили ему яда? — спросил эссеист и засмеялся. Эта черточка была очень ценна для его романа.

— А пожалев, подлила ему яда, — равнодушно подтвердила она. — Впрочем, вы ничего не понимаете. Прекратим этот разговор.

— Нет, умоляю вас! Простите меня, я обмолвился... Как же вам удалось подлить ему яд? Ведь это удастся только на сцене; там жертва отворачивается как раз в нужную минуту.

— Я думала об этом весь вечер... Я только об этом и думала два последних дня. Я у себя дома раз десять прорепетировала это перед часами: вынуть пузырек из сумки, откупорить, вылить жидкость в его стакан и спрятать пузырек в сумку, четыре движения... Дома у меня на это уходило от тридцати до пятидесяти секунд, всякий раз иначе. Но где же было взять эти секунды? Дама разговаривает с мужчиной, почему же, в самом деле, мужчине отворачиваться в сторону? Он не отвернулся ни разу... Я думала, что сойду с ума! — сказала она измученным голосом. — Я и теперь не понимаю, как не сошла с ума... Впрочем, нет, я вру! Я все соображала. Может быть, я даже никогда в жизни не соображала так быстро, как в тот вечер.

— И что же? Как же это вышло? — с жадным любопытством спросил он.

— Очень просто. Само собой вышло... После *этого* он неловко засмеялся и сказал мне, что пойдет за счетом. («Ему она не подражает», — отметил эссеист.)

Помню, я чуть было не сказала, что за счетом ходить не надо, можно позвонить. И тут же подумала, что я идиотка! Потом еще подумала, что упаду в обморок. «Сейчас или никогда!» Подумала, что это судьба... Я и теперь так думаю: если бы он не вышел в уборную, он остался бы жив... Он вышел. У меня душа остановилась... Никакие слова этого не передадут... Он вышел. «Теперь или никогда, теперь или никогда», — говорю я себе. Помнится, я бормотала даже это вслух: «Теперь или никогда». Я думала, что нельзя, нельзя отравить человека, с которым только что... который только что рассказывал вам свою жизнь. Думала, что надо что-нибудь сочинить для Шефа: например, что у Танка появились подозрения, что Танк не сводил с меня глаз. И сама себе отвечаю, что Шеф никогда не поверит, что он примет против меня меры. Он на это намекал, а вы понимаете, что это значит, если *он* намекает!.. Вдруг оттуда послышался шум спущенной воды. Я схватила сумку, бросила ее, снова схватила, вынула пузырек и вылила в стакан... Он пил коньяк из стакана, круглый стакан, вот как этот... В эту секунду дверь отворилась... Видите то зеркало? Видите зеркало? — вскрикнула она. — Если бы, когда он входил, он бросил взгляд в это зеркало, он «взял бы меня за шейку»! — сказала она, стараясь засмеяться; у нее дернулась правая щека.

Эссеист, бледнея, уставился на нее, высоко подняв брови.

— Как?.. Я не понимаю... Разве... Разве это было здесь?

— Ну да. Здесь.

— Все-таки на вашем месте, знаете, я выбрал бы другой ресторан для нашего сегодняшнего обеда! — сдерживая возмущение, сказал он и оглянулся по сторонам.

— Почему же? Вы можете написать в романе, что меня тянуло именно сюда. Кажется, так бывает со всеми злодеями, правда? Я где-то читала. — Она засмеялась вчерашним кинематографическим смехом. Руки у нее тряслись. — Он, кстати сказать, сидел на том самом месте, где сидите вы. Вероятно, на этом же стуле. Может быть, и стакан тот самый.

Эссеист встал, прошелся по комнате, взглянул на диван, на зеркало. Оно отразило стол, бутылки, Грету

с ее серым сквозь румяна лицом и расширенными глазами истерички. Он вернулся к столу, хотел налить себе вина, в бутылке почти ничего не оставалось. «Пожалуй, впрочем, лучше с ней не пить. Ну что ж, для человеческого документа все это весьма недурно...»

— Закажи коньяку, не будь скрягой, — сказала она, продолжая неестественно смеяться. — И посмотри, не выполз ли из-под дивана удав.

## МИКРОФОН

*Long dark months of trial and tribulation lie before us. Many mistakes and disappointments will surely be our lot. Death and sorrow will be our companion.*

Уинстон Черчилль

Он нес с собой этот микрофон необыкновенно бережно, точно боялся поскользнуться и упасть. Микрофон был не тяжелый и не хрупкий, — обыкновенный: вещи, предназначавшиеся для жившего в этом доме большого человека, были неизменно самые лучшие, самые дорогие. Молодой инженер постоянно занимался микрофонами и привык к ним, как повар к кастрюлям. Осторожность его походки происходила не от того, что он нес, а от места, в котором он находился. Он попал сюда впервые в жизни и случайно. Прежде он относился к этому месту довольно враждебно. Теперь война, изменившая все, изменила и это: враждебность перешла в смесь легкой иронии с отдаванием должного. Здесь все было непривычно-роскошно и насыщено историей. Самый дом этот назывался просто по имени улицы, и это имя даже ему, при его взглядах, было приятно произносить: от славы и истории оно из самого обыкновенного стало очень звучным.

«Да, вероятно, здесь все историческое, даже эти зонтики и трости, — подумал инженер еще в вестибюле. — Может быть, это его шляпа? Я читал, что у него слабость к каким-то идиотским шляпам, не то очень большим, не то очень маленьким, не помню... Какой изумительный лакей! Он представительнее любого из наших министров, и это может быть лучшей иллюстрацией к их идее синей крови... Какие это комнаты? Впрочем, их, должно быть, не следует называть просто комнатами, а надо говорить «покои», «салоны», «апартаменты»?»

Прекрасно одетые люди с любопытством его оглядывали. Заметив микрофон, они кивали головой с

---

<sup>1</sup> Долгие темные месяцы лишений и испытаний ждут нас. Много ошибок и разочарований выпадет на нашу долю. Смерть и печаль будут сопровождать нас (англ.).

видом понимания: всему миру было известно, что сегодня должен говорить по радио большой человек. Кто-то несвойственного этому дому вида оглядел инженера внимательным, долгим, неприятным взглядом. Инженер подумал, что, верно, это агент учреждения, название которого состоит из двух слов, не совсем понятных, но известных каждому мальчишке в любой стране мира. «Конечно, его охраняют не хуже, чем Гитлера или чем Сталина», — с одобрением подумал инженер и вдруг остановился. Другой лакей широко распахнул дверь. В нескольких шагах от себя инженер увидел большого человека. Он никогда в жизни его не встречал, но это полудетское-полубульдожье лицо, уже много лет дававшее приличный заработок карикатуристам, было известно всему миру. Большой человек в раззолоченном мундире, с густыми эполетами, при шпаге, держа в руке темную лодкообразную шляпу, что-то вполголоса напевая, быстро шел навстречу грузной переваливающейся походкой, тоже всем известной по экрану.

Инженер смущенно посторонился. Большой человек с любопытством взглянул на него, увидел микрофон, улыбнулся сияющей улыбкой, точно был в полном восторге от жизни, любезно кивнул головой и прошел к лестнице. Он взбежал на первые ступеньки, остановился на мгновение и, почувствовав на себе взгляды, побежал дальше. Инженеру показалось, что он хотел передохнуть. «Право, в такое время его могли бы избавить от придворных церемоний и от всей этой китайщины! Ведь он немолод, у него брюшко, и у него достаточно занятий без переодевания!» — подумал инженер. О брюшке он подумал в общем тоне своего иронического настроения, но большой человек на первый взгляд почему-то очень ему понравился. Он даже немного повеселел. «Вероятно, хорошие известия... Все-таки необыкновенно жизнерадостный господин...»

Они пошли дальше. «Там наверху, должно быть, частные апартаменты?» — спросил себя инженер. Он хотел было спросить об этом лакея, подумал, что здесь, верно, не полагается разговаривать с лакеями, и, несмотря на это, или именно поэтому, спросил вполголоса, но не о том, о чем хотел спросить: «Сколько комнат в этом здании?» «Шестьдесят восемь», — ответил снисходительно лакей. «Шестьдесят восемь», — повторил инженер. Здесь все было так необыкновенно,

что он, пожалуй, не удивился бы, если бы услышал: «две тысячи».

«Все-таки в нем есть что-то магнетическое», — сказал себе инженер неуверенно. До начала этой проклятой войны он весьма недолго любил этого человека. Инженер не занимался политикой, но держался очень передовых взглядов, принятых в его кружке. Его жена совершенно разделяла его взгляды. Они недавно женились «по страстной любви» — это выражение повторялось друзьями с точностью официального обозначения. Инженер был не так уж молод. Ему шел тридцать девятый год. Но почему-то на службе его причисляли к молодым инженерам и платили ему соответствующее жалованье. Они сняли после женитьбы квартиру из двух комнат, с ванной и кухней, all modern improvements, reasonable<sup>1</sup>, и купили с рассрочкой на полтора года мебель, а joy for ever, beautiful taste exceptional<sup>2</sup>. Но в living room<sup>3</sup> стояла хорошая фишгармония, а над ней на стене висела репродукция «Les Demoiselles d'Avignon»<sup>4</sup>. Жена инженера, недурно писавшая акварелью, признавала только негритянский период Пикассо. Инженер совершенно соглашался с мнением жены. Не менее передовых взглядов они придерживались и в литературе, и в музыке. В первую пятницу каждого месяца у них бывал обед для ближайших друзей, всегда вполне приличный, нисколько не хуже, чем в хороших домах. Специальностью хозяйки в области кухни был настоящий русский борщ, и это, пожалуй, имело (особенно прежде) некоторый политический оттенок, впрочем, очень, очень легкий. Собирались у них люди тоже самых передовых взглядов. От борща до десерта обычно бранили правительство и, в частности (даже тогда, когда он в правительстве не состоял), того человека, которого за глаза называли просто по имени и который теперь жил в историческом доме. Он был фокусом политической ненависти кружка. Фокуса же политической любви не было. Со времени московских процессов за обедами у инженера все с печальным недоумением вздыхали, когда речь заходила о России. Обычно же на обедах бывало весело и

---

<sup>1</sup> Все мыслимые современные усовершенствования (англ.).

<sup>2</sup> Постоянная радость, исключительно хороший вкус (англ.).

<sup>3</sup> Гостиная (англ.).

<sup>4</sup> «Авиньонские барышни» (фр.).

приятно. Гости искренно любили хозяев — смеялись над ними лишь довольно редко. После обеда, после всего того, что подается везде, подавался арманьяк в бутылке милой необычной формы, которая сама по себе, вместе со звучным названием напитка, увеличивала его качество. Все заранее знали, что к кофе будет арманьяк и что за арманьяком разговор должен перейти в область искусства. Гости очень ценили современную французскую поэзию, в частности Поля Валери, — и было просто непостижимо, что в пору их общей поездки в Париж носильщики и шоферы, внимательно их слушая, упорно не догадывались, что они говорят по-французски. После кофе близкий друг дома, просвещенный музыкант-любитель, наигрывал George Lieder Арнольда Шенберга и говорил, что тут намечается новый период, свидетельствующий о кризисе буржуазной музыки. Гости осторожно кивали головой. Иногда затем пускался граммофон, и переход от Арнольда Шенберга к румбе странным образом увеличивал оживление.

Если бы инженер был вынужден указать и свое hobby для какого-либо «Who's who» (на что, впрочем, надежда была невелика), то он, вероятно, не без смущения указал бы: «философское опровержение идеи случая». Он говорил, что работа эта еще находится «в стадии подготовки». Было написано страниц шестьдесят черновиков. Уже был и эпиграф, взятый из какого-то классического труда: «What seems to be the result of chance is in reality due to a cause which, owing to the lack of knowledge or scientific instruments, we are unable to detect»<sup>1</sup>. Книга посвящалась: «Моему другу и товарищу, неизменно поддерживавшему меня и при долгой работе над настоящей книгой, — моей жене». Начало рукописи, кроме жены, как-то видел критик, один из участников обедов в первую пятницу месяца, — но только видел: после нескольких рюмок арманьяка он сказал инженеру, что принципиально не читает книг, посвященных жене или памяти родителей, причем сослался на слова французского писателя: «Les bons sentiments font de la mauvaise littérature»<sup>2</sup>. Это

---

<sup>1</sup> «То, что кажется игрой случая, на самом деле является следствием причины, которую, из-за недостатка знаний или научных методов, мы не в состоянии определить» (англ.).

<sup>2</sup> «Плохая литература идет от добрых чувств» (фр.).



вызвало не совсем естественный смех. «Вы циник! Вы и в политике все строите на ненависти... Никогда еще ничего прочного на ненависти построено не было», — сказал инженер не совсем кстати, имея в виду свои прежние споры с критиком. Он циников не любил и не уважал. На ночь инженер всегда читал Священное Писание и, хмурясь, очень твердо отклонял иронические вопросы об этом, впрочем, весьма редкие и со стороны самых радикальных людей.

Теперь было, разумеется, не до философских трудов. С наступлением войны началась пещерная жизнь. «Это дом умалишенных», — говорил со вздохом инженер. Обедов, разумеется, больше не было. Все очень подобрели. При встречах с друзьями еще бранили правительство, но не совсем с прежней точки зрения. Прежде его обвиняли в том, что оно «ощетинило страну вооружениями». Теперь говорили, что оно вооружалось недостаточно энергично. О человеке, которого все называли просто по имени, в начале войны больше молчали. Потом его фамилия стала все чаще упоминаться в газетах и в разговорах. Его тоже еще бранили, однако значительно мягче и опять-таки не совсем с прежней точки зрения; а однажды, услышав в третий раз за сутки рев сирен, инженер хлопнул кулаком по столу и воскликнул, что этому человеку надо бы предоставить всю полноту власти: «Он бретер, но что ж делать! Он многое предвидел, и в это проклятое время, быть может, нужны именно бретеры!» «Быть может» было долгом прошлому: эпохе обедов в первую пятницу месяца. Жена инженера совершенно с ним согласилась.

К инженеру вышел необыкновенно хорошо одетый, до чудовищности рыжий человек. Лакей что-то ему доложил. «Должно быть, секретарь? Этому господину не хватает только монокля и э-э-э...» — сердито подумал инженер, раздраженный тем, что господин не подал ему руки, а только кивнул головой, и тем, что он был так изумительно одет. Инженер пожалел, что жена утюжит ему брюки лишь раз в неделю — как раз уже неделя прошла. Манжеты тоже оставляли желать лучшего: в бюро всегда пыль, и белое белье пачкается гораздо быстрее цветного, белую рубашку невозможно носить более двух дней. Он незаметно, как бы передвигая микрофон, вправил манжеты под рукава. «Впро-

чем, этого он заметить не мог, но брюки у колен...» «Вы ставите микрофон? Обычно это делает N», — сказал секретарь. Он все же не говорил: «э-э-э»... «Да, но N заболел, я его заменяю, об этом было сообщено», — сухо ответил инженер. «Очень хорошо. Пойдем», — сказал секретарь и, вполголоса напевая, пошел вперед немного переваливающейся походкой.

В этой большой комнате пахло дымом хорошей сигары. Несмотря на свои взгляды, инженер не без волнения смотрел на комнату, в которой двести лет творится история мира. Особенное его внимание вызвал письменный стол. На нем лежало много бумаг и стояли три телефона разных цветов. Секретарь сел на стул у стоявшего позади стола высокого книжного шкафа. «Микрофон надо поставить сюда. ... будет говорить отсюда», — показал он, назвав должность большого человека. Ее название тоже состояло из двух слов, и их было еще приятнее произносить, чем название дома. «Значит, ... будет говорить стоя?» — спросил инженер, повторяя название должности: она была такова, что занимающего ее человека неудобно обозначить словом «он». «Да, ... будет говорить стоя».

Работы было очень немного, и отняла она лишь несколько минут, хотя инженер умышленно ее затягивал: ему не хотелось уходить. Работая, он поглядывал по сторонам, стараясь все запомнить, чтобы еще сегодня рассказать жене.

— Я никогда не мог понять принципа микрофона. Даже стыдно: вероятно, я глуп, — неожиданно благодушно сказал секретарь и засмеялся.

— О, это очень просто, — ответил инженер, мгновенно переставший ненавидеть секретаря, и начал объяснять принцип. — ...В сущности, все сводится к тому, чтобы перевести одну форму энергии в другую и вызвать те же вибрации у приемников.

— Те же вибрации, — покорно-недоверчиво повторил секретарь и взглянул на часы. — У вас готово? Очень хорошо... Я, однако, попрошу вас остаться: вдруг эта штука расстроится, ведь это была бы катастрофа.

— О, она расстроиться не может, — начал было инженер, но спохватился: — Да, разумеется, я останусь... Здесь?

— Мы с вами будем слушать рядом, — сказал совсем мило секретарь.

Дверь вдруг распахнулась, и в комнату вошел большой человек. Он был уже в обыкновенном пиджаке и вместо шляпы держал в руках бумаги. Инженер испуганно впился в него глазами. «Что это? Он как будто groggy<sup>1</sup>. Лицо большого человека было искажено. По видимому, он не ждал, что в этой комнате могут быть люди. Выражение его лица тотчас совершенно изменилось, на нем снова засияла радостная улыбка. «Надеюсь, готово? Время подходит. Благодарю вас», — весело сказал он. Секретарь и инженер вышли на цыпочках. Большой человек тяжело сел в кресло, снова прочитал бумаги и опустил голову на руки.

Он действительно был почти groggy! Полученные им только что известия были ужасны.

Весь этот день, как, впрочем, теперь все дни недели, был у него расписан даже не по часам, а по минутам. Он начал работу еще там, где проводил ночь, затем приехал в историческое здание и продолжал работать в постели, приготовленной для него в надежном месте. Сидя в ванне, он прочитал полученные ночью телеграммы; в них еще ничего ужасного не было, хотя хорошего они никак не предвещали. Затем, позавтракав, он сначала читал доклады, записки, проекты, потом принимал сотрудников и посетителей. К нему письменно и устно обращались со своими важными делами важные люди со всех концов мира. Дел этих было так много, и они были так разнообразны, что по-настоящему разобраться в них не мог решительно никто: у всякого нормального человека голова пошла бы кругом. Из бесчисленных предложений, поступавших к большому человеку, одна половина совершенно исключала другую. Суждения экспертов обычно между собой не совпадали. Между тем решения должен был принимать он, и притом очень быстро, иногда, при устных докладах, почти мгновенно. Всеобъемлющие познания, которые нужны были для основательного суждения обо всех этих делах, нельзя было приобрести ни в учебном заведении, ни на государственной службе, ни в парламенте и нигде вообще, так

---

<sup>1</sup> Оглушенный (*фр.*).

как совокупность их превышала познавательную способность самого выдающегося человека. Принимая посетителей, он часто делал над собой усилие, чтобы по возможности говорить все же не очень определенно и не сказать какой-нибудь чудовищной глупости. Каждый из людей, являвшихся к нему за решением, знал только свое небольшое дело и порою, в предвкушении своих будущих мемуаров, усмехался, если замечал недостаточную осведомленность человека, от которого зависело решение и который, очевидно, должен был знать во всех мелочах все бесчисленные дела.

Затем он наскоро позавтракал. В обычное время это было немалой радостью, — в последние довоенные годы, пожалуй, одной из главных радостей жизни: он любил тонкий стол, старые вина. Теперь, помимо того что еда стала гораздо менее обильной и вкусной, для нее почти не было времени, и при спешке она никакого удовольствия не доставляла. Утешением были крепкие напитки и сигары, — сигара странным образом и возбуждала его, и успокаивала в тяжелые минуты.

После завтрака начались дела, которые необходимо было проделывать не ввиду их прямого назначения, а по соображениям посторонним и чрезвычайно важным. Выкурив сигару, допив кофе и рюмку ликера (все это было ему запрещено врачами), он отправился в парламент и там, сияя улыбкой, посидел с полчаса. В парламенте теперь почти никогда почти ничего важного не происходило, а то, что говорилось, он не раз читал в статьях газет, составленных гораздо лучше, чем речи. Большой человек делал вид, будто очень внимательно слушает и придает речам громадное значение. Этим свидетельствовало уважение к национальным учреждениям: его всегда подозревали в недостаточном к ним уважении и в увлечении диктаторской властью. Сияющая улыбка большого человека успокаивала парламент, а через него и через газеты всю страну. Посидев сколько было необходимо, он выждал удобную минуту (один оратор кончил, другой еще не начинал), взглянул на часы, изобразил на лице крайнее огорчение: что ж делать, надо уезжать, — и вышел.

Несколько влиятельных членов парламента вышли за ним для частного разговора. Одному он уделил две минуты, другому три, третьему пять, в зависимости от важности вопроса и от значительности собеседника. В

этих частных разговорах, которые в печать не попадали, он нередко сообщал то, чего публично сказать не мог. Но очень многого, разумеется, не сообщал и в частных беседах. Таким образом, в любой момент положение вещей имело три изображения: то, которое предназначалось для всех; то, которое могло быть показано десятку важных и не болтливых людей; то, которое было известно, пожалуй, ему одному. И за этими тремя изображениями скрывалось настоящее положение вещей, никому решительно в мире не известное.

Наиболее влиятельный из вышедших за ним членов парламента, тот, который имел неписаное право на пять или даже на десять минут частного разговора, настойчиво, с тревожным видом сказал большому человеку, что следовало бы усилить воздушную бомбардировку главных городов и особенно столицы врага: это вызвало бы моральное удовлетворение у страны, так страдающей от бомбардировок. Улыбка на лице большого человека засияла еще более радостно: ответ нашелся у него немедленно. Несмотря на быстроту своих умственных реакций и на природное остроумие, он обычно придумывал остроумные слова дома. Но на этот раз отточенное словечко всплыло в его уме немедленно в совершенно готовой форме. Он взял за пуговицу влиятельного члена парламента, зная, что с его стороны фамильярность не может не быть приятна.

— Я понимаю, — сказал он сокрушенно, — ах, как я понимаю ваше настроение! Мы бомбардируем — пока! — только пункты, имеющие военное значение. Но ведь для всех нас было бы таким удовольствием побомбардировать их просто, — просто для того, чтобы они на себе испытали прелесть этого... Ах, какое бы это было удовольствие! — повторил он, вздыхая, помолчал несколько секунд и вдруг, выпустив пуговицу собеседника, бросил свой экспромт: — Однако *business before pleasure*<sup>1</sup>.

По улыбке, расцветшей на лице члена парламента, он почувствовал, что его словцо будет иметь бешеный успех: сначала здесь, потом в газетах, потом во всем мире. Это доставило ему радость: такие шутки очень нужны и для победы; поездка в парламента оказалась на редкость удачной. Он уехал домой, надел мундир и

---

<sup>1</sup> Сначала дело, потом удовольствие (*англ.*)

отправился на придворную церемонию. Там тоже нужно было побывать, по другим, а в сущности по тем же, причинам.

Прежде он любил эти церемонии, как любил все пышное в жизни. В последние годы они немного его утомляли; мундир на нем сидел уже далеко не так, как когда-то гусарский, да и церемонии изменились. Сами по себе они, впрочем, оставались прежними, но теперь, уже лет двадцать, в них принимали участие люди, вышедшие из низов. В большинстве это были очень достойные люди, и он нисколько их не презирал: напротив, многих, как людей, уважал гораздо больше, чем «своих», — поскольку вообще по-настоящему уважал кого бы то ни было. Однако большой человек никогда не забывал, что принадлежит к одной из значнейших семей страны. Они были они, а он — он. В общении со «своими» он испытывал сходное чувство, но исходившее из сравнительной оценки заслуг и дарований. Честолюбие, после любви к стране, было в нормальное время самым сильным из его чувств. Теперь самым сильным была ненависть.

Много вышедших из низов людей было и в этот день на придворной церемонии. Они носили мундиры и шпаги ничем не хуже других (некоторые были гораздо представительнее, чем многие «свои»), — носили их с заметным наслаждением. Это его забавляло, но церемонии вредило. И еще раз с новой силой он почувствовал, что, как бы дальше ни шла война, *их* время, время «своих» кончено: страна будет, великая страна, да не та.

Вернувшись к себе, он получил эту страшную, только что расшифрованную телеграмму. Большой человек сидел, опустив голову на руки, минут пять думая о последствиях нового события и о том, как по возможности смягчить от него впечатление. «Надо же было, чтобы оно пришло перед самой речью!..» Речь уже была им написана. Он провел за ее составлением, отделкой и чисткой почти всю предыдущую ночь. Эта речь была превосходна: в ней было, помимо всего прочего, несколько фраз, каждую из которых должна была подхватить печать; иные могли перейти и в историю. Фразы эти доставляли ему и чисто литературное наслаждение. Теперь кое-что надо было изменить, кое-что добавить, и писать уже не было больше времени.

Сердце у него сильно стучало. Оно, как и легкие, пошаливало уже давно. (Знаменитый врач, следивший за его здоровьем, со вздохом думал, что этот грузный человек производит ложное впечатление атлета.) «Да, вот это и надо изменить...» Он взял отлично отпечатанный текст речи и сделал отметки карандашом. Взглянул на часы: оставалось лишь несколько минут. Он тяжело, с хрипом, откашлялся. «Что же будет, если меня не станет? Не они же...» Он знал, что теперь нужен стране, что совершенно необходим ей, что заменить его некем. Ему было не менее ясно, что исход войны решит и его историческую репутацию: если война кончится плохо, то во всем обвинят его. Теперь решалось, быть ли ему проклинаемым всеми неудачником или величайшим государственным человеком. Об этом он часто с горечью думал в бессонные ночи. Но сейчас эта мысль его почти не занимала: сейчас он думал только о стране.

Большой человек почти не сомневался в конечной победе. Но он отлично знал, что твердых логических оснований для такой уверенности нет: правда, советники и эксперты приводили такие основания, делали выкладки, собирали доказательства. Он изучал все это с величайшим вниманием, но знал, что на все эти доводы и доказательства можно ответить другими доводами и доказательствами в пользу врагов. У него был громадный опыт: в воюющей Европе он был единственным человеком, стоявшим на верхах власти и в прошлую войну. Тогда тоже самыми авторитетными людьми делались точнейшие выкладки, позднее вызывавшие лишь смущение и смех. Теперь положение, особенно после этого известия, было неизмеримо хуже. Его *почти уверенность* происходила преимущественно оттого, что в стране прецедентов он привык мыслить прецедентами, а прецедента катастрофы в ее истории не было. Кроме того, он просто не мог себе представить ни жизнь своей страны, ни свою собственную жизнь в случае проигрыша войны: жить в этом случае было и незачем, и не нужно, и даже невозможно. «Да, сейчас надо поддержать дух! Это главное!» — подумал он. Собрав листы речи, он на столе увидел газету, а на ней фальшиво-олимпийскую физиономию похожего на Шарло человека с усиками. Вдруг душившая его страшная ненависть прилила у него к голове.

«Вот в чем наша сила! Вот в чем спасение в этой чертовой лотерее!» — сказал он себе, вставая. Теперь он был совершенно уверен, что скажет нужные слова и скажет их как следует.

В этот день вечером несколько сот миллионов людей, слушавших большого человека, говорили, что он превзошел сам себя. За его речью прошло сравнительно незаметно то катастрофическое событие, о котором сам же он вскользь сообщил. Никогда еще его фразы не были так сжаты, так динамичны и, главное, не бросались в мировые пространства с такой необычайной силой. Люди же, только читавшие речь, слушали эти отзвухи не без недоумения, хотя отдавали должное ее достоинствам. «В ней, собственно, ничего нового нет», — нерешительно говорили они. Сам же большой человек ночью думал, что главным преимуществом его речи было именно отсутствие нового: он лишь как следует сказал то, что думал или, по крайней мере, чувствовал каждый его соотечественник.

Инженер укладывал микрофон. Он ничего не говорил, потому что ему говорить было не с кем. Кроме того, он был потрясен. Кроме того, он немного стыдился того, что потрясен. В начале речи он даже боролся мысленно с оратором. «Я не должен поддаваться чарам красноречия... Разумеется, он говорит превосходно. Но я знал, что он замечательный оратор. Его доводы?..» Инженер вслушивался в речь, пытаясь ответить на доводы большого человека. Однако отвечать, в сущности, было нечего и не на что. Потом он почувствовал, что речь его захлестывает: он начал дышать вместе с оратором. Затем в нем стала подниматься ненависть: ненависть к тем людям, о которых говорил большой человек. Вскользь проскользнула мысль, что он отдал только половину своих сбережений на военный заем: «Надо было подписаться на большую сумму, я это сделаю завтра же!» А когда оратор заговорил о человеке с усиками, инженер почувствовал, что у него кровь приливает к голове. Он еще успел подумать, что они с женой были не правы: он не должен ждать призыва своего года, надо записаться сейчас, немедленно, не откладывая. «Завод работает на оборону, но это ничего не значит!..» Больше он ничего не думал, но зубы у него стискивались все крепче.



Близкие и неблизкие сотрудники большого человека с нетерпением поглядывали на инженера, очевидно, желая, чтобы он ушел возможно скорее: они хотели обменяться впечатлениями. Они тоже были взволнованы. Однако, быть может, во всей стране наименее взволнованы были именно они. У них подход к таким речам был профессиональный и спортивный. Когда инженер ушел, один из слушателей обратил внимание на то место речи, где, по его мнению, был запутанный и хитрый намек. Оказалось, однако, что другие именно в этой фразе оратора никакого намека не усмотрели: намеки были в других фразах — каждый указывал свою. Они не чувствовали ни любви к большому человеку, ни ненависти к врагу. Они были единственной компетентной публикой на матче бокса. Только что закончился новый раунд, — они сходились на том, что это была замечательная речь, быть может, лучшая из всех когда-либо произнесенных большим человеком. «Как хотите, ... человек необыкновенный!» — сказал один из служащих, в увлечении называя оратора по имени. «Как хотите» было ненужно: все совершенно с этим соглашались. «Во всяком случае, Адольфу эта речь очень не понравится!»

В эту минуту завывли сирены.

К ним все давно привыкли. На них даже перестали обращать внимание. Не чувствовалось только полной естественности в том, что и как говорилось о воздушных налетах. Так, просвещенный любитель музыки, бывавший у инженера на обедах в первую пятницу месяца, сказал, что в вое сирен есть нечто пронзительно-музыкальное, «ну вот вроде Rondo-Finale в Шенберговом Streichquartett D-moll...». Однако гости этого сравнения не оценили и слушали довольно мрачно, так как все немецкое, хотя бы неарийского происхождения, вызывало у них теперь раздражение. Вероятность смерти от воздушного налета была невелика, ее сравнивали со смертностью от автомобильных катастроф. Но не очень далеко от поверхности сознания у всех, особенно вначале, шевелилась мысль: «Может быть, сегодня? Ведь будут же какие-то десятки или сотни убитых?..» Потом люди стали проще. Инженер и его жена тотчас после обеда ушли на станцию подземной дороги. Там у них были номерованные койки, их

уже знали и с соседями установились приятные отношения. Как-то само собой выходило, что соседями в большинстве оказывались люди приблизительно одинакового социального положения. Каждый приносил что мог: чай в термосе, печенье, бутерброды, производился раздел на началах обмена, а то дамы и прямо улаживались, кто что принесет. Часов до девяти или до десяти пели веселые песни — впрочем, не очень весело, — читали, играли в карты. Один из соседей по койке, старый холостяк и балагур, громче, чем нужно, кричал, что никогда в жизни не жил так приятно: каждый вечер милое общество. Все очень смеялись, тоже больше чем нужно. Все же была и в самом деле хорошая минута: «all clear»<sup>1</sup>, веселая давка при выходе; теперь торопливость не свидетельствовала о страхе — первый глоток свежего воздуха.

В историческом доме началось то движение, которое бывает в банках или в больших магазинах в момент окончания работ. Наблюдательный человек мог бы, вероятно, заметить, что это все же не совсем такое движение. «Очевидно, речь привела Адольфа в бешенство!» — пошутил один служащий. «Так как столь быстро Адольф распорядиться не мог, то, очевидно, при своем гении он предвидел содержание речи заранее», — пошутил другой. «Господа, я решительно протестую: это против правил, чтобы они летали до наступления темноты», — пошутил третий. «Темнота уже наступила. Но действительно они сегодня раньше расписания, — пошутил рыжий секретарь и обратился к растерянному стоявшему в коридоре инженеру: — Разумеется, вы можете спуститься с нами в наше убежище... Я, вероятно, тоже туда пойду: не успею дойти до...» Он назвал одну из наиболее аристократических гостиниц. Секретарь взял из шкафа несесер, где у него были *siren suit*<sup>2</sup>, шахматы, туалетные принадлежности. Съестных припасов он с собой не брал: в убежище этой гостиницы всю ночь был открыт прекрасный бар. Там проводили ночь очень видные, в большинстве титулованные, лица: среди них была даже одна иностранная коронованная особа. «Я, право, не знаю, тороплюсь к жене, — нерешительно

---

<sup>1</sup> «Отбой» (англ.).

<sup>2</sup> Маскировочный костюм (англ.).

ответил инженер и покраснел: — Как глупо!..» Секретарь улыбнулся, слегка развел руками и пошел дальше. «Быть может, поспею, если, на счастье, попадется автомобиль?..» Очень не хотелось, чтобы жена осталась одна, быть может, на всю ночь. Он все же спустился, заглянул в убежище в надежде, что там увидит большого человека, но его там не было. Спросить, где он ночует, было невозможно: как сообщали газеты, это составляло военную тайну. Инженер немного поколебался и вышел. «Даром потерял несколько минут, надо было уйти тотчас...»

Вечер был апокалипсический. В историческом здании еще не успели зажечь лампы. Не было видно ни единого огонька и на улице. В том небольшом пространстве, где вокруг себя что-то мог разглядеть человек, быстро передвигались тени: люди старались идти возможно скорее, но все же так, чтобы это не было похоже на бег. Сирены все еще выли, надрывая душу. По мостовой скользнул и исчез слабый синеватый свет: пронесся автомобиль, вероятно, служебный. Инженер, не вполне справляясь с дыханием из-за волнения и быстрого хода, подумал, что до той станции подземной дороги пешком идти не меньше получаса. Он хотел было вернуться, — но, пожалуй, теперь уже не пустят. «Не вызывать же из убежища этого секретаря? Да я и фамилии его не знаю...» Вспомнил, что тут поблизости есть убежище, довольно вместительное, хотя плохое: он раз провел там вечер; воздух был очень тяжелый, койки скверные. «Она беспокоиться не будет: мы условились, что если мы не вместе, то каждый спускается в ближайшее убежище... До этого, пожалуй, дойти еще можно...»

Сирены оборвались на невыразимо тоскливой ноте. Инженер услышал еще далекий, еще очень слабый шум несущихся аэропланов. Через минуту загремели зенитные орудия. Небо прорезали прожекторы. Ему показалось, что наверху, на огромной высоте, засветились круглые огоньки. «Или это прожекторы отсвечиваются на них? А может быть, они летят так высоко, что не гасят огня? Это уже бывало...» Под огоньками рвались полукруглые дымки снарядов. «Господи! Вот хотя бы этот первый был сбит», — с мольбой подумал инженер, на бегу глядяваясь в первый круглый огонек, несшийся с быстротой, дикой для человеческого взгля-

да. Вдруг, как будто еще далеко, раздался взрыв. «Надо добежать! До того убежища близко», — задыхаясь, подумал инженер. Снова раздался взрыв, за ним третий, четвертый, они становились все сильнее. Полукруги дымков поднимались все выше. «Слава Богу! Еще выше! Вот туда!..» Он бежал теперь так быстро, как не бегал с школьных времен. В темноте нелегко было разобратся, но он знал эту часть города отлично: до убежища осталось минуты две. Однако первый огонек уже был почти вертикально над ним. Взрыв загремел совсем близко, как будто перед самым его носом. Он почувствовал сильный толчок и упал на мостовую. Страшный взрыв повторился и перешел в дикий, все нарастающий, долгий грохот. Инженер опустил лицо, прижавшись бортом шляпы к тротуару, и на мгновение заткнул уши. Боли он не чувствовал и через полминуты понял, что не ранен, что его просто сбило с ног сотрясением воздуха. Он поднял голову. Шагах в ста от него рухнуло большое здание. Над ним поднимался высокий столб дыма с зеленоватым пламенем. Туда бежали люди. Пронеслись санитарные автомобили. Инженер встал, расправил борт шляпы, сам изумился тому, что делает, и, шатаясь, побежал дальше. Взрывы теперь слышались уже далеко. Инженер добежал до угла. При свете пожара теперь все было видно. На месте, где было убежище, тоже стоял высокий дымовой столб с зелеными огненными просветами. «В самое убежище угодил! Должно быть, все погибли!» — сказал около него задыхающийся голос.

Одна из газет дня через два с некоторым смущением объяснила, что этот печальный случай ничего не доказывает. Исключение только подтверждает правило, по которому люди, спустившиеся в убежище, рискуют неизмеримо меньше, чем те, что сидят дома или ходят по улицам. Читая это через два дня, инженер с этим соглашался. Он думал, что этот инцидент можно будет для иллюстрации изложить в его философской книге: собственно, инцидент вполне подтверждает его теорию, хотя на первый взгляд может казаться, что он ей противоречит. Но в ту минуту, стоя перед страшным местом, которое прежде называлось убежищем, инженер менее всего думал о философии.

На углу показался большой открытый автомобиль. Кто-то выскочил из него и быстрой переваливающейся походкой направился к месту катастрофы. Инженер с изумлением узнал большого человека. Его мгновенно узнали все. По толпе пронесся тихий восторженный гул.

Большой человек обыкновенно не выезжал в часы налетов. Населению предлагалось укрываться в убежища — он подавал пример порядка и дисциплины. В своем убежище и работал порою до утра. Но на этот раз, в том возбуждении, в котором он находился после речи, ему показалось, что его поездка в открытом автомобиле по улицам столицы могла бы произвести хорошее впечатление. Он велел подать машину. Кто-то из приближенных сказал ему, что он не имеет права подвергать свою жизнь опасности. Но именно по тому, как это было сказано, и по выражению лица говорившего большой человек понял, что угадал настроение верно.

Как только он выехал, увидел над собой проклятые круглые огоньки и услышал грохот снарядов, им овладело давным-давно не испытанное чувство. Большой человек точно помолодел на пятьдесят лет. Когда-то, молодым гусаром, он испытывал чувство страха — в милых, смешных по своей ничтожности боях прошлого века. Он проверил себя теперь: страха за себя нет никакого. Аэропланы пронеслись и над ним, отвесно над его головой. «Какая смерть!.. Не было бы примеров в истории!» Но мгновенно он отогнал от себя эту лишь проскользнувшую, почти не успевшую осознаться мысль. «Нет, умирать нельзя: мне нельзя!.. Надо раньше свернуть им шею!..»

При свете пожаров он видел знакомые улицы своего гибнущего города, города, где прошла вся его блестящая шумная жизнь. Ему было еще яснее прежнего, что эпоха, столь к нему благосклонная, навсегда кончена, что самый город этот будет другой, что идет новая жизнь, по всей вероятности тяжелая и страшная. Он любил свою эпоху, свою жизнь, свой город: мысль о новом у него вызывала нерадостное чувство, как у всех искренних старых людей. Однако теперь было не до этого. Надо свернуть им шею! Он чувствовал, что его для этого предназначила судьба, — та судьба, которую он называл обычно Богом, больше для того,

чтобы проявить уважение к национальным учреждениям. Если ему не удастся это дело, то оно не удастся никому.

Полицейский чиновник почтительно докладывал о происшествии. «Да, да, чертова лотерея! Все чертова лотерея!» Распоряжаться тут было нечем и делать нечего: привычные к этой работе люди лучше его знали, как ее нужно делать. «Кажется, сегодня будет только одна волна», — сказал кто-то, глядя на безлунное, теперь сплошь черное небо. Большой человек пожал плечами: это не имеет никакого значения. Надо было все же что-либо сказать. Он похвалил полицию за порядок.

Показались носилки. Вздых ужаса пробежал по толпе. Все сняли шляпы. При слабом боковом свете санитарного автомобиля большой человек увидел то, что было на носилках. Ненависть и жажда мести опять вызвали у него физическое страдание. Он отвернулся, увидел смотревшего на него инженера, узнал его, кивнул головой и пошел к своему автомобилю. В толпе слышались слова, со многим его мирившие. Он чувствовал, что на нем сосредоточилась — пусть временно, пусть ненадолго — человеческая потребность в восторге, что он теперь часть национального капитала, нужная, необходимая для победы. Он повернулся к толпе.

— Три уже сбиты! — сказал большой человек так, как это было нужно сказать.

## ТЬМА

Этот ресторан существовал несколько сот лет. Так, по крайней мере, утверждали путеводители: он значился во всех путеводителях как историческая и гастрономическая достопримечательность Парижа. Случайные туристы редко посещали ресторан, расположенный в далекой от центра, вышедшей давно из моды части города. Прежде в нем преимущественно бывали знатоки из парижан, богатые, титулованные люди или подделывавшиеся под богатых и титулованных. Наиболее известным своим завсегдатаям ресторан иногда выдавал посмертное отличие: их именем называлось то или иное сложное блюдо, будто бы ими изобретенное. Гостей из года в год встречал старик метрдотель, которого завсегдатаи называли по имени: Альбер. Он показывал стоящим внимания новичкам автографы под портретами на стенах, «золотую книгу», «исторические столы», когда-то созданные его вдохновением или вдохновением его предшественников. Впрочем, он и сам давно верил, что Наполеон часто здесь обедал, притом всегда за большим круглым столом в правом углу. «Стол Наполеона» предполагалось даже было отгородить цепью, но правление акционерного общества, которому принадлежал ресторан, отклонило это убыточное предложение.

Цены в ресторане и в прежние времена были таковы, что люди, достаточно богатые для откровенности, порою пожимали плечами, просматривая счет. Теперь пожимали плечами решительно все: этого требовал новый хороший тон. Недавно компания немецких офицеров, ценителей всего «Echt Pariser», хотела было даже поднять историю из-за цены «Homard à l'Armoricaine» (старый спор гастрономов между обозначениями «à l'Armoricaine» и «à l'Américaine»<sup>1</sup> был

<sup>1</sup> «Омар по-арморикански»... «по-арморикански»... «по-американски» (фр.).

решен в пользу первого больше по соображениям о том, что новые хозяева города не любят Америку; впрочем, они были выше этого: в печатной карте одно знаменитое вино сохраняло имя еврейского владельца виноградника — они сносили даже это). Из истории ничего не вышло: очень большое лицо — как говорили, «сам Геринг» — велело оставить ресторан в покое. Лицо нередко удостоивало ресторан посещением, и тогда вокруг стола Наполеона занимали места неприятного вида штатские люди, на которых искоса поглядывали лакеи и посетители, обмениваясь замечаниями шепотом. Вело себя лицо в высшей степени корректно и либерально: восхищалось винами, в том числе и еврейским, снисходительно признавало красоту Парижа и на ужасном французском языке рассказывало парижские анекдоты — «das kann man nicht deutsch erzählen»<sup>1</sup>, — вызывая всеобщее восхищение свиты.

Немецкие офицеры появлялись в ресторане нередко, хотя он был очень дорог и при установленном курсе марки. Среди них уже были и завсегдаги, называвшие старого метрдотеля по имени. Но большую часть посетителей составляли новые штатские господа, которых мосье Альбер прежде никогда не встречал. И как старательно они ни пожимали плечами, расплачиваясь, как ни говорили возмущенно «Non, tout de même!»<sup>2</sup>, старый метрдотель отлично понимал, что для них цены блюд и вин не имеют ни малейшего значения: все они ежедневно загребали десятки и сотни тысяч на разных сделках с немцами. Мосье Альбер был с ними очень почтителен, но совершенно их презирал, несмотря на то что они оставляли на чай много щедрее, чем прежние посетители. Прежние заходили редко, и с ними он обменивался вздохами и грустными усмешками. Прежние изумленно глядели на карту: «Господи! Как же вы теперь достаете все это?» Метрдотель печально улыбался и разводил руками, показывая, что этого не может сказать даже им.

В этот вечер в ресторане не было немцев (без них, несмотря на привычку к ним, посетители чувствовали себя гораздо лучше). Столы были заняты не все. Для ранней осени день был сумрачный и холодный. К

---

<sup>1</sup> «Это нельзя передать по-немецки» (нем.). — Пер. авт.

<sup>2</sup> «Однако!» (нем.). — Пер. авт.



обеду уже начало темнеть, и ровно в 7 часов 30 минут мосье Альбер приступил к совершенно ненужной, но обязательной ночной декорации. Синяя бумага и белые накрест бумажные ленты оставались на окнах с начала войны. Густо замазано было синей краской окно слабо освещенной передней. Свет не прокрадывался на улицу ни из окон, ни из-под двери. Надо было только опустить и тщательно пригнать шторы и портьеры на окнах главной комнаты. Мосье Альбер это проделывал каждый вечер не без удовольствия, и так же теперь это встречала публика ресторана, точно военные предосторожности облагораживали всеобщую, полную и несомненную безопасность. Компания спекулянтов, занимавшая большой стол у правого окна, с полной готовностью пошла на жертву родине — поднялась с мест, облегчая работу мосье Альберу. Обмениваясь с ними подобающими шутками, он проделал то, что полагалось, затем потревожил господина, пришедшего уже довольно давно, еще до семи, и читавшего в одиночестве газету за столом у другого окна. Этого господина с желтоватым измученным лицом, с траурной повязкой на рукаве пиджака мосье Альбер не относил ни к прежним, ни к новым. В былые времена он в ресторане не появлялся; но и на новых совершенно не походил. Заказывал он обычно лишь какую-нибудь котлету, бутылку минеральной воды и чашку кофе. Метрдотель предполагал, что господин болен желудочной болезнью и нуждается в хорошем диетическом столе, который теперь можно получить только в первоклассном ресторане. И хотя ради котлеты и бутылки минеральной воды не занимают стола в таком месте, мосье Альбер этого посетителя, ставшего в последнее время завсегдатаем, встречал вполне учтиво — из-за траурной ли повязки, или из-за того, что господин с явным отвращением смотрел на всю публику ресторана. Как большая часть посетителей, он теперь приезжал на велосипеде. Его новеньким, лучшей фабрики, велосипедом неизменно восхищался в передней мальчик в синей курточке с золотыми пуговицами.

Вошла еще компания с веселым «Ah!» и «Oh!», невольно вырывавшимися у каждого при переходе из темноты в ярко освещенную уютную комнату, при виде столов с белоснежными скатертями, бутылок с золочеными воротничками в ведерках. Мосье Альбер

заботливо их рассаживал, высказывая печальные соображения о погоде (он говорил так, будто и погода теперь была не та, что в прежние времена). Затем — было 7 часов 55 — в передней послышалось что-то вроде «звяканья шпор» или даже «бряцания оружия». Мальчик в синей куртке широко распахнул дверь. Вошли два германских офицера. Высокий, плечистый, на диво выбритый полковник, тоже новый завсегда, раза два приезжавший в свите большого лица, прямо направился к столу Наполеона в сопровождении мосье Альбера. Метрдотель не различал немецких погонов и обычно всех пожилых офицеров называл: «Votre Excellence»<sup>1</sup>, что с их стороны никогда возражений не вызывало. Он, впрочем, знал, что этот завсегда имеет лишь чин полковника; но называть немца «Mon colonel»<sup>2</sup> было ему неприятно.

Другой офицер мало отличался от первого по возрасту и по наружности: оба были крепкие, крупные, краснолицые люди с квадратным, украшенным снизу складками затылком, с тем общим в выправке, даже в выражении лица, что испокон веков облегчало работу враждебных Германии карикатуристов и что во всех странах, без всяких войн, всегда вызывало недоброжелательство к немцам. Только второй офицер носил усики, не имел на левой бледно-пухлой руке двух пальцев, да еще лицо у него было благодущнее, и погонны не совсем такие. «Должно быть, подполковник», — подумал метрдотель, достойно-почтительно подвигая вошедшим стулья, и мысленно пожелал рака желудка и полковнику и подполковнику.

Полковник заказал обед, не взглянув ни на карту, ни на метрдотеля; у него вид был такой, точно он произносил тронную речь. Подполковник, напротив, погрузился в перечень блюд. От профессионального взгляда мосье Альбера не ускользнуло, что смотрит он больше на правую сторону листа.

Подполковник лишь накануне приехал в Париж с далекого участка фронта; его сюда после ранения назначили для отдыха; работы у него было немного, и он второй день изучал город с путеводителем старого издания. В знаменитый ресторан он пришел по пригла-

---

<sup>1</sup> «Ваше Превосходительство» (фр.).

<sup>2</sup> «Мой полковник» (фр.).

шению своего сослуживца; но характер приглашения был ему не совсем ясен: «Eingeladen» или «Aufgefordert»<sup>1</sup>? Между тем о ресторане этом в путеводителе говорилось: «Sehr vornehm. Entsprechende Preise»<sup>2</sup>. Несколько выше в той же книге было сообщено: «Die Pariser Küche gilt für die erste der Welt. In den Restaurants ersten Ranges pflegen die Portionen sehr groß zu sein. Darum ist es ratsam, hier zu dreien oder mindestens zu zweien zu speisen: Suppe für je zwei eine Portion, drei Personen zwei Beefsteaks und von allen weiteren Gerichten nur eine Portion für drei Personen. Es läßt sich auf diese Art eine Mannigfaltigkeit ohne Überladung erzielen. Feinschmecke speisen selten allein»<sup>3</sup>. Однако обедавший с ним Feinschmecker<sup>4</sup> не предложил делить порцию на двоих. Увидев среди замысловатых, со звучными названиями французских блюд застенчиво затесавшуюся, с более скромной ценой «Choucroute garnie», подполковник обрадовался и с бодрой улыбкой старательно выговорил:

— Choucroute garnie. Pas te fin avec choucroute garnie. Te la pierge<sup>5</sup>.

Мальчик вошел из передней и что-то шепнул метрдотелю, чуть повернув голову в сторону полковника. Мосье Альбер, неслышно ступая по мягкому ковру, снова поспешно подошел к столу Наполеона.

— Автомобиль Вашего Превосходительства прибыл. Шофер спрашивает, ждать ли ему? — сказал он значительным тоном, словно сообщал государственную тайну, и с неудовольствием оглянулся на красносного sommelier<sup>6</sup>, который с презрением принес полковнику пиво на серебряном подносе. Этого напитка в ресторане прежде и не подавали.

Полковник, не отвечая, смотрел в пространство под углом в 70 градусов к полу.

---

<sup>1</sup> Первое слово означает настоящее приглашение; второе в Германии употребляется тогда, когда одно лицо предлагает другому пойти куда-либо вместе, но с тем, что каждый будет платить за себя.

<sup>2</sup> «Высокого ранга. Соответственные цены». — *Пер. авт.*

<sup>3</sup> «Парижская кухня считается лучшей в мире. В ресторанах первого разряда порции обычно очень велики. Рекомендуются поэтому обедать там вдвоем или, по крайней мере, вдвоем: одна порция супа заказывается на двоих, два бифштекса — на троих, а из остальных блюд на троих достаточно одной порции. Таким образом достигается разнообразие без перегружения. Гастрономы редко обедают в одиночестве (нем.). — *Пер. авт.*

<sup>4</sup> «Гурман» (нем.).

<sup>5</sup> Шукрут с гарниром. Не надо вина в шукрут... Пива (*искаж. фр.*). — *Пер. авт.*

<sup>6</sup> Служащий ресторана, ведающий спиртными напитками (*фр.*).

— Das nennen die Leute Bier!<sup>1</sup> — горестно сказал подполковник, отхлебнув из стакана. В его благодарной желудочной памяти на мгновение засиял настоящий Pschorrbräu, которым он в Мюнхене запивал лейтмотивы Нибелунгов, и разные Bockwurst-ы, Blutwurst-ы, Rothwurst-ы, Weisswurst-ы, Knackwurst-ы и Leberwurst-ы. Угол между полом и направлением взгляда полковника уменьшился до 60 градусов. Мосье Альбер все так же ждал ответа, достойно-почтительно наклонив голову.

— Пусть ждет! — не сказал, а *бросил* полковник. Он эту манеру бросания слов разучил недавно: в прежнее время, в приемных веймарских министров, умел разговаривать совершенно иначе.

— Пусть ждет, — поспешно, как эхо, но с исправленным акцентом повторил мальчику мосье Альбер и взглянул на часы. Было две минуты девятого. Он с до-тошно-почтительной улыбкой оглянулся на немецких офицеров, на других гостей и повернул ручку радиоаппарата. Это было новшество. В ресторане за все века его существования не было никакой музыки. Радиоаппарат поставили в начале войны. Через полминуты нечеловеческий, как бы из далекой бездны всплывший на полуфразе голос стал говорить слова, в которых не было ни одного звука правды. Все настожились и стерли улыбки с лиц.

— Счет, — отрывисто сказал господин с траурной повязкой. На него оглянулись с соседних столиков. Он допил кофе, расплатился, вышел в переднюю и, поставив ногу на стул, стал завязывать тесемки на брюках, что теперь здесь удивления не вызывало. Руки у него, как заметил мальчик, с завистью подавший ему велосипед, немного тряслись. Мальчик погасил лампочку в передней, зажег, с неизменным удовольствием, свой карманный фонарик нового образца — с синим стеклом — и отворил дверь. Господин дал ему на чай и вышел.

— До завтра, мосье, — сказал мальчик, гася фонарик (батареи были почти недоступны).

— Что?.. Да, до завтра, — ответил господин с черной повязкой.

---

<sup>1</sup> Это люди называют пивом! (нем.) — Пер. авт.

У входа стоял только один автомобиль, зелено-вато-серый, довольно потрепанный, с буквами «W.M.» и с номером, с черной свастикой на красном флажке, с затемненным, однако довольно ярким фонарем. Дальше, уже шагах в десяти, ничего не было видно. Господин с траурной повязкой бегло взглянул на автомобиль, вывел велосипед из освещенной полосы тротуара и неприятно-медленно, как теперь по вечерам все велосипедисты, покатил по набережной. На углу у другого фонаря старушка в платье, сшитом из занавески, рылась в пустоватой корзине с отбросами. Местность стала совершенно безлюдной. В изъятие из правил, некоторые фонари в городе все же горели, обычно у зданий, над которыми развевался флаг со свастикой и у дверей которых неподвижно, как каменные идолы, стояли германские часовые в касках. Таких зданий в этой части Парижа было меньше, чем в других, но и тут они попадались нередко. Непривычную, непроглядную, непостижимую, бесшумную, бесконечную, беспросветную тьму изредка, на мгновение, тотчас снова в нее погружаясь, прорезывали автомобили с флажком. Больше почти ничего не было ни видно, ни даже слышно — только изредка четко и торопливо стучали по тротуару деревянные башмаки редких прохожих. Вдруг, выделившись светом, гулом, гогомом, грохотом, прошел газогенный автокар с немецкой молодежью, запоздало возвращавшейся с развлекательно-образовательной поездки по достопримечательностям Парижа, от Notre-Dame до Монмартра. Он остановился у маленькой, древней из древних, церковки; что-то на автокаре повелительно прозвенело, хохот мгновенно умолк, и полнокровный, точно насыщенный пивом, начальственный голос начал что-то говорить, видимо длинное: «Das ist eine der ältesten»<sup>1</sup>. Дверь церковки приотворилась, сверкнул бледный свет, на пороге появился, сгорбившись, испуганно приложив руку ко лбу, священник. «Должно быть, служит messe votive»<sup>2</sup>, — подумал господин с черной повязкой. — ...Quare tristis es anima mea? Et quare conturbas me?»<sup>3</sup> Когда-то была в Испании messe pour la mort des

---

<sup>1</sup> «Это одна из старейших...» (нем.) — Пер. авт.

<sup>2</sup> Заупокойная месса (фр.).

<sup>3</sup> «...Зачем грустишь, душа моя? Зачем смущаешь меня?» (лат.)

ennemis<sup>1</sup>, ее потом отменили в Риме, но ее надо бы восстановить теперь — к концу той тысячелетней цивилизации, которая так упорно, без всякого основания, хочет перейти в историю под псевдонимом христианской... «Dante Alighieri — 1265—1321 — der grosse Dichter, auf den die Italiener, unsere tapferen Verbündeten... (послышался гогот, и тотчас на автокаре опять что-то прозвенело, на этот раз отрывисто-гневно) ...mit Recht so stolz sind, soll in dieser Kirche...»<sup>2</sup> ...Да, лучшие слова в этой книге: «Moriatur anima mea cum Philistinis»<sup>3</sup>. Вот это и верно, и кратко, и так необыкновенно хорошо... Он немного ускорил ход велосипеда. Впереди, шагах в пятидесяти, вырезались рядом и стали приближаться два тусклых огонька, к ним чуть повыше присоединился третий, на велосипедах медленно проехали два французских полицейских. Один из них, нагнувшись, держа в протянутой руке фонарь, подозрительно окинул взглядом господина с повязкой. Еще дальше, как раз за тем домом, где был проходной двор с выходом на параллельную улицу, внезапно кто-то в трех шагах, впрочем без всякой злобы, скорее радостно-грубо, выругался по-немецки. Визгливый женский голос повторил ругательство в более кратком французском варианте. Господин затормозил и поднял левой рукой фонарик. Солдат в каске перед самым велосипедом перевел через улицу женщину. «...Non, mais des fois! T'es soûl! Alors quoi! J't'en foutrais!...»<sup>4</sup> — кричала проститутка, видимо, показывая спутнику, что здесь она знает, как говорить. «Sauker! Schweinehund!» — рычал солдат.

Заговорил комментатор. Это не было так важно. Мосье Альбер опять вопросительно оглянулся сначала на стол Наполеона, затем на стол у окна и закрыл аппарат. Речь оборвалась с тем же кряканьем. Послышалась музыка: легкая, очень легкая. С лиц спекулянтов сошло патриотическое тревожное внимание. Красноносый *sommelier* принес к их столу поднос с ликера-

---

<sup>1</sup> Панихида по врагу (*фр.*).

<sup>2</sup> «Данте Алигьери (1265—1321) — великий поэт, которым справедливо гордятся наши храбрые союзники итальянцы... в этой церкви...» (*нем.*) — *Пер. авт.*

<sup>3</sup> «Пусть моя душа умрет с филистимлянами» (*лат.*).

<sup>4</sup> Брань.

ми. Мосье Альбер скользнул ему на помощь, взял у него бутылку и сам налил коньяку в низкий цветкообразный стакан того спекулянта, который в этой компании обычно платил по счету: они общую сумму всегда делили поровну, отвечая великодушными восклицаниями на великодушные протесты тех, кто заказывал больше других: «*Vouyons, voyons*»<sup>1</sup>. «...Музыка сейчас для меня единственное спасение! Я до поздней ночи слушаю Берлиоза или... да, Берлиоза. Не спится, ничего не поделаешь», — с патриотической горечью говорил старший спекулянт. Мосье Альбер сочувственно-почтительно улыбнулся и пожелал и ему рака желудка.

За столом Наполеона обед тоже кончался. Оказалось: не «*Aufgefördert*», а именно «*Eingeladen*»: это стало подполковнику ясно после того, как полковник, не спрашивая его, заказал бутылку, целую бутылку, шампанского. Вино было замечательное, и вкусовое наслаждение от него еще усиливалось от сознания, что пьешь не какой-нибудь Хенкель, а самое настоящее французское шампанское — лучше не бывает. «Право, он хороший человек... Кто распускает о нем вранье, будто он свирепое животное и все такое?» — думал подполковник. Он думал также, что сберег немало денег: если исходить из стоимости *Choucroute*, пива и из доли в «на чай», то экономия была весьма существенна; но даже если считать просто по стоимости обеда в среднем ресторане?.. Можно купить духи жене: духи еще не все раскуплены. Потом эти мысли были у подполковника отравлены другой: собственно, следовало бы *реванишироваться* — позвать на обед и полковника. Но эта мысль у него только промелькнула, и даже тогда, когда она мелькала, он твердо знал, что ни на какой обед полковника не позовет: «Сюда я не могу, это было бы глупо и смешно, и он отлично знает мои средства. А звать его в дешевый ресторан мне не подобает, и это все-таки не был бы реванш, и даже было бы не по-светски

---

<sup>1</sup> «Полноте, полноте» (фр.).

тотчас отвечать приглашением на приглашение... Когда-нибудь, при случае...»

За шампанским полковник заговорил о своих успехах по службе, о своей близости к верхам власти, и настроение у подполковника стало несколько менее благодушным. Они когда-то служили вместе в небольшом городке, но не виделись лет восемь, по рождению принадлежали к разным кругам и, в сущности, никогда близки не были. «Может быть, он и пригласил меня для того, чтобы показать, как далеко ушел по сравнению со мной... Со всем тем он любезный человек. И щедрый...» Полковник как раз *бросал* взгляд на счет. Немного задержавшись все же на счете глазами, он ничего не сказал и оставил на чай восемь процентов (в Берлине оставлял десять, но здесь ему теперь почет был обеспечен все равно). Мосье Альбер почтительно поблагодарил и подумал, что рак печени, быть может, лучше рака желудка. Взглянув на часы, полковник ахнул. Оказалось, что его ждут у высокопоставленного лица: так, просто, разговоры и бридж.

— ...Он без меня не садится за стол... Разумеется, я вас подвезу.

— О нет! Это, кажется, не по дороге и совершенно не нужно, — говорил конфузливо подполковник. Ему очень хотелось бы, чтобы его подвезли: он еще плохо разбирался в подземной дороге.

— Тогда вот что: я подвезу вас до той станции метро, что у моего дома. Оттуда к вам прямая линия, без пересадок. А для меня это крюка не составляет. Мы будем там через семь минут.

— Какая точность! Через семь минут!

— Я каждый день езжу отсюда домой. Только сегодня этот несчастный бридж. Мы все же допьем бутылку.

— *Unsre Väter tranken immer noch einen vor dem letzten*<sup>1</sup>, — сказал классическую прибаутку подполковник.

В автомобиле полковник продолжал рассказывать

---

<sup>1</sup> Наши предки всегда выпивали перед последним еще один (нем.). — Пер. авт.



о своих служебных успехах и административных идеях. Благодарно-любезная улыбка стала сползать с лица подполковника. «Да, это обычная история: он штабной администратор, я боевой офицер. Ему награды, мне раны... Хорошо еще, что отделался двумя пальцами!» (Кисть левой руки у него тотчас заняла сильнее.) «Может быть, и есть доля правды в том, что о нем говорят», — думал подполковник все более хмуро. Однако он поддерживал разговор, задавая преимущественно такие вопросы, которые не давали бы его спутнику возможности говорить о своих успехах. Когда автомобиль остановился у синего фонаря, подполковник сказал: «Надеюсь, скоро», но мысленного многоточия не уточнил и только гостеприимно улыбнулся, повторив, что ему было очень, очень приятно: «Очаровательный вечер»... Он крепко пожал руку полковнику и вышел из автомобиля, держась осторожно за дверцы, чтобы не оступиться и не ушибить раненой руки.

Автомобиль отошел, оставив подполковника на площади. В нескольких шагах от места, на котором он стоял, все было погружено в ту же крошечную тьму, которая действовала и на него, хоть он еще совсем недавно находился на далеком фронте, в селах, где никаких вообще фонарей, верно, не было с сотворения мира. Подполковник вспомнил, что Париж называют «городом-светочем», и усмехнулся. «Все-таки они перестарались: никакие англичане и не думают нас здесь бомбардировать. Это теперь, пожалуй, единственное место в мире, где еще чувствуешь себя в безопасности, даже скучно... Вон там, должно быть, метро. Но там нельзя курить. Еще одну, так и быть, последнюю». Он достал портсигар, морщась от боли в руке, и, повернувшись спиной к ветру, оттопырив губы с папиросой, стал ее раскуривать. В конце площади сверкнул крошечный синеватый огонек. «Слава Богу, хоть один живой человек!» У подполковника не было зажигалки — надо подавать пример экономии бензина, — он имел на такой случай свою систему: свести в полоску три спички так, чтобы одна головка выступала, если она начнет задуваться, от нее успеют зажечься другие.

«Будем надеяться, что английские летчики не воспользуются ни моими спичками, ни его фонариком... Что это он так быстро едет? Хочет сломать себе голову?» Синяя точка мчалась прямо на него — и вдруг стала странно замедляться. Что-то сразу точно полоснуло подполковника. «В чем дело?! Что за человек?! Чего ему надо?! Да это...» Загремели выстрелы. Вторая и третья спички вспыхнули, осветив нижнюю часть лица, оттопыренные губы, седоватые усы. По лицу велосипедиста промелькнул ужас, он опустил руку и понесся дальше, мгновенно потонув во тьме. Подполковник зажал во рту папиросу, выронил ее, сделал несколько кривых шагов, пошатнулся и тяжело повалился грудью на мостовую, ударившись головой о фонарный столб.

## НА «РОЗЕ ЛЮКСЕМБУРГ»

*Не без колебания решаюсь предложить читателям этот рассказ. Боюсь, что им покажется слишком смелой попытка писателя, давно уехавшего из России, писать о нынешней русско-германской войне. Материалами послужили рассказы советского морского офицера, случайно мною встреченного в Европе до начала войны, а также многие тома советских официальных изданий, как «Морской Сборник».*

*Для глав рассказа, изображающих немцев, я пользовался только германской военной литературой. Мне указывали, что я слишком сгустил черную краску в изображении командира немецкой подводной лодки. Могу на это ответить лишь то, что офицеры в Германии бывают разные; я ничего не обобщаю, но не думаю, чтобы выведенный мною остроумный национал-социалист был исключением.*

*Автор*

### I

Паника была назначена на два часа дня. Пароход «Роза Люксембург» выходил из Мурманска в час. Командир капитан-лейтенант Сергей Сергеевич Прокофьев<sup>1</sup>, герой Сов. Союза, награжденный орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда», очень крепкий, не-

---

<sup>1</sup> Героя рассказа зовут так же, как знаменитого композитора. Алданов композитору Рахманинову посвятил повесть «Десятая симфония», широко известна фотография, на которой сняты вместе Рахманинов, Алданов и Бунин. Мы не знаем, состоял ли Алданов в дружеских отношениях с Прокофьевым, но невозможно предположить, что имя, отчество и фамилия героя рассказа «На «Розе Люксембург» и имя автора оперы «Любовь к трем апельсинам» совпадают случайно. Прокофьев вернулся из эмиграции в Москву в 1932 году, рассказ появился ровно через десять лет. Не пытался ли послать Алданов через океан литературное приветствие старому знакомому? — *Прим. ред.*

высокий человек, с умным, некрасивым и привлекательным лицом, был на ногах с пяти утра. Как всегда перед выходом в море, работы было чрезвычайно много. Он побывал в порту, получил от разведки последние указания и в десятом часу вернулся на катере; в целях лучшего хранения тайны «Роза Люксембург» стояла в заливе довольно далеко от порта. Он увидел ее, лишь обогнув в бухте английские суда. По дороге Прокофьев с волнением всматривался в свой пароход, зная, что больше его снаружи не увидит. «Кажется, все в порядке...» Затем, поднявшись на борт, он в последний раз проверил все машины, механизмы, котлы, штурманскую часть, орудия в макетных ящиках. Несмотря на свою обстоятельность, опыт и знание дела, Сергей Сергеевич мучительно боялся, уж не забыл ли о чем-либо важном.

Пароход был очень старый. Когда-то он назывался «Великий Князь Константин Николаевич», в 1917 году был переименован в «Архангельск»; после убийства Розы Люксембург ему сгоряча дали ее имя. В былые времена он предназначался преимущественно для перевозки грузов, но принимал и небогатых или случайных пассажиров. Кают было двадцать шесть — больше, чем теперь требовалось. На этот раз две из них, самые лучшие после капитанской, были отведены иностранным гостям.

Английский и американский офицеры прибыли на том же катере, как было условлено, в четверть первого. Поджидая их на палубе, Прокофьев испытывал чувство неловкости за «Розу Люксембург», за ее старость и убогий вид. Правда, внешность парохода вполне соответствовала его странному заданию: ему и полагалось быть именно таким, каким он был. Однако Сергей Сергеевич предпочел бы встретить гостей, особенно англичанина, на новом эскадренном миноносце, который был ему почти обещан начальством. При первом же знакомстве с гостями в Мурманске ему стало ясно, что этот англичанин очень опытный офицер. «Морской волк, — с усмешкой подумал он, употребляя мысленно в кавычках клише штатских людей, — не извозного промысла». Американец был не моряк — младший лейтенант армии, еще почти юноша, — «красавчик!» — иронически сказал себе Сергей Сергеевич, почему-то

сразу его невзлюбивший; никакого предубеждения против американцев у него, впрочем, не было (против англичан было).

Английский офицер был очень высокий, худой человек лет сорока восьми, с совершенно голым черепом, который сзади отделяла от шеи узкая полоса седоватых волос. «Должно быть, выпито было немало, опять же женский пол», — подумал Сергей Сергеевич. В Мурманске ему кто-то сказал, что этот мистер Деффильд из аристократической семьи, «лорд не лорд, сэр не сэр, а так что-то вроде».

«Лордам по мордам», — угрюмо пошутил Прокофьев. При первом знакомстве он по ошибке назвал англичанина коммодором (немного поколебавшись, уж не надо ли говорить: «господин коммодор?»). Англичанин, чуть нахмурившись, поспешно сказал, что он не коммодор, а командэр. «Ну да, командэр, и в бумаге так было сказано, ведь коммодор у них очень высокий чин», — подумал Сергей Сергеевич с досадой. Он был человек не очень нервный и не очень застенчивый, но в этих непривычных беседах он проявлял и застенчивость, и нервность; разговаривать с иностранцами ему до этой войны не случалось ни разу.

После первого знакомства они провели втроем вечер, вместе ужинали в «Арктике» и побывали в Доме культуры на спектакле музыкальной комедии. Молодой американец был в восторге от «Свадьбы в Малиновке», от актеров, от публики. Его громкий заразительный хохот в театре обращал на себя сочувственное внимание публики, особенно девиц; на некоторых из них он ласково поглядывал. Командэр Деффильд изредка, в самых смешных местах пьесы, выдавливал на лице улыбку, и Сергею Сергеевичу было перед ним без причины неловко и за «Свадьбу в Малиновке», и за Дом культуры.

Чувство неловкости у него усиливалось от того, что гости были так хорошо одеты. Особенно элегантен был американец. Шинель и тужурка на нем как будто только что вышли из мастерской очень хорошего портного. Сергей Сергеевич и сам был одет чисто и исправно, «да моя форменка не того класса», подумал он. Шинели Прокофьев в Мурманске не носил, несмотря на холодные весенние вечера: он родился в Архангельск. губ. и привык к холодам. В этот день, порабо-

тав утром в машинном отделении, он вывел пятна на тужурке, и ему казалось, что он распространяет запах бензина; сам на себя досадовал, что придает значение пустякам. В десять часов на «Розу Люксембург» привезли вещи гостей, новенькие превосходные вещи, каких в России нельзя было достать ни за какие деньги.

— Какая замечательная декорация! У русских это в крови: их театр лучший в мире... Читали вы воспоминания Станиславского? Изумительная книга, — сказал американец Деффильду, тогда тот, уже почти у борта «Розы Люксембург», опустил бинокль и встал. Англичанин взглянул на него, и молодой лейтенант с улыбкой почувствовал, что если есть книга, которой не читал и не собирается читать командэр Деффильд, то это именно воспоминания Станиславского. Они взбежали по трапу на коммунальную палубу. Прокофьев очень крепко пожал им руку (как полагается, по старым русским романам, у англосаксов) и спросил, завтракали ли они, не желают ли закусить или выпить чаю. Оба гостя говорили по-русски; поэтому их и выбрали для командировки в Россию. Командэр говорил почти свободно. Сам Сергей Сергеевич немного знал английский язык и читал английские книги по своей специальности, но произносил слова так, как они пишутся.

Гости ответили, что позавтракали на берегу, что сейчас ничего не хотят. Американец с искренним восторгом хвалил все: завтрак, водку, русский борщ, Россию, море, «Розу Люксембург». Командэр Деффильд попросил разрешения осмотреть судно. По дороге в каюту он как будто и не смотрел по сторонам, но Прокофьев чувствовал, что он по сторонам смотрит и замечает решительно все. «Не поручусь, что он не работает в морской Интеллидженс... Хотя нет, едва ли... Да, импозантный сэр. Точно аршин проглотил», — насмешливо думал Сергей Сергеевич, инстинктивно соединяя с впечатлением от командэра общую сумму своих понятий о британцах, от «лордам по мордам» до «Англия рассчитывает, что каждый исполнит свой долг». Он почти обрадовался, заметив, что у англичанина сзади пятно на рукаве шинели.

— Сделайте одолжение, осматривайте все, что вам угодно. От боевых товарищей у нас секретов нет, — ответил он с хозяйской приветливостью, хотя и не

вполне убежденно. Узнав, что гостям очень нравятся отведенные им каюты, командэр с ними простился, пригласив их к себе на три часа к чаю. На церемонию, предшествующую выходу в море, он их не позвал.

На палубе Сергей Сергеевич встретил младшего офицера и старика штурмана, который прослужил во флоте больше сорока лет. Младший офицер, ведавший хозяйственной частью, с радостным волнением сообщил, что из-за иностранных гостей получил в порту все.

— Дали красного азарбейджанского три дюжины. И шампанское дали! Настоящее шампанское Союза новороссийских кооператоров, бывшее имение Абрау-Дюрсо, — с почтением в голосе сказал он. — Паусной икры отпустили пять фунтов. Боюсь, не хватит?

— Хватит. А не хватит, так пусть лопают что дают... — равнодушно заметил штурман, рассматривавший в бинокль что-то на берегу. Под его поднятой рукой торчал из кармана тремя четвертями заголовка номер «Полярной Правды».

— Коньяку кавказского и рому отпустили шесть бутылок. Вот только лимонов не достал, во всем Мурманске ни одного лимона. Как же готовить грог? Ведь у них грог первое дело, а?

— Пусть хлещут без лимона, — отозвался опять штурман и опустил бинокль. — Все врут люди! Говорят, за Туломой немцы... подожгли склады, стоят тучи дыма! И все вранье, ничего не видать... — Штурман в каждую фразу вставлял крепкие слова, оттого ли, что действительно любил их, или потому, что, по его мнению, так полагалось говорить человеку, прослужившему сорок лет во флоте.

— Как же не видать? Не туда смотрите, папаша, это не у радиостанции. Дайте ваш бинокль, я вам разыщу.

— Подождешь... — сказал штурман. — За этот бинокль, брат, я при царизме дал сто двадцать пять рублей, как одну копейку. Двенадцатикратный Цейс!..

— Велики деньги сто двадцать пять рублей! Мой шестикратный Обуховский дороже, да и лучше.

Штурман только на него посмотрел.

— При царизме рубли были рубли. Золотые! Тебе, Мишка, тогда цена была две копейки.

— Не даете бинокля, папаша, да еще ругаетесь —

не получите шампанского. И Моцарта, папаша, никогда не видели!

— Цыц, Мишка, молокосос, — сказал старик. Он уверял, будто в 1899 году во время стоянки в Бремене видел в театре Моцарта, и на возражения упорно повторял: «Видел, говорю вам, что собственными глазами видел». Вероятно, он смешивал Моцарта с Поссартом.

— К обеду, Сергей Сергеевич, будет сегодня борщ, утка и сладкий пирог. Достаточно с них?

— Достаточно. Отвальной обед, — рассеянно ответил архангельским словом Прокофьев. — Впрочем, вместо борща сервируй, Мишка, что-нибудь другое. Их уже в порту кормили за завтраком борщом, — пояснил он.

Младший офицер, которого, по его юности и добродушию, называли просто «Мишка», ахнул, схватился за голову и убежал. Гостеприимство у него, как у всех на пароходе, было в крови. «О чем беспокоится! Девять шансов из десяти, что жить нам всем осталось неделю, и гостям и нам», — сказал себе Сергей Сергеевич. Он распорядился о сигнале и пошел к политруководителю.

Батальонный комиссар орденосец Богумил (его фамилия была вечной темой для шуток, он сожалел, что не переменял ее в начале карьеры) работал над составлением первого номера стенгазеты «На румбе». Комиссар очень любил морские слова, читал старые повести Станюковича из быта моряков и во всех сколько-нибудь удобных случаях с упоением кричал: «Вахтенный!», «Есть!», «Лево руля!», «Все наверх!». Он и вообще говорил странно, постоянно вставляя в свою речь неупотребительные выражения, забытые поговорки, а также малороссийские слова, хотя не был украинцем. Капитан Прокофьев был с ним в корректных отношениях; они зависели друг от друга. Сергей Сергеевич мечтал о своем эсминце: трудные, опасные дела, за которые он получил звание Героя Советского Союза, давали ему на это право. Положение его во флоте было очень прочным, особенно с начала войны; об этом свидетельствовало и почетное назначение на «Розу Люксембург». Однако с комиссаром ссориться не приходилось. Вдобавок Прокофьев признавал за Богумилом и достоинства: «Не трус, не злой человек, с ним



можно работать. Разумеется, без него было бы лучше, но можно было напасть и на каналью...»

Капитан знал, что, с точки зрения людей старого закала, разница между ним и комиссаром была огромная и всецело в его пользу: «я пай, он бяка»... Наивность людей старого закала, которых он иногда встречал, и в этом, как во всем, вызывала у него улыбку. Тем не менее он Богумила недолюбливал: и потому, что его права и обязанности все-таки тесно переплетались с правами и обязанностями комиссара (полное разграничение было невозможно, несмотря ни на какие уставы и инструкции), и потому, что русские люди всегда во все времена неизменно недолюбливали полицию, назывались ли полицейские земскими ярыжками, решеточными приказчиками, исправниками или комиссарами. Впрочем, обо всем этом Прокофьев думал мало: комиссары были существующий факт, а Сергей Сергеевич, как большинство советских граждан, чувствовал инстинктивное уважение к существующим фактам.

— Доброго добра, — сказал комиссар, здороваясь в третий раз за день с Прокофьевым. Они поговорили о делах. Комиссар сообщил, что после паники состоятся политзанятия.

— Сегодня, конечно, еще можно. Потом, боюсь, будет не до того, — заметил капитан.

— Если позволят военобстоятельства, будем устраивать каждый день. Я пока наметил следующие пять тем: «Жизнь и дело Розы Люксембург», «Чесменский бой», «Революционное прошлое краснознаменного флота», «Адмирал Нахимов», «Флот и народ в стране социализма»... Кстатечки, уже поступило одно заявление о желании вступить в партию.

— От кого? — спросил без большого восторга Сергей Сергеевич.

— От старшины комендоров Трифонова. Он на ять парень. После обеда созову партсобрание, и в два счета проведем его в кандидаты. Вот только пьет, щоб его видьма слопала. Говорил я ему: пропадешь как Бекович...

Сергей Сергеевич посмотрел на часы и сказал, что пора. Комиссар молодцевато нацепил кобуру с наградным почетным маузером и вышел с командиром.

— Пожалуй, «Чесменский бой» и «Адмирала Нахимова» могу провести я, если немец не помешает, —

на ходу предложил, подумав, Прокофьев. Богумил кивнул головой.

— Нехай так, нехай сьяк, нехай будет рыба рак, — сказал он, выходя на коммунальную палубу рядом с командиром (не впереди и не позади). Команда была новая, но отборная: из самых опытных и храбрых краснофлотцев; часть ее была взята на «Розу Люксембург» по указанию самого Прокофьева. Он удовлетворенно окинул взглядом выстроившихся людей и просветлел. Позади, вне строя, но почти в нем стояла Марья Ильинишна Ляшенко, военврач третьего разряда, в светло-сером пальто с беличьим воротником. На пароходе уже все шепотом говорили, что командир влюбился в Марью Ильинишну. Она была в самом деле очень хороша собой. «Только уж слишком пышный бюст», — с неискренним неодобрением говорил Мишка. Этот бюст, при очень прямой и крупной ее фигуре, с чуть закинутой назад головой, придавал ей воинственный вид, странным образом сказавшись и в ее характере.

Сергей Сергеевич, как всегда добросовестно, подготовил речь, и ему было приятно, что Марья Ильинишна ее услышит. Говорил он с матросами очень хорошо и просто, без восклицаний, нимало не подделываясь под народный язык. Да ему и трудно было бы подделываться: он был сыном архангельского рыбака и учиться грамоте стал только в 1917 году. Боевое задание полагалось объявить лишь перед выходом в море. На этот раз оно было в общем известно команде: маляры и декораторы работали над макетами полторы недели. Сергей Сергеевич лишь все уточнил. Объяснил, какая честь выпала им на долю, с каким врагом они будут иметь дело. Он не сказал, что «Роза Люксембург» идет почти на верную гибель, но не скрыл, что опасность очень велика.

— ...Так и знайте, товарищи, — закончил он. — Этот немец страшный враг. Он загубил много человеческих душ. Так и помните: либо он, либо мы.

Затем произнес несколько слов комиссар. Чтобы поднять настроение, он, по-суворовски, начал с шутки. Сообщил, что нынче в каюте поймал таракана: это к счастью. Никто, однако, не засмеялся: лица почти у всех были нахмуренные, у многих бледные. Комиссар почувствовал, что ошибся, и перешел на серьезный тон.

— ...Возлагаю надежды на комендоров товарища

Трифонова. Они немцу покажут: видал субчика! Но мы все должны соревноваться на службе нашей дорогой, счастливой Родине. И мы покажем фашистской сволочи, где раки зимуют, уж в этом я даю честное ленинское! — сказал он и прочел текст обязательства: «Беру на себя социалистическое обязательство только на отлично выполнять все задачи, которые будут на меня возложены в походе». Он хотел было, чтобы каждый произнес обязательство отдельно, но Прокофьев опять многозначительно посмотрел на часы. До отхода оставалось шестнадцать минут, об опоздании хотя бы на одну минуту — да еще при иностранцах — не могло быть речи. Комиссар велел произнести обязательство хором, как на больших судах. Сюрприз он подготовил к концу.

— В честь нашего гениального вождя, учителя и друга предлагаю назвать поход Сталинским! — воскликнул он. Предложение было принято единогласно и покрыто криками «ура!». Громче всех кричал старый штурман.

— Есть! Сегодня же занесем в стенгазету, — сказал комиссар.

Через минуту все были на своих местах. Прокофьев с мостика смотрел в бинокль на берег и думал, что, вероятно, больше никогда не увидит ни Мурманска, ни Москвы, ни Архангельска. Когда пароход отошел, Сергей Сергеевич незаметно перекрестился (хоть был неверующим человеком) и еще с полчаса постоял на мостике. Впрочем, делать ему было пока нечего. В Кольском заливе опасности еще ждуть почти не приходилось. Море в этот бессолнечный безветренный весенний день было совершенно спокойно. Воздушных налетов в заливе давно не было.

## II

Лейтенант Гамильтон только вздохнул, увидев умывальник своей каюты. Почему-то в Мурманске он надеялся, что на «Розе Люксембург» можно будет добиться ванны. В его памяти (он два раза ездил с родителями в Европу) с понятием парохода связывалась роскошь, превосходившая роскошь их собственного дома. Гамильтон догадывался, что на советском пароходе, на котором ему устроили место после до-

лгих хлопот, особенных удобств не будет. Однако на ванну он рассчитывал твердо. Освободившись от все еще не совсем привычной ему военной формы, он надел темно-красный бархатный халат, подарок матери ко дню рождения (стоивший так дорого, что мать с твердой улыбкой отклоняла шутливые вопросы отца о цене), надел отороченные мехом сафьяновые туфли и выглянул в коридор. Врожденная деликатность говорила ему, что на этом судне не следовало бы показываться в таком наряде. Но другого халата он не имел, а в коридоре никого не было видно. Он прошел до конца коридоров и, не найдя ванной комнаты, вернулся. Выбежавший из-за угла молодой матрос, увидев Гамильтона, остановился на ходу, вытаращив глаза. Лейтенант смущенно скрылся в каюте. «Да, чудесная страна, изумительный народ, и у них строится новая жизнь, тогда как у нас разрушается старая, но жаль, что пока так мало комфорта», — подумал он и опять пожалел, что не захватил с собой резинового туба, как сделал командэр Деффильд. Он кое-как умылся над крошечным откидным тазом с щелями и пятнами на фаянсе, оделся и в самом лучшем настроении духа вышел на палубу.

«Роза Люксембург» еще не отошла. Лейтенант, радостно, сочувственно улыбаясь, следил за быстрой, ловкой и ладной работой матросов. Ему казалось, что едва ли так работают американские рабочие, одетые неизмеримо лучше этих бедных людей, вероятно, и питающиеся неизмеримо лучше. Ему было немного неловко перед матросами: сам он на пароходе ничего не делал и никакого задания не имел. Лейтенант подошел к борту и долго с восторгом смотрел на панораму Мурманска, на бухту, на снеговые горы. «Я не много видел мест более прекрасных и своеобразных, чем это...»

Когда пароход отошел, лейтенант, не зная, что с собой делать, погулял по опустевшей палубе быстрыми гимнастическими шагами, все по-прежнему улыбаясь и что-то вполголоса напевая, то слева, то справа появляясь в поле зрения стоявшего на мостике капитан-лейтенанта Прокофьева. Встретившись с ним взглядом поверх раздувшейся парусины поручней, лейтенант весело помахал рукой и закричал: «Хелло!» «Жизнерадостный гражданин! Да удельной («красав-

чик)), — опять подумал архангельским словом Прокофьев. — И курит там, где не полагается. Сейчас же ему скажу...» Неприязненное чувство к американцу в нем неясно выразилось в мысли о Марье Ильинишне.

Минут через пять Гамильтону надоела его гимнастическая прогулка. Он выносил одиночество только за чтением и за сочинением стихов. Теперь ему хотелось говорить, делиться впечатлениями, мыслями о России. На палубе никого не было. Он опять подошел к борту, раскурил третью папиросу и снова стал смотреть на берега понемногу расширявшегося залива. «Как бедно — и как величественно!» Берега состояли то из гранитных скал, то из мелкого низкорослого леса. Долго тянувшиеся склады товаров, не очень пострадавшие от германских налетов, кончились. Теперь попадались только группы изб, привязанные к столбам рыбацьи беспалубные суда. У одного селения стояла толпа людей. Пароход прошел очень близко от них, и эта чрезвычайно бедно одетая толпа вдруг неприятно поразила Гамильтона своей странной безмолвностью: в Мурманске, напротив, кипела жизнь. Он помахал рукой толпе — и почему-то тотчас отошел к другому борту. «Да, Полярный круг! Какой фон для поэмы!» — подумал он радостно, теперь твердо уверенный, что поэму напишет.

В университете все — некоторые с завистью, большинство дружелюбно — говорили, что Чарльз Гамильтон — баловень судьбы. Родители его были богаты и принадлежали к хорошему обществу. Это была очень консервативная семья: мать значилась среди «Дочерей Революции», а отец был внуком Линкольновск. полковника. Мать внимательно следила за последними успехами китайской медицины, а отец собирал коллекцию французских табакерок XVIII века (имел табакерку Рошамбо — «того самого»). Их сын был, по общему и справедливому отзыву, необыкновенно даровит. Книга его стихов, выпущенная им двадцати лет от роду и названная «Carmen Aeternum»<sup>1</sup>, имела немалый успех. Критик большой нью-йоркской газеты очень лестно отозвался о его стиле (были слова: «rebellious», «sensual», «fecund», «highly provocative»<sup>2</sup>),

<sup>1</sup> «Вечная песнь» (лат.)

<sup>2</sup> «Мятежный», «чувственный», «плодовитый», «в высшей степени вызывающий» (англ.).

отметил влияние на него Катулла, Томаса Кэмпiona, Китса и всех трех Ситуэллов и обсудил его книгу как «commentaries on human experience»<sup>1</sup>. Если у этого критика были грехи, то бесспорно они были отпущены за ту невероятную, ни с чем не сравнимую, не повторяющуюся в жизни радость, которую он доставил в этом мире человеческому существу. После этой рецензии (три столбца в литературном приложении газеты) было немало других, менее важных. В местной же студенческой газете появилась восторженная статья с портретом Гамильтона: его поклонница, курсистка, говорила о необыкновенной его способности проникать в чужую душу и отмечала в нем нерононский комплекс. «Помимо десятка других блестящих карьер Чарльз Гамильтон мог бы сделать карьеру гадалки и предсказательницы», — писала девица. В этом была, по-видимому, доля правды: на шуточных сеансах университетского «Общества черной магии» у Гамильтона действительно иногда бывали необыкновенные удачи в угадывании чужих мыслей и даже в чем-то вроде телепатии. «Это медиум!» — был общий голос.

Книгу его признал и старый профессор, у которого он учился. Этот профессор написал пять томов о поэтической литературе нашего времени; она у него была очень точно распределена по периодам и все попарно: от Теннисона и Россетти до Свинберна и Генлея, от Свинберна и Генлея до Киплинга и Мэнсфильда, от Киплинга и Мэнсфильда до Брука и Грейвса. Тем не менее — или именно поэтому — профессор решительно ничего не понимал в поэзии и каждого нового поэта благоразумно расценивал лишь после появления о нем достаточного числа рецензий. После десятой рецензии оценил и Гамильтона и даже мысленно отвел ему место в одной из следующих пар — к восьмому тому и к достижению Гамильтоном сорокалетнего возраста. В ожидании этого в дружески-отеческой беседе со своим молодым учеником профессор посоветовал ему попробовать свои силы в большой поэме в старом байроновском жанре. «Я знаю, жанр этот очень устарел, — испуганно сказал профессор, глядя в смеющиеся глаза Гамильтона, — но у всякого жанра может быть возрождение, и вы знаете, с каким успехом Спен-

---

<sup>1</sup> «Комментарий по поводу человеческого опыта» (англ.).

дер возродил жанр Шелли». «Чтобы писать, как лорд Байрон, надо и жить, как он», — ответил скромно Гамильтон.

Жить, как лорд Байрон, он не мог по разным обстоятельствам, преимущественно семейным и денежным: собственного состояния у него не было, а на байроновскую жизнь отец денег не дал бы и даже не оценил бы ее; его немного ошарашил и «нероновский комплекс» в рецензии о сыне: действительно ли это очень хорошо? Чарльз Гамильтон и не хотел бы огорчать родителей, которых очень любил. Начал он было и роман, но написал пока лишь несколько глав — нероновский комплекс ко многому обязывал. Не знавшие его люди, прочитав рецензию студенческой газеты и особенно увидев портрет автора, могли думать, что этот молодой человек — позер. Они совершенно ошиблись бы: поэты в нем было гораздо меньше средней доли, свойственной людям его лет, да и та, что была, вытеснялась в его характере необыкновенной страстной жизнерадостностью.

Куря на палубе одну папиросу за другой, он лениво думал, что следовало бы написать длинное письмо Минни — его последней герл-фрэнд. Но он не любил писать длинные письма; да и идут они теперь два месяца, легко могут и вовсе не дойти... «Я приеду раньше» (письмо с корабля-ловушки все же было бы эффектно). Думал о начатой большой поэме «Север»: все морские образы, от альбатросов до корабля-призрака, уже использованы старыми поэтами. Память безошибочно подсказывала ему стихи этих поэтов, и он завидовал чудесам, которые когда-то можно было создать из самых легких, дешевых образов, рифм и ритмов. «...Then, 'mid the war of sea and sky, — Top and top gallant hoisted high, — Full spread and crowded every sail, — The Demon-Frigate braves the gale; — And well the doom'd spectators know — The harbinger of wreck and woe...»<sup>1</sup> Он также думал с улыбкой, что сам теперь плывет на Фрегате-Демоне (какое красивое слово: «фрегат»!), однако на очень милом Фрегате-Демоне, где вместо злодеев и преступников идут на рискован-

---

<sup>1</sup> «...Затем, в то время как море вело войну с небом, Фрегат-Демон, с поднятыми и развернутыми парусами, мужественно боролся со штормом. И, как прекрасно знали обреченные наблюдатели, предвестник крушения и бед...» (англ.)

ное дело милые русские революционеры. «Но все-таки нельзя рифмовать «sky» и «high»... И человеку, который теперь всерьез написал бы нечто вроде «Манфреда» или «Короля Лира», стыдно было бы показаться на глаза людям». Думал также, что на слово «North» почти нет рифм, — английские поэты с тонким слухом теперь считают неприличным рифмовать «north» и «forth». Однако, если Браунинг рифмует «suns» и «bronze»?.. Кроме «forth» есть еще «fourth»...

Лейтенант смотрел на матово-серебристые северные облака, на стаи шумных чаек — в Мурманске ему сказали, что эта местная короткоклювая птица не может хватать рыбу из воды и отнимает ее у других птиц, поэтому она здесь зовется «чайкой-разбойницей». Он решил в поэме назвать чаек «истеричками» — это хорошо. «Да, да, эта поездка дает фон для поэмы. Но какая же может быть поэма с фабулой без женщины, без героини? А откуда ее здесь взять?..» Гамильтон вздохнул при мысли о войне. Он был в восторге от того, что он военный, настоящий военный, что он плывет на корабле-ловушке в полярных водах этой изумительной страны, не похожей ни на какую другую. И тем не менее война была чрезвычайно ему противна. Ему хотелось бы быть лейтенантом и плыть на корабле-ловушке и подвергаться опасности, большой опасности, но так, чтобы при этом не было войны — войны за идеалы, которые он вполне признавал, и все же нелепой, зверской, физически грязной войны. Вдобавок он не чувствовал ненависти к немцам. В Англии хотел было даже записаться в одну из вновь открытых там «школ ненависти», но подумал, что уж если надо учиться ненависти в школе, то учиться незачем: не научишься.

### III

С мостика спустился советский командир. Гамильтон поднял руку и с новым «Хелло!» пошел ему навстречу. И в ту же секунду он с удивлением почувствовал, что внушает неприязнь этому человеку. Гамильтон смущенно остановился: это чувство было совершенно ему неизвестно — так он привык к тому, что в нем все не чаяли души. Сергей Сергеевич остановился на минуту с гостем у обреза с водой. Они обменялись папиросами. Капитан наклонился над фи-



тилем обреза и зажег папиросу, по привычке прикрывая согнутой рукой огонек. Гамильтон, изумленно-почтительно следивший за его движением, сделал то же самое. Русская папироса показалась ему отличной. Прокофьев похвалил американскую.

— Здесь можно курить, — сказал он, — а там, на той стороне палубы, нельзя.

— О, я печален!

— Здесь можно... Как вы свободно говорите по-русски.

— Говорю ли я? — радостно переспросил Гамильтон и сообщил, что в университете специально занимался русской литературой и что это очень ему пригодилось: когда началась война, он записался добровольцем, прошел ускоренный кандидатский военный курс и в чине младшего лейтенанта был прикомандирован к миссии, отвозящей в Россию танки.

— Это всегда была мечта меня! Теперь, я надеюсь, я буду приехать часто. Я люблю так много все русское!.. Как вы любите Америку?

— К сожалению, никогда не был. Великая страна, — сказал Прокофьев. — Так в три часа прошу ко мне к чаю. До того, в два, состоится паника.

Американец весело закивал головой.

— Вы не моряк, но если вам угодно посмотреть, пожалуйста...

— О, это... — начал было Гамильтон и вдруг остолбенел, увидев Марью Ильинишну, которая подходила к ним энергичной походкой, странно-быстрой при ее крупной, почти монументальной фигуре. Он никак не ожидал появления на военном судне дамы, да еще такой. «Рубенс, одухотворенный Перуджино!» — с восхищением сымпровизировал он мысленно. Ему показалось, что есть нечто роковое, провиденциальное в появлении этой женщины почти в ту самую минуту, когда он размышлял о своей байроновской аванюре и об отсутствии героини поэмы.

— Познакомьтесь, — сказал сухо Сергей Сергеевич. — Мистер Гамильтон, младший лейтенант американской армии... Марья Ильинишна Ляшенко, наш врач.

— Я вас уже видела издали, когда вы подъезжали, — сказала Марья Ильинишна, крепко пожимая руку лейтенанту. — А где ваш товарищ?

— Не товарищ, — сказал американец. — Я делал его знакомство эта неделя.

— Какие вы оба эlegantные! Фу-ты, ну-ты, ножки гнуты!.. Сергей Сергеевич, как по-английски «фу-ты, ну-ты, ножки гнуты»?.. Так вы этого англичанина не знаете? Да, ведь вы армейский и едете домой, а он моряк и приставлен к нам инструктором.

— Какой вздор, Марья Ильинишна! — с негодованием сказал Прокофьев. — Никакой он не инструктор, иностранцев-инструкторов нам не надо! Коммандэр Деффилд тоже пересядет в море на английское судно, с которым мы должны встретиться. Это и для него и для лейтенанта самый быстрый способ возвращения, только и всего. А вы говорите: инструктор!

— Я так поняла, что... Нет, не инструктор, я хотела сказать, наблюдатель... Отчего же вы рассердились? Да хотя бы и инструктор, что ж тут для вас обидного? Ведь это новый способ войны, его ввели англичане, они его нам объясняют, самое естественное дело.

— Это чистейший вздор! И способ войны не такой новый: его англичане применяли еще в первую империалистическую, — сказал Прокофьев и добавил приторно-равнодушным тоном: — Ну-с, пока. Оставляю вас в приятном обществе.

— Так долго, — сказал лейтенант.

— Постойте, куда же вы? — спросила Марья Ильинишна не очень настойчиво. Сергей Сергеевич сделал вид, будто не слышал, и быстро удалился. Она засыпала американца вопросами: кто он? откуда родом? есть ли у него родители? где он учился? женат ли он? почему не женат? страдает ли он морской болезнью и придется ли ей лечить его? Этот последний вопрос немного смутил Гамильтона, который в самом деле плохо выносил качку. Он понимал почти все, что она говорила, понимал ее гораздо лучше, чем Прокофьева и других русских; однако отвечать ему было нелегко. На ее вопрос, коммунист ли он, лейтенант кое-как ответил, что не коммунист, но сочувствует коммунистам во многом.

— Так нельзя, — строго сказала она, — так нельзя: многому сочувствую, многому не сочувствую. Чему вы не сочувствуете?

Он хотел было сказать, что сочувствует коммунистическим идеям, но не сочувствует террору; но ее

строгий тон испугал его, и он этого не сказал. Объяснил только как умел, что ненавидит буржуазную цивилизацию и что старый мир разлагается. Она одобрительно кивнула головой.

— Мы вас живо обратим в нашу веру. Кстати, у нас сегодня начинаются политзанятия. Приходите: комиссар разрешит, я его попрошу.

Он сначала не понял, потом закивал восторженно.

— Я буду прийти! Я благодарю вас так много!.. Когда?

— В четыре часа. Сейчас начнется паника, а после паники мы будем пить чай у командира. Я приглашена хозяйкой. Он мой друг... Слышите сигнал? Это паника. Но мне нужно сначала зайти в мою каюту, на нижней палубе. Хотите проводить меня? Отлично, тогда пойдём... Как называется нижняя палуба — опердэк? гондэк? Верхняя, я знаю, кварталдэк. Впрочем, вы в этом смыслите еще меньше моего.

Смеясь, они пошли к лестнице. По дороге она по-прежнему сыпала вопросами: думает ли он, что их потопит этот проклятый пират, и если потопит, то когда именно? правда ли, что «Роза» по каким-то особым причинам идет кружным путем и в воды пирата придет только через неделю? и когда же они встретятся с английским судном? и зачем он без необходимости добивался места на «Розе»?

— Но почему же вы так уверены, что он нас не потопит? Бойтесь ли вы смерти? Я нисколько!.. Впрочем, нет, страшно боюсь! — сказала она и остановилась. — Вот ваш товарищ!

Из двери огромного макетного ящика, согнув свою гигантскую фигуру, выходил командэр Деффильд. Сквозь медленно затворившуюся дверь лейтенант увидел пушку и сложенные возле нее снаряды. При виде дамы на военном судне на лице англичанина не выразилось ни малейшего удивления; вероятно, он не удивился бы, если бы увидел здесь жирафа или носорога. Он обменялся приветствиями с лейтенантом, но не обнаружил желаний подойти к ним. Марья Ильинишна с любопытством на него смотрела.

— Кажется, этот мог бы мне объяснить, где гондэк, где опердэк... Какой угрюмый! Совсем не похож на вас!

— Он понимает русски, — поспешно сказал лей-

тенант, оглядываясь. Коммандэр Деффильд уже вошел в другой макетный ящик.

— Язык мой враг мой, я знаю, мне все всегда это говорили, — сказала Марья Ильинишна. — Ну вот, мы и пришли. Это моя каюта... Правда ли, что он лорд? Неправда? Вы меня здесь подождите, куда же вам спешить? Слышите, как орут паникеры?.. Я выйду минуты через две.

Оставалась она в своей каюте по крайней мере минут десять. Вышла, подкрасив губы, напудрив лицо, повязав платком свои золотые волосы. Он представил себе ее распущенные косы — до пола, как рисуют на косметических рекламах. «Лорелея! Славянская Лорелея!»... Ему было лишь не совсем приятно, что она врач: почему-то он не любил женщин-врачей.

— Становится холодно, ведь это Заполярье. А я люблю тепло, люблю солнце. Я родом из Киева, — сказала она. — Ну, бегом, а то паника кончается.

Они пошли на верхнюю палубу, разговаривая уже как старые знакомые. Запутанной сбивчивой фразой он дал ей понять, как счастлив знакомству с ней: он так рад, мог ли он думать, что на «Розе Люксембург» будет дама, — хотел добавить: «и такая!», но не решился.

— На военных судах у нас женщин мало, — сказала она с неудовольствием. — Но допускаются исключения. Вы знаете, что у нас в России есть партизанки, есть летчицы, есть парашютистки. Теперь у нас недостатка во врачах. Не недостатка, впрочем, недостаток у нас нет ни в чем, но стали принимать женщин и на военные суда. Я добилась от товарища Прокофьева, чтобы он взял меня на «Розу», он не хотел, я настояла.

— Вы жената? — нерешительно спросил он. Стоя у дверей каюты, думал, можно ли ее об этом спросить, и решил, что можно. Она засмеялась и ответила с полной готовностью:

— Была жената, но разошлась с мужем.

— О! — произнес он не то с сочувствием, не то с радостью. Она ответила и на его немой вопрос.

— Мы разошлись потому, что надоели друг другу. Мой муж говорил, что я страшно надоедлива. Это правда? — Она теперь со всеми старалась говорить о своем разводе весело, почти как о приятном воспоминании. В действительности этот развод в свое время

причинил ей много горя. Ее муж был художник. Марья Ильинишна прощала ему измены, но ушла от него, когда он в сердцах сказал ей, что она малявинская баба, вообразившая себя Джокондой.

— Вы... — начал восторженно Гамильтон и не сказал того, что думал. Она с любопытством подождала его ответа, задумалась и спросила:

— Сколько вам лет?

— Двадцать пять.

— Значит, мы ровесники: мне тоже двадцать пять (ей было двадцать семь, а ему двадцать четыре). Сколько раз вы были влюблены?

— Четырнадцать раз, — ответил он без запинки: этот вопрос ему задавали и в Америке, а русские числительные он знал твердо. — Нет, не четырнадцать раз: пятнадцать раз. — Для верности он три раза растопырил пальцы на правой руке. Она, смеясь, побежала вверх по лестнице. Он шел за ней, не отводя глаз от ее ног, и думал, что сказал чистую правду: теперь уже не четырнадцать раз, а пятнадцать.

На панику они опоздали. Им навстречу бежали разгоряченные, радостно взволнованные учением матросы. Комиссар Богумил обласкал лейтенанта и любезно разрешил ему присутствовать на политзанятиях.

— А теперь идите к Сергей Сергеевичу чай кушать, — сказал он Марье Ильинишне. — Нет, я не могу, где мне? Еще надо подковаться к лекции.

#### IV

Капитанская каюта не походила на обычные каюты парохода. Это была довольно большая, очень чистая комната с круглым столом посередине, теперь заставленным едой и напитками на чистой разноцветной скатерти, с диваном у стены, служившим постелью, с письменным столом, с книжными полками и картами по стенам. В углу висела гитара. Если бы не карты и не слишком парадная еда у самовара, его комната напоминала бы декорацию из пьесы Чехова.

За столом сидели Сергей Сергеевич, командэр Деффилд, штурман и младший офицер. Разговор явно не клеился. Штурман угрюмо молчал, видимо, желая, чтобы этот чай кончился возможно скорее. Про-

кофьев на палубе шутливо попросил его пить возможно меньше, «а то еще напугаете в инструментах». Сергей Сергеевич отлично знал, что старик даже и в пьяном виде напутать в своем деле не может, но опасался, как бы тот, выпивши, не заговорил по-своему в присутствии Марьи Ильинишны: Сергей Сергеевич вообще не любил крепких слов, а в дамском обществе совершенно их не выносил. Младший офицер то искоса поглядывал на командэра, который, прямой, как палка, сидел по правую руку от хозяина, то с беспокойством переводил взгляд на стол: после долгих колебаний он решил подать бутылку шампанского; хотя не обед, а чай, но первый чай с иностранцами. Сам он до сих пор пил шампанское лишь раз в жизни в день выпуска из училища. Англичанин его удивил. Он думал, что англичане рыжие, говорят «годдам» и все время бьются об заклад на сто золотых.

Сергей Сергеевич встретил вошедших с деланной шутливой улыбкой, представил командэра Марью Ильинишну и попросил ее разливать чай. Лейтенант Гамильтон, увидев бутылки, ахнул и сказал, что у него в каюте есть несколько бутылок виски, он сейчас принесет. Сергей Сергеевич чуть нахмурился — «кажется, русского угощения достаточно», подумал он; однако лейтенант так явно не желал никого обидеть, а Марья Ильинишна так настойчиво-радостно просила угостить ее виски — «слышала, читала, но отроду не пила», — что пришлось согласиться. Гамильтон сбегал в свою каюту и вернулся с двумя бутылками, при виде которых командэр Деффильд как будто несколько оживился.

— Зачем же вы принесли две? — преувеличенно-весело спросил Прокофьев. — Нас всего-то шесть человек, а вернее пять, так как я в походе не пью.

— О! — с сожалением сказал лейтенант, сам, впрочем, пивший тоже очень мало. Он ловко откупорил бутылку. — Нет сода!.. (Сергей Сергеевич опять чуть было не обиделся: «надо было для него еще запастись содовой водой».) Но без сода еще... — Он забыл, как по-русски сравнительная степень от «хорошо». Марья Ильинишна подсказала и подставила свой стакан. Сразу стало веселее.

Младший офицер откупорил шампанское с такой осторожностью, точно работал над миной и опасался взрыва. Сергей Сергеевич предложил тост за общую

победу. Американец восторженно закричал «ура!». Мистер Деффильд осушил бокал настоящего шампанского Союза новороссийских кооператоров, но больше к нему не прикасался и налег на виски — от первой бутылки скоро ничего не осталось. Штурман теперь поглядывал на англичанина дружелюбнее: ему тотчас стало ясно, что этот командэр может выпить не одну, а три таких бутылки, причем даже не повеселеет. Сам он, по старой памяти, уважал виски, но не любил. Улучив момент, когда Прокофьев на него не смотрел, штурман налил себе и проглотил залпом большой стакан кавказского коньяку. Англичанин тоже взглянул на него с интересом. Мишка, не забывая себя, подливал гостям напитки, подсовывал бутерброды с икрой, ветчиной, сыром. Его занимала пена в шампанском — нальешь самую малость, а бокал уже полон. Вкус шампанского ему не очень нравился — нельзя было сознаться, что пиво вкуснее. Из любопытства он попробовал и виски — совсем не понравилось, но можно будет говорить, что пил виски.

Сергей Сергеевич ничего не пил и был мрачен, несмотря на повисшую на его лице хозяйскую улыбку. Лейтенант Гамильтон и Марья Ильинишна пили не очень много, но были веселее всех. Они скоро пересели на диван. Прокофьев старательно не смотрел в их сторону.

— ...Нет, нет, ничего хорошего в вашем виски я не вижу, — говорила она. — Наша вишневая наливка лучше всякого виски... Сергей Сергеевич, как надо говорить: всякого виски или всякой виски? Не слышит Сергей Сергеевич, так занят разговором с вашим англичанином... Так вы говорите, он не лорд, этот англичанин? Он очень похож на лорда... Впрочем, я ни одного лорда не видела и не желаю видеть!.. Сергей Сергеевич нарочно для меня держит эту наливку... Наши украинские вишни самые лучшие в мире.

— У нас в Пенсильвания самые лучшие вишни. Лучше вишни нигде! — возразил Гамильтон, немного обидевшись за Америку.

— Какой вздор! У вас таких нет и быть не может!.. Он мой лучший друг, Сергей Сергеевич, я его люблю, он прекрасный человек, но некрасивый... Кажется, я выпила немного больше, чем нужно? Нет? Вы тоже очень милый, страшно! Как вас зовут?

— Чарльз.

— Вот так имя! Разве можно *серьезно* называться Чарльз? Вам самому не стыдно? Впрочем, я шучу, это очень красиво, Чарльз. А по отчеству вас как?

— Мой отец Генри... Генрович.

— Чарльз Генрихович. Я вас буду звать Чарльз Генрихович.

— Нет, вы будете звать: Чарли, — сказал он, почти дерзко глядя ей в глаза и замирая от восторга. Она объясняла ему свое имя: «Марья... Да, пожалуй, Мэри, а по отчеству Ильи-нишна. Отец был Илья, значит, Ильинишна». Он сказал ей как умел, что это просто неблагородно в отношении иностранцев: из *легкого* «Ильи» делать какую-то «Ильинишну». Она смеялась. Потом он сообщил ей, что пишет стихи, что некоторые стихи направлены против капиталистического строя. Ему противны роскошь и самодурство богачей, эксплуатирующих народные массы. «Ну да, ну да!» — говорила она. Он рассказывал о квартирах миллионеров из пятнадцати—двадцати комнат, об их загородных виллах-дворцах, о туалетах дам. Его кухня как раз перед его отъездом заказала себе шестое меховое манто, оно обошлось ей в девять тысяч долларов.

Марья Ильинишна всплеснула руками.

— Расстреливать нужно таких людей, хоть она и ваша кухня!.. Какое же это было манто? Верно, соболье? Или горностаевое?

Он не знал, какое это было манто. Не знал и того, какие были первые пять. Не знал, какой длины теперь носят манто. Не знал вообще ничего о моде. К концу приема он уже читал ей свои стихи. Она слушала, не понимая ни слова, и одобрительно-радостно кивала головой.

Штурман ушел на политзанятия, сообщив вполголоса младшему офицеру (в заключение их разговора о жалованье в походах), что князь Потемкин на представлениях о денежных ассигновках просителям обычно собственноручно писал: «дать, дать» и еще несколько слов в рифму к первым. Мишка, обожавший штурмана, захохотал и испуганно оглянулся на Марью Ильинишну — «далеко: может, не слышала»...

Коммандэр Дэффильд подошел к полкам с книгами. Это была собственная библиотека Сергея Серге-



евича: Пушкин, «Война и мир», «Фрегат «Паллада», новые русские романы, коллекция переплетенных томов «Морского Сборника», ученые, технические, исторические труды, в том числе и английские, а также много популярных книг по самообразованию: тут были книги по естествознанию, по политической экономии, по музыке, по живописи — Сергей Сергеевич читал их, нахмурившись, с карандашом в руке, и даже составлял конспекты. О музыке он читал с особенным вниманием, так как страстно ее любил; но вздыхал, узнавая из книги, что «в первых движениях («почему движениях?») «Патетической симфонии» чувственные инстинкты выражены с предельным цинизмом».

— ...Толстой был, конечно, великий писатель, но что у него о военном искусстве, это слабая марка, — нерешительно сказал младший офицер.

— Молчите, Мишка, вы не читали, — отозвалась Марья Ильинишна.

— Чтоб мне на этом месте пропасть, читал! — Мишка благодушно отошел к дивану. С Марьей Ильинишной ему было гораздо легче, чем с англичанином.

— Быть может, вы хотите взять что-либо в свою каюту? Мои книги к вашим услугам, — предложил Прокофьев. Коммандэр поблагодарил и взял с собой том «Морского Сборника» и английскую биографию Нельсона.

— Могу я сказать один... одно?..

— Разумеется. В чем дело? — тотчас насторожившись, спросил капитан.

— Я хотел сказать одну... вещь. — Англичанин говорил по-русски медленно, подыскивал слова, но почти всегда находил их. Он вполголоса сообщил, что макетный ящик на четвертом орудии немного отстаёт: можно увидеть щель. Сергей Сергеевич вспыхнул.

— Неужели? Я не заметил.

— Я заметил от лодки. Совсем маленький... Можно видеть только... через очень хороший бинокль. Но он имеет очень хороший бинокль, он будет увидеть... Все остальное хорошо... Очень красиво.

— Я тотчас велю исправить, — сказал Сергей Сергеевич суховаго. — Спасибо... Не хотите ли коньяку? Или еще чаю?

— Я хочу коньяку, если вы тоже пьете со мной. За русского флота!

Отпив из рюмки, Прокофьев посмотрел на часы и любезно попросил гостей остаться в его каюте: сам он должен был идти на мостик.

— Здесь, в заливе, мы еще почти в безопасности, разве только воздушный налет? Но в Баренцевом море ни за что поручиться нельзя.

— Вот тебе раз! — сказала Марья Ильинишна. — Значит, нас могут потопить еще сегодня? А говорили, что только через пять-шесть дней. Это непорядок!

Все засмеялись, громче других лейтенант Гамильтон.

— Зачем ему нас топить? Мы его потопим, — беззаботным голосом ответил Сергей Сергеевич. — Правда? — обратился он к командэру. Англичанин утвердительно кивнул головой.

— Он потопал сто шесть тысяч тонн, — сказал Деффильд, допивая коньяк. Он так сказал это, что слово «потопал» ни у кого не вызвало улыбки. Марья Ильинишна смотрела на него с любопытством.

— Да, мне говорили: это было в официальном сообщении фашистов? — спросила она. — Там и фамилию назвали: капитан Лоренц, правда?.. Да, граждане, грех будет прозевать его.

— Мы не будем... прозевать его, — медленно сказал командэр Деффильд.

## V

«Красный угол» был устроен в прежнем офицерском буфете. С узкой стены на собравшихся матросов глядела крошечная, пожилая, добродушного вида женщина с открытой шеей, с длинным носом, с пышными волосами. Ее портрет был задрапирован красной материей. Против входа висел большой медальон: профиль Сталина частью прикрывал профиль Ленина. На другой стене была копия картины художника Горшкова «Бой канонерской лодки «Ваня-коммунист» под Пьяным Бором». Название картины всегда неприятно задевало капитана Прокофьева. Хотя сама по себе картина ему нравилась, он непременно снял бы ее, если бы хозяином в этой комнате был не комиссар Богумил, а он. Рядом с картиной на выцветших обоях отчетливо выделялся большой бледный прямоугольник: тут когда-то висел портрет Троцкого.

Комиссар сидел за столом, служившим теперь кафедрой, и что-то читал матросам, занимавшим ряд скамей без спинок. В первом ряду с карандашом и записной книжкой, надев очки, сидел старик-штурман. Марья Ильинишна, младший офицер, Деффильд и Гамильтон вошли к концу политзанятий. Богумил ласково кивнул им головой и предложил занять места. У иностранных офицеров был такой вид, какой бывает у христианских туристов, попавших во время богослужения в мечеть: не напутать бы и не оскорбить бы верующих. Лейтенант на цыпочках прошел к последней скамье и занял место рядом с Марьей Ильинишной. Коммандэр Деффильд сел на табурет у входа. Матросы испуганно смотрели на иностранцев, особенно на лысого англичанина с каменным лицом. Его длинное худое туловище составляло прямой угол с доской табурета.

Политзанятия уже подходили к концу: комиссар понимал, что во время похода нельзя утомлять людей. И хотя он сам разрешил вход иностранным офицерам, их присутствие несколько его стесняло. Быть может, поэтому он говорил особенно самоуверенно и громко.

— Итак, товарищи, я кончаю и резюмирую, — сказал он, пробежав лежавшую перед ним бумажку. — Вы видели, что у товарища Розы Люксембург были промашки. Она скапутилась в 1903 году: стала на сторону меньшевиков, обвиняя нашу партию, партию Ленина — Сталина, в ультрацентризме и бланкизме (штурман неодобрительно кивал головой). Затем она, вместе с Парвусом, высосала из пальца полуменьшеvistскую схему перманентной революции, которую у нее заимствовали псы троцкизма. Глубочайший анализ ее промашек дан товарищем Сталиным в его гениальном письме в редакцию «Пролетарской Революции» «О некоторых вопросах истории большевизма»... Ошибочной была, наконец, и ее теория стихийности, основанная на идее автоматического краха капитализма. Не поняла она и идеи социализма в одной стране...

Он сказал это и сам испугался: может, теперь речь идти должна о социализме в разных странах? или ни в одной стране? Штурман, все больше выражая лицом неодобрение Розе Люксембург, записывал что-то на листке записной книжки, не без труда водя по ней карандашом: был ранен в руку в Цусимском бою.

Лейтенант Гамильтон слушал с восхищением. Он не очень понимал слова комиссара и не очень интересовался Розой Люксембург; в Мурманске не сразу даже вспомнил, кто это такая, получив, после долгих хлопот, место на носившем ее имя пароходе. Но все это было так неожиданно, так непривычно! Он попал в новый, необыкновенный и прекрасный мир. Марья Ильинишна смотрела на портрет Розы. Ей было немного завидно — отчего она сама не придумала какой-нибудь такой теории стихийности? «Кто она была? Был ли у нее муж? Какая была в частной жизни? Верно, и частная жизнь была бурная, хотя уж очень некрасива, бедняжка», — думала Марья Ильинишна, с наслаждением чувствуя на своих плечах и шее влюбленный взгляд американца. Лицо командэра Деффилда не выражало решительно ничего.

Голос комиссара вдруг совершенно изменился, и лицо у него стало сладким. От ошибок Розы Люксембург он перешел к ее заслугам и к группе «Спартак».

— ...В меньшевистском поле и полуменьшевистский жук мясо, — сказал он и опять немного испугался своих слов. — Вы видите, товарищи, что Роза Люксембург живо схватила конъюнктуру и выбросила за борт изрядный груз центристских взглядов. Ошибки ее забудутся, а великое дело «Спартака» останется. И вот почему партия Ленина — Сталина назвала наше судно именем Розы Люксембург (штурман закивал головой на этот раз с видом полного одобрения). Есть ли какие-нибудь вопросы, товарищи?

Вопросов не оказалось. Подождав с полминуты, Богумил сказал:

— Завтра, товарищи, наш командир, товарищ Прокофьев, проведет занятия по Чесменскому бою. Как вы знаете, в этом бою русские военно-морские силы под командой Алексея Орлова уничтожили тройные силы турецкого флота и тем положили конец войне, начатой против нас турецкой буржуазией... И как мы тогда били турок, так мы будем теперь бить немецких фашистов. Правду я говорю, товарищи?

Послышался одобрительный гул. Штурман попросил слова и внес поправку:

— Не так будем бить, товарищ комиссар, а будем бить втрое лучше: мы сталинские питомцы и защищаем свое социалистическое отечество!

Одобрительный гул послышался снова. Комиссар улыбнулся. Он знал, что штурман, прослуживший много лет в царском флоте, замаливает прошлые грешки, чтобы не остаться без моря и без хлеба. Комиссар относился к этому довольно благодушно: дело житейское. Старик ему нравился, как он нравился почти всем на судне.

— Поп не кончил, а дьякон запел, — сказал весело Богумил. — Ну, да эту поправку я принимаю... И еще я хотел сказать одно, товарищи. Как вы завтра узнаете, в Чесменском бою одной из наших эскадр командовал, под начальством Алексея Орлова, английский моряк, адмирал (он заглянул в бумажку), адмирал Эльфингстон, состоявший на нашей службе. Так вот, и сейчас на «Розе» с нами плывут английский и американский моряки, сражающиеся вместе с нами за общее дело. Предлагаю их приветствовать... — Он хотел было добавить: «и занести это в стенгазету», но раздумал. Его слова были покрыты рукоплесканиями.

Лейтенант Гамильтон раскланивался с искренним волнением. Мистер Деффильд тоже выразил благодарность. Но, когда комиссар, собрав бумаги, стал искать его глазами, командэра уже в каюте не было.

— Уже его нема! — с удивлением сказал Богумил. Во время политзанятий он не вставлял в речь украинских слов, и это его утомляло. Он опять засмеялся, увидев штурмана, и дружески хлопнул его по плечу. — Устал, брат, сталинский питомец?

— Вчера два часа сидел над той брошюрой, не мог оторваться. Отличная брошюра, — сказал штурман.

— Вот и отлично, что сидели. Сидите и дальше. «Попы, фабриканты, купцы, толстосумы — сидели в стенах Государственной Думы», — весело продекларировал комиссар, очень довольный своей лекцией.

## VI

Подводная лодка И-22 провела ночь на дне бухты. Вчерашний день был неудачный: ничего потоплено не было. Почти весь вечер большая часть команды лежала на койках без движения, чтобы поглощать возможно меньше кислорода. Тем не менее к рассвету дышать уже было трудно. Командир лодки, капитан Лоренц, потопивший 106 тысяч тонн и два раза отмечавшийся

в приказах германского командования, был из-за неудачного дня в мрачном — даже для него — настроении. Вдобавок он и чувствовал себя плохо. У него болела голова, болели спина, глаза, шея. Накануне, плохо доверяя своим подчиненным и желая показать, что он плохо им доверяет, капитан в согнутом положении простоял у перископа часов восемь. Правый глаз у него был совершенно воспален. Из-за этого, точно вставленного в ободок, выцветшего глаза Лоренц впускал теперь всей команде еще больший ужас, чем в обычное время.

Лодка была не очень большая, не самого последнего образца: в 740 тонн, с одним перископом, с двумя орудиями и шестью минными аппаратами; она делала не более 18 узлов. Капитан Лоренц работал уже давно в норвежских, финских и русских водах, избрав специальностью одиночные торговые суда. Против конвоев действовали эскадрильи подводных лодок новейшей конструкции. Он предпочитал работать самостоятельно.

Морское начальство не любило капитана Лоренца. Оно отдавало должное его храбрости, энергии и искусству, но считало его человеком тупым и маниакальным. Что-то не совсем нормальное было в самой его наружности, в его выцветших злых глазах, подчеркнутых сине-красными складками, в желто-бледном безжизненном лице, в длинной, тонкой шее, из-за которой его называли жирафом, в странной развинченной походке (он на ходу отставлял назад правую руку, чуть шевеля ей позади тела), в крайне неприятном скрипящем голосе, иногда переходившем в дикий вопль — не в обычное горловое оранье кадрового германского офицера, а в наводящий ужас хриплый крик полусумасшедшего человека. Впрочем, этот его крик слышали только подчиненные. Начальство не любило Лоренца за тупость, за невоспитанность и за то, что он стал членом национал-социалистической партии двадцать лет тому назад, когда это было еще совершенно не принято. Молодые ученые адмиралы относились к нему чуть пренебрежительно — отчасти так, как профессора математической физики к Эдисону: работает без высшей математики. Однако они не могли отрицать, что Лоренц, без высших познаний, без ученых трудов, потопил 106 000 неприятельских, преимущественно анг-

лийских, тонн. Они знали также, что партия заставит их дать Лоренцу все полагающиеся и даже не полагающиеся ему награды.

В газетах он уже именовался национальным героем и «грозой полярных морей». Это прозвище очень ему нравилось. Верховное командование, впрочем без горячности, настаивало на том, чтобы в новом флоте, при соблюдении строжайшей дисциплины, установились товарищеские отношения между офицерами и матросами. Лоренц считал строжайшую дисциплину совершенно несовместимой с товарищескими отношениями. Да и никому из его подчиненных не могло бы и прийти в голову, что с капитаном Лоренцом возможны товарищеские отношения. Кроме фюрера и своей лодки, он никого и ничего не любил. Был холостяк, не имел любовниц, не брал в рот вина и даже курил мало: три-четыре дешевеньких сигары в день. Самое непонятное в нем было то, что он недурно играл на скрипке. Знавшие его люди недоумевали: почему капитан Лоренц играет на скрипке, да еще Шуберта! Знакомые капитана в большинстве тоже его ненавидели. Шепотом передавался слух, будто он состоит на службе у гестапо.

Лодка погрузилась в десятом часу (еще было по полярному светло). После погружения Лоренц лег на койку в своей крошечной каюте, стараясь делать возможно меньше движений. Как и вся команда, он спал не раздеваясь: снимал только башмаки и кожаную куртку. У него, как почти у всех, был хронический насморк. В жилых помещениях лодки температура доходила до 30 градусов, но стены, соприкасающиеся с морем, были ледяные. С них все время текли испарения. От головной боли, от усталости, от смешанного запаха нефти, масла и пота капитан долго не мог заснуть и читал до полуночи. При последней стоянке в Германии в библиотеку лодки была доставлена новая партийная литература. Книги и журналы теперь доставлялись без переплетов. Лоренц убедился, что страницы нигде не разрезаны. Правда, офицеры и матросы были перегружены работой и совершенно измучены. Тем не менее капитан раздражился: в этих неразрезанных страницах было неуважение к фюреру.

Он читал очень внимательно, с карандашом в руке: отмечал на полях наиболее интересные и важные мыс-

ли. На этот раз он отчеркнул одной волнистой линией сообщение о том, что у польского короля Казимира, прозванного почему-то «Великим», были от еврейки Эстерки два сына, названные Немира и Пелька, давшие начало многим известным польским родам. Капитан немного подумал и, повернувшись на койке (не смотря на экономию в движениях), написал на полях мелким красивым и очень четким почерком: «Поляки, разумеется, выродились бы и без этого!» Хотел было поставить второй восклицательный знак, но раздумал: поляки больше никакого значения не имели, фюрер сказал об этом совершенно ясно. Узнав же, что русский император Александр III пожаловал баронские титулы разным Френкелям, Лессерам, Розенталям, Блохам, Кроненбергам и Гинцбургам, капитан взволнованно провел две черты, опять немного подумал и написал: «Это многое объясняет!!!» — тут он поставил три восклицательных знака.

Над стальным сейфом, в котором хранился шифр, висела большая фотография последнего портрета фюрера работы Франца Трибша. Фюрер, стоя опершись на балюстраду, держа в руках перчатки, гневно смотрел на природу — настоящий образец грозы. Капитан купил фотографию на свои деньги; бюджет морск. ведомства такой статьи не включал. Фотография не была надписана. Лоренц знал, что мог бы добиться подписи и даже собственноручной надписи: надо было бы пустить в ход партийные связи. Однако в этом было бы нечто оскорбительное, это было бы осквернением его любви к фюреру — столько людей, примазавшихся к движению с 1933 года, таким путем добивались портрета и многого другого. К другому капитан Лоренц и не стремился; он не был карьеристом. Надпись же на портрете: «Моему верному Лоренцу!», — быть может, даже «Моему верному другу Лоренцу!» — была мечтой его жизни. Он чувствовал, что на такую награду имеет право и благодаря своим боевым заслугам, и благодаря тому, что *понял* фюрера за 20 лет до того, как его понял мир. Он в душе тихо надеялся, что после 150 тысяч тонн фюрер сам о нем вспомнит: оставалось лишь 44 тысячи.

На стенах каюты были еще фотографии: фюрер в Праге, фюрер в Вене, фюрер в Данциге, фюрер в Компьене, фюрер в Париже. Капитан Лоренц их выре-



зал из иллюстрированных журналов, ровненько вырезывая и заголовки, не пропускал ни одного города, где был фюрер, и вставлял все в одинаковые рамки. С рамок срывались капли пота, но капитан не чувствовал себя в силах спрятать фотографии в сейф. Против койки висела еще картина «Landdienst der Hitlerjugend»<sup>1</sup>. Молоденькие светловолосые чисто немецкие девушки весело шли на полевые работы, думая о фюрере, о его величии и о его заслугах перед Германией. Когда в полночь капитан Лоренц погасил лампочку, на этой картине слабо заблестел свет из соседней контрольной камеры, всю ночь освещавшейся весьма ярко. Капитан, засыпая, смотрел на светловолосых чисто немецких девушек.

## VII

Капитан Лоренц проснулся задолго до сигнала: всегда ложился последним, вставал первым. Надев кожаную куртку, он впустил в ноздри капли, ослаблявшие насморк, и вышел в контрольную камеру, где у гидрофона сидел ночной дежурный, радиотелеграфист, с желто-зеленым лицом, с воспаленными глазами. При появлении капитана он вскочил, сорвал с себя наушники, вытянулся и доложил, что не слышно ничего. Лоренц принял доклад с видом полного недоверия и, ткнув рукой в сторону (это означало приказ уступить место), сам сел за гидрофон. Радиотелеграфист с ужасом на него смотрел: всем было известно, что капитан владеет каждым из бесчисленных приборов лодки лучше, чем приставленный к прибору специалист.

Лоренц тоже ничего не услышал, радиотелеграфист вздохнул свободнее. Капитан встал с недовольным видом, точно говорил: «Да, на этот раз верно, но это ничего не доказывает». Он обошел контрольную камеру, внимательно вглядываясь своими бесцветными глазками в бесчисленные аппараты, трубки, рычаги, — было поистине непостижимо, как люди могут в них разбираться. Все было в полном порядке, нигде не было ни соринки, медь была натерта до золотого блеска. Эта чистота составляла странный контраст с ужасным, почти нестерпимым воздухом. Затем Лоренц

---

<sup>1</sup> «Гитлерюгенд служит Отечеству» (нем.).

вышел в машинное отделение. Радиотелеграфист радостно проводил его глазами. Сзади всегда казалось, что у капитана Лоренца в костяке что-то искривлено или сломано.

Через минуту радиотелеграфист услышал сумасшедший крик. По коридору пробежал матрос с перекосившимся от ужаса лицом. У него что-то оказалось не в порядке. Вдобавок в минуту входа капитана в его отделение он вполголоса напевал песенку, пришедшую зимой с русского фронта: «Oh, weh, oh, weh, im tiefen Rußlands Schnee»<sup>1</sup>.

Проверив ночные дежурства, заглянув в полутемную минную камеру, где на стойках были прикреплены запасные торпеды, он направился назад к себе. Брезгливо морщась, прошел мимо батарейной, откуда доносился тяжелый храп: над электрическими батареями койки висели так тесно одна над другой, что сесть было бы невозможно. Лоренц вошел в каютку, зажег лампочку, увидел фюрера и сел за работу. Как всегда с утра, ему мучительно хотелось курить, но об этом до подъема не приходилось и думать.

Через несколько минут послышался сигнал. Люди, не разбуженные страшным криком командира, засуетились, слезая с коек. Повар, тоже желто-зеленый, как все, принес капитану Лоренцу на подносе термос с кофе, сахар и сухой бутерброд с не очень свежим салом: эти Schmalzstullen<sup>2</sup> были под водой главной пищей экипажа; горячие блюда готовились лишь в надводном плавании.

— Скажи Шмидту, чтобы собрал хор, — приказал Лоренц повару и, размешав сахар, морщась выпил залпом стакан полутеплой бурды. Вид бутерброда вызывал у него отвращение, однако он заставил себя съесть все до последней крошки. До подъема оставалось еще много времени. Дела на дне не было никакого. Музыка предназначалась для того, чтобы занять людей, и для мысленного общения с фюрером. Ею на лодке ведал матрос Шмидт, пользовавшийся относительной благосклонностью Лоренца. Капитан давно вывел бы его в люди, если бы не одно препятствие: Шмидт в свое время был коммунистом. Правда, он

---

<sup>1</sup> «О, горе нам, в глубоких российских снегах» (нем.).

<sup>2</sup> Хлеб со смальцем (нем.).

давно покаялся на допросе в гестапо, но к нему еще доверия не имели. Сам Лоренц вначале тоже не доверял Шмидту и обращался с ним еще гораздо строже, чем с другими. Но потом этот матрос ростом в два метра приобрел его расположение своей распорядительностью, знанием службы, огромной физической силой и музыкальностью: у него был превосходный слух. Капитан назначил его дирижером (у каждого матроса лодки было по несколько побочных занятий).

Люди в батарейной превратились в статуи при появлении командира. Он хмуро их оглядел. Лица у всех были совершенно измученные, у многих больные. Он понимал, что иначе и быть не может при их ужасной, нечеловеческой жизни; но знал также, что еще на неделю-другую сил у людей хватит. Лоренц накануне получил по радио предложение — не в форме приказа — вернуться на отдых в базу: ему предоставлялось решить этот вопрос по своему усмотрению. Он рассчитывал, что за одну-две недели потопит на этом пути еще двадцать, а то и тридцать тысяч тонн, — о сорока четырех тысячах лишь мечтал в жизнерадостные минуты. Место для охоты на одиночные суда он избрал очень удачно, а по опыту, искусству и чутью с ним могли соперничать лишь немногие подводники.

Из всех статуй в батарейной самой неподвижной был гигант с перебитым носом, с двумя шрамами на щеках, с громадными, волосатыми, страшными руками. Он держал у шва короткую толстую дубинку, заменявшую ему дирижерскую палочку. Капитан Лоренц его одного окинул взглядом без неудовольствия. Сухо поздоровавшись с людьми, командир приказал начинать. Шмидт быстро взмахнул палкой, высоко подняв ее над головой, и почему-то на мгновение капитану Лоренцу стало не по себе: при тусклом свете батарейной (ток берегли где только возможно) не ему одному показался жутким этот стремительный взмах руки великана.

Три матроса заиграли на незатейливых инструментах тему радости из Девятой симфонии. У капитана Лоренца защипало в носу, — отчасти от насморка, отчасти от того, что он никогда не мог слушать эту тему без волнения. Капли плохо помогали. Он сдерживал чиханье, чтобы не подрывать своего величия в глазах матросов: командир подводной лодки чихать не

может; Лоренц и обедал всегда отдельно, в своей каютке, чтобы матросы не видели, как он ест. На нижней части его худого лица мускулы обозначались еще резче обычного. Шмидт, встретившийся с ним глазами, поспешно их отвел: он подумал, что если бы сейчас пройти кулаком по скуле командира, то одним ударом можно было бы превратить всю его челюсть в кровавую костяную кашу: в свое время Шмидту не раз случалось наносить такие удары в уличных стычках с расистами и с республиканцами.

В хоре принимали участие все матросы лодки, за исключением занятых на дежурстве, да еще совершенно лишенных слуха (таких было мало). Под взглядом бесцветных глазок капитана хор запел очень стройно:

Junge Kraft und alte Groesse,  
Hackenkreuz und Schwarz-Weiss-Rot —  
Feierlich dein Haupt entblosse  
Wo dis herrliche Zeichen loht!  
Jubelnd mit Fanfarenstoesse  
Klingt es hell nach Schmach und Not:  
Junge Kraft und alte Groesse,  
Hackenkreuz und Schwarz-Weiss-Rot...<sup>1</sup>

## VIII

Капитан Лоренц угрюмо взглянул на вытянувшегося радиотелеграфиста, надел наушники и убедился, что радиотелеграфист прав: гидрофон передавал очень неясный звук, шедший как будто издалека. Лоренц подумал с минуту и приказал подняться.

Люди радостно бросились к аппаратам: все так задыхались на дне бухты, что готовы были на любую опасность, лишь бы глотнуть свежего воздуха. Что-то загудело, лодка мягко отделилась от дна и пошла вверх. Капитан сам вертел ручку перископа. Темно-синее, почти черное пятно в окуляре стало понемногу светлеть. Вдруг брызнул яркий, ослепительный сноп света, — Лоренц невольно отвел на мгновение мигнув-

---

<sup>1</sup> Молодая сила и мудрое величие,  
Свастика и черно-бело-красный стяг —  
Торжественно обнажи голову,  
Когда увидишь эти символы.  
Они, как ликующие фанфары,  
Заставляющие забыть нужду и страдания:  
Молодая сила и мудрое величие,  
Свастика и черно-бело-красный стяг... (нем.)

ший воспаленный глаз. Он, шурясь, стал вращать призму. Ничего тревожного не было видно. Повернув призму вверх, он отшатнулся от перископа и прокричал:

— Спуск! Живо!

Почти отвесно над лодкой, не очень высоко летели аэропланы, по всей видимости английские. Перископ быстро пополз под воду. Минный офицер уставился на Лоренца с немым вопросом: спросить вслух он не смел.

— Аэропланы, — сказал Лоренц нехотя; его распоряжения не касались людей, они должны были исполнять что им приказывалось, ни о чем не спрашивая даже немым взглядом. — Но, конечно, шум был не от них. Поблизости бродит англичанин. Вероятно, контрминоносец.

Вдруг раздался глухой, довольно далекий грохот. Лодку сильно толкнуло, электрические лампочки мигнули, что-то упало на пол. За первым взрывом последовали второй, третий, четвертый. «В одну минуту заметили», — с уважением к английским летчикам подумал командир. Глубинные снаряды падали, удаляясь. Лоренц чуть не улыбнулся от радости: летчики не угадали направления, в котором теперь шла лодка. Глядя на него, просветлели и другие люди, которым полагалось стоять недалеко от командира. При всей своей общей глухой ненависти к командиру они знали, что в часы опасности их спасет он один; его чутье, опыт, знание моря и лодки внушали им суеверное благоговение.

— Шум усиливается, — сказал радиотелеграфист, не снявший наушников и во время разрыва снарядов. Командир поспешно подошел к гидрофону. Действительно, шум стал гораздо сильнее, отчетливей и нарастал очень быстро. Теперь Лоренцу было ясно, что навстречу ему на всех парах идет контрминоносец, очевидно, работающий в связи с аэропланами. Это была самая опасная комбинация для подводной лодки. Он немного подумал и указал новое направление. «Кажется, не будет ни 150-й тысячи, ни 107-й», — сказал он себе. Радиотелеграфист шевельнулся у аппарата, как бы выражая желание занять свое место.

— Я сам, — кратко сказал капитан.

В начавшейся борьбе вслепую все лежало на нем.

Люди неясно понимали, что именно происходит, но все чувствовали, что лодка находится в смертельной опасности. Капитан сидел, наклонившись над гидрофоном, и изредка, не отрываясь от прибора, отдавал короткие приказания. Как только лодка изменила направление, изменил направление и враг. Лоренц понимал, что гидрофоны англичанина слышат его лодку так же хорошо, как он слышит контрминоносец. Уйти было невозможно: неприятельское судно шло втрое скорее. Он подумал было, не подняться ли настолько, чтобы можно было выставить перископ и пустить торпеду. Но ему было совершенно ясно, что если высунуть хоть кончик перископа, то аэропланы, теперь, верно, летящие почти над самой водой, мгновенно уничтожат лодку. Шум в приборе все усиливался. Он приказал выключить моторы. Минный офицер изумленно на него взглянул. Через минуту моторы остановились. Наступила тишина.

— Ни звука! Ни дыхания! — прошептал он, оглядев красными глазами людей в контрольной камере. Его шепот мгновенно побежал дальше. Гидрофоны новой системы улавливали решительно все: голоса, шаги, самый слабый шорох. Инструкция предписывала снимать в таких случаях сапоги. Но ему это было не нужно, он знал, что у него в лодке никто не шевельнется. Наклонившись еще ниже над прибором, он слушал напряженно. «Ну и ищите, ищите, где я!» — подумал он, впрочем без иронии: этого чувства капитан был совершенно лишен. Контрминоносец приближался, но Лоренцу казалось, что англичанин идет все-таки не совсем прямо на лодку. «Сейчас! Сейчас начнется!»... Кто-то в комнате чихнул. Капитан взглянул на виновного ужасным взглядом, тот обеими руками зажал нос и рот. Раздался очень сильный удар. Лампы опять зловеще мигнули. Все наклонилось. Люди попадали на пол. Сам капитан свалился с табурета и мгновенно поднялся на колени, оглядываясь по сторонам. Он поспешно нацепил сорвавшийся наушник и, не вставая с колен, припал к прибору. «Это конец! Они почти над нами!»...

Жизнь лодки теперь зависела только от этого почти. Страшный удар повторился, что-то опять повалилось, зазвенело, треснуло. Лампочки погасли. В темноте пронесся стон людей, передавшийся из контрольной

камеры в другие отделения судна. Капитан не вскочил, но приподнялся на коленях, вытащил карманный фонарик и надавил пуговку. В бледно-желтом свете перед ним промелькнуло, совсем близко от него, искаженное страшное лицо Шмидта. Кто-то ахнул в углу. Он высоко поднял фонарик, оглянулся, соображая, и понял, что лодка еще цела. «Но следующий снаряд нас потопит!..» «Ни звука!» — опять прошипел он и на цыпочках пробрался к доске.

Вода вдоль нее фонариком, он разыскал нужный рычажок. Лоренц знал, что сейчас последует третий, вероятно еще более близкий, взрыв. Вцепившись правой рукой в трубу, зажимая фонарь между ней и большим пальцем, он положил на рычажок левую руку и опять еще ближе увидел Шмидта: тот стоял, нагнув туловище, подняв голову, точно готовящийся к прыжку зверь. «Если третьим не потопят, выждать ровно минуту и надавить...» В это мгновение раздался третий удар, лодку подбросило и швырнуло в сторону, все опять повалилось. Капитан устоял на широко расставленных ногах и, крепко держась за трубу, принялся мысленно считать: один, два, три... Дойдя до шестидесяти, он повернул рычажок.

Из подвешенного снаружи к лодке большого сосуда на поверхность воды поползла громадная струя масла. В сосуде было то, что могло бы всплыть в случае гибели лодки: какие-то щепки, обуглившаяся доска, фуражка, что-то еще. Люди стояли, кто в обыкновенном положении, держась за устойчивые предметы, кто согнувшись вдвое, кто на коленях. Приложив указательный палец к углу рта, командир прокрался к гидрофону. Матросы с ужасом и благоговением смотрели на его тускло освещенную развинченную фигуру. Гидрофон не действовал, но, приблизив фонарь, Лоренц увидел, что все в порядке, только сорвался контакт. Прошла еще минута. Глубинные снаряды больше не падали. «Кажется, спасены!» — подумал он.

## IX

Прошло еще минут пять. Минный офицер, который аккуратно вел дневник, вечером записал, что эти пять минут «показались ему вечностью». Теперь было ясно,

что англичане дались в обман. «Зажечь свечи! Тихо!» — прошептал капитан Лоренц, возившийся с гидрофоном. Контрольная камера осветилась желтоватым светом. Второй офицер шепотом доложил командиру, что никаких повреждений нет: он обошел все отделения. Лоренц кивнул головой и, наладив контакт, надел наушники гидрофона. Он услышал удаляющееся, уже довольно далекое, гудение: это было лучше Девятой симфонии. На мгновение у него мелькнула мысль: подняться и пустить вдогонку торпеду. Он вздохнул: «Невозможно!»

Так в освещенной свечами камере они сидели молча довольно долго. Капитан изредка надевал наушники. Радиотелеграфист возился с электрическим освещением, вставлял новые лампочки вместо разбившихся. Люди уже перешептывались, бегали, все на цыпочках, из одного помещения в другое, исправляли то, что нужно было исправить.

Еще минут через десять гудение в гидрофоне прекратилось. Почти одновременно зажегся электрический свет. Несмотря на то что приказ капитана об абсолютной тишине еще не был снят, по камере, затем по всей лодке, пронесся радостный гул. Лоренц хмуро оглядел людей и первым делом потушил свечи: кислорода оставалось уж совсем мало. Только теперь все почувствовали, что совершенно задыхаются. Командир отдал приказ: подняться. Радостный гул повторился с еще большей силой. На глубине десяти метров капитан заглянул в перископ: ничего тревожного не было видно.

Подавая людям пример терпения, он вышел на залитую светом палубу последним. Несмотря на привычку, Лоренц, мигая и щурясь, чуть пошатнулся и остановил дыхание. Затем медленно, как гастроном пьет дорогой коньяк, стал пить глотками холодный воздух. Люди носились по палубе, ошалев, дыша полной грудью, перекрикиваясь, на мгновение забыв о жестокой дисциплине. Это было неприятно капитану, но он понимал, что все-таки необходимо дать людям маленькую передышку после случившегося. Лоренц с наслаждением закурил сигару.

Минный офицер, толстый, благодушный баварец, по наружности представлявший собой нечто среднее между Вотаном и Герингом, подошел к нему и поздра-



вил, восторженно отозвавшись о его искусстве. Этот офицер, недавно назначенный на лодку, все не мог найти верного тона с командиром: где уж лезть в равные, но не становиться же лакеем. Лоренц и ему внушал непреодолимое отвращение. Он при каждой встрече ждал если не скандала, то неприятности и старался избегать встреч без дела. На этот раз восторженные похвалы у него вырвались невольно. Капитан хмуро на него взглянул и поблагодарил довольно сухо. Он тоже терпеть не мог этого баварца, который не просил о зачислении в партию, каждый день молился, на берегу по воскресеньям ходил в церковь. К лести Лоренц был нечувствителен. Минный офицер поспешно отошел.

Покуривая сигару, капитан обдумывал то, что произошло. Его беспокоил вопрос: не следовало ли все-таки подняться и принять бой? Разум и опыт говорили ему, что он поступил совершенно правильно; тем не менее дело не доставило ему удовольствия: ничего потопить не удалось, ни одна тонна не прибавилась к 106 тысячам. «Да, были на волосок от гибели. Если бы дурак англичанин догадался наудачу бросить для верности еще несколько снарядов, было бы кончено...» Он думал об этом равнодушно. Как ни приятно было, что англичанин оказался дураком, все же радости он не испытывал. Думал, что и фюрер не испытывал бы радости на его месте.

Шмидт (хоть это было не его дело) на подносе принес командиру чашку кофе. Лоренц благосклонно кивнул ему головой и даже сказал: «Данке». Потом что-то неприятное смутно связалось в его памяти с видом этого человека, но он не мог вспомнить, что именно. «Нет, ничего не было. Очень хороший матрос...» Капитан залпом проглотил кофе. Выкурив половину своей сигары, он потушил ее, спрятал вторую половину в портсигар и обошел все отделения лодки.

Минный офицер с другими следовал за ним и думал, что если бы Лоренца разбил удар, то, быть может, лодку при нынешнем недостатке в специалистах дали бы ему. «Но я не мог бы сегодня сделать то, что сделал он... Почему у этого замечательного моряка такой характер, такие манеры, такое отсутствие психологического чутья? Неужели он не понимает, что теперь надо поговорить с матросами, пошутить с ни-

ми, похвалить их!.. Конечно, он исключение и среди пруссаков». Минный офицер представил себе, как он бы себя вел, если б был командиром лодки. Когда обход кончился, он незаметно отстал от капитана. На кухне уже готовились горячие блюда. Он заглянул туда, отщипнул кусочек чего-то и с наслаждением запил холодным пивом.

Вдруг с палубы донесся дикий крик, столь хорошо знакомый всему экипажу подводной лодки. Минный офицер вздохнул, обменялся смущенным взглядом с поваром и побегал на палубу. Капитан Лоренц, вернувшись с обхода, увидел, что беспорядок еще продолжается; люди смеют хохотать в его присутствии. Он подумал, что команда злоупотребляет его снисходительностью, и заорал, выпучив красные глаза:

— Вниз! Бриться! Привести себя в порядок!..

На палубе мгновенно наступила полная тишина. Это — в тысячный раз — доставило ему удовольствие. Он победоносно оглянулся на офицеров, и что-то в выражении его лица показывало, что доля разноса относилась к ним. «Уж когда пруссак хам, то большего хама не сыскать в целом мире!» — оскорбленно подумал минный офицер.

Люди, крадучись, спускались вниз. Им навстречу по лесенке, шагая через три ступеньки, шел Шмидт. На том же подносе он принес командиру записку от радиотелеграфиста, который в надводном плавании возвращался к своим нормальным занятиям. Капитан Лоренц распечатал конверт и прочел перехваченное открытое сообщение врага: британский контрминоносец в полярных водах уничтожил германскую подводную лодку. Есть все основания предполагать, что это лодка U-22, которая уже давно орудует в этих водах; ею командовал — по крайней мере, еще недавно — капитан Лоренц, тот самый, что, по уверению германского командования, уничтожил 106 тысяч тонн флота Объединенных Держав.

Капитан Лоренц прочел записку, перечел ее и, в виде исключения, протянул подошедшему минному офицеру. Лоренц достал из портсигара вторую половину сигары и стал раскуривать ее от зажигалки. Хотя было совершенно светло, он по привычке прикрывал огонек рукой точно так же, как это делал капитан Прокофьев. Неожиданно у него от смеха затряслось

все тело. Минный офицер взглянул на командира с изумлением: на лодке говорили, что капитан Лоренц улыбается раз в год, в день рождения фюрера. Сигара выпала из рук командира. Минный офицер инстинктивно хотел было ее поднять, но удержался и не поднял, сделал вид, будто перечитывает записку. Капитан Лоренц сам поднял окуроч и, смеясь, раскурил его: руки у него сильно тряслись.

## Х

«Капиталистический мир вновь потрясен империалистической войной. В кровавую бойню втянуто больше половины населения земного шара. В ожесточенных боях на суше, на море и в воздухе участвуют миллионные армии, сотни военных кораблей, броневиков, самолетов.

Среди этого бушующего океана разрушений, уничтожения миллионов человеческих жизней, как несокрушимый утес, стоит могучая страна социализма. Благодаря мудрой сталинской политике она избавлена от ужасов войны и страданий...

Хитро и коварно плели свои преступные замыслы поджигатели войны. Планы английских империалистов сводились к одному: столкнуть Советский Союз и Германию, втянуть эти две крупнейшие европейские страны в войну, а потом, когда воюющие стороны ослабеют, продиктовать им свою волю. Такова исконная политика Англии — воевать чужими руками, а самой при этом извлекать выгоды. Однако на этот раз замыслы английских империалистов потерпели полный провал; они были разоблачены перед всем миром гениальным вождем большевистской партии и народов Советского Союза — товарищем Сталиным».

Коммандэр читал по-русски свободно, но медленно. Прочитав передовую статью «Морского Сборника», он немного удивился — впрочем, не слишком, — заглянул на первую страницу и кивнул головой вполне удовлетворенно: «Номер седьмой, 1940 год...» Тогда понятно: русский капитан дал ему старый журнал. Тем не менее у него прошла охота читать дальше. Мистер Деффильд взял со столика каюты другую книгу, с которой расставался редко. Это было очень старое,

перешедшее к нему от предков издание с длинным названием «A report of the truth of the Fight about the Isles of Azores this last summer. Betwixt the Revenge, one of her Majesties Shippes, and an Armada of the King of Spaine. Penned by the Honorable Sir Walter Raleigh, knight.

Because the rumors are diversely spread, as well in England as in the low countries and elsewhere, of this late encounter between her Majesties Shippes and the Armada of Spaine; and that the Spaniardes according to their usual maner, fill the world with their vaine glorious vaunts, making great apparence of victories: when on the contrary, themselves are most commonly and shamefully beaten and dishonoured; thereby hoping to possesse the ignorant multitude by anticipating and forerunning false reports: It is agreeable with all good reason, for manifestation of the truth to overcome falsehood and untruth; that the beginning, continuance and successe of this late honourable encounter of Syr Richard Grinvile, and other her Majesties' Captaines, with the Armada of Spaine; should be truely set downe and published without parcialtie or false imaginations...

The names of her Majesties shippes were these as followeth: the Defiaunce, which was Admiral, the Revenge Viceadmiral, the Bonaventure commanded by Captaine Crosse, the Lion by George Fenner, the Foresight by Mr. Thomas Vavisour, and the Crane by Duffield...»<sup>1</sup>

Эта строчка, которую он знал наизусть с детских лет, утешала его во всех огорчениях жизни. Но теперь,

---

<sup>1</sup> «Правдивый отчет о битве близ Азорских островов минувшим летом между одним из кораблей Ее Величества, по названию «Ревендж», и морской армადой короля Испании. Написан достоцитимым сэром Уолтером Ралеем, награжденным рыцарским орденом.

Поскольку в Англии, а также Нидерландах и прочих странах ходят разные слухи о недавнем сражении между кораблями Ее Величества и испанской армადой и поскольку испанцы, в свойственной им манере, наполняют мир тщеславной похвалой своих якобы имевших место победах, тогда как на самом деле они были позорно биты и обесчещены, написанное здесь имеет целью просветить несведущие массы путем предотвращения распространения ложных историй. Естественно, приятно, что правда преодолевает неправду и ложь и что весь ход и успешное окончание этого почетного сражения под командованием сэра Ричарда Гринвиля и других капитанов Ее Величества против испанской арманы может быть правдиво описан и опубликован без предвзятости и измышлений.

Следующие корабли Ее Величества принимали участие в сражении «Де-файенс» — флагман, «Ревендж» — вице-флагман, «Бонавентур» под командованием капитана Кросса, «Лайон» — капитан Джордж Феннер, «Форсайт» — капитан Томас Вависур и «Крейн» — капитан Деффильд. » (англ.)

когда он был ближе к смерти, чем когда-либо бывал прежде, командэр Деффильд с особенным чувством читал о том, что его предок принимал участие в боях с Великой Армадой. На «Розе Люксембург» пока, впрочем, все шло хорошо. Море по-прежнему, уже четвертый день, было спокойно. Они приближались к водам, где, по сведениям английской и русской разведки, находилась подводная лодка U-22. Капитан Прокофьев больше почти не сходил с мостика. Сигнальщики ни на минуту не покидали постов.

«... Finding himself in this distresse, and unable anie longer to make resistance... and perswaded the companie, or as manie as he could induce, to yeelde temselves unto God, and to the mercie of non els; but as they had like valiant resolute men, repulsed so manie enimies, they should not now shorten the honour of their nation by prolonging their own lives for a few hours, or a few daies...»<sup>1</sup>

Удивительней всего ему казалось то, что необыкновенный человек с необыкновенной судьбой, написавший это 350 лет тому назад, с такой точностью, так хорошо, так просто выразил его собственные чувства. «Да, никакой разницы нет», — с гордостью подумал командэр Деффильд. Он не считал свою жизнь счастливой. Не слишком удачной была и его служебная карьера: некоторые из его сверстников уже были коммодорами, — обмолвка Прокофьева, назвавшего его коммодором при первом знакомстве, была ему неприятна. Неудачи по службе были косвенно связаны с увлечениями его частной жизни. «Перед смертью полагается оглянуться на все прошлое, но нет ни охоты, ни необходимости, да может быть, все-таки до смерти еще далеко? Во всяком случае, я всегда готов...»

«... What became of his bodie, whether it were buried in the sea or on the lande wee know not: the comfort that remaineth to his friends is, that he hath ended his life honourably in respect of the reputation wonne to his

---

<sup>1</sup> «.. Оказавшись в подобном затруднительном положении и не имея больше возможности сопротивляться, он убедил свою команду или по крайней мере столько, сколько смог, что надо доверить свою судьбу Господу Богу, и больше никому; и что, сражавшись как подобает храбрым и решительным мужчинам и отразив атаки столько врагов, им не следует теперь ронять честь своей страны, пытаясь продлить свою жизнь на несколько часов или даже несколько дней...» (англ.)

nation and country, and of the same to his posteritie, and that being dead, he hath not outlived his owne honour...»<sup>1</sup>

В дверь постучали. Он догадался, что это стучит лейтенант Гамильтон: русские почти никогда к нему не заходили. Этот восторженный юноша, теперь влюбленный — вероятно, в двадцатый раз и в десятый без толку, — немного раздражал командэра Деффильда, как его раздражал удалой тон русских, всего нынешнего русского — книг, газет, разговоров, как его раздражало почти все: именно эту общую раздраженность прикрывала частью природная, частью выработанная невозмутимость Деффильда. Однако Гамильтон был несомненно милый, хорошо воспитанный, очень образованный, даже слишком образованный, молодой человек. «The Yanks are coming»<sup>2</sup>, — подумал командэр (от песенки у него оставались в памяти только эти слова: он не мог запомнить даже мелодию национального гимна и узнавал ее лишь тогда, когда все вставали). Действительно, в каюту вошел лейтенант. Командэр Деффильд пододвинул ему свой складной стул, а сам пересел на койку.

— О нет, вы несколько мне не помешали. Я очень рад, — сказал он с вполне достаточной, но не чрезмерной дозой приветливости в голосе. Гамильтон взглянул на него не без робости и пожалел, что пришел.

Марья Ильинишна покинула его в девять вечера, сославшись на то, что ее начинает укачивать. Он проводил ее до каюты и вернулся на нижнюю палубу. Не сговариваясь, они теперь гуляли почти всегда по нижней палубе, хотя коммунальная, над которой возвышался капитанский мостик, была лучше. Гамильтон еще погулял, любуясь морем, небом, рассеянно придумывая эпитеты для северных звезд: «мохнатые?» «пушистые?» — все давно использовано. Внезапно мысль о том, что любоваться морем и звездами придется в одиночестве весь долгий вечер, привела его в ужас. Ему не хотелось ни читать, ни писать стихи. Ему хотелось только говорить: говорить о своей любви, о своих новых планах жизни. Командэр Деффильд

---

<sup>1</sup> «Что стало с его телом — было ли оно похоронено в море или на суше, — мы не знаем. В утешение его друзьям остается сознание того, что он прожил свою жизнь достойно в смысле той репутации, которую он завоевал своей стране и своему народу, а также своим потомкам, и что, уйдя из жизни, он не посрамил своей чести...» (англ.)

<sup>2</sup> «Янки идут» (англ.)

был, собственно, последний человек, которому можно было бы сказать об этом, но он, по крайней мере, говорил по-английски: четыре дня разговоров на русском языке вызвали у Гамильтона умственную усталость, совершенно ему не свойственную.

Однако как только он увидел этого старого лысого холодного человека, который и у себя в каюте сидел, вытянувшись на неудобном стуле, вместо того чтобы лежать на койке, задрав ноги на чемодан, лейтенант Гамильтон подумал, что приходить сюда никак не следовало. «Он сейчас спросит: «Чем могу вам служить?..» Гамильтон сам улыбнулся при мысли, что хотел было рассказать все командэру Деффильду, и тотчас перевел свое сообщение на язык мыслей командэра: «Американский мальчишка влюбился в русскую большевичку, сделал ей предложение и собирается на ней жениться».

## XI

— Эти русские изумительный народ! — сказал лейтенант Гамильтон. — Я от них в полном восторге. Какое радушие! Какая сердечность, какая простота! Кажется, они и моряки прекрасные? Об этом я судить не могу.

— Очень хорошие моряки, — подтвердил командэр Деффильд. — Капитан-лейтенант Прокофьев и его штурман — знатоки дела. Матросы работают исправно. Если комендоры не хуже других, то у нас есть маленькие шансы на успех.

— Маленькие шансы? — спросил лейтенант с удивлением. — Так вы не считаете успех обеспеченным?

Мистер Деффильд посмотрел на него и усмехнулся.

— Эта старая калоша пойдет ко дну не то что от торпеды, а от единого выстрела самого легкого орудия, — сказал он. — Вы составили завещание?

— Завещание? — так же озадаченно переспросил лейтенант. Мысль о завещании никогда не приходила ему в голову. Он хотел было ответить, что ему нечего завещать, так как все имущество принадлежит отцу, но не сказал этого, чтобы командэр не считал его мальчишкой. — Нет, я не составлял завещания.

— Я составил, хотя я небогатый человек и хотя у меня нет очень близких людей. Русские, ко-

нечно, не составляют, так как им нечего завещать.

«Разумеется, он презирает тех, у кого ничего нет», — неуверенно пожаловался было себе на Деффильда Гамильтон, но, по своей честности, тотчас признал, что командэр сказал это без малейшего «презрения», да и самого себя только что назвал небогатым человеком.

— Я служил в прошлую войну на кью-шипс, на судах-ловушках, — пояснил Деффильд. — Это еще опаснее, чем служить на подводной лодке, хотя и далеко не так противно. На подводной лодке вы, вступая в бой, всецело зависите от своего искусства и хладнокровия. Здесь вы вначале зависите только от настроения врага. Если он пожелает пустить в вас торпеду, он вас потопит, хотя бы вы были самим Нельсоном. Против этого вы бессильны... Тем не менее у нас есть некоторые шансы. Первый: торпеды стоят дорого, их у капитана Лоренца, верно, всего несколько штук в запасе, он их, конечно, бережет. Второй: он пожелает захватить наши судовые документы, чтобы представить своему начальству. Третий: судя по тому, что я о нем слышал, он пожелает предварительно над нами поиздеваться. Поэтому он торпеды в нас, должно быть, не пустит, а прикажет нам остановиться, чтобы потом потопить нас выстрелом. Тогда начинается игра. И тут, кажется, мы можем положиться на капитан-лейтенанта Прокофьева.

— Я и не думал, что это так опасно. — Гамильтон сказал это без страха (он и теперь не представлял себе, что может погибнуть), но с полным недоумением: возможность смерти расстраивала все его планы. — Но ведь если он нас и потопит, то мы сядем на лодки?

— Или не сядем. А если и сядем... Баренцево море одно из самых пустынных и страшных мест в мире, особенно эта его часть... Если вы останетесь в живых, вы напишете о нас прекрасную поэму.

— Очень сожалею, что сообщил вам о своих стихах, — сказал Гамильтон, — вы, наверное, считаете полуидиотами людей, которые в трезвом состоянии пишут стихи?

Командэр Деффильд засмеялся.

— Я отроду не мог придумать ни одной рифмы и с итонских лет не читал ни одного стихотворения. Но если бы я был, избави Бог, писателем, то непременно



научился бы писать стихи. Рифмованный вздор запоминается гораздо лучше нерифмованного и обеспечивает автору бессмертие на несколько большее число лет. Над мыслями великих поэтов производятся глубокомысленные исследования даже тогда, когда их стихи были написаны в пьяном виде, — быть может, всего больше в этих случаях. Если бы те же мысли были выражены яснее и точнее в прозе, они были бы забыты на второй день.

Гамильтон слегка пожал плечами и взял со столика раскрытую книгу.

— Можно? — спросил он. — Сэр Вальтер Ралей... Знаю, что это нужно хвалить, но, каюсь, я не читал Ралея.

— Это наша семейная драгоценность. Здесь упоминается об одном моем предке. («Так и думал, он даже не найт<sup>1</sup>, но, может быть, знатнее герцогов, это у них бывает», — почему-то с некоторой досадой сказал себе Гамильтон.) Кстати, об этом моем далеком предке я больше ничего не знаю. У него, конечно, был большой жизненный опыт, свой образ мыслей, свой круг наблюдений, — быть может, больше моего, — вставил Деффильд, — и от всего этого не осталось ничего, ровно ничего. Странно, правда? А перед большой опасностью бывает не только странно, но и жутко... Знаю только, что он ненавидел испанцев так же, как я ненавижу немцев, хотя, разумеется, с неизмеримо меньшим правом, чем я.

— Почему непременно надо ненавидеть врага? Достаточно его разбить. Можно отлично воевать без всякой ненависти.

— Нет, нельзя. Il faut avoir l'esprit de haïr ses ennemis<sup>2</sup>, — сказал Деффильд, плохо выговаривая французские слова. — Вы понимаете по-французски? Я где-то вычитал эту фразу умного писателя, она не в стихах и потому малоизвестна. У вас, у американцев, не хватает, к сожалению, этого рода ума. А вот у русских он сейчас есть. Этот их комиссар, быть может, гангстер, но я от него в восторге: когда он заговорил со мной о немцах, у него перекошилось от ненависти лицо. И те другие изверги, что висят на стене в небольшой комнатке, где происходят их комические лекции,

---

<sup>1</sup> Звание ниже баронета (*англ.* Knight). — *Прим. ред.*

<sup>2</sup> Необходимо, чтобы был дух ненависти к врагу (*фр.*).

они тоже умели ненавидеть: и злодей в белом воротничке с галстучком, и злодей в рубашке без галстучка... Эта смена туалета, кстати сказать, символична для их новейшей эволюции... Вот только зачем они повесили на стену портрет той курчавой пацифистки, в честь которой названа наша старая калоша?

— Извините меня, не могу с вами согласиться! — сказал, вспыхнув, Гамильтон. — Не говоря о том, что они наши союзники и что они нас теперь спасают... Но я не могу называть злодеями великих революционеров! Я уверен, что через пятьдесят лет им будут воздвигнуты памятники во всех столицах мира! Я убежден и в том, что высшая социальная правда с ними.

Коммандэр Деффильд высоко поднял брови. «Он и брови поднимает так, как на сцене актеры, играющие лордов, — подумал сердито Гамильтон. — И мне совершенно все равно, что обо мне думает он и ему подобные потомки Ралеев. Я не потомок Ралеев! Он, вероятно, и меня считает существом второго разряда, если не полудикарем...»

— Конечно, обо всем этом трудно судить, — сказал коммандэр, видимо, пожалевший о сказанных им словах. — И нам, иностранцам, особенно трудно судить о России. Быть может, русский народ лучший в мире после... — Он хотел было сказать: «после английского», но сказал: — ...после англосаксонской расы. Однако вы тогда, на катере, правильно сказали: «русские — самые лучшие актеры на свете». Они хорошо играют, и они еще лучше молчат... Я пробыл в России три месяца и ничего не понимаю. Решительно ничего не понимаю. Быть может, нам и невозможно их понять. Разве мы с вами могли бы прожить 25 дней так, как они живут 25 лет?

— Я мог бы! Я могу.

Коммандэр Деффильд посмотрел на него.

— Поверьте мне, этому народу предстоит еще долго удивлять мир. Русские и до сих пор удивляли человечество много больше, чем другие народы. Они будут продолжать. Вопрос в том, как они нас удивят в ближайшие годы.

— Я могу жить так, как живут русские, — решительно повторил Гамильтон. — Скажу больше: я буду жить так, как живут они, и я буду участвовать в...

Он не закончил фразы. В дверь постучали. В каюту

быстро вошел капитан Прокофьев. Он был бледен и взволнован. В руках у него был листок бумаги.

— Получено важное известие, — сказал Сергей Сергеевич. — Подводная лодка U-22 потоплена английским контрминоносцем.

Лейтенант Гамильтон вскочил в восторге.

— О!.. Я так рад!.. Это... Я поздравляю вас так много! — воскликнул он, протягивая руку Прокофьеву. И в ту же секунду он почувствовал, что говорит совсем не то, что нужно. Коммандэр Деффильд, изменившись в лице, внимательно читал радиотелеграмму. У русского капитана лицо было такое, точно случилось большое несчастье. Лейтенант понял не сразу, но понял: «Они упустили добычу! Им надо было потопить лодку самим!»...

— Все-таки я очень рад, — нерешительно сказал он, показывая, что как солдат вполне понимает их переживания. Он чувствовал себя так, точно оказался в обществе двух психопатов.

## ХII

Марья Ильинишна плакала, лежа на койке в своей каюте. Она мысленно расставалась с Россией, и ей казалось, что в этом есть некоторое подобие измены.

Лейтенант Гамильтон сделал ей предложение на третий день их плавания. Она приняла это предложение на пятый. Теперь был седьмой. Было решено, что он съездит в Америку и вернется (как предполагал и раньше). Надо было испросить согласие отца. На робкий вопрос Марьи Ильинишны, даст ли его отец согласие, Гамильтон отвечал, что в этом не может быть ни малейшего сомнения. Однако по особой бодрости его ответа она почувствовала, что сомнение может быть. Ей казалось странным, что взрослый человек хочет просить отца о согласии на брак, еще более странным, что можно съездить в Америку и вернуться в Россию. Она ему верила: видела, что он не умеет лгать, ни даже скрывать правду. Но она ему и не верила: видела, что положиться на него нельзя. Он сам (на второй день) сообщил ей, что уже два раза делал предложения; из этого почему-то ничего не вышло ни в первый, ни во второй раз: не то он передумал, не то

она передумала; выходило как будто, что скорее он передумал.

Она (с первого дня) называла его Чарли, — всякому было ясно, что нельзя называть его ни мистер Гамильтон, ни тем менее товарищ Гамильтон. Вначале ей показалось, что это несерьезное имя, что так же невозможно называться Чарли, как называться Гаруналь-Рашидом. О делах своих и об образе жизни он покаянно говорил со второго дня. Марья Ильинишна до сих пор мало интересовалась деньгами, — но нельзя же ими не интересоваться совершенно? Сначала она слушала его рассказы так, как слушала бы путешественника, приехавшего с Сандвичевых островов, — сама это ему сказала. И все-таки не совсем так, эти Сандвичевы острова имели свою прелесть. Он говорил, что у них квартира из девяти комнат на трех человек, — это на жилплощадь просто невозможно перевести, — что у отца есть имение и два автомобиля.

«У Х. три автомобиля!» — обиженно возразила она, называя известного советского писателя. «Нет, мы только два», — ответил он, не поняв ее чувства. «У вашего отца есть текущий счет?» — спросила она, видимо щеголяя этим выражением. Он опять не понял, как не понял бы, если бы его спросили, есть ли у его отца носовые платки.

Гамильтон рассказывал о балах, об охотах, об обедах в гостинице с тремя тысячами комнат, о поездках, из которых можно говорить по телефону с любым городом мира. «И из жесткого вагона?» — строго спросила она; тут же сама себя назвала дурой, и в том, что она себя назвала дурой, была уступка буржуазному миру. Слушая его рассказы, она еще вскрикивала от негодования, но ее негодование слабело. Он негодовал больше, чем она. Рассказывал он отлично, хотя на языке, очень ее забавлявшем. Только о платях он ничего толком рассказать не мог, — не понимал и даже не знал самой обычной терминологии, которую знает любая женщина в мире, хотя бы патагонка. Слушая его смущенные ответы на ее вопросы, она только укоризненно на него смотрела, — вот ведь, кажется, и умный, а идиот, — и старалась дополнить то, что можно было из него высосать, своим воображением и эрудицией; за год до войны видела парижский

модный журнал: по-французски она понимала плохо, но поняла все и была заворожена музыкой слога.

На шестой день она его спросила, что же будет, если отец все-таки не даст согласия на их брак. Он горячо ответил, что все равно уже принял твердое решение: он переедет в Россию и будет жить трудовой социалистической жизнью. На это она ничего не сказала.

У них было решено, что она купит самоучитель и будет учиться английскому языку. Он отнесся к этой мысли с восторгом, — как, впрочем, ко всему, что она говорила, — и посоветовал, в дополнение к самоучителю, брать частные уроки. Теперь в порту столько английских и американских судов, учителя найти будет очень легко. Она вздохнула, изумляясь его наивности: точно она могла в здравом уме и твердой памяти пригласить к себе учителем иностранного моряка, да еще в такое время! «Я не знаю, выпустят ли меня, когда мы поженемся?» — нерешительно сказала она. Он сначала не понял, потом опять не понял, потом рассыпался в уверениях, что выпустят: теперь между Россией и Соединенными Штатами будут новые, совершенно новые отношения. Оказалось также, что американский посол в Москве хорошо знает их семью, что он учился с его отцом в университете, что при поддержке посла в разрешении ей выезда не может быть ни малейшего сомнения. Для него ни в чем не могло быть ни малейшего сомнения.

На «Розе Люксембург» уже кое-что замечали. Капитан Прокофьев был мрачнее тучи и всячески избегал их. Младший офицер Мишка деликатно спешил уйти, когда оставался в их обществе. А комиссар Богумил, почему-то бывший в восторге от этого романа, как-то, встретив Марью Ильинишну на палубе, ни с того ни с сего выпалил: «Полюбил Наташу хлебопашец вольный, — да перечит девке немец сердобольный». Слова эти не имели никакого смысла, непонятно было даже, кто тут немец, кто хлебопашец, но Марья Ильинишна прямо с палубы направилась в каюту и там, запершись, залилась слезами. Несмотря на свою энергию и жизнерадостность, она вообще плакала часто.

Ей было мучительно жаль Сергея Сергеевича. Между ними никогда ничего не было, он не делал ей предложения, не говорил, даже намеками, что любит

ее. Но она прекрасно понимала, что в любую минуту может стать его женой: стоит только сказать одно слово. И хотя знала она его очень давно — полгода, — она этого слова не говорила. Марья Ильинишна уважала Прокофьева, он был Герой Советского Союза — и действительно герой, и прекрасный человек. «Отчего у него такие ногти? И отчего он, бедняжка, так некрасив?» Марья Ильинишна часто слышала от своих приятельниц, что для мужчины красота не имеет никакого значения, и даже обычно с этим соглашалась, но ей всегда казалось, что ее приятельницы врут и что она сама врет. Актеры-красавцы, которых она видела в американских фильмах, ей очень нравились — и не только игрой. Ей нравилось и то, что они были так неправдоподобно-изумительно одеты, что каждый из них мог в минуту необходимости на руках перенести вверх по лестнице, да еще ступая через две ступеньки, красавицу среднего сложения и что у каждого из них было, по-видимому, неограниченное количество денег (ей самой неизменно приходилось прибегать к займам или к авансам за несколько дней до получки). У всех этих людей был, несомненно, текущий счет.

Теперь, лежа на койке, глотая слезы, она старалась вспомнить, были ли у нее знакомые или знакомые знакомых, которые вышли бы замуж за иностранцев. Это случалось, но чрезвычайно редко. Обычно мужья в этих случаях были иностранные коммунисты. Им действительно удавалось вывозить русских жен за границу. «Однако, если посол друг его отца?» Марья Ильинишна была реальный политик и понимала, что если американский посол друг его отца, то, быть может, ее и выпустят. Но больше ничего реального в его словах не было. Ей мучительно не хотелось расставаться с Россией, которую она любила больше, чем говорила, и даже больше, чем сама думала. Но ей приходило в голову и то, что люди живут один раз и что хорошо было бы хоть немного пожить так, как живут эти изумительно одетые, веселые, беззаботные, красивые люди на экране. И сам он, Чарли, был тоже человек с экрана, встретившийся ей непонятным чудом. Потом можно будет вернуться. «Конечно, я вернусь. Только немного там поживу и вернусь... Может, к тому времени и у нас станет легче... И что же делать, если я люблю его? Я полюбила», — говорила она себе,

и было что-то, удивлявшее ее формой, чуть ли не звуком, в этих двух словах.

Утром седьмого дня, случайно (так ей казалось) проходя по коридору мимо его каюты, Марья Ильинишна почти столкнулась с Гамильтоном: в своем темно-красном халате он выбежал в коридор за горячей водой для бритья. Из приличия он отшатнулся, прикрыл голую шею рукой, прокричал по привычке: «Хелло» и побежал дальше, очень довольный встречей: знал, что халат ему к лицу. Она пошла дальше, грустно улыбаясь. Почему-то при виде этого халата она опять усомнилась в том, что выйдет за него замуж, — как усомнилась бы, что может стать женой человека в пудреном парике и в золоченом красном мундире, вроде Германнов, Томских, Елецких, которых показывали в «Пиковой даме». «А может, я и не влюблена? Разве можно влюбиться в Германа?» — спросила она себя растерянно. Больше она сама ничего в своих чувствах не понимала.

За обедом все выражали радость по поводу того, что подводная лодка U-22 потоплена английским контрминоносцем; все в один голос говорили, что важен, конечно, лишь самый факт уничтожения пирата, — а кто его уничтожил, не имеет никакого значения. Но лица при этом были злые и у Сергея Сергеевича, и у штурмана, и даже у Миши. Комиссар говорил, что поход можно считать конченным, что в четверг они встретятся с английской эскадрой, а в будущую среду уже вернутся в Мурманск. Но он больше не называл поход Сталинским и про себя что-то сердито бормотал, обещая кого-то «съездить в Харьковскую губернию».

### XIII

По любезности младшего офицера, иностранным гостям приносили утренний чай в их каюты. Молодой матрос, тот самый, который встретился Гамильтону в первый день, и на этот раз с детским изумлением оглядел четвертую за неделю шелковую пижаму лейтенанта и его темно-красный халат. Гамильтон вначале рассчитывал прочесть во взгляде матроса-социалиста классовую ненависть (это, пожалуй, можно было

бы вставить в поэму «Север», — Байрон клеивал и не такое); но никакой ненависти он, при своей безошибочной чуткости, ни во взгляде, ни в душе матроса не прочел. «Да, прекрасный, добрый, чуждый зависти народ!» — это, впрочем, тоже годилось для поэмы. Матрос поставил поднос на чемодан, снял со столика часы, портсигар, зажигалку, две книги, десяток исписанных листков, записную тетрадь в кожаном переплете («к плану поэмы «Север»»), ключи, самопишущее перо и много других предметов. Глядя на них с тем же детским любопытством, он все бережно разложил на чемодане, перенес на столик поднос, раздвинул складной стул. У него было такое впечатление, что этот очень нравившийся ему чужак в шелку и в бархате ничего своими ручками сделать не в состоянии.

Утренний завтрак, как всегда, был обильный и хороший. От Марьи Ильинишны Гамильтон знал, что русские офицеры получают не все из подававшегося иностранным гостям, и, хотя Мэри добавила: «Мы этих ваших мармеладов не любим, а питаемся мы сытно», лейтенанту ее сообщение было не совсем приятно. Тем не менее он ничего на подносе не оставил. У него все время был зверский аппетит; он приписывал это морскому воздуху. Море по-прежнему было совершенно спокойно: немного качало только раза два под вечер. Штурман говорил, что не помнит в Баренцевом море такой хорошей погоды в это время года. Лейтенант огорченно думал, что со времени потопления подводной лодки их плавание, несмотря на боевую обстановку и всевозможные предосторожности, почти превратилось в увеселительную *поездку*, столь же мирную, как увеселительные поездки по рекам и озерам Америки.

Оставив поднос на чемодане, Гамильтон занялся делом. На этот раз дело у него было довольно неприятное и непривычное: он производил подсчет денег.

Гамильтон отлично знал, что его сообщение о желании жениться на русской коммунистке, на чьей-то разведенной жене, на 25-летней докторше, вызовет бурю в родительском доме. Родители не могли запретить ему жениться на ком ему угодно; с тех пор как он достиг семнадцатилетнего возраста, они вообще никогда ничего ему не запрещали. Но в их враждебности его плану, даже в их негодовании, сомневаться было



невозможно. Отец принадлежал к правому крылу республиканской партии. В дни уплаты подоходного налога мрачно называл президента Рузвельта большевиком и лишь в июле 1941 года согласился прочесть первую из вновь выходявших восторженных книг о России. Мать, боготворившая сына, ревновала его к всякой девице, бывавшей в их доме, и не раз откровенно говорила, что ранняя женитьба Чарли была бы для нее большим горем. Как горе она приняла и первую его серьезную любовь, хотя он тогда сделал предложение молоденькой хорошенькой барышне, которая принадлежала к их обществу и никаких возражений вызвать не могла. О втором своем предложении он матери не сообщил: вторая барышня к высшему американскому обществу не принадлежала; а главное, он тогда жил в университете, сравнительно далеко от родителей: в письмах Чарльз Гамильтон еще мог кое-как скрывать правду.

Неизбежная семейная буря сама по себе его не пугала. Он очень любил родителей, но в этой буре было то, что ему нравилось: борьба за принципы, за убеждения, то самое, ради чего он после Пирл-Харбора подал заявление о желании поступить на военную службу (которая до того казалась ему варварской глупостью). Однако он чувствовал: после бури просить отца о деньгах не годилось, да это и не обещало никакого успеха.

Гамильтон вынул записную книжечку, в которой ему полагалось заносить расходы, взял бумажник, пересчитал деньги и убедился, что их у него оставалось 162 доллара и несколько сот рублей. Затем он со вздохом книжечку закрыл: собственно, имел ведь значение только итог: подсчет расходов представлял лишь теоретический интерес, да и то небольшой. Перед отъездом из Америки он получил от отца две тысячи долларов. Было просто непонятно, куда же ушли деньги? Правда, очень дорого стоил прощальный ужин, устроенный им товарищам по выпуску и продолжавшийся с разными переездами до следующей ночи. Затем был еще прощальный вечер, устроенный друзьям, не бывшим его товарищами по выпуску, — две трети их были девицы. Много стоили подарки и цветы, особенно корзина цветов очень сложного значения, посланная им последней герл-фрэнд, Минни, за полчаса

до отъезда на пристань. Были не подлежащие записи в книжку расходы во время краткого пребывания в Лондоне. Но важно было только то, что оставалось 162 доллара и несколько сот рублей. Рубли при обмене в России поглотили у него немало долларов; на вопрос же о том, что можно будет за их остаток получить в Нью-Йорке, один американский моряк в Мурманске ответил ему сухо и кратко: «Только в морду».

На жалованье младшего лейтенанта жить с женой было, очевидно, невозможно. У него промелькнула мысль, что можно было бы сначала поговорить с отцом о деньгах — с сыном, героем и ветераном, отец, конечно, будет очень щедр, — а затем сообщить родителям о невесте. Но он тотчас отогнал от себя эту мысль, как нечестную; вдобавок знал, что все равно не удержится и расскажет родителям о своем плане женитьбы еще по дороге с пристани домой. На жалованье младшего лейтенанта жить было невозможно, но можно было вернуться, при бесплатном проезде в Россию — разумеется, без подарков и цветов — кому же теперь посылать цветы! Он не без грусти вспомнил о Минни и смущенно представил себе предстоящую встречу с ней.

«Да, вернуться в Россию будет легко, — подумал Гамильтон, — а это все разрешает! До окончания войны буду воевать. Жениться на Мэри можно будет раньше...» Он вспомнил о двух товарищах, которые, будучи простыми солдатами, успели жениться, один — в Австралии, другой — на Филиппинских островах. «После окончания войны мы поселимся навсегда в России. Я куплю ферму на... там, где родилась Мэри (он забыл название Украина). Мы будем работать! Все равно прежняя жизнь вернуться не может, и слава Богу! Капиталистический строй кончается во всем мире, но в других странах великие социальные преобразования только начнутся, а у них уже есть готовая налаженная счастливая жизнь. Труд на земле — самый чистый и самый благородный! (Он с восторгом вспомнил, что писали о труде и о земле Торо, Эмерсон, Генри Джордж.) Да, скоплю немного денег и куплю ферму с садом... Будем с Мэри обрабатывать землю, а вечером, в свободное время, я буду писать, как это делали многие, как это делал Толстой, как это делал...» Он не мог вспомнить, кто еще, кроме Толстого,

днем пахал землю, а вечером, в свободное время, писал. «Мэри будет помогать мне...»

В нем неприятно шевельнулось незначительное воспоминание. Накануне он зашел за Мэри в аптеку «Розы Люксембург», служившую и больничным покоем. В каюте стоял тоскливый больничный запах. Марья Ильинишна отпускала слабительное одному из матросов. На стене висел сосуд для промывания желудка. Лейтенант Гамильтон поспешно вышел, сказав Марье Ильинишне, что подождет ее на палубе. Она видела, что он чем-то недоволен, но не могла понять, чем именно. Гамильтон и себе не сознавался, что профессия врача кажется ему оскорбительной для женщин. И он теперь не сказал себе, что Мэри будет лечить крестьян в соседних деревнях. «Да, она будет помогать мне в моей работе!»

Мысль о покупке фермы на юге России, на той благословенной, залитой солнцем земле, о которой ему рассказывала Мэри, мысль о небольшом, крошечном, из четырех комнат, домике так взволновала его, что он вскочил бы и стал бы расхаживать по каюте, если бы по ней можно было расхаживать. «Она говорила о вишнях! Вокруг домика будет вишневый сад — какая чудесная пьеса Чехова! — я буду работать в этом саду!» (Он очень любил вишни.) «Там, на юге, я напишу свою поэму о Севере — «как лучшие песни о свободе рождены в тюрьме!» Конечно, капиталистический мир кончается, и если кто о нем не пожалеет, то это именно я. Да, настоящая жизнь будет только в России, и в эту жизнь я войду, я приму участие в строительстве социализма!»

Вдруг раздался сигнал, какой-то очень странный, неприятный сигнал. Отрывисто и грозно трубила труба. К ней почти в ту же секунду присоединился электрический звонок.

#### XIV

На палубе было столпотворение. Матросы носились по ней в беспорядке, надевая спасательные пояса. Все орало истерическим голосом. Крики смешивались с трубными звуками, с гудками, с ревом свистков. «Да ведь это паника», — разочарованно подумал лейте-

нант Гамильтон, сразу немного обалдевший от дикого шума. Он уже слышал о панике немало рассказов — «а я думал, что они тогда репетировали панику в последний раз»: Гамильтон имел в виду учение, на которое из-за Марьи Ильинишны опоздал в первый день плавания; с той поры репетиции паники на «Розе Люксембург» больше не было. «Не переигрывают ли они, однако?» — с недоумением спросил себя он. У спасательных лодок два матроса с бледными лицами старались большими кухонными ножами перерезать толстые канаты; один из них отчаянно рубнул канат. Немного дальше штурман что-то рвал с остервенением. Лицо у него было искажено. Из рассказов за обедом Гамильтон знал, что это был тот номер программы, который по мастерству выдумки считался вторым: «уничтожение судовых документов». Лучшим номером было появление младшего офицера с клеткой: Мишка «спасал свою любимую канарейку». «Отлично ограет штурман! И все очень хорошо играют! Необыкновенные актеры!» — подумал Гамильтон. Он окинул взглядом палубу — и оцепенел с подавленным криком: слева, на небольшом расстоянии от «Розы Люксембург», из воды быстро, наклонно поднималось чудовище.

Лейтенант Гамильтон бросился к борту. Он на бегу с кем-то столкнулся, зашатался и чуть не упал. Мимо него, подняв к небу руки, пробежал комиссар Богумил, тоже что-то оравший. Мишка пронесся по палубе поперек судна, держа в одной руке клетку, вцепившись себе в волосы другой рукой. Замирая от волнения, Гамильтон достал бинокль, приставил его к глазам и завертел валик. Подводная лодка шла к ним почти под прямым углом. В бинокль и даже простым глазом можно было увидеть людей в немецких мундирах — до сих пор он их видел только на экране в фильмах, в которых показывались ужасы гестапо и подвиги Интеллидженс Сервис. Лейтенант быстро перевел взгляд на полосу моря между лодкой и «Розой Люксембург». Ему показалось, что на судно идет мина, с ее каемочной пены на поверхности. Он закрыл глаза, больше потому, что это условное движение из литературы прочно вошло в человеческую физиологию, и тотчас снова их открыл. «Неужели *сейчас* взрыв?!» Гамильтон не потерял самообладания, он был физически храбр,

он просто не знал, что ему нужно делать. Подумал, что если мина сейчас взорвется, то силой взрыва его выбросит в море, и он будет увлечен на дно водоворотом вокруг тонущего судна. Подумал было об акулах и успел с облегчением себе ответить, что в Баренцевом море акул нет, — хуже такой смерти он ничего себе представить не мог. «Если водоворот не затянется, надо выплыть вон туда и вцепиться в какой-нибудь обломок. Будут обломки, вот и это упадет... Я плаваю недурно, могу продержаться и час, и два... Нет, в ледяной воде двух часов не продержусь... Ну, что ж, надо умереть с честью, как подобает американскому офицеру», — книжными словами, но с совершенной искренностью подумал он, все ожидая взрыва: он полуоткрыл рот, лицевые мускулы сбоку от ушей у него чуть шевельнулись вверх. Взрыва не последовало, полосы с пеной он не видел и больше не сводил глаз с чудовища. Лодка вдруг изменила направление. Германские артиллеристы возились у орудий. На борту оказалась белая цифра 2, за ней опять 2, дальше тире и буква. «U-22! — воскликнул он с изумлением. — Но ведь она потоплена!»

Лишь в эту секунду (затем не мог ни понять, ни простить себе, что так поздно) Гамильтон с невыразимой радостью вспомнил, что ведь «Роза Люксембург» не просто пассажирский пароход, что это судно-ловушка, что она будет защищаться, что есть люди, которые об этом думают. Он оглянулся и ахнул. Шагах в пятнадцати от него, у трапа, ведущего на мостик, стоял, опустив бинокль, командэр Деффильд. Его бескровное лицо поразило Гамильтона выражением напряженной хищной страсти, знакомым лейтенанту по охоте. Командэр чуть наклонил вперед свою гигантскую фигуру. Из его ушей странно торчали болтающиеся цепочки. Правое плечо его загибалось вперед, точно инстинктивно отвечая чьему-то чужому движению, — позднее Гамильтон понял, что командэр плечом помогал подводной лодке повернуться и стать мишенью для огня русских орудий. Лодка действительно поворачивалась. «Отчего же они не стреляют?!» — с отчаянием подумал лейтенант. Командэр Деффильд быстро повернул голову назад и вверх. Гамильтон последовал за ним взглядом и с восторгом увидел главное действующее лицо. Капитан Прокофьев непо-

движно стоял на мостике, не отрывая глаз от бинокля. По лицу Деффильда что-то пробежало. Он подумал, что сейчас или никогда: через минуту будет поздно. В это самое мгновение Прокофьев бросил бинокль, висевший у него на ремне, и поднял обе руки. Вдруг настала мертвая тишина. Командир шагнул к поручням и надавил кнопку. У борта, на разных томах, зловеще завывли ревуны. Прокофьев что-то прокричал страшным голосом. Слов лейтенант Гамильтон не разобрал.

Макетные ящики взвились на веревках. Лейтенант, никогда туда не заходивший, увидел орудия. В ту же секунду оглушительно загрели выстрелы. Заткнув инстинктивным движением уши, Гамильтон бросился к борту. Он хотел было навести бинокль на лодку, отвел руки от ушей, но тотчас снова зажал их, — так нестерпим был почти непрерывный сливающийся грохот трехдюймовок. Простым глазом он увидел впереди бившую очень высоко пенистую струю воды, за ней столб черного дыма. Совсем близко от него *сверкали* красные искры. Он бросился в сторону, чтобы сбоку увидеть лодку. Вверх по мачте что-то поползло очень быстро и развернулось (позднее он узнал, что это был военный флаг, поднятый в ту секунду, когда командир приказал открыть огонь). Грохот орудий все рос, став совершенно слитным. С конца палубы тоже ничего не было видно, кроме огоньков, фонтана пены и черного облака. Гамильтон перегнулся через борт, отшатнулся, бежал назад и вдруг прямо перед собой увидел то, что представить себе никогда не мог бы и что казалось противоречащим законам природы: командэр Деффильд, ударив себя по ляжке левой рукой, танцевал на месте от восторга. В его ушах быстро болтались цепочки.

Грохот выстрелов стал слабеть и оборвался, сменившись внезапным, быстро нарастающим, бурно-радостным воем. На коммунальной палубе в общем вопле и гуле штурман обнимался с комиссаром, с кем-то обнимался Мишка, обнимались другие люди. Коммандэр Деффильд, уже без цепочек, не обнимался ни с кем. Стоя у борта, он неторопливо протирал белоснежным платком стекла бинокля.

— Потоплена? — спросил лейтенант, подбегая к командэру. Тот удивленно на него взглянул. Он не

успел ответить. К ним быстро, с протянутой рукой, подходил, улыбаясь, капитан Прокофьев, Коммандэр крепко пожал ему руку.

— Это было красиво, — медленно сказал он. — Паника была первый класс. Артиллеристы были первый класс. Вы были совершенно первый класс. Я желал, вы были английский моряк, моряк Его Величества, — сказал он, видимо, не удержавшись. Сергей Сергеевич оценил высшую похвалу и радостно улыбнулся.

— Все-таки для верности я велю пустить несколько глубинных снарядов, — сказал он.

— Это красиво, — одобрил коммандэр. — Всегда красиво глубинных снарядов. Но он кончен, кончен капитан Лоренц.

— Здесь глубоко? — спросил Гамильтон, невольно глядя в ту сторону, где недавно находилась подводная лодка.

— Совсем не глубоко, — ответил Сергей Сергеевич. — Тут мели. Думаю, что он на мели и ночевал. На ней ему и оставаться до конца дней... Но как же ваше официальное сообщение, будто британск. миноносец потопил его? — спросил коммандэра Прокофьев, и на лице его, несмотря на радостную минуту, появилась лукавая улыбка. Коммандэр пожал плечами, видимо, недовольный этой историей. Они заговорили о радиотелеграмме, которую следует послать. Гамильтон отошел от них с недоумением.

Он тоже был очень рад, что подводный пират потоплен, тем не менее общий бурный восторг был ему неприятен. «Историки назовут эти чувства каннибальскими, — нерешительно подумал он, не сочувствуя ни историкам, ни «каннибалам». — И эти цепочки у него — как серьги у каннибала...» Но, кроме их восторга, что-то было еще неприятное — он не мог сообразить, что именно. «Мэри...» Гамильтон сам удивился, что за все время боя ни разу о ней не подумал. «Что, если я не влюблен? — в первый раз спросил себя он. Эта мысль его поразила. — То есть влюблен, но не вполне. Скажем, не так, как Ромео был влюблен в Джульетту?» Марья Ильинишна имела с Джульеттой мало сходства, он невольно улыбнулся и пришел в ужас от того, что мог улыбнуться. «Конечно, я влюблен в нее, и я женюсь на ней!» — сказал он себе с силой и пошел искать Мэри.

Она работала в больничном покое. Никаких жертв на судне не было; подводная лодка была потоплена, не успев сделать выстрела. Но один из матросов «Розы Люксембург», перерезавших канаты спасательной лодки, сильно поранил руку, не удержав ножа, рассекшего последние волокна. Марья Ильинишна, все еще очень бледная и взволнованная, делала ему перевязку. Ее белый, не первой свежести халат был густо измазан кровью и йодом. Лейтенант Гамильтон только показался на пороге больничного покоя и отшатнулся: вид крови, лекарственный запах вызвали у него отвращение. Стоя боком к двери, занятая перевязкой, она не заметила лейтенанта. Он поспешно удалился, тревожно прислушиваясь к гулу глубинных снарядов. Неприятное чувство в нем все росло.

## XV

Вечером за обедом подали настоящее шампанское Союза новороссийских кооператоров. Сергей Сергеевич произнес тост за английский и американский народы, к некоторому удовлетворению командэра Деффильда. Если б Прокофьев поднял тост за короля Георга и за президента Рузвельта, то пришлось бы ответить тостом за Сталина. Командэр ответил тостом за русский народ. Мишка постарался, и обед вышел прекрасный, хотя свежего мяса на пароходе уже не оставалось. Незадолго до обеда была получена шифрованная радиотелеграмма: британская эскадра уже находилась недалеко, они рассчитывали ее встретить через день.

За обедом все были очень веселы. Повеселел и капитан Прокофьев. Уничтожение подводной лодки U-22 доставило ему одну из величайших радостей его жизни; оно же было и самым большим его успехом по службе; теперь он почти не сомневался, что скоро получит эскадренный миноносец. По сходным причинам был необычайно весел и командэр Деффильд. На «Розе Люксембург» до этого дня никто не предполагал, что командэр способен весело смеяться и даже рассказывать анекдоты. Он и сидел в этот вечер на своем стуле не так прямо, как обычно. И если бы пришлось поднять бокал за Сталина, то и на это пошел бы без большого огорчения. Мишка, когда



другие были веселы, бывал весел вдвое. Он один выпил полную бутылку шампанского, которое начинало ему нравиться; штурман налегал на коньяк и на водку; командэр до начала обеда налег на виски лейтенанта Гамильтона.

Только лейтенант был на этот раз печален: через два дня предстояло расстаться с Мэри. Она не вышла к обеду: объявила, что у нее очень болит голова. Но он знал, что дело было не в головной боли. Марья Ильинишна проплакала две ночи из-за близкой разлуки с ним, из-за более отдаленной разлуки с Россией. Ей не хотелось показываться с красными, опухшими от слез глазами. И как ни сдержан, как ни деликатен был капитан Прокофьев, ей было с ним тяжело. Боялась она и возможных шуточек комиссара Богумила. Гамильтон доказывал ей, что не выходить к обеду неудобно и даже просто невозможно: он перейдет на английское судно лишь послезавтра, не может же головная боль продолжаться так долго! «Вот когда ты уедешь, головная боль и пройдет», — ответила она, улыбаясь сквозь слезы. Просила его также не заходить к ней в каюту, условились встретиться завтра в аптеке. На «ты» они перешли накануне. Это привело его в восторг, особенно своей полной необычностью: он в жизни был на «ты» лишь один раз, с француженкой в Ницце, когда ему было восемнадцать лет: с родителями жил тогда в Канне. Но это было другое, совсем другое. «И насколько беднее наш язык оттого, что мы не употребляем «ты»...

За обедом разговор зашел о потопленной подводной лодке. Командэр Деффилд неожиданно вынул из кармана номер немецкого иллюстрированного журнала. В нем было два фотографических снимка. На одном изображена была после своего очередного триумфа подводная лодка U-22, на другом — командир этой лодки капитан Лоренц с ее экипажем: командир сидел посредине скамейки, справа и слева от него занимали места офицеры, позади стояли матросы. Среди них один возвышался над всеми головой. Надпись была: «Der Rueckkehr der Sieger. Kapitän Lorenz und seine Mannshycaft»<sup>1</sup>. Журнал переходил за столом из рук в руки. Сергей Сергеевич, знавший немного по-

---

<sup>1</sup> «Флагман победителей. Капитан Лоренц и его команда» (нем.).

немецки, перевел вслух, как умел, надпись. Коммандэр утвердительно кивал головой, свидетельствуя о верности перевода: он владел немецким языком свободно. Гамильтон долго смотрел на фотографию.

— Он есть безумный маньяк, не есть ли он? — спросил лейтенант.

— Ничего не маньяк, — ответил комиссар. — Просто сволочь. Наша публика давно его знает. Наша разведка за ним следит уже много лет. Этот Лоренц был в первых гитлеровских шайках, еще при их веймарском кабаке. На улицах подстреливал и избивал спартаковцев. Любопытное дело: потом брал к себе на лодку троцкистских гадов. Ну да черт с ним! Жил собакой, окошел псом.

Лейтенант с непонятным ему самому тревожным чувством всматривался в лица Лоренца, его офицеров и матросов. Гигант с зверским лицом, стоявший позади немецкого капитана, поразил воображение Гамильтона. Он долго не выпускал журнала из рук, хотя Мишка просил показать ему фотографию (штурман на нее и не взглянул, только отмахнувшись рукой, когда ему передали журнал). «Кто же тут троцкисты?» — спросил себя лейтенант: уж очень эти немцы были не похожи на Троцкого. Передав наконец Мишке журнал, он спросил, долго ли могут прожить люди в затонувшей подводной лодке.

— Это зависит от многих обстоятельств, — ответил Сергей Сергеевич, старавшийся во все время обеда не смотреть на лейтенанта. — Если вода проникнет в аккумуляторы, то начнет выделяться хлор, тогда они задохнутся очень скоро. А если нет, могут просуществовать и день, и два.

— Тогда, быть может, они еще живы? — спросил, бледнея, Гамильтон и почувствовал, что об этом спрашивать не следовало. Наступило молчание. Комиссар Богумил наклонился к штурману и шепотом сказал: «Маремьяна старика о всем мире печалится». Коммандэр Деффилд, с неудовольствием взглянув на Гамильтона, заговорил о телеграмме британского адмиралтейства. Он сказал, что ошибки в британских сообщениях, конечно, возможны, но чрезвычайно редки. Русские офицеры сдерживали улыбки: они были довольны этой историей.

— Это что, ваш контрминоносец давно потопил лодочку? — спросил комиссар. — Н-да...

— Разумеется, ошибка всегда возможна. У кого не бывает ошибок? Бывают и у нас, — сказал Сергей Сергеевич. На лице комиссара изобразилась было суровость, но он, как и все, был в слишком хорошем настроении духа, чтобы спорить.

— По этому случаю надо раздавить еще бутылочку шипучего. Папаша очень просит, — вставил Мишка. Штурман вполголоса сказал ему несколько своих слов. — Не сердитесь, папаша. Я с вами во всем согласен. И Моцарта вы видели, папаша. В Бремене, в 1899 году своими глазами видели, — примирительно сказал младший офицер.

Перед отходом ко сну в этот вечер лейтенант Гамильтон принял две пилюли лекарства. От событий, от утреннего боя, от разговоров за обедом, от трехчасового курения после обеда он находился в тревожно-возбужденном состоянии, которое за собой знал: в этом состоянии у него стихи «лились из-под пера» и порою бывали удачи на «сеансах черной магии». Он был убежден, что не заснет, и попросил у командэра Деффильда снотворное. Когда он разделся и лег на койку, ему показалось, что начинается качка. От этого нервы у него натянулись еще больше: Гамильтон очень боялся, как бы при Мэри с ним не началась морская болезнь. И в какой-то связи с этим ему все неприятно вспоминались пятна крови на ее руках и на белом халате.

Заснул он поздно. Сон у него был сначала неясно-тревожный, потом страшный. Германская подводная лодка лежала на дне бухты. Лежала она криво, все плоскости были наклонные, как в тех старых немецких фильмах, которые ему приходилось видеть и которые вызывали у него ужас своим бессмыслием, безвкусием и чем-то еще. Они шли под музыку, то очень левую, передовую, то классическую, шумановскую, шубертовскую, бетховенскую (когда левый и гениальный режиссер хотел подчеркнуть преемственность великих идей и традиций). По этим наклонным плоскостям скользил маниакальный капитан. За ним по пятам следовал гигант с лицом зверя. И вдруг гигант, высоко взмахнув дубинкой, ударил ею капитана по голове, затем вцепился ему в горло огромными страшными руками. Они повалились на белую кривую, запачкан-

ную кровью плоскость, на которой лежали умирающие люди. Лейтенант Гамильтон с криком проснулся.

Задыхаясь, он сел на постели и долго не мог понять, что случилось. Затем понемногу стал приходить в себя. «Да, если там были троцкисты, то это вполне возможно... Больше того, это и должно было произойти, когда им на дне стало ясно, что кончено, что все кончено, что совсем кончено, что нет больше ни чинов, ни дисциплины, ни расстрелов, ни гестапо, что их тела будут тут гнить до скончания веков...» Лейтенант Гамильтон трясся мелкой дрожью. Он все сползал с койки. «Розу Люксембург» сильно качало.

## XVI

Были опять сказаны все слова, все противоречивые слова: и о том, что американский посол выхлопочет ей разрешение выехать за границу, и о том, что скоро, самое позднее через три месяца, он вернется в Мурманск и навсегда останется в России. Он говорил, что они будут вместе работать на прекрасной южной земле, что в свободное время он будет писать стихи, она будет переводить их на русский язык. И не может быть никакого сомнения в том, что советское правительство не откажет послу Соед. Штатов в столь незначительной просьбе. Она плакала горькими слезами и теперь со всем соглашалась: будут обрабатывать землю, будут переводить его стихи и, конечно, послу Соед. Штатов никогда не откажут. Под конец заплакал и он, стараясь скрыть свои слезы.

Она знала, что он не умеет и не способен лгать, что он говорит ей всю правду — то, что считает искренне правдой. И вместе с тем она теперь — даже не чувствовала, а твердо знала, что ничего этого не будет: ни земли, ни перевода стихов, ни ходатайства посла и не станет она американской дамой, а останется советским военврачом третьего разряда и никогда больше его не увидит.

Это настоящее их прощание происходило в аптеке с ее запахом больничного покоя. Когда он выбежал из аптеки, у него, несмотря на слезы, было чувство облегчения. Потом на коммунальной палубе было офици-

альное прощание. Он позволил себе вольность, поцеловал ей руку; все деликатно старались на них не смотреть, не замечать заплаканных глаз Марьи Ильинишны, отсутствия Сергея Сергеевича: капитан с утра выехал на английский крейсер. В британской эскадре были суда новейшей конструкции: ничего не могло быть интереснее для русских офицеров, и даже Мишка не отводил от крейсера глаз. Море за ночь успокоилось, но было не так гладко, как в начале плавания.

Коммандэр Деффильд, очень оживленный, почти веселый, стоял на коммунальной палубе, следя за погрузкой своих вещей на катер. Когда были погружены оба его чемодана, коммандэр полувопросительно оглянулся на Гамильтона. Этот его взгляд мог приблизительно означать: «Кончили ли вы уже ерунду или будет еще какая-нибудь трогательная сцена прощания?», и «неужели вам не стыдно обманывать эту большевичку?», и «пора бы вам выбить дурь из головы», и «поверьте, мы с вами никогда русских не поймем, бегите отсюда поскорее»... Он любезно простился с офицерами «Розы Люксембург». Пожал руку и комиссару Богумилу, хотя ему это было неприятно, и даже слабо выразил надежду, что они, быть может, еще встретятся. Затем он снова оглянулся на Гамильтона. Лейтенант, сорвавшись с места, быстро обошел всех бывших на палубе людей, одинаково крепко пожимая руки офицерам и матросам, говоря всем что-то бессвязно-приветливое. Затем он подбежал к Марье Ильинишне, опять крепко поцеловал ей руку и побежал к трапу. Коммандэр, не глядя на него, надевал перчатки. У трапа Мишка сунул уезжавшим по плоской карманной бутылочке. «Вот вам на дорогу... Коньячок», — смущенно краснея, говорил он. Коммандэр Деффильд засмеялся, взял бутылочку и крепко пожал руку Мишке.

— Я буду выпить это за ваше здоровье, — сказал он. — И за русского флота.

— Сунулся тоже со своим коньячком!.. — журил Мишку старик-штурман. — Не видал он нашего коньячку... Ты, может, думаешь, что у них на этом крейсере нет коньячку? У них, брат, такой коньяк, что за твое годовое жалованье трех бутылок не купишь...

— Все-таки на прощание. На память, — сконфуженно отвечал Мишка, очень огорченный разлукой с иностранными офицерами, особенно с Гамильтоном. — Они, папаша, наш коньячок хвалили.

— Хвалили! А ты думал, они будут ругать? Эх, ты... Этот долговязый на своем веку выпил больше коньяку, чем ты молока. Я тебе говорю! Даром извел два флакончика, подождешь, пока нам дадут другие, — говорил штурман. Хотя ему было жалко коньяку, он про себя вполне одобрял Мишку.

Марья Ильинишна, тщательно и успешно сдерживая слезы, махала платочком с коммунальной палубы. Лейтенант Гамильтон, стоя в катере и крепко держась за что-то левой рукой, долго махал фуражкой. Лодку качало, он мучительно боялся внезапного припадка морской болезни. Рядом с ним сидел командэр Деффильд, смотревший на него с насмешкой и с состраданием. Бурно-радостно шумели чайки-разбойницы. Катер медленно сливался с морем. И в ту минуту, когда он исчез, Марье Ильинишне стало совершенно ясно, что теперь это уже воспоминание и что память об американском поэте и человеке с экрана, о Германне, навсегда, до последнего ее дня, останется светлой сказкой ее жизни: ведь какая-нибудь сказка есть в жизни любого человека. Затем она долго плакала в своей каюте, уткнувшись лицом в серую жесткую подушку. Затем она встала, вытерла слезы, попудрилась и пошла в аптеку готовить лекарства.

Сергей Сергеевич вернулся на «Розу Люксембург» лишь в первом часу дня. Хотя вернуться можно было раньше и хотя ему было трудно с английскими офицерами, не знавшими русского языка и не понимавшими ни одного его английского слова, он пробыл на крейсере часа два, чтобы не присутствовать при прощании лейтенанта Гамильтона с Марьей Ильинишной. К большому его облегчению, лейтенанту было отведено место на одном из миноносцев, и он на крейсере не появлялся. Как только командэр Деффильд поднялся на борт, Сергей Сергеевич заторопился и хотел было тотчас уехать. Но командэр любезно предложил показать ему новый крейсер; от этого предложения Сергей Сергеевич не мог отказаться ни при каких интим-

ных переживаниях. После осмотра (впрочем, довольно беглого) они дружески простились, с искренней симпатией. Прокофьев, не глядя на командэра, попросил передать привет лейтенанту Гамильтону и выразил сожаление, что не мог с ним проститься.

На «Розе Люксембург» он поздравил один и с Марьей Ильинишной встретился лишь в четвертом часу на палубе, когда британская эскадра ушла. Он долго думал о том, как встретиться, и решил, что лучше всего быть сдержанным и корректно-холодным. Но когда они встретились, Сергей Сергеевич тотчас почувствовал, что произошла какая-то перемена, как будто для него благоприятная. «Что же это? Неужели там кончено?.. Или ничего и не было!»

— Отличный у них крейсер, я засиделся, — сказал Прокофьев, чтобы нарушить молчание. — Просто первый сорт.

— Первый сорт, — повторила она, слабо улыбаясь. — У нас таких нет?

— У нас таких пока нет, но будут, — сказал он, глядя на нее сверху вниз<sup>1</sup>. Она была выше его ростом. Его глаза вместо холода выразили нежность и покорную преданность. И тут же она подумала, что нельзя советской женщине-врачу выходить замуж за американского поэта. «Между их миром и нашим — пропасть, и она засыпана не будет, что бы там ни случилось, и никогда мы друг друга по-настоящему до конца не поймем... Да, вероятно, я рано или поздно стану женой Сергея Сергеевича», — сказала она себе и сама не могла себе дать отчет в том, говорит ли это с тихой грустью или с тихой радостью, но улыбка, выражавшая ее тихую грусть, отразилась в его душе сумасшедшей радостью.

— Я было и забыл, — сказал он. — В Мурманске перед отъездом я достал для вас букет. А потом не передал. Но цветы не совсем завяли, я каждый день свежую воду подливал. Можно дать вам теперь?

— Почему же вы не передали раньше? — спросила она, отлично зная, почему он не передал раньше. Она была тронута и тем, что он в Мурманске раздобыл для нее букет, и тем, что не передал ей букета, и тем, что передает его сейчас, и даже тем, что по-архангельски

---

<sup>1</sup> Неточность у М. Алданова. — *Прим. ред.*

говорит «цветы». Они пошли по коммунальной палубе. Марья Ильинишна смотрела в ту сторону, куда ушла британская эскадра. Уже больше ничего не было видно. У лестницы дружелюбно беседовали на политические темы штурман и комиссар Богумил. Увидев их издали, штурман подмигнул комиссару.

— Здравствуй женившись, дурак и дура, — сказал вполголоса комиссар.



# АСТРОЛОГ

*Автор осенью прошлого года посещал в Европе французских и немецких астрологов. Их сообщения и сеансы частью послужили материалом для настоящего рассказа.*

## I

«Сударыня, я получил Ваше письмо и благодарю Вас за доверие. Я тотчас приступил к сложным вычислениям, которых требует составление гороскопа. Эта работа еще далеко не закончена, но я уже мог убедиться в том, что судьба складывается для Вас как будто весьма благоприятно.

Могу уже сделать и некоторые выводы относительно Вашей личности. Ваш характер весьма симпатичен. Вы очень умны, хотя Ваши недоброжелатели это отрицают. Вы сотканы из противоречий. Иногда Вы тверды и мужественны, но иногда легко поддаетесь чужим, не всегда благотворным влияниям, теряете мужество и бодрость. Вы страстно жаждете жизни, однако порою чувствуете большую душевную усталость. Некоторых противоречий Вашей сложной натуры Вы еще не знаете сами. Не все люди видят Ваши редкие и прекрасные качества.

Счастливы ли Вы? Не думаю. Между тем в Вашей судьбе заложены возможности великого счастья. Некоторые из них уже были Вами упущены, о чем Вы, вероятно, и не догадываетесь. Опытный руководитель мог бы сделать Вас счастливейшей женщиной. Предлагаю Вам свое испытанное руководство.

По Вашим словам, Вас еще больше, чем Ваша судьба, интересует отношение к Вам человека, которого Вы любите. Но разве одно не связано теснейшим образом с другим? Думаю, что Вы созданы для этого человека и могли бы сделать его счастье. К сожалению

нию, указаний, которые Вы о нем даете, совершенно недостаточно. Для бесспорного ответа на волнующие Вас вопросы я должен составить и гороскоп этого лица. Поэтому мне необходимо знать дату его рождения. Кроме того, многое может быть выяснено и не астрологическим путем. Вам известно, что я не только астролог. Не считите меня нескромным, если я скажу, что своей мировой славой я обязан в такой же мере своим познаниям в хиромантии, онейромантии, офомантии, рабдомантии, экономантии<sup>1</sup> — великих и древних науках, изучению которых посвятили долгую жизнь и я, и все мои предки.

Все это требует личного свидания и беседы. Вы спрашиваете о моих условиях. Как Вам, конечно, известно, я не корыстолюбив и охотно работал бы на пользу людей совершенно безвозмездно, если бы в этом не было элемента, оскорбительного для моих клиентов. Ваша личность так привлекательна и судьба Ваша так меня заинтересовала, что я готов предоставить Вам льготные условия, которых я не предоставляю даже самым знаменитым писателям, врачам, адвокатам, удостоивающим меня издавна своего доверия. Предлагаю Вам следующее:

1) За сообщенное в настоящем письме я не беру с Вас *ничего*.

2) Ваш полный гороскоп обойдется Вам в двести (200) марок. С рядовых клиентов я обычно беру вдвое больше. До войны мне случалось составлять гороскопы представителей англо-американской plutократии, как Франклин Рузвельт, Рокфеллер, Вандербильт, герцоги Вестминстерский и Норфолькский, сэра Вальтера Скотт. Они платили мне тысячи долларов, которые я почти целиком отдавал на благотворительные дела.

3) Если Вы пожелаете иметь также гороскоп человека, о котором Вы говорите в письме, то я по совокупности возьму с Вас за оба гороскопа триста пятьдесят (350) марок.

4) Если Вы сделаете мне честь посетить меня в среду, в 10 часов утра, то консультация, с раскладкой карт, обойдется Вам лишь в пятьдесят (50) марок.

---

<sup>1</sup> Онейромантия — предсказание будущего путем истолкования снов. Офомантия — предсказание с помощью змей. Рабдомантия — обнаружение подземных источников и залежей руды с помощью лозы. Экономантия — хозяйственные предсказания по приметам. — *Прим. ред.*

В ожидании Вашего скорого ответа прошу Вас принять уверение в моей совершенной преданности. Heil Hitler!»

За подписью следовала дата: «13 апреля 1945 года. Сидеральный<sup>1</sup> час 10.30'». Наверху листа были выгравированы имя и адрес Профессора, номер его телефона и слова: «Просят прилагать почтовую марку для ответа». Имя у него было длинное и странное. Прежде он считался индусом, но с начала войны говорил, что он индонезиец.

Профессор перечел копию своего письма и вздохнул. Не любил обманывать людей, однако надо было жить. «Ах, Боже мой, очень многое в жизни построено на человеческом легковерии, и какое это было бы несчастье, если бы люди не были легковерны!» — подумал он и на этот раз. Пожалуй, в письме не следовало упоминать об англо-американской плутократии, особенно теперь, когда дела Германии шли так плохо. Но гестапо нередко вскрывало его корреспонденцию. Кроме того, в день, когда писал письмо, положение стало лучше: русские больше не наступали, радиокомментаторы говорили, что между большевиками и демократами произошел разрыв. Умер президент Рузвельт, и это событие тоже толковалось радиокомментаторами как огромная удача национал-социалистов. Быть может, лучше было бы и не упоминать о Вальтере Скотте; впрочем, Профессор по долгому опыту знал, что его клиенты в громадном большинстве люди необразованные. «Письмо написано хорошо. Нет такой женщины, которая не думала бы, что она очень умна, что у нее редкие, прекрасные качества и сложная, противоречивая натура, что она создана для любимого человека и что ее не ценят недоброжелатели».

В письме, полученном им от этой дамы, не было ничего интересного. Большая часть клиентов не называла вначале своего имени и просила посылать письма «до востребования». Позднее же многие, особенно дамы, не только называли имена, но и сообщали о себе все, вплоть до самых интимных дел. Профессор первые свои выводы делал по слогу письма, по бумаге и почерку. Перед свиданием он всегда перечитывал запрос и копию своего ответа. Годы на нем сказались:

---

<sup>1</sup> Звездный (древнегреч.).

память ослабела, он стал в последнее время болтлив и повторял одно и то же еще много чаще, чем это делают все люди.

В этот день у него с утра было знакомое неприятное ощущение под ложечкой, обычно, хотя и не всегда, предвещавшее припадок. Он плохо спал, проснулся очень рано, первым делом открыл окно, застегнув халат, чтобы не простудиться, и прислушался. В Берлине говорили, будто по ночам слышится отдаленный грохот пушек. «Нет, кажется, ничего не слышно... Ночью налета не было... Ох, пора уезжать...»

Это был маленький старичок с желтыми волосами вокруг желтой лысины, с хитрыми желтыми глазками, с желтой бородой, с желтым утомленным лицом. Профессор страдал болезнью печени и по возможности это скрывал, чтобы не повредить своей торговле: хотя клиенты не могли требовать, чтобы астролог был бессмертен, болеть ему не полагалось. Он был чистокровный немец, но с годами в его внешнем облике появилось что-то восточное — это было даже не совсем безопасно: могли принять за еврея. Говорил он с неопределенным иностранным акцентом, справедливо рассчитывая, что в Берлине никто не может знать, с каким именно акцентом говорят по-немецки индонезийцы. Разумеется, полиция прекрасно знала, кто он. Однако астрология запрещена в Германии не была. У Фюрера были свои астрологи. Первого из них, Гануссена, давно убили — это могло объясняться его еврейским происхождением. Новый астролог Гитлера, Дитерле, по слухам, и теперь постоянно у него бывал в рейхсканцлерском дворце, на фронтах, в «Орлином гнезде», в нынешнем подземном убежище на Вильгельмштрассе. В последнее время астролог Вульф стал посещать Гиммлера. Профессор был знаком и с Гануссеном, и с Дитерле, и с Вульфом; отзывался о них всегда сдержанно-корректно, как порядочный врач отзывается о других врачах, но в душе их терпеть не мог и считал шарлатанами.

Он прошел в ванную комнату — горячей воды давно не было — и минут сорок занимался туалетом. Чистота была слабостью Профессора; он говорил приятельницам, что у порядочного человека может быть в общественной жизни только один идеал: дожить до того времени, когда купаться каждый день будет так

же обязательно, как есть каждый день. Надушившись крепкими *восточными* духами, расчесав золотым гребешком бороду, срезав торчавшие из ушей и ноздрей желтые волосы, он надел черный костюм, сшитый у лучшего портного, с двумя внутренними карманами, с отворотами на брюках, правда, сшитый уже довольно давно, в ту пору, когда из Бельгии и Голландии привезли в Берлин прекрасное английское сукно. Профессор не был богат. Его состояние, скопленное годами труда, растаяло в пору инфляции; знакомые скептики, к крайней его досаде, издевались: «Как же вам звезды не сообщили, что марка полетит к черту?» Правда, заработки его увеличились при Гитлере. Все случившееся в Германии было так странно и неправдоподобно, что, по-видимому, люди стали больше верить в колдовство. Попадались клиенты и среди новых господ. Профессор их боялся, но и они боялись астрологов; впрочем, платили скупое, торговались и порою намекали на свои связи. Он с достоинством отвечал, что кое-какие связи найдутся и у него, однако тотчас соглашался на скидку. По своей доброте и жизнерадостности Профессор недолго любил национал-социалистов и до 1933 года называл Гитлера маляром. Веймарскую республику Профессор тоже недолго любил — всего больше за инфляцию — и называл Эберта шорником. Настоящая жизнь была до первой войны. Профессор ненавидел войну и приходил в уныние, когда в газетах начинались появляться географические карты.

Его небольшая квартира была обставлена частью в готическом стиле, частью в восточном: не то индийском, не то турецком. Профессор был женат два раза. Обе жены от него ушли: первая признала, что он для нее слишком глуп, вторая — что он слишком глубок: они не интересовались астрологией, и им было с ним скучно. «Чаще всего люди разводятся оттого, что им не о чем говорить друг с другом», — грустно думал он. Впрочем, он не очень горевал и находил, что в одиночестве есть известные преимущества: например, очень приятно спать одному — зажигаешь лампу, когда хочешь, тушишь, когда хочешь, тянешь к себе одеяло, как хочешь. Его приятельницы жаловались, что он всегда рассказывает одни и те же истории, все больше астрологические. Он недоумевал: неужели это не интересно? Однако иногда сам удивлялся, что ему не о чем рассказывать: так мало

событий случилось с ним за семьдесят лет, в самую бурную эпоху истории. Изредка он приглашал бывших приятельниц на обед, всегда в очень хороший ресторан, и заказывал дорогие вина. Скуп никогда не был, хотя, случалось, с легким огорчением вспоминал об истраченной без необходимости сотне марок. Любезен он был чрезвычайно и всем знакомым, дамам и мужчинам, говорил в глаза только приятное, зная, как мало этим люди избалованы и как это ценят. В пору своих поездок на курорт он в вагоне, надев шапочку и мягкие туфли, угощал соседей конфетами и хвалил удобства железных дорог. Профессор даже о погоде старался отзываться лестно, точно допускал, что и она любит комплименты. О политике же он старался не говорить, особенно с июля прошлого года: заговор поразил его еще больше, чем война, — войны бывали всегда, но уж если вешают германских фельдмаршалов, значит, в мире возможно решительно все.

В столовой был приготовлен утренний завтрак. Профессор не держал ни горничной, ни кухарки. Он всегда чувствовал неопределенное беспокойство, когда в доме находился посторонний человек. Утренний завтрак готовила уборщица Минна, угрюмая, неболтливая женщина, приходившая только на два часа в день. Она была совершенно равнодушна к личности своего работодателя и к его занятиям, убирала же квартиру хорошо. Прежде по утрам Минна готовила ему яичницу с салом, овсянку, компот. Теперь все было трудно доставать. Яичница запрещалась при камнях в печени. Профессор выпивал утром только две чашки кофе с поджаренным хлебом. Однако утренний завтрак по-прежнему составлял одну из лучших радостей его жизни. Кофе был сносный. Но он помнил *настоящий* кофе, тот, что был при императоре Вильгельме, тот, что он пил у Кранцлера, у Бауера и в Café Victoria.

За завтраком Профессор развернул газету и изменился в лице. Русские начали наступление на фронте шириной в триста километров. Наступали одновременно десять советских армий. На первой странице был помещен приказ Фюрера по войскам Восточного фронта. «Наш враг № 1, иудо-большевики, бросили свои азиатские орды против нашего отечества с тем, чтобы положить конец германской цивилизации. Мы предвидели это наступление и с 11 января установили

прочный фронт», — читал Профессор с проклятиями. «Знаю, как Маляр все предвидел! Красил бы лучше заборы!» — думал он. «...Большевиков на этот раз ждет участь всех азиатских завоевателей. Они погибнут под стенами нашей столицы...» «Вот оно что! Уже дошло до «стен нашей столицы»...» — мрачно думал Профессор. «...В момент, когда судьба убрала из мира величайшего военного преступника всех времен, решается судьба войны...» Профессор не сразу понял, что величайший военный преступник всех времен был президент Рузвельт. «Кажется, Маляр совершенно выжил из ума...» На Западном фронте дела были не лучше, чем на Восточном. Третья американская армия генерала Паттона перешла чешскую границу. Первая армия генерала Ходжеса тоже стремительно продвигалась вперед. «Хоть бы они сюда пришли первыми, а не русские, — подумал Профессор. — Конечно, надо бежать, но как? Давным-давно надо было уехать в Швейцарию...»

Он вздохнул и перешел в свой рабочий кабинет. В этой большой роскошной комнате на одной стене висела огромная картина, изображавшая процессию факиров на Ганге, а на другой — знаки Зодиака. На полках стояли прекрасно переплетенные «Эфемериды». На небольшом узком столе, крытом желтой бархатной скатертью с вышитыми на ней восточными письменами, лежали магический шар и старинный футляр с картами. По сторонам узкого стола стояли два высоких готических стула. Все было в совершенном порядке. В комнате приятно и странно пахло. Профессор отворил готический шкаф, надел желтую мантию и белый тюрбан. Несмотря на многолетнюю привычку, ему всегда было немного совестно надевать этот наряд.

До времени, назначенного клиентке, еще оставалось минут десять. Он плотно затворил дверь и пустил в ход радиоаппарат. В этот час обычно говорила тайная германская радиостанция. Профессор относился к ней подозрительно: не очень верил в существование тайной радиостанции в Германии. Кроме того, три четверти ее сообщений казались ему враньем. Сердитый голос внезапно с середины фразы закричал, что теперь дело Гитлера, конечно, совсем кончено. Никак не приходится ему надеяться и на распря между большевиками и демократиями: президент Трумэн твердо решил не включать в свой кабинет Бернса, который

высказывается против уступок России, а назначение Молотова главой советской делегации в Сан-Франциско свидетельствует об искренней дружеской симпатии Сталина к новому президенту Соединенных Штатов.

В передней прозвучал очень короткий, какой-то робкий и жалостный звонок. Профессор поспешно закрыл радиоаппарат и перевел стрелку на другую, далекую волну. Затем усилил огонек под медной чашкой с восточными ароматами и вышел в переднюю. Он отворил дверь, приложил правую руку к тюрбану и впустил даму в кабинет.

## II

— Прошу вас садиться, — с индонезийским акцентом сказал он, пододвигая даме готический стул и внимательно в нее вглядываясь. Личные наблюдения над клиентами были главным источником его предсказаний. Он был наблюдателен, знал (особенно прежде) толк в людях и отлично понимал клиентов. «Помесь Фрейда с жуликом», — сказал о нем посетивший его из любопытства иностранный писатель.

На даме была густая вуаль. В этом для Профессора тоже ничего необычного не было: многие клиентки вначале скрывали наружность, хотя он никак не мог их знать, и поднимали вуаль лишь минут через десять. «Одета хорошо. Молода и, кажется, красива», — подумал Профессор. Женщины теперь волновали его меньше, чем прежде, но волновали (в прошлом году он по-настоящему расстроился, когда в первый раз в его жизни дама уступила ему место в автобусе). «Очень нервна... Деньги требовать вперед незачем: эта заплатит...» Клиенты иногда его обманывали: отказывались платить за гороскоп да еще ругались. Это обычно бывало в тех редких случаях, когда гороскоп оказывался неблагоприятным. Профессор отлично знал, что неблагоприятные гороскопы невыгодны, и по возможности их избегал. Однако, когда клиент требовал уж слишком большой порции счастья, когда уродливая дама желала пламенной любви, глубокий старик — еще полустолетия жизни, биржевик — удвоения стоимости акций Allgemeine Elektrizitäts Gesellschaft, Профессор им в этом отказывал: нельзя было портить себе репутацию однообразием благоприятных предсказа-



ний. Если же клиент повышал голос или начинал скандалить, Профессор кротко говорил, что не несет ответственности за показания небесных светил и денег насильно не требует. В таких случаях не прикладывал руки к тюрбану, но полицией никогда не грозил. Недолюбливал полицию даже во времена императора Вильгельма.

— Вы пришли в ранний час: в час Сатурна, — сказал он медленно глубоким низким голосом. Говорил обычно одно и то же: больше для того, чтобы дать клиентке время справиться с волнением. Вдобавок любил себя слушать. — Чем раньше беседовать с Роком, тем лучше. Я всегда встаю до зари и каждое утро люблюсь великим чудом мира. Темная ночь бежит от восходящего Солнца. Пышно и величественно появление величайшего из небесных светил. На Востоке появляются первые пурпурные полосы. Но еще темен небосклон на Западе. Солнце всходит. Солнце взошло. Его приветствует вся тварь земная. Поют птички. Все радуется начинающему дню. Только слабый безумный человек не радуется каждодневному чуду. Отчего?

— Я... Не знаю, — тихо сказала дама. Профессор, впрочем, и не ожидал ответа: знал, что даже очень находчивому человеку трудно ответить на его вопрос. Он по-прежнему изучал даму. Она ни на что не смотрела: ни на его мантию, ни на знаки Зодиака, ни на картину. «Женщина легкого поведения? Конечно, нет. Артистка? Тоже нет...»

— Солнце, — продолжал Профессор, — исполнено разума. Это знал еще Кеплер, величайший из всех астрономов и астрологов мира. Помните ли вы его трактат о Марсе? В нем он мудро говорит: «Планеты *должны* обладать разумом: иначе они не могли бы так правильно следовать по эллиптическим путям в полном соответствии с законами движения».

Дама, очевидно, не помнила кеплеровского трактата о Марсе. Она сидела молча, неподвижно глядя перед собой.

— Ваш приход сюда, сударыня, — сказал Профессор, — показывает, что вы приняли мое предложение и мои условия. Перед тем как перейти к картам, я должен задать вам несколько вопросов. Вы страстно любите одного человека. Судьба обычно снисходительна к нашим страстям, если они чисты, не губительны для души и не вредят другим людям. Вы писали, что

сомневайтесь в любви этого человека к вам. Он не женат, обещал вам на вас жениться и не выполняет своего обещания. Так, сударыня? — спросил Профессор. Он называл своих клиенток по-разному, то «сестра моя», то «госпожа моя», то «радость моей души», то просто «сударыня».

Дама молча наклонила голову.

— От астролога не должно быть секретов, да и не может быть: звезды скажут мне то, что вы утаили бы от меня... Вы находитесь в греховной связи с этим человеком?

— Нет... Да, — поколебавшись немного, прошептала дама.

— Думаете ли вы, что он любит другую?

— Нет.

— Быть может, ему нужны деньги, а их у вас нет?.. Я это говорю не в плохом для него смысле. Очень порядочные люди иногда не женятся потому, что не могут содержать семью...

— Деньги тут ни при чем, — перебила его дама.

— Чем же вы объясняете его отказ исполнить свое обязательство?

— Я... Я именно это хотела узнать у вас.

— Я это вам и сообщу, — сказал Профессор и пододвинул к даме магический сосуд. — В этом шаре находится вода Ганга. Положите на него левую руку. Но сначала, конечно, снимите перчатку. И если вам все равно, поднимите вуаль. Зачем она? Зачем скрывать лицо, когда я вхожу в соприкосновение с вашей душой?

Дама подняла вуаль. Она в самом деле была хороша собой. «Что-то есть в ней простонародное. Кажется, здорова как бык, но глаза маньячки, очень странное сочетание...» По привычке он хотел было определить, представляет ли эта женщина доброе или злое начало жизни, но затруднялся. «Нет, доброты ее лицо не выражает. Страстность — да. Неразделенная страсть».

— Левую. Я сказал левую, — поправил он ее. Когда дама положила руку на шар с водой, Профессор немного помолчал и подлил жидкости в медную чашку. Приятный, чуть пьянящий запах усилился.

— Сусабо! Мизрам! Табтибик!<sup>1</sup> — глухим голосом сказал Профессор и положил свою руку на руку дамы.

---

<sup>1</sup> Магическое восклицание древневавилонских жрецов. — *Прим. ред.*

Ее рука была холодна. Лицо ее все бледнело. «Очень нервна», — подумал он, не сводя с нее глаз. Затем он закрыл глаза. Он и сам был немного взволнован. «Жаль, что написал о Вальтере Скотте... Неглупа... Бедная женщина... Кажется, она плохо кончит», — думал он, готовя свой ответ.

— Я не могу... Я больше не могу! — шепотом сказала дама. Профессор открыл глаза и сказал строго:

— Вы должны были молчать. Ваши слова нарушили цепь душ. Теперь ее надо восстановить. — Он встал, вспрыснул руку жидкостью из хрустального флакона, вытер ее белоснежным платком, снова положил ее на руку даме и снова закрыл глаза. Его лицо тоже стало бледнеть. Через минуту он поднял руку и приложил ее к тюрбану.

— Вы будете счастливы. Вы будете жить очень долго: еще сорок девять лет, семь месяцев и шестнадцать дней.

— А он? — спросила дама, безжизненно на него глядя. По-видимому, его слова не произвели на нее впечатления. Это немного задело Профессора.

— Позвольте перейти к картам, — сказал он, точно не слыша ее вопроса, и взял со стола футляр. — Как вы знаете, карты колоды соответствуют разным человеческим характерам. Вы трефовая дама. Трефовая дама означает доброту, благородство и ум, при некоторой неустойчивости характера. — Он принялся метать. — Правая карта указывает на характер человека. Левая говорит о том, что его ждет. Вы видите, я не ошибся: трефовая дама лежит справа.

Он положил карты и поднял руку.

— Сусабо! Мизрам! Табтибик! — повторил он еще внушительнее, чем в первый раз, и, по-прежнему не сводя глаз с дамы, снова взял колоду. — Девятка бубен... Сударыня, вы находитесь накануне важных решений. Очень, очень важных. Девятка бубен выпала аргонавтам, когда они решили сесть на корабль «Арго». Шестерка червей... Благородный, самоотверженный поступок, — сказал Профессор, качая головой, точно с сомнением. — Восьмерка червей... Свершится то, чего вы давно и страстно желаете... Думаю, что вы будете счастливы.

— Значит, вы не уверены?

Профессор немного помолчал.

— Сударыня, в жизни есть два начала: доброе и злое. Какое из них сильнее, этого не дано знать людям. На первый взгляд ненависть более могущественное начало, чем любовь. Но прочно в жизни только доброе начало. Вечное начало любви, то единственное, что дает счастье в жизни. Ненависть приносит удачу, счастья же она не дает, — сказал он и задумался, с сокрушением глядя на даму. Профессор точно вдруг спохватился: — Вот то, что я пока могу вам сказать. Но, как вы знаете, ваш гороскоп еще не вполне составлен. Показания небесных светил обычно не расходятся с показаниями карт. Однако бывали и исключения. Великий Валленштейн был исключением... Еще был ли он, впрочем, велик? У великих людей этого рода, в сущности, необыкновенна была только энергия. Всем их идеям была грош цена. Может быть, и как людям им была грош цена... Не всем, конечно, — вставил Профессор, опять спохватившись. — Это, конечно, не относится к такому необыкновенному человеку, как Фюрер... Вы спрашиваете, женится ли на вас человек, которого вы любите. Я должен вернуться к тому, что сказал в письме. Для полной уверенности я должен составить и его гороскоп. Если вы небогаты, я сделаю для вас скидку. Второй гороскоп обойдется вам всего в сто марок. Деньги совершенно меня не интересуют.

— Дело не в деньгах!.. Но... Я не могу вам назвать его имя... Это было бы с моей стороны нескромно.

— Его фамилия мне не нужна. Я ведь не спрашивал о фамилии и вас. Для удобства я желал бы знать ваше имя... Впрочем, и это не обязательно. Прародительница женщин была Ева, — с улыбкой сказал Профессор то, что он говорил всем клиенткам, не желавшим себя назвать. — Так вас и будем называть в гороскопе. Мне нужно знать число и год его рождения или число и год его зачатия. Больше ничего.

— Как?.. Как вы?.. Как можно знать число зачатия человека?

— Разумеется, в громадном большинстве случаев дату зачатия можно знать только приблизительно. Но небесные светила не меняют своего положения в домах Зодиака в одно мгновение. Ошибка в несколько дней не имеет большого значения. Ведь даты рождения людей в древности не были известны с совершенной точностью. Между тем их гороскопы были составлены

и сбылись... Разве вам не известна дата рождения человека, которого вы любите?

— Нет... Да, она мне известна... Он родился 22 апреля 1889 года.

«Не очень же он молод, ее голубчик!» — подумал Профессор с некоторым удивлением. Он взял стилограф, наполненный красными чернилами, и написал на блокноте красивым, четким почерком с завитушками: «Рожд. 22 апреля 1889 г.».

— Оба гороскопа будут готовы через неделю. Заходите ко мне в среду, опять в сидеральный час Сатурна... В десять часов утра, — пояснил Профессор и вспомнил, что через неделю он, быть может, уже уедет. — Или, если хотите, заплатите мне сейчас, а я pošлю вам гороскоп по почте... До востребования, до востребования.

— Ради Бога... ради Бога, сообщите мне все раньше!

— Хорошо, во вторник.

— Еще раньше, умоляю вас. Неужели нельзя получить гороскоп завтра? Ну, хоть послезавтра.

— Тогда мне придется работать всю ночь. Я готов для вас и на это, но я должен буду прибегнуть к помощи одного молодого сиама, которого я посвятил в простейшие тайны нашей науки. Он помогает мне в вычислениях. Вы поймете, однако, что я не могу эксплуатировать его труд. Это будет вам стоить еще пятьдесят марок.

— Я охотно заплачу что надо. Нельзя ли завтра?..

— Нет, завтра нельзя, — строго сказал Профессор. Он спорил только для престижа: ему было совершенно все равно, когда сдать гороскоп. — Знаю, с каким трепетом люди ждут моих предсказаний. Поверьте, вам нечего волноваться: мне уже почти ясно, что гороскоп будет благоприятен. Он женится на вас.

— Вы думаете? Вы уверены?

— Я почти уверен: почти, — внушительно сказал Профессор.

### III

Четыреста марок были деньги. Однако настроение духа у Профессора улучшилось лишь на несколько минут. Неприятное ощущение под ложечкой не прохо-

дило. «Настоящее счастье в мире одно: никогда не чувствовать ни одной точки своего тела. И именно это счастье мы начинаем ценить только тогда, когда оно исчезает», — подумал Профессор. Он любил философию и в молодости одолел половину «Критики чистого разума»; только дочитав до 300-й страницы, решил, что незачем истязать себя: «Я не приват-доцент и не факир». Книг же вообще прочел довольно много.

Профессор спрятал деньги в потайной ящик письменного стола. Минна воровала только натурой: таскала сахар, кофе, реже простыни, но денег не брала. Лучше было, однако, не вводить людей в искушение. В ящике лежало пять тысяч марок, триста пятьдесят швейцарских франков, десять золотых монет императорского времени, золотой портсигар, два кольца. Больше у Профессора ничего не было. Страхового полиса он не имел, так как не верил в прочность валюты, в банке денег не держал, так как не верил банкам. При виде военного с пышными усами, с гордо закинутой головой Профессор, вздохнув, подумал, что в то счастливое время человека, не верившего банкам, сочли бы психопатом, а о падении валюты никто и не слышал. «Да, плохо. Все стало гадко. Пожалуй, еще можно улететь».

Один сановник-клиент, хорошо к нему относившийся и гораздо более благодушный, чем другие, мог достать ему место на аэроплане. Виза в Швейцарию у Профессора была готовая: он давно чувствовал, что их дело идет к концу, — так вошел с годами в роль восточного волшебника, что теперь на немцев смотрел как бы со стороны и даже мысленно говорил «они». «Везде в мире очень многое зависит от успеха, но у них от успеха зависит решительно все. Они циники и нигилисты, сами того не замечая», — думал Профессор. Тем не менее уезжать было тяжело. Он любил Германию, любил Берлин, когда-то такой уютный, любил свою квартиру, мебель, вещи. «Минна растащит все... И как же это: уехать навсегда? В политике будто бы ничего не бывает «навсегда». Но когда человеку под семьдесят лет, то «навсегда» не очень много и значит...» С некоторых пор стал читать медицинские статьи в газетах. «Однако гороскоп дал прекрасные результаты...»

Профессор не верил ни в хиромантию, ни в офио-

мантию, ни в рабдомантию. В сны не верил совершенно: они обычно бывали слишком глупы даже для самых глупых клиентов. Но в астрологию, в *настоящую* астрологию, он верил твердо. Помнил, что Теаген с точностью предсказал Октавию его судьбу, что Скрибоний составил изумительный гороскоп Тиберию, что Нострадамус предсказал мировые события за четыре столетия вперед. Для своих клиентов он особенно не старался: нельзя было тратить месяц на каждого клиента. Над собственным же своим гороскопом работал очень долго и лишь недавно его закончил. Он вынул тетрадь в прекрасном кожаном переплете.

В тетради были отлично вычерченные карты, страницы расчетов, текст заключений. Все было написано разноцветными чернилами, старинным письмом. В день рождения Профессора Солнце и Сатурн шли параллельно в 9-м и 10-м домах Зодиака. Так было в день рождения Людовика XIV, и этот король жил 77 лет. Сатурн находился в сфере влияния Марса. Это обычно ничего хорошего не обещало. Влияние Марса сказалось на судьбе Сади Карно, который, правда, стал президентом Французской республики, но был заколот анархистом. «Правда, при некоторых обстоятельствах влияние Марса парализуется влиянием Венеры, и у меня дело обстоит именно так. Гороскоп отличный... Но уезжать все-таки надо. Денег года на два, при скромной жизни, хватит и в Швейцарии. Правда, очень противна скромная жизнь», — рассеянно думал он сразу о нескольких предметах.

В передней вдруг прозвучал звонок, совершенно не похожий на первый: властный, долгий, непрерывный. Так часто звонили люди из гестапо. Профессор поспешно встал и направился к двери. «Что это такое? С ума он сошел, что ли...» Посетитель не отнимал пальца от пуговки. В переднюю не вошел, а, скорее, ворвался высокий, очень широкоплечий человек в черном штатском пальто. «Грабитель!»

— Что такое?.. Что вам угодно?..

— Я к вам... По делу, — сказал незнакомый человек неприятным сильным голосом. Очевидно, он грабителем не был, да грабитель и не стал бы так звонить. Тем не менее Профессор продолжал смотреть на него растерянно. Лицо у незнакомого человека было рассечено шрамом от уха до рта. «Где я его видел?.. Кто

это? Чего ему нужно?» Незнакомый человек, не снимая пальто, вошел в кабинет, бросил быстрый взгляд по сторонам, впился тяжелыми глазами в хозяина и, не дожидаясь приглашения, сел на высокий готический стул, который чуть хрустнул под его тяжестью.

— Прошу покорно садиться, — сказал Профессор, забыв об индонезийском акценте. Сердце у него билось. Он и сам не мог понять причины своего волнения. Никакого злого умысла у этого человека все-таки быть не могло. «Кто такой? Какая зверская морда!.. Шрам не от мензуры и, скорее, недавний... Выправка военная, но у кого же из них нет военной выправки? Одет плохо, хотя все новенькое и дорогое. Не умеет носить, не привык...»

— Вы этот... Колдун? — спросил человек с шрамом.

«Может быть, он пьян? — подумал Профессор. — Если бы он был подослан гестапо, он был бы вежлив и любезен».

— Я не колдун, а астролог, — мягко сказал он. — Я предсказываю людям их участь главным образом на основании научной астрологии. Иногда я пользуюсь также методами хиромантии, онейромантии, офео-мантии, рабдомантии и экономантии, — добавил он. Профессор вначале говорил всем одно и то же, но о восходе солнца, о птичках и о Кеплере этому посетителю не сказал. Человек с шрамом тотчас перебил его.

— Я ничего ни в каких таких мантиях не понимаю! Мне сказали, что вы гадаете по картам, по звездам и по руке.

— Смею ли спросить, кто вас ко мне направил?

— Это все равно.

— Мне это действительно все равно. Моя наука, в которой нет ничего недозволенного, открыта всем. Кроме спекулянтов. Ко мне изредка приходят люди, желающие знать, когда кончится война. Им это, верно, нужно для их биржевых операций. Но небесные светила не интересуются денежными вопросами, и положение планет на небе не может быть использовано для наживы, которая противоречила бы воле Фюрера, — сказал с самым невинным видом Профессор, слышавший, что гестапо в последнее время подсылало к предсказателям провокаторов, справлявшихся о будущем курсе военных займов. «Вот сейчас увидим, спросит ли



он, кто у меня бывал по этим делам». У Профессора был готов ответ, что он никогда не спрашивает фамилию клиентов. Однако человек с шрамом такого вопроса не задал.

— А что показывают эти... небесные светила? — спросил он.

«Нет, не провокатор, — подумал Профессор. — Может быть, клиент из гестапо, таких много. А может быть, и не из гестапо». Ему было хорошо известно, что у многих деятелей гестапо вид очень мирный и добродушный.

— Наша наука, — сказал он уже спокойнее и с индонезийским акцентом, — основана на одном факте, проверенном мудростью столетий. Этот факт заключается в следующем. В жизни каждого человека бывают два момента, когда его судьба пишется на небе и определяется на всю жизнь. Это день его рождения и день его зачатия. Впрочем, древние мудрецы определяли положение небесных светил еще и в третий момент: в день смерти человека.

— Зачем в день смерти человека?

— Для определения благоприятного момента для погребения: для того, чтобы обеспечить человеку радужный прием в лучшем мире, — сказал Профессор и увидел, что радужный прием в лучшем мире не интересует этого клиента. «Конечно, грубый материалист, как они все», — подумал он с презрением: терпеть не мог материалистов. — По всей видимости, наци... Это мы тоже сейчас проверим». — Показания небесных светил, — продолжал он, — желательно пополнять показаниями волшебных карт. Есть разные системы гадания по картам. Я, например, никогда не пользуюсь древней системой египетского тарока, потому что в нем все основано на сопоставлении судьбы человека и букв еврейского алфавита. Это было бы несогласно с предначертаниями Фюрера. Каждая буква еврейского алфавита, как мне известно из обличительной литературы, что-то означает. Так, буква «шин» означает близкое сумасшествие, а буква «ламед» — виселицу.

— Ламед? — повторил, вздрогнув, незнакомец.

— Да. Как ариец, я не желаю пользоваться этой системой, хотя Аристотель именно по ней предсказал будущее Александру Македонскому.

— Ламед! К черту ламед! — сердито сказал незнакомец. «Так и есть, наци. Едва ли офицер. Скорее, из гестапо или дружинник», — подумал Профессор.

— Я и говорю. Но есть другие, чисто арийские системы. Вам угодно ограничиться картами?

— Сколько все это стоит?

— С вас я взял бы всего двадцать марок за гадание по картам и столько же за гадание по линиям руки. Гороскоп должен стоить дороже: пятьдесят марок, — сказал Профессор. Он назначил ничтожный гонорар, лишь бы не спорить с этим человеком и поскорее от него освободиться.

— Я вам дам за все пятьдесят марок. Этого больше чем достаточно.

— Деньги меня совершенно не интересуют. Я согласен, — сказал Профессор. — Благovolите показать мне руку. — «Ну и рука! Ему бы быть палачом!» Рука у человека с шрамом была толстая, громадная, с волосатыми короткими пальцами. «Пальцы короче кисти — бестиальность. Линия жизни, к сожалению, длиннейшая. А вот на линии головы островок: быть может, он сойдет с ума. Если он уже не полусумасшедший. Давно я не видел столь противной фигуры!»

— Ваша линия жизни очень длинна. Это почти обеспечивает вам долгую жизнь. Правда, она красна и широка.

— А это что значит? — быстро спросил человек с шрамом.

— Это свидетельствует о сильных страстях. Извините меня, у вас тяжелый характер, — сказал Профессор. Он, собственно, больше и не смотрел на руку клиента: смотрел, скрывая отвращение, на его лицо. — У вас есть враги. Опасные враги, но и вы им опасный враг.

— Что с ними будет? — спросил незнакомец, слушавший очень внимательно.

— По вашей руке я могу предсказывать только *вашу* судьбу. Если вы хотите знать судьбу ваших врагов, вы должны прибегнуть к картам и к гороскопу... Я продолжаю. В мире есть два начала: начало любви и начало ненависти. Вы начала любви не выражаете. Линия головы...

— О чем говорит линия головы? — перебил его человек с шрамом.

— Об умственных и моральных особенностях человека...

— Это меня не интересует, — сказал незнакомец, отдернув руку так резко, что Профессор вздрогнул. — Перейдем к картам. Но так как предсказание по руке не закончено, то я за него заплачу вам меньше. Сколько всего есть линий?

— Пять, — сухо ответил Профессор, хотя линий было девять.

— Вы хотели за предсказание по руке двадцать марок. Значит, я вычту шестнадцать.

— Очень хорошо... Вы хотите знать вашу судьбу или судьбу вашего врага? Главного врага? Отлично, — сказал он и взял в руки колоду. По правилам, здесь надо было бы произнести: «Сусабо! Мизрам! Табтибик!» — но Профессор смутно чувствовал, что этого теперь говорить не надо. «Каков может быть его враг?» Он принялся метать.

— Червонный король, — неопределенно заметил он. — Но на эту карту нельзя гадать вашему врагу. Червонный король означает мирную натуру, целиком отданную религии, богоугодным и благотворительным делам.

Человек с шрамом грубо рассмеялся.

— Да, ему на эту карту гадать нельзя!

— Я так вам и сказал... Его карта будет первой слева... Шестерка пик. Я так и думал.

— Что означает шестерка пик?

— Шестерка пик означает страшный обман, замеченный слишком поздно. Троянцам выпала шестерка пик, когда они впустили в свои стены греческого коня. «Кажется, подействовало. Больше не гогочет», — подумал Профессор. — Тройка пик, еще хуже: танец смерти, его танцуют Парки... Я не хотел бы быть на месте вашего врага. Быть может, вы не настаиваете на составлении его гороскопа?

— Когда может быть готов его гороскоп?

— Обычно это берет три дня...

— Я должен иметь все завтра.

«Странно, странно», — подумал Профессор. Его безотчетная тревога росла. Этому клиенту он не сказал о молодом сиамце и не потребовал прибавки.

— Хорошо, я вам pošлю завтра. Благоволите сообщить мне день рождения или день зачатия вашего...

знакомого, — сказал он, снова вынимая из кармана самопишущее перо.

— Как же, к черту, можно знать день зачатия человека?

— Ошибка в несколько дней не имеет большого значения. Небесные светила не меняют в одно мгновение своего положения в домах Зодиака. Надо просто вычсть 270 дней из даты рождения.

— Его день зачатия 17 июля 1888 года, — сказал, подумав, человек с шрамом.

— 17 июля 1888 года, — повторил Профессор и записал на том же листе блокнота: «Зач. 17 июля 1888 г.». Неприятное ощущение под ложечкой у него вдруг усилилось. — Это все. Завтра я pošлю вам гороскоп, куда вы укажете.

— Я сам зайду за ним завтра, в 11 утра, — сказал не: накомец. Профессор хотел было сказать, что завтра не будет дома, но вместо этого поспешно ответил:

— Я мог бы послать до востребования. Разумеется, как вам угодно.

— Послушайте, — вдруг нерешительным, почти просящим тоном сказал незнакомец. — Я вижу, вы дельный человек... Вы только предсказываете события? Я хочу сказать: быть может, вы умеете... Вы умеете на них и влиять?

«Вот оно что!» — подумал Профессор.

— Нет, я влиять на них не могу, — ответил он холодно. Его самоуверенность увеличилась, как только уменьшилась самоуверенность клиента. — Я могу сказать, что будет с этим человеком, но его участь от меня не зависит... Вероятно, вы, узнав его карты, хотите ему помочь? Нет, я тут ничего не могу сделать. Карты показали, что ему грозит тяжелая участь. Если гороскоп это подтвердит, то никакие силы спасти вашего знакомого не могут.

— Вы угадали, я именно хотел помочь ему, — сказал, вставая, человек с шрамом.

Проводив его, Профессор вернулся в самом мрачном настроении духа. Он испытывал такое чувство, будто после ухода этого клиента надо отворить в кабинете окна и вспырынуть карболкой готический стул. «Конечно, он хочет кому-то сделать большую пакость. Но тогда, значит, он не из гестапо? Люди из гестапо могут сделать кому угодно пакость и без

астрологов...» Профессор хотел было вернуться к своему гороскопу, но почувствовал, что больше не в состоянии сосредоточиться. «Разве выпить?» — подумал он. Профессор вышел в столовую и, хотя это было строго запрещено врачом, выпил залпом три рюмки коньяку. Стало легче. Он вернулся в кабинет, сел за стол, рассеянно взглянул на блокнот — и помертвел.

На листке, одна под другой, были написаны две даты: 22 апреля 1889 года и 17 июля 1888 года. Профессор мысленно добавил 270 дней. Кровь отливала у него от сердца. «Что же это?.. Господи, что же это такое!.. Быть не может!.. Да, конечно, это он!.. Ведь я им сам сказал, что ошибка в два-три дня не имеет значения, они изменили дату, каждый по-своему. Но кто же они? Чего они хотели? Что я им сказал?.. Господи!» Ему было теперь ясно, совершенно ясно, что женщина и человек с шрамом, незаметно, заматая следы, говорили с ним об одном и том же человеке: 20 апреля 1889 года родился Гитлер.

«Но если так, то надо бежать! Бежать сейчас же,сию минуту», — сказал себе Профессор. Он понимал, что запутался в страшную историю. «Правда, ей я ничего не сказал! Сказал только, что она выйдет за него замуж... Ему и это может очень не понравиться. Но тот! Что я наговорил тому!..» В памяти Профессора замелькали обман, троянский конь, танец смерти, тяжелая участь, никакие силы. «Кто же это был? Заговорщик? Провокатор? Одно хуже другого. По тому заговору погибли десятки ни в чем не повинных людей!» Он ясно понимал, что для людей, запутавшихся хоть как-нибудь, хоть очень отдаленно в дело о заговоре, есть только одно спасение: бежать, бежать без оглядки, бежать, не теряя ни минуты.

Тяжело дыша, Профессор прошелся по кабинету и столовой, выпил еще большую рюмку коньяку, затем отворил потайной ящик, рассовал по карманам все, что там было, взял с собой кожаную тетрадь. Паспорт всегда находился при нем. «Неужели так навсегда все бросить?..» Опустил шторы и снова их поднял. «Если он места не даст, я все равно сюда не вернусь. Оставить записку Минне? Нет, не надо... Теперь она, конечно, все разворует... Да может быть, мне все приснилось?.. Может быть, я сошел с ума?.. Ведь мой гороскоп благоприятен!.. А если он именно потому и

благоприятен, что я сейчас уйду отсюда и вечером улечу в Швейцарию? Нет, нет, оставаться здесь нельзя!.. Взять с собой вещи? А вдруг они уже следят? Уж лучше вернуться за вещами в сумерки... Первым делом надо узнать об аэроплане...» Он надел пальто, запер за собой дверь и вышел на улицу, оглядываясь по сторонам.

#### IV

В этом глубоком двухэтажном подземелье были телефоны, радиоприемники, телеграфные аппараты, трещали пишущие машины, снизу доносился слитный, ставший почти незаметным шум моторов, а сверху отдаленный, с каждым днем усиливавшийся гул канонады. Мимо кухни, через общую столовую, стараясь не оглядываться по сторонам, точно им было стыдно, подчеркнуто бодрой решительной походкой проходили фельдмаршалы и генералы. В сопровождении сыщиков и телохранителей тоже очень быстро, но теперь с менее решительным видом спускались по лесенке в нижний этаж убежища люди, значившие в последние годы больше фельдмаршалов. Днем и ночью по коридорам, лестнице, столовой, небольшой проходной комнате, названной «конференц-залой», растерянно пробегали секретари, слуги, шоферы, рассыльные и, случалось, толкали сановников, сами тому на бегу изумляясь.

Лица у всех были зеленые, с воспаленными глазами, измученные от бессонницы, от вечного электрического света, от вечного шума, от спешки, от страха, от желания казаться спокойными, от тесноты и всего больше от духоты. Несмотря на искусственную вентиляцию, на семисаженной глубине под землей не хватало воздуха. Порядок еще кое-как соблюдался, но прежней дисциплины, почтительности, подобострастия уже быть не могло. В столовой иногда *закусывали* (не полагалось говорить: обедали, завтракали) телефонистки или стражники из *Begleitkommando*<sup>1</sup> почти рядом (все же не совсем рядом) с людьми, имена которых в последние двенадцать лет беспрестанно упоми-

---

<sup>1</sup> Сопроводительная команда (нем.).

нались в газетах всего мира. И хотя люди эти делали вид, будто им очень приятна товарищеская близость с младшими сослуживцами, и ласково улыбались — от их престижа, после смущения первых дней, уже оставалось немного. Из левой комнаты нижнего этажа, служившей кабинетом самому главному вождю, иногда и в верхний этаж доносились истерические крики. В этот кабинет и теперь еще на цыпочках входили секретари и как бы на цыпочках сановники. Около дверей стояли зверского вида часовые из Reichssicherheitsdienst<sup>1</sup>, и быстро поглядывали на проходивших сыщики из Kriminalpolizei; однако все понимали: то, да не то, если вражеская армия подходит к Берлину, то, значит, Фюрер не совсем Фюрер. Смельчаки же, особенно из военных, случалось, пожимали плечами, слыша доносившийся из кабинета или конференц-залы дикий гортанный крик, еще недавно наводивший по радио страх на весь мир.

За столом в кантине некоторые служащие с *жаром* говорили, какое было бы счастье умереть за Фюрера. Сановники одобрительно кивали головой. Думали же об этом всерьез лишь очень немногие: эти понимали, что их все равно найдут и не пощадят. Они наскоро вспоминали то, что знали о Валгалле, о Нибелунгах, о последней картине «Götterdämmerung»<sup>2</sup>, о прыжке Брунгильды в костер Зигфрида. Больше всего, задыхаясь от отчаяния, ненависти, бешенства, — была в руках полная победа! — думал об этом самый умный из находившихся в убежище людей — человек, который был талантливее Гитлера, говорил лучше, чем он, и не стал самым главным вождем преимущественно из-за неподходящей наружности.

Были в подземелье и люди, собиравшиеся ценой Гитлеровой головы спасти свою собственную. Теперь это мысленно называлось: освободить Германию от безумца. Один же из главных сановников, чуть ли не лучший друг Фюрера, превосходный архитектор и техник, проходя с любезной улыбкой по подземелью, ласково раскланиваясь с младшими товарищами, обмениваясь крепкими, много без слов говорившими рукопожатиями с другими сановниками, заглянул в

---

<sup>1</sup> Служба безопасности рейха (нем.).

<sup>2</sup> «Сумерки богов» (нем.).

вентиляционный отдел и принял давно задуманное решение: ввести в трубу ядовитый газ, лучше всего Tabun или Sarin, изготовленные на случай химической войны, тогда через несколько минут погибнут — что ж, легкой, безболезненной смертью — и сам Фюрер, и все важнейшие вожди. «Да, это будет нетрудно», — подумал сановник, обсуждая про себя технические подробности. Выйдя из убежища, он принял за осуществление плана — позднее был очень огорчен, узнав, что в подземелье есть отводная труба, благодаря которой Фюрер может и не погибнуть.

Однако и этот сановник, и генералы, теперь снова считавшие Гитлера невежественным безумцем, и люди, спустившиеся в подземелье для того, чтобы помочь Гитлеру совершить самоубийство, иногда не могли отделаться от сомнения: что, если он найдет выход из безвыходного положения? что, если он вывернется и на этот раз? Десять лет его сопровождала невиданная в истории удача. По законам логики, по теории вероятности, он давно должен был находиться в могиле: в новой Валгалле или в яме повешенных. Но не все в мире идет по законам логики или хотя бы по теории вероятности.

Громадное же большинство собравшихся в убежище людей сами не знали, для чего их тут держат, чего ждет начальство, на что оно надеется. Думали же почти исключительно о том, как бы спасти шкуру от «казаков». Проще всего было бы незаметно ускользнуть из подземелья. Но это строго запрещалось, инерция дисциплины еще кое-как действовала, да и выйти из подземелья при все усиливавшейся бомбардировке было чрезвычайно опасно. В трезвом виде люди скрывали друг от друга все: мысли, чувства, содержимое бумажников, чемоданов, сумок, поясов. Однако пили почти все, даже женщины, гораздо больше обычного, и иногда языки развязывались. Люди шепотом говорили, что не остается больше ничего, кроме капитуляции: «Если бы дело шло об американцах или англичанах, это был бы, конечно, лучший исход. Но русские! Казаки!..» — «А чем же будет лучше, если казаки нас возьмут без капитуляции?» — «Это, конечно, так, но...» — «Кто знает, быть может, именно с русскими будет легче всего договориться. Сталин очень умный человек, я всегда это говорил!» — «Да разве он со-



гласится на капитуляцию!» — «Все-таки не можем же мы погибать с женами и детьми оттого, что *он* не согласится!»

Случалось же, по подземелью проносился слух, будто в другом подземелье в глубокой тайне устроен аэродром, что на нем держатся про запас десятки самых лучших новейших аэропланов, что их всех скоро вывезут с семьями и имуществом. Тотчас приходили и более точные сведения: аэродром находится под развалинами гостиницы «Адлон», 62 аэроплана вывезут всех сегодня ночью, ровно в 12 часов. Женщины бросались складывать чемоданы, рассовывали драгоценности и валюту по еще более потаенным местам («в суматохе особенно легко украсть!»), жалостно спрашивали мужей: нельзя ли все-таки перед отъездом как-нибудь пробраться к себе на Motzstrasse и захватить оставшееся там серебро, — бедная фрау Коген, ведь все равно ее вещи тогда пропали бы, — просто нельзя себе простить, что так много добра оставили дома, когда уходили в это проклятое подземелье, — но ты мне ни слова не сказал, — разве ты со мной говоришь о важных вещах, — разве я могла знать, — разве это женское дело, — Господи, кто только мог думать?..

## V

В помещении, оставшемся от нового канцлерского дворца, принимал немолодой чиновник с растерянным, измученным лицом. «Хорошо, что старик», — подумал Профессор, зная по двенадцатилетнему опыту, что в Германии кое-как еще можно иметь дело лишь с пожилыми людьми. Чиновник изумленно на него взглянул, так же изумленно пробежал пропуск и, вместо того чтобы заполнить формуляр о посетителе, предложил поискать сановника в убежище. «Его здесь нет, теперь все в убежище, спросите там». «В каком же именно убежище и пропустят ли меня?» — мягко начал Профессор. «Поищите во всех! Скорее всего, у Геббельса», — раздраженно сказал чиновник и, схватив карточку, на которой было напечатано: «Führersbunker»<sup>1</sup>, что-то на ней написал. «Искренно

---

<sup>1</sup> «Бункер фюрера» (нем.).

вас благодарю, но если?..» «Идите ко всем... Ради Бога, идите! — вскрикнул чиновник и схватился за голову. — Извините меня. Теперь прежних формальностей нет». Профессор не обиделся, но был озадачен, в особенности тем, что чиновник назвал министра пропаганды просто по фамилии. «Да, видно, их дела очень плохи», — подумал он не без удальствия, хоть с тревогой: к несчастью, с их делами были связаны и его дела.

Он бродил более часа по убежищам Wilhelmstrasse и все не мог добиться толку. Сановника нигде не было. В какой-то Dienststelle<sup>1</sup> сказали, что он уехал на фронт и ожидается с минуты на минуту в Führersbunker. «Так я там его... подожду?» — робко спросил Профессор и, не получив ответа, отправился в это убежище. Как только он оказался в главном подземелье, находившемся под старым канцлерским дворцом, началась сильная бомбардировка. Люди сбегали вниз, пропусков больше не спрашивали.

Профессор немного осмотрелся: как будто ничего страшного не было. Только дышать было тяжело. Он прошелся по коридору. Какая-то девица отдыхала у пишущей машинки, обмахивая себя вместо веера листом бумаги. Она с любопытством взглянула на Профессора, вынула из сумочки зеркальце и подвела брови карандашом. В конце коридора у лесенки стоял часовой. «Там, верно, покои Фюрера?» — спросил без индонезийского акцента Профессор. В девице тоже не было ничего страшного, и женщин он боялся меньше. Она засмеялась и подкрасила палочкой губы. «Сначала ее покои, покои Эбе, — сказала она, — с собственной ванной, не так, как мы живем! Но горячей воды все-таки нет, и трубы утром испортились, — радостно добавила девица. — Его покои дальше, слева от конференц-залы». Профессор был поражен. «Какая Эбе! И уж если Гитлера называют *он!*..»

Походив по коридорам, он устало сел на табурет в углу комнаты, которая служила столовой. Ему очень хотелось есть и пить, но он не решился обратиться к угрюмому человеку за стойкой, сердито отпускавшему пиво и сэндвичи. Проходившие люди иногда поглядывали на него с удивлением, но никто его ни о чем не

---

<sup>1</sup> Контора (нем.).

спрашивал. Говорили о бомбардировке, она усиливалась с каждой минутой. «Надо вести себя здесь очень, очень дипломатично», — думал Профессор. Осмелев, он подошел к одной группе, подошел с неопределенно-любезной улыбкой: каждый мог думать, что его знают другие. Профессор, ласково улыбаясь, послушал разговор. Говорили об ужине, будет яичница с колбасой. «Я полжизни дал бы за то, чтобы закурить», — сказал кто-то. «Полжизни — это, может быть, теперь не очень много», — ответил другой. Все преувеличенно радостно засмеялись. «Кажется, они не очень здесь заняты? Странно... Может быть, все делается в нижнем этаже?»

К вечеру сановник не вернулся. Люди говорили, что такой бомбардировки еще никогда не было. От волнения ли или от выпитого коньяку у Профессора вдруг начались боли. Он еле добрался до чиновника, ведавшего хозяйством в подземелье, объяснил ему дело, назвав сановника своим близким другом, и попросил разрешения провести ночь здесь. «Говорят, выйти — верная смерть!» Чиновник что-то сердито пробормотал, по-видимому, здесь каждый новый человек считался врагом, однако велел отвести койку. Поместили Профессора в очень тесную каморку с тремя голыми койками, находившуюся рядом с уборной. Два бывших там молодых человека даже не кивнули головой в ответ на его учтивое приветствие и тотчас, с ругательствами, вышли в коридор.

Воздух в камере был ужасный. В первую минуту Профессор подумал, что не высидит здесь и четверти часа. Он спрятал под матрац кожаную тетрадь и бесильно опустился на койку. Знал, что при болях лучше всего сидеть, не прикасаясь ни к чему спиной. «Ах, если б он приехал утром, если б он дал мне место!.. Господи, что же делать!..» Он не взял с собой ни пижамы, ни мыла, ни зубной щетки. Из лекарств был только белладональ: накануне купил в аптеке и забыл вынуть дома из пиджака. Профессор с усилием, без глотка воды, проглотил пилюлю.

Через полчаса он почувствовал себя лучше. Снял пиджак, сложил его так, чтобы ничто не могло выпасть из карманов, и прилег, положив его себе под голову. Думал, что в убежище должны быть блохи, мыши, даже крысы. Думал, что не сомкнет глаз. Однако скоро мысли его стали мешаться. «Все-таки гороскоп благо-

приятен, очень благоприятен», — говорил он себе. Иногда пользовался системой Куэ<sup>1</sup>, но она давала хорошие результаты только тогда, когда и обстоятельства жизни складывались с каждым днем лучше, все лучше.

Молодые люди вернулись поздно и, по-видимому, были навеселе. Он заметил, что на них белые чулки. «Значит, принадлежат к *его* молодежи, к фанатикам. Вероятно, они служат на кухне или в кантине...» Они тоже легли на свои койки не раздеваясь. Засыпая, он смутно слышал их разговор. «Ну что, кажется, ты еще не улетел?» — саркастически спросил старший. «Нет, я еще не улетел!», — ответил, подумав, другой, видимо, понимавший шутки не сразу. «62 аэроплана еще стоят под гостиницей «Адлон»?» — «Да, они еще там стоят». — «Куда же нас увозят? В Москву?» — «Нет, совсем не в Москву. Зачем в Москву! В Москве русские. Нас увезут в Берхтесгадене?» — «А что же мы будем делать в Берхтесгадене?» — «Как что делать? Защищать Фюрера и Германию. Там приготовлены неприступные укрепления». — «Такие же неприступные, как линия Зигфрида, или еще лучше?» — «Говорят, еще лучшие». — «Говорят также, что там в холодильниках приготовлено сорок миллионов гусей с яблоками и столько же бутылок рейнвейна. Впрочем, ты всегда был дураком». — «Нет, я никогда не был дураком», — ответил, подумав, второй.

Под утро Профессор проснулся и опять услышал доносившийся сверху глухой слитный гул. Он взглянул на часы и ахнул: двенадцатый час. Молодых людей в камере не было. Ему очень хотелось пить. Рога для надевания туфель не было. Пришлось подсовывать под пятку указательный палец, это было неудобно и больно. Он сразу устал. Бумажник был цел, кожаная тетрадь по-прежнему лежала под тюфяком. «Что будет, если он еще не приехал! — подумал Профессор, оправляя воротник, галстук, бороду. — Все-таки где-нибудь же здесь да моются?..» Он вышел, чувствуя, что голова у него работает плохо. «Верно, от белладоналя...»

Вдруг дверь позади его с шумом распахнулась. Профессор оглянулся и остолбенел. Из уборной выхо-

---

<sup>1</sup> Куэ Эмиль (1857—1926) — французский психотерапевт. Его система — метод излечения самовнушением. — *Прим. ред.*

дил Фюрер. По привычке Профессор вытянулся, поднял руку и сорвавшимся голосом закричал: «Heil Hitler!» Впрочем, тут же почувствовал, что лучше было бы не кричать. Фюрер бросил на него быстрый, подозрительный взгляд — в глазах его проскользнул ужас. При свете фонаря лицо у Гитлера было землисто-желтое, измятое и больное. Он был сгорблен, одна рука у него отвисла, пальцы тряслись. «Просто узнать нельзя!» — с удовольствием подумал Профессор, не раз видевший его и вблизи, и издали. Гитлер немного разогнул спину, тоже поднял руку и, должно быть, хотел придать себе величественный вид. «Правда, очень трудно принять величественный вид человеку, выходящему из уборной... Верно, его уборная испортилась?.. Или это для общения с массами: у Фюрера одна уборная с обыкновенными людьми!.. Затравленный зверь! Что ж, не все же травить других», — думал Профессор, с изумлением глядя вслед Гитлеру. Впереди люди отшатывались к стене, вытягивались и поднимали руки, но никто приветствия не выкрикивал.

Перед стойкой кантины выстроилась очередь. Кофе не было. Профессору сунули в руку бутерброд и кружку пива. Он отошел с ними в угол и прислонился к стене, чтобы не упасть. «Холодное пиво при камнях строго запрещено. Это гораздо вреднее, чем коньяк», — подумал он. Но ему мучительно хотелось пить. Он с наслаждением залпом выпил всю кружку и откусил кусочек хлеба. Вдруг шагах в двадцати от себя он увидел человека с шрамом! Он пил что-то прямо из бутылки, запрокинув назад голову. Профессор уронил бутерброд, вскрикнул и на цыпочках побежал по коридору.

В каморке он повалился на свою койку. Боли у него тотчас усилились. Через полчаса они стали невыносимы. Он подумал, что у него камень проходит через канал: врачи говорили, что это может случиться. Стоны его понемногу перешли в крики. Таких болей он никогда в жизни не испытывал. Хотел было достать белладональ, но и это было выше его сил.

Старший из молодых людей, зайдя в камеру, изумленно на него взглянул и спросил, что с ним. Спросил грубо, впрочем, больше потому, что не умел говорить иначе. «Доктора... Ради Бога, доктора», — прошептал Профессор. Молодой человек пожал плечами и вышел.

В подземном убежище были врачи Фюрера, беспрепятственно дававшие ему какие-то особые, нарочно для него придуманные снадобья, и почти целый день проводил врач для простых людей.

Минут через двадцать врач для простых людей пришел с молодым человеком, осмотрел Профессора и что-то ему впрыснул. «Его бы отсюда убрать. Куда-нибудь в больницу, что ли? Что ему здесь валяться? Только будет мешать спать людям, которые целый день работают», — сердито сказал молодой человек. «Может быть, и автомобиль за ним прислать?» — спросил врач. В убежище теперь очень многие говорили только в саркастическом тоне. «Лежите здесь, я буду заходить», — добавил он.

Боль у Профессора стала слабеть, затем совершенно исчезла. В бреду он горячо благодарил молодого человека, с жаром говорил, как он любит Фюрера, говорил, что президент Рузвельт был прекрасный человек, что, наверное, очень хороший человек и президент Трумэн, что скоро сюда придут американцы. Они арестуют того злодея, уберут эту уборную, очистят воздух и дадут очень много денег на восстановление Германии, как они всегда делали. Говорил, что он получит от американцев большое вознаграждение, если Минна разворует его квартиру, что он немедленно уедет в Швейцарию, где не гуляют на свободе такие страшные люди. Говорил также, что очень хотел бы принять ванну и что у порядочного человека есть только один идеал, купаться должно быть так же обязательно, как... Молодые люди, теперь совсем пьяные, вели свой разговор. «Дурак, я тебе повторяю, он женится на Эбе. Она сама рассказывает, что скоро будет фрау Гитлер», — говорил старший. «Я не дурак, а ты все врешь», — ответил другой. «Я никогда в жизни не врал! Что угодно могут обо мне сказать, но никто не скажет, что я вру!» — «А вот я скажу!» — «Ее зовут Ева Браун, и она колдунья!» — продолжал первый молодой человек. «Фюрер не может жениться на колдунье», — возражал другой. Старший заплетаясь языком что-то сказал о молодоженах, о свадебном путешествии, об Амуре и Венере. Профессор не слушал их разговора, как они не слушали его бреда. Но слово «Венера» дошло до его сознания. На глазах у него выступили слезы. В день его рождения Солнце и

Сатурн шли параллельно в 9-м и 10-м домах Зодиака. Марс же тут ничего поделывать не мог, так как его по рукам и по ногам скрутила добрая и могущественная богиня Венера.

## VI

Сколько он пролежал в своей камере, Профессор потом не мог выяснить: потерял счет времени. Врач к нему заходил каждый день, давал питье, делал впрыскивания. Как-то спросил его имя и записал. Это ничего хорошего не предвещало, хотя Профессор теперь чувствовал себя много лучше.

— Доктор, мое положение опасно? Скажите правду, — прошептал он.

— Было опасно. Теперь, думаю, опасность миновала, — ответил врач. — Я хочу сказать: опасность от *болезни*. Русские в трех километрах отсюда, — уходя, добавил он с усмешкой.

«Русские? Как русские? Как в трех километрах? — с недоумением подумал Профессор. — В трех километрах, это значит, что они в Берлине? Вероятно, я ослышался...» Он, впрочем, не чувствовал тревоги. Какое ему было дело до русских! «Точно они могут преодолеть волю Венеры!» — подумал он и опять задремал. Когда он проснулся, в камере было странно тихо. Профессор прислушался: слышен ли сверху слитный гул. «Кажется, слышен... Нет, не слышен... Ах, как я устал, как я слаб!» Он надел туфли, отдохнул после этого усилия, почистил как мог пиджак и вышел, слегка пошатываясь.

В коридоре никого не было. Подземелье как будто опустело. Исчез и стоявший у лесенки часовой. В конференц-зале сидели двое военных и та самая девица. Перед ними на столе стояла бутылка. На одного из этих военных, немолодого подполковника, Профессор обратил внимание еще в первый день: лицо его было изрезано шрамами от мензур. «Но он тогда был без монокля...» Все трое курили, что прежде было строго запрещено. Вид у них был оживленный, почти веселый и вместе несколько растерянный. Девица улыбнулась Профессору, как старому знакомому.

— Где же вы были? На свадьбе? — спросила она.

Язык у нее немного заплетался. Подполковник выпустил из глаза монокль и снова вдел его. Второй офицер, артиллерийский капитан, как будто остался недоволен словами девицы.

— Какие события, какие события! — сказал он. — Человеческий ум теряется! В чем был смысл?..

— Смысл очень ясен, — сказал подполковник, не обращая никакого внимания на незнакомого человека. — Смысл в том, что шикльгруберы не должны были командовать германской армией. — Он опять выпустил монокль, что, по-видимому, доставляло ему удовольствие, и хотел было подлить себе коньяку, но бутылка оказалась пустой. — К несчастью, он был музыкален. Его погубил Вагнер. И та дура тоже была из «Нибелунгов»... «Walküre bist Du gewesen!»<sup>1</sup> — с напевом продекламировал он.

Артиллерийский капитан вздохнул.

— Посмотрим, что сделает Дениц... Нет, ум человеческий теряется, просто теряется. Увидите, придет новый Кант или Гегель и объяснит, и все сразу осветится как от света молнии!

— Свадьба была в комнате карт. Подали шампанское. Для Эбе, конечно, нашлось шампанское, — сказала девица, подмазывая палочкой губы.

— Тогда он всем и объявил о своем намерении покончить с собой, — заметил, вздыхая снова, капитан. — Впрочем, не объявил, а только дал понять. Если б объявил, то даже *они* не устроили бы бала.

— Было очень весело. Я танцевала с Борманом, он чудно танцует, — сказала девица.

— Отчего же не с Геббельсом? Этот красавчик создан для танцев. Говорят, он сегодня тоже покончит с собой. Жаль, что все они не сделали этого раньше, особенно Шикльгрубер, — сказал подполковник. Он имя «Шикльгрубер» выговаривал как-то особенно, ласково-саркастически, растягивая первую букву, точно в ней было все дело.

— Геббельс хочет отравить детей, — сказала девица. — Ему все равно, потому что это не его дети. Она изменяла ему на каждом шагу. Он женился на ней в пьяном виде... Бедный этот, актер, как его?.. Вашего

---

<sup>1</sup> «Была ли ты, Валькирия!» (нем.)



несчастливого фельдмаршала я тоже раз видела, — сказала она, обращаясь к подполковнику, лицо которого дернулось.

— Все-таки как же это было? Одни говорят, пустил пулю в рот, другие — пулю в сердце.

— Эбе отравилась, — сказала девица. — Мне говорил Кемпка, он выносил ее в сад.

— Там будто бы вчера расстреляли Геринга, — сказал капитан.

— Вздор! Господин рейхсфельдмаршал давно ускакал в Каринголл.

— Верно, чтобы еще раз нацепить на Эмми все бриллианты, — вставила девица. — И что он в ней нашел! Она не только не красавица, но даже не хорошенькая... Мне, однако, говорили, будто он уехал в Баварию, чтобы устроить новую линию защиты.

Подполковник засмеялся.

— Хороша будет защита и хорош защитник! «Ни один снаряд не упадет на территорию Германии...» Что, тот еще горит?

— Час тому назад еще горел, — сказал капитан. — Я издали видел. Они были завернуты в белое, но его черные брюки торчали. Ужасный запах, я убежал.

— Простите, кто горит? Я не понимаю, — робко спросил барышню Профессор. Голова его совершенно не работала. Подполковник повернулся к нему, точно лишь теперь его заметив.

— Ш-шикльгрубер, — с удовольствием сказал он. — Ш-шикльгрубер с супругой. Monsieur et Madame Adolphe Schickelgruber.

— Какие события, ах, какие события! — грустно повторил капитан. — Но увидите, придет новый Кант, и все станет ясно как день.

В кантине, где было много людей, находился покровительствовавший Профессору сановник. Он с жадностью что-то ел. Увидев Профессора, он приветливо помахал ему рукой. Хотя о бегстве в Швейцарию больше не приходилось думать. Сановник крепко пожал ему руку — совершенно как равный — и даже не спросил его, как он оказался в этом убежище. Теперь в самом деле удивляться ничему не приходилось. Он был как тот итальянский фашист, который говорил, что его мог бы удивить только беременный мужчина: «все остальное я видел».

— Каковы дела, а? — сказал он и сгоряча объяснил, почему опоздал и не простился с Гитлером. Впрочем, тотчас пожалел о своих словах, перевел разговор, сообщил, что сейчас уезжает опять на фронт. — А вы, оказывается, были во всем правы, — смеясь, сказал он.

— В чем я был прав?

— Не вы лично, а вы, астрологи. Гитлер как раз на днях послал за своим гороскопом, и оказалось, что звезды все предсказали: его приход к власти, войну в 1939 году, два года блестящих побед, а затем тяжелые поражения.

— Небесные светила никогда не ошибаются. Наша наука основана на фактах, проверенных мудростью столетий, — сказал Профессор.

— Правда, в гороскопе еще говорилось, что в апреле 1945 года Гитлер одержит полную победу над всеми, — продолжал сановник. — Сделайте одолжение, дайте мне еще бокал пива, — ласково обратился он к проходившему буфетчику. По-видимому, он начинал новую главу жизни как простой, рядовой, самый обыкновенный человек. Буфетчик презрительно взглянул на него и прошел дальше, ничего не ответив. Лицо сановника дернулось, но он тотчас снисходительно улыбнулся с видом Наполеона, терпящего оскорбления по пути на Святую Елену.

— Значит, аэропланы еще летают? — спросил после некоторого молчания Профессор.

— Какие аэропланы?.. Помилуйте, фронт сейчас у Ангальтского вокзала. Но подземная дорога еще действует, мы по ней возим солдат, продовольствие и даже артиллерию... Вы живете в западной части города? Я тоже. Хотите, поедем вместе? Мы сядем в вагон с солдатами и вернемся назад с ранеными в район Курфюрстендам... Скажите, у вас должны быть знакомые евреи, а? Вы ведь знаете, я никогда не был антисемитом и даже как-то говорил Гитлеру, что нам вредит его антисемитская политика... Между нами говоря, он был не совсем в своем уме, — доверительно сказал, по привычке понизив голос, сановник. — Если бы вы знали, что он выдывал в последние дни! Мне рассказывал генерал Штейнер. В своих приказах он нес совершенный вздор, грозил казнью всем и каждому, хотя больше никто не считался с его приказами и угрозами... У вас, наверное, найдутся знакомые евреи? Или хоть социал-демократы? Не все же погибли.

— Но как пробраться к подземной дороге?

— Я не знаю как. Десять минут могу вас здесь подождать, больше не могу.

Профессор, все пошатываясь, побежал по коридору. Из боковых комнат поспешно выходили люди с чемоданчиками, несессерами, узелками. В своей каморке Профессор схватил кожаную тетрадь, подобрал упавший носовой платок и выбежал. Дверь уборной была отворена настежь. Там в башмаках, надетых на босу ногу, стоял старший из его соседей по каморке. Он бросал в раковину белые чулки.

## I

Сундучок положили в его автомобиль. Он сам — как бы незаметно — за этим присмотрел. Предпочел бы, чтобы другие о сундучке не знали, но скрыть было невозможно. С ним уезжали человек пятьдесят. Каждый из них имел свои деньги, кто больше, кто меньше. Однако почти все при свете фонарей поглядывали на сундучок с любопытством и с надеждой: рассчитывали, что за границей дуче их не забудет, он всегда платил недурно, был не скуп, да и платил прежде казенными деньгами, должностями, отличиями, ничего ему не стоившими. Теперь у него оставалось лишь его собственное богатство. В сундучке находились сокровища Муссолини, впоследствии пропавшие бесследно.

Из сопровождавших его людей никто больше не верил ни в его гений, ни в его звезду. «Какая там звезда! Все было чепухой», — говорили между собой люди, почти не понижая голоса. Уже давно многие находили, что особенных талантов, кроме дара слова, у него никогда и не было. «Просто были глупы его противники, и ему очень везло, и он первый в мире понял, что такое личная реклама: и самое слово «дуче» было находкой». «Если он гениален, то отчего у нас после двадцатилетней болтовни о войне оказались готовыми всего десять дивизий?» «Почему все его генералы один бездарнее другого?» «Да и сам он в крепости не показал себя большим храбрецом. И дал себя тогда арестовать, как ребенок!» «Нет, до Сталина или до Черчилля ему далеко». «Даже до Гитлера: тот хоть умеет быстро отправлять кого надо на тот свет, а наш и этого не умел...»

«Чано? Ах, он приревновал к нему Клару. А если не приревновал, то это было просто глупо: нашел кого расстреливать!» «Хотел сыграть римлянина: отец обрекает на смерть сына...»

Толки до него доходили и отравляли ему жизнь еще больше, чем военные неудачи. На людях он еще бодрился, однако его большое актерское дарование стало ему изменять. Он очень состарился, исхудал, поседел. Боли от язвы желудка учащались, начали болеть и глаза. Большую часть дня теперь проводил в кресле — прежде говорил, что человека губят кресла и туфли. Иногда старался «вспыхивать» — в молодости кто-то его прозвал «катушкой Румкорфа», и эта кличка очень ему понравилась: он старался ее оправдывать. Теперь и вспышки выходили плохо. Он то вдруг с яростью кричал, что велит перестрелять изменников, то все сносил молчаливо. Расстреливать было некого, или нужно было расстрелять чуть не всех приближенных. «Да, да, только прохвосты на свете и существуют!» — говорил он себе. Одни прохвосты более или менее искусно прикидывались порядочными людьми; другие же старались казаться сверхпрохвостами, что, очевидно, льстило их самолюбию.

Весь последний день в Милане прошел в переговорах с разными людьми. С каждым надо было говорить по-иному, переходить от одной роли к другой. Это было особенно утомительно. Из посредничества кардинала Шустера ничего не вышло. Часть ночи он провел один в своей комнате, все пил крепкий кофе, одну чашку за другой. Боли были очень сильны. Он то ходил грузной переваливающейся походкой из угла в угол, беспокожно оглядываясь на дверь, то садился, согнувшись, в кресло, привычным жестом перебирая в маленьких руках карманный карандаш. Поздно ночью принял окончательное решение: сейчас же бежать в Швейцарию. Утвердил список спутников. Их было 51 человек. Эта цифра неприятно его поразила: много лет назад в тот день, когда он основал партию, в нее вошло ровно столько же людей. «Пятьдесят один! Почему пятьдесят один? Что означает пятьдесят один?» Ни во что не верил, кроме примет и предзнаменований.

Под утро кто-то из свиты, понизив голос, доложил ему, что автомобили поданы. Он вздохнул, встал с усилием, опираясь на стол, и вышел с высоко поднятой головой. Увидев людей, суетившихся у его «альфаромео» (еще подобострастно, но совсем не так, как прежде), хотел было даже воскликнуть: «А poi!»<sup>1</sup>, но не

<sup>1</sup> «Нам» (итал.).

воскликнул: для прохвостов не стоило стараться, остатки их подбострастия относились, он понимал, к сундучку, да и какое уж «А poi», если они тайком уезжают за границу, если единственная задача теперь заключается в том, чтобы не попасться по дороге партизанам.

Сначала он сел было за руль, это всегда его бодрило, но не знал дороги, не хотел показываться редким прохожим и скоро пересел внутрь автомобиля. Расстегнул воротник, откинулся было на спинку сиденья, почувствовал боль и снова наклонился вперед, все так же перебирая карандаш на правом колене. «Альфа-ромео» шел не очень быстро. Неловко было приказать шоферу ускорить ход. «И Наполеон так уезжал на остров Эльба. Он вернулся, вернусь и я: все возможно в судьбе необыкновенных людей!» — нерешительно думал он, поглядывая то в одно, то в другое окно.

За городом он вздохнул свободнее. Автомобиль пошел скорее. Было сырое прохладное утро. В окне мелькали изрезанные каналами поля, оливковые, лимонные, тутовые деревья. Изредка встречались женщины с платками на головах, старики в круглых шляпах и коротких штанах на странно низких возках, белые ломбардские волы с огромными, неестественно косыми, точно приделанными рогами: все мирное, спокойное, старое, не изменившееся за тысячу лет. «Да, да, может быть, я им был и не нужен со всеми моими заслугами: они ничего моего не хотели, ничего!» — угрюмо думал он.

Клару он с собой не взял, ссылаясь на опасность поездки, — слово «бегство» не употреблялось. Обещал, что тотчас выпишет ее в Швейцарию. «Кажется, графиня Валевская приехала к Наполеону на Эльбу», — подумал он; при каждом поступке искал (и всегда находил) что-либо похожее в жизни Наполеона или Цезаря. Клара плакала: «Бенито, ты говоришь неправду!.. Ты меня бросаешь... Мне и визы в Швейцарию без тебя не дадут!» Он с неприятным изумлением услышал это давным-давно забытое им слово: для него! Для него может встать вопрос о визах! «Какой вздор! Одного моего слова будет достаточно!» — сказал он. Бросать Клару никак не собирался. Понимал, что во

всем мире только она его любит, и сам еще любил ее, хотя меньше, гораздо меньше, чем прежде. Потерял интерес и к женщинам. Вдобавок в последнее время она слишком утомляла его своей детской болтовней, когда-то так его забавлявшей. Надоели ему и аферы семьи Петаичи, графиня Валевская хоть не брала взятки. Он и сам очень разбогател за двадцать лет неограниченной власти: в сундучке было на много миллионов драгоценностей и иностранной валюты. Отлично знал, что при нем наживаются почти все сановники. На последнем заседании Главного Совета партии, когда его свергали облагодетельствованные им люди, когда все, совершенно потеряв самообладание, с яростью орали друг на друга, он назвал их шайкой воров и мошенников. Прежде не слишком возражал против афер, взяток, казнокрадства — так ведь было везде и всегда, но семья его последней любовницы наживалась уж очень грубо. Не умела прятать концы в воду — он ничего другого не требовал.

Клара тотчас помчалась за ним: не могла жить без него. Из Милана уходил на грузовиках последний немецкий отряд: союзные войска приближались к городу. Она достала какие-то бумаги, стала госпожой Манец-и-Кастилло, женой испанского консула. Немцы дали ей разрешение с проклятиями. Она сияла от счастья: опять увидит его, он будет тронут ее любовью, он улыбнется, узнав, что она — синьора Манец-и-Кастилло. Клара любила его величественным, грозным, умолимимым, непобедимым, но больше всего его любила, когда он бывал прост, весел, мил. С ней одной иногда бывал не дуче, а Бенито (его жена не шла в счет: донна Ракеле была донна Ракеле, давно существующий, лишенный значения факт). Любила роскошь, любила воздававшиеся ему божеские почести, любила его бесчисленные фотографии, особенно ту, где он был снят верхом на кровной лошади с высоко поднятым «Мечом Ислама» в руке. Однако она была бы еще счастливей, если бы он оказался с ней вдвоем без мечей и без лошадей, в глуши, где никто их не знал бы, где он был бы в безопасности, в полной безопасности. В последнее время ей казалось, что его больше ничто не интересует: не интересуют философские книги, которые он стал читать, не интересует семья, не интересует Италия. Впрочем, он еще просматривал много газет и

по-прежнему искал в них упоминаний о себе — они попадались много реже, чем прежде. Теперь Клара думала лишь об одном: что, если попадет в лапы к партизанам! Но не могла поверить, чтобы даже у этих гадких, злых людей поднялась рука на дуче. Она нагна-ла его в деревне Акуасерия. Он не рассердился и не выразил радости. Слушал ее веселый рассказ о немцах без улыбки, все так же наклонившись вперед, то опира-ясь руками на колени, то перебирая карандаш. За два дня у него выросла густая щетина, теперь, особенно на подбородке, совершенно седая. Кларе было странно, что он показывается людям невыбритым, этого пре-жде никогда не бывало. Но еще больше ей не понрави-лось выражение его глаз. Ей с некоторых пор иногда казалось, что он медленно сходит с ума. «Какой вздор! Какой вздор!» — с ужасом отвечала она себе.

В Менаджо он завтракал, о чем-то разговаривал с маршалом Грациани и думал, прохвост ли и этот маршал или просто тяжелый дурак. «У других Эйзенхау-эры, Монтгомери, Роммели, Жуковы. Мне и тут не повезло». Маршал за что-то сердился, прежде маршалы никогда не сердились в разговорах с ним. Он сначала слушал, потом, к собственному удивлению, перестал понимать: прислушался — и все-таки не понимал. Этого с ним никогда не бывало. «Что такое? Надо встряхнуть-ся!» — подумал он. Но и у него было лишь одно желание: пройти через полосу смерти, оказаться в швей-царской гостинице, раздеться, принять горячую, очень горячую ванну и заснуть. Несмотря на всю свою нелю-бовь к немцам, он еле скрыл радость, когда увидел германский танк, шедший впереди грузовиков с солда-тами. Однако командовавший немецким отрядом офи-цер сразу очень ему не понравился. Почему-то напомнил (хотя в наружности сходства не было) министра двора графа Акуароне, принимавшего участие в его свержении.

Клара еще до того умоляла этого германского офицера: они должны взять с собой дуче, доставить его на швейцарскую границу или хотя бы вывезти его в Германию. «Если эти злодеи на него нападут, вы его защитите! Вы перейдете в историю!.. Ради Бога!..» Офицер был с ней чрезвычайно сух. По-видимому, он не слишком опасался нападения, но ему смертельно надоели итальянцы, все итальянцы, и фашисты, и ан-тифашисты. При встрече с Муссолини он холодно,



хотя неуверенно, сообщил, что его отряд итальянцев вывозить не может.

— У меня нет времени для «боев» с партизанской сволочью, — сказал он. — Американцы будут здесь послезавтра.

Муссолини слушал его внимательно, однако понял его слова не сразу. «Нет времени... Американцы... с партизанской сволочью», — мысленно повторял он и вдруг покраснел: почувствовал, что офицер хотел сказать: «с итальянской сволочью».

— Я позвоню вашему начальству, — угрюмо, с угрозой в голосе сказал он.

Офицер, немного подумав, предложил ему надеть германскую шинель. «Да, да, отлично! Разумеется!» — тотчас горячо — слишком горячо — поддержала Клара. Приняв это за его согласие, офицер с легкой усмешкой отдал распоряжение фельдфебелю и отошел.

Он опять понял и оскорбился не сразу. Хотел было вспыхнуть, но снова почувствовал, что для протестов, споров, резких слов слишком устал — сказал бы не то, что нужно. Вышел из автомобиля, еще вспомнил о сундучке, велел снять его и направился за фельдфебелем к последнему грузовику. Фельдфебель бегло оглянул его, точно мысленно снял мерку, и подал ему шинель, каску, сапоги из запаса, очевидно, оставшегося от убитых. «Взять себя в руки... Сказать... Что сказать?.. И не все ли равно».

«Es ist kalt»<sup>1</sup>, — сказал он и даже похлопал руками: сделал вид, будто надел германскую шинель из-за холода. Каска, верно, принадлежавшая великану, опустилась на лоб слишком низко, фельдфебель засмеялся и одобрительно кивнул головой. Муссолини поправил каску и слабо улыбнулся, как бы говоря: «Конечно, все это довольно забавно...» Шинель была с погонями сержанта. «Как нелепо и как гадко!» Немецких сапог он не надел, подумал, что носки на нем могут быть порванные, что чужие сапоги будут натирать ноги, что его вконец расшатанные нервы этого не выдержат. Фельдфебель еще что-то объяснял, как будто о поясе. Он плохо понимал простонародную немецкую речь. Сделал жест, означавший не то опять: «Да, да, забавно», не то: «Нам бояться нечего: «ты везешь Цезаря и

---

<sup>1</sup> «Холодно» (нем.)

его счастье!». Но тут же почувствовал, что время исторических слов кончилось безвозвратно. Ему было известно, что немцы с той поры, как освободили его из крепости, за глаза называют его «гаулейтером Северной Италии». Но, однако, официально он для них был по-прежнему «дуче» или «эксцелленц». Называть так человека в шинели германского сержанта было глупо. «Es wird schon gut sein»<sup>1</sup>, — сказал он небрежно фельдфебелю. Тот протянул сверху руку и, почти таща его, помог ему взобраться на грузовик. При этом даже что-то сказал шутливым тоном, вроде «Sol» или «Nor!»). Солдаты смотрели на него с недоумением; для них все решали погоны. Он и сам не знал, как теперь обращаться с этими немцами: по-товарищески, как солдат с солдатами, или держаться, как эксцелленц? В углу грузовика, рядом с его сундучком, валялась измятая немецкая газета, он поднял ее и сделал вид, будто читает. Сидеть на узкой твердой скамье в непривычной шершавой и грязной шинели было очень неудобно. Солдаты, помолчав, заговорили о своих делах. Он прислушивался и плохо понимал. Говорили не о нем, и, как всю его жизнь, это было ему не совсем приятно.

Стал накрапывать дождь. «Чего они ждут? Чего они ждут?» — с раздражением спрашивал он себя. Наконец впереди раздался незнакомый ему сигнал, кто-то что-то закричал страшным горловым криком — он не разобрал команды, но ему всегда, когда кричало немецкое начальство, казалось, что кричат «R-гаус!» или «Teufel!»<sup>2</sup>. Застучали моторы, грузовики двинулись медленно, один за другим, в полном порядке на одинаковом, как будто отмеренном, расстоянии один от другого. Хотя ему было не до того, хотя все теперь было прошлым, он невольно это замечал. «Да, Гитлеру легко было побеждать с этими роботами... Видели ли меня в шинели мои прохвосты?... Клара видела... Она на первом грузовике... Опасности больше быть не может. Разве только немцы предадут, они и на это способны... Неужели они заключили соглашение с партизанами? Быть может, кардинал Шустер не очень хотел, чтобы мы договорились, о, эта сложная, всегда запутанная политика людей из Ватикана!.. Могут ли

---

<sup>1</sup> «Все еще будет хорошо» (нем.).

<sup>2</sup> «Выходи!», «Дьяволы!» (нем.)

меня узнать в шинели и каске?.. Почему они идут так медленно?.. — думал он, наклоняясь все больше и больше в направлении мотора. — До границы, верно, километров двадцать, не больше...»

Он стал читать газету. Это было неудобно на тряском ходу грузовика. Как ни искажала газета правду, он видел, что положение фюрера в окруженном Берлине не лучше его собственного, и был этому рад. После короля, Гранди и Бадوليو он больше всего ненавидел Гитлера, хотя тот спас его из крепости Гран Сассо или потому что тот его спас. «Что он сделает? Покончит с собой? Самоубийство... Никогда больше не видеть этого озера, не дышать этим влажным воздухом, ничего больше не видеть, ничего больше не чувствовать... Нет, никогда не поздно». Он почувствовал некоторое облегчение. Голова у него стала работать лучше: вдруг прошла желудочная боль.

Они въехали в деревню Муссо. «Муссо... Муссолини», — подумал он. Незаметно надвинул каску, быстро оглянувшись на солдат, и закрыл верхнюю часть лица рукой, точно дремал. Из окон на них испуганно и хмуро смотрели люди. Прохожие поспешно укрывались или прижимались к заборам. «Они ненавидят немцев, но теперь ненавидят и меня... Если б не немцы и если б они меня узнали, они, вероятно, разорвали бы меня на куски. А совсем недавно они на меня молились. Значит, несмотря на мое поражение, я был прав: не может править страной глупый, переменчивый, ничего ни в чем не понимающий народ». На многих домах еще были надписи: «Да здравствует Муссолини!», «Дуче всегда прав...», «Много врагов — много чести». Слова были кое-как замазаны, но ясно проступали сквозь тонкий слой краски. «Да, именно «если у меня много врагов, значит, я что-то значу»...» Так было и с Наполеоном... Конечно, в основном, в самом главном был прав я... Господа демократы в лучшем случае умные обманщики вроде Черчилля, а чаще всего дураки, ничего не понимающие в людях. Они говорят, что «народ не хочет войны». Это неправда! Французы хотели войны в 1870 году, англичане хотели войны с бурами, немцы хотели войны во все времена. Народ хочет войны, только с тем, чтоб она продолжалась недолго, чтобы можно было нажиться, чтобы кончилось победой, чтобы погибнуть не самому, а соседу.

На такую войну он согласен, и я надеялся, что такой война и будет. Моя ошибка была в том, что я неверно рассчитал силы. У Сталина хватило силы на несколько лишних месяцев, и теперь он герой. Я, впрочем, всегда думал, что он умнее Гитлера, что после меня он самый умный из государственных людей. И еще он один во всем мире мог жертвовать десятками миллионов своих людей, этого не мог даже Гитлер, а обо мне что и говорить! Разве я виноват, что мне достался самый невоинственный народ на свете, вот эти люди!» — думал он, злобно поглядывая на бородатого человека, загонявшего в ворота хворостиной худую плоскоухую свинью: не сразу понял, что этот человек наружностью напомнил ему графа Гранди. «Тот черной бородой подделывался под средневекового рыцаря. Какой подлец и он, и все они!» — подумал он без уверенности: собственно, они делали то же самое, что он, и у него же научились. «Но они были всем обязаны мне, всем!» Ему опять вспомнилось заседание Главного Совета, затем неожиданный арест у подъезда королевской виллы, когда черт знает кто — какой-то капитан карабинеров — посмел взять его — его! — за локоть. Лицо у него задергалось. «Только Бог может сломать фашистский режим. Ни человек, ни другие силы, никто...» — прочел он на стене крестьянского дома. Этой надписи и совсем почти не замазал владделец, верно, какой-нибудь весельчак или циник.

Деревня кончилась. Впереди опять показалась большая дорога. «Быть может, моя вина была в том, что я не был такой зверь, как Гитлер. Пролить кровь, так ведрами, бочками, реками: нет ничего хуже полумер. Надо было перестрелять всех этих Гранди, Бадوليو, Амвросио, а я успел расправиться только с немногими, как изменник Галеаццо», — подумал он, и лицо его опять дернулось.

«Но вот Гитлер был зверь, и он тоже не спасется. Нет, я еще поживу, и они обо мне услышат!.. Посмотрим, что они сделают, католики, либералы, социалисты! Через год вот эти самые крестьяне будут молить Бога, чтобы я вернулся: при мне у них всегда были макароны, полента, бочка тосколано, а больше им ничего и не нужно...»

Вдруг впереди прозвучал сигнал, как будто теперь другой. Снова раздался дикий горловой крик. Броне-

вики остановились, на этот раз не в таком порядке. Солдаты рядом с ним повставали с мест и поспешно разобрали винтовки. «Was? Was ist das?..» — спросил он. Сердце у него застучало. Никто ему не ответил. Он надвинул каску на лоб, уже не стараясь сделать это незаметным, и, наклонившись над бортом, заглянул вперед. Довольно далеко впереди поперек дороги темнело что-то высокое. Раздалось несколько выстрелов. Немецкий офицер вышел из броневика и пошел вперед по дороге. На лице у него была брезгливая гримаса, точно он держал во рту, хотел и не мог проглотить какое-то отвратительное лекарство. «Конец! Пошел выдавать! Тут же, верно, и убьют!..» Он быстро осмотрелся — нет, бежать невозможно. Втянул воздух, оглянулся еще раз по сторонам и попытался изобразить на лице улыбку.

— Ах, это они, — сказал он как бы равнодушно.

Через несколько минут подошел фельдфебель и велел солдатам сойти. «Это 52-я партизанская бригада», — саркастическим тоном сообщил он. «Italienische Schweine!»<sup>1</sup> — проворчал другой немец. Муссолини смотрел на фельдфебеля упорным вопросительным взглядом. Лицо его стало еще бледнее. «Они не согласны пропустить итальянцев, — смущенно ответил фельдфебель, — но вы оставайтесь здесь, накройте чем-нибудь и притворитесь, будто вы спите: я им скажу, что вы пьяны».

Он хотел что-то ответить, но не ответил. Тяжело сел на дно грузовика, опершись обеими руками на что-то мокрое, шершавое, — скользнуло воспоминание о гимнастике в вилле Горлония. Немного поколебавшись, лег на дно, сначала на бок, потом на живот, закрылся рогожей. Подумал о каске, «кто же спит в каске», но не снял ее. Зачем-то закрыл глаза, стер слякоть со лба. «Дожить до этого!»

Опять послышалась команда. Солдаты быстро поднимались на грузовики. «Пронесло!» — с невыразимой радостью подумал он. Фельдфебель, прежде бывший на другом грузовике, теперь поднялся на этот, сел на его сундучок и что-то строго сказал солдатам. Лежать при них на дне грузовика, чувствуя на спине их взгляды, было невозможно. Он приподнялся и, мигая,

---

<sup>1</sup> «Итальянские свиньи» (нем.).

зевнул. «Опустите голову, осмотр будет в Донго», — поспешно сказал вполголоса фельдфебель. «Осмотр!.. В Донго!.. Какое Донго! Где Донго!..» Через минуту вспомнил, что есть такой крошечный городок на Лаго ди Комо, там, где в озеро впадает Адда. Вспомнил о дочери: «Где Эдда?.. Да, осмотр! Значит, все кончено... Отсюда, верно, километров десять до границы, это насмешка!.. Если б немецкие подлецы пустили машины полным ходом, мы через четверть часа были бы в Швейцарии. Будь они прокляты!» — с ненавистью подумал он. На грузовике настала тишина, он услышал негромкие итальянские голоса и понял, что они проходят по тому месту дороги, где лежали бревна. Минуты через две кто-то над ним опять сказал: «Итальянские свиньи!» Кто-то другой захохотал.

Грузовики застучали на камнях мостовой. Опять послышались голоса. Где-то справа пронзительно, отчаянно плакал ребенок. «Это и есть Донго: смерть», — подумал он, и в его воображении скользнули огромные заголовки газет: «Муссолини убит в деревне Донго». Он тотчас приподнялся и увидел, что они въехали в городок. «Опустите голову! Делайте вид, что вы пьяны», — страшным шепотом прошептал фельдфебель. Он надвинул каску, опять уткнулся во что-то шершавое, измазал лоб. Грузовики замедлили ход. «Сейчас... Еще несколько минут... Еще успею увидеть небо, озеро...» Грузовики остановились. Солдаты опять сходили, теперь молча. Слышно было только, как тяжело соскакивали на мостовую тяжелые люди в тяжелых сапогах. «Один из этих негодяев и донесет... Соскочить? Вдруг удастся побегать в город, ночью перейти границу? Но тогда сейчас, сию секунду, или будет поздно», — еще подумал он и опять почувствовал, что слишком устал, слишком измучен, слишком стар...

Так они простояли довольно долго. Он потом не мог сообразить, сколько времени все продолжалось, не мог даже вспомнить, что чувствовал. Быть может, от усталости не чувствовал ничего: почти не спал до того три ночи. Вдруг стали приближаться голоса, не горловые, а человеческие, итальянские голоса. Сердце у него застучало еще мучительней. «Сейчас умру... Но не под рогожей, не в их шинели!..» Кто-то впереди засмеялся, на мгновение стало легче: «Они люди, я чело-

век...» Грузовик чуть покачнулся, что-то звякнуло. «Ну а это что такое? Кто это у вас так развалился?» — по-итальянски спросил над ним веселый молодой голос и пояснил по-немецки: «Wer? Das... Wer?» «Это один наш солдат, он пьян», — нерешительно, не так, как следовало, сказал фельдфебель. Молодой партизан не понял его слов, но засмеялся. «Камарад!» — закричал веселый голос. Он слабо захрапел (это было потом особенно стыдно вспоминать). «Вдруг это сам дуче? — со смехом сказал партизан и, тронув рогожу прикладом винтовки, закричал: — Кавальере Бенито Муссолини!»

Спина под рогожей чуть дрогнула. В душевном смятении он погубил себя тем, что не понял шутки: тяжело повернулся, тяжело привстал на локте и, мигая, уставился в стоявшего над ним человека. Затем, бессмысленно продолжая играть роль пьяного, поднял каску над своей большой лысой головой. Молодой партизан остолбенел.

## II

52-й партизанской бригадой командовал 20-летний капитан граф Беллинко делла Стеле, по кличке Беппо, студент. Он все время, особенно в последние дни, находился в восторженном настроении, оттого ли, что был влюблен, оттого ли, что был партизан, оттого ли, что полная победа приближалась с каждым днем. Бои, в которых участвовала 52-я бригада, были не очень кровопролитны; но он находился в большей опасности, чем участники кровопролитных боев: его непременно повесили бы на первом дереве, если бы он попал в плен к немцам. Немцы перестали вешать лишь совсем недавно, когда стало совершенно ясно, что для них все кончено. Германские воинские части одна за другой поспешно уходили на север. Солдатам только и хотелось уйти возможно скорее. Они ненавидели итальянцев больше, чем американцев и англичан, больше даже, чем русских. И лишь немногим наиболее умным из них иногда приходило в голову сомнение: что, если «макаронники» по своему человеческому образу, по своему толкованию смысла жизни гораздо выше их, со всеми их победами? В цене побед таких сомнений не было и у них.

В этот день капитан Беппо был особенно горд и счастлив: его бригада остановила германскую моторизованную часть — одну из тех боевых частей, которые едва не завоевали всю Европу. Он еще плохо понимал, как это могло случиться: разумеется, что шедший впереди немецкой колонны танк в несколько секунд разнес бы его баррикаду, тем не менее германский офицер вступил с ними в переговоры и принял его условия! Капитан заявил, что итальянские партизаны не ведут войны с немецким народом (германский офицер молча на него смотрел), он готов свободно пропустить германские воинские части, не требуя сдачи оружия и знамен (офицер смотрел на него все так же, не раскрывая рта; лицо его показалось Беппо чрезвычайно неприятным), но командование 52-й партизанской бригады имени Гарибальди должно удостовериться в том, что с немецкими войсками не уходят итальянские изменники.

Немецкий офицер еще немного помолчал. Вероятно, ему было трудно говорить: он физически, по устройству своего мозга и рта, не мог бы произнести слова «52-я партизанская бригада имени Гарибальди»; не знал также, как называть этого бригадного командира: слова «господин командующий» были почти столь же невозможны, как «генерал» и «Ваше Превосходительство». Подумав, он только склонил голову в знак согласия. Затем еще помолчал, еще подумал и сообщил, что на одном из грузовиков находится жена испанского консула, госпожа Манец-и-Кастилло. Имя это он выговорил не без труда, с некоторым шипением в голосе, относившимся и к опереточному имени дамы, и к тому, что она была черт знает кто.

— Госпоже Манец-и-Кастилло будет оказано должное уважение, — сказал, тоже склонив голову, капитан Беппо. Он не очень давно читал романы Дюма и, хотя немцы вешали его людей, верил в рыцарскую войну. — Испанское правительство, к сожалению, не выполняло в последние годы обязанностей, непосредственно вытекающих из элементарных принципов нейтралитета, — добавил он (в университете учился на юридическом факультете), — однако это ни в коем случае отражаться не должно и не может отражаться на правах частных граждан. Итальянские партизаны с женщинами не воюют.



«Сейчас... Сейчас убьют... Надо сохранить достоинство... Что сказать?.. Все равно... Все было обманом... Лишь бы скорее...» — Он мутными глазами смотрел на окружавших его вооруженных людей. Затем, вспомнив, взглянул на небо, на озеро. Партизаны в потемневших от дождя шинелях глядели на него растерянно. Это были в большинстве люди молодые; теперь они ненавидели фашистов, но у многих из них детство и отрочество прошли в обожании дуче. Они понимали, что произошло нечто чрезвычайно важное, что они переходят в историю, но не знали, что нужно сделать. «Телефон... Позвонить!» — вполголоса сказал кто-то. «Ну да, сейчас позвонить!..» — «Можно ли отсюда? Из Менаджо...» — «В Милан... В Палаццо Брера...» — «Нельзя же тут стоять!» — «В мэрию», — говорили люди.

— Немцы нарядили меня в это... Я думал, что задохнусь, — сказал он наконец хриплым голосом, взглядываясь в подбегавших с разных сторон людей. «Сейчас?.. Нет, кажется, еще не сейчас».

— Вы... Вы можете переодеться, — ответил нерешительно молодой человек и что-то скомандовал неестественно громко.

Два партизана взяли его сундук. Он безжизненным взглядом следил за стекавшей с сундука грязной стружкой. Подумал было: не откупиться ли? Но предлагать этим людям деньги было бы очевидно бессмысленно: сундук и так находился в их распоряжении. Молодой человек, не обращаясь к нему, нерешительно вынул револьвер. Другие тотчас сделали то же самое. Его взгляд невольно задержался на револьверах. «Система Гернике, калибр 7.65... Значит, из них? Сейчас? В мэрии?..»

— Я бежать не собираюсь. Я знаю, что в Донго меня никто не тронет, — сказал он наконец. Инстинктом опытного актера, знающего много самых разных пьес, искал тона. Инстинкт подсказал ему тон врагов, чувствующих уважение друг к другу. Он и сам любил романы Александра Дюма.

Толпа увеличивалась. В мэрии он что-то говорил, плохо следя за своими словами, как говорят много выпившие, но не пьяные люди. Сбросил с себя немец-

кую шинель и сказал, что желал бы никогда в жизни больше не видеть ничего немецкого. Сказав это, взглянул на окружавших его людей, ему показалось, что его слова им понравились. Кто-то предложил ему синий плащ. Он поблагодарил, как благодарят осужденные за рюмку рома перед казнью. Тон врага-рыцаря теперь выходил у него лучше, но он чувствовал, что плохо сообщает. Подали автомобиль. Против него шел молодой человек с револьвером. «Этот не убьет... Не способен». Вдруг вспомнил о Кларе.

— Вы командир 52-й партизанской бригады имени Гарибальди?

— Да.

— Обращаюсь к вам как мужчина к мужчине. Вы, конечно, не обязаны исполнить мою просьбу. В этом отряде ехала жена испанского консула. Не можете ли вы сообщить ей, что я жив и невредим?

— Да... Но... Но почему?

Муссолини помолчал: ровно столько, сколько было нужно.

— Это Клара Петаччи, — сказал он. Слова «я жив и невредим» немного, очень немного, связывали этого юношу. «Быть может, погубил ее... Как на грузовике погубил себя... Нет, все равно ее узнали бы».

Молодой человек изменился в лице. Вся Италия уже несколько лет с ненавистью или с насмешкой говорила о новой любовнице дуче. Но д'Артаньян не отказал бы врагу в исполнении такой просьбы.

— Я ей передам, — сказал негромко капитан Беппо.

С той минуты, как кто-то, пробегая мимо ее грузовика, остановился и, ахая, сообщил другому, что он найден в последнем грузовике, Клара, без кровинки в лице, безжизненно опустив руки, ждала: «Сейчас... Сейчас будут выстрелы... Сию минуту...» Побегать к нему она не могла, всем велено было оставаться на местах, были приставлены часовые.

Затем ее куда-то отвезли. В ее комнату вошел молодой человек в мундире, с револьвером в руке. Она вскрикнула. Он сконфузился и тотчас спрятал револьвер. Выражение лица у него было сочувственное, даже робкое. Она вдруг зарыдала, схватила его за руку, нагнулась, опустив голову почти до его колен. Он вырывался, испуганно оглядываясь на дверь.

— Я... Я все... Я вижу, вы хороший!.. Вы не желаете ему зла! Вы спасете его!.. Вы его не знаете, он добрый, он чудный! — говорила она, трясясь всем телом, задыхаясь от рыданий. — Я все... Я все вам расскажу.

Действительно, она рассказала ему «все»: историю своей любви к дуче — как они встретились, как она влилась в него без памяти, как он выстроил для нее виллу над Римом, на Монте Марио, как они там встречались. Рассказала самые интимные их дела — сама не знала зачем, — в смутной последней надежде на то, что этот юноша его спасет.

— Я так люблю его, так люблю!.. Разве можно его не обожать, когда его знаешь, как я!.. Вы его не знаете, все это клевета! Он всегда ненавидел немцев, он думает только о благе Италии!.. Ему самому ничего не нужно, ни роскошь, ни деньги, ничего... Он ест только фрукты и молоко... Нет, нет, что вы можете знать!.. Одна я во всем мире его знаю, я одна, не донна Ракеле, не Маргарита, я одна!.. Он одну меня любит во всем мире!.. Я все, все вам расскажу, только спасите его от этих злодеев!.. Нет-нет, не сердитесь, я не то сказала, они хорошие, но они не знают его!.. Пустите же меня к нему, я хочу быть с ним! Я, я одна!.. — рыдая, говорила она.

Беппо слушал ее, взволнованный и смущенный. Ему казалось, что он совершает нечто вроде предательства, но у него не хватало духа оборвать ее, перебить, уйти. Все то, что она говорила, было бессмысленным истерическим вздором, однако его волнение росло: он слушал исповедь Клары Петаччи!

— Ради Бога, успокойтесь. Вы будете с ним, я сам вас отвезу. На свою личную ответственность, — сказал он, стараясь говорить спокойно, без дрожи в голосе. Не догадывался, что обрекает ее на смерть. — Здесь вы не в безопасности, здесь уже знают все... Я вас перевезу в одну деревню. Это в горах. Там долго укрывался один из моих друзей; укрывался от фашистов, — твердо прибавил он. — Место называется Бонсануго.

#### IV

Первое сообщение об аресте Муссолини было передано в Милан по телефону лишь в девятом часу вечера. Оно вызвало необычайное волнение в Палаццо

Брера, где помещался главный генеральный штаб добровольцев свободы. Главный штаб заседал весь вечер и часть ночи. Американские войска быстро подходили к Милану. Разумеется, союзное командование тотчас взяло бы дело в свои руки. Убить Муссолини следовало до этого. Так и было постановлено. Для выполнения дела был назначен полковник Валерио, он же Аудизио, он же Джованни Баттиста Маньоли ди Чезаре.

До гражданской войны он был, по одним сведениям, мастеровой, по другим — бухгалтер. Но теперь он был по профессии неумолимый фанатик. То, как он выполнил поручение, еще более то, как он о нем рассказал, дает о нем ясное понятие. Он был такой же актер, как Муссолини, но без ума и дарований. Теперь он играл — очень плохо — нетрудную роль трагической рока революции. Выехал он на заре в черном «фиате», за ним следовало тринадцать испытанных людей. По его словам, этим людям ничего не было известно о возложенном на них поручении. Впрочем, одному из них полковник тотчас все сообщил — «он принял известие с восторгом». Другим же Валерио не сказал, но сказал: «Я ограничился заявлением: «Надеюсь, что ваше военное вмешательство не потребуется. Однако если оно станет необходимым, то я знаю, что могу рассчитывать на вас». Они выслушали меня молча. Все было превосходно».

Так же тщательно скрывал он свое поручение ото всех, с кем встречался в дороге. Полковник сурово отзывается о людях, чинивших ему препятствия. Это были не фашисты и не немцы, а члены Национального комитета освобождения Италии, органом которого и был главный генеральный штаб добровольцев свободы. Фанатик, римлянин, герой был только он, Валерио, со своими людьми. Другим, по-видимому, «военное вмешательство» не нравилось. «Их, казалось, парализовала нерешительность. На их лицах, в звуке их голоса я читал страх, неуверенность, отражения гнетущих теней прошлого».

Спутники же его «находились в состоянии крайнего нервного возбуждения и восторженного увлечения». В Комо они узнали, что передовые отряды союзников находятся уже недалеко. Нельзя, следовательно, было терять ни минуты. «Скорее, Барба, скорей!» — закри-

чал я моему шоферу. Нам повезло. В дороге нас нагнал какой-то большой грузовик. Мы без разговоров его реквизировали. Все в грузовик и вперед! Солнца не было. Сердца наши рвались от радости. Мы проходили, не останавливаясь. «Грузовик народного правосудия не имеет времени для остановок!» — кричал я людям», — сообщает полковник, так хорошо все державший в тайне.

Грузовик народного правосудия пришел в Донго в третьем часу дня. Валерио вручил капитану Беппо свои полномочия: арестованные фашисты переходили к нему. Постановление миланского комитета говорило о военном суде. Полковник тут же и образовал суд: «В списке 51 я им указал семнадцать ответственных вождей, они и были приговорены к смерти. В их числе был Муссолини. Клары Петацчи в их числе не было». Шестнадцать осужденных были им оставлены в Донго и через несколько часов по его возвращении расстреляны. Это и было «военное вмешательство».

Сам Валерио выехал в Бонсаниго в сопровождении наиболее надежных людей. Не доезжая до того дома, куда были перевезены Муссолини и Клара, полковник выбрал место для убийства. На повороте дороги, называвшейся улицей 24 Мая, он увидел заколоченный дом, очевидно, брошенный хозяевами. Перед домом был огород, выходящий на дорогу, обведенный каменной стеной. Собственно, это место подходило для задуманного дела не лучше, чем какое бы то ни было другое. Скорее, оно даже подходило хуже, так как по дороге проходили и проезжали люди. Вероятно, полковника и его людей соблазнил романтизм пустынной усадьбы, еще увеличивавший соблазн от безнаказанного убийства. По дороге они обсуждали, как все сделают. Валерио пришла мысль обмануть Муссолини: сказать ему, что они приехали для его освобождения. Зачем это было нужно, он не понимал и сам. «Я не знаю, почему мне пришла в голову эта идея. Так, быть может, было легче увести его из дому. А может быть, в глубине души я хотел узнать настоящую меру этому человеку: удастся ли мне, простому смертному, обмануть это существо, считавшее себя титаном, строителем империи», — пишет полковник, конечно, не считавший себя простым смертным и очень интересовавшийся своими переживаниями. Его спутник Гвидо

не одобрял идеи. «Он не дурак, он на это не клюнет», — говорил Гвидо. «Увидишь, клюнет непременно», — говорил Валерио. Сердца их «рвались» от радости все больше. Впрочем, вероятно, не от одной радости.

## V

Муссолини и Клару привезли в этот дом уже ночью. Разбуженный хозяин вышел на крыльцо, надев пальто поверх сорочки, и, зевая, поздоровался с Беппо, с удивлением поглядывая на автомобили.

— ...Это одна немецкая чета, — смущенно объяснил капитан. — Мы их взяли заложниками. Надо следить за ними, я оставлю людей. Содержи их хорошо, мы на тебя полагаемся.

— Ну что же, комната есть, — сказал хозяин не слишком радостно. — Но еды в доме нет...

Немецкая чета вышла из автомобиля. Хозяин, чиркая спичками, проводил ее. Они вошли в комнату с выбеленными стенами, с двумя высокими кроватями, с допотопным рукомойником в углу, со стареньким креслом у окна.

— Надеюсь, синьорам будет здесь удобно, — сказал хозяин и зажег свечу в медном подсвечнике. Увидев молодую, хорошенькую женщину, он смягчился. — Постель чистая, одеяла хорошие, теплые. Завтра утром я дам синьорам завтрак, что найдется. Место у нас пустынное, — пояснил он, стараясь для иностранцев говорить медленно и ясно. Муж дамы, невысокий грузный человек, стоял, отвернувшись к окну.

— Ради Бога, нельзя ли получить горячей воды? Я так хотела бы умыться! Я понимаю, ванны у вас нет? — спросила дама. Хозяин с недоумением подтвердил, что ванны нет. Его удивило, что немецкая заложница так хорошо говорит по-итальянски. Отвернувшийся к окну человек все молчал, и в этом было что-то неприятное. «Если недоволен, пусть едет в другое место», — подумал хозяин и, пожелав синьорам доброй ночи, вышел.

Он тяжело опустился в кресло, опять почувствовав сильную боль. Клара говорила, не останавливаясь, быстрым, негромким, чуть истерическим говорком.

Говорила, что его никто пальцем не тронет, разве можно посягнуть на человека, который столько сделал для Италии! И этот хозяин, сейчас видно, очень хороший человек, а завтра им, конечно, отдадут сундук, да если и не отдадут, то тоже не беда, разве в деньгах счастье, это гнусная клевета, будто она любила деньги, ну да, любила, и платья любила, и бриллианты, но ей ничего этого не нужно, пусть они, партизаны, подавятся этими деньгами, хотя нет, этот молодой человек чудный, он обещал все для нее сделать, и завтра же утром они поедут дальше, в Швейцарию, и купят там виллу, впрочем, и вилла не нужна, они могут жить в одной комнате, лишь бы он ее любил, и он, наверное, теперь ее не бросит, потому что это было бы страшно гадко, и он там как следует отдохнет, кто же имеет больше прав на отдых, чем он, а потом народ обрассудится и их позовут обратно, нельзя же долго оставаться за границей, они так любят Италию, они вернутся и никого не казнят, даже самых худших изменников. Боже избави, зачем казнить, не надо никому делать зла, и он никому не хотел никогда зла, кому же и знать, как не ей, они говорят — Чано, это правда, но она знает, как ему это было тяжело, а она всегда говорила, что не надо было казнить и Чано, хотя Эдда очень противная женщина, даже непонятно, как у него может быть такая дочь, можно будет всех изменников выслать за границу, а этого юношу они наградят, он граф, но его можно будет сделать князем, хотя, правда, если больше нет короля, то нет и титулов, она прекрасно понимает, это донна Ракеле говорила, будто она глупа, но он, верно, голоден, он за целый день почти ничего не ел, ему доктора велели пить по три бутылки молока в день, а он всегда забывает о своем здоровье, еще слава Богу, что нет болей, если действительно нет, а то он всегда от нее все скрывает, от донны Ракеле он ничего не скрывал, хотя это и неправда, будто она умная, но жена, конечно, совсем другое дело, но он и Маргарите говорил больше, чем ей, а она его предала, а теперь надо лечь и выспаться, потому что завтра будет трудный день, надо будет все им объяснить... В дверь постучали, на ее лице выразился ужас: «Нет, нет, нельзя, я уже раздеваюсь!..» Услышав, что хозяин принес горячую воду, радостно ахнула и приотворила дверь.

— Ах, как я вам благодарна, мы потревожили вас так поздно, ну вот, теперь отлично, — говорила она, принимая кувшин. — И еще подушка, ах, спасибо! Какой горячий, я чуть не обожглась! Больше мы не будем вас беспокоить, ради Бога, извините!.. И завтра, если можно, молока, мы страшно любим молоко! — говорила она. Хозяин смотрел на заложников с некоторой тревогой. Тяжелый грузный человек сидел в полутьме у окна, опустив голову, закрыв глаза и лоб левой рукой.

Где-то все время хлопала дверь. Клара давно спала, изредка вскрикивая во сне. «...Да, зачем захрапел! — морщась, думал он. — И тут же сам себя погубил! Если б не вздрогнул при его шутке, он, верно, прошел бы дальше... Впрочем, мои все равно выдали бы: нам погибать, так пусть и дуче гибнет с нами!.. Да, люди подлецы... И народ, которому молятся демократические идиоты, не лучше их самих или разве только немного лучше. Демократические идиоты играют на нем без проигрыша: когда он ведет себя сносно, они кричат о красоте народной души, а когда он показывает себя тупым животным, что ж делать, «народ был обманут», «народ болен»... Да, они победили, но моя ошибка была только в том, что положился на психопата Гитлера и на своих дураков генералов, которые теперь говорят, будто всегда меня предостерегали, будто отроду не были фашистами, будто они вообще тут совершенно ни при чем. А я их осыпал наградами, деньгами, глупыми кличками», — думал он, с досадой вспоминая титулы своих генералов и адмиралов: один был герцог Аддис-Абебский, другой — герцог Моря, третий — герцог Победы. «Теперь все это звучит на-смешкой, когда нет ни победы, ни моря, ни Аддис-Абебы. Но если б у психопата было побольше роботов и пушек, то те же союзники умоляли бы меня перейти к ним, а мои болваны герцоги лебезили бы передо мной еще подлее... Завтра убьют... Не могут не убить...»

## VI

Он понимал, что среди его бесчисленных теперь врагов должны найтись люди, которые признают суд над ним излишней формальностью и предпочтут про-



стю короткую расправу. «Что ж, они правы: я на их месте поступил бы точно так же, да я так же и поступал. Правда, старался больше действовать подкупом, титулами, деньгами. Или любезностью, как на всяких Эмилей Людвигов, которые теперь тоже меня поносят. Эти писаки почти все, даже «неподкупные», готовы были писать что угодно, надо было только принимать их, говорить им: «Вы с вашим умом», «Вы с вашим талантом», «Никто этого не понимает тоньше и глубже, чем вы». Да, да, все хороши...»

Как многие правители, как все без исключения диктаторы, он был убежден, что человек безнадежно гадок, слаб и подл. Но прежде, в годы его успехов, это убеждение доставляло ему тихую, благодушную радость и очень облегчало жизнь. Теперь оно только усиливало его тоску. Все было беспросветно, все было отвратительно. «Жить еще хочется, но нет ничего в мире, для чего стоило бы жить. Да, да, в основном я был прав. Управлять можно только страхом или подкупом, демократические правители еще потому так жалко беспомощны, что почти не могут карать и почти не могут награждать. И самое удивительное, что и они, при их крошечных секретных фондах, все-таки ухитряются покупать людей... И сами они тоже все или почти все продажны, но по-иному, чем я и мои. Разве кто-нибудь из них умирает бедным человеком, хотя теперь почти все они выходят, как я, из низов? Я просто брал в казне, сколько хотел, а они играют на бирже, или в промежутке между портфелями загребают деньги как адвокаты, пользуясь престижем, который им дает их смехотворная «власть», или женятся на богатых, или получают огромные жалованья в банках, в правлениях, или просто получают «в дар» большие деньги от богатых людей, а тем — Боже избави, не за это! — жалуют титулы, дают должности, оказывают услуги... Это более незаметная форма подкупа, рассчитанная на глупость человеческого стада, но это те же «народные деньги», которыми они меня попрекали! Какие же и у меня, и у них могли быть деньги, кроме «народных»!.. Да, да, они не лучше меня», — думал он, вспоминая то, что ему из разных стран докладывали его агенты: они тщательно собирали сведения о частной жизни иностранных государственных людей, да еще многое присочиняли от себя или выдавали за

факты разные темные слухи, зная, что ничто не может доставить большего удовольствия дуче. «Все богатые люди либо жулики, либо дети, внуки жуликов, а кто правнук, тот аристократ. И так всегда было, всегда. Мирабо и Дантон были мошенниками, Марат, если бы не был убит, кончил бы жизнь ветеринаром в наполеоновских конюшнях, а Робеспьер стал бы префектом или министром с графской кличкой, как другие, выжившие, «герои Конвента». И те герои, которые завтра меня зарежут или повесят, — подумал он, вздрагивая, — наверное, не отдадут моего сундука государству, а их дети уже будут почтенными, законными, наследственными богачами и будут жертвовать деньги на либеральные газеты... Все, все негодяи! Чем лучше меня? Тем, что не убивают? Невелика заслуга!» — говорил он себе. Ему всегда было досадно, что в демократических государствах нет террора. В душе он знал, что его осведомители слишком часто врут, что сам он на демократические государства клеветает. Несмотря на бранные слова, у него никогда не было ненависти к демократиям, как никогда не было и ненависти к коммунизму. Знал, что принял бы любые убеждения, лишь бы они дали ему власть и славу. Он заботился и об исторической славе, заказывал биографии и в расчете на будущее, но интересовали его в особенности рецензии — то, что сейчас, при его жизни, писали люди о разных его ролях и представлениях. Из своих идейных врагов он выделял Ленина, который очень лестно отзывался о его уме и способностях, и Черчилля, который как-то назвал его великим человеком. Теперь власти больше быть не могло, а рецензии стали плохие, очень плохие. «Жизнь кончена, жалеть не стоит. А я жалею... Да, я схожу с ума... Где же и когда бывали не сумасшедшие диктаторы!..»

Капли дождя стучали по стеклу окна. Он догадывался, что дом окружен вооруженными людьми, но не видел их. «Попробовать?.. Застрелят, но все равно нет и одного шанса из ста на спасение жизни... Разве только чудо... Отсюда есть, верно, тропинки на Беллинцону?.. Нет, поздно, нет больше сил... И что же я сделал бы с ней? — подумал он, взглянув на Клару. — Нет, мне все равно! Я не такой человек, как другие. Никого не люблю, и никто не стоит любви... Может быть, так и надо было жить, как жили предки, в

какой-нибудь глухой деревушке, в этой дивной, лучшей в мире стране, копать землю, иметь свой дом, свой сад... Но я не мог так жить! Если б не политика, я стал бы атаманом... Да, я тоже, как все, был лишен способности оглядываться на себя и вот теперь приобрел эту способность в свою последнюю ночь!..»

Несколько раз мысли его смешивались, становились совершенно бессмысленными. Он дремал, потом просыпался и думал, что нельзя, нельзя спать, когда осталось жить только несколько часов. «Да, вправду я схожу с ума! — думал он. — Быть может, теперь сказалась болезнь? А может быть, напротив, именно теперь мне впервые все стало совершенно ясно?.. Что же мне было делать, если я иначе жить не мог! Разве я виноват, что не родился триста или пятьсот лет тому назад? Разве я виноват, что эта дешевая мудрость, земля, дом, сад, что она для других людей, не для меня, не для Сталина, даже не для Черчилля: мы умерли бы в первый год от скуки. Да, завтра убьют такие же люди, как я, не лучше и не хуже меня, только более глупые. Завтра все кончится... А дальше что? Дальше ничего, ровно ничего...»

С тех пор как он пришел к власти, он лишь чрезвычайно редко, в минуты ярости, говорил те чудовищные по грубости богохульные слова, которыми когда-то в молодости на митингах поражал свою нетребовательную аудиторию: вынимал при этом из кармана часы и с торжеством «давал Богу пять минут для кары». Но взгляды его не изменились. Он знал за собой десятки преступлений, в их числе и такие, о которых не было известно его врагам. Преступления других диктаторов были еще ужаснее, и он просто не понимал, как после того, что случилось в мире, еще могут существовать люди, верящие в Бога, думающие, что миром руководит разумная сила. «Бессмертие души? Какое там бессмертие души! Для меня это то же, что индуcский культ коровы! Да если бы оно и было, бессмертие, то мне оно не нужно. Мне эта жизнь нужна, но и она теперь гадка и противна!..» «Не трогайте его, не смейте его трогать!» — вскрикнула во сне Клара. Он вздрогнул, тяжело, опираясь на стол, встал, подошел к ней и долго на нее смотрел. Она лежала на боку, вытянув вперед руки. На лице ее были ужас и отчаяние. Он почувствовал нежность, что-то подступило к горлу. «Нет, нет, это для других!..»

Дождь кончился. Слабо светилась луна. Теперь ясно были видны силуэты людей. «Эти ли?.. Нет, верно, из Милана пришлют других. Должно быть, уже выехали... Из револьвера? Лишь бы не вешали!.. А может быть, все-таки чудо? — подумал он и тяжело повалился в кресло. — Я думал об ошибке. В чем была ошибка?.. Да, поверил психопату, хитрому, как все психопаты, не расстрелял предателя, подготовил недостаточно дивизий, это так, что еще? Военные ошибки? Но я не военный, и если так ошиблись генералы, даже наименее глупые, то откуда же было знать мне? И я говорил Гитлеру, что надо занять всю Францию, что надо войти в Испанию, не обращая внимания на болвана Франко, что надо захватить Гибралтар. Я говорил Роммелю, что под Аламейном держаться нельзя, я предлагал закрепиться на линии Марса Матрук, он только презрительно улыбался: штатский, да еще итальянец, сможет рассуждать о военных делах... У Гитлера была выигранная война, если бы он не посадил себе на шею пятнадцать миллионов казаков... Они издевались пять лет тому назад, что я прихожу на помощь победителю! Конечно, я пришел на помощь победителю, и другой политики у Италии быть не могло. Но я не угадал победителя, в этом все дело. Надо было ждать, торговаться, торговать, чтобы эти ломбардские крестьяне мирно богатели на чужой войне и благословляли мое имя. Выступить мне надо было два месяца назад на стороне демократий, и они проглотили бы мой фашизм, как проглотили коммунизм Сталина, и эта моя политика не была бы безнравственной и преступной. А если бы Гитлер победил, то историческая болтовня Черчилля стала бы смешным анекдотом, он недолго сражался бы на берегах, на холмах, на улицах: Англия заключила бы мир... Да, да, все, все обман! — думал он с ненавистью и отвращением. — Ничего не жаль... Ничего нет!»

В тяжелом сне он видел Гранди, кардинала, фельдфебеля, врача, когда-то его лечившего, Эдду, Чано. Они говорили бессмысленные слова, бессмысленно переходили друг в друга. Кардинал мягко убедительным голосом сказал: «Я ей передам» — и передал ему револьвер калибра 7.65, из которого была разрушена Герника. «Кавальере Бенито Муссолини!» — пошутил Чано на улице 24 Мая, по которой ходили вооружен-

ные люди. Очень болела голова, из нее, скользя, вышло что-то тяжелое, окровавленное, это был его рас­судок, и он издевался над ним: «Сумасшедший! Теперь сумасшедший!..» Он в ужасе выскочил в окно, в него выстрелили из ручного пулемета, он упал — и с криком проснулся. Издали доносился колокольный звон. «Что это?.. Что случилось?..» Нижняя часть лица у него тряслась. В комнату слабо пробивался дневной свет. На столе в заплывшем углублении подсвечника догорал фитилек. Клара тоже проснулась от сильного удара двери, привстала и, мигая, на него смотрела. «Что?.. Что?.. Они?..» — спрашивала она растерянно. Он не отвечал. Тем самым странным мутным взглядом остановившихся глаз смотрел на то место стены, где висела увеличенная фотография солдата в мундире 1914 года.

## VII

Утром хозяин постучал в дверь. Никто не ответил. Он прислушался. Как будто что-то шевельнулось на кровати. Постучал опять, вошел и остановился, чуть не выронив подноса из рук.

— ...Нет, нет, это завтрак! — говорила сидевшая на кровати женщина в черной шелковой пижаме. — Это завтрак! Чудный завтрак... Отлично, спасибо!.. Да, да, мы давно не спим... Мы отлично спали, чудные кровати... Мы вам страшно благодарны... Какой у вас милый дом! И молоко, да?.. Ах, как мы вам благодарны!..

Хозяин, не говоря ни слова, поставил поднос на стол, у которого сидел грузный человек с трясущейся челюстью, и попятился назад. За дверью он ахнул, хлопнул себя по лбу и побежал.

Она тотчас заговорила опять. Да, она немного устала, но это пустяки, лишь бы не слишком устал он, все будет отлично, он увидит, они утром же и уедут, но теперь надо закусить, ах, это полента! Она страшно любит поленту, а вот молока ей совсем не хочется, он должен выпить все молоко, так велели доктора, кажется, молоко чудное, ну да, деревенское, непременно надо закусить, в Швейцарию долго ехать, впрочем, нет, это совсем близко, но там его облепят журналисты, сначала надо принять ванну, в швейцарских гости-

ницах и теперь кипятки, конечно, круглые сутки, они чудно отдохнут, ему непременно надо соблюдать режим, непременно! — говорила она, изредка исподлобья на него поглядывая и тотчас отводя глаза. Подбородок у него все трясся — трясся до его последней минуты.

## VIII

За дверью послышались шаги: тяжелые и вместе крадущиеся. Клара с подавленным стоном закрыла одеялом голову. Он, точно с трудом что-то вспомнив, встал, хотел последним усилием принять вид дуче, но не принял и тем же бессмысленным взглядом уставился на дверь. Оба почувствовали, что кто-то за дверью смотрит в скважину замка. Дверь вдруг с необычайной быстротой растворилась настезь, и на пороге появились люди. Первый из них остановился, как статуя, направив ручной пулемет в сторону кресла.

Валерио и сам не понимал, зачем навел пулемет, когда цель его заключалась в том, чтобы обмануть Муссолини. Но так у него вышло: это был пулемет народного правосудия. Что-то черное задергалось на кровати. Полковник впился глазами в невысокого грузного человека. По случайности он до того никогда его не видел.

— Я... пришел... вас освободить! — опутив пулемет, наконец сказал он с особенной, значительной расстановкой. По его бледности, по неестественной интонации его голоса, по невнятным, несмотря на торжественный тон, словам легко было догадаться, что он говорит неправду. Освободитель так не вошел бы, да и не мог бы ворваться в дом без борьбы. Но, по-видимому, Муссолини уже почти ничего не соображал. Долго, до самой этой ночи, он жил в надежде на чудо. Теперь чудо было перед ним.

— Правда?..

Клара ахнула и села на постель. Если он поверил, она должна была верить. «Неправда... Пришли убить...» Этот человек в мундире защитного цвета, с тремя звездочками, с трехцветной эмблемой на кепи, был не похож на друга, был не похож и на офицера.

Она тотчас опять заговорила, еще быстрее, еще бессмысленнее, чем прежде, но все тише, все невнятной. Конечно, она знала, она твердо знала, она ни одной минуты не сомневалась, ну разумеется, его спасут, ах,

какое счастье, зачем было волноваться, разве у кого-либо может подняться рука на дуче, у них, верно, есть автомобиль, лишь бы хороший, а то у него боли, надо в Швейцарии остановиться в первой же гостинице и позвать доктора, и, главное, молоко, но надо скорее одеться, ей стыдно, как же при мужчинах, может быть, они на минуту выйдут, задыхаясь, говорила она, наклонившись к туфлям на полу и все так же бросая быстрые взгляды на него, на человека с пулеметом, на стоявших за ним людей.

— Вы не барышня, — прервал ее грубо Валерио, не справившийся с ролью освободителя.

Она вдруг замолчала и, раскрыв рот, откинув набок голову, снизу смотрела на него расширенными глазами. С минуту в комнате была мертвая тишина.

— Куда?.. Куда вы хотите ехать? — невнятно спросил Муссолини.

— Вы вооружены? — спросил полковник.

Его голос, вопрос, глаза ясно говорили: «Пришел убить». Они молча в упор смотрели друг на друга. Затем оба поспешно отвели глаза. «Я сейчас, одна минута... Как досадно, у меня порвался чулок... Мыться будем в Швейцарии... Вот, вот я и готова, я всегда одеваюсь быстро», — полушепотом говорила Клара.

— Нет, я не вооружен.

— Тогда идем, — сказал Валерио, отступая от двери в сторону. Тут в театре надо было бы наклонить голову и отвести дугообразно руку. Мешал бывший у него в руках пулемет. «Выстрелит в спину, когда я выйду?.. Подкупить?» — в последний раз привычной мыслью подумал Муссолини и вскрикнул, взмахнув рукой.

— Я дам тебе империю!

Но сам почувствовал, что слова его бессмысленны, и быстро направился к двери. Клара бросилась к нему и вцепилась в его руку. «Нет, не выстрелил!..» Сбоку снова рвануло ветром дверь. В стороне, не кланяясь, не сводя с них глаз, разинув рот, стоял хозяин дома.

Они спустились по холму. В древнем каменном бассейне текла вода. Две женщины шли стирать белье с корзинами на головах. В их виде было тоже что-то древнее, и бодрое, и успокоительное. «Спасите!.. Зовите людей!.. Это дуче! Они убьют дуче!» — хотела кричать Клара, но не кричала. «Нет, нет, неправда! Быть не может!..»

За бассейном стоял черный «фиат». Они сели. Он поднял воротник пальто. «На нем берет, это может обратить внимание», — выговорил Валерио. «Сейчас... Сейчас все сделать... Историческая казнь... Это улица 24 Мая», — думал он. «Снять берет? А моя лысина?» — еле слышно сказал Муссолини и из последних сил постарался улыбнуться. На лице Валерио тоже выступило подобие улыбки. Его помощник Гвидо хотел что-то сказать: ему было тяжело молчать все время. Автомобиль вдруг замедлил ход и остановился.

— Кажется, слышен какой-то шум, — шепотом сказал полковник, придумавший еще и это. — Надо посмотреть, в чем дело.

— Шум, — шепотом повторил Муссолини. Клара все сильнее сжимала его руку.

Валерио вышел, зачем-то прошел до конца стены. На воротах дома был номер 14. На стене была плохо замазанная надпись: «Муссолини всегда прав». Валерио провел рукой по лбу и, преобразившись, быстро пошел назад к автомобилю с каменным неумолимым лицом.

— Сходить!.. Скорее сходите!.. Оба! — визгливо прокричал он.

— Игра кончена! — закричал Гвидо, придумавший наконец историческое слово. Клара разжала пальцы. Он вышел, она бросилась за ним. Полковник поднял пулемет и прокричал: «Я исполняю... волю итальянского народа!» Голос у него сорвался на последнем слове. Его прервал истерический крик Клары: «Нет, Муссолини не должен умереть!..» Она рванулась к нему и закрыла его своим телом, широко расставив руки. Он что-то невнятно бормотал. Клара визжала диким отчаянным визгом на одной ноте. Загремели выстрелы. Она упала, убитая наповал. Пулемет Валерио застопорился. Гвидо метнулся к нему, подал ему свой и тоже что-то завизжал, отчаянно мотая головой. «...народа!» — визжал, стреляя, Валерио. Муссолини тяжело повалился на землю.

## IX

«Клара Петаччи также была мертва, — пишет в своих воспоминаниях полковник. — Она не была приговорена к смерти, но и она умерла. «Превосходно, —



подумал я как бы в далеком тумане, — останется меньше одним комплектом дамского белья». Если бы мое новое оружие не выстрелило, я раздробил бы ему голову прикладом. Что бы ни случилось, он должен был умереть. Я не чувствовал никакого отвращения, только усталость, большое спокойствие и необычайное облегчение. Я исполнил свой долг. Оставив двух часовых у трупов, я отправился в Донго, чтобы привести в исполнение приговор над шестнадцатью другими осужденными. Когда это дело было кончено, мы вернулись за двумя трупами и положили их на грузовик. В восемь часов вечера мы отправились назад в Милан. Наше поручение было выполнено в предписанный срок... На миланской дороге мы встретили первый американский танк. Это шел союзный авангард».

## ИСТРЕБИТЕЛЬ

### I

Этот дворец построил в Алушке сто лет тому назад несметно богатый русский князь. Он хотел создать в Крыму, тогда сплошь населенном мусульманами, дворец в восточном стиле и велел его строить по образцу испанской Альгамбры. Но князь, воспитывавшийся в Англии, поручил постройку знаменитому шотландскому архитектору, и мавританский стиль дворца стал напоминать английскую готику. Много своего внесли также выписанные из Италии многочисленные мастера. И странным образом создалось над морем чудо из серо-зеленого камня, не похожее ни на что другое в мире. Вели ко дворцу по садам гранитные террасы с цветниками и лестницы белоснежного каррарского мрамора. Везде были фонтаны со сквозной резьбой, львы, статуи, саркофаги. Стены мавританских дворов были затканы ползучими розами.

Последняя владелица дворца по каким-то воспоминаниям не любила его и почти никогда в нем не бывала. При переходе к ней огромного крымского майората большая часть мебели была продана. После революции в 150 комнатах дворца распоряжались разные учреждения, во время войны похозяйничали в нем немцы, но все же остались целы и дворец, и волшебные сады, в которых росли кипарисы, магнолии, лавры.

В январе 1945 года по Южному берегу Крыма прошел глухой слух, будто скоро должны туда прибыть очень важные особы. Ежедневно стали приходиться грузовики с мебелью, посудой, разной утварью. Приезжали новые люди, для которых у местных жителей отбирали помещения в Ялте, в Алушке, в Ливадии, в Симеизе, в Гурзуфе.

Получил приказание выехать и Иван Васильевич. Он жил у большой дороги в низенькой татарской сакле с плоской глинобитной крышей. Иван Васильевич, мало зарабатывавший одинокий человек, не держал домашней работницы и сам вел свое хозяйство. В сакле у него было то, что испокон веков полагалось у зажиточных татар. Пол был выстлан циновками, а поверх них, у стен, узкими ковриками с каймой. Два низких дивана были покрыты кошмами. Над одним на ковре вокруг длинного тяжелого кремневого ружья с раструбом и сошкой висели лук, стрелы, широкий нож с деревянной рукояткой, нагайка с серебряным кольцом, уздечка с тяжелыми коваными удилами. Это осталось, как было у татарина. На другой же стене Иван Васильевич в 1937 году, бормоча про себя что-то невнятное, повесил портрет Сталина. Вокруг стола стояли соломенные стулья, на столе были погнувшийся самовар, поднос с толстыми фаянсовыми чашками, чернильница без крышки и самопишущее перо со сломанным рычажком. На большой этажерке, повалившись влево на всех ее полках, стояли собрания сочинений русских классиков и ученые книги: «Психология женщины при свете новых фактов и теорий» профессора Патрика, «Опыт упрощения жизни», «Вокруг Вальденского озера» Торо, «Поэзия и правда мировой любви (В. Г. Короленко)» Ивана Иванова. Были еще технические руководства и оставленный сыном «Гектор Сервадак» Жюль Верна. В этой крепко сшитой книге в красном раззолоченном переплете Иван Васильевич хранил свои сбережения, в расчете на то, что вору не придет в голову рыться в библиотеке. На правом диване теперь еще лежало Священное Писание. Он был с юношеских лет неверующим человеком. Прежде держал эту книгу под замком: у него бывали разные люди. После смерти сына часто читал Пророков и Новый Завет. С прошлого же четверга больше книги не прятал: теперь ему было все равно.

До обеда Иван Васильевич уничтожал насекомых в садах. Вернувшись к себе, поднимался в хорошую погоду на крышу. Там у него был шатающийся столик со старой подошвой под одной из ножек, выцветшая скамейка и жаровня. На крыше он готовил наливку и

раствор парижской зелени, варил овечий сырчик, а когда мог купить мяса, жарил шашлык, — проходившие по дороге старые татары, все приятели, неодобрительно поглядывали на человека, который жарит баранину. В теплое время года Иван Васильевич на крыше и ночевал, подостлав под себя кошмы. Перед сном пил чай или, когда бывало грустно, вишневую наливку. Набивал и курил одну за другой легкие папиросы, слушал лай собак и поглядывал на таинственно уютные желтые огоньки вдали.

— За границей, к крайнему моему сожалению, мне не удалось побывать, — говорил он Марье Игнатьевне в ее последний приезд (до четверга) из Ялты в Алупку, — и уж, конечно, никогда не придется, но...

— Почему это не придется? Буза! — с вызовом перебила его она. — Мы с вами еще съездим и в Париж, и в Лондон. Надо увидеть то, что есть хорошего в закатавающейся буржуазной цивилизации.

— Вы, может быть, и увидите. Вы еще молоды... За границей я, повторяю, не бывал, но думаю, что таких видов, как с этой крыши, немного найдется и там: море, снеговые горы, тропические сады! Говорят, князь Воронцов истратил на свой дворец двадцать миллионов рублей. Когда они продавали мебель и картины, то при этом разбазаривании выручили два миллиона! В известном смысле можно утверждать, что эти люди и довели Россию до большевизма... Впрочем, извините, беру свои слова назад, — с улыбкой добавил он. Марья Игнатьевна не состояла в партии, но очень ей сочувствовала. Он знал, однако, что она никогда его не выдаст.

— Вздор! Буза! — сказала она. Марья Игнатьевна была еще ребенком, когда произошел октябрьский переворот, и говорила по-советски. Работала она с молодежью и, немного под нее подделываясь, часто употребляла слова «комса», «задавка», «гвоздь парень», а заведение, в котором получила образование, называла «педвузом». Ему, впрочем, казалось, что она новые слова употребляет не совсем так, как молодежь. Но и эти, и ее другие выражения: «Ясно», «Я вам говорила и повторяю» — нравились ему, как нравилось ее миловидное, уже чуть тронутое временем, всегда оживленное лицо.

— «Довели страну до большевизма!» Сказал!

— Беру свои слова назад. Вы, я знаю, довольны революцией.

— спрашивает!

— Нет, я не спрашиваю. Я только хотел сказать, что с некоторой точки зрения, быть может, именно я избрал благую часть: поселился навсегда в сакле на большой дороге, гляжу на море, на горы, истребляю вредителей, которые могли бы уничтожить чудесные сады и виноградники. Ну и живу.

— Дело не в том, где кто живет, а в том, кто что делает! — ответила она со своим обычным энергичным выражением в тоне голоса. — Вы работаете классно, выявили себя как спеца и имеете все права на уважение советского коллектива. Нам теперь нужны хорошие работники для социалистического строительства. Не изображайте из себя тургеневского лишнего человека, ваше сиятельство.

Она часто так его в шутку называла и говорила с ним таким тоном, будто он до революции был большим сановником или помещиком. Иван Васильевич не раз слышал и то, что он тургеневский или чеховский персонаж. Он и хотел походить на полковника Вершинина, но ни малейшего сходства с ним в себе не находил. «Критики говорят, у Чехова в пьесах ничего не происходит. А у него что ни пьеса, то выстрелы, самоубийства, дуэли, пожары. Вот со мной действительно за всю мою жизнь ничего не случилось. Революция, войны, так ведь все за меня делалось и меня не спрашивали... Глупости она говорит...» Однако ее слова его не раздражали. Она говорила глупости мило, и ее московский говорок был ему особенно приятен в Крыму, где люди говорили по-русски не особенно хорошо. Порою, когда вид ее показывал, что сейчас она скажет что-то особенное, он даже испытывал легкое волнение вроде того, какое чувствуют в опере меломаны перед началом знаменитой арии.

— Ах, все люди в известном смысле лишние, Маша Игнатьевна.

— От вас только и слышишь, «что в известном смысле» да с «некоторой точки зрения»! Вы, верно, и влюблялись всегда в «известном смысле». А дело в том, что вам нужно переехать из этой грязной сакли, — сказала она, брезгливо оглядываясь по сторонам. Иван Васильевич покраснел, и от этого его худое,

длинное лицо стало привлекательней. Его сакля в самом деле была грязна, да и сам он ходил в заношенной косоворотке и менял белье раз в неделю.

— Если ваше здоровье непременно требует жизни на юге, то надо переехать в большой культурный центр вроде Николаева.

Он не мог ей ответить, что никуда от нее не переедет. Впрочем, думал, что не влюблен в нее, по крайней мере не так влюблен, как полковник Вершинин в Машу.

— Что же я буду там делать? Там ни виноградников, ни, кажется, садов нет.

— В Советском Союзе можно найти работу. Это не капиталистическая страна. Кончится война, вы переедете. Совсем не обязательно всю жизнь истреблять блох... Хотя, ясно, это такой же почтенный труд, как другой, и вы себе составили крупное имя в этой области.

Он опять смутился, несмотря на то что она тотчас смягчила свои слова комплиментом. Иван Васильевич понимал, что она относится к его ремеслу пренебрежительно. Марья Игнатьевна была декоратором, ее до войны приглашали украшать дома отдыха, она читала в Николаеве лекции о Рембрандте и Бродском.

Сам он своего ремесла не стыдился. Иногда по вечерам он писал, опуская самопишущее перо без чернил в чернильницу без крышки. Начал было когда-то набрасывать статью «Опыт философского подхода к неэстетическим видам труда» и скоро сжег рукопись на жаровне. Писал и о русской литературе заметки, в которых называл Толстого великим писателем земли русской, а Белинского неистовым Виссарионом. Иван Васильевич знал, что он образованнее и, быть может, умнее большинства окружающих его людей; но в написанном виде его мысли казались ему глупыми, и он все сжигал. Говорил себе, что напечатать заметки было бы все равно невозможно и разумнее их не сохранять.

Истребителем насекомых Иван Васильевич стал случайно, от нужды. Перед первой войной он учился в Москве на медицинском факультете, жил уроками впроголодь, но каждый день покупал «Русские Ведомости» и выписывал «Русское Богатство». В 1914 году по отсутствию средств вышел из университета в наде-

жде позднее закончить образование и скоро призван в армию. Служил он на малозаметном кавказском фронте, там заболел тяжелым воспалением легких и был освобожден от службы, не получив никаких наград. В революции участия не принимал — только что на выборах голосовал за народных социалистов. В пору голода он стал очень кашлять. Врач сказал, что единственное для него спасение — переехать на юг. Иван Васильевич поселился в Симферополе, работал в больнице, в аптеке, в лаборатории, заболел сыпным тифом и, выздоровев, женился, больше из благодарности, на ухаживавшей за ним сестре. Через три года он согласился на развод, оставив жене сына, и, чтобы не оставаться с изменившей ему женой в одном городе, переехал на Южный берег Крыма. Не найдя другого заработка, стал работать в садах. С годами он приобрел себе имя. Напечатал в ученых изданиях несколько статей: «Еще к спорам о падушке и виноградной блошке», «Ранцевые помоны в борьбе с филоксерой», «Так, значит, все-таки опрыскивать?» (с подзаголовком: «Вынужденная отповедь головотяпам»), — надо было писать, как другие, и головотяпы в тот раз очень его рассердили.

Он был высокий, очень худой, чуть сутуловатый человек с горячими сухими руками, с усталым приятным лицом. Дамы равнодушно говорили о нем, что он, скорее, недурен собой. Все признавали, что он человек очень образованный... Иван Васильевич покупал имевшие успех книги и, если книга оказывалась хорошей и лишь в меру необходимости лэстивой, радовался как ребенок и имел такой вид, точно произошло большое событие, которое должно иметь важные политические последствия. «Как хотите, это очень показательно», — говорил он Марье Игнатьевне. Но гораздо чаще, прочитав новую книгу, вздыхал и ничего не говорил. Автора, впрочем, не осуждал: «Повесил же и я у себя его портрет». Как-то раз он в глубокой тайне получил от знакомого, который имел друзей в партактиве, старый номер парижской эмигрантской газеты, прочел все, включая объявления, затем сжег на жаровне. Он с гимназических лет немного знал французский и немецкий языки, а в Крыму по самоучителю научился читать по-английски, но произносил слова так, как они писались. К нему иногда направляли заезжих ино-

странцев, тех, которым разрешалось встречаться с населением. Какой-то американский коммунист, кое-как поговорив с ним, спросил, чем он занимается. «Жоб? Бусинесс?» — понял Иван Васильевич и, чуть смутившись, ответил. «I see. Exterminator», — сказал снисходительно американец. Иван Васильевич пояснил: полатыни значило — истреблять. Было скорее приятно, что в культурной западной стране тоже существует такая профессия; но это слово ему почему-то не понравилось.

Его приглашали на работу в Ялту, в Гурзуф, в Алушту. В пору полного безденежья он, когда мальпоста не было, уходил туда пешком. Если же в «Гекторе Сервадаке» кое-что было, нанимал у старого татарина низкорослую широкогрудую лошадь, надевал чевяки, перебрасывал через седло суму с парижской зеленью и с керосиновой эмульсией, а к спине прицеплял ранец с опрыскивателем, придававший ему дикий вид. Ездил он верхом недурно и часть дороги проделывал галопом — рыси не любил. Никогда умышленно работы не затягивал, был известен своей добросовестностью. Среди насекомых различал легкие и тяжелые породы. Особенно трудно было истреблять долгоносиков. Когда в садах и виноградниках работы не было, истреблял в домах клопов и тараканов. Эту работу можно было найти всегда.

До войны он нередко ездил в гости, еще чаще звал гостей к себе и угощал их блюдами собственного изготовления. Купил какую-то старую поваренную книгу, но от нее пользы оказалось немного. Читал: «Очистить молодую хорошо откормленную индейку, обжарить в сливочном масле с мелко нашинкованными трюфелями, добавив два стакана старого хереса. На фарш сварить пятьдесят штук раков, из скорлупы сделать раковое масло, убрать филейчиками, нарезать звездочками шпик. Очень вкусно». «Да, это, вероятно, *было* очень вкусно, — думал иронически Иван Васильевич, никогда таких блюд не евший и до революции, — мы будем это есть после окончательного торжества социализма во всех странах».

В этой подержанной, купленной по случаю книге оказался листок очень плотной золотообрезной бумаги со стихами, видимо, переписанными очень давно. Иван Васильевич и не знал, чьи это стихи о любви, —



и недоумевал, как они могли оказаться в поваренной книге; но часто их перечитывал, особенно с той поры, как сам *почти* влюбился на старости лет. Поваренная книга была ему не нужна, однако он любил ее просматривать, а золотообрезным засаленным листком пользовался как закладкой.

Раза два в год его прежде навещал сын, юноша по духу ему чужой, но славный, менее грубый, чем другие молодые люди. Он был убит в первый же год войны. После его гибели Иван Васильевич больше не садился на лучший, левый от входа диван. Сам он несколько месяцев дежурил на крышах с противогазовой маской, он и для дежурств годился плохо: так и не научился отличать «мессершмитты» от своих. Он был всегда плох в технических предметах, не умел ничего починить и не разбирался в автомобилях, — сын только поглядывал на него со снисходительной улыбкой, как деревенские жители смотрят на людей, не умеющих отличить пшеницу от клевера. Когда немцы стали подходить к Южному берегу Крыма, Иван Васильевич пытался уехать, но это ему не удалось: поезда, грузовики, брочки, арбы, тачанки были захвачены более влиятельными людьми, чем он. Впрочем, во все время владычества немцев он их видел лишь издали, обходил даже часовых или отворачивался от них с отращением и ненавистью.

В прошлый четверг случилось это. Вернувшись от врача, Иван Васильевич сел на правый диван и долго смотрел перед собой на раструб кремневого ружья и думал, что же нужно сделать. «Самое странное, что ничего делать не нужно, да и невозможно... Все очень просто. Вот дело и кончено...»

Врач сказал, что у него рак: «Похоже на рачок, гражданин, похоже на рачок». Впрочем, гистологического анализа еще не было: надо было послать ткань куда-то в другой город. Это требовало времени, особенно теперь. «Грубая жизнь, — устало думал Иван Васильевич. — В Америке, наверное, сделали бы анализ тотчас. Грубая жизнь... В наше время ни один врач не сказал бы пациенту: «У вас похоже на рачок...» У нас были традиции... Ну, там Пирогова или Грановского... хотя при чем же тут Грановский? Может быть, этот субъект был навеселе, и он прав, нам нельзя не пить. Мне запретил, да не все ли теперь равно? А вчера

еще мечтал, старый дурак, о Марье Игнатьевне! Она приезжает в воскресенье, сказать ей? Конечно, нет, зачем? Она будет огорчена, но скоро забудет. Другие забудут на следующий день, и тоже правы... Грубая, грубая жизнь», — думал Иван Васильевич, все так же глядя на раструб кремневого ружья.

### III

Приказ о выселении привез ему знакомый, которого все называли Пистолетом. Он служил в полиции всю жизнь: при царском строе, при Временном правительстве, при большевиках. Иван Васильевич знал его, как знал почти всех на Южном берегу, немного стыдился этого и в оправдание себе говорил, что в известном смысле порядочным человеком можно быть при каком угодно занятии. Впрочем, тут же сам себе отвечал, что едва ли, например, может быть порядочным человеком сутенер. «В НКВД он как будто не служит». На обед он Пистолета к себе не приглашал, но когда тот приезжал наудачу или останавливался по дороге у его сакли, угощал его наливкой и объяснял себе: «Попробуй-ка такого не принять!» Все говорили, впрочем, что Пистолет «человек компанейский». Без необходимости он гадостей не делал; по необходимости же делал их очень легко: надо так надо. Иван Васильевич не раз это видел. Тем не менее ему, к собственному его удивлению, иногда бывало приятно поболтать и особенно выпить с Пистолетом. Это был невысокий человек; от него веяло здоровьем, благодушием и весельем. Он недурно пел крымские песни и своеобразно ругался; по его ругательствам: «меньшевик паршивый», «беспартийная шпана», «сателлит», «троцкист собачий», «фашистский гад» — можно было, по мнению Ивана Васильевича, следить за политическими событиями. Пистолет отлично рассказывал анекдоты, до революции всякие, теперь всякие, кроме грузинских. Прекрасно изображал оканье «мнихов» или еврейский акцент. При немцах он только потому не закричал «Бей жи-дов!», что эвакуировался до их прихода в числе первых. Со временем, может, и закричит, но только если выгода будет верная и ясная. Вероятно, вокруг Тушинского вора были все такие люди. «А пульс у него,

должно быть, 70 и давление крови 14», — думал Иван Васильевич. С четверга он невольно следил за людьми, вид которых как будто свидетельствовал о болезни. У старого пекаря-соседа был апоплексический вид. «У него давление, верно, не меньше 25. Может умереть раньше меня», — думал Иван Васильевич, и, несмотря на его доброту, эта мысль немного его утешала. А сын соседа, мальчик, мог прожить еще лет шестьдесят. Иван Васильевич только себе представил: шестьдесят лет! «За это время, наверное, найдут средство излечивать рак... А то, может быть, его найдут через неделю после моей смерти», — думал он, почти с ненавистью поглядывая на сидевшего перед ним здорового толстокожего человека.

— Мать честная! Що це у тебе, царь Грозный, вид такий, як, кажуть, краше в гроб кладуть, — сказал Пистолет, вглядываясь в него с любопытством (хотя в полицейском отношении Иван Васильевич был совершенно неинтересен). Пистолет был родом из Велико-россии, но постоянно вставлял в свою речь малороссийские, еврейские, татарские слова. «Как это глупо и неестественно!» — подумал Иван Васильевич. Его из-за имени-отчества и тихого характера остряки часто звали Иваном Грозным. — Чи болен? Чи влюблен в гарну дивчину? А може, хочеш кого застукать?

Иван Васильевич, доставая из шкапчика угощение, ответил, что не болен, не влюблен и никого застукать не хочет. Он налил наливки в фаянсовую чашку с желтой трещиной внутри, напоминавшей по форме линию жизни. Его стаканы давно все поразбивались.

— А ты что же не пьешь, дуся? Нездоров или що?

— Исхудал? — быстро спросил Иван Васильевич.

— Штоб да — так нет, не исхудал. Треба выпити, дуся. Один севастопольский герой, того Севастополя, пьяница, николаевский солдат, говорил: «Водка — враг мой, но Христос велел любить и своих врагов». Так-то, дуся. Хороша твоя наливка, грих хаять. На родительских? — спросил он, немного подчеркивая свой либерализм в вопросах веры: так прежде назывались лучшие вишни, поспевавшие к родительской субботе.

Поболтав еще немного, Пистолет передал Ивану Васильевичу приказ о выселении. Прежде такой приказ показался бы Ивану Васильевичу большой бедой. Теперь он и к этому отнесся почти равнодушно.

— Да в чем дело? Кто такой приезжает?

— Черчиля ждут, дуся, — сказал Пистолет. — Черчиля. Конференция буде.

— Что же, вы мою саклю отдадите Черчилю? — со слабой улыбкой спросил Иван Васильевич, делая из вежливости тоже ударение на последнем слого. Пистолет засмеялся.

— Оце ты здорово казав! Твоя сакля, дуся, дюже гарна, буде с него, биса, Воронцовского дворца.

— Так чем же я ему мешаю?

— Ты ему, дуся, не мешаешь, це он тоби мешае. Ты как полагаешь, охранять Черчиля треба? Та вже ж треба. Може, где ишо тут и хрыци запропастылись, — сказал Пистолет, и лицо его стало серьезным; он перестал употреблять малороссийские выражения. — Приезжих из Москвы ребят надо, а? И еще угораздило тебя, брат, поселиться у дороги на аэродром. Короче говоря, я из уважения к тебе приехал предупредить за день. Других просто гонят в шею: собирай, брат, свои манатки, ступай на все четыре стороны, и никаких гвоздей.

— Я-то на какую из четырех сторон пойду? — сердито спросил Иван Васильевич. Пистолет на него посмотрел.

— Ша! — сказал он и встал из-за стола. Выпятив грудь, расставив руки с крепко сжатыми кулаками, он запел: «Поедем, охотник, кататься, — Я волны морские люблю...» Иван Васильевич соображал, у кого ему попросить гостеприимства. «Или прямо в больницу пойти? Ни за что!»

— Найдешь, дуся, куда деться, — сказал Пистолет и налил себе в чашку еще наливки. — Кого другого, а тебя все примут как дорогого гостя, а то и мы шепнем, чтобы приняли как следует. Ну, Михайлову упроси, у нее славная квартирка. Партбилет с 1919 года, активистка и завженотделом. У нее насильно не реквизишь. И то правда, что теперь в Ялте такая трепотня идет.

Рассказав о трепотне, выпив всю бутылку наливки, Пистолет сообщил, что дело не в Черчилле.

— На Черчиля, ты сам понимаешь, нам с третьего этажа начихать. Лордам по мордам! Да и кто его тронет? Ни одного живого фрица во всем Крыму нет. Сам приезжает, вот что! Будет жить в Юсуповском

дворце, — сказал он, понизив голос и заранее наслаждаясь эффектом своих слов. Но на Ивана Васильевича теперь и приезд самого не произвел особенного впечатления. Пистолет огорчился и пожалел, что сказал. — Только ты, дуся, никому ни слова, слышишь? Сам понимаешь!

— Да кому же я скажу? Трубновертам на винограде, что ли? — угрюмо отозвался Иван Васильевич. Пистолет опять на него посмотрел, взял книгу с дивана и пожал плечами.

— Читай, дуся, читай. Теперь тебе за это никто ничего припаять не может, не те времена... А вообще держи ухо востро. Я тебя худому не учу, да ты меня не очень слушаешь. Как в твоём Писании сказано: «Писахом вам, а не плясасте», — вставил Пистолет. — О своих же вещах не кручинься. Братва такая, что золото им положь, и того не стащат. Им за воровство чуба накрутят.

— Почту будут ли пересылать?

— Я им скажу, оставь адрес... Хочешь свежую газету? Вот. Ну, прощай, спасибо за угощение.

Проводив гостя, Иван Васильевич поднялся на крышу и занялся обедом. Марья Игнатьевна обещала приехать к четырем часам. «Да, да, не все ли равно теперь?» — думал он, чистя картошку. Он в самом деле знал нескольких человек, которые, хоть и без радости, не отказались бы ненадолго приютить его. У Ивашкевичей была свободная комната, оставшаяся от трех убитых на войне сыновей. «Да уж очень тяжело теперь с ними. «Братва» все перероет и просмотрит. Ничего недозволенного у меня нет...» Решил взять с собой и письма Марьи Игнатьевны, хотя они были самого невинного содержания. Последнее письмо от нее пришло за несколько дней до того. «Приеду «на чашку чаю» и сообщу вам приятную новость», — писала она, опять шутливо подчеркивая взятыми в кавычки словами его дореволюционный склад мыслей. «Какая такая приятная новость? Какие теперь могут быть приятные новости?» — подумал Иван Васильевич.

Он насадил на вертел баранину, за которую утром отдал почти все свои деньги. Жарить еще было рано. Иван Васильевич стал просматривать поваренную книгу. Она открылась на свадебном обеде. «Девушка выхо-

дит замуж не трижды, а раз в век, нельзя не постараться для свадьбы. Скажем, для начала, под водочку: холодные, студень, заливная рыбка, поросенок под хреном, ветчина с кореньями, майонезик из цыплят, икра, соленья, всякая мелочь. Потом щи и уха: попадется и хворый гость, а отведает и того и другого, ежели повара постараются. Пирогов два: к примеру, с кашей и с курицей. Жарких достаточно подать четыре: телятину, баранину, гусей и уток, а кто любит поесть, предложить еще жареных карасей. Потом два-три киселя, сладкие пироги, оладьи с медом, розанчики, желе, сладкие ленты. Ничего заморского, никаких устеров не нужно. А уж на вина надо потратиться, чтоб были старые, крепкие: как хлебнешь — упадешь, вскочишь — еще захочешь. Зато гости встанут довольные. Кто постарше, заляжет соснет, а молодежь будет играть в жмурки, в веревочку, в кошку-мышку».

Иван Васильевич представил себе, как играет молодежь, и рассеянно взял золотообрезный листок:

Для кого расцвела? Для чего развилась?  
Для кого это небо — лазурь ее глаз,  
Эта роскошь — волнистые кудри до плеч,  
Эта музыка — уст ее тихая речь?..

Он попробовал представить себе такой Марию Игнатьевну, вздохнул и посмотрел на часы. Вспомнил о газете, прочел приказ Верховного Главнокомандующего и оперативную сводку. «Мемель взят, слава Богу», — радостно подумал он. Войска маршала Жукова находились в 130 километрах от Берлина. Американские бомбовозы сбросили 2500 тонн бомб на германские города. «Так им, проклятым, и надо». Со времени гибели сына особенно ненавидел немцев. Просмотрел другие заголовки: «Новый успех машиниста Дмитрия Коробкова», «Торжественная клятва сталинградских тракторозаводцев», «Легкомысленное отношение к отгонному животноводству...». Иван Васильевич опять вздохнул, отложил газету, взял вертел и стал жарить мясо.

Солнце уже садилось. По дороге проходили люди, неприятные и страшные тем, что всем им, наверное, оставалось жить более двух месяцев. «Говорят, не все ли равно: немного раньше, немного позже. А ради этой разницы между «немного раньше» и «немного

позже» делается три четверти того, что делается в мире... Обо мне даже и объявления не будет. Марья Игнатьевна узнает дня через четыре... От кого она может узнать?» — рассеянно думал Иван Васильевич, глядя в сторону моря. Воронцовский дворец горел красным пламенем.

«Господи, как хорошо! Во сне не выдумаешь этих садов, этих красок, этого волшебства... Там-то они, голубчики, будут решать нашу судьбу, мою судьбу. Съехались освободители, ну, решайте, решайте... Впрочем, что ж, они и в самом деле освобождают... Но с выбором, с разбором», — подумал он злобно. На него иногда находили припадки злобы и даже бешенства, как будто находили без видимой причины, но входило сюда все: и его жизнь, казавшаяся ему загубленной, и его заношенное белье, и отсутствие «Русских Ведомостей», и то, что он повесил портрет Сталина, и то, что он принимал и угощал такого человека, как Пистолет, и многое другое. В эти минуты он забывал о достижениях советского строя, которые признавал и ценил не только в разговорах с Марьей Игнатьевной, и с ненавистью думал об иностранцах, особенно об иностранных правителях. «Все, все они лицемеры и обманщики». «Жир терял, дурак, гаспадын товарищ!» — благодушно закричал с дороги старый татарин и дружелюбно помахал ему рукой.

#### IV

— У Вашего Сиятельства в сакле всегда немного пахнет прокисшим молоком. Вот что значит готовить у себя дома овечий сыр, — сказала Марья Игнатьевна. — Я говорила и повторяю, что вам, с вашими запросами и способностями, надо жить в Николаеве.

У нее и теперь был такой вид, как будто она сейчас сделает что-то очень важное и приятное. Войдя в саклю, она критически осмотрела стол, чуть поморщилась, потребовала полотенце и тотчас принялась за работу: перетерла тарелки и чашки, отогнула ключом крышку жестянки с американскими консервами, налила себе водки (Иван Васильевич утаил от Пистолета крошечную бутылку). Ела она с аппетитом и всегда все хвалила, так что на нее было особенно приятно стряпать.

— Я нынче пить не буду.

— Что так, Ваше Сиятельство! Или нездоровы?

— А что? Исхудал?

— Немного как будто похудели. И отлично, что вы не пьете. По-моему, вы в последнее время злоупотребляли. Ну так я выпью без вас... Отличная водка, — говорила она, намазывая лепешку консервами. — Но прежде всего приятная новость. Вот в чем дело, Ваше Сиятельство. В Ялте скоро состоится важная международная конференция. Для вас есть работа.

— По дипломатической части? — слабо пошутил он.

— Нет, по истреблению клопов. Во дворце Николая Романова в Ливадии. В этом дворце, как вы знаете, долго был крестьянский санитарий и теперь нужна дезинсекция. Приезжают люди из Москвы, но наши вас рекомендовали как выдающегося местного спеца. Ваша помощь признана необходимой, это хорошо оплачивается, а я догадываюсь, что вам деньжата пригодятся. Во дворце останвится президент Рузвельт...

Она уже все знала: кто приезжает, где кто будет жить. Нашлась работа и для нее: ее включили в комиссию по приведению в порядок Воронцовского дворца. Иван Васильевич был и разочарован новостью, и тронут: понимал, что рекомендовали его не «наши», а она. Он грустно смотрел на нее и думал, что еще в среду мечтал о женитьбе на ней, хотя, вероятно, без всякого права. В старых романах Иван Васильевич читал о хороших и плохих партиях. Теперь слова «партия» в таком смысле никто из молодых, верно, не понял бы, но понятие, выразившееся этим словом, осталось, изменились только его признаки. Михайлова, активистка и завженотделом, была прекрасная партия; Марья Игнатьевна, получавшая немалое жалованье, имевшая комнату с собственной кухней и с проточной водой, была хорошая партия; сам он, конечно, был никакая партия. К тому же в последние годы ему лишь редко приходило в голову, что он еще может нравиться женщинам. В одну из таких редких минут была куплена у букиниста книга профессора Патрика.

— ...Я сегодня в первый раз по-настоящему осматривала Воронцовский дворец, — говорила она, наливая себе вторую рюмку. — Да-с, сладко жили эти ваши крепостники. У княгини, видите ли, была гардеробная, ну, я вам скажу! Для библиотеки было чуть не целое



здание, хотя никто из них, ясно, книг не читал. Картины графье продало, но остались фамильные портреты, мы сегодня совещались, снять их или нет. Решили оставить: под ними выщвели шпалеры. Мебель пришлось привезти из Москвы, теперь будем все расставлять и приводить в порядок. Работы пропасть, а так как в Ялту ездить далеко, то мне отвели комнату в каком-то флигеле. Вот приходите ко мне по вечерам, когда будете возвращаться из Ливадии.

— Не буду возвращаться, Марья Игнатьевна, — сказал он со вздохом и сообщил, что его выселяют. У нее на мгновение вытянулось лицо, но тотчас снова показалась улыбка.

— Ясно! — сказала она. — Частные граждане должны поступаться своими удобствами в интересах государства. Куда же вы поедете?

— Не знаю. Думаю, к Ивашкевичам.

— Ну вот! Да у них и реквизируют комнату. В Ялте теперь все переполнено. Я не думала, однако, что понадобится и ваша сакля. Постойте, — сказала она, еще не зная, хорошо ли придумала или нет. — Знаете что? Переезжайте ко мне! От Ялты в Ливадию рукой подать.

— К вам? — сказал Иван Васильевич, пораженный и почему-то приятно сконфуженный. — Как к вам?

— Так, ко мне. Раскумекайте сами: это вы мне окажете услугу, я, по крайней мере, буду спокойна за мою квартиру. Вы будете держать ее в полном порядке, — сказала она без большой уверенности в голосе. Взгляд ее задержался на его косоворотке. — Только одно: моей кровати не трогайте, вы будете спать на диване. Постельное белье и подушку я вам, ясно, дам. Не благодарите, буза!

— Я очень тронут, но... Я не могу не благодарить...

— Так предположим, что вы меня уже поблагодарили, а я сделала Вашему Сиятельству реверанс. Как вам не совестно!.. Неужто у вас правда будет шашлык? Где вы достали баранину?

— Достал. Но, кроме шашлыка, ничего не будет, даже фруктов не мог нынче достать, — сказал Иван Васильевич, у которого не хватило денег для покупки сладкого.

— Ясно. Вы не князь Воронцов, чтобы устраивать обеды из четырех блюд... Где же он, шашлык? Ах да, на крыше, — сказала она и захохотала. Смех у нее был особенно милый. — Хотите, я помогу? Нет? Ну так карбкайтесь вы на крышу, живо.

Он засуетился, взял тарелку, побежал. На крыше, схватив сковородку, задумался: жить у нее, в ее комнате, спать на ее диване! И тут же вспомнил *это*. Радость как рукой сняло. Он вздохнул и пошел вниз, держа впереди себя вертел вертикально, как держат свечу. Она тем временем в саkle критически осматривала его диваны, шкафчик, хозяйство. «Почти ничего пригодиться не может... Кошмы выбросить... Плохо живет. Но, правда, он очень, очень славный человек, верный друг. Во многих отношениях он лучше всех молодых, да, пожалуй, и умнее». Она увидела, что он незаметно поддерживает пальцем кусок мяса на вертеле, опять залилась смехом.

— ...Нет, нет, ничего, я так... Просто мне очень весело и уютно с Вашим Сиятельством. Да, да, недурно жили эти крепостники, — говорила она, снимая с вертела мясные кружки. — Четыре вам, четыре мне, по-братски. — Он вспомнил, что до *этого* раз кто-то при нем назвал ее Марьей Васильевной и что ему это было приятно: точно она была его сестрой. — У княгини в гардеробной стояло шестнадцать огромных шкапов, каждый чуть не больше вашей сакли!

— Князь Воронцов, — сказал Иван Васильевич, — в 1815 году командовал чем-то во Франции. Наши офицеры жили весело и все понаделали там долгов. Так вот, чтобы не запятнать русского имени, он за них за всех заплатил долги из своих средств.

— Какой дурак!

— Человек он был, кажется, в известном смысле нехороший. Но это не помешало ему создать то чудо искусства, — сказал он, показывая коркой хлеба в сторону окна. — У этих людей был размах. Сами они, быть может, в искусстве смыслили не так много, но боюсь, что только при них, при их строе, и могли создаться все чудеса искусства: дворцы, соборы, даже картины.

— Опять буза! Мы в порядке социалистического строительства создадим не такие чудеса.

— Вам, быть может, удастся создать то, что у каждого человека будет своя комната с проточной водой и балкончик с горшком цветков. И я нисколько не иронизирую: проточная вода и балкончик с цветочками великая вещь. К несчастью, пока у нас нет и этого. Но о произведениях искусства не говорите: для них нужна свобода духа... Она будет? Может быть, но люди живут только один раз! Вот я, маленький чело-

вечек, не так счастлив, что я и подобные мне — это глина, из которой делаются кирпичи для чужих дворцов, все равно княжеских или ваших.

— «Ваших»! Сказал! Они не «ваши», а «наши». Эти дворцы теперь принадлежат народу, то есть вам.

— Неужто? Конечно, в известном смысле это и так, но вот, представьте себе, я здесь живу без малого тридцать лет и не чувствую, что этот дворец — мой. Не все ли равно мне, живут ли в нем князья или помещаются никому не нужные учреждения? А показывали дворец посетителям и при Воронцовых. Нет, дворец не мой, Марья Игнатьевна, и мне он, конечно, ни к чему. Вот если бы хоть эта сакля была моя, это было бы уже недурно, да вот, видите, меня из нее погнали. Не в этом дело! — разгорячившись, говорил Иван Васильевич. — Хвастайте тем, что действительно есть. Войну мы выиграем, это так, честь и слава. Показали, что можно обходиться без банкиров, спекулянтов, биржевиков, тоже честь и слава. Правда, для этого пришлось создать во сто раз больше чекистов, чем прежде было мошенников, но я понимаю, это достижение, оно имеет историческое значение, хвастайте, даже привирайте, это так. А вот об искусстве вам лучше не говорить и о духовной культуре тоже: они невозможны при таком нечеловеческом гнете. Россия глупеет, Марья Игнатьевна! Ах, как поглупела Россия! Мне иногда кажется, что в ней теперь живет какой-то другой народ, а мой старый вымер. Что ж, были на наших местах какие-то древляне или там скифы, и кровь у них была наша, и биологические признаки наши, а на нас ведь они все-таки походили мало. Так и теперь, порою я думаю, народилось новое племя, в некоторых отношениях, наверное, очень хорошее, но другое и грубое племя, Марья Игнатьевна, ведущее грубую жизнь, грубеющее с каждым днем, все более безнадежно... Разве возможно искусство при нашем зверином быте! У нас ничего духовного нет и быть не может! — сказал Иван Васильевич и подумал, что прежде не сказал бы этого даже ей, хотя знал твердо, что она не донесет. «Видно, у нас надо заболеть раком, чтобы вслух говорить правду...»

— Сказал! — изумленно заметила Марья Игнатьевна, в самом деле очень недовольная. — По-вашему, что, Воронцовы покровительствовали искусству! Спра-

вились бы вы об этом у Пушкина, он как раз хорошо знал этого князя. Или вам жаль воронцовских латифундий?

— Нет, вы меня не поняли. Зачем мне «латифундии»? Слава Богу, что их отобрали. Вы думаете, я им этого не прощаю? Нет, нет, не заблуждайтесь. Я поглупения России им не прощаю и никогда не прощу! Наш народ был одним из самых умных в мире, наша интеллигенция была тонкая, чуткая, гуманная, и такая же была наша литература. А теперь? На обложке самого модного романа одобрительно сообщено об авторе, что он от такого-то года по такой-то служил в Че-Ка. Мыслимо это было в мое время или в какое угодно другое? Роман, конечно, дрянной, читать стыдно. А наша жизнь, наша молодежь? «Буза», «чуба накрутят», «собирай монатки»... — Он хотел было добавить: «У ва, гражданин, похоже на рачок», но спохватился, уви дев, что она побледнела. — За «бузу», ради Бога, не сердитесь, я не то хотел сказать, совсем не то.

— То-то и есть, что не то! — сказала Марья Игнатьевна. Ей не хотелось с ним ссориться. — Вы нездоровы, Иван Васильевич, и стали плохо собой владеть. Надо быть осторожнее... То есть, я говорила и повторяю, что надо критически относиться и к своим мыслям, и к своим действиям. Вот вы так любите вашу духовную культуру, а посмотрите, как вы живете. Окурки кидаете в чашку, это партия вас заставляет, что ли? Или, может быть, советский строй запрещает вам убирать вашу саклю, а? Нет, положительно вам надо переехать в Николаев. Меня приглашают туда читать курс, как только кончится война, — говорила она, опять примирительно улыбаясь.

## V

Все были довольны. По главному вопросу было достигнуто соглашение. Сталин признал полную независимость Польши и согласился на линию Керзона. Было решено в месячный срок устроить в освобожденной Польше демократические выборы на началах всеобщего тайного голосования. Было решено также включить лондонских поляков в национальное правительство. Все говорили Черчиллю, что блестящий ус-

пех был в значительной мере следствием его короткой речи.

— Великобритания, — сказал он, почти не поднимая голоса и вкладывая известными ему способами — глухим звуком, замедлениями, расстановкой и повторением слов, выражением лица, тяжелыми, короткими, резкими жестами, даже легким, нервным покашливанием — огромную силу в то, что он говорил, — Великобритания объявила войну Германии ради того, чтобы Польша осталась свободной. Всякий знает, с каким страшным риском это было для нас связано. На карту было поставлено самое существование нашей страны. Для англичан дело Польши есть дело чести! Мы подняли меч для ее защиты от Гитлера, и не может, не может нас удовлетворить такое решение, которое не оставило бы Польшу свободным, независимым, суверенным государством.

Его слова произвели сильнейшее впечатление. Президент Рузвельт и члены американской делегации кивали головами с полным одобрением. Англичане не кивали только потому, что их полное одобрение разумелось само собой. Сталин слушал, полузакрыв глаза. Он ждал перевода, но видел, что Черчилль говорит не так, как обычно. Когда короткая речь была переведена, Сталин одобрительно наклонил голову. И тотчас одобрительно закивали Молотов, Вышинский, Майский, Гусев, Громыко, адмирал Кузнецов, маршал Худяков и генерал Антонов.

Так, в общем, шло дело во все время работы конференции. Бывали осложнения, лица становились озабоченными, о многом спорили долго, и вдруг затем оказывалось, что незаметно достигнуто соглашение. Все выражали радость, президент облегченно вздыхал и шутил. Понемногу улучшилось и настроение у Черчилля. Этому способствовала стоявшая в Ялте прекрасная весенняя погода. Англичане, подчинявшиеся настроению старика, были тем более довольны, что старик приехал на конференцию злой.

Он не хотел ехать в Крым и умолял президента не соглашаться на встречу в Ялте. Уверял, что там негде остановиться, что там мороз, вши, тиф. Несмотря на свою культуру и образование, истинно необыкновенные для государственного человека, Черчилль почти ничего о России не знал, кроме газетных известий и

секретных донесений. И тем и другим он верил плохо: газеты, даже английские, не всегда печатают верные сведения, а секретные агенты, даже умные и добросовестные, часто врут что попало, так как ценного материала добывают недостаточно, вынуждены верить сомнительным осведомителям и вдобавок, сознательно или бессознательно, подлаживаются к настроениям тех, кому докладывают.

На аэродроме гостей встречал Молотов. Сталин должен был приехать в Крым лишь на следующий день. В этом не было ничего обидного: маршал был очень занят. Однако ни ему, Черчиллю, ни президенту Рузвельту, хотя и они были очень заняты, не пришлось бы в голову приехать на конференцию позже приглашенных гостей. Президент, прилетевший в Саки на несколько минут раньше его и на несколько минут раньше его уехавший с аэродрома, был, по-видимому, в самом лучшем настроении духа. Оба они приятно улыбались, крепко жали руку хозяевам, говорили, что прекрасно понимают, спрашивали о здоровье маршала.

Он проделал что полагалось. Еще в аэроплане закурил огромную сигару. Ему не очень хотелось курить, но он знал, что сигара — его gag<sup>1</sup>, такой же, как зонтик Чемберлена (оказавшийся с годами не очень удачным gag-ом) или как котелок и тросточка Чаплина. Его сигара имела громадный успех во всем мире: все огорчились бы, если б увидели Черчилля без сигары. Как ему показалось, здесь успех его был значительно меньше. Он сделал знак победы — другой его gag, — но этого знака уж, по-видимому, никто не оценил или даже не понял. Черчилль с усмешкой подумал, что, быть может, в этой стране его прежде показывали на экранах не столь часто и не совсем так, как в Англии, Америке, Австралии. Стоявшая за кордоном толпа была невелика и состояла больше из подростков. Они с жадным любопытством смотрели на «Священную Корову» президента, на английских и американских истребителей.

Оркестр играл британский гимн. В своем полковничьем мундире, в черной меховой шапке, незадолго до того подаренной ему канадцами и надетой ввиду крымской стужи, Черчилль прошел мимо выстроив-

---

<sup>1</sup> Здесь: отличительный знак (англ.).

шегося гвардейского полка. Как старый офицер, он не мог не заметить, что люди, их снаряжение, выправка необыкновенно хороши, — понимал, впрочем, что отбор был тщательный. Поглядывал на них со смешанными чувствами. Ему всегда нравились хорошие солдаты, кто бы они ни были, хотя б и немцы. Эти же были союзники, так много сделавшие для победы. Братство по оружию, верность союзникам, *fair play*<sup>1</sup> были для Черчилля не пустые слова. Тем не менее, глядя на вросших в землю великанов, он не думал, а в глубине души чувствовал, что для его страны было бы лучше, если б этих людей было меньше. Звуки «*God save the King*»<sup>2</sup> без перехода сменились звуками советского гимна. Ему вдруг стало смешно. Не обидно, что он, семидесятилетний старик, первый министр Англии, внук седьмого герцога Мальборо, должен был лететь черт знает куда и что бывший экспроприатор, сын сапожника, ни разу не удосужился отдать ему визит в Англии, не счел нужным встретить его и президента Соединенных Штатов, — не обидно, а скорее смешно. Он совершенно не выносил Сталина. Теперь, он знал, в Америке в глубокой тайне готовилось новое орудие разрушения, которое могло означать господство над миром. Черчилль радостно думал о том, как с любезной улыбкой сообщит Сталину об изобретении атомной бомбы. Думал также, что если американское оружие окажется не слишком страшным, то старого мира не спасет ничто. «После демобилизации он будет всемогущ». Но до этого пока было далеко. Его позабавило сочетание гимнов. Большевики молились Богу о благополучии английского короля — это было как бы символом лжи дипломатических конференций.

Он простился с президентом, крепко пожал ему руку, сказав что-то особенно любезное и забавное. Черчилль уважал Рузвельта и считал его совершенным джентльменом (в международной политике осталось так мало джентльменов). Они были почти друзьями. Тем не менее чарующая улыбка президента в последнее время его раздражала. Он понимал, что эта улыбка тоже *gag*, быть может, полусознательный, но очень полезный президенту, порою оказывавший немалые

---

<sup>1</sup> Честная игра (англ.).

<sup>2</sup> «Боже, храни короля» (англ.).

услуги общему делу. Однако Черчилль находил, что Рузвельт слишком верит в силу своего обаяния. На Мальте, где он, в знак особого внимания, встречал американскую делегацию по дороге в Ялту, президент сообщил ему, что намерен встретиться на обратном пути с Ибн Саудом: надо же наконец примирить арабов с евреями! На это он вслух ничего не нашелся ответить. Им вообще беседовать было не так легко. Черчилль находил, что Рузвельт говорит хорошо, но слишком много. Рузвельт думал о нем то же самое. В Ялте, по мнению Черчилля, чарующая улыбка президента была совершенно ни к чему: Сталина не очаруешь.

В последнее время Рузвельт его раздражал тем, что понемногу с каждым днем все более входил в роль третейского судьи между ним и Сталиным. Это было особенно неприятно в связи с огромным могуществом Соединенных Штатов. Черчилль любил американцев, но порою и он, как все англичане, чувствовал глухое раздражение против Америки, вдруг — по какому праву? — занявшей *их* законное место в мире. Ему было очень тяжело, что на его глазах Big three<sup>1</sup> превращались постепенно в Big two<sup>2</sup>. Все его искусство, весь его личный авторитет не могли этому помешать. Тем не менее президент своим умом, благородством и простотой обычно бывал ему приятен. В последнее время к этому чувству присоединилась и жалость. Рузвельт, очевидно, был тяжело болен. Англичане почти расстались, увидев его на Мальте: так он изменился за несколько месяцев.

В автомобиле Черчилль с любопытством туриста и художника все время осматривался по сторонам. «Красиво... Необыкновенно красиво...» Не предполагал, что в этой огромной, непонятной и страшной стране есть и такие земли. Когда показались Воронцовские сады и открылась громада дворца, он от удивления даже вынул изо рта сигару.

Своей тяжелой, стариковской походкой он прошел по гостиным, по зимнему саду, по столовой в средневековом стиле. Со стен на него глядели люди в кафтанах, в париках, лентах, в мундирах с высокими во-

---

<sup>1</sup> Большая тройка (англ.).

<sup>2</sup> Большая двойка (англ.).



ротниками. Это были, вероятно, полудикари, но они заказывали свои портреты Лоуренсу, по виду очень походили на тех людей, чьи портреты висели по стенам замка герцогов Мальборо, в котором он родился. Смотрели они на него хмуро, точно говорили: «Изменил, изменил, с кем связался! Ах, как нехорошо!.. Может быть, и в Бленхеймский замок придет такая же шайка...»

Неодобрительно они на него глядели и в день завтрака. Приготовлениями ведала его дочь, уже знавшая, кто что любит. Президент из коктейлей предпочитал Old Fashioned. Сталин пил в небольшом количестве водку и кавказское вино. Ее отец в еде и напитках не проявлял патриотизма и, хотя пил везде все, что давали, любил по-настоящему лишь старый французский коньяк и французское шампанское. Он ласково улыбнулся дочери, одобрительно кивнул головой, окинул взглядом стол — и не первый раз пожалел об отсутствии французов. Из государственных людей, которых Черчилль знал, он одного Клемансо мог признавать равным себе. Но и с Брианом, и с Тардье, и с Филиппом Бертелло тоже никак нельзя было соскучиться за вином.

Теперь, он знал, будет невыносимо скучно. За завтраками и обедами, длившимися иногда три-четыре часа, повторялись одни и те же замечания о еде, о напитках, о красотах Крыма (все немедленно переводилось с совершенной точностью). Он заранее знал, что Сталин скажет президенту: «Это вы нам принесли хорошую погоду» и что, когда подадут бурду, называемую крымским шампанским, президент пошутит о своей будущей профессии: говорил, что после ухода в отставку станет комиссионером по продаже этого дивного вина в Америке и наживет миллионы; при этом все рассмеются, а его улыбка станет еще более чарующей. И затем сам он, Черчилль, скажет тоже что-либо не менее забавное. В Ялте он не очень старался — гораздо меньше, чем в Вашингтоне или прежде в Париже, — но его остроумие, как когда-то остроумие Клемансо, было так известно, что, лишь только он за вином открывал рот, англичане и американцы всегда улыбались в кредит; русские же оглядывались на Сталина, можно ли улыбаться (почти всегда оказывалось, что можно и должно). Впрочем, большая часть време-

ни за столом проходила в молчании: произносились тосты, их всегда бывало много, в промежутках же между тостами все ели не разговаривая. Еда была превосходная. Не только англичане, но и американцы такой у себя дома не видели. Тем не менее им молчать было довольно тягостно. Одни русские делегаты насколько молчанием не тяготились и могли бы, по видимому, так за столом просидеть и шесть, и двенадцать часов.

Приятнее завтраков и обедов были экскурсии в достопримечательные места Крыма. В последний раз на поле сражения при Балаклаве кто-то давал исторические разъяснения. Было показано возвышение, с которого лорд Раглан послал лорду Нолану приказ атаковать русскую армию. Приблизительно было указано место, откуда *по недоразумению* пошла в знаменитую самодобийственную атаку кавалерийская бригада графа Кардигана. «Вперед, последний из Кардиганов!» — напомнил негромко, без улыбки, кто-то из англичан. Другой, тоже без улыбки, процитировал Теннисонову поэму, известную на память всем англичанам старшего поколения и уж, конечно, всем офицерам:

«Forward, the Light Brigade!» Was there a man dismay'd? — Not tho' soldiers knew — Some one had blunder'd; — Their's not to make reply, — Their's not to reason why, — Their's but to do and die: — Into the Valley of Death — Rode the six hundred...»<sup>1</sup>

Все эти лорды, даже те, о которых в поэме было сказано: «Some one had blunder'd», были *его* люди, плоть от его плоти. Он сам в 70 лет в любую минуту с готовностью, с восторгом пошел бы для своей страны в безнадежную кавалерийскую атаку. В действительности же его роль в эту войну частью заключалась в том, чтобы противодействовать всяким английским наступлениям. Он долго вел открытую и глухую борьбу против установления второго фронта в Европе; чувствовал на себе очень тяжелую ответственность за жизнь британских солдат: если б Англия потеряла миллион людей, с ней, он понимал, неизбежно должно было случиться то, что случилось с Францией после

---

<sup>1</sup> «Кавалерийская бригада, вперед!» Кто-то пал духом? Нет, хотя солдаты знают: кто-то допустил просчет. Но от них не ждут ответа, не им подвергать сомнению приказ. Приказано — сделай! Хоть умри. И вот в Долину Смерти въезжают 600 конников...» (англ.)

первой войны. Несмотря на братство по оружию, на лояльность и на fair play, он не мог так относиться к жизни русских, которых было много, очень много, — и в конце концов, не все ли им равно? Разве у него не погибают без войны миллионы людей в его концентрационных лагерях?

Циничные мысли никогда не приходили ему в голову на фронтах и лишь изредка в рабочем кабинете. Но на международных конференциях они им овладевали совершенно. В Ялте происходило что-то странное: Сталин уступал и уступал. В этом тоже было что-то из поэмы:

«Cossack and Russian — Reel from the sabre stroke — to gatter'd and sunder'd. Then they rode back, but not, — Not the six hundred»<sup>1</sup>.

Но Черчилля все больше тревожила благодушная, приятная усмешка, часто игравшая на лице Сталина. Маршал никогда не горячился, речей не произносил и очень охотно на мгновение соглашался. Несмотря на весь свой ум, познания и опыт, Черчилль не был свободен от того, что называется профессиональной деформацией: он верил — не очень верил, но все-таки верил — в документы на веленовой бумаге с ленточками, которые при свете магния, под общий восторг, подписывают государственные люди золотыми перьями, переходящими потом в музеи.

В зале с потолком точеного дерева, украшенной воронцовскими гербами, уже собрались англичане. Это были также свои люди, хоть несколько по-иному свои, чем Кардиганы. Он ставил их не слишком высоко, однако любил их. Особенно приятен был Иден, считавшийся его наследником. Историческая конкуренция с ним была не страшна, он был умный, образованный, веселый человек, с которым при случае можно было поговорить о литературе, о живописи (с другими было бы совершенно невозможно). Приятен он был и своим внешним обликом: Иден умел быть необыкновенно элегантным даже тогда, когда носил старый, потертый, если не перелицованный, костюм. Это забавляло Черчилля. Сам он от своей природной среды несколько отстал и часто в ней скучал, хотя это были свои; ни о

<sup>1</sup> «Казаки и русские расколоты; они не могут оправиться от сабельного удара. И тогда нападающие повернули назад, — но не те 600 конников» (англ.).

какой эlegantности он больше и не думал; тем не менее знатоки замечали и старались усвоить небрежность его костюмов, галстуков и особенно шляп.

По некоторым, им одним известным, признакам англичане тотчас заметили, что старик в хорошем настроении духа, и оживились. Они между собой нередко его критиковали, роптали и жаловались, но в душе его обожали. Он был национальный герой, великий человек, автор шекспировских речей, которые должны были навсегда войти и уже входили в хрестоматии. Кроме того, он был внуком седьмого герцога Мальборо. Все они принадлежали, кто по рождению, кто по положению на службе, к высшему обществу и, вероятно, удивились бы или даже рассмеялись, если б им сказали, что происхождение старика имеет для них какое бы то ни было значение. Однако они были англичане.

В столовой один за другим появлялись американские делегаты: не свои, но тоже в большинстве приятные люди. Вошел генерал Маршалл, менее приятный, чем другие. Он расходился с Черчиллем во многих основных вопросах и, видимо, никак не думал, что «their's not to make reply, their's not to reason why»<sup>1</sup>: был своеобразно умный человек, как бывают умны офицеры генерального штаба, когда они очень умны. Таков был на его памяти маршал Фош, таков был адмирал Фишер, с которым у него были связаны неприятные воспоминания по той войне. Черчилль умом знал, что нельзя окружать себя поддакивающими, на все тотчас соглашающимися сотрудниками; но слишком независимые люди его часто раздражали.

Офицер, поспешно вошедший в столовую, сообщил, что подъезжают автомобили Сталина. На лице у старика расплылась радушная улыбка. Он направился в холл.

Президент знал, что жить ему осталось очень недолго. Врач его успокаивал; но ему говорило правду выражение ужаса на лицах людей, долго его не видевших. Уверенность в близком конце резко отличала его от всех других участников Ялтинской конференции. Отличала от них и вера. Между другими делегатами было много верующих людей; сам Черчилль обиделся

---

<sup>1</sup> «От них не ждут ответа, незачем подвергать сомнению приказ» (англ.).

бы, если б его причислили к безбожникам. Но их религия не имела никакого отношения к их работе: то — одно, это — другое. У него же какая-то связь между верой и работой была; правда, неполная, непостоянная, неровная, — об этом он думал с душевной болью.

Для себя Рузвельту желать было нечего: он достиг в жизни всего, чего мог достигнуть. Ни один человек в истории не занимал так долго, как он, должности президента Соединенных Штатов, и лишь немногие доживали до такой славы. Власть досталась ему в пору тяжелого хозяйственного кризиса, при нем Соединенные Штаты достигли благосостояния невиданного и неслыханного в истории. Не могло быть теперь и сомнений в полной победе над Гитлером. Как умный человек, не страдающий манией величия, президент не приписывал этого себе, но знал, что в случае неудач и поражений главная доля ответственности была бы возложена на него. Врагов у него было без счета — лишь немногим меньше, чем было у Линкольна, гораздо больше, чем было у Вашингтона. Он предполагал, что после его смерти ему отдадут должное и враги. Дела в Америке он оставлял в порядке, поскольку могут быть в порядке дела какой бы то ни было страны при каком бы то ни было правительстве. Выборы сошли отлично. Его военные назначения — Маршалл, Эйзенхауэр, Нимиц, Макартур — оказались превосходными. Все это должна была признать история.

В мире же дела шли не так хорошо, и он думал, что после него пойдут еще хуже. Однако Рузвельт был в душе уверен, что позднее все устроится как следует. Совсем как следует дела, правда, устраивались редко, но можно было рассчитывать, что люди в конце концов поумнеют. Для улучшения дел в мире следовало теперь же, при его жизни, установить добрые отношения между Россией и Англией. Президент действительно вошел в роль третейского судьи между Сталиным и Черчиллем.

Сталин ему при первом знакомстве понравился. Как все красивые люди, Рузвельт о каждом человеке бессознательно судил и по наружности. У маршала было значительное лицо. Ему, по-видимому, было чуждо актерство, он всегда был прост, важен и ясен. Президент очень ценил эти свойства в людях. Сталин вышел из низов, и Рузвельт предпочитал простых бед-

ных людей богатым и высокопоставленным: простые обычно, как люди, лучше и чище. После Тегеранской встречи он больше почти не верил тому, что писали, говорили, докладывали о Сталине: если у него у самого было так много врагов, то насколько больше их должно было быть у маршала. Не очень верил он и прежним сообщениям о жизни русского народа. «Если б все было так, то этот строй не мог бы существовать». При проезде по большой дороге в Юсуповский и Воронцовский дворцы он за кордоном видел толпившихся людей, они были, правда, плохо одеты, но вид у них был как будто довольный и радостный. Все снимали шапки. «А если я и ошибаюсь, то что же я могу сделать? Это не мое дело, это дело маршала...» В каждом человеке, следовательно и в Сталине, можно было пробудить лучшие чувства. Рузвельт иногда говорил об этом Черчиллю, и у того на лице тотчас появлялось выражение беспредельного уныния и скуки. Но президент презирал мудрость скептиков: они кажутся умными, а на самом деле понимают в жизни мало.

Конечно, Черчилль был очень выдающийся человек. Однако в нем слишком прочно засел гусарский поручик, политик отжившей школы и внук седьмого герцога Мальборо. Рузвельт привык к тому, что его самого считали аристократом, никогда аристократизмом не хвастал и почти никогда им не гордился: он всегда был прост и ровен в обращении с людьми. Он догадывался, что Черчилль в своем кругу может думать о его американском аристократизме, если вообще об этом думает. Но это не раздражало его, а скорее забавляло. Гораздо хуже было, что Уинни по складу ума, часто даже по образу мыслей напоминал первого герцога Мальборо. Людям, верящим в военное могущество, в неизбежность войн, в европейское равновесие, было больше нечего делать в политике. Не очень хорошо было в Черчилле и то, что он слишком много писал и дорожил своей литературной известностью. Президент порою себя спрашивал, в каком виде Уинни его изобразит в своих мемуарах. «Вероятнее всего, с *чуть заметной иронией*. А может быть, захочет до конца проявить *верность соратнику*». Сам он писать не любил, теперь твердо знал, что не успеет написать воспоминания, это порождало в нем чувство беззащит-

ности перед историей. В душе он был так же уверен в своем превосходстве над Черчиллем, как Черчилль был уверен в своем превосходстве над ним. И, несмотря на их расположение друг к другу, между ними установилось нечто вроде исторического соперничества. Вдобавок, по мнению экспертов, интересы Англии и Америки кое в чем расходились. Президент не очень верил экспертам, но должен был прислушиваться к ним. Его избрали не президентом мировой республики, а президентом Соединенных Штатов — для того, чтобы он защищал их интересы.

Со Сталиным никакого личного соперничества не могло быть: он был человек совершенно другого мира. Что до русских и американских интересов, то даже самые глубокомысленные и ученые советники не могли (хоть старались) выяснить, в чем именно эти интересы расходятся и почему до сих пор, за полтора века, ни в чем особенно важном не расходились. Кроме того, эксперты были не совсем между собой согласны в истолковании интересов России и целей Сталина. Одни в тесном кругу говорили, что дядю Джо просто узнать нельзя, и ссылались на его церковную политику, на поощрение национального чувства, на ордена Александра Невского, Суворова, Кутузова. Некоторые эксперты, по благодушным наблюдениям президента, даже немного щеголяли: знают, и кто Александр Невский, и кто Суворов (о Кутузове знали и не эксперты: все в 1942 году прочли «Войну и мир»). Другие же советники с сомнением качали головой: уж будто бы дядя Джо так-таки вдруг совсем, совсем переменялся? Первая партия была сильнее, так как все чувствовали, что президент склоняется к ней. На него же особенно действовали сообщения о новом отношении маршала к религии. Впрочем, Рузвельт редко высказывался вполне определенно и выслушивал все мнения со своей неизменной благосклонностью к людям, вниманием к их взглядам и труду, с обычной быстротой понимания. Он взвешивал все наедине в бессонные ночи и размышлял о том, какую политику вести в оставшиеся ему последние месяцы — или недели — жизни. В Ялте он все больше склонялся к мысли, что дела в мире пойдут хорошо. Но иногда президент за столом бросал взгляд на Сталина и на него находили сомнения: что, если Уинни прав?

Автомобиль остановился перед подъездом Воронцовского дворца. Два человека отворили дверцы, осторожно взяли его под руки и помогли ему взойти по лестнице. Несмотря на долгую привычку, это ему всегда было тяжело. Он не мог понять, за что так внезапно, так случайно, из-за какого-то купания стал беспомощным, безнадежным калекой. Газеты, особенно иностранные, плохо знавшие, как он связан в Вашингтоне тысячей сил и влияний, часто называли его могущественным человеком на земле. Эти слова, обычно приятные и лестные, в такие минуты вызывали у него горькую усмешку. Помогавшие ему люди, внимательно за ним следившие, остановились после нескольких ступенек. Он постоял с минуту, тяжело на них опираясь, полукрив рот: по дороге простудился и страдал от синусита и от усилившихся головных болей. Залитый солнцем сад, море, горы были невообразимо прекрасны. Он знал, что больше никогда этого не увидит. Это уже было прошлое. Скоро должно было стать прошлым все остальное. Тем более было необходимо работать на пользу людей. Еле заметным движением локтя он велел идти дальше. Двери уже растворялись настежь.

Сбоку один за другим отходили советские автомобили. Маршал, обычно приезжавший последним, на этот раз прибыл раньше него. Он как раз в холле здоровался с Черчиллем. Оба ласково, приветливо улыбались, крепко пожимая друг другу руки. Как всегда, это позабавило Рузвельта. Он знал, что они ненавидят друг друга. Условность человеческих отношений порою удивляла его так, точно он видел ее в первый раз в жизни. На его лице тотчас появилась чарующая улыбка. «Хелло, Уинни!» — еще издали радостно воскликнул он. «Хелло, маршал!» (Сталина он все-таки называл Джо лишь за глаза.) «Здравствуйте, маршал», — разъяснил переводчик.

Маршал тоже приветливо помахал ему рукой, быстро подошел своей крепкой, тяжелой, чуть нескладной походкой и дружески пожал ему руку. Затем учтиво, но нисколько не притворяясь светским человеком, с кавказской важностью поздоровался с дочерью президента.

Несмотря на серьезное выражение его лица, многое было ему забавно в Ялте. На конференции всегда



приезжали враги: это он знал твердо, это было, собственно, даже единственное, в чем он не сомневался. Опаснейшим врагом был Черчилль, но его страна была теперь не так страшна. Менее опасным врагом был президент, зато мощь Соединенных Штатов была очень велика. Сталин, по правилу, не верил ни одному слову из того, что оба они говорили, и в каждом их предложении искал затаенный смысл: очень редко не находил и тогда испытывал некоторую тревогу; в громадном же большинстве случаев находил тотчас и тогда успокаивался. Разгадывать и расстраивать чужие козни было для него давним, обычным, привычным делом. К этому, собственно, и сводилась большая часть его умственной работы в жизни. От природы он был очень умен и особенно хитер. Жизненный опыт у него был огромный. В последние тридцать лет он был окружен смертельными врагами, подозревал врагов во всех людях, даже в приближенных — особенно в приближенных, — и хорошо научился распознавать оттенки в тайных вражеских чувствах. Здесь, на конференции, ему был вполне понятен оттенок Черчилля; оттенок же президента еще не вполне выяснился. И лишь чрезвычайно редко Сталину приходила в голову непривычная, невероятная, невозможная мысль: вдруг этот американец действительно верит и тому, что сам говорит, и даже тому, что ему говорят другие! Тогда это было уж совсем забавно.

Из мелочей же его веселило, что оба гостя пожаловали в Ялту с дочерьми, которые тут были решительно ни для чего не нужны, кроме завтраков и обедов, да, собственно, не нужны были и для этого. Они приехали, очевидно, потому, что отцы не могли им отказать в новом развлечении. Он ничего не имел против их присутствия, хотя ему самому никак не могло бы прийти в голову привезти на международную конференцию свою дочь. Ничего не имел и против других собравшихся здесь людей, кроме Черчилля, которого терпеть не мог (из иностранцев, быть может, ненавидел только его). Однако теперь с Черчиллем ничего никак сделать было нельзя, а потому и ненависть к нему не имела значения. Другие же гости были скорее приятные люди, с которыми можно было посидеть за столом, выпить вина, поговорить (если б без переводчика). Дальнейшее всецело зависело от обстоятельств.

Приятные люди, и даже еще гораздо более приятные, были Бухарин, Рыков, Карахан; с ними он тоже когда-то охотно болтал и пил вино.

Вокруг него — однако на некотором расстоянии сзади — стояли члены русской делегации, ловившие выражение его глаз, — он часто беспокойно оглядывался (лицо его обычно ничего не выражало). Все эти люди были пока преданны. Дальнейшего же и тут нельзя было предвидеть, оно также зависело от обстоятельств. Он улыбнулся и выразил опасение, как бы гости не увезли с собой из России хорошую погоду. И тотчас весело улыбнулись Молотов, Вышинский, Майский, Гусев, Громько, адмирал Кузнецов, маршал Худяков и генерал Антонов.

## VI

Марья Игнатьевна, как всегда, прекрасно справилась с работой. Приехавшие из Москвы люди выразили декораторам благодарность, что-то приятное было сказано и о ней, она была очень довольна. Однако с квартирой вышла неожиданность. Хотя Иван Васильевич тоже закончил работу вовремя, ему велено было оставаться в распоряжении его комиссии: в будуаре царицы, отведенном адмиралу Кингу, снова появились вши. Он написал Марье Игнатьевне отчаянное письмо, просил прощения и выражал готовность ночевать хотя бы на улице. Она была недовольна, но ответила любезно: «Вышедшая неувязка не имеет значения, голубчик (в письмах его не называла «Ваше Сиятельство»), меня отсюда не гонят, живу я от лордов далеко, хоть три года скачи, не доедешь, по бессмертному выражению Гоголя, так что я могу оставаться и при лордах, которые вдобавок и не подозревают о моем существовании. По вечерам гуляю в садах. Ох, хороши лунные вечера! Страшно жаль, что ни разу не удосужились приехать, но не беспокойтесь и оставайтесь у меня сколько понадобится. Я вам говорила и повторяю: будьте как дома».

В Алупке в самом деле было очень хорошо. Тем не менее после окончания работы и отъезда других декораторов ей стало скучно. В местном партактиве интересных свежих людей не оказалось. Она посетила

местный молодежный коллектив и даже прочла там небольшую лекцию, но ушла расстроенная. Говорила она хорошо, употребляла самые новые выражения, однако чуть не в первый раз в жизни почувствовала себя чужой. Молодые люди выслушали ее лекцию внимательно, с любопытством задавали вопросы, интересовались и Рембрандтом, и особенно Бродским, за чаем тоже были, как умели, вежливы, но в их вежливости и почтительности было что-то больно задевавшее Марью Игнатьевну. Со своими девицами они разговаривали совершенно иначе. «Неужели я для них старуха?» — с тревогой спрашивала себя Марья Игнатьевна, поднимаясь к своему флигельку.

Эта мысль была ей особенно тяжела в одиночестве Алупки. Готовясь к лекциям на тему «Разложение западноевропейской культуры в свете современной живописи», она взяла с собой несколько художественных изданий и три тома сочинений Сталина. Но работать ей не хотелось. Думала о своей жизни, о будущем, об Иване Васильевиче. Он был, очевидно, влюблен в нее и боялся ей об этом сказать из-за своего возраста. «Конечно, это был бы мезальянс», — подумала она с улыбкой: так неожиданно всплыло вдруг в ее памяти это слово из старых книг. «Мезальянсом» был и ее брак с тем красивым молодым человеком, из которого ничего не вышло. Этот молодой человек, в отличие от Ивана Васильевича, не был джентльменом, — почему-то ей все лезли в голову старые, почти контрреволюционные слова. Марья Игнатьевна чувствовала себя одинокой. Ей многие завидовали, находили, что она ведет интересную жизнь. Она знала самых выдающихся людей ялтинского партактива, читала публичные лекции в Николаеве, ее честолюбие было удовлетворено. «Он старше меня на шестнадцать лет, но он прекрасный человек, он умнее и тоньше всех их, несмотря на свои отсталые взгляды». Когда она называла Ивана Васильевича «Ваше Сиятельство», то бессознательно вкладывала в это другой, переносный смысл, как бы относившийся к тому, что в старых книгах называлось духовным аристократизмом. Физически он не был ей неприятен, скорее напротив. В сущности, самым неприятным была его профессия.

Вместо сочинений Сталина она, чтобы заснуть, стала в кровати просматривать номер парижского жур-

нала мод, оставшийся в ее флигеле от убитого немецкого офицера. Его предложил ей заведующий, холостяк. «Помилуйте, зачем мне это, — пренебрежительно сказала она, — разве просмотреть на сон грядущий?» Женщины, раскрашенные и нераскрашенные, серьезные и улыбающиеся, надменные и ласковые, их платья, костюмы, шубы, муфты, шляпы — все свидетельствовало о падении западноевропейской культуры. Ей бросился в глаза заголовок: «Революция». Марья Игнатьевна немного знала иностранные языки и читала ученые книги легко.

«Les rembourrages ont vécu. *Les hanches* de l'importance. Beaucoup protestent. A chaque fois que s'affirme une idée nouvelle, il est des grincheux pour s'écrier que cela ne durera pas. Non, Mesdames, ne vous trompez pas. Celles qui ont souffert — effacement de formes jusqu'au martyr — seront avec nous passionément. Oui, hanches carrées ou rondes, décolletés généreux, ligne en figure de proue, tissus brillants et majestueux, la gamme des tons — doux, puis soudain éclatants, va du gris élégant en vert mousse, du enivre au vermillon»<sup>1</sup>.

Молодая красавица в отороченном мехом костюме стояла на лестнице, поставив ногу на ступеньку. Передний изгиб ноги, туфли, чулки, шляпа, тоже отделанная чернобурой лисицей, были все-таки очаровательны. «Конечно, это они приукрашивают», — думала Марья Игнатьевна. Под фамилией портного (его имя было известно дамам даже в Крыму) была надпись: «Redingote à la Russe. Modèle Tolstoï»<sup>2</sup>. Над рисунком кто-то выцветшими чернилами написал: «Liebes Schätzchen, es ist herrlich! Diese Franzosen. Das muss mir ja so wunderbar stehen. Ganz wie für mich gemacht!»<sup>3</sup> «Осталась жена Фрица и без редингота, и без Фри-

---

<sup>1</sup> «И все-таки набивные подкладки, для придания пышности бедрам, не забыты, хотя многие противятся этому Впрочем, так всегда, стоит лишь появиться новой идее, как найдутся недовольные, утверждающие, что это не надолго Дорогие дамы, не позволяйте вводить себя в заблуждение Те, кто страдал, в мучениях скрывая формы, те нас поймут, они будут на нашей стороне Да здравствует широкая округлость бедер и царственные декольте, блеск и благородство тканей, да здравствуют цвета от самых нежных тонов до сильных, от элегантного серого до приглушенного зеленого или яркочерного» (фр.).

<sup>2</sup> «Редингот по-русски. Модель «Толстой» (фр.)

<sup>3</sup> «Дорогая моя, это прекрасно! Ох уж эти французы. Сидит как влитое Как будто сшито специально для меня» (нем.).

ца, — подумала Марья Игнатъевна, впрочем без злобы, точно чувствовала себя в эту минуту членом дамского Интернационала. — Нет, он прекрасный, благороднейший человек. Конечно, его надо будет приодеть. Ах, если б он все-таки был немного помоложе: ну хоть сорок девять, а не пятьдесят пять. И если бы не эти виноградные блошки...»

Вдруг ей пришло в голову, что, собственно говоря, она может вернуться в Ялту и теперь. При ее комнате была большая кухня, в которую можно перенести диван. Они бы могли, таким образом, пробыть несколько дней вместе. «Никто ничего не может сказать, все знают, как было дело. Да и пусть говорят что угодно... Бедный, он очень смутится, но страшно обрадуется... А вдруг в самом деле построить нашу жизнь на пару?» — с лукавой улыбкой подумала она: как раз за чаем молодежного коллектива впервые услышала это новое выражение.

Лукавая нежная улыбка не сходила с ее лица и на следующее утро, по дороге в Ялту. Марья Игнатъевна предполагала, что его не будет дома, что он вернется через час. Собиралась накрыть стол новенькой шитой скатертью, поставить свой маленький чистенький самовар, достать ром, который он очень любил. Она отворила дверь, вошла и ахнула: «Господи, Твоя воля!» — сказала она вслух, на этот раз не новым выражением.

Иван Васильевич никак не думал, что Марья Игнатъевна может нагрязнуть неожиданно, без предупреждения, не знал даже, что у нее есть второй ключ. Он все время относился к ее квартире бережно, чтобы, избави Бог, ничего не разбить, и действительно не разбил ничего. Правда, ему самому иногда казалось, что при Марье Игнатъевне квартирка была как будто нарядней и уютней; но он перед отъездом собирался произвести уборку и привести все в прежний вид.

Она заглянула в кухню, в коридор, всюду, вернулась и села на стул, сняв с него блюдечко с окурками. Ей хотелось плакать. «Глупо... Из-за квартиры... Все было вздор, он мне не пара, он на двадцать лет старше меня... Что ему сказать, если он сейчас вернется?.. Нет, не надо, чтобы он знал, что я здесь была... Я сама виновата...» Она подумала, не взяться ли сейчас же за работу. Однако привести квартиру в порядок

нельзя было ни в час, ни в три часа, и ей все-таки не хотелось, чтобы он ее застал в грубом заштопанном фартуке со щеткой и ведром. Не хотелось, несмотря на раздражение, и смущать его: понимала, что он сконфузится необычайно. «Нет, пусть он лучше не знает. Когда он съедет, найму двух татарок».

На столе лежала развернутая газета с крошками хлеба и колбасы. Не прикасаясь к ней, Марья Игнатьевна пробежала заголовки: «Отличник тракторостроенец Черемченко», «Сделаем Челябинск благоустроенным городом», «Воскресники в Полтавской области»... Она вдруг заплакала — без всякой причины.

Вышла из квартиры, не оставив ему никакой записки. «Когда увидимся, поговорим, посмотрим... Ничего, перееду в Николаев, там все пойдет по-другому. Война кончается, вернутся новые, свежие, интересные люди. Ясно!» Ясно не было, было скучно, очень скучно.

## VII

Позднее Иван Васильевич пытался литературно описать в дневнике чувства, испытанные им в тот день. Запись все ему не удавалась. Написал сначала, что у него помутилось в глазах. «Кажется, и в самом деле помутилось? А впрочем, едва ли. Сердце забило, пальцы затряслись, это». Зачеркнул и написал, что в душе его что-то запело, потом вместо «запело» написал «засветилось». Это было хорошо в литературном отношении, но не выражало того, что он почувствовал. «Два слова: «не злокачественная» были точно отбиты на машинке огненными буквами», — еще написал он. Несмотря на огненные буквы, он все боялся, что не разобрал, не разглядел, не так прочел. Подошел к окну (день кончался): «не злокачественная». Зажег люстру на все три лампочки (три другие включались у Марьи Игнатьевны лишь на приемах): «не злокачественная». Подошел к ночному столику, зажег еще лампу с сиреневым колпачком: «не злокачественная». Он опустил на кровать, вспомнил об уговоре, вскочил, расправил сиреневое одеяло. Вид этой кровати немного волновал его, первые дни он отводил глаза. Теперь подумал о

Марье Игнатьевне с восторгом. Ему казалось, что все совершенно изменилось. «Отпало главное препятствие! Отпало! Сегодня же ей все скажу!»

Взглянул на ее будильник, шедший с совершенной точностью, не то что его часы. Татарин должен был заехать за ним через час, чтобы отвезти его в Алупку: он хотел узнать о своей сакле и условиться о дне возвращения Марьи Игнатьевны. И как раз пришла эта бумага от доктора (который ее продержал у себя несколько дней). Иван Васильевич за свой восторг ругал себя трусом, старой бабой, но и ругать себя теперь было ему очень приятно. «Выпить! Сейчас же выпить! Крепко выпить! Будь она хоть разопухоль, если не злокачественная!»

Пустой «Гектор Сервадак» остался в Алупке. Здесь он держал деньги просто под настольной лампой: в Ялте у него никто не бывал, а забравшийся вор уж никак не мог бы предположить, что гражданин в здравом уме и твердой памяти держит деньги не под замком. Он сунул в карман все, что имел, и выбежал на улицу. У Марьи Игнатьевны были в буфете и ром, и рябиновка, она просила его пользоваться ее продуктами как своими; но он за все время позаимствовал у нее лишь в первый день несколько кусков сахара — забыл привезти свой, — да и сахар давно вернул.

Начинался чудесный, совсем весенний теплый вечер. С моря дул ветерок. В булочной давно пахло свежесвепеченным хлебом. Он почувствовал сильный голод — все три недели никакого аппетита не было, что тоже казалось ему безошибочным признаком рака. Съестных припасов в лавках было мало, Иван Васильевич купил все, что мог достать самого дорогого. «Нет ли икры?» «Икры, гражданин, нет: Гитлер всю слопал», — насмешливо сказал приказчик. По дороге он потерял пакетик с огурцами. Прежде пришел бы от этого в отчаяние, теперь даже не вернулся в магазин справиться. Купил водку, две бутылки вина. Выплеснул дома из стакана оставшийся с утра чай, налил водки, с наслаждением выпил, налил еще, с жадностью ел прямо с бумажек. Ему всегда казалось, что есть, если не пить, приятнее одному, чем в обществе.

«Не понимают люди, что такое счастье и как мало для него нужно. Счастье, это когда нет рака, и этого достаточно! Водка есть? Вино есть? Колбаса есть? А

это раз в неделю может себе позволить и жалкий экстерминатор... Мы, русские, даже слова не придумали для такого занятия: мало, низко, непривлекательно! Но если строят новую жизнь, то ведь надо же раньше вывести вшей. И всем им, господам строителям, маршалам, президентам, министрам, понадобился экстерминатор Иван Васильевич! А может быть, и вообще моя работа лучше и чище ихней! Я ведь никому не делаю вреда, кроме виноградной блошки. Они распоряжаются моей жизнью, а она все же от них зависит меньше, неизмеримо меньше, чем от этой маленькой опухоли, которая оказалась *не злокачественной* и которая скоро пройдет... Да, проходи, голубушка: если ты *не злокачественная*, то грош тебе цена, не задерживайся, не будь «задавакой», проваливай подобру-поздорову!.. Счастье же мое зависит тоже не от вас, господа строители, а больше всего от Марьи Игнатьевны, и она мне не откажет. Если же откажет, то останутся море, и горы, и луна, и сады, и работа, и книги, с ней мы все-таки останемся друзьями и нынче же вечером пойдем смотреть издали на тех странных символических львов! Да, господа строители...» Он пил стакан за стаканом.

Старый татарин застал его уже пьяным. Иван Васильевич обнял его и закричал: «Ты человек, я человек, мы оба маршалы! Ты извозчик, я экстерминатор, два сапога пара! Пей, извозчик! Экстерминатор угощает!» Татарин отказывался, ссылаясь на свою веру. «Предрассудок! Пережиток! — кричал Иван Васильевич. — Ты уже поломался, сколько твоя вера требует, теперь пей! Извозчик пьет у экстерминатора! Exterminate — глагол... Какого спряжения, а? Я, брат, в университете учился, знаю традиции Грановского! Пей! Сам Магомет был не дурак выпить и за гуриями поухаживать!» Татарин не рассердился: плохо понимал и всегда относился к пьяным с дружелюбным любопытством.

— Пил, кушал, благодарил. На саше поехал, — сказал он, когда ни в бутылках, ни на сальных бумажках больше ничего не оставалось. Он так говорил, собственно, больше потому, что русские так воспроизводили русскую речь татар. — Дверь не закрывал, дурак, — сказал он на площадке, — в Ялте не закрывал дверь! Американский президент приходил и часы украл! — пошутил татарин. Иван Васильевич хлопнул



себя по лбу, обнял татарина и затворил дверь двойным поворотом ключа.

Проходившая по дороге громадная солдатка с винтовкой заорала на них: «Гайку у вас, скаженные, ослабило — на людей наезжать!» «Гражданка солдатка, я не скаженный, а гражданин-экстерминатор!» — закричал Иван Васильевич. Увидев, что кацап пьян, солдатка тотчас смягчилась и сказала им, чтобы на шлях и не пробовали выезжать: сам Сталин едет! Татарин тотчас осадил лошаденку.

На повороте их действительно не пропустили, но издали они видели, как по большой дороге один за другим бешено неслись автомобили с яркими страшными фонарями. «Проехал!» — радостно-тревожно сказал стоявший впереди на арбе человек, с широкой улыбкой на них оглядываясь. «Проехал, коллега!.. Экстерминатор проехал!» — закричал Иван Васильевич. Старый татарин с силой толкнул его в спину. «Молчи, дурак! Большой дурак!» — вполголоса испуганно говорил он.

## VIII

Огни каменной громады отсвечивались в тяжелых черных волнах. К тому флигелю, где жила Марья Игнатьевна, можно было пройти, минуя кордон. Иван Васильевич, протрезвившийся, смущенный, но радостный, поднимался с террасы на террасу, все себя спрашивая, можно ли к ней идти в десять часов вечера. Кроваво-красная луна освещала кипарисы, магнолии, лавры. С моря дул ветерок.

И откуда, откуда тот ветер летит,  
Что, стряхая росу, по цветам шелестит,  
Дышит запахом лип и, концами ветвей  
Помахая, влечет в сумрак влажных аллей?  
Не природа ли тайно с душой говорит?  
Сердце ль просит любви и без раны болит?  
И на грудь тихо падают слезы из глаз...  
Для кого расцвела? Для чего развилась?

«Да может ли она «слышать голос души»? Или, вернее, осталась ли у них всех душа?» — нерешительно думал Иван Васильевич, проходя мимо тех львов, которых называл символическими. Мраморные статуи

изображали разные моменты из жизни льва: лев спит, лев просыпается, лев рычит, лев готовится к прыжку. «Да, за все бывает расплата, кроме того, за что расплаты не бывает. В известном смысле, может быть, когда-нибудь зарычит и наш лев. Это я лев, и татарин, и мы все!.. Но довольно с меня львиных прыжков: видел я их, и будет, что уж тут хорошего?.. Нет, конечно, нельзя сказать, будто меня не касается то, что делается во всех этих и других дворцах. В известном смысле даже очень касается: немцев-то, слава Богу, придушили. Но нас никто не освободит, никого мы не интересуем, ни от кого нечего ждать и нам, забытым маленьким старым людям, и тому новому народу, который живет на нашей земле, дай Бог всякого счастья... А я, грешный, буду, видно, и дальше жить, как жил: буду работать, пить по вечерам наливку и любоваться этими волшебными садами».

Он издали увидел два уютных огонька в ее флигеле. Сердце у него забилося. Подумав, он решил отложить разговор до своего возвращения в саклю после окончания работы конференции.

# НОЧЬ В ТЕРМИНАЛЕ

(Фантастический рассказ)

## I

Этот крошечный мрачный островок жил аэропланами, которые ненадолго на нем останавливались при перелете через океан. В длинном, низком, мрачно-нарядном здании помещались кабинет директора, метеорологическая станция, отделения почты и телеграфа, конторы аэроплановых обществ, меняльная лавка, парикмахерская, бар, зала с кофейней. В зале был киоск, заменявший на островке универсальный магазин: там продавались папиросы, книги на английском языке, бывшие модными полгода тому назад, самопишущие перья, туалетные принадлежности, все стоило очень дорого: предназначалось для богатых людей, на случай, если они забудут чем-либо запастись в дорогу или у дамы порвутся чулки. В киоске продавались также открытки с видами острова; видов было только два: это самое длинное одноэтажное здание, сокращенно называвшееся терминалом, и эта зала с киоском, столиками и креслами. В зале лакеи в красных куртках с золочеными пуговицами разносили кофе и крепкие напитки. Обедали здесь редко, так как аэропланы обычно оставались на островке не больше часа, и на них пассажирам бесплатно полагалось огромное количество еды.

Справа, довольно далеко в стороне, стоял огромный ангар с возвышавшейся над ним контрольной башней. Дальше виднелись только крутые голые скалы над морем. Путешественникам казалось, что на островке больше ничего и нет, кроме этого давно построенного, устаревшего по конструкции аэродрома. Те из них, которые были не вовсе лишены воображения и интереса к людям другого мира, с удивлением себя спрашивали, как можно жить, всегда, круглый год, жить в таком месте. На самом деле неподалеку за скалами была еще крошечная пристань. Заходили в нее

главным образом *старые* грузовые суда. На них переправлялись изредка через океан люди, имевшие больше времени, чем денег. На этих же судах доставлялись на островок товары и газеты. Разумеется, пассажиры аэропланов газет на островке не покупали — разве только по рассеянности, не взглянув на число, — но местные жители читали все, особенно же объявления американских магазинов. Последние новости они узнавали в зале терминала, где был превосходный радиоаппарат. Около 6 часов вечера на островок прилетал главный аэроплан. К этому времени в зале и у бара собирались люди из поселка у пристани, что было их единственным развлечением. Они с любопытством и с недоброжелательством поглядывали на богачей, которые, войдя в здание, бросались в бар, в телеграфное отделение, в парикмахерскую, а затем писали открытки, болтали, слушали радио.

Жители островка много пили в баре терминала либо у себя дома. Жили они в лачугах у пристани. Сносные домики были только у главных служащих аэродрома. В самом терминале имели квартиры директор и контролер, оба холостые люди. Мужчин на островке было вдвое больше, чем женщин. Климат был очень дурной. На здоровье жаловались даже местные рыбаки. Прилетавший же в прошлом году известный американский психиатр, расспросив директора об условиях его жизни, настойчиво посоветовал ему следить за собой и возможно чаще брать отпуск. «Я удивляюсь, как у вас тут все не сходит с ума! — сказал он. — Вы бы все-таки могли завести хоть кинематограф, гимнастический зал, ну, или там площадку для тенниса...»

В конце сентября сообщения радиостанции стали одно страшнее другого. Объявление войны ожидалось как будто с минуты на минуту. На островке тревога усиливалась. Все знали, что если будет война, то островок окажется в страшной опасности: одна из сторон должна его уничтожить, так как гибель аэродрома сделала бы невозможным полет через океан для большей части аэропланов другой стороны. Военные обозреватели, которым с 1945 года больше было нечего делать и которые теперь опять подняли голову, давали, как всегда, понять, будто им известно что-то такое, чего обыкновенные люди не знают. Из их статей

было ясно, что разгром вражеских аэродромов будет задачей первых же дней войны. Говорилось об уничтожении населения на океанских островках при помощи микробов. Говорилось и о десятитонных снарядах, и об атомной бомбе. Владелец же рыбной лавки составил в баре маршрут какого-то атомного облака. Выходило, что островок погибнет неминуемо.

## II

Великолепный океанский аэроплан «Синяя Звезда» вылетел из страны, которой в случае войны грозила особенная опасность. Жизнь, впрочем, не была обеспечена людям и в той стране, куда аэроплан летел. Многие из взявших билеты отказались от них в последние два дня: если уж погибать, то у себя дома.

В день отлета погода была хорошая. Формальности, проверка бумаг, взвешивание багажа заняли довольно много времени. Немногочисленные пассажиры обменивались замечаниями о том, каков будет перелет. Наконец был подан сигнал, все вышли к дорожке. У лесенки освещенного аэроплана стояла хостесс, одетая в нарядное форменное голубое платье, очень стройная, с красивым, по последней моде отделанным лицом, с тоненькими длинными намазанными полосками вместо выщипанных бровей. Она, ласково улыбаясь, спрашивала пассажиров о фамилии, проверяла по листу, который держала в длинных красивых руках с розовыми — а не пунцовыми — ногтями, наклоняла голову и говорила:

— Я надеюсь, вы будете чувствовать себя отлично... Перелет будет очень хороший, сведения с океана самые благоприятные.

Все оживились, войдя в ярко освещенную длинную, выстланную мягким ковром каюту. На человечество, быть может, надвигалась катастрофа, но это не вызвало у людей той тоски, какую вызвало бы личное несчастье. Хостесс, поднявшаяся последней, с очаровательной улыбкой указывала места, предлагала подушечки, пледы, иллюстрированные журналы. Мужчины смотрели на нее с благожелательным любопытством. На полукруглом светлом потолке с серебряными полосами уютно горели лампочки; в светлых покойных креслах из-под крытых дорогой кожей ручек замыс-

ловато выдвигались пепельницы. Хостесс ласково говорила, что тотчас после отлета можно будет курить, — «но, пожалуйста, папиросы, а не сигары», — объясняла, как застегиваются приделанные к креслам пояса, советовала открыть при подъеме рот. Пассажиры, которым уже случалось летать, шутили; другие, знавшие аэропланы только по фильмам, немного нервничали. Дамы впились в ручки кресел и не совсем естественно смеялись.

Застучали моторы, аэроплан покатился по дорожке, все ускоряя ход, и с легким толчком отделился от земли. По кабине пробежал радостный гул. Пассажиры смотрели в окна на удалявшийся с необыкновенной быстротой аэродром, ахали и обменивались впечатлениями. «Совсем не качает!.. Я думала, будет страшнее!.. Господи, как быстро!..» Над дверьми машинного отделения исчез электрический сигнал. Это значило, что можно курить и отстегнуть пояса. И тотчас стало совсем уютно. Никому не верилось, что может случиться какая-либо беда с этим удобным кораблем, так быстро уносящим их в более спокойные края. Мужчины, радостно обмениваясь шутками, закурили. Хостесс стала разносить на подносах напитки, предлагала закусить в ожидании обеда. Все хотели есть и особенно пить. Очень скоро пассажиры между собой перезнакомились. Был общий язык: английский, без соперников господствовавший на океанах; везде надписи были по-английски, чиновники говорили по-английски — это было как бы данью Соединенным Штатам и начавшейся их эпохе в истории.

Знаменитостей на аэроплане не было, но были люди, имена которых изредка появлялись на средних и последних страницах газет. Самым важным из пассажиров был старый дипломат, занимавший где-то немаловажный пост. У него было лицо из тех, что принято считать «породистыми». Одет он был по-дорожному, но так необыкновенно хорошо, что другие мужчины смотрели на него с завистью и старались что можно запомнить. На полке над ним стоял сундучок, окованный стальными обручами: за этот сундучок он по весу немало доплатил на аэродроме, а затем, не отдав его носильщику, сам внес в аэроплан. С дипломатом была его дочь, милая хорошенькая барышня, в первый раз летевшая на аэроплане и, видимо, бывшая от всего в восторге, быть может, даже от ожида-

ния войны. С ней тотчас после знакомства особенно любезно заговорил эссеист, сотрудничавший в самых радикальных изданиях и любивший общество аристократов. Он писал статьи, которые могли по-настоящему оценить разве лишь несколько десятков людей на всей земле. Изредка печатал и странные стихи — шарил в мозгу в поисках такого (хотя бы вполне бессмысленного) сочетания понятий, предметов, фактов, которое еще ни разу не было использовано другими передовыми поэтами, и подбирал рифмы, тоже по возможности мало использованные, — их он подыскивал в особых облегчающих вдохновение словарях, а словари дома тщательно прятал, как другие прячут порнографические книги. В обществе у него был всегда такой вид, точно он ждал, что к нему сейчас подойдут за автографами. И действительно, уже на первой остановке «Синей Звезды» он, любезно-снисходительно улыбаясь, что-то написал дочери дипломата, у которой в альбоме были Черчилль, Кларк Гейбл, Эйнштейн. Эссеист был безобразен, как почти все эстеты. На его лице с неприятно остренькими чертами всегда скользила незаметная, чуть насмешливая улыбка, как будто он знал или понимал что-то неизвестное его собеседникам. И эта умно-ироническая улыбка не оставляла ни малейших сомнений в том, что он неумный человек.

Противоположностью ему по внешности и манерам был его сосед по креслу, молодой шахматист, летевший на международный турнир. Лицо у него было привлекательное и застенчивое. Он не привык к обществу богатых людей, робко на них поглядывал и все боялся сделать что-либо такое, чего богатые люди не делают. Хостесс с особенно ласковой улыбкой предложила ему иллюстрированный журнал. Он рассыпался в выражениях благодарности, затем покраснел, увидев, что другие благодарят гораздо меньше, и тотчас углубился в объявления и картинки. Все казалось ему необыкновенно заманчивым: великолепные синие, красные, зеленые автомобили, вилла, окруженная садами, роскошная, выстланная дорогим ковром гостиная, где дружная семья с восторженными по-разному улыбками собралась у радиофонографа. Дольше всего смотрел он на нераскрашенную барышню, так мило и радостно писавшую что-то на пишущей машине последнего образца. Ему не нужны были ни машина, ни

радиофонограф, ни вилла, ни даже барышня — или были нужны, но можно было без них обойтись. Барышня — и только она одна — в журнале не продавалась. Он прочел все о вилле: сколько комнат, сколько земли, сколько стоит. Шахматист был беден (летел на аэроплане потому, что организаторы турнира не успели вовремя заказать ему место на пароходе); тем не менее он часто с интересом читал объявления о продававшихся имениях, дворцах, замках, и чем дороже они стоили, тем внимательнее читал. Он искренно, почти без зависти, восхищался тем, как живут богатые люди. Перелистав весь журнал, он робко оглянулся по сторонам и достал из кармана пальто маленькую шахматную доску с фигурками, втыкавшимися на стерженьках в квадратики. Турнир должен был происходить в шумном накуренном зале: тренировка на аэроплане под стук моторов могла оказаться полезной. И тотчас он забыл о виллах, барышнях, о соседях и обо всем на свете.

Был на «Синей Звезде» еще профессор технологического института, очень похожий лицом на Шекспира, добродушный ученый, чрезвычайно мнительный человек. У него давление крови было 190. При воздушных подъемах и провалах он мерил себе пульс, а за обедом взял из шести блюд только два и вместо сладкого попросил дать ему яблоко. Рядом с ним, по другую сторону прохода, сидела пожилая голландская чета; муж и жена всех слушали очень благожелательно, совершенно одинаково всем улыбались и сочувственно кивали головой, что бы люди ни говорили.

— Конечно, она очень хороша собой, очень, — на второй день полета говорила о хостесс эссеисту дочь дипломата таким тоном, каким лорд Монтгомери мог говорить о генерале Роммеле. — Но, по-моему, у нее кукольное лицо.

— Вы не хотите, чтобы у служащей аэроплана было лицо женщины Хуана де лас Розас или Гауденцио Феррари, — со снисходительной улыбкой ответил эссеист.

— Нет, я этого не требую, — испуганно сказала дочь дипломата, отроду не слышавшая о таких художниках. — Но некоторая одухотворенность, я думаю, необходима в женском лице...

— Откуда может взяться одухотворенность у современной женщины? — перебил ее профессор. Он писал двухтомную книгу «Введение в технократию» и,



хотя был не глуп, имел ясное, строго научное социологическое объяснение для всего, что случается или может случиться в мире. — Идеал нашей эпохи — это to have a good time<sup>1</sup>. Мы можем к этому относиться как угодно, но 95 процентов современных женщин и 85 процентов мужчин думают только о том, как бы have a good time.

Голландская чета одобрительно закивала; по одинаковым улыбкам мужа и жены не ясно было, одобряют ли они критическое замечание профессора или же то, что думают 95 процентов женщин и 85 процентов мужчин.

— Человеку и полагается наслаждаться радостями жизни in tempore opportuno<sup>2</sup>, — сказал дипломат. — Во всяком случае, это лучший способ бороться со страхом.

— Страх смерти есть довольно нелепый вид атакизма, — опять перебил профессор, хотя дипломат слова «смерть» не произносил. — Вспомните слова Эпикура: «Когда я существую, нет смерти. А когда есть смерть, больше нет меня». Чего же тут бояться?

— Может быть, но жалко будет расставаться со всей красотой земли, — сказала дочь дипломата.

— Что такое красота? — спросил эссеист. — Философы за три тысячи лет не нашли для нее определения.

— Каждый знает, что такое красота, — сказала дочь дипломата и встретила взглядом с шахматистом, который робко и восторженно на нее смотрел. — Вот, скажите вы, — весело обратилась она к нему, — что, по-вашему, самое прекрасное на земле?

— Самое прекрасное на земле? — переспросил он, краснея. — Самое прекрасное на земле, — подумав, сказал он решительно, — это 34-я партия Алехина против Капабланки, сыгранная на их турнире в 1927 году!

Все засмеялись. Улыбка на лицах голландской четы, стершаяся было, когда заговорили о смерти, опять тихо засияла.

— Быть может, ваш отец считает самым прекрасным на земле какую-нибудь ноту, которую Талейран в таком-то году послал такому-то правительству, — сказал эссеист.

Дипломат улыбнулся лишь в меру необходимости.

---

<sup>1</sup> Хорошо провести время (англ.).

<sup>2</sup> В подходящее время (лат.).

Ему не нравился этот развязный человек безобразной внешности и слишком радикальных взглядов. Но дипломат постоянно встречался с людьми, которые очень ему не нравились, и с грустью думал, что *его* эпоха кончилась: теперь министры и послы не знали французского языка, не помнили дипломатических анекдотов, остроумия князя де Линя, не умели вставить к слову латинское изречение. Правил люди другого мира и путешествовали тоже люди другого мира, да еще везде были шпионы каких-то невозможных, никогда прежде не виданных правительств. Не вполне достоверно, будто Талейран думал, что язык дан человеку для скрывания своих мыслей, но теперь, пожалуй, было благоразумнее языком вообще пользоваться возможно меньше.

Обед был не слишком хорош, и все блюда подавались одновременно на больших подносах с углублениями для тарелок и стаканов. Но напитки были прекрасные, и к концу обеда всем стало еще веселее. Эссеист говорил дочери дипломата об изумительных винах в парижской La Tour d'Argent и в La Bonne Auberge около Антиба. Дипломат возразил, что ни один нынешний ресторан не может идти в сравнение с Cafe Anglais, и вспомнил Квадратный салон этого ресторана, где Наполеон III угощал Александра II и Вильгельма I. Шахматист их слушал с чистым бескорыстным восторгом. Голландец одобрительно кивал головой и что-то сказал о голландском сыре. Дочь дипломата, выпившая два коктейля и полбутылки бургонского, то и дело без причины блаженно смеялась, откидывалась на спинку кресла и закрывала глаза.

— ...Да, но еда занимает слишком много места в жизни так называемого цивилизованного человека. Он сам себя отравляет, с социологической точки зрения это абсурд, — сказал профессор, только что измеривший себе пульс (оказалось 82). Он не успел объяснить социологическую точку зрения: над дверью машинного отделения опять появился электрический сигнал. Предстоявший спуск был по счету третьим и уже больше ни у кого не вызывал беспокойства; все лишь для вида застегивали пояса и даже не сразу гасили папиросы. Хостесс с той же милой улыбкой напоминала свой совет: широко зевать, а то от резкой перемены давления люди потом минут пять плохо слышат.

— А я и не думала зевать и слышала все от-лично, — сказала дочь дипломата. «И я тоже...» «И я...» — говорили другие. Голландская чета одобри-тельно кивала головой.

Никому из пассажиров не могло прийти в голову, что они в эти минуты подвергались смертельной опасности. В машинной части произошла очень серьезная поломка. Но по виду четырех одетых в мундиры рослых людей, кото-рые тотчас после спуска, улыбаясь и вполголоса перего-вариваясь, прошли по каюте, никак нельзя было по-думать, будто они за несколько минут до того имели основания ждать, что сейчас сгорят заживо вместе со всеми пассажирами. Не заходя в одноэтажное здание, они быстро прошли в ангар, где находились и мастерские.

Пассажиры, держась за мокрые перила, осторожно спустились по лесенке и с любопытством оглядывались по сторонам. В первый раз за время поездки у всех проскольз-нуло неприятное, чуть тревожное чувство. Летя над об-лаками, они и не заметили резкой перемены погоды. По площади перед терминалом, засаженной чахлыми скуч-ными деревьями, холодный ветер гнал столб пыли. По морю тяжело ходили, почти без пены, черные громады. Неприветлив был и голый скалистый островок. У дорож-ки контролер, подававший аэроплану сигналы, с подчер-кнуто беззаботным видом убирал свои флажки. Он видел, что с аэропланом случилось что-то очень нехорошее, и знал, что при пассажирах беспокойства выразить нельзя.

— А все-таки приятно снова очутиться на доброй старой твердой земле, — говорил эссеист.

— Ну, старая твердая земля встречает нас не очень гостеприимно. Сейчас, кажется, хлынет ливень, — ска-зал профессор.

— И еще неизвестно, что мы сейчас узнаем на старой твердой земле. Вдруг война уже объявлена! — весело сказала дочь дипломата. Отец строго на нее взглянул, точно она выдавала государственную тайну. Старый голландец, одобрительно улыбаясь, закутывал шею жены шелковым шарфом.

### III

Директор аэродрома, бывший летчик, уже немоло-дой, сильно пополнившийся в последние годы человек флегматического вида, решил пока не говорить пас-

сажирам, что они не могут продолжать путешествие на «Синей Звезде». Поломка самолета была большой неприятностью и сама по себе, но еще хуже бывали в подобных случаях объяснения с пассажирами, которые принимали такой тон, точно он отвечал за поломку. «К вечеру скажу. Конечно, «политика страуса», но надо спокойно пообедать: сегодня индейка с каштанами», — сказал он себе.

Он участвовал в войне, затем был гражданским летчиком, сотни раз рисковал жизнью, порою спасался и спасал других истинным чудом. Постепенно рефлексии у него стали сдавать, как они с годами сдают у боксеров или у фехтовальщиков. Случилось крушение, он три месяца лежал в больнице и, выйдя из нее, почувствовал, что летать больше не может. То, что в газетах поэтически называлось «борьбой со стихией воздуха», ему смертельно надоело. К тому же люди не ценили его работу и сносились к ней совершенно так же, как, например, к труду кондуктора трамвая. Случалось, что он получал от правления выговоры за такие чудеса искусства и хладнокровия, за которые на фронте даются чины и ордена. После его выздоровления ему предложили службу на островке. Он принял ее, с тем чтобы накопить денег и уйти, но скоро почувствовал, что уходить ему некуда и незачем: стихия воздуха выжала из него душевные силы. К собственному его изумлению, он теперь стал бояться высоты, не любил снизу смотреть на самолеты и даже на контрольную башню поднимался неохотно. Радиостанцией, мастерскими, мощными, в миллиарды свечей, фонарями ведал его помощник. В ангаре всегда пахло нефтью и маслом; этот запах вызывал у него страшные воспоминания, как и вид бесчисленных аппаратов, трубок, циферблатов.

Сам он занимался преимущественно административной работой. На островке он был почти диктатором, и, как всем диктаторам, ему было скучно. Главным его интересом стали еда и вино. Пьяным он никогда не напивался, но почти все деньги тратил на заказы далеким гастрономическим магазинам и шутил (когда было с кем шутить), что стал редко встречающейся помесью эпикурейца с меланхоликом. Тот проезжий психиатр, превосходный врач, налету замечавший в людях все и никогда этого не показывавший, заметил, что этот человек беспрестанно поглядывает

на свою обувь, начищенную до изумительного блеска. Действительно, у директора было не менее двадцати пар сапог и туфель. Они были надеты на колодки и перенумерованы. Он менял обувь по нескольку раз в день и любовался ее блеском, как когда-то любовался блеском аппаратов аэроплана.

Были основания надеяться, что следующий за «Синей Звездой» аэроплан прилетит тоже почти пустой и что на нем, следовательно, можно будет всех разместить. Директор вышел к пассажирам из своего кабинета и поговорил с ними; обычно он делал это лишь в тех случаях, когда летели очень важные люди или очень красивые женщины. Дочь дипломата была недурна собой. У ее отца были хорошие туфли. Он пошутил с пассажирами, затем радостно, точно это было приятной новостью, сообщил, что им придется переждать на островке: ожидается буря.

Несмотря на радостный тон директора, пассажиры приняли известие невесело. Всех должны были встречать родные или друзья. Однако море и небо были так беспросветно черны, что и лететь немедленно дальше тоже не хотелось.

Общее тягостное чувство усилилось от новостей. В длинной зале передавалось сообщение известного всему миру радиокomentатора. Накануне, перед отлетом аэроплана, положение было «чрезвычайно серьезно, но не безнадежно». Теперь радиокomentатор сообщал, что «только чудо может предотвратить войну». «Все-таки нам очень, очень повезло, что мы успели улететь!» — выразила общее чувство дочь дипломата.

Дипломат, оставив дочь у сундучка, с нахмуренным видом прошел первый в телеграфное отделение. Он послал три телеграммы, эссеист — две, голландская чета — одну. Шахматист спросил, что будет дешевле: deferred или Night letter<sup>1</sup>, и тоже послал телеграмму. Всем стало легче, точно теперь дела опять пришли в порядок. Голландец успокоительно говорил жене, что Анна беспокоиться не будет: она, помнишь, не очень беспокоилась и восемь лет тому назад, когда мы так опоздали из-за заносов.

---

<sup>1</sup> Здесь: обычная телеграмма или «ночное письмо», то есть телеграмма по сниженному тарифу (англ.).

Пассажиры расположились в креслах у столиков и заказывали кофе, виски, бренди. Только профессор потребовал стакан фруктового сока. Лакеи в красных куртках почтительно принимали заказы. Несмотря на слухи об атомном облаке, в ресторане было радостное оживление: буфетчик уже слышал, что приезжие улетят не так скоро. В поселок спешно послали за рыбой и за курами.

В зал вошли еще два человека. Их знали на аэродроме: они приехали на грузовом судне, жили у рыбака в поселке, но по несколько раз в сутки приходили в терминал, слушали радио и пили крепкие напитки. Платил всегда старик, очень говорливый человек. Он в первый же день за стрижкой успел сообщить парикмахеру, что его зовут Макс Норфольк, что по паспорту он американец, а кто по национальности — сам начинает забывать: так давно у него была настоящая национальность. Сказал, что путешествует он на дрянном суденышке, ибо менее богат, чем Рокфеллер: «Я не намного беднее его, но все-таки беднее». По-видимому, он не любил говорить иначе как в шутливой форме. О своем спутнике старик, подняв со значительным видом палец под простыней, сказал, что он, кажется, троцкист. Парикмахер всегда, как все парикмахеры, соглашавшийся со словами клиентов, одобрительно кивнул головой; впрочем, едва ли знал, что такое значит это слово, и не слишком интересовался. «Мы с ним познакомились на суденышке. Очень странная личность», — сказал Макс Норфольк.

Вид у троцкиста был в самом деле странный. Это был худой, высокий человек с вытекшим левым глазом, прихрамывавший на левую ногу и плохо владевший левой рукой, что придавало его облику какую-то страшную симметрию. Однако и независимо от этого люди на улице, особенно женщины, всегда обращали на него внимание и часто провожали его взглядом.

Что-то очень неприятное и очень значительное было в его лице, в тяжелом, изменчивом, обычно неподвижном, порою тусклом и безжизненном выражении его единственного глаза. Одет он был так плохо, что в терминале на него косились не только пассажиры аэропланов, но и местные жители, и лакеи. В первые дни после прихода их грузового судна на островке стояла жаркая солнечная погода. Тем не менее одноглазый

человек ни на минуту не снял с себя болтавшегося на нем грязного рваного непромокаемого плаща с громадными косыми карманами.

Накануне они просидели в баре до поздней ночи. Макс Норфольк пил, болтал без умолку и называл своего собеседника троцкистом. Почему-то ему понравилось это обращение. Старик произносил его так же просто, как если бы говорил: «доктор» или «полковник».

— Я не троцкист, — сказал хриплым неприятным голосом одноглазый человек. Он говорил так мало и так редко, что на него оглянулся буфетчик. — Троцкий был умеренный социалист эволюционного толка, вдобавок болтун и интеллигент. Это не был человек дела. Он думал о славе.

— А Гитлер? — спросил с любопытством старик.

— Гитлер был психопат и неудачник, — кратко ответил человек с вытекшим глазом и замолчал едва ли не на весь остаток вечера. Впрочем, Норфольку и нужен был не собеседник, а молчаливый слушатель. Через пять минут он снова называл своего спутника троцкистом. Старик говорил много и бессвязно.

Узнав, что новый аэроплан задержится на островке, Макс Норфольк тотчас познакомился с пассажирами. Они тревожно поглядывали на человека в рваном плаще и предпочли бы держаться подальше от этих двух людей. Но старик всех обезоруживал словоохотливостью и обманчиво-благодушной улыбкой. Он завел разговор о неминуемой бомбардировке острова, о новых снарядах, об атомном облаке. Говорил он так уверенно и авторитетно, что настроение у пассажиров «Синей Звезды» еще ухудшилось. У всех шевелилась мысль, что хорошо было бы улететь возможно скорее.

— Отчего же вы не слушаете радио? У них превосходный аппарат, дающий чуть не все станции мира, — сказал старик. Голландец с радостной улыбкой объявил, что в таком случае надо поискать Амстердам. «Я сейчас поставлю Амстердам!» — сказал он с таким видом, как будто только в Амстердаме могли знать и сообщить правду о событиях. Старик возразил, что лучше соединиться с Женовой: по крайней мере, по-французски все понимают. Пассажиры поспешили о том, который час теперь в Европе. Голландец стал вертеть ручку аппарата. С какой-то бедламовской

нелепостью, смешиваясь, врываясь друг в друга, понесли крики, сообщения на непонятных языках, джаз-банд, церковная музыка — на ней голландец на мгновение задержался. Он не был музыкален, так как любил всякую музыку, но церковную любил и почитал особенно. «Смейся, п-паяц!» — с надпрыгивающим окаянием пел тенор, голландец поспешно перевел стрелку: ревнивцев и убийц, как Канио, не любил. «Вот... Вот Женева!» — радостно, многообещающим тоном сказал он наконец.

Женевское сообщение было еще грознее других.

За широкими окнами зала, вдоль дорожек аэродрома, вспыхнули огни. Все вышли из здания. Ветер был очень силен, против него было трудно идти. С редких деревьев уныло падали листья. Где-то огромными буквами горела буква R. Пассажиры почему-то беспокойно на нее поглядывали. Зажегся зеленый сигнал для ожидавшегося другого аэроплана: «Cleared to land»<sup>1</sup>. На высоте светились огоньки контрольной башни, точно повисшие в воздухе неизвестно на чем. Ветер стал еще сильнее. И у всех шевелилось чувство: «Быть может, тот аэроплан погиб... А нам скоро лететь...»

— У них антенна Адрока, — сказал профессор. — Но современная технологическая мысль решительно высказывается против того, чтобы башня устраивалась над ангаром. Это чрезвычайно неосторожно.

Аэроплан не прилетел. Сообщений о нем по радио все не было. «Верно, они там помешались из-за событий», — весело сказал Макс Норфольк. Директор, уже пообедавший, признал момент благоприятным и покочничал с «политикой страуса»: сообщил, что «Синяя Звезда» нуждается в починке.

— Но вы можете быть совершенно спокойны, господа, — поспешно добавил он, поглядывая с испугом на пассажиров. — Завтра утром прилетит другой аэроплан, точно такой же, как ваш, и вы все получите на нем места, разумеется, без малейшей доплаты.

Пассажиры заволновались. Посыпались вопросы: какая починка? отчего им сразу не сказали о починке? какой новый аэроплан? и будут ли еще места на новом аэроплане? может быть, им стоять в коридоре? а вещи? наши вещи остались на «Синей Звезде»! где же нам

---

<sup>1</sup> «Разрешено совершить посадку» (англ.).



ночевать? без чемоданов? Директор как мог всех успокаивал, вздыхая и поясняя, что в такую погоду аэроплан все равно дальше лететь не мог бы.

— Это безобразие! — сказал, возвращаясь в терминал, дочери дипломата эссеист. — У меня завтра лекция. Я провожу параллель между музыкой Арнольда Шенберга и последним периодом Пикассо.

— Да... Да, — ответила дочь дипломата. Ей уже надоел эссеист. — Жаль, что я на ней не буду. У вас всегда такие оригинальные мысли. Вы вчера сказали, что банальность в мыслях то же самое, что параллельные квинты в музыке, — говорила она и про себя думала, что в больших дозах он со своим не банальным разговором очень утомителен.

Шахматист только вздыхал: турнир начинался в следующий вечер. Все вернулись в залу в самом мрачном настроении. Даже голландская чета перестала улыбаться. «А завтра, быть может, уже начнется война», — невозмутимо глядя на потолок, сказал Макс Норфольк. Дипломат строго на него взглянул, точно старик вмешивался в его дела.

— *Bella matribus detestata*<sup>1</sup>, — с тем же невозмутимым видом сказал Норфольк, и по его виду нельзя было сказать, насмехается ли он над дипломатом. Тот удивленно поднял брови с таким видом, какой у него был бы, если б какой-либо оборванец на этом островке заговорил с ним языком принца де Линя. Как первый из пассажиров, он счел себя обязанным немного поднять дух своих спутников и, устроившись у стола в кресле, сказал краткое слово. Объяснил разницу между представлением и энергичным представлением, между протестом и решительным протестом и сказал, что даже решительный протест еще не означает ультиматума. Война возможна, но не неминуема. Если ничего рокового не произойдет в течение ближайших тридцати шести часов, то все может кончиться благополучно. Главное же — сохранять хладнокровие. «Страх плохой советчик. Время работает на мир!» — решительно сказал дипломат и оглядел всех бодрящим взглядом. Слушали его уныло. Доводы, которые он привел, были убедительны, но и прямо противоположные доводы были бы тоже убедительны. Страх был плохим совет-

---

<sup>1</sup> Война, ненавистная матерям (*лат.*) — цитата из Горация.

чиком, но и бесстрашие могло быть плохим советчиком. Время, быть может, работало на мир, но, быть может, работало на войну. Обе стороны годами утверждали, что время работает на них, и никто уже больше толком не знал, на кого в конце концов работает время.

— Где же мы будем спать? В креслах, опять не раздеваясь? — капризно спросила дочь дипломата. Она больше не чувствовала восторга от их путешествия. Прошлую ночь они провели в креслах на аэроплане, но это ее утомило не больше, чем утомлял затянувшийся до утра бал. Однако после балов она отдыхала в постели до двух часов дня. Ей хотелось принять ванну и лечь спать. Пассажиры, прежде занимавшие ее своей необычностью, теперь казались ей скучными плебеями. Она прошла к киоску и купила старый номер «Ридерс дайджест».

Заведующая киоском, миловидная блондинка с родинкой на щеке и с врожденным неизлечимым «инфериорити комплекс» в душе, поглядывала на нее с жадным любопытством: дочь посланника, барышня из самого настоящего высшего общества, быть может, она бывает в Букингемском дворце? «Если познакомиться с ней, как надо говорить: «It has been a great pleasure to meet you» или «I have enjoyed meeting you»<sup>1</sup>?

В последнее время заведующая киоском изучала выписанную ею из Англии книгу, подписанную: «A Member of the Aristocracy»<sup>2</sup>, и раз навсегда запомнила, что герцогиням надо на конверте писать: «To Her Grace the Duchess of Sussex»<sup>3</sup>, а маркизам: «To the Most Noble the Marchioness of Willshire»<sup>4</sup>. «Боже вас избави напутать! — благодушно говорил ей Макс Норфольк, в первые же дни подружившийся с ней. — Вдруг вы одной из ваших подруг герцогинь напишете, как какой-нибудь простой маркизе! И непременно учитесь манерам у этого приезжего дипломата. В нем есть одна непостижимая, загадочная, таинственная черта: я не могу понять, почему он не носит монокля! Вероятно, это есть единственная уступка демократической эпохе... Со всем тем, вы очень, очень милы, — как всегда

---

<sup>1</sup> «Большое удовольствие с вами познакомиться», «Я рад познакомиться с вами» (англ.).

<sup>2</sup> Здесь: аристократ (англ.).

<sup>3</sup> «Ее светлости герцогине Сассекса» (англ.).

<sup>4</sup> «Самой знатной маркизе Уилшира» (англ.).

бесвязно, говорил старик, ласково на нее поглядывая. — Жаль, что я стар... Ах, какая это неприятная случайность: старость... Древние египтяне никогда не лепили стариков и были совершенно правы».

Ужин прошел скучно. Пассажиры разбились по разным концам залы и буфета. Общий разговор кончился, все сразу надоели друг другу. Дипломат опять прошел в телеграфное отделение и послал четвертую телеграмму. Затем устроился у среднего стола, поставив сундучок рядом со своим креслом, и велел лакею принести кофе. Лакей принял заказ гораздо менее предупредительно, чем прежде, и даже просто невежливо. Это поразило дипломата. Еще больше был он поражен тем, что лакеи пили у бара и громко разговаривали. «Вот до чего дожили — *Deo juvante!*»<sup>1</sup> — думал он.

Из метеорологического отделения приходили сведения о приближающейся буре. Раза два по стеклам начинали тяжело стучать редкие капли и переставали, как будто и природа тоже не решалась начать бурю и пока посылала лишь предупреждения. Известий об аэроплане все не было. Из-за позднего часа в столицах нельзя было рассчитывать и на радиопередачи. Понемногу тревога в терминале стала переходить в худо скрываемую панику.

#### IV

Хостесс тотчас после спуска «Синей Звезды» сцепила с лица свою профессиональную улыбку, надела халат, быстро прибрала каюту, сняла халат и, переброшив через плечо элегантную сумку с *Contrast*<sup>2</sup>, спустилась по лесенке. Она тоже догадывалась, что в машинном отделении вышло что-то неладное, и тотчас направилась в мастерскую. Летчик сказал ей правду. Она ахнула.

Главный для нее вопрос был в том, возьмут ли ее на следующий аэроплан. Если он будет так же пуст, как «Синяя Звезда», то, конечно, возьмут. Но обычно аэропланы бывали переполнены. В таких случаях прежде всего увозились застрявшие пассажиры, затем служащие. Очередь могла дойти до нее не скоро. Мысль о

---

<sup>1</sup> С Божьей помощью (*лат.*).

<sup>2</sup> Коробочка с прессованной пудрой (*англ.*).

том, что, быть может, придется прожить неделю или еще дольше на этом несчастном островке, где даже не было кинематографа, привела ее в ужас. Она в сотый раз подумала, что легко могла бы найти себе место в банке, в конторе, в гостинице; правда, платили бы значительно меньше, но была бы, по крайней мере, спокойная жизнь.

Хорошо в этом деле было только одно: можно раздеться, принять ванну и как следует выспаться. У нее к концу полета обычно уже начинали слипаться глаза. Морщась и щурясь от пыли и ветра, она направилась в квартиру своей приятельницы, заведовавшей киоском аэродрома: имела свой ключ и пользовалась квартирой, как собственной, в благодарность за что привозила приятельнице чулки нейлон и китайские шелковые рубашки. Заведующая киоском жила недалеко от пристани в крошечном домике, две комнаты которого были разделены входной дверью и коридором.

По дороге хостесс, зная всех жителей островка, встретила двух неизвестных ей людей. Старик, сильно размахивавший на ходу руками, ласково ей улыбнулся с видом отставного знатока и изобразил на лице восхищение. Другой человек, слегка волочивший левую ногу, без всякой улыбки неторопливо и беззастенчиво оглядел ее; — она увидела, что у него только один глаз. «Какое страшное лицо!» — подумала хостесс и почему-то ускорила шаги. Домик ее приятельницы был уже совсем близко. Взойдя на крыльцо, она оглянулась. Страшный человек смотрел ей вслед. Она поспешно отворила дверь, вошла и, сама не зная зачем, два раза повернула ключ в замке.

Ванна у приятельницы была первобытная. Хостесс села в чуть теплую воду и с наслаждением закрыла глаза. «Да, да, надо поскорее переменить эту несчастную службу», — думала она. Жалованье было хорошее, но в своей компании летчики и навигаторы часто говорили, что при долгой работе их гибель может считаться статистически предreshенной. Правда, говорили они полушутливо, однако она понимала, что тут не до шуток. Это подтверждалось и теми высокими взносами, которые получало за них страховое общество. Вдобавок служба была тяжелая. Утомительнее всего, пожалуй, было то, что надо было всем мило и ласково улыбаться.

Она служила третий год, и пока ничего не выходило: мужчины с ней любезничали, однако никто ей предложений не делал. Изредка пассажиры перед окончанием полета вполголоса приглашали ее на следующий день в ресторан или в кинематограф, но дальше ресторана, кинематографа и того, что называлось «постыдным предложением», дело никогда не шло. Между тем она твердо решила ни на что, кроме брака, не соглашаться. Товарищи знали это и обращались с ней только по-товарищески. Это было очень мило, хотя иногда немного ее раздражало. Не очень ухаживал даже Боб, славный, веселый, некрасивый человек, тративший на женщин все свое жалованье. За Боба она, впрочем, и не пошла бы: уж слишком было бы глупо, если б муж и жена вместе носились над океаном. Хостесс ценила свою прекрасную репутацию, но репутация начинала ей надоедать.

И в этот полет она с самого начала, принимая и рассаживая пассажиров, увидела, что снова ничего не будет. Дипломат был стар, на пальце у него было обручальное кольцо, от него веяло скукой. Шахматист был недурен собой, и ей стало досадно, когда он вытащил шахматную доску: нельзя же выйти замуж за шахматиста. Эссеист очень ей не понравился, и она женским чутьем тотчас почувствовала, что для этого человека служащая аэроплана не *дама* и уж, во всяком случае, не невеста.

Она просидела в ванне с четверть часа. За окном ветер ревел все сильнее. Закутавшись в купальный плащ, она подошла к окну, чтобы опустить шторы, и вдруг увидела, что вдоль моря со стороны ангара опять неторопливо идет тот страшный одноглазый человек. Она встретилась с ним взглядом и поспешно отошла, не опустив штор.

Часа через два ее разбудила приятельница, расцеловалась с ней, принесла ей еду и рассказала новости. Хостесс слушала, раскрыв рот: будет война, атомное облако, они все погибли! Она газет не читала, новости узнавала от пассажиров и слушала их без особенного интереса. Ей никак не приходило в голову, что она может погибнуть от бомбардировки, да еще на этом забытом Богом островке. Заведующая киоском сообщила также, что прилетевший дипломат очень знатный человек — сейчас видно человека из самого вы-

сшего общества, — что на островке уже три дня живет один очень милый и умный, хотя, верно, совсем простой по происхождению, старик, Макс Норфольк, это не настоящая его фамилия, кто же не знает, что Норфольки первые пэры Англии! А со стариком какой-то одноглазый, очень страшный на вид, говорят, знаменитый революционер и, кажется, убийца. Затем заведующая киоском сварила кофе и убежала на работу.

Одеваться уже не стоило, теперь спешить было некуда, хостесс все еще хотелось спать. За едой она старалась представить себе то, что сообщила приятельница, и не могла. На столе у кушетки лежала книга об этикете. Она улыбнулась — знала слабость своей приятельницы. Книга была открыта на странице о том, как можно хорошо и со вкусом одеваться, не имея больших средств. Автор советовал заказывать преимущественно черные платья, так как они подходят ко всем случаям жизни, не бросаются в глаза и не запоминаются: «A very striking dress cannot be worn many times without making other feel bored at the sight of it. «Here comes the Zebra!» is inevitable if a dress of stripes is worn often...»<sup>1</sup>

«Что за вздор! Никто меня никогда не называл зеброй!..» Хостесс с досадой отложила книгу: как раз недавно заказала яркое платье в полоску. Взяла роман «Forever Amber»,<sup>2</sup> хотя уже его читала. «Отчего у других бывало всякое такое в жизни, а у меня полеты и кафетерии, полеты и кафетерии?» — думала она, засыпая.

## V

— Великий русский писатель Достоевский, — сказал Макс Норфольк, — говорил, что страдание очищает человека. Сам он много, очень много страдал в жизни. Были, следовательно, все основания думать, что он станет чистым и святым существом. На самом деле он до конца своих дней оставался существом столь же злобным, сколь умным и необыкновенным.

---

<sup>1</sup> «Очень бросающееся в глаза платье нельзя носить часто, так как оно надоест людям. «Вот идет зебра!» — таким восклицанием вас неизбежно будут встречать, если вы будете часто надевать полосатое платье...» (англ.)

<sup>2</sup> «Навеки Эмбер» (англ.)

Его мысль была, по-моему, совершенно неверна. Страдание может немного поднять человека лишь на несколько недель, и только в том случае, если оно было перенесено с достоинством. В противном случае оно делает человека злым, завистливым, подозрительным, раздраженным: люди его страданий не оценили. Добавлю, что есть, особенно в наше время, такие страдания, какие с достоинством перенести нельзя. Человек, их перенесший, видит подлецов во всех людях, так как по природе своей человек неспособен считать подлецом одного себя. Да вот, — прибавил он, смеясь, — если, например, завтра, избави Боже, окажется, что для нас на этом островке нет спасения, что ж, станем ли мы от этого чище, просветленнее, лучше? Будем ли еще думать о мирской суете или только о будущей жизни? Быть может, наши худшие предположения оправдаются. В мире возможно решительно все, и обычно оправдываются именно худшие предположения. Тогда и вам, пассажирам роскошных аэропланов, и мне, пассажиру убогого грузовика, будет грозить неминуемая гибель. Солдаты на войне могут рассчитывать на победу; более трусливые из них надеются, что попадут в плен. Нам здесь защищаться нечем, а в плен мы попасть не можем, потому что никто на этом островке не высадится: достаточно просто его разрушить одним из тех способов, которые любезно предоставляет людям наука, «величайшая гордость человека», как сказал какой-то философ.

— Наука не отвечает за то, как ею пользуются военные! — сердито сказал профессор. Он измерил себе пульс: оказалось 95. «Может быть, от ходьбы», — подумал он тревожно и неуверенно. Тотчас после того как оказалось, что они застряли на островке, он нацепил на ногу ходомер и десять раз обошел вокруг терминала. «Много ходить тоже не очень хорошо», — сказал он себе и с неприятным чувством оглянулся. За его креслом стоял человек с вытекшим глазом. Он все гулял по залу, ненадолго останавливаясь то у одного, то у другого столика, и у людей, сидевших за этим столиком, было желание, чтобы он как можно скорее отошел подальше.

— Я знаю, наука пользуется привилегией конституционных королей и умалишенных: она ни за что не отвечает, — сказал старик. — Правда, и среди военных

есть превосходные ученые, как же, собственно, быть с ними? Штатские профессора теперь не очень удачно придают себе невинный вид: они, видите ли, ничего не знали о том, как эти нехорошие генералы используют их открытия. Когда Альберт Эйнштейн предложил президенту Рузвельту ассигновать миллиарды на опыты над разложением атома, он имел все-таки в виду создание атомной бомбы в целях победы над Гитлером. Может быть, в душе ему очень хотелось также проверить на гигантском опыте свои идеи о соотношении между материей и энергией, но об этом в письме к президенту не упомянул.

Человек с вытекшим глазом негромко засмеялся. Смех у него был особенно неприятный и оскорбительный, точно его собеседник, как он в этом, впрочем, и не сомневался, оказался идиотом или негодяем.

— Если б он об этом упомянул, то президент послал бы его к черту, и очень хорошо сделал бы, — сказал он своим резким хриплым голосом. — И пора бросить сентиментальную ерунду об атомной бомбе. Это полезнейшая, превосходная вещь, к сожалению, недостаточно разрушительная. «В Хиросиме было убито двести тысяч человек!» Есть о чем говорить! Важно не то, сколько людей живет на земле, а кто живет и как они живут.

Все молча смотрели на него с неприятным удивлением. Он опять почти беззвучно засмеялся, отошел и отворил выходную дверь. Хотя она была далеко, порыв холодного ветра донесся до стола. Человек с вытекшим глазом постоял с полминуты на пороге, точно колебался, затем взмахнул правой рукой и вышел. Старик проводил его беспокойным взглядом.

— Что, он гулять пошел в такую погоду?.. С социологической точки зрения то, что он сказал, чистый вздор... Вероятно, он хотел нас изумить своей оригинальностью. Он не сумасшедший, этот ваш знакомый? — спросил, зевая, профессор.

— Я думаю, что он еще не сумасшедший, но непременно им будет, — ответил старик.

— Он похож на орангутана, — сказала дочь дипломата. — Он действительно троцкист? Ведь это, кажется, что-то страшно революционное, правда?

— Я совершенно не знаю, кто он такой. Мы с ним познакомились на нашем грязном судне. Может быть,



он наци? Может быть, он поссорился с каким-либо второстепенным диктатором? Знаю только, что он долго сидел где-то у кого-то в концентрационном лагере и что его там искалечили. Большой просветленности от страдания я в нем не вижу. Он дышит ненавистью ко всем и ко всему.

— Бедный человек, — сказал голландец.

— Вы правы, — обратился к нему старик. — Одна из особенностей нашей счастливой эпохи еще и в том, что среди нас есть слишком много людей, много переживших. Разумеется, они во многих случаях ровно ни в чем не виноваты, но от этого ни им, ни нам не легче. Они теперь живут не только вне морали, но, что гораздо хуже, вне логики. Их действия больше не подчиняются закону причинности. Кажется, еще не изучена роль таких людей во всех революциях: фашистских, коммунистических и каких угодно других; меня в революциях всего меньше интересует их идея.

— Зачем же вы возитесь с таким человеком? — хмуро спросил дипломат.

— Что делать, я и в 67 лет сохранил большое любопытство к людям. Они меня интересуют даже тогда, когда они стандартны, как автомобили Форда. Мистер Бэббит не менее интересен, чем Гамлет. А этот не стандартен даже как орангутан. Заметили ли вы, какое у него необыкновенное лицо? Я прежде судил о людях главным образом по наружности, но немного разочаровался в этом способе их оценки, когда увидел, что у Леонардо да Винчи Вакх необыкновенно похож на Иоанна Крестителя, между тем Леонардо, вероятно, знал толк в человеческих лицах... Думаю, что мой приятель прежде имел огромный успех у женщин.

— Куда он едет? — с любопытством спросила дочь дипломата.

— В какой-то маленький город, где у него будто бы есть связи. Впрочем, терять ему нечего: он неизлечимо болен и сам мне сказал, что ему осталось жить несколько месяцев. Думаю, что он умрет в тюрьме, так как искалеченному человеку с такой нерасполагающей наружностью никто работы не даст, а у него нет ни гроша. На судне его кормил в последние дни я, но у меня у самого денег в обрез... Я даже думал, не произвести ли маленький сбор в его пользу? — полупропосительно сказал старик и покраснел, что, по-

видимому, случилось с ним очень редко. — Разумеется, деньги будут жертвователями отданы капитану нашего судна.

— Да, да, конечно, — сказал голландец и, достав из большого старомодного кошелька ассигнацию, протянул ее Максу Норфольку. — Но уж, пожалуйста, вы сами и отдайте это вашему капитану.

Другие ничего не дали. Профессор что-то сказал о необходимости осторожности в деле помощи опасным элементам, которых, к несчастью, есть немало среди городской бедноты. Дипломат никак не откликнулся. На остреньком лице эссеиста еще яснее обозначилась тонкая улыбка, свидетельствующая о том, что он понимает непонятное другим людям. Старик не был, по-видимому, ни обижен, ни даже огорчен отказом.

Пять широких окон залы осветились неестественным страшным светом. Послышался громовой удар. Дипломат резонно объявил, что буря начинается. Лакей в красной куртке вышел из бара, окинул пассажиров мрачным взглядом, точно они были виноваты в буре, опустил стекла окон и, не спрашивая разрешения, погасил главную центральную люстру. Пассажиры не протестовали. Читать никому не хотелось. Разговор с болтливым стариком надоел. Дочь дипломата устроилась в кресле удобнее. Жена голландца, дремавшая в стороне на коротеньком диване, открыла глаза и со смущенной улыбкой подобрала на диванчик ноги. Муж тотчас к ней подошел и подложил ей под голову дорожную подушку.

— Вы, кажется, едете на грузовом судне? — вполголоса спросил Норфолька эссеист. — Что это за судно? Без удобств?

— Без малейших. Капитан нам отдал каюту своего помощника и взял его в свою. Другие спят в трюме. Палуба вся загромождена бочками.

Эссеист допил рюмку какого-то заказанного им редкого напитка и откинулся на спинку кресла. Опять все помолчали.

— Неужели он в самом деле пошел домой в бурю? — беспокойно спросил старик. — Я, разумеется, отсюда не выйду.

Еще несколько раз молния ослепительно осветила зал, и по стеклам быстро, все учащаясь, застучали капли. Дипломат объявил, что начался ливень. Никто

не возражал. Затем все сидели с полчаса молча. Дочь дипломата, закрыв глаза, думала, выйти ли ей замуж за того секретаря английского посольства. Он был недурен собой и нравился ей, но у него не было состояния. Профессор измерил пульс: все 95. «Странно, хотя ничего тревожного в этом нет: общее возбуждение... Если давление крови не доходит до 200, то опасности удара, говорят, нет», — думал он, представляя себе, как хрипя скатывается с кресла на пол. «Неужели третья мировая война? Такого поколения никогда в истории не было!» — думал дипломат. Наконец, эссеист поднялся с решительным видом и, точно кому-то угрожая, сказал, что надо же все-таки добиться соединения с какой-либо радиостанцией. Голландец испуганно оглянулся на жену, но, увидев, что она не спит, одобрительно закивал головой. Он вытащил из жилетного кармана старинные, с тяжелой крышкой золотые часы, нажал на пуговку и радостно сообщил, что сейчас можно будет послушать Эйфелеву башню. Знал на память часы сообщений и длины волн всех главных радиостанций. Улыбнувшись издали жене (она ответила ему ласковой улыбкой), он подошел к аппарату.

Парижское сообщение уже кончалось. Пассажиры ахнули, услышав, что везде реквизируются аэропланы и что частные лица в ближайшее время едва ли будут иметь возможность летать. «Что? Что он сказал?» — спрашивал профессор, плохо понимавший беглую французскую речь. Макс Норфольк радостно перевел ему сообщение. Профессор тоже ахнул.

В Париже заиграли «Марсельезу». Все изменились в лице. Голландская дама поспешно встала с дивана и направилась к мужу, точно чувствуя, что в такую минуту должна быть рядом с ним.

— Да, так было и в 1939 году, — сказала она. — Значит, это война?

— Нет, совсем нет! — поспешно ответил он. — Французы часто передают свой гимн в мирное время. Это делается просто для поднятия духа у населения, так как...

Вдруг совсем близко раздался страшный удар, за ним долгий, все нарастающий грохот. Пассажиры вскочили с мест, из бара выбежал полупьяный лакей. «Что? Что это?.. Что случилось?» — спрашивали все друг друга. Звуков «Марсельезы» больше не было слышно.

Человек с выпекшим глазом, выйдя из терминала, направился к поселку по узкой, пустынной, освещенной редкими фонарями дороге. Он шел неторопливо, засунув руки в косые карманы непромокаемого плаща. Когда он подошел к контрольной башне, сверкнула первая молния. Он остановился, точно соображая, как может отразиться на его замысле этот новый непредвиденный факт. По-видимому, расценил его благоприятно. С неудовольствием заметил, что на засыпанном песком тротуаре остались его следы. «Ветер занесет или дождь смоеет. А впрочем, не все ли равно?»

Сторожей у ангара теперь не было. Окна полуподвального этажа были отворены. Там работали люди. Сильно пахло нефтью. Он отошел, зачем-то спустился по тропинке и обогнул ангар со стороны моря, часто останавливаясь и к чему-то прислушиваясь. Подумал с усмешкой, что, собственно, это самый верный способ навлечь подозрения. «Нет, никого нет...» Поднялся опять на дорогу и долго стоял неподвижно, о чем-то напряженно думая. Раза два смотрел на часы, хотя в темноте ничего разобрать было нельзя. Времени оставалось еще много. Когда хлынул дождь, он застегнул плащ и поднял воротник, все время морщась, точно боялся простудиться. Затем, еще с полминуты подумав, взмахнул опять правой рукой и быстро пошел по дороге к пристани. До сих пор все было тщательно обдуманно. Теперь начиналась импровизация.

Против домика, в который вошла та женщина, горел фонарь. Несмотря на бурю, окна были отворены. Ветер бешено трепал занавески. Правое окно было слабо освещено. Он осмотрелся и на цыпочках подкрался к окну. Заглянуть в него, несмотря на свой рост, не мог. На уровне его лба был каменный выступ с горшочком цветов. Под окном значительно ниже был узкий карниз. Он осторожно поставил на него правую ногу, взялся обеими руками за выступ и приподнялся, оторвав левую ногу от земли. Занавеска окна метнулась внутрь комнаты. Та женщина спала на кушетке. На полу лежала книга. Он примерился, можно ли будет влезть в окно, и сошел с карниза. Когда его левая нога коснулась земли, лицо у него дернулось от боли.

Он вернулся к терминалу и обошел кругом здания, стараясь оставить глубокие следы. Его плащ был теперь совершенно темен от дождя. «Сейчас же у нее его сбросить», — подумал он. Остановился у освещенного окна зала: там все так же сидели в креслах эти подленькие людишки. Он опять взглянул на часы и вдруг затрясся мелкой дрожью. Простоял минуты три. «Может быть, не надо?.. Может быть, не надо?» Сердце у него билось так, что он боялся упасть замертво. Быстро, в сотый раз, перебрал свои мысли: «Расстреляют так расстреляют, мучений будет меньше, пусть все идет к черту возможно скорее, жгут не промок, рассчитано на десять минут, успею, а нет, так все равно». Он сорвался с места и, волоча левую ногу, побежал к ангару.

## VII

Бывшая на острове полулюбительская пожарная команда сделала что могла. Все цилиндры с углекислотой были пущены в ход, действовали и насосы, но с первой минуты стало ясно, что ничего сделать нельзя. Как на беду, дождь прекратился. Вокруг объятых пламенем здания на довольно большом от него расстоянии был расставлен кордон. Несмотря на ветер, не приходилось опасаться распространения пожара: ангар находился далеко от терминала и от домов служащих, резервуар с нефтью был значительно ниже уровня земли. Валил удушливый черный, с огненными просветами, дым, сильно колыхавшийся от ветра. Пламя башни далеко отсвечивалось в море. На стенах терминала дрожали темно-красные широкие полосы. «Какое фантастическое зрелище! Обратите внимание на колорит этого зарева, он напоминает мне...» — говорил дочери дипломата эссеист. Он не мог сразу вспомнить, какие художники изображали пожары, — говорил так больше по привычке. Зубы у него стучали, хотя он еще не разобрался во всех последствиях пожара.

Разбирался в них по-настоящему пока только директор аэродрома. Тем не менее его больше всего мучила мысль об ответственности. «Я докладывал, я писал правлению, что мне надо переделать! — с отчая-

нием думал он. — Конечно, это несчастный случай, это молния!»

Несмотря на свою честность и правдивость, он теперь полусознательно искал такого объяснения несчастья, при котором его ответственность была бы всего меньше. Если пожар произошел от неосторожности работавших в ангаре людей, он нес за это некоторую ответственность. Если было совершено преступление, его ответственность была велика: ангар и резервуар нефти должны были тщательно охраняться днем и ночью. «Хоть бы она поскорее обвалилась, эта проклятая башня!» — подумал он, возвращаясь за кордон.

— Все-таки это уж очень несчастное стечение обстоятельств: и поломка нашего самолета, и пожар, — говорил эссеист.

— Современная техническая мысль требует, чтобы в подобных местах был запасной источник энергии, — сказал профессор. — Между тем здесь на острове все держалось на нефтяном резервуаре! Это просто технический скандал. Островок теперь, значит, останется без освещения, без радио, без всего!

— Еще худший скандал то, что у резервуара не было ни часовых, ни сторожей, — сказал дипломат и посмотрел на директора с таким видом, с каким передал бы министру враждебной державы ноту о разрыве дипломатических отношений. — Я вижу тут явно выраженный случай предвоенного саботажа.

— Это, по меньшей мере, не доказано, — виноватым тоном сказал директор. — Наиболее вероятная гипотеза — удар молнии.

— Напротив, такая гипотеза представляется мне маловероятной, — возразил профессор. — Картина была бы другая. Но чем же все-таки объясняется, что здания в такое время никто не охранял?

— Именно тем и объясняется, что «такое время», — сказал Макс Норфольк. — Мы на этом острове уже довольно давно. В первые дни перед ангаром всегда были сторожа. А с тех пор как пошла речь о войне и атомном облаке, я их видел преимущественно в баре.

— Были ли отворены окна подвального этажа, когда вы в последний раз проходили из поселка? — спросил дипломат. Старик немного подумал.

— Кажется, были. Но они бывали приотворены и раньше. Подумайте, летом, да еще этот запах, — сказал он. Профессор пожал плечами.

— Значит, достаточно было бросить туда зажженную щепку!

— Могла и просто залететь искра из мастерской, — заметил голландец, которому была очень неприятна мысль о преступлении.

— Я и говорю! С точки зрения современной технической мысли устройство контрольной башни, мастерских и нефтяного резервуара в одном месте это недопустимая нелепость!

— Господа, аэродром строил не я, — сказал директор и виноватым, и раздраженным тоном. — Я не профессор технологии, но я бывший летчик и могу вас уверить, что на очень многих старых аэродромах контрольная башня устраивается над ангаром, а в ангаре помещаются мастерские. Добавлю, что я два раза докладывал нашему правлению о необходимости серьезных технических изменений. Однако перестройка стоила бы больших денег, а этот аэродром не приносит и трех процентов на капитал...

— Вот, вот она, их хваленая система частной инициативы! — воскликнул эссеист.

— Скажите ваше мнение: допускаете ли вы возможность поджога?

— Было бы странно, если бы заинтересованные правительства не произвели попытки уничтожить аэродромы противной стороны, — ответил за директора Макс Норфольк, пожимая плечами.

— А я уверен, что пожар вызван молнией! — сердито сказал директор. — Жители островка, все наперечет, это честные люди, никакой политикой не занимающиеся. Из них мы вербуем в штат прислуги. Приезжих вы знаете. Не вы же подожгли резервуар!

Среди разговаривавших опять внезапно выросла высокая сутуловатая фигура человека с вытекшим глазом. Он подошел со стороны кордона. Никто ничего не сказал, но у всех шевельнулась одна и та же мысль.

— Вполне возможно, что это преступление агента иностранной державы! — с силой и с вызовом в голосе сказал дипломат.

— Папа, уйдем отсюда, мы превратимся в трубочистов, — нервно сказала его дочь.

## VIII

Когда башня наконец рухнула с потрясшим весь остров грохотом, директор аэродрома схватился за голову, постоял еще с минуту неподвижно, затем медленно направился в терминал. Он шел тяжелой походкой проигравшегося игрока. Раза два останавливался по дороге и оглядывался на горевшие развалины ангара.

В здании было темно. Только пламя пожара, багрово отсвечивавшееся в небе, слабо освещало длинную залу. «Да, да... Нет, я не знаю... Зажгите свечи... Надо зажечь свечи», — сказал он испуганно смотревшим на него людям. В буфете нашлись два пакета свечей, но подсвечников нигде не оказалось. Свечи воткнули в пустые бутылки и расставили в разных помещениях здания.

У себя в кабинете он в сапогах с налипшей грязью повалился на диван и закрыл глаза. Издали доносились крики. Позднее говорили, что грохот обвала башни и темнота как будто нанесли последний удар нервной системе пассажиров и служащих; позднее им самим казалось, что они в эту ночь были близки к умопомешательству.

Кто-то зашел в его кабинет и поставил на стол свечу в бутылке от бургонского. Директор поспешно поднялся с дивана и что-то спросил, но не слышал или не понял ответа. Затем, оставшись один, снял наконец грязные сапоги и надел великолепно начищенные туфли с колодки номер 12. «Да что ж, буду подметать улицы и питаться колбасой», — подумал он и вдруг почувствовал сильнейший голод. Это с ним бывало в прежние времена, когда его аэроплан находился в опасности. «Впрочем, какие улицы, какая колбаса! Конечно, мы здесь погибнем», — сказал он себе и, точно эта мысль придала ему бодрости, прошел в кухню, служившую и столовой. На крытом клеенкой столе стояли блюда с остатками омара и индейки, в корзинке лежала бутылка шамбертена, но директор только успел окинуть их взглядом. К нему стали один за другим приходить люди. Буфетчик сообщил, что лакеи совершенно перепились. Заведующая киоском объявила, что из-за преступников боится идти одной домой и просидит всю ночь в зале. Приходили летчики, контролер,



механик, говорили, что положение совершенно безнадежно. Старый голландец посоветовал выйти к пассажирам и как-нибудь их успокоить, а то люди совершенно потеряли голову. И наконец, пришел для объяснения дипломат.

— ...Ни малейших улик против него нет, — устало говорил директор. — Вы не можете арестовать человека только потому, что у него нет денег и что у него отталкивающая наружность. Добавлю, что если б он был агентом иностранной державы, то денег у него было бы, напротив, очень много, он прилетел бы сюда на аэроплане, был бы щегольски одет и уж, конечно, не высказывал бы публично мыслей, которые давали бы основания считать его революционером.

— Его начальство могло именно рассчитывать на то, что следствие будет рассуждать так, как рассуждаете вы, — холодно сказал дипломат, зажигая папиросу от свечи. Руки у него тряслись. — Приехал на грузовом судне? Аэропланы проводят на вашем островке только час, а такое дело, конечно, нуждалось в подготовке. Едва ли поджог был произведен при помощи щепки. Скорее всего, был пущен в ход жгут: поджигателю нужно было время, чтобы успеть отойти от места преступления. Если б он прилетел на островок на аэроплане, то за час он дела подготовить не мог бы, и днем это было сделать гораздо труднее. Остаться же на островке было бы невозможно: пассажиры аэропланов тут не задерживаются. Заметьте, он вышел из здания в четверть двенадцатого ночи: этот писатель, — пренебрежительно сказал дипломат, — сказал мне, что по случайности посмотрел на часы, когда тот выходил. Появился он снова не раньше как через час. Все остальные пассажиры и этот старик находились до пожара в зале. Где же он был? Шел проливной дождь, люди обычно не гуляют в такую погоду.

— Это, конечно, довольно странное обстоятельство, — сказал, подумав, директор. — Но все-таки не будем преувеличивать его значение. В зале были только пассажиры. Жители островка были неизвестно где. Следовательно, с таким же правом можно подозревать и их.

— Следствие и выяснит, где кто из них находился. Невинному человеку всегда легко установить свое алиби. Если этот субъект докажет, что он был в

другом месте, то все будет в порядке. Но я — и не я один — считал себя обязанным обратить на него ваше внимание.

— Вы говорите, что он вышел в четверть двенадцатого, — сказал директор, опять подумав. Помимо того что было бы гораздо приятнее, если б пожар произошел от молнии, директор теперь, зная, что потеряет место, был на стороне безработного, нищего человека. — Пожар вспыхнул в три четверти двенадцатого. Этот субъект вновь появился гораздо позднее. Где же он был после начала пожара? Что ж, он нарочно хотел своим отсутствием возбудить против себя подозрение?

— Этого я не знаю, я не следователь, — сказал дипломат еще холоднее. — Мое дело, повторяю, обратить ваше внимание на факты. Мы предполагали, что в исключительных случаях к вам переходят на островке некоторые права.

— Некоторые права у меня есть, но случай действительно исключительный. Заметьте, кстати, что он приехал на судне, плывущем под иностранным флагом.

— Не думаю, чтобы какая-либо держава создала инцидент из ареста такого человека, — сказал с усмешкой дипломат.

— А этого я не знаю. Мне жаль, что о ваших подозрениях уже слышали здесь все. Мне о них сказала заведующая нашим газетным киоском! По-моему, торопиться было незачем, тем более что убежать он никуда не может.

— А это судно? — быстро спросил дипломат.

— Оно с нефтяным двигателем, и нефти больше нет. Они еще не успели погрузить ее.

— Значит, и судно не отойдет? — почти вскрикнул дипломат.

— Нет, оно не отойдет.

Дипломат положил в пепельницу недокуренную папиросу и заметил, что у него черные ногти. Это с ним случилось, верно, в первый раз в жизни.

— Какая печальная ночь! — сказал директор. Ему хотелось, чтобы этот скучный человек ушел возможно скорее. «Я могу устроить скандал... Я способен устроить скандал... Не надо устраивать скандал», — механически говорил он себе. Наклонился к свече, чтобы

закурить, и, мигая, увидел на бутылке надпись: «Chambertin»...

Ему почти до слез стало жаль вина, себя, жизни.

— Если война объявлена, мы погибли, — сказал дипломат.

— Зачем такие мрачные мысли?

— У меня к вам есть просьба, — сказал дипломат, еще помолчав. — Я везу с собой некоторые документы. В случае войны и высадки они никак не должны попасть в чужие руки. Наш вековой обычай предписывает в таких случаях сжигать бумаги. Где я мог бы это сделать?

— Я не знаю, — ответил изумленно директор. — Можно развести костер?

Дипломат высоко поднял брови.

— Такие вещи не делаются открыто, *согат populo*<sup>1</sup>.

— Тогда я велю растопить камин в какой-либо из боковых комнат, — начал директор и не успел кончить. В дверь сильно постучали. Не дожидаясь ответа, в комнату не вошла, а ворвалась хостесс.

— Что еще?.. Что такое случилось?

Она быстро подошла к столу и опустилась на стул. Даже при бледном свете свечи было видно, что лицо ее совершенно искажено.

— Что с вами?

— Я... Вы... Дайте мне... — прошептала она, показывая на графин. Брови у дипломата поднялись еще выше. Директор, до последней степени раздраженный, налил ей стакан воды.

— Да говорите же, что с вами!

Она отхлебнула воды из стакана. Зубы у нее стучали...

— Вы... Вы подозреваете в поджоге того человека... Я пришла... Я пришла вам сказать, что он ночью был у меня.

## IX

Шахматист устроился в зале против киоска — выбрал себе по своей скромности небольшое, довольно

---

<sup>1</sup> Публично (*лат.*)

твердое кресло. Пользуясь темнотой, он развязал галстук, расстегнул воротничок и, осмотревшись по сторонам, снял туфли. Спать ему не хотелось. По его молодости у него воображение было несколько богаче, чем у других пассажиров аэроплана. Он довольно ясно себе представил, как на островок начнут падать снаряды, как повалятся раненые, как люди будут метаться в поисках убежища. «Вот и она», — подумал он, глядя на миловидную блондинку с голубыми глазами и с родинкой. Она что-то писала в киоске при свете свечи, заглядывая в книжку. Перед обедом он купил у нее носовой платок: «Мне только один, в чемодане у меня сколько угодно», — смущенно сказал он ей. Представил себе, как найдет где-то убежище, схватит ее за руку, втащит ее туда и тем спасет ей жизнь. Но для своей смерти у него воображения не хватило. «Ну и думать об этом незачем. Умру так умру. Если война, то еще миллионы людей умрут», — с ложной бодростью сказал он себе.

Обычно в трудные дни, когда совсем не было денег или случалась болезнь, печальная тоскливая болезнь одинокого человека, он успокаивал себя тем, что разыгрывал одну из своих любимых партий: бессмертную партию Андерсона, петербургскую партию Стейница против Ласкера, дебют ферзевых пешек или свою собственную, с тем осложнением трудного сицилианского дебюта, которое иногда в литературе называлось его именем. Но еще лучше, лучше всего на свете, была 34-я партия Алехина против Капабланки, решившая судьбу их матча. Алехин как человек был ему всегда неприятен. Когда он в газете прочел, что чемпион мира подавился костью в Лисабоне и умер, он в первую минуту — только в первую минуту — почувствовал нечто похожее на радость: не стало самого опасного, самого страшного противника. Ему тотчас стало стыдно. Теперь же, начав в сотый раз на память разыгрывать 34-ю партию, он испытывал чистый беспредельный восторг, какой у музыканта могут вызывать последние квартеты Бетховена или у математика лучшие работы Лапласа. «Да, конечно, Алехин был, как его и называли, «the greatest attacking player of all time»<sup>1</sup>, — думал шахматист.

---

<sup>1</sup> «Величайший мастер атаки всех времен» (англ.)

В этой партии был знаменитый 21-й, так называемый дьявольский, ход. В нем самое потрясающее было то, что он был на первый взгляд как будто совершенно незначителен. Сам Капабланка, за десять, за пятнадцать ходов вперед замечавший всякую опасность, был вначале как будто озадачен этим странным ходом 21 Q-Q 2. В дальнейшем в длинной, в 80 ходов, партии его отчаянная и удивительная защита не могла спасти его от последствий дьявольского хода, стоившего ему шахматной короны.

Во время серьезной игры он обычно на все другое, даже на лицо противника, смотрел пустыми, ничего не принимающими глазами: видел только доску, которая была перед ним, и еще шесть, восемь, иногда десять воображаемых досок с будущим расположением фигур. Но оттого ли, что теперь игра была несерьезная, или из-за особенного состояния его нервов в эту ночь, воображаемые доски и их разбор не вытесняли у него из головы других мыслей. «Белые» были розовато-кремового цвета, а «черные» светло-коричневого, — он любил эти цвета и такими шахматами играл особенно охотно, может быть, даже не совсем так, как другими. Невольно изобразив равнодушие и беззаботность, он небрежно сделал дьявольский ход. На красивом лице Капабланки скользнуло удивление. «Да, да, тут ты, голубчик, можешь поломать себе голову», — за Алехина подумал он. И вдруг мысль его перешла на другой предмет, точно он для отдыха закрыл главную шахматную часть своего умственного аппарата, представляя Капабланке время поломать себе голову. «Вот и с нами, со мной сегодня сделано что-то вроде дьявольского хода... Кто же это сделал? Неужели тот человек с вытекшим глазом злодей и убийца? — подумал он с любопытством и робостью: за всю жизнь ни одного злодея не видел. — Да зачем же он это сделал? Его подкупили? Но ведь он сам погибнет, как же на это можно подкупить человека?.. Очень, очень странно... Вероятно, наше положение дьявольское... Что-то теперь думают обо мне на турнире? Заплатили за его проезд, да еще на аэроплане, послали ему аванс, а он не приехал!.. Впрочем, завтра они прочтут мою телеграмму... Конечно, я не виноват, и это они должны понять, но все-таки деньги следовало бы вернуть. Как же я могу это сделать, когда я уже проел половину

аванса? И как они выйдут из положения, когда из восьми игроков теперь остается семь?.. Да, может быть, и турнира не будет, если объявлена война», — подумал он, тревожно вспоминая последнюю войну: шахматистам было нечего делать, и большинству пришлось очень туго. «Но теперь не все ли равно? И вот она тоже погибнет», — подумал он с жалостью, взглянув в сторону киоска. Миловидная блондинка все писала, чуть скосив голову.

Она сочиняла письмо своей приятельнице, — теперь бывшей приятельнице: просила ее больше никогда ее квартирой не пользоваться и давала понять, что их дружеские отношения кончились. Заведующая киоском была возмущена безнравственным поступком хостесс, грубым нарушением всех правил света. Она хотела составить письмо в строгих, но достойных и учтивых выражениях. Однако такой случай ее письмовником не был предусмотрен. Взяла она одну фразу из письма «From a Lady refusing a Proposal of Marriage»<sup>1</sup>, другую из «From a firm, declining to give Credit»<sup>2</sup>, третью из «From a gentleman complaining of a mistake in an Account»<sup>3</sup>.

Все-таки выходило не очень хорошо. Внезапно в середине письма ей пришла в голову дикая мысль: что, если хостесс прекрасно сделала? что, если б она сделала то же самое? Разве директор иногда на нее не поглядывал так, что никаких сомнений не могло быть. «А если вправду мы все здесь погибнем?» — думала она растерянно.

Шахматист смотрел на нее с ласковым любопытством. Он был с отроческих лет так занят шахматами, что почти не знал женщин: не хватало времени не только для любви и женитьбы, но и для обыкновенных мужских походов. Жил он всегда в гостиницах и при вечных переездах обычно видел только комнату, где происходил турнир, недорогие рестораны, где они потом обсуждали разыгранные партии, да еще банкетную залу. Часто говорил себе, что надо было бы *изучить* Лувр, Метрополитен, Национальную галерею, но для осмотра достопримечательностей

<sup>1</sup> «От леди, отвергающей предложение выйти замуж» (англ.).

<sup>2</sup> «От фирмы, отказывающейся дать кредит» (англ.).

<sup>3</sup> «От джентльмена, жалующегося на ошибку в счете» (англ.).

никогда времени не было, разве лишь заглядывал в путеводитель, если на банкете надо было отвечать организаторам и требовалось сочинить что-либо приятное. Правда, в турнирах изредка участвовали женщины, но они были в большинстве некрасивы, играли слабо и не внушали ему уважения. Для женитьбы у него не было и денег: участие в турнирах оплачивалось плохо, он не заведовал шахматным отделом ни в одном журнале. У него была в жизни лишь одна цель: стать чемпионом мира. В обществе чемпиона он испытывал всегда некоторое смущение и в худшие свои минуты следил за его здоровьем так, как, быть может, вице-президент Соединенных Штатов — тоже в худшие минуты и лишь очень редко — с интересом всматривается в президента.

«Неужели вправду жизнь кончена? — недоверчиво думал он. — Следовало бы припомнить главное, что было в жизни». В первый раз он с некоторым удивлением подумал, что, в сущности, ему решительно не о чем вспоминать, кроме шахмат. «Кроме них, ничего и не было... Да, да, «богиня Каисса», «благородный стиль игры», — удивленно думал он, мысленно перебирая возвышенные слова. Критики нередко отмечали его «благородную манеру», точно в шахматах могло быть, как в боксе, что-либо вроде незаконных ударов. Впрочем, критики вообще любили устанавливать особенности знаменитых шахматистов: одни были мастерами дебютов, другие мастерами эндшпилей, одни лучше нападали, другие лучше защищались, одни упрощали игру, другие ее усложняли, одни вели игру позиционную, другие игру комбинационную. Говорилось даже о людях твердой воли в шахматах, о каких-то силовых линиях. Он поддакивал, признавал, подтверждал, но в душе часто думал, что на свете есть только *настоящие* игроки и все остальные. Настоящие же были одинаково хороши в дебютах и в эндшпилях, в нападении и в защите, в позиционной и в комбинационной игре.

«Что она за женщина? Вдова? Неужели она всегда живет на этом острове? Кажется, она гордая: тогда ответила без улыбки... Что она пишет? Неужели прощальное письмо? Но как же она его доставит?» — подумал он и снова включил шахматный аппарат мозга. Потемневшее лицо Капабланки покрылось капля-

ми пота. Появились 26-я, 27-я, 28-я доска партии. Затем снова появилась 21-я. Он теперь почти механически, как пианист на бис давно разученную вещь, начинал вариант, предложенный Ласкером для спасения черных от дьявольского хода. Несмотря на всю глубину и силу, этот вариант его не удовлетворял. «Что-то в ней есть жалкое, как, быть может, и во мне... В самом деле она очень миловидна... Кто она по национальности? У нее гордый вид, как у ферзя... Вся в черном», — подумал он, и вдруг 22-ю доску залил ослепительный свет.

Это был новый, совершенно новый, никем никогда не предполагавшийся ответ на дьявольский ход Алехина. Доски замелькали одна светлее, одна ослепительнее другой. «Да, кажется, так... Кажется, так!.. Кажется, так!» Он переменял положение в твердом кресле, зачем-то разыскал ногами туфли, всадил в них ноги, только загнул за задок левую туфлю. Но точно изменившееся положение тела что-то изменило в работе его ума — он вдруг перестал видеть доску. Попробовал, напряг аппарат — нет, больше ничего не вышло. «Теперь нельзя все это продумать и разобрать, это слишком важно, слишком важно... Завтра с утра, с рассвета займусь этим... Осталось три-четыре часа... В темноте все равно записать нельзя...»

Он чувствовал большую усталость и обливался потом, хотя в зале было не жарко. С четверть часа сидел неподвижно, не смея больше думать о своем варианте: вдруг все окажется вздором! «Не может быть, чтобы другие за столько лет, да и я сам, не заметили такого хода!.. Но если окажется, что я прав, как тогда быть? Как дать знать? Не может же это умереть со мною! Записать... Что, если отдать записку ей? Нет, *это* вздор: если я погибну, то погибнет ведь и она...» Миловидная блондинка нервно перелистывала книгу, ее волосы почти касались дрожавшего пламени воткнутой в бутылку свечи. «Разве положить в бутылку и бросить в море?!» — подумал он с болезненной улыбкой. Вспомнилась книжка в сером коленкоровом переплете с черными буквами на корешке: «Дети капитана Гранта». Он вообще очень мало читал, помнил только те книги, которые прочел в детстве — до шахмат. Лорд Гленарван с бакенами, в коротком сюртуке изумленно смотрел на бутылку, которую держал



в левой руке бородатый моряк. В этой бутылке, извлеченной из желудка акулы, было письмо пропавшего без вести капитана. Майор Мак Наббс странным тоном спрашивал лорда, как пишется имя Айртон. «Но так, как оно произносится», — отвечал лорд. «Нет, это ошибка, — спокойно сказал майор, — оно пишется Айртон, а произносится Бен-Джойс!» — и разоблаченный злодей в шляпе с широкими полями выстрелил в сидевшего перед ним на скамеечке Гленарвана. Эту картину он точно видел перед собой, с темно-красным пятнышком в левом верхнем углу, там, где на шахматной доске было бы В8. «Вот это и была настоящая жизнь, и настоящие наслаждения: Паганель, Мак Наббс, храбрый Мульреди на взвившемся на дыбы коне, — да еще если на животе лежать с книжкой и с вишневым пирожным, это тебе не богиня Каисса. Да, скоро умереть... Где это на картине я видел загробный мир?..»

Он задремал. Айртон с вытекшим глазом и голая Ева с фиговым листочком сидели, обнявшись в тени залитого солнцем зеленого дерева. Тут же мирно паслись разные животные. Лев лежал рядом с ягненком на мягкой, необыкновенно мягкой траве, а рядом они, положив доску поперек спины ягненка, играли с Алехиным 34-ю партию. Подошли еще слон и конь и тоже расположились рядом с ними. Алехин сделал дьявольский ход и искоса на него посмотрел. Он нарочно думал несколько минут, затем сделал свой ход, с силой стукнув фигурой о доску. На лице Алехина выразилось изумление. «Эх, попался!» — смеясь сказала Ева, подойдя к ним. Изумление на лице Алехина сменилось отчаянием. Ева сняла с его головы корону и надела на него. Она была необыкновенно похожа на ту блондинку с родинкой.

«You are the greatest attacking player of all time!» — ласково сказала она. Он ахнул от восторга и проснулся.

Свеча в киоске догорела. Он с минуту не мог понять, в чем дело, где он, что такое случилось. Миловидная женщина у свечи теперь опять писала; в ее скошенной головке было что-то милое, детское, наивное. «Нет, разумеется, она не продажная женщина!» — подумал он, тоскливо отвечая на то, что ему даже не

снилось, и все-таки нащупал деньги в бумажнике: в дороге *всю* жизнь боялся потерять — паспорт, бумажник, ключи. Бумажник был цел. «Нельзя быть наглецом! И может быть, у нее есть муж, выйдет страшный скандал... Так можно разбить карьеру... Но какая *теперь* карьера и какое мне дело, если и о скандале больше никто никогда не узнает? Нет, нет, деньги это гадкий вздор, да и ей теперь деньги нужны так же мало, как мне. Но ведь должна же она понимать, что близка смерть. Какое значение имеют теперь все эти слова: верность, неверность, измена, адюльтер! Чепуха, надо делать то, чего хочется, и пусть они все идут к черту!» — решительно сказал он себе, сам не зная о ком. Он встал и с сердцебиением направился в киоск, думая о том, как начать разговор. Левую ногу неприятно натирал загнутый задок туфли, и точно это говорило, что ничего хорошего не выйдет.

— Я... Я хотел бы купить крем для бритья, — сказал он.

## Х

— Нет, я не боюсь, мы вместе, — тихо, почти шепотом, говорила мужу голландская дама. — Мне только жаль Анну. Как ты думаешь, уплатит ли ей страховое общество наши двадцать тысяч?

Он вздохнул.

— В нашем полисе *есть* пункт о самоубийстве, — сказал он почти с таким же удивлением, с каким когда-то впервые прочел полис: точно они могли покончить самоубийством! — Там говорится: «If the member within two years from the date hereof commits suicide whether sane or insane — this certificate shall become null and void»<sup>1</sup>.

О бомбардировках не сказано ни слова. Вполне возможно, что эти господа не заплатят.

Она посмотрела на него с удивлением. Для него назвать каких бы то ни было людей «эти господа» значило уже очень много.

---

<sup>1</sup> «Если в течение двух лет, начиная с сегодняшнего дня, клиент совершит самоубийство, как в состоянии помешательства, так и в трезвом уме, это свидетельство теряет силу» (англ.).

— Напрасно только мы во многом себе отказывали, — сказала она с легким вздохом. Они обычно лето проводили на собственной даче, с прочной тяжелой старомодной мебелью не накладного, а настоящего красного дерева; комнаты были заставлены пуфами, комодами, качалками с плюшевой обивкой, шкафчиками с фарфором, столиками, на которых лежали кованные серебряные альбомы с дагерротипами и фотографиями бородатых людей и дам в платках старинного покроя. В хорошую погоду они уезжали в рощу в легком двухколесном экипаже, он сам правил старой смирной раскормленной лошадей. Ей вдруг вспомнилось, что ему очень хотелось купить еще вторую лошадь и возить внуков в фэзтоне. И ей теперь стало жаль, что они из экономии второй лошади не купили.

«Кажется, в самом деле, жизнь кончена», — думал он. Как пожилой человек, иногда и прежде заставлял себя думать о том, как это придет. Впрочем, заставлял не часто: находил, что чем меньше думать о смерти, тем лучше. И всегда себя спрашивал, что менее ужасно: ей умереть первой, — он не мог себе представить жизни без жены; но если бы первый умер он, то каково было бы остаться ей одной! «Теперь умрем вместе, собственно, это самое лучшее, что могло бы с нами случиться», — говорил он себе; но когда бросал на нее взгляд, терял уверенность в правильности своего вывода. О деньгах думал сейчас потому, что это было что-то уже принадлежавшее его дочери и внукам. И в том, что он мог об этом думать, он видел нечто вроде морального предательства в отношении своей жены: все его мысли должны были принадлежать ей, и только ей. «Анна проживет, хотя бы ей не заплатили этих двадцати тысяч. Деньги были нам полезны в жизни, но они так ничтожны по сравнению с любовью, по сравнению с любовью все так ничтожно, так неизмеримо ничтожно!..»

— О, дело уладится, за нами прилетят, — сказал он беззаботным тоном, поправляя подушку под ее головой. — Не надо волноваться.

— Я не волнуюсь. Я с тобой. Это главное, — сказала она, отвечая больше на его мысли, чем на его слова. — Мы были очень счастливы.

— Я потрясен этой историей, — сказал Макс Норфольк, доливая себе коньяку из карманной фляжки. Бар был давно закрыт. — Я видел ее в тот момент, когда она вышла из кабинета директора. Она вышла «с высоко поднятой головой». По общему правилу, когда человек откуда-нибудь выходит «с высоко поднятой головой», это значит, что он сгорает от стыда, и обычно не без основания. Но бывают и исключения. Эта была другая, совершенно другая женщина.

— Что она в нем нашла? — спросил профессор, пожимая плечами.

— Первое предположение, конечно, что она, как Дездемона, полюбила его «за муки», хотя едва ли она читала Шекспира. С другой стороны, в нем, по-видимому есть очень сильный sex арреал. В-третьих же, и главное, ее жизнь была, вероятно, слишком скучной и беспросветной. Разве вы, профессор, никогда не жалели, что... ну, как сказать? что в вашей жизни не было других авантур, кроме перехода от «ассистант профессор» к «ассосиэйтед профессор», а затем — венец мечтаний — к «фулл профессор»?

— Никогда не жалел! Кроме того, у меня высокое давление крови, а это ни к каким авантюрам не располагает, — хмуро сказал профессор. Он опять измерил пульс. Оказалось 96.

— Я знавал женщин, которые изменяли мужьям только раз в жизни: они хотели иметь право сказать себе, что знали на своем веку двух мужчин, а не одного... Менее понятно другое: зачем она выскочила? Ни малейших улик против этого несчастного человека все равно не было. Ему ничего не грозило, и вдобавок мы теперь находимся перед лицом смерти. Между тем она, бедненькая, все рассказала директору, да еще в присутствии вашего дипломата! Теперь, если мы останемся живы, она потеряет место. Она уже потеряла комнату: ее хозяйка написала ей злое письмо.

— А где теперь тот субъект?

— Не показывает носу с судна, — ответил, смеясь, старик. — Этот анархист укрылся под флагом буржуазного государства... Я все-таки очень рад, что у него оказалось алиби.

— С точки зрения современной технологической мысли этот ангар был преступный скандал, — сказал профессор. — Не знаете ли вы, где тут на островке можно достать рис?

— Рис? — переспросил изумленно старик. — Зачем вам рис?

— Теперь существует новый способ лечения высокого давления крови. Надо в течение двух недель есть только рис. У китайцев всегда нормальное давление, так как они питаются рисом. Уж если мы здесь застряли, то я хотел бы испробовать этот способ.

— Непременно попробуйте, — сказал Макс Норфольк. — Непременно. Вам будет гораздо приятнее погибнуть от бомбардировки, если у вас будет совершенно нормальное давление крови. Но, кажется, на этом островке, как назло, нет риса.

Профессор бросил на него сердитый взгляд, встал и вышел из зала. Макс Норфольк тоже поднялся и подошел к окну. На низком небе еле светилась луна. С деревьев, с выступов крыши падали капли. Все было мрачно. «В такую милую погоду в таком миллом уголке земного шара и умереть будет не так неприятно», — подумал он. Вернулся к своему столику, тяжело опустился в кресло, протянул ноги на стул и закрыл глаза. Минуты через две кто-то тронул его за плечо. Он вздрогнул. Перед ним стоял эссеист.

— Надеюсь, я вас не разбудил, — сказал он ласковым, сладким тоном. — Я хотел угостить вас настоящим французским коньяком. Запасся им в дорогу.

Он вынул из кармана дорожного пальто довольно большую плоскую фляжку и дорожный стаканчик. Старик смотрел на него изумленно. От коньяку он не отказался, медленно с наслаждением выпил и поблагодарил.

— Ну что ж, — сказал он. — Сообщите мне, что вам угодно?.. Не удивляйтесь моему вопросу. Я склонен думать, что вы не стали бы угощать человека, путешествующего на грузовом судне, если бы он не был вам нужен. Я весь к вашим услугам.

Эссеист не совсем естественно засмеялся и сел в кресло.

— Вы ошибаетесь. Такие события сближают людей, а в эту ночь очень тоскливо быть одному... Но у меня действительно есть дело, и по случайности оно

относится именно к вашему грузовому судну. Как вы думаете, не согласился ли бы ваш капитан взять и меня?

— Ах, вот оно что, — сказал старик. — Нет, думаю, что он вас взять не может. Я, кажется, уже говорил вам, что палуба загромождена бочками.

— А каюты?

— Каюта, если это можно назвать каютой, есть только одна, та, которую занимаем мы двое.

— Я заплатил бы за нее двойную плату, — сказал многозначительно эссеист.

— Не может же капитан продать вам то, что ему больше не принадлежит. Мы ему заплатили.

— Вы тоже не остались бы в убытке, вы и ваш спутник... К тому же ему, вероятно, придется оставаться на островке на некоторое время из-за этого несчастного дела. Ведь формальности так быстро закончены не будут, а ему было бы лучше остаться тут с деньгами, чем без денег.

— Помилуйте, какие же формальности? — ласково спросил Макс Норфольк. — После показания хостесс он так же чист от подозрений, как вы или я.

— Я не остановился бы перед значительной суммой.

— Это, конечно, очень любезно с вашей стороны. Быть может, путешествующий с вами дипломат дал бы еще больше, а?

— В цене мы сойдемся.

— Я был бы страшно рад оказать вам услугу. Но, по общему мнению, островок обречен на гибель. Люди обычно не очень охотно продают свою жизнь.

— Помилуйте, какая гибель! Ведь это вздор, островку никакой опасности не грозит.

— Так вы просто хотите совершить прогулку на грузовом судне?

— Я очень тороплюсь.

— Тогда вам не стоит тратить деньги: это судно идет невообразимо медленно.

— Значит, нельзя? Ни за какую сумму?

— К тому же это было бы не очень ловко в отношении той голландской дамы и дочери дипломата. Она, кстати, мне очень нравится. Вам, кажется, тоже? Все-таки по правилам сначала спасают женщин.

Эссеист сделал нетерпеливое движение.

— Да или нет? — спросил он. Старик хлопнул себя по лбу, точно вдруг что-то вспомнил.

— Да ведь есть и еще препятствие, я было забыл! Наше судно не может уйти: на нем больше нет ни галлона нефти, а здесь нефть, к сожалению, сгорела!

— Что же вы сразу не говорили! — грубо сказал эссеист. Он демонстративно вытер салфеткой стаканчик, спрятал фляжку и отошел. Старик с довольной улыбкой смотрел ему вслед.

В маленькой комнате был растоплен камин. Дипломат открыл двумя ключами сложный, с секретом, замок своего сундучка. В нем были собственноручно им составленные протоколы одной важной конференции, состоявшейся в свое время в Южной Америке. Еще раз — в последний раз — просмотрел их и со вздохом бросил в огонь. Уничтожил и другие секретные документы. На дне сундучка лежала написанная четким красивым почерком, почти без поправок, записка на веленовой бумаге в дорогом сафьяновом переплете. Он называл ее *opus magnum*<sup>1</sup> своей жизни. В ней было 325 страниц. Это был разбор договора Бриана — Келлога, которым в 1928 году навсегда запрещалась война. «Нельзя это сжигать, да и незачем!» — решительно сказал он себе. На первой странице было выведено особенно красивыми, почти каллиграфическими буквами: «Может быть напечатано через десять лет после моей смерти». — «Если она достанется им, то, разумеется, они опубликуют ее раньше. Что ж делать? Лучше, чем если б она пропала... Вдруг в сундучке уцелеет?..» Он работал над запиской два года. И это был единственный экземпляр. Дипломат оставил ее в сундучке.

## XII

«Белая Звезда» прилетела в шестом часу утра. Аэроплан долго кружился над островком. Летчик и навигатор не могли понять, почему не зажжены огни фонарей, почему не отвечает станция. Когда вошло солнце, они увидели дымящиеся развалины.

Шум моторов был услышан. Первым выбежал из

---

<sup>1</sup> Великий труд (*лат.*).

терминала полуодетый контролер, за ним директор аэродрома. Раскрыв рот, директор уставился вверх. Когда «Белая Звезда» снизилась, он обнял первого вышедшего из нее человека, обдав его запахом тонкого вина. Тот долго не мог понять, в чем дело.

— Война?.. Нет войны!.. Разве вы не знаете? Ведь все как будто налаживается, — говорил он, изумленно глядя на выбегавших людей с воспаленными и обезумевшими глазами. — Да что же такое у вас случилось?

### XIII

— Все это было наваждение! Массовый психоз, — говорил Макс Норфольк, допивая чашку черного кофе, наполовину разбавленного коньяком. — Какая война! В чем дело? Радиокомментаторы пугали, но ведь это их ремесло: им за то и платят шальные деньги, чтобы они волновали людей. Правда, на этот раз мировая обстановка была для них благоприятна. Однако, в сущности, опасаться войны было не больше оснований, чем в прошлом октябре или в позапрошлом августе. Разве вы не помните, что тогда говорили радиокомментаторы?

Голландская чета одобрительно кивала головой. Да и другие пассажиры теперь с удовольствием слушали этого говорливого, циничного, но веселого и бодрого старика. Пассажиры вновь прилетевшего аэроплана поглядывали на них не без опаски. Как и предвидел директор, «Белая Звезда» тоже прилетела наполовину пустой. Новые пассажиры огорчились оттого, что на островке не действовал телеграф. Лакеи в красных куртках опять почтительно принимали заказы, разносили кофе, булочки, овсянку, холодное мясо. У всех пассажиров «Синей Звезды» был необычайный аппетит.

Макс Норфольк много пил, еще больше говорил.

— Вы увидите, — говорил он, — война и возникнет рано или поздно из-за психоза, вызванного радиокомментаторами. Они в нашем, так называемом цивилизованном, обществе выполняют роль шаманов... Надеюсь, вы не думаете, что цивилизованные люди чем-либо отличаются от дикарей? Разве только тем, что



мы прокалываем нашим дочерям для серег уши, тогда как дикари прокалывают для этого нос... Нынешние шаманы в один прекрасный день так напугают нас и самих себя, что мы все бросимся резать горло один другому... В маленьком масштабе то же случилось с нами и тут. Только на почве психоза такой разумный и хладнокровный человек, как Его Превосходительство, мог предположить, что мой несчастный спутник ни с того ни с сего зажег ангар.

Его Превосходительством он шутливо называл дипломата. В другое время дипломат обиделся бы за слово «психоз», но теперь он, как все, был в самом лучшем настроении духа.

— Я не «обвинял» его, а только высказывал известные предположения, которые объективно требовали расследования. Не отрицаю, что я был взволнован, — сказал он и с грустью вспомнил о сожженных бумагах. «Но какое счастье, что не уничтожил записки!» — Слава Богу, что я ошибся.

Старик рассмеялся.

— Смягчающие обстоятельства для ошибки у вас были, — сказал он, — человеческая душа — это и есть *occulta occultissima*<sup>1</sup>, которой искали древние мистики. Я не отрицаю, что в моем приятеле заложены большие возможности во все стороны. Такие люди, как те царапины или ушибы, которые сто раз оказываются совершенно безвредными, а в сто первый раз вызывают рак. Все зависит от обстановки, но обстановка в нынешней моральной пустыне для нас всех очень опасна... Вы увидите, — с жаром продолжал Макс Норфольк, — если кончатся войны и революции, человечеством овладеет необычайная латентная радость, при которой будет возможно решительно все, даже некоторое сомнительное подобие рая на земле. Мы оросим пустыни, мы извлечем энергию из атома, мы заставим работать солнце и океан. Надо же чем-нибудь вознаградить человечество за ту великую скуку, от которой оно начинает беситься и от которой его прежде спасала вера. И кто знает, может быть, одно материальное счастье сделает нас всех прекрасными людьми? Ну не всех, так почти всех, — добавил он, покосившись на эссеиста.

---

<sup>1</sup> Сокровенное из сокровенных (*лат.*).

— Я, как социолог, готов был бы с этим согласиться, если б не было оснований думать, что скука частью порождается именно материальным благосостоянием, — сказал профессор. — Кроме того, вы не принимаете в расчет того...

— А где сейчас этот таинственный незнакомец? — перебила его дочь дипломата.

— Все на нашем судне, — сказал старик. — Вероятно, он не хочет видеть богатых сытых людей, которые возвели такое страшное обвинение на бедного и голодного человека... И она находится с ним. Ее пропустили. Наш капитан пил всю ночь, а когда он пьет, он счастлив и, следовательно, добр.

— Я и раньше имел свое мнение об этой девице, но Бог с ней, это ее дело, — снисходительно сказал эссеист.

— Не знаю, какое было ваше мнение и на чем оно было основано, но я понимаю эту девушку и не осуждаю ее, если она его любит, — горячо возразила дочь дипломата. Она с полчаса тому назад твердо решила принять предложение секретаря посольства: «Ничего, что у него нет денег, он очень мил...» Отец взглянул на нее и ласково улыбнулся.

— Нельзя вмешиваться в частную жизнь людей, — заметил голландец. Его жена одобрительно кивнула головой. — Может быть, они женятся?

Макс Норфольк пожал плечами.

— Надеюсь, нет, — сказал он. — Ему осталось несколько месяцев жизни.

— Кажется, вы говорили, что ее могут уволить? — спросил голландец. — Я думаю, мы могли бы подать обществу просьбу о том, чтобы ее не увольняли. Как вы думаете, господа?

Все энергично его поддержали. Дипломат вынул из кармана бумажник.

— Вы вчера предлагали произвести сбор в пользу этого человека, — обратился он к старику. — Я готов допустить некоторую свою моральную вину перед ним и, чтобы искупить ее, делаю первое пожертвование. Разрешите вам вручить...

Он протянул старику ассигнацию. Все другие сделали то же самое. В залу, почему-то на цыпочках, вошел шахматист. На пороге он осмотрелся и, увидев, что заведующей киоском нет, с радостной и смущенной

улыбкой подошел к столу. Узнав о подписке, он дал раза в три больше того, что должен был дать. Много дал и профессор, у которого пульс только что оказался нормальным. Небольшое пожертвование внес и эссеист. Макс Норфольк подмигнул ему и вполголоса сказал, что теперь, пожалуй, мог бы уступить ему свое место на грузовике. Эссеист поднял брови и сделал вид, будто не понял. Шахматист вдруг с необыкновенной быстротой исчез: в залу вошла заведующая киоском. У нее вид был гордый, радостный, почти торжествующий.

Она в достойных и изысканных выражениях объяснила, что, конечно, между случайными посетителями острова могут быть самые разные люди. Могут быть нахалы, не умеющие разговаривать с хорошо воспитанными женщинами. (Она оглянулась.) Могут быть и преступники. Очень хорошо, что тот несчастный человек оказался ни в чем не виновным. Под влиянием тяжелых событий она написала необдуманное несправедливое письмо. Каждая женщина сама решает, как ей жить, и это частное дело, которое никого касаться не должно. Если же человек совершает несправедливость, то он должен извиниться, и она напишет другое письмо.

Никто ничего не понимал из того, что она сказала. Все смотрели на нее с благодушным недоумением. Узнав, что в пользу несчастного человека собираются деньги, она радостно заявила, что внесет свою лепту. И ее лепта была так велика, что Макс Норфольк, растрогавшись, вдруг обнял ее и поцеловал. Она отшатнулась и испуганно оглянулась по сторонам: скандал! Но и дипломат, и дочь дипломата, и профессор ласково улыбались.

— Господа!.. Я... Я, право, очень тронут, — с чувством сказал старик. — Нет, нет, человек лучше, гораздо лучше своей подмоченной репутации. Он только очень слаб и очень несчастен. Ну что «очищение страданием», зачем «очищение страданием»? Дайте бедным людям возможность немного очиститься счастьем, и вы увидите, как они будут хороши. Нет, философия Достоевского, при всей ее беспредельной глубине, покоится на серьезной психологической ошибке. Вдобавок его мысль была довольно безнравственна: если страдание очищает людей, то какой-нибудь Гитлер был благодетелем человечества.

## XIV

В своем кабинете директор заканчивал первый краткий доклад правлению общества о том, что случилось на острове. К некоторому его удивлению, незадолго до того профессор и Норфольк, зайдя в его кабинет, объявили, что причиной несчастья, несомненно, была молния. Профессор готов был подтвердить это как эксперт, побывавший на месте тотчас после взрыва. «А я так уверен, что готов выступить и в качестве свидетеля. Мне теперь вспоминается, что я сам видел эту огненную змею!» — сказал старик, глядя на потолок. В своем кратком докладе директор сослался на их мнение.

В дверь постучали. Вошла хостесс. Она была так же хорошо одета, как всегда, и лицо ее было так же отделано, но это была другая женщина. Он смотрел на нее с удивлением и не без сочувствия. «А может быть, она вполне права? — неожиданно сказал он себе. — Ее жизнь была еще скучнее моей».

— Вы меня звали? — холодно спросила она.

— Да, я вас позвал, — мягко сказал директор. — Я очень сожалею, что погорячился при том нашем разговоре. Конечно, он никаких практических последствий для вас иметь не будет. В конце концов, все это ваше дело. Ваша частная жизнь нас не касается.

— Да, моя частная жизнь вас не касается, — повторила она. Директор на нее покосился.

— Разумеется, хотя мы должны заботиться о репутации общества, — сказал он уже несколько менее мягко. — Но я пригласил вас по делу. «Белая Звезда» улетает через двадцать минут. К счастью, есть места не только для пассажиров «Синей Звезды», но и для ее экипажа. Вам тоже предоставляется место. Ничего делать вам не нужно: вся работа будет, конечно, лежать на хостесс «Белой Звезды». Если хотите, вы можете ей по-товарищески помогать.

— Я не полечу на «Белой Звезде», — кратко сказала хостесс.

Директор взглянул на нее с удивлением.

— Вы предполагаете поселиться на этом острове?

— Нет, я поеду на том грузовом судне. Его капитан согласен взять меня. Если вы хотите быть любезным, дайте этому старику, Норфольку, то место на

аэроплане, которое вы предлагаете мне. А если вы не хотите, то я покупаю у вас для него это место. Я уже с ним говорила. Он согласен уступить мне свою койку на судне.

— В его согласии я не сомневаюсь! — сказал саркастически директор. — Послушайте... Вы подумали над тем, что вы делаете? Ведь тот человек...

— Я подумала! — перебила его хостесс с вызовом в голосе.

## XV

Прозвенел колокольчик. Все с несессерами в руках вышли из терминала. На первой дорожке стоял великолепный океанский аэроплан. У лесенки проверяла пассажиров по списку хостесс «Белой Звезды», очень красивая, одетая в форменное голубое платье барышня с тоненькими черными полосками вместо выщипанных бровей. Она улыбалась, как старым знакомым, пассажирам своего аэроплана, а новым, тоже с очаровательной улыбкой, говорила:

— Я надеюсь, вы будете чувствовать себя хорошо... Перелет будет отличный, сведения с океана самые благоприятные.

## ПРЯМОЕ ДЕЙСТВИЕ

### I

Доктор Кромар сообщил хозяевам гостиницы «Бориваж», что графиня Хохенэмбс придет в Женеву часов в пять или в шесть, но быть может, несколько раньше или позже. Не знал также, будет ли она обедать в гостинице. Уедет же в Ко из Женевы, скорее всего, завтра.

— Однако и этого я точно сказать не могу. Возможно и то, что графиня пробудет у вас несколько дней, — добавил он с легким вздохом. Неопределенность во всех намерениях графини Хохенэмбс была крестом жизни ее приближенных. Хозяева, господин и госпожа Майер и их компаньон Кунц, впрочем, ни о чем и не спрашивали. Слишком рады были тому, что графиня у них остановится, хоть бы это было даже на полчаса. Немного их озадачило, что она придет пешком. Пристань была совсем близко, но этой даме, по их мнению, ходить пешком не полагалось.

— Прошу вас твердо помнить, что вы ни в каком случае не должны называть графиню Ваше Величество, — сказал доктор Кромар. — Она этого терпеть не может. И, главное, ни в каком случае ничего не сообщайте газетам. Графиня путешествует инкогнито и не хочет видеть людей.

Хозяева — без большой радости — подтвердили, что все будет храниться в секрете. Но, оставшись одна, г-жа Майер подумала, что одно дело секрет, а другое — полный секрет. Она вошла в телефонную будку, и в пятом часу в холле появилась приятельница, которую она хотела угостить императрицей. За конторкой был поставлен второй стул, так что приятельница могла сойти за служащую гостиницы.

— ...Я так тебе благодарна! Мне всегда так хотелось ее увидеть! Ведь она считалась первой красавицей в мире!

— Она и теперь еще красива, хотя ей за шестьдесят

лет. Весит пятьдесят кило, это при ее высоком росте. Она ест только апельсины. Я спрашивала лакея, сегодня она завтракает в Пренни у баронессы Ротшильд.

— У баронессы Ротшильд? — протянула приятельница хозяйки.

— К нам она приедет только с компаньонкой, венгерской графиней Старэй. А вся ее свита с генералом де Берсевици осталась в Ко.

Хозяйка вынула из ящика номер иллюстрированного журнала. На обложке была помещена картина Мелленберга: императрица Елизавета верхом на огромном коне.

— Этот Берсевици, оказывается, лучший наездник в Европе. Держал пари, что проделает скачку с препятствиями, сидя спиной к голове лошади, и выиграл! А она с ним прежде скакала в обгонку. Но после смерти кронпринца Рудольфа она перестала ездить верхом. Много лет никого не видит. Только недавно стала опять принимать людей, когда к ней приехал с визитом молодой русский царь с царицей; они втроем завтракали.

— Воображаю, какой был завтрак! Ах, счастливы эти люди! — сказала со вздохом приятельница.

— А вот титул ее мужа, да и то неполный! — сказала госпожа Майер и, видимо наслаждаясь каждым словом, прочла: «Франц Иосиф, император Австрийский, апостолический король Венгрии, король Богемский, король Далматский, король Кроатский и Словенский, король Иерусалимский, герцог Лотарингский, герцог Моденский, герцог Пармский, герцог Пиаченский и Гвастальский, наследный граф Габсбургский и Кимбургский в Швейцарии, граф Хохенэмбс, великий воевода Сербии»...

— Это, конечно, лучше, чем называться Майер, Кунц или Шульц, — сказала, вздохнув, приятельница. — А почему же она выбрала имя графини Хохенэмбс?

— Не может же она прописываться королевой Иерусалимской или женой великого воеводы Сербии... Милая, я велю подать нам кофе потом...

И только госпожа Майер это сказала, как в холл вошли две дамы. Приятельница тотчас узнала императрицу и впилась в нее глазами. Хозяйка поспешно встала и почтительно поклонилась. Встала также и

приятельница. Обе хотели сделать реверанс, но не сделали, помня об инкогнито. Нервно оглядываясь по сторонам, Елизавета сказала им что-то любезное. Затем, заслоня лицо веером, быстро пошла к лестнице. О номере и вещах не спрашивала: хотя и путешествовала инкогнито, видимо, никогда не думала, что в гостинице может не оказаться для нее места или что вещи еще не будут доставлены. Окна гостиной с видом на озеро были отворены, на столе и на камине стояли вазы с цветами. Императрица похвалила комнаты и, отпуская хозяев, приветливо кивнула им головой.

— Нет, никаких приказаний, — сказала в коридоре довольно хмуро Ирма Старэй, — графиня обедать не будет, пришлите, пожалуйста, только молока и апельсинов. Больше ничего не нужно. Но я, быть может, пообедаю в общем зале, — прибавила она не совсем уверенно.

— ...В ней есть что-то такое, — взволнованно говорила приятельница госпожи Майер. — Сейчас видно, что она императрица! Но как незаметно она пришла! Ведь и коляски никакой не было?

— Пристань отсюда в двух шагах. Императрица очень любит ходить пешком.

— Она и теперь еще красавица, это правда! Говорят, у нее был когда-то роман с графом Андраши. Или с кем-то еще? Кажется, с принцем Уэльским?

— Мало ли что о ней рассказывают. Может быть, нет ни слова правды. Старый император по сей день страстно влюблен в нее.

— А как же его Катерина Шратт? Но я так вам благодарна, что вы меня пригласили! И как она одета!

— Все заказывает в Париже у Ворта, — сообщила госпожа Майер. И обе дамы подумали: хоть бы один день пожить так, как живет эта женщина.

После ухода приятельницы между супругами произошел обмен мнениями. Гостиница «Бо-Риваж» насколько не нуждалась в рекламе, но исполнить желание доктора Кромара было им не по силам. Г-жа Майер опять вошла в телефонную будку и на следующий день, 10 сентября 1898 года, в «Журналь де Женев» и в двух других главных газетах города появилась заметка: «Ее Величество, Австрийская Императрица прибыла в Женеву со своей свитой и остановилась в гостинице «Бо-Риваж». В этом сообщении никто



утром ничего странного не нашел, прочли его не без удовольствия. Но к вечеру того же дня во всем мире люди проклинали и женевские газеты, и хозяев гостиницы, и швейцарскую полицию. А нахлынувшие в «Бо-Риваж» репортеры из разных стран, строго и подозрительно глядя на совершенно растерявшихся хозяев, требовали ясного ответа: кто же именно дал газетам эту заметку?

## II

На пароходе по дороге из Преньи в Женеву Елизавета много говорила, была в хорошем настроении духа, что с ней в последние годы случалось очень редко. Ирма Старэй лениво слушала, но старалась все запомнить. Она записывала разговоры императрицы, собиралась написать о ней книгу, — разумеется, не теперь, а когда-нибудь позднее. Графиня боготворила Елизавету, — ее полагалось не просто любить, а именно боготворить, — и считала ее высшим существом. И в самом деле было в ней что-то необыкновенное, малопонятное. «Вот бы ей всегда так завтракать и пить шампанское вместо молока», — грустно думала графиня. Жизнь при императрице была нелегкой. Вечные переезды без цели, без причины, без дела утомляли госпожу Старэй. Развлечений было мало, надежд на что-либо лучшее почти никаких. И обычно разговор надо было вести в высоком, несколько утомительном тоне. Записывая, графиня замечала, что императрице случается и повторяться: из книги придется многое вычеркнуть, да еще будет ли книга и можно ли будет все сказать? Императрица часто говорила резко и насмешливо о самых высокопоставленных людях мира.

Они сидели на палубе в парусиновых креслах. Как всегда, императрица выбрала место, где людей было меньше, а от проходивших закрывалась веером. Вначале они говорили о Преньи, о завтраке, о коллекциях баронессы Ротшильд.

— ...Император, верно, будет не очень доволен тем, что Ваше Величество завтракали у Ротшильдов, — сказала графиня. Изредка надо было подавать реплики, и это было самое трудное. — Император ведь, кажется, ездит в гости только к коронованным особам?

— Прежде он своим генерал-адъютантам не подавал руки, если они не принадлежали к самой высшей титулованной знати. Император — человек другой эпохи, ему надо было родиться тремя столетиями раньше. Но и Габсбурги понемногу делают уступки времени, правда медленно, — сказала, улыбаясь, императрица. — Какая роскошь в этой вилле! В Бурге, в Шенбрунне хотят думать, будто банкиры смешны, когда нам подражают. Они действительно смешны, но точно так же все смешно у нас, только у нас этого не замечают по долгой привычке. У меня тридцать поколений, живших роскошной жизнью, у них, верно, не более трех. Однако этого совершенно достаточно, чтобы научиться всей нашей мудрости. Они понемногу приходят на смену нам, а на смену им, вероятно, скоро придут вон те. — Она показала взглядом на проходившего по палубе матроса. — И те тоже скоро всему научатся, и ничего особенно несправедливого в этом не будет.

— Я знаю, вы либералка, Ваше Величество, — сказала графиня, опять чтобы что-либо сказать.

— Больше того, я революционерка, — смеясь, сказала Елизавета. — Меня в первый раз признали революционеркой сорок пять лет тому назад. До меня все австрийские императрицы носили ботинки и туфли один день, а затем выбрасывали. Я осмелилась нарушить эту вековую традицию. Затем я стала употреблять пудру и зубной эликсир, это было еще ужаснее. Еще позднее я стала курить и вызвала скандал на весь мир. Меня с тех пор дружно ненавидят во всех австрийских дворцах.

— Во всех венгерских дворцах вас обожают. И не только во дворцах, но и в крестьянских избах.

— За то, что я научилась хорошо говорить по-венгерски. За то, что я окружаю себя венгерскими дамами. За то, что в Годолло, из внимания к вам, я ем гуляш и пью токайское, хотя не люблю ни вина, ни мяса... Вот как сегодня, я от баронессы Матильды послала ее меню императору, хотя его трудно удивить хорошим завтраком. Я люблю оказывать внимание людям.

— У нас вас любят за то, что вы способствовали превращению империи Габсбургов в двуединое государство.

— Да, я влияла в этом смысле на императора. Но

политика никогда меня особенно не интересовала, а теперь совсем не интересуется. Меня считают атеисткой! Какой вздор! Я твердо верю в Бога. Вот только, да простит Он мне, я не верю в загробную жизнь. Потеряла эту веру в тот день, когда увидела Рудольфа на смертном одре. Хотела бы, хочу поверить, но не могу.

— Да ведь это главное!

— Не знаю, главное ли... Но вы напрасно думаете, я не боюсь смерти, — сказала Елизавета, хотя графиня Старэй ничего об этом не говорила. — От судьбы не уйдешь, что всем известно. Христоманос, мой учитель греческого языка, читал мне вслух роман графа Толстого «Анна Каренина». Вы не читали? Там об этом... Она жила над бездной, сама того не подозревая. Вот и я так живу... А в этой бездне трупы счастья, разных видов счастья. У каждого человека эти трупы свои, у каждого свои, особенные. Бездна заполнена, тогда все в порядке. Да, смерть все очищает, — говорила, по своему обычаю отрывисто и непонятно, императрица. — Только говорить об этом не надо, вообще ни с кем ни о чем не надо говорить, никто все равно другого понять не может.

«Зачем же она говорит? И в самом деле я не понимаю», — подумала графиня, подавляя зевок. Она вспомнила, что в Вене придворные говорили, что императрица рисуется. Другие это отрицали, но считали Елизавету пережитком романтической эпохи, задержавшимся в неромантическом мире.

— Кажется, и у Гейне есть что-то об этом, — робко, наудачу, сказала Ирма Старэй. Императрица опять засмеялась, но с легким раздражением.

— Уж если я говорю, то, значит, это из Гейне, да? Гейне мне и вы, венгры, не прощаете: я слишком его люблю, я поставила ему памятник в «Ахиллейоне», я когда-то разыскала и посетила его сестру, — какие преступления! Вот Гомера мне, пожалуй, разрешается любить, да и то лучше поменьше... Если при вас, Ирма, меня будут бранить за то, что я завтракала в Преньи, то вы можете сказать, что я хотела продать баронессе Матильде «Ахиллейон».

— Я знаю, ваш замок уже надоел Вашему Величеству, — сказала графиня не без удивления: за завтраком императрица действительно вскользь упомянула, что построенный ею на Корфу замок продается за два миллиона.

— Мне все надоело... Я прежде думала, что у монархий есть огромное преимущество перед республиками: в республиках все карьеристы, все думают об их так называемой власти, а монархам нечего для себя желать... Я не люблю республиканцев. В Париже меня посетил президент Греви, какой вульгарный, невоспитанный человек! Социалисты гораздо лучше, они, по крайней мере, говорят правду... Сколько красоты унесут из мира монархии, если уйдут, а они, верно, уйдут... Но это очень тяжело, невыносимо тяжело, когда человеку нечего для себя желать... Рудольф говорил, что вся моя беда в праздности. А что же, собственно, я могла бы делать? Поступить на завод? Стать приказчицей в лавке?

— Ваше Величество прежде писали стихи, прекрасные стихи. Отчего вы не продолжаете?

— Оттого, что они были не прекрасные. Да и литературная слава нам тоже запрещена. Мои стихи будут напечатаны после моей смерти в пользу благотворительных учреждений... Да, да, мне нечего делать. Я раз сказала императору, что покончу с собой. Он отвечал: «Тогда ты попадешь в ад!» «В ад? — сказала я. — В какой ад? Ад здесь, на земле. А если в ад попадают за самоубийство, то, значит, там и Рудольф!»

— Ваше Величество, зачем так говорить? — испуганно сказала графиня. Она в Вене слышала об этом разговоре императрицы с императором. Непонятным образом все их разговоры, даже самые интимные, тотчас становились известными при дворе. — Его Величество был совершенно прав: самоубийство — тяжкий грех.

— Разве все, что мы делаем, не грех? Разве наш сегодняшний завтрак не грех, когда столько людей голодает? И то, что я всю жизнь ничего не делаю, и это грех, хотя тут моей вины нет. Вы, Ирма, сейчас, конечно, думаете: хороша бы она была, если б не габсбургские дворцы и миллионы!

— Никогда этого не думаю, — сказала графиня горячо и почти искренно. Ей все же иногда, в дурные минуты, приходила в голову эта мысль. Изредка она спрашивала себя, что будет, если императрица в самом деле покончит с собой. «Нет, не покончит, она все-таки очень любит жизнь». — Ваше Величество и без дворцов и миллионов были бы самой лучшей, самой талан-

тливой, самой прекрасной женщиной на земле! — добавила она уже вполне искренно.

— Какой вздор! Никаких талантов у меня нет. Если б я не была австрийской императрицей, мною решительно никто и не заинтересовался бы... Но я говорю правду: я всем вам завидую, завидую вот этой разносчице. — Она показала на краснощекую швейцарку, разносившую на подносе лимонад и печенье. — Вы смеетесь, Ирма? Она молода, здорова, трудится. Вечером она, верно, встретится с возлюбленным, будет с ним есть сосиски, пить пиво. Она в тысячу раз счастливей меня, в тысячу раз!.. Но довольно об этом, — сказала императрица устало. «Говорила о таких вещах с людьми поумнее, чем Ирма, и ничего они мне ответить не могли».

Разносчица подошла к ним и спросила, не желают ли они чего-либо. Императрица тотчас закрылась веером. Ирма Старэй ответила, что ничего не нужно. Краснощекая девица отошла, с любопытством взглянув на даму в черном платье.

Они помолчали. Сходные, бессвязные, перескакивающие с одного предмета на другой разговоры происходили между ними нередко, и, как они ни утомляли графиню, она всякий раз чувствовала, что повышается в близости к императрице. Набравшись смелости (знала, что Елизавета таких вопросов не любит), она спросила:

— Ваше Величество, мы сегодня уедем в Ко?

— Не знаю... Нет... Я хочу еще погулять. Вероятно, завтра.

«Значит, опять не успею пообедать, а потом бродить без толку три часа», — грустно подумала графиня.

— А из Ко куда?

— Тоже еще не знаю. Быть может, в Ниццу или на Мадейру, — холодно ответила императрица. Лицо у нее стало ледяным и надменным. Но ей тотчас стало жаль графиню. «В самом деле, какая у нее жизнь со мной...» Она улыбнулась. — Я знаю, что и вы, Ирма, считаете меня сумасшедшей.

— Помилуйте, Ваше Величество...

— Не отрицайте, я это знаю. И, быть может, вы правы. Надо мною повисло вековое проклятье Виттельсбахов. Мой кузен король Людовик сошел с ума, его брат Отто тоже, и сколько других из нашей семьи! Это оттого, что Виттельсбахи обычно женились на

родных, чаще всего на габсбургских принцессах. Мой брак с императором был по счету двадцать первый брак Виттельсбахов с Габсбургами... И Рудольф, верно, тоже сошел бы с ума, он уже был близок к этому.

— Ваше Величество не из той ветви рода, что покойный король Людовик, — робко сказала графиня. Ей было известно, что сумасшествие у императрицы навязчивая мысль.

— Да, Людовик был принц von Bayern, а мой отец — принц in Bayern, — сказала, опять смеясь, императрица.

### III

Позднее многие старались найти в его наружности «что-то демоническое», но, кажется, сами не очень этому верили. Он был среднего роста, лицо у него было самое обыкновенное — «простонародное» — писали газеты; о глазах же в его антропометрической карточке сказано: «№ 3—2, желто-серые». Лишь один из видевших его людей пишет о «нехорошей усмешке», часто будто бы появлявшейся на его лице. Но, быть может, и это неверно. Его фотографии, появившиеся через три дня во всех газетах Европы, очень не похожи одна на другую, да и не остаются в памяти: человек как человек, ничего не скажешь. На него и в самом деле до того дня не обращал внимания решительно никто, — и, скорее всего, он убил императрицу именно потому, что никто не обращал на него внимания. Да еще — но кто может это знать? — была, верно, в его крови какая-либо темная, страшная наследственность, иногда выражающаяся в жажде крови.

Почти не замечали его и в этой небольшой, по вечерам тускло освещенной керосиновыми лампами кофейне. Она помещалась в очень старом квартале, в очень старом доме с выемками и дырами непонятого происхождения в грязно-серых стенах. Кофейня была жутковатая и пользовалась дурной славой. Сердитые соседи, не любившие шума и рано ложившиеся спать, говорили, что там собираются анархисты, а может быть, и просто воры и грабители. Начальник же местной полиции знал, что в кофейне бывают и воры, и грабители, и люди, ничего дурного не делающие (по близости другой кофейни не было). Преобладают же

ночью в самом деле так называемые анархисты — те, которых он причислял к подвалу революции, в отличие от ее бельэтажа. О многих вечерних завсегдатаях кофейни в ящиках его учреждения хранились особые карточки. Но вынимались они оттуда редко, так как сказанное в них не давало возможности арестовывать или предавать суду; и даже если дело шло об иностранцах (они в кофейне преобладали), то распорядиться о высылке можно было лишь в исключительных случаях. Швейцарцы в громадном большинстве терпеть не могли революционеров, но и наиболее консервативные из них в детстве заучивали наизусть «Вильгельма Телля», помнили, что Швейцария самая свободная страна на свете, и гордились тем, что она предоставляет убежище политическим изгнанникам. Большого вреда от этих иностранцев вдобавок пока не было, как не предвиделось и большой опасности в будущем: почти все они твердили о близости социальной революции, — какая уж там социальная революция в Швейцарии! Да и всегда можно было попасться: сегодня он подозрительный эмигрант, — а кем может стать завтра? Так было несколько позднее с высылкой — тоже в виде исключения — молодого Бенито Муссолини, который, вероятно, не раз бывал в этой кофейне.

Разумеется, заходили туда по вечерам и сыщики, выдававшие себя за анархистов, пили там на казенный счет пиво, слушали разговоры без большого интереса и вставляли свои революционные замечания. Здесь всегда говорилось одно и то же: что так больше жить нельзя, что кровопийцы-богачи все захватили себе, что власти у них на содержании, что надо бы перерезать кому-нибудь глотку и что это теперь у умных людей называется «прямое действие» или «пропаганда действием». Все это было так однообразно, что агенты и записывали не часто. Кое-чему, быть может, в душе и сочувствовали, так как сами начальства не любили, а жалованье получали маленькое, никак не соответствовавшее риску: если б в кофейне узнали, что они осведомляют полицию, то их тут же могли бы избить до полусмерти, а то и подколоть. Начальство же интересовалось преимущественно тем, над кем именно эти господа хотят произвести их прямое действие. Агенты называли имена короля Гумберта, русского царя, принца Уэльского. Тогда еще меньше приходи-

лось беспокоиться: во-первых, вообще все пьяная болтовня; во-вторых, и денег ни у кого из них нет, чтобы доехать до Рима, до Петербурга, до Лондона; в-третьих же, в обязанности швейцарского начальства не входила охрана столь далеко живущих высокопоставленных людей.

Не очень беспокоил начальника полиции и бельэтаж анархистов. Там были люди известные, ученые, книжные, — от таких какая же опасность? О них в полицейских архивах всех стран существовали объемистые папки. Порою архивы обменивались о них сведениями, но больше из любознательности. Были в каждой серьезной полиции и чиновники, читавшие революционные книги. Эти чиновники были подписчиками разных журналов вроде «*La Révolte*». Журнал был очень грозный, и статьи были грозные, но было все-таки не совсем понятно, чего именно хотят эти люди или, точнее, к чему они призывают. Начальники полиции даже несколько сердились: если призываешь к «прямому действию», то так и говори, а уж дело прокуратуры и правительства будет, привлекать ли тебя к суду или нет (это обычно зависело не столько от юридической стороны дела, сколько от политической обстановки). Главного человека из бельэтажа, живописного русского князя, в свое время во Франции к суду привлекли и посадили в тюрьму. Его книги начальник полиции в Женеве читал не без удовольствия: князь очень много знал, отлично писал, гораздо лучше других эмигрантов, и вдобавок писал по-французски. Кое в чем князь даже был, пожалуй, отчасти прав: действительно, несправедливостей на свете много, немало и очень грязных дел, — начальник полиции мог бы сообщить князю об этом и такие сведения, которых у князя не было. Но согласиться с ним начальник полиции все-таки не мог никак: может быть, принцип «авторитарности» в мире в самом деле идет к концу, а может быть, и не идет; нельзя также сказать с полной уверенностью, что мир быстро приближается к торжеству идеи свободы личности; и, конечно, возможно, что со временем везде установится совершенная справедливость, но, скорее, она все же нигде никогда не установится. Между тем русскому князю было твердо известно, куда идет человечество и что именно с ним будет. Когда в Женеве ожидались муниципальные вы-



боры, власти, случалось, запрашивали полицию, какого можно ждать результата. Начальник этого не любил: предписывал своим подчиненным осторожно расспрашивать лавочников, рабочих, мелких служащих и особенно кабатчиков, за кого следует голосовать, затем составлял доклад, однако угадывал далеко не всегда. Были основания думать, что еще легче ошибиться относительно мировой социальной революции.

Титул князя, его биография, его живописная наружность (в папке были фотографии) производили впечатление на начальника полиции. Он запрашивал о князе своих иностранных товарищей. Ответы во всем сходились: ученый человек, талантливый человек, человек безупречной личной жизни, и сам мухи не обидит; а как понимают его писания люди, называющие себя его учениками, это вопрос другой, выводы могут быть весьма разные. Кто-то сообщал и маловажные сведения: князь все работает в библиотеке, редко ходит на собрания анархистов, еще реже на собрания социалистов и не выносит «Интернационала», который называет «воем голодных собак». Очень ли он любит и почитает своих учеников, — это тоже сказать трудно. А если из начальников полиции того времени кто-либо пережил князя и продолжал им интересоваться, то узнал бы, что в провинциальном русском городе, где он поселился, после устных и письменных попыток переубедить Ленина, его последние предсмертные слова были: «Отчего же у Революции нет ни единой хорошей стороны?»

У опытных полицейских деятелей, — обычно людей неглупых, веселых и циничных, — вообще было впечатление, что люди из бельэтажа несколько побаиваются людей из подвала. Они и встречались не так часто, хотя вторые называли себя последователями первых и читали или, во всяком случае, распространяли их книги и журналы. Самые же беспристрастные из полицейских признавали, что и в подвале есть убежденные люди, тоже искренно мечтающие о золотом веке, о близком благоденствии человечества. Что ж, в Китае покойникам кладут в могилу особые кредитные билеты: на земле они не принимаются, но в загробном мире их примет потусторонний банк, они обеспечат умершему привольную жизнь.

В многочисленные обязанности начальника полиции входила охрана высокопоставленных лиц, приезжавших в его округ. Узнав о приезде императрицы Елизаветы, он приставил было к ней сыщика. Императрица это заметила и через кого-то из свиты просила, чтобы агента убрали, так как он ее стесняет и раздражает, да и никакой опасности она не подвергается. Начальник полиции исполнил ее желание с полной готовностью: и ответственность, таким образом, с него совершенно снималась, и людей у него было не очень много, и, главное, никакой пользы не могло быть от того, что за императрицей, шагах в двадцати от нее, будет следовать полицейский, — какая уж это охрана? Кроме того, покушение на австрийскую императрицу было в самом деле совершенно неправдоподобно: всем было известно, что она политикой не занимается, никому зла не делает и пользуется общей любовью.

И лишь 10 сентября, когда он растерянно давал объяснения начальству, и в следующие дни, когда швейцарскую полицию, и в частности его самого, стали всячески бранить в иностранной печати и в женевском влиятельном обществе, он подумал, что, верно, в той кофейне называлось имя австрийской императрицы: не только же из газет злодей узнал об ее приезде в Женеву; в несколько часов нельзя было бы задумать, организовать, привести в исполнение такое дело. В архиве же о нем не было ничего. Были карточки Мартинелли, Сильва, Бардотти, Гвальдуччи, но именно о проклятом Луиджи Луккени не было ни слова — это, конечно, не могло понравиться начальству.

Ничего толком не установили ни полицейское дознание, ни судебное следствие. Не удалось даже выяснить, были ли сообщники у Луккени. Он говорил, что не было. Одни ему верили, другие считали это невозможным: верно, не хочет выдавать или просто хвастает: все, мол, сделал я один. И Мартинелли, и Сильва, и Бардотти, и Гвальдуччи были арестованы, но их скоро выпустили за недостатком улик. Один свидетель показал, что Луккени в день убийства разговаривал недалеко от гостиницы «Бо-Риваж» с каким-то седобородым человеком. Убийца, не отрицая этого, сказал, что заговорил с этим прохожим случайно, а кто он такой, не знает. Седобородого человека не разыскали.

Выяснилось также, что как раз в первые дни сентября были собрания анархистов в Лозанне и в Тонон-ле-Бэн. Однако не было установлено, что Луккени на них присутствовал. На собраниях, разумеется, были полицейские осведомители, но они, по полной его незаметности, могли и не обратить на него внимания. Сам он говорил, что на собраниях не был. Тем не менее не хотел или не мог установить, где же именно он находился в те дни: дал ложные адреса, там никто его не видел. Все же и за это ухватиться было нельзя, так как дома были убогие, скорее трущобы, и предъявлять паспорт в те времена не требовалось, да не всегда и ни в чем не повинные люди могут вспомнить, где они находились в такой-то день, в такой-то час, и уж, конечно, не всегда могут доказать, что они там находились.

Во всяком случае, Луиджи Луккени побывал в кофейне поздно вечером за два дня до убийства императрицы. Там он долго и скучно рассказывал о себе, пока людям не надоело слушать. Говорил, что хотя он и коренной итальянец, но родился в Париже, своих родителей не знал и ими не интересуется, — мать еще, кажется, жива. Работал он на стройках, переезжал — или переходил — из одного города в другой, побывал в Вене, в Будапеште, теперь же обосновался в Швейцарии — живет в Лозанне, но завтра переезжает в Женеву. Его знакомый, молодой столяр Мартинелли, весело сказал, что Луиджи повезло: на стройке он легко повредил палец на левой руке, получил денежное пособие и теперь может некоторое время ничего не делать. Но Луккени его поправил: деньги приходят к концу.

— Да что деньги такому человеку, как я! — сказал он и, хотя некстати, сообщил, что был героем войны с Абиссинией, считался лучшим кавалеристом эскадрона, специалистом по разведочным набегам, в конном строю сплеча рубил гигантов-негров Менелика и получил высокую награду: военную медаль. Ему не очень поверили: что-то не походил он ни на героя войны, ни на лучшего кавалериста. А так как вдобавок все люди в кофейне совершенно презирали военных и воинские подвиги, то его рассказ лишь вызвал насмешки. Он пришел в ярость, вытащил и бросил на стол толстый большой конверт, тот самый, что нашли у него при аресте. Там в самом деле было свидетельство о воен-

ной медали и две его фотографии в кавалерийском мундире.

— А это что? — спросил кто-то, показывая на другие бумаги в конверте.

— Это письма одной княгини.

— Княгини? Какой княгини?

— Княгини д'Арагона.

Оказалось, князь Вэра д'Арагона, бывший на войне его эскадронным командиром, оценил его героизм и после демобилизации пригласил его на службу в свой дом в Неаполе. Луккени показал подпись княгини.

— Что же, она была твоей любовницей? — спросил его кто-то еще насмешливей. Он насмешки не понял и изумился, хотя был польщен.

— О нет! Но она прекрасная женщина. Все время просит меня вернуться к ним в дом, так как я человек незаменимый.

Когда его собеседники узнали, что он в княжеском доме служил лакеем, то почувствовали к нему полное презрение. Собственно, по их взглядам, всякий труд должен был заслуживать уважения, однако им не понравилось: бывший лакей!

— Я никогда от нее не ушел бы, — сказал Луккени. — Но князь оказался скрягой. Я потребовал прибавки, он мне отказал! Теперь я пролетарий и опаснейший революционер. Видел же я и пережил очень много, имел истории с полицией. Она за мной следит! За мной по пятам ходят сыщики, но они со мной ничего поделат не могут, такой я человек! И я силач. Обо мне скоро услышит весь мир!

Слежки в кофейне опасались. Впрочем, и в этом никто ему не поверил. Да и в самом деле никакие сыщики за ним по пятам не ходили.

Он отошел к стойке и выпил залпом бокал крепкого вина. Тем временем Мартинелли вполголоса сказал другим сидевшим за столом людям, что шутить с Луиджи не следует: какой-то солдат ему говорил, будто Луккени в самом деле имел на фронте репутацию храбреца; он обладает большой физической силой, любит скандалить и в драках обычно выходит победителем, потому что всегда готов на все — нож так нож! — а после драки даже не помнит, из-за чего расвирепел.

Недалеко у стойки человек с землистым лицом, в

этот вечер много выпивший и кашлявший больше обычного, продавал книги и брошюры. Он предложил их Луккени, как предлагал всем другим.

— Эту я уже читал! — с гордостью сказал тот, увидев «*Santichi anarchisti*». — Она у меня была!

— Тогда купи вот что, — сказал чахоточный и протянул ему довольно толстую книгу на французском языке. Пояснил, что автор этой книги был русским князем, а теперь самый знаменитый анархист и стоит, разумеется, за прямое действие, как все умные, благородные люди. Так же стояли за прямое действие создатели анархистского учения, греческие философы Зенон, Аристипп, Рабле и Годвин. И так же думает теперь еще один русский писатель, граф — его книги можно найти в любом магазине, даже буржуазном, — он ходит босой, шьет сапоги и во всех своих книгах доказывает, что давно пора кого-нибудь из них пырнуть ножом.

На обложке неразрезанной книги русского князя была указана цена: три франка пятьдесят. Это было для Луккени слишком дорого. Но чахоточный человек сказал, что своим, анархистам, продает книгу за один франк.

— Ведь ты анархист?

— Да, я убежденный, опаснейший анархист! — ответил Луккени, как позднее отвечал и на суде. — Я готов на все, и мир еще обо мне услышит!

Он крепко пожал руку чахоточному и приобрел книгу. В тот же вечер он вернулся в Лозанну, читал до поздней ночи и вполголоса декламировал «*Santichi*», так что в соседнем номере кто-то постучал в стену и выругался.

Утром же следующего дня, проходя на вокзал мимо скобяного ряда, он в большой выставленной на улице коробке увидел среди прочего хлама не очень длинное трехгранное шило. Луккени остановился как вкопанный.

#### IV

Вечером этого дня они еще бродили по Женеве. Обе устали от разговоров, обеим больше говорить не хотелось. Императрица думала, не сказала ли чего-либо лишнего на пароходе. Хотя Ирма Старэй в последнее время была чуть ли не самым близким ей человеком,

разговаривать с ней было скучновато. «Но с кем же разговаривать теперь было бы приятно?» Они заблудились на улицах малознакомого города и вернулись в «Бо-Риваж» довольно поздно.

Графиня ушла к себе писать письма. Императрице спать еще не хотелось. Вечер был чудесный, еще летний. Она села у окна. Вдали чернели вершины гор. Пыталась при лунном свете разыскать Монблан, но его не было видно. Неприятно слепил глаза маяк.

Можно было еще почитать. Графиня, уходя, вынула из несессера и положила на ночной столик Гомера по-гречески и стихи Гейне, — когда-то кронпринц подарил матери дорогое роскошное издание, но оно было бережно спрятано во дворце вместе с другими напоминавшими о сыне вещами: с собой она возила дешевенькое издание в зеленом коленкоровом переплете. Она знала Гейне наизусть, читать его было уже почти невозможно. Не хотела и себе признаться, что и Гейне ей надоел, почти так же, как графиня Старэй, как доктор Кромар, как генерал Берсевици. Надоел и Гомер, и замок «Ахиллейон».

Ночной туалет занял более часа, — теперь смотреть на себя в зеркало было мучительно: ничего от красоты не осталось, почти ничего. Она легла в кровать и почувствовала смертельную усталость, усталость от всего, от жизни: так бы лежать, не двигаясь, больше никогда не вставать. Трудно было даже поправить поверх ночной рубашки висевшее на цепочке обручальное кольцо, — почему-то это кольцо носила на шее и никогда с ним не расставалась.

В Вене говорили, что императрица любит мужа и что он ее обожает так же, как в тот далекий день, когда влюбился в нее столь внезапно: приехал в Баварию, чтобы жениться на ее старшей сестре, страстно влюбился в младшую, как только ее увидел, и женился на ней, к неудовольствию семьи, государственных людей и двора, — быть может, это был единственный «скандальный» поступок в его жизни. Тем не менее в их отношениях главного понять нельзя; и быть может, ключ к ее жизни был с этими отношениями связан, и оба они унесли его в могилу. Она писала ему ласковые письма, он до конца дней ей писал так, как ни одной другой женщине не писал никогда (Катерине Шратт писал всегда очень кратко и сухо, почти «официально»). Тем не менее в разговоре с графиней Фестетич,

предшественницей по должности Ирмы Старэй, у императрицы однажды вырвались непостижимые слова о муже: «Этот человек сделал мне столько зла, что я и в агонии буду не в состоянии простить ему».

Теперь, впрочем, думала об императоре благодушно. «Что он сейчас делает? Как всегда, встал сегодня в четыре часа утра, подписывал никому не нужные, или бессмысленные, или вредные документы, работал целый день, затем незаметно, с заднего крыльца, вышел из Шенбрунна и один, парком, затем дорожкой мимо полей, пошел к вилле, которую он подарил Катерине». Императрица не только не ревновала мужа к этой милой артистке, но сама его с ней свела и была с ней необыкновенно любезна: Катерина Шратт ее обожала. «По дороге его узнают работающие в поле крестьяне и чинящие дорогу каменщики. Они низко, в пояс, ему кланяются, он ласково им отвечает...» Елизавета знала, что эти крестьяне и каменщики в большинстве переодетые агенты полиции, поставленные для охраны императора. «Затем он звонит своим звонком, она сама ему отворяет, подает ему его кофе и его «гугельхопф». Предполагается, что в доме прислуги нет. Он галантно придвигает ей стул и просит ее сесть...» В Вене остряки спрашивали, считает ли Франц Иосиф возможным подавать руку своей негитулованной любовнице, а другие отвечали, что это вовсе не нужно. Говорили также, что однажды, когда Катерина Шратт пошла за кофе, неожиданно раздался звонок (обычно полиция принимала меры против этого), Франц Иосиф сам отворил дверь, и появившийся на пороге трубочист, узнав императора, растерянно запел австрийский национальный гимн.

Свет маяка ее беспокоил. Следовало бы встать и затворить ставни. Но сил у нее не было. Раскрыла опять книгу Гомера. «... Труп твой — Нимфы прекрасные, дочери старца морей, окружили. — С плачем и светлобожественной ризой его облачили; — Музы, все девять, сменяясь, голосом сладостным пели — Гимн похоронный, никто из аргивян с сухими глазами — Слушать не мог сладкопения муз, врачевательниц сердца...» Она читала с восторгом и умилением. И вдруг память ей подсказала кем-то при ней спетую кафешантанную песенку:

«Kennst du Versbau von Homer, — fragte sie, peut-

être. — Ach, mein Kind, es ist nicht schwer — er schrieb Taximeter...»<sup>1</sup>

Она не могла заснуть. Все думала о смерти, о том, что незачем и не для чего жить, что больше в этой жизни ничего не будет, ничего, ничего. «Да, Рудольф был прав: меня замучила праздность, дело не в ее греховности, а в ее невыносимой скуке...» То тушила свет, то снова, морщась, начинала читать. «Конечно, божественный поэт, но что он мне может дать? Что у меня общего с ним, с людьми его времени? Уж не было ли искусственным и мое восхищение Гомером? Они ведь говорят, будто я рисуюсь! Зачем мне рисоваться, перед кем рисоваться! Когда-то гордилась красотой, теперь и гордиться нечем, поздно. Для всего поздно...» Перевернула страницу и вышло о смерти. «...Но и тебе повстречать на земле предназначено было — Страшную меру, которой никто не избег из рожденных...»

Звезды уже бледнели перед рассветом, когда она отложила книгу. В темноте чуть-чуть блеснуло что-то металлическое: «Ручка двери? Нет... Что же?...» Она вдруг с наслаждением почувствовала, что сейчас заснет, сейчас. Это был ее последний сон.

Утром Ирма Старэй к ней постучала и тем же, столь надоевшим обеим, грустно-почтительным тоном осведомилась, как она почивала. Узнав, что императрица спала отлично, спросила, остаются ли в силе вчерашние распоряжения.

— Да, мы уедем на том пароходе, который отходит в час сорок. Скажите доктору Кромару, что он может уехать раньше по железной дороге. И лакей с вещами тоже. Я буду готова часа через полтора, мы еще пойдем погулять. И надо ведь купить музыкальный инструмент для эрцгерцогини. Спросите, пожалуйста, у хозяев, где этот Беккер и как туда пройти.

«И завтракать не будем по-человечески», — печально подумала графиня. Она показала императрице заметку в «Журналь де Женев».

— Какое безобразие! Ведь их просили никому не сообщать, и они обещали, — сказала она. Но императрица отнеслась к этому равнодушно.

---

<sup>1</sup> «Знаешь ли, каким стихом писал Гомер?» — спросил он. — «Ах, дитя мое, это не трудно он писал таксиметром». — *Пер. авт.*



— Может быть, сообщили не они? Лишь бы не собирались господа туристы.

На прогулку они вышли только в одиннадцать. Заслоняться зонтиком было на этот раз не от кого: туристы перед гостиницей не собрались или им надоело ждать. Опять долго гуляли, обмениваясь впечатлениями лишь тогда, когда молчание длилось слишком долго. Затем зашли в музыкальный магазин, и там произошло то, что всегда происходило в таких случаях с императрицей: ее тотчас узнали и хозяин, и приказчик. Оба выпучили глаза. Впрочем, тут способности инкогнито оказалось бы все равно невозможным, так как надо было сообщить имя и адрес эрцгерцогини Валерии для отправки ей подарка. Приказчик поспешно, без всякой надобности переставил оркестрион, хозяин тоже растерянно пододвинул кресло и спросил, что угодно будет послушать Ее Величеству. Она выбрала в каталоге арии из «Кармен», «Риголетто». Выслушав, сказала, что, кажется, тон слишком резкий. Хозяин совершенно с ней согласился и предложил приобрести аристон: у него тон мягче.

— Пожалуйста, поставьте увертюру «Тангейзера», если у вас есть.

Когда увертюра кончилась, в магазин вошла покупательница — как позднее оказалось, титулованная бельгийская дама. Императрица тотчас заслонила веером, но покупательница была не из застенчивых. С умоляющим выражением на лице стала тотчас что-то шептать графине Старэй.

— Ни в каком случае! Это совершенно невозможно. — У императрицы лицо тотчас стало ледяным. Она встала и сказала хозяину, что берет аристон.

— Пожалуйста, выберите Вагнера, Бетховена и Бизе, — сказала она Ирме Старэй и вышла, не глядя на даму. Графиня отдала приказчику записку с адресом, заплатила и догнала Елизавету на улице.

— Какая нахалка! Просила представить ее Вашему Величеству!

— Осталось всего двадцать минут, — сказала императрица. — Боюсь, что вам придется остаться без завтрака, Ирма. Но мы можем еще зайти в «Бориваж» и выпить по стакану молока.

«Как? Значит, ты должен будешь влачить то жалкое существование, которое в течении тридцати—сорока лет влачили твой отец и твоя мать! Всю жизнь будешь работать, чтобы доставлять немногим людям радость благосостояния, познаний, искусства, а для себя оставишь вечную заботу о куске хлеба? Ты навсегда откажешься от всего того, что делает жизнь столь прекрасной, предоставишь все выгоды кучке праздных людей, а сам будешь упорно трудиться, будешь знать только нужду, если не нищету в пору безработицы! К этому ли ты стремишься в жизни?»

Это относилось к нему, и у него кулаки сжимались от бешенства. Прочел в книге все же лишь немного, хотя она была написана легко, он почти все понимал. Были у него другие брошюры, еще более доступные и, главное, более короткие. В них много говорилось о прямом действии, — как будто все было ясно и тем не менее не вполне ясно. Он искал ответа на два вопроса: надо ли кого-нибудь убить, и если надо, то кого именно? Но и самые резкие брошюры на первый вопрос отвечали уклончиво, а на второй не отвечали ничего. «Прочесть всех философов, наших философов?» — спрашивал он себя; некоторые имена, названные хаотичным, запомнил: Зенон, Аристипп. «Могу прочесть, все могу! Но дойду и собственным умом...»

Ему нравились обе мысли: можно было не спеша заняться чтением и философскими мыслями; можно было также тотчас кого-нибудь убить. Имена, называвшиеся в кофейне, помнил: король Гумберт, царь Николай, принц Уэльский, герцог Орлеанский. Кое-что знал лишь о короле — о нем часто говорили и в армии, и в доме князя де Арагона. На суде Луккени показал, что если б у него было пятьдесят лир, то он поехал бы в Рим и заколол бы короля. Русский царь, принц Уэльский жили еще гораздо дальше, не доедешь. Но герцог Орлеанский, по слухам, находился совсем близко, в Эвиане — туда можно было даже пройти пешком. На следствии выяснилось, что Луккени наводил справки и из списка знатных иностранцев, съехавшихся в этот городок для лечения, узнал, что герцога Орлеанского там нет. Как ему могло быть известно, что такие списки существуют? Были сообщники? Кто же из анар-

хистов очень думал об этом малоизвестном претенденте на французский престол? Не больше их интересовала и австрийская императрица. Наверное, никто в их бельэтаже ни малейшего отношения к ее убийству не имел. Оно могло только повредить и повредило их делу. Русский князь был в ужасе и отчаянии<sup>1</sup>. Да и среди людей подвала более трезвые едва ли очень подбивали Луккени: понимали, что начнутся аресты и высылки.

Занимались на следствии, конечно, и вопросом, не сумасшедший ли этот Луккени. Врачи признали его совершенно нормальным. А прокурор и следователь даже говорили — разумеется, очень преувеличивая — о «большой ясности» его ума. По-видимому, ему его жизнь опротивела, как убитой императрице опротивела ее жизнь. К рассуждению он был, во всяком случае, способен, как и другие не вполне нормальные люди. И еще в последний день он все взвешивал: можно жить дальше так, как он жил до сих пор, работать, сводить концы с концами, — но разве это жизнь, разве так живут они, разве они не будут в восторге от того, что он, Луиджи Луккени, решил так жить и оставить их в покое? Если же убить кого-нибудь из них — тогда слава, настоящая слава на весь мир! Представлял себе не сцену убийства (она зависела от того, кого и где он убьет), а все дальнейшее: будут писать газеты, *все газеты*, во всем мире будет повторяться его имя. Эта мысль наполняла его восторгом. Душу его разорвало дикое, необузданное тщеславие — одна из самых страшных движущих миром сил, в нем развившаяся безмерно за счет других свойственных людям чувств.

Он был отнюдь не труслив и, в отличие от многих других смелых людей, не очень боялся смерти. В кофейне говорилось, что в Женевском кантоне смертной казни нет. Знать это было приятно, но смертная казнь его не остановила бы. Он даже допускал, что ее введут нарочно для него, и это тоже было связано с приятными мыслями: как он взойдет на эшафот. Вероятно, взошел бы мужественно, как мужественно воевал в Абиссинии, добываясь (должно быть, тоже из тщеславия) самых опасных поручений. Он получил военную медаль, но какая уж слава, когда воюют сотни тысяч

---

<sup>1</sup> Об этом говорил автору рассказа человек, тогда часто встречавшийся с П. А. Кропоткиным.

людей и столь многие получают награды! Газеты тогда о нем ни разу и не упомянули, а его рассказам в тылу не очень верили: «Хвастает!»

Шило он тогда в Лозанне купил, хотя еще совершенно не знал, понадобится ли оно ему и когда именно. Оно было без рукоятки. Он заказал Мартинелли рукоятку — круглую, не очень длинную, такую, чтобы можно было положить шило в карман. «А зачем оно тебе?» — спросил столяр. «Может пригодиться в работе, проволоку резать, что ли», — небрежно ответил он. Так, по крайней мере, показывал на следствии Мартинелли. С тех пор Луккени носил шило в кармане всегда: вдруг именно сегодня и понадобится.

Утром 10 сентября он встал довольно поздно, в хорошем настроении. Погода была прекрасная. Делать ему было нечего. Счел перед уходом деньги; оказалось, что осталось всего около десяти франков, но это было не страшно: ему предлагали работу на новой постройке. Собственно, можно было бы и вернуться в Неаполь, в дом князя де Арагона; все-таки они хоть и угнетатели, а недурные люди, особенно княгиня. Но возвращаться туда ему не хотелось — вспомнил кривые усмешки в кофейне. Решил ответить княгине сегодня же вежливым отказом, без объяснения причин. «Вот прочтет — как изумится!» — с наслаждением подумал он и решил, что можно себя побаловать: выпить кофе в настоящей кофейне.

На одной из главных улиц города он остановился у витрины и в боковом, узком, косо поставленном зеркале осмотрел себя: одет был чисто и прилично, совсем как они. Выбрал хорошую кофейню, вошел — как следует — и приказал лакею подать чашку кофе.

— Принесите мне также газету, — сказал он.

Кофе было превосходное. Перед ним поставили что-то серебряное с сахаром — полную сахарницу! Все было так чисто, так красиво. «А что, если б немного так пожить? Не отказаться ли от дела? Засесть за книги? С моими способностями я скоро стану знаменитым ученым, прославлюсь на весь мир — «наш великий Луиджи Луккени». Буду получать большое жалованье, им платят, верно, не меньше трех тысяч лир в год. Буду иметь две комнаты с кухней, а то и три! И женюсь на образованной красивой девушке».

Хотя деньги надо было беречь, он подозвал опять лакея и строго и вместе робко велел принести булочку

с маслом. Потом спохватился: до сих пор выходило хорошо, — уже отлично позавтракал и зашел только выпить еще чашку кофе, — теперь оказался голоден! «Подумает, что я не сразу решил на булочку!» Лакей принес две булочки и два кружка масла, а также газету, и опять все было так хорошо, тарелочка без единой трещины, булочки горячие, хрустящие, масло превосходное. Он все с жадностью съел, не оставил ни крошки и опять пожалел: надо было бы кусочек оставить, а то выйдет: пришел голодный человек.

Затем он развернул газету — не «Аванти» и не «Аджитаторе», а «Журналь де Женев». Он их газет обычно не читал. На первой странице все было о деле Дрейфуса. О нем писали и в «Аванти», причем сообщалось, что капитан Дрейфус был миллионером. «Нашли кого защищать! Такой же угнетатель, как и его судьи, и все они...» Вспомнил о капитане де Арагона. Теперь уже смелее подозвал лакея, приказал подать перо, чернильницу, бумагу. Написал княгине очень учтиво, что никак не может вернуться на службу. Закончил словами: «Я чувствую себя отлично и пользуюсь случаем сообщить вам, что уезжаю в субботу из Женевы». Хотел было прибавить «в Париж», но не прибавил. Вспомнил, что суббота именно сегодня. «Ну что ж, подумают: в следующую субботу».

Уходить из кофейни ему не хотелось. Опять взялся за газету. И вдруг ахнул. На третьей странице было напечатано: «Ее Величество Австрийская Императрица прибыла в Женеву со своей свитой и остановилась в гостинице «Бо-Риваж».

Через полчаса он вернулся в свою комнату. По дороге почти беззвучно повторял: «Бо-Риваж...» «Бо-Риваж... Австрийская императрица...» Теперь откладывать дело не приходилось. Лучше нечего было и желать: не герцог, даже не король, а императрица!

Достал из кармана шило, высоко взмахнул и погрузил изо всей силы в воздух. «На ней будет что-нибудь такое, как это у них называется, мантилья, что ли. И корсет, — подумал он тревожно. — Нет, легко прорежу и корсет... Ударить сверху вниз, изо всей силы, прямо в сердце, зачем ей страдать? Еще лучше было бы, если б это был император... Убить женщину?.. А

что в том, что она женщина? Такая же угнетательница... Сейчас и пойти?» — думал он, трясаясь всем телом.

## VI

У входа в гостиницу «Бо-Риваж» полиции не было. «Это хорошо... Это очень хорошо. Верно, она выйдет погулять... Они гуляют, когда другие люди работают... Когда она выйдет, пойти ей навстречу: Луиджи Луккени сзади не убивает».

Стоять около Бо-Риважа было рискованно. Он долго бродил по соседним улицам, то возвращаясь к гостинице, то снова отходя. «Если пойдет направо, к озеру, то можно убежать по улице Альпов. А если налево?» Но думал также, что в случае бегства его имя останется неизвестным и все дело потеряет смысл: «А может быть, она сегодня же куда-нибудь уедет! Они ведь все разъезжают, и в первом классе, не то что мы... Но тогда перед гостиницей стояли бы кареты, для нее и для свиты, при ней ведь свита», — думал он, нарочно стараясь привести себя в ярость. «И тогда ее, конечно, будут провожать, подсаживать швейцар, лакеи, вот как я подсаживал княгиню де Арагона!» — тут с уже неделанной яростью вспомнил он. Гулял он долго, затем силы его оставили. Проходивший случайно по набережной жандарм Лакруа показал, что на скамейке долго сидел человек, чрезвычайно похожий на Луккени.

По-прежнему у «Бо-Риважа» никакого оживления не замечалось. «Нет полицейских!.. Может быть, есть другой выход? Или она уже уехала?» — с необычайным облегчением подумал было он. Но как раз в эту минуту из гостиницы стали выносить чемоданы — много хороших, дорогих чемоданов. Непонятным образом он догадался: ее вещи, никаких сомнений! Какой-то человек вышел, швейцар подозвал извозчика. Это отправлялся на вокзал доктор Кромар в сопровождении лакея с багажом. «Уезжает! Значит, теперь или никогда!.. Вещи, верно, отправляют вперед... Но если по железной дороге, то была бы ее карета. Пароходная пристань рядом, туда и она может пойти пешком», — соображал он, с трудом дыша. Он побежал к пристани.

Пароход в направлении на Террите отходил в час сорок. Он ахнул — осталось всего десять минут! — и побежал назад. И вдруг еще издали увидел, что из дверей выходит она!

На следствии он показывал, что за несколько лет до того на улице в Будапеште видел императрицу. Но едва ли говорил правду. Мог узнать ее по портретам, да еще потому, что за ней в самом деле вышло несколько человек. Они низко ей поклонились. Она раскрыла зонтик и пошла к пристани в сопровождении другой дамы.

Он замедлил ход, тяжело вздохнул и остановился, в упор на нее глядя. Собственно, убить ее легко было тут же. В последний раз подумал, надо ли? «Надо!.. Решено!.. Но зонтик!» Это было неожиданное препятствие. «Нужно будет наклониться...» Еще подумал, что шило может застрять в кармане. Хотя по улице проходили люди, он быстро вынул шило из кармана и спрятал в рукав, рукояткой вниз. Руки у него страшно тряслись. «Ничего... Силы хватит... Теперь или никогда! Теперь или никогда!» — повторял он себе. В последний раз на нее взглянул, — она была шагах в десяти от него, — круто повернулся и пошел к пристани. Слышал позади ее голос. Хотя с ней была другая дама, знал, что говорит именно она. Расстояние между ними увеличилось. Он шел быстро, поддерживая в рукаве сложенными пальцами рукоятку шила.

Внезапно послышался протяжный пароходный свисток. Луккени не видел, но почувствовал, что она ускорила шаги. То же сделал и он. К пристани медленно подходил небольшой пароход. «Пора!» Он выпустил из рукава шило, крепко сжал рукоятку, опять круто повернулся и побежал назад. Обе дамы испуганно посторонились, глядя на него с изумлением. Он низко изогнулся, прищурил глаза и изо всей силы ударил императрицу шилом в грудь. Затем выдернул шило и побежал к улице Альпов.

Императрица пошатнулась, выронила зонтик и упала. Графиня Старэй вскрикнула. Подбежал англичанин-турист. Проезжий извозчик остановился, соскочил с козел и тоже направился к упавшей даме. Она поднялась, растерянно глядя на людей, и стала поправлять волосы. Другой извозчик закричал: «Вор!.. Дер-

жи вора!..» — и погнался за убегавшим человеком. Англичанин подал даме зонтик и спросил, не ушиблась ли она.

— Нет... Это пустяки... Благодарю вас, — ответила она сорвавшимся голосом. Графиня Старэй ахала.

— Что такое! Он толкнул вас? Какой наглец! — говорила она по-венгерски, сметая пыль с рукава императрицы.

— Да... Это пустяки... Мы опоздаем! — сказала Елизавета и быстро пошла дальше, кивнув головой англичанину и извозчику. Матрос, уже собиравшийся втянуть сходни, остановился, увидев опоздавших дам. Они взошли на пароход.

— Наверное, ничего? Не больно? Совсем не больно? — спрашивала графиня; она не могла прийти в себя от неслыханного происшествия.

— Чуть-чуть... Кажется, чуть больно... Я, верно, очень бледна? Дайте мне руку, — прошептала императрица. Она зашаталась и медленно опустилась на палубу. Графиня Старэй закричала. К ним поспешно подошла пассажирка, госпожа Дардалль.

— Это, верно, обморок. У меня есть соли, я вам принесу, — сказала она и побежала к оставленному ею на скамейке чемоданчику. Графиня опустилась на колени, стараясь поднять с пола голову императрицы. К ним подходил капитан Ру.

— Эта дама чувствует себя плохо? Вы можете еще сойти на берег. Скоро будет другой пароход. Позвольте вам помочь, — сказал он, нагибаясь и изумленно глядя на упавшую даму. Но пароход как раз дрогнул и отчалил.

— Обморок... Это ничего... Это ничего... Нет ли здесь врача? — шепотом спрашивала графиня.

— Врача на пароходе нет. Но мы перенесем ее в каюту, там мягкие диваны.

— Не надо в каюту, — сказала госпожа Дардалль. Вот соли... Дайте воды... Или лучше перенесем ее на верхнюю палубу, здесь около машины очень жарко... Дама очень бледна, — говорила она. Капитан и два пассажира подняли императрицу, по лесенке перенесли ее наверх и положили на скамью, не зная, что подложить под голову. Госпожа Дардалль поднесла ей к лицу склянку с солями. Императрица очнулась, с ужа-



сом взглянула на собравшихся вокруг нее людей и, опираясь руками о скамью, кое-как приподнялась.

— Что это? Что случилось? — прошептала она.

— Вы упали... Это пустяк... Позвольте, я расстегну... Вам уже лучше, правда?

— О, да... Лучше... — еле слышно ответила императрица. Это были ее последние слова. Она захрипела, опустила голову на скамейку и снова лишилась чувств. Из-под расстегнутого платья показалась кровь. Графиня закричала отчаянным голосом. Все ахнули. Кровь расходилась из прорезанной маленькой дыры в корсете.

— Что такое? В чем дело? Что случилось?

— Эта дама австрийская императрица!.. Ее убили!.. Велите причалить к берегу! — задыхаясь, выговорила графиня. Пассажиры остолбенели. Капитан с раскрытым ртом простоял несколько секунд, затем побежал по палубе.

— Назад!.. Повернуть пароход!.. Сию минуту назад! — диким голосом закричал он.

Через минуту на пароходе завывала сирена. Матросы несли вниз умиравшую императрицу. Пароход остановился. Сирена продолжала выть непрерывно, все оглушительнее, надрывая душу. К дебаркадеру бежали со всех сторон люди.

## VII

Ее похоронили по древнему испанскому обряду в церкви Капуцинов. Как и покончивший с собой сын ее, она не желала быть погребенной в этой усыпальнице Габсбургов. И, вероятно, тоже, как Рудольф, понимала, что ее желание не будет исполнено, что никогда император не даст согласия на простые, скромные похороны. Девяносто королей и принцев приехали в Вену. Дома столицы были завешены черным сукном. Австрийцы очень любили императрицу. Но если б этого и не было, все равно произошло бы то, что всегда происходило при погребении людей, имя которых шумело десятилетиями (хотя бы эти люди были извергами). Газетные статьи действовали на воображение читателей, волнение читателей передавалось авто-

рам статей. Вдобавок зрелище ожидалось пышное, очень пышное, такое, какого давно в Вене не было. Поезда каждый день привозили в Вену десятки тысяч людей из провинции, из чужих стран. Даже республиканцы и социалисты говорили, что хотят отдать императрице последний долг. И все, точно сговорившись, повторяли об императоре: «Ни от чего на этой земле он не был избавлен!» Он и сам сказал о себе эти слова: «Nichts war mir erspart!», когда его генерал-адъютант, граф Паар, со всеми должными предосторожностями показал ему телеграмму из Женевы. И люди, прежде шутливо называвшие его Францль, рассказывавшие анекдоты о нем и о Катерине Шратт, теперь говорили благоговейно.

Как всегда бесстрашный, прямой как палка, он выезжал на вокзал встречать тех, кого ему полагалось встречать по этикету. Короли и принцы испуганно на него смотрели, говорили то, что им полагалось, и он так же им отвечал. В самый день похорон выехал встречать Вильгельма II, которого не любил и считал выскочкой, ненастоящим императором: настоящий император был и теперь на земле он один, Габсбург, как было в старину, как было до Петра Великого. Встал он в это утро, как всегда, в четыре часа утра, долго читал и подписывал бумаги. Люди, хорошо его знавшие, этому не удивлялись и вспоминали слова, приписанные поэтом Грильпарцером одному из предков Франца Иосифа: «Я отбросил все то, что было во мне смертного. Теперь я только император, а император не умирает».

Ровно в четыре часа дня из Бурга вынесли гроб. На нем лежали короны императрицы, ее белые перчатки и черный веер. Гроб окружили пажи с зажженными свечами в руках, драбанты, придворные, австрийские стрелки с луками, венгерские телохранители с тяжелыми средневековыми мечами. У ворот стоял катафалк, запряженный восьмью вороными лошадьми, за ним поодаль три коляски, в которых никому ехать не полагалось. И в сопровождении духовенства, драбантов, двора и всей гвардии катафалк медленно направился к церкви Капуцинов, где уже находился император. Все было так, как полагалось с незапамятных времен.

Дверь переполненной церкви была наглухо затворе-

на. Три раза, с недолгими перерывами, обер-камергер постучал в дверь. И в мертвой тишине из-за двери монах-хранитель спросил по-латыни глухим голосом:

— Кто просит о доступе в эту усыпальницу?

Так же глухо, тоже по-латыни, ответил князь-примат:

— О доступе в эту усыпальницу просит раба Божия Елизавета. Она была в земной жизни императрицей австрийской.

Дверь отворилась и послышались звуки «*Dies irae, dies illa*»<sup>1</sup>. Все потом признавали, что служба, орган, хор были выше всяких похвал; говорили, что при словах «...*Peccatlicem absolvesti, — Et latronem exaudisti — Mihi quoque spem dedisti...*»<sup>2</sup> тихо плакали все, кроме престарелого императора. После службы он первый, в сопровождении других монархов, спустился за гробом в подземелье по темной крутой лестнице. Первый оттуда и поднялся, первый вышел и оглянулся на церковь. Быть может, подумал, что скоро здесь князь-примат скажет: «О доступе в эту усыпальницу просит раб Божий Франц Иосиф. Он был в земной жизни императором австрийским...» В мертвой тишине перед миллионной толпой, не отнимая руки от козырька, он в открытой коляске вернулся в Бург, где тотчас сел за работу.

Хотя все происходило по тысячелетним правилам, было затем много споров, обид, нареканий. Венгры заявили протест, — князь-примат не сказал: «была королевой венгерской»; заявили протест и власти из Чехии, — он не сказал: «была королевой богемской». Но это было лишь в следующие дни. Возвращаясь же домой, старики рассказывали молодым, что помнят первое появление Елизаветы в Вене (о том же писали и старые репортеры): шестнадцатилетней девушкой она, невеста молодого императора, проехала по улицам столицы в расписанной когда-то Рубенсом церемониальной карете Габсбургов, запряженной тоже во семью — но белыми — лошадьми: «Нет, никогда не было более прекрасной женщины на свете».

---

<sup>1</sup> «Тот день, день гнева» (*лат.*) — начало средневекового церковного гимна — вторая часть реквиема. В основе гимна лежит библейское пророчество о суждом дне. — *Прим. ред.*

<sup>2</sup> «Ты, который простил грешницу и выслушал разбойника, подал надежду и мне» (*лат.*).

Через два месяца в Женеве начался процесс ее убийцы. Тотчас после преступления он бросился бежать по той улице, которую себе наметил, но его схватили погнавшие за ним извозчик и прохожие. Никакого сопротивления он не оказал, да и бросил по дороге шило. Но на бессмысленный вопрос властей, ударил ли он императрицу просто кулаком или же имел при себе оружие, столь же бессмысленно ответил, что никакого оружия при нем не было: «Иначе вы его у меня нашли бы». Очень скоро кто-то подобрал шило на улице и принес в полицию.

Держался он гордо и все время хвастал. Его спросили, почему он напал на императрицу. Он ответил: «Луккени («un Luccheni») прачек не убивает!» Сказал также, что несколько не раскаивается в своем деле и снова совершил бы его, если б оно не удалось в первый раз. Как раз в начале его первого допроса по телефону сообщили, что императрица скончалась. Луккени «выразил живейшую радость».

Следователь, прокурор, защитник, позднее судьи старались разобраться в душе этого человека, но решительно ничего понять не могли. Кое-кто находил, что он совершил преступление из расчета: знал, что смертной казни в кантоне нет, и надеялся, что скоро произойдет мировая революция, — тогда его освободят (так оно, вероятно, и было бы, если б революция в Швейцарии произошла). Быть может, он думал и об этом, но серьезного расчета на карьеру тут все-таки быть не могло. В первые недели после ареста он, по-видимому, был счастлив: весь мир говорил о нем, только о нем. Было ненадолго забыто даже дело Дрейфуса, столь волновавшее людей в то невозвратное идиллическое время. В газетах печатались портреты Луккени, фотографии места преступления, планы улиц около гостиницы «Бо-Риваж», рисунки, изображавшие его шило. Следователь, прокурор, смотритель тюрьмы колебались, передавать ли ему многочисленные письма, которые приходили на его имя: по закону обязаны были передавать, но для колебаний были основания. Эти письма, обычно не подписанные, шли из Швейцарии, Италии, Англии, России, Соединенных Штатов,

Болгарии, Чехии, Румынии. Авторы восторженно называли Луккени героем, говорили, что человечество никогда его не забудет, что перед ним скоро широко растворятся двери тюрьмы.

Кто писал эти письма? Естественное предположение: анархисты. Но вряд ли это было так, и, во всяком случае, писали не только они. По случайности из Франции писем не было, между тем большая часть писем была на французском языке. Анархисты подвала иностранных языков обычно не знали. Анархисты бельэтажа были в отчаянии. Скорее всего, писали люди, принадлежавшие к тупой, зловредной породе снобов революции. Как и теперь, они не спешили ни на эшафот, ни в тюрьму; как и теперь, своих денег на революционные дела не давали или давали очень мало. Но отчего же было не послать Луккени восторженного письма без подписи? Этим можно было при случае и сегольнуть в надежном кругу.

Приходили на его имя в тюрьму и письма другого, хотя равноценного рода. Пришел огромный пакет, в нем было подписанное письмо — подписей даже было шестнадцать тысяч: «венские дамы и девицы» выражали пожелание, чтобы ему выкололи глаза, отрубили руки и ноги и лишь затем вонзили в сердце то самое шило, которым он убил императрицу, — «таково самое горячее желание дам и девиц Вены». Если зритель тюрьмы показал Луккени это письмо, то, вероятно, оно доставило ему не меньшее удовлетворение, чем письма поклонников.

Газеты ему, во всяком случае, доставлялись, и он ими упивался. Мир наконец узнал о Луиджи Луккени! Ему было почти все равно, что о нем писали, — лишь бы писали, писали много, писали каждый день. Однако только почти все равно: кое-что его задевало. Кто-то сказал, что он пошел на убийство вследствие своей нищеты. Он послал опровержение. Написал он из тюрьмы и президенту Швейцарской Конфедерации: просил судить его по законам, допускающим смертную казнь (должен был, впрочем, знать, что это невозможно и, следовательно, ничем не рисковал). Подписывал он свои письма: «Луиджи Луккени, убежденный анархист» или «Луиджи Луккени, опаснейший анархист». В одном из писем к княгине де Арагона он говорил: «Я никогда не был так доволен, как теперь» — и тут

говорил правду. Добавлял, что хотел бы быть приговоренным к смерти: «Тогда я с восторгом, не нуждаясь в помощи, взошел бы на ступени дорогой гильотины», — тут, быть может, правды не говорил.

На суде он разочаровал публику: ничего демонического не было. «Пламенной речи» он не произнес, но показания давал по-своему толковые. Заняв место на скамье подсудимых, приветливо улыбнулся фотографам, раскланялся с публикой, даже кому-то — быть может, всей публике — послал воздушный поцелуй и сказал: «Да, это я». Полностью подтвердил обвинение: «Да, с заранее обдуманном намерением...» «Нет, нисколько не раскаиваюсь...» В объяснение своего дела говорил, что «они» в течение тысячи девятист лет угнетали бедных людей, — считал себя христианином. Защитник выполнил свою задачу добросовестно; говорил, что если б императрица Елизавета была жива, то просила бы о помиловании Луккени. Суд приговорил его к пожизненному тюремному заключению. Он прокричал: «Да здравствует анархия! Смерть аристократам!»

После приговора он написал еще письмо князю де Арагона, хотя тот был аристократ. Очень вежливо его поблагодарил за данный суду добрый отзыв о нем. Князь в самом деле сообщил, что Луккени был в пору войны с Абиссинией лучшим солдатом его эскадрона, что он был превосходный кавалерист, что он отличался умом, был человек веселого характера и послушно исполнял приказы. Этот свидетель сделал еще более загадочным образ убийцы... Но кто же не знает, что «человеческая душа соткана из противоречий» и что особенно она из них «соткана» у людей, совершающих страшные преступления? В письме к князю де Арагона Луккени еще писал, что будет в тюрьме таким же образцовым заключенным, каким был на войне образцовым солдатом.

И действительно, он был если не образцовым, то хорошим заключенным, т. е. не причинял начальству особенного беспокойства. Однажды поругался или даже подрался с пьяным и грубым сторожем — объяснил, что терпеть не может грубости и пьянства и не потерпит неуважения к своему достоинству. Смотритель тюрьмы подверг взысканию и его, и сторожа. Этот первый, добрый, смотритель относился к Лукке-

ни хорошо, и времена были гуманные. Не худо его и кормили: газеты сообщили, что, как все заключенные, он получает в день 560 граммов хлеба, пол-литра кофе с молоком, литр супа, блюдо овощей, а по четвергам и воскресеньям еще по 250 граммов мяса. Быть может, на свободе он питался не лучше. Он мог работать в мастерских, мог читать книги, мог гулять по двору тюрьмы. Женщинами он и прежде, по-видимому, увлекался очень мало, друзей не имел. Собственно, тюрьма лишила его немногого. Тем не менее кара была ужасна. Никто не может знать, думал ли он об убитой им женщине, испытывал ли то, что принято называть угрызениями совести. Но он знал, что через несколько дней после суда мир навсегда о нем забыл совершенно. Газеты больше о нем не писали. «Слава» оказалась очень недолговечной. Мировая революция, обещанная в писаниях русского князя, все не приходила.

Через двенадцать лет, после какого-то нового столкновения со сторожем и со вторым, менее добрым, смотрителем, Луиджи Луккени повесился на своем поясе. Турецкий журналист, посетивший женевскую тюрьму, видел фотографию, снятую с него после его смерти. На его лице было «неподдающееся описанию выражение ужаса и страдания».

## I

Если муж готов был принять вину на себя, он приезжал с женщиной легкого поведения в эту гостиницу, расположенную в очень бедном квартале Лондона, и проводил там ночь. Старушка хозяйка очень неохотно согласилась на то, чтобы ее гостиница выдавала свидетельства, нужные для бракоразводных процессов; однако согласилась по совету старика, которого она называла управляющим и который сам себя — для самоуничтожения — называл швейцаром. Его все знали в околотке и любили, хотя он был иностранец и говорил по-американски, вдобавок с сильным акцентом, не то славянским, не то левантинским. Еще два-три года, и его стали бы называть «Dear old Max»<sup>1</sup>.

Хозяйка взяла его на службу после смерти мужа, в начале войны, когда немобилизованные мужчины были нарасхват. Вдобавок, он говорил на многих языках, а в гостинице часто останавливались бедные иностранцы. По наружности он напоминал актера, хорошо играющего роль Фальстафа в реалистическом театре. Было что-то жалкое и все же привлекательное в его бегающем беспокойном взгляде, в умных хитрых маленьких глазках, во всем его облике слишком много пьющего человека, знавшего лучшие времена. Он прятал обычно под стол свои нечищенные туфли со сбившимися даже под резинкой каблуками; костюм его был куплен три года тому назад на Ист Бродвей за 29 долларов 95, и брюкам не возвращало молодости подкладывание на ночь под матрац. Звали его Макс Норфольк. Услышав фамилию первого пэра Англии, англичане с недоумением улыбались. А он с вызовом в хриплом голосе говорил: «Yes, Sir! Почему же мне не называться Норфольком? Я выбрал эту фамилию при своей четвертой натурализации, на моей четвертой родине. Соединенные Штаты — свободная страна, не то

<sup>1</sup> «Дорогой старина Макс» (англ.).



что некоторые другие. Если б я хотел, я мог бы назвать себя Габсбургом, Романовым или Виндзором. Впрочем, Винзоры, Габсбурги и Романовы это тоже псевдонимы очень почтенных семейств, ганноверского, лотарингского, голштейн-готторпского, которым, как мне, было удобнее переменить фамилию. Yes, Sir!» Слова «Yes, Sir!» он почему-то употреблял постоянно, даже тогда, когда говорил с женщинами, и произносил их как-то особенно бодро, как бы с легким оттенком угрозы.

В гостинице наиболее тяжелую работу делала сама хозяйка, работавшая до восьми часов вечера как вол. Собственно, это была не гостиница, а плохие меблированные комнаты, которые Макс в разговорах называл именами знаменитых отелей. Сам он целый день проводил внизу за конторкой: не любил бегать вверх и вниз по лестнице. Счета же вел очень аккуратно. Имел много записных книжек, больших и малых, переплетенных и клеенчатых, и часто что-то писал до поздней ночи тупыми золочеными Оксфордскими перьями: говорил, что в Англии только и есть две хорошие вещи: эти перья и шотландское виски; все же остальное, от белой муки до герцогини Виндзорской, приходит из Соединенных Штатов. Хозяйка благоговела перед его умом и ученостью. Макс Норфольк перепробовал в жизни много профессий, видел весь свет и по вечерам часто читал толстые, страшные на вид книги.

Люди, приезжавшие для бракоразводных процессов, были выгодными клиентами, но хозяйка их ненавидела и предоставляла их Максусу. Сама она была замужем всего один раз, на выборах голосовала за консерваторов и очень одобряла то, что ко двору не допускаются разведенные женщины. Кроме того, она опасалась неприятностей с полицией. «Какой вздор! — сердито говорил ей Макс. — Что тут противозаконного? Есть в вашей дорогой старой стране закон о разводе? Есть. Глупый закон? Очень глупый. Но вы его сочинили? Нет, не вы. Так в чем же дело? Ваш «Ритц-Карлтон» выдает те свидетельства, которых требует идиотский закон». «Но, Макс», — пробовала возражать хозяйка. Ей чрезвычайно не нравилось, что он ругает законы Англии, однако он подавлял ее своей диалектикой и ученостью. «Никаких «но, Макс»! Помните, что теперь ваш «Уолдорф-Астория» прино-

сит 25 процентов на ваш капитал. Yes, Sir!» Так в самом деле выходило по его расчету. Впрочем, вложенный ею в дело капитал был настолько мал, что она еле могла жить и при 25 процентах. Сам он работал у нее только за стол и квартиру; дорабатывал немного редкими комиссионными делами. «Кроме того, я осенью покину дорожную старую страну, и после моего ухода вы можете устроить у себя хотя бы институт благородных девиц. Я давно открыл бы свою гостиницу на каком-нибудь красивом курорте, но я не люблю, чтобы природа занималась торговлей». Она тотчас умолкала. Знала, что честен и что на него можно положиться. Его недостатком, кроме иностранного происхождения, было лишь то, что он много пил; впрочем, пьяным напивался редко.

Если клиент, нуждавшийся в свидетельстве об адюльтере, не знал, как найти женщину, Макс, с насмешкой на него глядя, указывал ему, к кому обратиться. Денег за это никогда не брал и как-то наговорил грубостей, когда один клиент сунул ему на чай за совет. Макс давал в таких случаях указания только для того, чтобы помочь той или другой женщине в его околотке. Он их всех знал, и они его обожали. Когда у него заводились деньги, он давал им займы, но из принципа давал несколько меньше, чем они просили (зная это, они всегда запрашивали несколько больше). «Разве вы мне не верите, Макс?» — «Конечно, верю, — отвечал он, — Соединенные Штаты тоже — не знаю, впрочем, почему — верят Англии и Франции, но мы им всегда даем займы меньше, чем они просят: так велит вековая мудрость». Напоминал он о долге не скоро и то лишь если совсем не было денег на виски. Ему, впрочем, почти все отдавали долг честно. Он считался достопримечательностью околотки. Кто-то кому-то говорил, будто Макс в молодости был не то профессором, не то адвокатом.

Для мистера Чарльза Джонсона Макс устроил дело очень неохотно. Этот клиент с первого взгляда ему не понравился. Но как раз крайне нуждалась в деньгах Мэри, считавшаяся его любимицей. «Ах, Макс, у вас все они любимицы!» — с неудовольствием говорила хозяйка. «Нет, не все, а только очень хорошенькие», — отвечал он, польщенный.

— Ты будешь довольна, дуручка, — говорил он

Мэри накануне ее встречи с Джонсоном. — Пять фунтов! Он и не пробовал торговаться. Впрочем, я все равно не уступил бы ни одного пенни. Этот субъект принял меня в таком особняке, каких немного даже в Нью-Йорке! Лакей в дурацком костюме, ковры, статуи, есть и элеватор, — сказал Макс, ругавший англичан и за то, что у них пятиэтажные дома строятся без подъемных машин, которые вдобавок называются у них лифтами. — Он женится на дочери этого особняка. На стенах висят портреты предков, но ни о каких предках не может быть речи. Тесть этого дурака просто богатый фабрикант. Если у меня будет десять тысяч фунтов годового дохода, я повешу на стену портрет Генриха VIII и объявлю всем, что это мой прадед.

— Макс, у вас никогда не будет ни десяти тысяч, ни даже ста фунтов. Как только я получу с него деньги, я вам отдам весь свой долг, честное слово!

— Это очень приятно слышать, но, быть может, мне удастся сделать дело получше. Я ему продам для его невесты тот рубин, yes, Sir!

— Ах, как хорошо! Вы массу заработаете, Макс! Как я рада! Ведь это чудный камень и страшно дорогой. Так он согласился купить?

— Дурочка! Я ему еще о камне и не заикнулся.

— Почему же вы думаете, что он купит? — разочарованно спросила Мэри. Она знала, что старик — фантазер, и все-таки обычно ему верила. Макс Норфольк говорил много, бессвязно и часто непонятно, но всегда с необычайной уверенностью и авторитетом. Он недавно ей показывал этот драгоценный камень, который он продавал для какого-то польского графа, оказавшегося без денег в Лондоне. Ее восхищало, что польский граф верит Максу. Но этого она старику не говорила, зная, что он пришел бы в ярость.

— Надо же ему купить невесте подарок.

— А с кем он разводится?

— Вероятно, со своей первой женой или, во всяком случае, с последней. Я сам был женат три раза, не считая полужен, будь вы все прокляты, — сказал Макс, впрочем, без всякой злобы. — Но едва ли она бросила его. Он просто красавчик и одевается, как мистер Иден или Семнер Уэллес. Смотри, не влюбись.

— Да ведь вы сказали, что ему нужна не я, а свидетельство.

— Они часто и врут: начинается с фиктивного адюльтера, а потом они за свои деньги хотят получить настоящий адюльтер. Помни, что всех мужчин надо повесить.

— А женщин, Макс?

— Женщин надо колесовать. Помни же, что я с ним говорил только о свидетельстве. Ни о чем другом думать не смей!

— А какое вам, Макс, дело?

— Мне совершенно все равно!

— Вы только скажите, он совсем дурак?

— Кажется, совсем... Я пошутил, конечно: ему от тебя ничего, кроме свидетельства, не нужно. За этого господина можно поручиться.

## II

Мистер Джонсон действительно сказал: «Надеюсь, вы меня поняли: я с ней исполню лишь простую формальность». Он все время морщился во время их разговора. Макс медленно закрыл глаза, подчеркивая, что не может и не хочет вмешиваться в чужие интимные дела. Однако он не удержался от того, чтобы не подразнить клиента: почему-то его раздражал этот молодой красивый человек, похожий на Роберта Тейлора.

— Она совсем простая, необразованная девушка, но честная, сэр, — сказал Макс тоном *простодушного старика*. Он был по природе комедиант и постоянно менял роли без всякой видимой причины. — Обидеть ее большой грех, и цена, могу вас уверить, не слишком высокая, сэр.

— Хорошо, хорошо, — сказал мистер Джонсон, краснея. Он очень легко краснел. — Значит, завтра в входа в десять часов вечера.

В этот день в доме фабриканта был небольшой обед, на восемь человек друзей, без смокингов, но с шампанским. Была тихая уютная скука — не та, что именно своей чрезмерностью вызывает у гостей радостное раздражение, а вполне выносимая достойная скука, при которой гости не переглядываются в злобном восторге, а скрывают зевоту, стараются поддер-

живать разговор, выйдя же из дому, благодушно говорят: «Нет, они все-таки очень милые люди».

Хозяина дома шутливо называли «сэр Эдмунд». Он не был ни баронетом, ни knight'ом, но в 1945 году, незадолго до выборов, пожертвовал немалую сумму на избирательную кампанию консервативной партии; были негласные разговоры и могли быть разумные надежды. Однако к власти неожиданно пришли социалисты. После этой неудачи прозвище ему дали с иронией недоброжелатели. Тем не менее и недоброжелателям было ясно, что по взглядам, по привычкам, по связям, по наружности нельзя было бы на заказ изготовить лучшего сэра Эдмунда. У него и вид был такой, точно он сейчас вынет табакерку с портретом какого-либо короля и угостит собеседника табаком. Вдобавок фамилия его была Грей, и это тоже очень подходило к дворянству, хотя он не имел ничего общего ни с казненной королевой XVI столетия, ни с государственными людьми этого имени.

Близкие друзья знали, что забавная формальность назначена на этот вечер. Говорить на эту тему, разумеется, не приходилось, но она создавала шутливое настроение. Вдобавок, всех веселило, что дочь Грея выходит замуж за социалиста. А так как шутить за обедом было необходимо, то шутили преимущественно о действиях правительства. Джонсона саркастически спрашивали, совершенно ли он уверен в том, что мистер Шинуэлл и мистер Стрэчи умнее Черчилля. Хозяин дома ворчал, что они все окончат дни в убежище для неимущих. Был за обедом очень важный по своему имени и богатству гость. Он тоже принадлежал к числу друзей, хотя и не самых близких. Говорили с ним все-таки не совсем так, как с другими. Он принимал это как должное или, вернее, так к этому привык, что этого не замечал. Как должное это принимали и другие.

О еде разговаривали немного меньше обычного: надоело каждый день слушать, как трудно все доставать. Вдобавок подавали индейку, — правда, из-за недостаточного количества искусно нарезанную на ломтики поджаренного хлеба; вина были прекрасные, сервировка, фарфор, серебро не оставляли желать ничего лучшего, как если бы не было войн и социальных перемен, как если бы Англией и теперь правил

какой-нибудь маркиз Солсбери или другой из самых лучших лордов XIX века. Два гостя несколько щеголяли тем, что на них были перелицованные костюмы, с боковыми карманами с правой стороны; вид их точно говорил: «Да, да, мы из-за этих господ в правительстве верно окончим дни в убежище для неимущих, но мы это переносим благодушно и весело, как полагается английским джентльменам...»

Джонсон приехал на обед как будто в самом лучшем настроении духа. Невеста, уже хорошо его знавшая, поглядывала на него с тревогой. Она знала, как его тяготит назначенная на этот вечер формальность, и его веселье показалось ей неестественным. Действительно, через полчаса у него настроение переменялось. Ему показалось, что Кэтрин говорит одну банальность за другой, что она почтительнее, чем нужно, обращается к старому лорду и слишком долго смеялась после какого-то его шуточного замечания. Лицо у него чуть дернулось. Она знала, что это у него изредка бывает, и испуганно на него взглянула. Он заметил ее взгляд, но сделал вид, будто не заметил. Вид, тон, шутки гостей очень его раздражали. Он думал, что теперь уже легко заказать себе новый костюм, а если и ходишь в старом, то в этом решительно никакой заслуги нет, и что в мире теперь есть бесконечное число людей, которые никак не могут умиляться над страданиями и лишениями англичан. Сначала он тоже отшучивался и иронически советовал гостям возложить надежды на сэра Освальда Мосли, но сам думал, что отшучивается неостроумно, что, вероятно, то же самое говорят, оказавшись в обществе консерваторов, и Эттли, и Бевин, и все вообще социалисты: его отшучивание уже было почти так же респектабельно, как их насмешки над социализмом. Для серьезного политического спора эти люди слишком ничтожны. Старый лорд сказал что-то неодобрительное о новой молодежи. Хотя Джонсон, по существу, был с ним в этом согласен или именно потому, что он с ним был согласен, он чуть не наговорил старику дерзостей: не наговорил потому, что сказать дерзость этому гостю в доме Греев было бы так же невозможно, как, например, плюнуть на ковер или швырнуть тарелкой в лакея. Он сказал себе, что этот гость просто забавная принадлежность обихода, столь же ненужная теперь,

как гусиные перья или песок для засыпания чернил: сердиться на него так же нелепо, как сердиться на муху. За кофе все заявили, что давно так не обедали, Кэтрин это отрицала и говорила, что, верно, все остались голодны, а он мрачно думал, что за два часа не услышал (и не сказал) ни одного хоть сколько-нибудь не банального слова и что впереди ему предстоит тысячи таких обедов. Думал также, что у госпожи де Сталь в Коппе запрещалось говорить о еде и делах. Вставая из-за стола, Кэтрин робко ему улыбнулась. Он ответил улыбкой, которую неудачно пытался сделать нежной, в сотый раз себе сказал, что, кажется, не влюблен в нее, и тут же выругал себя идиотом и негодяем: во-первых, надо знать не «кажется», а наверное; во-вторых же, если не влюблен, то не делай вид, что влюблен, и не женись.

Он вышел из очень небогатой семьи и в детстве даже знал нужду, хотя и не очень тяжелую. Позднее материальное положение его родителей улучшилось; он получил образование в хорошей школе и в Оксфордском университете. Студенческое время было лучшим в его жизни: выбор факультета сделан, о другом можно пока не думать, все временно и вполне определено. Надо было блестяще сдавать экзамены, и он сдавал их одним из первых, так как обладал хорошей памятью и занимался добросовестно. Надо было приобрести имя среди товарищей, и он стал душой кружка. Его не очень любили за высокомерие и некоторые странности, говорили, что он начинен честолюбием, как бомба взрывчатыми веществами, но связывали с ним немалые надежды и считали будущей знаменитостью, хотя и не знали, в какой именно области. Спортом он занимался только в первый год, с немалым успехом, получил почетное место в какой-то команде — и бросил спорт. Большую часть времени он проводил в библиотеке, где читал преимущественно книги, даже понаслышке неизвестные большинству его товарищей. По взглядам он был социалистом, принадлежал к левому крылу рабочей партии и голосовал за резолюцию, по которой студенты заранее отказывались участвовать в войне, тогда еще маловероятной.

Разумеется, он, как и все, забыл об этой резолюции в тот самый день, когда война началась. Жизнь в казарме была ему противна грязью и обществом про-

стых, невежественных людей, тех самых, которых он в теории так любил. В военной школе было тоже грязновато и, пожалуй, еще более скучно. Он вел себя образцово, как и на фронте по выходе из школы. Цель там была еще более определенная: во всяком случае, исполнить свой долг и, если можно, сохранить жизнь. Он был два раза ранен, считался превосходным офицером и получил соответственные чины и ордена. По наступлении мира он поступил на службу в одно из важных министерств, создал себе прекрасную репутацию, получал хорошее жалованье. Правда, при отсутствии состояния его заработка хватало лишь в обрез, и он нередко думал, что следовало бы сократить расходы. Но экономию, да и то не очень большую, можно было сделать разве только на покупке книг, которые он страстно любил (начал их собирать с детских лет).

Его служебным успехам, кроме ума и образования, способствовали красивая наружность и умение хорошо одеваться. Все шло к его высокой стройной фигуре. Хотя ему было и совестно, он иногда заглядывал в журнал мужских мод и присматривался к тому, как одеваются знаменитые кинематографические артисты. С выправкой, приобретенной на фронте, он казался гвардейским офицером, прекрасно носящим штатское платье. Один из его товарищей полушутливо говорил о нем, что он — живое опровержение учения о синей крови: «Чарли — внук слесаря, всегда это подчеркивает, причем обычно вспыхивает, — но наружность у него такая, что кинематографический режиссер должен был бы нанять его для сцены бала во дворце Георга IV».

Все же со времени поступления на службу прежней ясности в его жизни больше не было. Необходимая выслуга лет была препятствием для чрезмерно быстрых успехов. Конечно, успехи у него были. Он имел связи с высшей интеллигенцией Лондона, без затруднений, при первой же баллотировке прошел в передовой клуб, считавшийся преддверием в «Атенеум» (для «Атенеума» он еще был слишком молод). Признавалось весьма вероятным, что рабочая партия, в которой он состоял с университетского времени, выставит его кандидатуру в парламент (сам он желал до того приобрести полную материальную независимость). Тем не менее он часто тяготился жизнью, с восторгом читал



Ларошфуко, Шамфора, Шопенгауэра и почему-то, с карандашом в руке, изучал книги по психоанализу, особенно после того, как они стали выходить из моды.

Его иногда, особенно прежде, занимал вопрос о полном отсутствии связи между убеждениями современного человека и его жизнью или, точнее, его образом жизни. Он отлично знал, что этот вопрос стар как мир; но ему казалось, будто ни в какую эпоху он не стоял перед людьми так остро, как в XX столетии, в особенности же у передовой интеллигенции. Средневековый рыцарь, придворный Людовика XIV, любой офицер, «сэр Эдмунд» жили в полном соответствии со своим кодексом чести. Правда, они исповедовали религию, которая в своих далеких истоках запрещала многое из того, что они делали. Однако в форме, позднее твердо разработанной и освященной тысячелетней традицией, религия не запрещала им жить так, как они жили, и их связь с ней была довольно тесной. Они исполняли ее обряды и твердо в них верили. «Между тем я жил бы точно так же, как живу, если бы был не социалистом, а консерватором. Наши вожди, когда они приходят к власти, всего меньше руководятся социалистическими теориями, а всего больше соображениями практическими и в особенности электоральными, да еще, в лучшем случае, тем условным понятием джентльменства, которое выработала старая, консервативная, аристократическая Англия и которое молчаливо и безоговорочно приняла Англия новая и социалистическая. Мы считаемся революционерами, но принципы нашей частной жизни нам дали никак не чартисты и не фабианцы, не говоря уж об иностранных социалистах, а скорее лорд Честерфилд и доктор Арнольд, эти, впрочем, как люди, были, каждый по своему, еще скучнее фабианцев...»

В отроческом возрасте он, как все, мечтал о славе полководца, затем ее в его грезах почти незаметно вытеснила слава революционера; самым обольстительным даже стало сочетание этих обеих слав, как у Кромвеля или Карно (Троцкий, гремевший в дни его юности, не нравился ему своим физическим обликом). Следы юношеских мечтаний, к собственному его удивлению, еще и теперь у него оставались в том, что в двадцатом веке стали называть «подсознательным». Так, недавно ему снился штурм Английского банка.

Этим штурмом руководил он. Но в момент, когда они с револьверами и ручными пулеметами ворвались в знаменитое здание, к ним из кабинета вышел с очень неодобрительным видом знакомый директор отдела и сказал: «Разве вы не знаете, Чарли, что Английский банк давно национализован?» На следующий день он встретил этого директора в столовой клуба и хотел было ему шутливо рассказать свой сон, но не расказал: подумал, что директору и сон такой может не очень понравиться.

Мечты его всю жизнь оставались беспорядочными. Он смутно мечтал о том, что станет теоретиком революции, как Маркс, диктатором без террора (не мог придумать, как *кто*), народным трибуном, как Парнелл, мирным реформатором, как Роберт Оуэн, передовым писателем, как Бернард Шоу. Но все это никак не соприкасалось с жизнью. Профессий революционера и диктатора в Англии не существовало. Для того чтобы стать народным трибуном, нужно было сначала пройти в парламент, а это требовало довольно долгого пребывания в партии; к тому же он чувствовал, что органически неспособен на митингах выкрикивать общие места диким голосом, каким никогда не говорят люди, и с таким видом, точно преподносишь слушателям откровение. Социальным реформатором Роберт Оуэн мог стать только потому, что был богатым фабрикантом: не имея заводов нельзя было их отдать рабочим; вдобавок из письма Маколея мистер Джонсон с досадой узнал, что в обществе Оуэн считался надоедливым болтуном и что от него все убегали. Литературного же таланта у Джонсона не оказалось: два журнала вернули ему статьи.

Эта первая серьезная неудача в жизни его поразила не сама по себе, а теми выводами, которые он из нее сделал. Он говорил себе, что ему свойственна лишь общая одаренность без какого бы то ни было определенного дара — черта, неизбежно ведущая к дилетантизму невысокого уровня. Отсутствие таланта можно было бы перенести, если бы честолюбие не было в нем так сильно. Легко было бы обойтись без таланта, если бы он очень любил жизнь и ее радости. Но этого не было. Напротив, он часто замечал, что спорт, развлечения, дорогие рестораны, хорошее вино доставляют ему много меньше простого

непосредственного удовольствия, чем они доставляли его товарищам.

Всех удивила его женитьба. Он женился на малообразованной, хорошенькой, но и не очень красивой женщине из низкого круга, в сущности, на первой встречной. Недоброжелатели говорили, что Чарли и женитьбой хотел удивить людей, и действительно удивил на один день — для этого не стоило портить себе жизнь. Женитьба доставила ему много горя. После того как он разошелся с женой, у него бывали увлечения, но при полной искренности с собой, находившей на него чаще, чем на других людей, он говорил себе, что и это доставляет ему много меньше счастья, чем, очевидно, другим; служба, честолюбие, умственные и политические интересы занимали в его жизни больше места, чем любовь.

Дом Греев был первым богатым домом, где он стал бывать запросто. Нелюбовь к богатым людям и к аристократам была в нем еще сильна — или, по крайней мере, так ему казалось. Он слышал о «сэре Эдмунде» и собирался насмеяться. Однако, к его удивлению, насмеяться оказалось почти не над чем: старик не походил на богачей из обличительной литературы, даже из лучшей, как романы Драйзера или Эптона Синклера. «Сэр Эдмунд» был оряшичен и невежествен, но он не был ни бесчестен, ни груб, ни заносчив, не походил на сноба или на parvenu, не хвастал своим богатством и даже не «утопал в роскоши». Скептики, правда, улыбались, когда он говорил, что социалистическое правительство лишило его 90 процентов дохода. «Да, если считать, дорогой друг, что ваш доход состоит из 150 процентов: это математическое чудо вообще свойственно доходам богатых людей», — сказал ему кто-то после пятого коктейля. Но позднее Джонсон узнал, что доход старика не превышает семи или восьми тысяч фунтов и что из них он отдает седьмую или восьмую часть на общественные дела, — правда, не на те, на которые седьмую или восьмую часть своего дохода отдавал сам Джонсон. Как и он, старик ничего не откладывал и больше не богател. Еще удивительнее было то, что «сэр Эдмунд» так же не мог бы уменьшить свои расходы, как не мог уменьшить расходов он сам. Штат прислуги у Греев был давно сокращен с семи человек до четырех; чтобы еще со-

кратить его, надо было бы продать дом и купить другой, меньший; и то и другое теперь было невозможно: больших домов никто не покупал, а малых не было. Нельзя было отказаться от шофера, так как старик не умел и не мог править автомобилем. Нельзя было не ездить на курорты, так как туда посылали врачи. «Да, в сущности, понятие богатства очень условно. С точки зрения рабочего, я богач. А может быть, герцогу Вестминстерскому не хватает денег», — думал он с усмешкой. И он невольно думал, что как человек «сэр Эдмунд» все же гораздо привлекательнее, чем некоторые из его молодых товарищей по партии. У них из души, из мыслей, реже из слов, так и выпирала одна, зато жгучая, страсть: во что бы то ни стало выйти в люди, добиться положения в обществе и особенно разбогатеть. Он думал, что таковы после войны бесчисленные молодые люди и в другом кругу. Особенно это было сильно во Франции, где он часто бывал и где молодежь иногда об этом говорила вполне откровенно. Эти молодые люди были ему неприятны и порою противны потому, что в какой-то, хотя и очень небольшой мере, напоминали ему его самого.

Бывал он у старика все чаще. Почему-то он всем понравился в этом доме. Ему же самому была непривычна, забавна и приятна роль революционера или даже «революционного фанатика» в консервативном кругу. «Во всяком случае, через этот опыт надо пройти, — говорил он себе вначале, — надо видеть все слои Англии, человеку и в особенности политическому деятелю необходим разнообразный опыт...» Он читал советские романы и старался ими восхищаться, но они были ему скучны прежде всего крайним однообразием и скудостью описывавшейся в них жизни.

Дочь Грея ему понравилась с первого же дня. Он себя спрашивал: было ли то, что французы называют *coup de foudre*<sup>1</sup>? Нет, *coup de foudre* как будто не было. Но она была хороша собой и привлекательна. Ему давно хотелось жениться, иметь детей, иметь дом. Подкупало его и ее высокое мнение о нем: она всем говорила, что он на редкость красив, умен, образован.

Адвокат, который вел его бракоразводный процесс, давно со вздохом советовал ему фиктивный адюльтер.

---

<sup>1</sup> Любовь с первого взгляда (*фр.*).

В благополучном исходе процесса не могло быть никаких сомнений. Объяснение с Кэтрин вышло само собой. Затем был разговор с ее отцом. Старик выслушал его без восторга, но и без неодобрения. Сначала был, правда, изумлен, но потом говорил о необходимой формальности благодушно-снисходительно. Кэтрин краснела — в подробности дела ее, впрочем, не посвящали. Кто-то указал на Макса Норфолька. Приятели веселились: «Надо же было, чтобы это потребовалось именно такому человеку, как Чарли! Он, вероятно, за всю свою жизнь не знал ни одной проститутки!» Приятели уважали его, но считали гордецом и невзрастеником.

### III

Он поехал туда по подземной дороге — ехать в такое место на автомобиле ему казалось неловким. От волнения выехал немного раньше, чем было нужно. Выйдя из станции, хотел закурить, ветер гасил зажигалку. Вечер был тоскливый и холодный. Мистер Джонсон обернул шею синим шелковым шарфом, осмотрелся и пошел к гостинице. Он любил Лондон и гордился тем, что хорошо его знает. Но его жизнь протекала в кварталах, в которых происходит действие романов Голсуорси и из которых, быть может, еще не выдохся дух миссис Хемфри Уорд. Здесь же ему чудился Лондон Роуландсона или даже Джона Стоу. Никто, однако, тут не играл на шарманке, не пахло жареной рыбой, лавки старьевщиков давно были закрыты, не видно было ни китайцев, ни негров, «страшные лондонские доки» были далеко. Он не находил ничего страшного ни в доках, ни в этой части города, и ничего тут не было от бутафории бара Чарли Брауна, ни от парижской *gare de Venise*. Было просто скучно, необычайно скучно, невообразимо скучно от одинаковых бедных домов, одинаковых бедных улиц, одинаковых бедных людей, живущих неизвестно зачем — только потому, что они родились. «В этой скуке есть что-то метафизическое, — нерешительно сказал он себе. — Нет, и метафизического ничего нет». Из кабака доносился гул голосов, две женщины прошли под ручку, с любопытством на него поглядывая. За ними шел подозрительного вида человек в порванном пальто с поднятым воротником. «По-

лагалось бы, чтобы мне стало *жутко*. Но вон там стоит полицейский...» Жутко не было, однако он не чувствовал бы себя более чужим и одиноким, чем если бы оказался в Чикаго или в Мельбурне.

Против подъезда гостиницы, как было условлено, его ждала та женщина. Она нерешительно сделала два шага ему навстречу: он или не он? Джонсон почти не взглянул на нее (да и было полутемно), невнятно проворкотал несколько слов, крепко пожал ей руку и подумал, что точно вознаграждает ее за что-то этим рукопожатием или свидетельствует о братстве людей — всех людей, даже таких, как она. «Есть в этом нечто не только нехристианское и недемократическое, но и просто неприличное», — подумал он, и лицо его слегка дернулось.

— Ведь это, кажется, здесь? — особенно любезно, с приветливой улыбкой, спросил он и пропустил ее в дверь. В гостинице был «холл», небольшая комната с камином, над которым висел портрет лорда Китченера. У камина, по сторонам от небольшого стола, стояли два помятых кожаных кресла. В глубине за перекладиной сидел у конторки Макс Норфольк. Он встал и вежливо наклонил голову с таким видом, точно никогда этих людей не встречал.

— Добрый вечер. Вам угодно комнату?

— Да, — ответил мистер Джонсон, удивленно на него глядя. Макс с озабоченным видом перелистал узкую переплетенную тетрадь.

— Есть одна. Номер 5. Вы на несколько дней?

— Нет, на одну ночь, — ответил Джонсон и с недоумением оглянулся на женщину. Она остановила его внимание красотой и приятным выражением лица. Он поспешно отвернулся к старику. Тот назвал цену комнаты и сказал, что цена по неделям была бы другая. «Не может же быть, чтобы он не узнал меня. Да ведь и ее он знает», — подумал Джонсон.

— Да, хорошо.

— Благovolите заполнить, — сказал Макс, протягивая листок. Джонсон вынул самопишущее перо и стал заполнять бланк. Женщина с веселой усмешкой смотрела то на старика, то на него. Ей понравились его пальто, синий шарф и особенно мягкая шляпа, согнутая не совсем так, как у других людей. Макс невозмутимо, с легким полупоклоном, подал ей вто-

рой листок и придвинул длинную чернильницу с лежащим в лодочке новеньким золоченым пером. Она сунула перо в рот и, смочив его слюной, опустила в чернила. Джонсон, отдав свой формуляр, смотрел на нее сбоку. «В самом деле очень хороша собой. Совсем девочка!» — подумал он. На вид ей было лет восемнадцать. Она писала медленно, скосив голову и чуть раскрыв рот. Кончив, положила перо и провела по бювару пальцем. На промокательной бумаге, к неудовольствию Макса, осталось чернильное пятно.

— Какое у вас хорошее перо, Макс! И чернил как раз столько, сколько нужно. А у меня всегда или муха на дне чернильницы, или она так полна, что я делаю кляксы, — сказала Мэри старику и усмехнулась, увидев его недоумевающий, изумленный взгляд. Он взял с гвоздя доски ключ и вышел из-за перекладины. «Это в первом этаже», — сказал он и повел их вверх по лестнице, крытой потертым прорванным ковром. В коридоре он зажег маленькую лампочку на потолке. Все было убого и грязновато. Они вошли в маленькую комнату с широкой кроватью, с креслом, стулом, с шкафом, в котором от шагов тотчас распахнулись дверцы.

— Утренний завтрак вам может быть подан с семи часов утра. В комнате прохладно, но завтра утром мы поставим переносную печь, — сказал Макс, затворяя дверцы шкафа. «Что он, издевается надо мной, что ли?» — раздраженно подумал Джонсон. Женщина все так же лукаво на них смотрела, видимо, еле удерживаясь от смеха. — Больше вам ничего не нужно? Доброй ночи.

Он поклонился и вышел. Джонсон, что-то пробормотав женщине, вышел за ним и нагнал его в коридоре. Старик повернулся к нему с улыбкой; он, видимо, хотел сделать ее приятной, но в глазах у него скользила злорада.

— Ну вот, все сделано, что нужно, — сказал он.

— Послушайте, — сказал сухо Джонсон. — Я думаю, что формальности могли бы быть сокращены. Вы записали, что мы с ней вместе приехали, вы отвели нам комнату, я думаю, что мы уже могли бы разъехаться по домам?

— К сожалению, это невозможно, — ответил Макс. Лицо у него, однако, тотчас смягчилось. — Мы ложных свидетельств не выдаем. Гостиница должна

удостоверить, что вы провели здесь ночь? Для этого вы должны провести здесь ночь.

— Но ведь закону нужна лишь формальность.

— Я не могу входить в намерения британского законодателя. Вы должны пробыть здесь до утра. Однако я не обязан следить за тем, что делают ночью наши жильцы. До двенадцати я сижу в холле. Если вы пожелаете спуститься и погреться у камина, буду очень рад. Потом я поднимаюсь к себе, а вы можете поступить как угодно. Кресло в холле, левое, очень покойно... Это ваше дело... Завтра утром я напишу свидетельство. — Он усмехнулся. — Я понимаю, что вам разговаривать с Мэри скучновато. Не хотите ли угостить ее виски? Патента у нас нет, но закон не запрещает мне в частном порядке угощать знакомых. В счет мы виски не включим... Я сейчас принесу бутылку. Было бы хорошо, если бы вы все-таки с ней немного посидели, зачем ее обижать? Впрочем, это не мое дело.

— Я заказал этому комедианту виски, — сказал Джонсон, вернувшись в номер. Мэри уже сняла шубку и сидела в кресле, потирая руки. На ней было довольно нарядное платье, к его удивлению, черное и совершенно приличное. Он думал, что на проститутках всегда «вызывающие туалеты». «Очень милое лицо. Правда, в ней есть что-то боттичеллиевское!.. Вероятно, она только недавно этим занимается. Может быть, еще не успела и заболеть... Как же с ней разговаривать и о чем?..» Он знал проституток почти исключительно по рассказам товарищей в юности, затем по «Воскресению Толстого и по «Twenty Thousand Streets under the Sky» Патрика Гамильтона. Обе эти книги произвели на него сильное впечатление. Его товарищи, по-видимому, говорили с такими женщинами в весело-скабрезном, чуть циничном тоне. Он так говорить не умел и не желал. — Очень холодный вечер, правда? Я выпью виски с удовольствием. Вы пьете?

— Конечно, пью, — сказала она. «Почему «конечно»?» — подумал он. В его уме мелькнули обрывки готовых слов: «забитость», «покорность судьбе», «жертва общественного строя»... Однако ничего такого он в ней не видел. Она улыбнулась ему профессиональной улыбкой.

— Может быть, вы хотели бы и закусить? Но я не знаю, что можно было бы получить в этой трущобе, —



сказал он поспешно и с досадой подумал, что слова вышли бестактные: «Ей, после ее конуры, эта трущоба, быть может, кажется дворцом».

— Нет, я не хочу есть... Что, мне раздеться? — спросила она очень простым деловым тоном. Он густо покраснел.

— Нет, что вы! Старик сейчас принесет виски, — сказал он и смутился еще больше от глупого и обидного «что вы» и от того, что сослался на старика, точно просил ее подождать, пока старик уйдет снова. — Я... Ведь он вас предупредил, что это пустая формальность?..

— Да, он меня предупредил, — вяло ответила она. Ему показалось, будто она сердится. — Что же мы будем делать?

— Я потом выйду в холл, а вы можете лечь. — Он чуть было не предложил ей газету, у него в пальто был «Стар». Каждое сказанное им слово казалось ему глупым, неуместным, безнравственным.

В дверь постучали. Макс вошел с подносом.

— Очень хорошее виски, — сказал он. — У меня эта бутылка последняя.

— Не хотите ли выпить с нами?

— Охотно, благодарю вас. Тогда, если разрешите, я воспользуюсь этим кубком Бенвенуто Челлини, — сказал Макс и взял матовый стакан с дощечки над умывальником.

— Он старый пьяница, — вставила Мэри. — Мне без соды, Макс.

— Много не пей, дурочка, — сказал старик, очевидно, уже забывший о своей роли незнакомого человека. Он разлил виски по стаканам, выразил сожаление, что в комнате холодно, выругал рабочее правительство и поговорил о погоде. Затем поднялся, теперь с видом гостя, оставляющего молодоженов после свадьбы. — Завтра в семь часов вам подадут завтрак... Виски вам оставить, правда? Вы завтра скажете мне, сколько было рюмок.

#### IV

— Очень забавный старик, — сказал Джонсон. — Вы давно его знаете?

— Макса? Уже год или больше. Он страшно умный

и все знает! Кем только он не был! В Америке он даже был профессором!

— Зачем же он работает в этой гостинице?

— Он такой человек. Он не может долго жить на одном месте. Теперь он хочет уехать на юг Франции, потому что ему нужно солнце. На юге Франции солнце днем и ночью. И он очень добрый, только надо всем насмехается, а я этого не люблю.

— Я тоже не люблю... Вы курите? — спросил Джонсон, вынимая портсигар. «А у нее тоже какой-то иностранный акцент, очень легкий», — подумал он почему-то с облегчением.

— Конечно, курю.

— Много?

— Прежде выкуривала по тридцать—сорок в день, а теперь это мне дорого. Проклятое правительство со своим бюджетом! — сказала она, видимо, щеголяя своим замечанием и особенно словом «бюджет». Он вспомнил, что за обедом то же правительство за те же папиросы ругали люди, имеющие по несколько тысяч фунтов годового дохода. Он поднес ей зажигалку, Мэри наклонила голову. Неожиданно он почувствовал, что очень хочет поцеловать ее. Это так его испугало, что он поспешно отодвинулся.

— Хотите еще виски? — не совсем естественным голосом спросил он.

— Конечно, хочу, — ответила она. По губам у нее скользнула улыбка, точно она прекрасно его поняла. Он залпом выпил полный бокал.

— Вам, должно быть, трудно живется? Вероятно, вы мало зарабатываете?

— Мало? Почему мало? — обиженно спросила она. — Я зарабатываю больше всех, кого угодно спросите! Бывает, конечно, что попадешь на жулика. Их много, где я работаю.

— Разве вы работаете? — радостно спросил он. Она удивленно на него посмотрела.

— А то как же? Я прежде работала на Пиккадилли, но там конкуренция слишком велика, — сказала она, опять щеголяя умным словом. Ей вдруг стало ясно, кто он такой: он был из тех тяжелых скучных людей, которые *потом* расспрашивают и советуют начать новую жизнь; она их терпеть не могла; однако этот ей

нравился, хотя был, очевидно, глуп и скучен. — Теперь я работаю в этом районе.

— Не думаете ли вы, что было бы лучше работать по-настоящему? Прежде была безработица, но теперь ее, к счастью, нет.

— Это пойти на завод? Нет, я там уже работала. Там хуже. Конечно, кое-что там хорошо, но зарплата меньше. И главное, я люблю свободу.

— Что вы делаете в свободное время? Читаете?

— Да, бывает, читаю.

— Газеты?

— Иногда и газеты, если есть что-нибудь интересное.

— Что вы называете интересным?

— Ну вот! То, что все. Когда Джо Луис дерется, я просто с ума схожу, хотя он негр. Негры такие же люди, как мы, но я их терпеть не могу.

— Вы не англичанка, правда?

— Конечно, англичанка. Меня сюда привезли давно, мне было десять лет... Вот вы спрашиваете, что интересного в газетах. Вдруг, например, начнется война! Надо же знать.

— Какая война! Никто больше воевать не хочет и не может, Россия всех меньше, — сказал он, и эти слова, которые он, как все, произносил каждый день, своей привычностью подействовали на него успокоительно. Он налил еще виски ей и себе.

— Я тоже думаю, но говорят, Россия может. Большевики страшно сильные, они еще всем набьют морду! — не без радости сказала она. «В этом есть что-то от Юлиуса Штрейхера, который в Нюрнберге перед виселицей закричал: «Большевики вас всех перевешают!» — подумал он.

— И книги читаете?

— И книги читаю, — подавляя из вежливости зевок, ответила она.

— Романы? — спросил он и опять удивился глупости своих слов. «Не Спинозу же ей читать...»

— Да, романы, — сказала она и забежала вперед, зная, что все люди этого рода, те, которые *потом* советуют поступить на службу, всегда задают одни и те же вопросы. — Недавно я читала «Три мушкетера», это один француз написал. Мне Макс взял в своей библиотеке. Он записан в библиотеку!.. Вы читали?

— Читал.

— Какая она злая, эта миледи! Но и они тоже хороши! Разве этот граф смел ее вешать за то, что она клейменная? Кто ее погубил? Они. А умная она, правда? Про герцога Букингемского я еще и в другой книжке читала. Он нарочно велел плохо пришивать пуговицы к своему пиджаку, громадные бриллиантовые пуговицы! Оторвется — поднимай, твое счастье!

— Ему было легко так делать: он грабил английский народ.

— Ну вот! — возмущенно сказала она. — Герцог, да еще такой, и поидеи грабить! И еще я читала книгу про одну французенку, она стала любовницей короля, жила на всем готовом в замке, имела больше ста человек прислуги! А что ей король денег передал! Отличная книга, я забыла название. Я много читаю, но всего не запомнишь. Как они это умеют, французы!

«Все-таки нельзя же так долго разговаривать», — подумал он. Тем не менее спустаться вниз ему не хотелось.

— Давайте выпьем еще?.. Вот так, отлично. За ваше здоровье... Вам еще не хочется спать?

— Нет. А вам хочется? — спросила она опять обиженным тоном.

— Я немного устал, и голова болит, — солгал он. — Вы долго служили на заводе?

— Полтора года.

— К вам там плохо относились?

— Почему плохо? Очень хорошо! Да я и никому не позволяю плохо ко мне относиться, теперь не те времена!

— Отчего же вы ушли?

— Скучно было, всегда одно и то же... Я вот так ручку вертела, — показала она рукой, в которой держала стакан. Немного виски пролилось. Она засмеялась. — Ах, будет пятно на платье! Дайте мне ваш носовой платок, если вам не жалко, сотру... Ну хорошо, сотрите сами... Так, спасибо... Не довольно ли? Уже сухо... Правда, хорошее платье?

— Очень хорошее, — сказал он не совсем внятно и закурил папиросу.

— Ну вот, сам закурил, а мне пожалел папиросу!.. То-то... Меня один американский офицер угощал их-

ними папиросами, ах, какие хорошие и дорогие! О чем вы еще спрашивали? Такой любопытный!

— Вы сказали, скучно. Но теперь на заводах много делается для рабочих, есть школы, лекции.

— Ну вот! Что ж, мне было ходить в школу? У нас хозяин устроил и бесплатную больницу. Что ж, мне было здоровой лечь в больницу!

— Кто был ваш хозяин?

— Грей. Страшно богатый старик. У него миллион фунтов! — сказала она с гордостью. Он вынул папиросу изо рта.

— Какой Грей?

— Я не знаю «какой». Такой важный старик. Я его видела, вот как вижу вас! Он приезжал на завод и зашел в нашу мастерскую. Страшный богач! И хороший человек, все говорят.

— А где этот завод? — спросил он. Она назвала место. Он сунул в пепельницу недокуренную папиросу, придавил ее, затем выпил еще виски. Лицо у него дернулось. «Это немного похоже на «Воскресение» Толстого... Хотя при чем же тут я? Нет, вздор!.. Но надо уйти в холл...»

— Сам пьет, а мне не дает! Скупой! — сказала она, смеясь, и, приподняв со стола бутылку, внимательно ее осмотрела. — Макс всегда делает на стекле знак, он страшно хитрый! Нет, не поставил, значит, он вам верит. Мне, конечно, не верит, но он меня любит: пусть девочка пьет даром, черт с ней!

— Быть может, вам не надо пить так много.

— А вам надо? — спросила она, смеясь уж совсем весело. — Скажите, вам *это* нужно для женитьбы?

Он вспыхнул. «Знает! Поэтому и сказала о Грее... Нет, я сам ее спросил... Как, однако, все это гадко и нелепо!»

— Да.

— А какая она, ваша невеста? Очень красивая?

— Очень красивая.

Она вздохнула.

— Дай вам Бог... Так не раздеваться? Наверное?

— Нет... Наверное... Впрочем, вы можете раздеться и лечь спать. Я пойду вниз, мне надо поговорить со стариком... Вот только докурю папиросу... Помочь вам? — спросил он сорвавшимся голосом. Она улыбалась.

— Ну хорошо, поговорите с Максом. А потом куда же вы денетесь?

— Я там просижу до утра у камина.

— Камин до утра гореть не будет. Приходите сюда... Нет, так, просто так, я вас устрою в этом кресле. Здесь вы хоть снимете пиджак и положите ноги на стул... Уж если вы не хотите?... Цена та же... Я вам отдам вторую подушку, по крайней мере, будете спать. Даже шубку мою можете взять, чтобы накрыться, — предлагала она, оживляясь при мысли, как она устроит этого скучного, но красивого человека. — Конечно, приходите! Ничего не будет, невеста вам глаз не выщарапает. А я чудно сплю и не храплю, — говорила она.

## V

На столике перед Максом стояли чайный прибор и бутылка. Он уже как доброму знакомому помахал Джонсону рукой, когда тот появился на лестнице, и, не вставая, показал ему на кресло. «Довольно бесцеремонный человек», — подумал, несмотря на свой демократизм, Джонсон.

— Как живем? Хотите чаю? — спросил старик, откладывая газету. — Я вас угощаю. По вечерам я всегда пью чай, это привычка, оставшаяся у меня от первой из моих четырех горячо любимых родин. Разбавляю ромом в пропорции 2:1. Рекомендую вам эту пропорцию... Вот так... Правда, Мэри хорошенькая девочка?

— Очень хорошенькая.

— Надо было бы вам рассказать ее биографию... Знаете, как в светских пьесах в начале первого акта разговаривают между собой слуги: они сами по себе никому не нужны, но автору надо, чтобы они сообщали публике сведения об их господах. Так как я швейцар, то я должен был бы это сделать. Впрочем, в ее биографии нет ничего интересного.

— Ведь она не англичанка? У нее какой-то славянский акцент.

— Мы с ней земляки, но она знает только по-английски. Ее привезли девочкой в Англию, чтобы спасти. И спасли! — саркастически сказал Макс. Джонсон заметил, что старик много выпил. — Но она не больна.

— Почем вы знаете? — спросил Джонсон и вдруг покраснел так, как даже он краснел не часто.

— Я знаю, они мне всегда все говорят, — сказал старик. Он посмотрел на Джонсона и нахмурился. — Впрочем, с уверенностью сказать не могу, — резко добавил он. — Она уже легла?

— Ложится.

— Надеюсь, вам будет удобно в этом кресле... Вот, читаю газету, — сказал Макс, подчеркивая, что переводит разговор. — Рабочая партия очень гордится своими реформами. Я не отрицаю, она действительно выполнила, скажем, 25 процентов своих обещаний. Десяти процентов было бы достаточно: другие не исполняют ничего. В иностранной политике и социалисты ничего не исполнили, но тут с сотворения мира все делают одно и то же и все врут как последние мошенники. Даже настоящие джентльмены, которые в частной жизни врут очень мало. Совсем не врать нельзя ведь и в частной жизни, правда? Было бы слишком скучно.

— Да, — рассеянно ответил Джонсон. Ему хотелось остаться одному и подумать над тем, что случилось. «Хотя, собственно, не случилось решительно ничего... Этот старик нарочно заговорил об умных предметах, чтобы я, избави Бог, не счел его настоящим швейцаром. Вероятно, у него это больное место, у каждого из нас свое».

— Жаль, что у вас теперь никого нет. Черчилль ушел и не вернется, так как стар. Когда у страны нет больше ни денег, ни товаров, ей для пополнения баланса могут служить ее великие люди. На Эттли и Бевине далеко не уедешь. В былые времена какой-нибудь Талейран брал взятки, но он их стоил. Бевина ни за какие деньги не купишь, он очень честный мегаломан... Заметьте, Черчилль говорил: «правительство Его Величества», Бевин говорит «я»: «я сделал», «моя политика»... Скучно жить в такое время, когда вместо Талейранов правят Бевины. Впрочем, политика — скверное ремесло. Хуже так называемых государственных деятелей только актеры и писатели. У них в тщеславии все. Когда случается что-либо нехорошее, французы говорят: «Ищите женщину». Это очень сильное преувеличение. Женщины лучше нас, мужчин. Но если что-либо нехорошее случается в артистическом или литературном

кругу, то «ищите рецензию». У политиков тщеславием определяется не все, а, скажем, только половина их действий. Скверное ремесло, я им не завидую. Они как странствующие рыцари, о которых Санчо Панса говорит: «То они императоры, то их колотят палками».

— Вы консерватор? — спросил скучающим тоном Джонсон.

— Нет, я не люблю консерваторов. Возьмите ваши привилегированные классы, они еще из лучших и прекрасно вели себя во время войны. Чего им теперь нужно? Почему они сердятся? Да они должны были бы назначить пенсии нынешним министрам и учредить стипендии имени Шинуэлла и Стрэчи. Разве им не заплатили за имущество, «перешедшее в собственность народа»?.. В собственность Мэри, — вставил он. — Разве они платят больше налогов, чем при Черчилле? А если платят и чуть больше, то разве не стоит заплатить какую-либо малость за полную гарантию от революции? Ведь страхуются же они от пожара или от кражи.

— Понимаю, вы коммунист.

— Напротив, я терпеть не могу коммунистов. Боюсь вообще людей, которые хотят переделать человечество. Прежние идеалисты были еще хоть добряки. А нынешние так же мало на них похожи, как, например, современный американец на того длиннолицего дядю Сэма с остроконечной бородой, которого рисуют карикатуристы. Теперь идеалисты способны из идеализма на всякую гадость... Хуже всего помесь идеалиста с гиеной, — быстро и бессвязно говорил старик. — Коммунисты же по инстинкту и по убеждению всегда идут туда, откуда пахнет трупом. К тому же они, вопреки общему мнению, и глупы. Мы им предлагали большие деньги, лишь бы они не скандалили. Ну уж если ты хочешь скандалить, ты сначала обещай, что будешь вести себя тихо, поцелуйся с дядей Сэмом, получи от него деньги — а уж потом скандаль. Кроме того, вообще нехорошо ссориться с Соединенными Штатами, они никогда ни одной войны не проиграли. Американцы — тоже вопреки тому, что о них думают, — очень медленно все понимают, еще, быть может, медленнее, чем вы! Но когда они поймут и расвирепеют, то могут «набить морду», как говорит Мэри. Yes, Sir!



— Вы не американец? Норфольк ведь не настоящая ваша фамилия?

— Мою настоящую фамилию мог в Соединенных Штатах произносить только один человек, профессор сравнительного языкознания, да и он произносил ее неправильно. Поэтому я лет десять тому назад, при натурализации, решил переменить имя. Чиновник спросил, как я хочу называться. Я подумал и ответил: «Рузвельт». Он на меня посмотрел и сказал: «Не делайте этого, вас всегда будут смешивать с президентом, вы будете получать его письма, а он ваши. Кроме того, вы моете посуду в ресторанах, подумайте, хорошо если ваш хозяин демократ: ведь если он республиканец, то он вас выгонит. А вот что я вам посоветую: назовите себя «Норфольк», это фамилия первого пэра Англии». Я подумал и согласился. Должен сказать, что я в тот день выпил больше, чем нужно. Кажется, и чиновник тоже.

— Вы мыли в Америке посуду в ресторанах, а мне...

— Я мыл посуду в ресторанах, yes, Sir, — перебил его Макс.

— А мне Мэри говорила, что вы были профессором.

— Профессором никогда не был. Учителем был, журналистом был, сыщиком был. Теперь я швейцар. Бывали падения и больше. Например, Мария Антуанетта в тюрьме.

— Не понимаю, и вообще, в чем тут падение! — раздраженно сказал Джонсон. — Что дурного в том, чтобы быть швейцаром? Гораздо хуже, если человек все время играет зачем-то комедию.

— Это Мэри вам сказала, что я комедиант?

— Она мне ничего такого не говорила, да я и не говорю о вас.

— Тем лучше. Мой недостаток не в этом, а в экстравагантных поступках. Человек ни для чего экстравагантного не создан, хотя ему свойственно об экстравагантном мечтать. Ничего, помечтает, помечтает и бросит.

— Я думаю, современный человек вообще не имеет большого права на самоуважение, — сказал Джонсон и выпил залпом большую рюмку рома.

— Действительно, не имеет права... Но говорят об этом обычно люди, очень собой восхищающиеся. Са-

моуважение, впрочем, чувство относительное. Можно быть вполне порядочным человеком и не слишком собой гордиться. Люди все-таки идут вперед: мы теперь лучше разбойников какого-нибудь XIII века, а через тысячу лет из тысячи людей семьсот или восемьсот будут, наверное, людьми порядочными... Возвращаясь к моей профессии, скажу вам, что этот отель «Дорчестер» мне жалованья не платит. Я живу больше комиссионными делами. Сейчас я продаю за полцены один великолепный рубин, принадлежащий польскому магнату, которого разорили события в Восточной Европе. Вам не нужны драгоценности?

— Мне? Нет.

— Я думал, быть может, вы делаете подарки вашей невесте?.. Разрешите вам показать, это ни к чему вас не обязывает, — сказал Макс и вынул из кармана футляр. В нем лежал огромный кроваво-красный камень в оправе. Мистер Джонсон с любопытством взял футляр в руки. Он и в самом деле собирался купить дорогой подарок Кэтрин. «Кажется, камень прекрасный. Может быть, подделка?» — Правда, рубин замечательный? Он пробыл два столетия в семье графа.

— Я догадываюсь об истории этого рубина, — сказал, усмехнувшись, Джонсон. — Он был найден в Голконде, вставлен в качестве глаза в статую Брахмы, затем раб выкрал его из статуи и уступил за два дуката проезжему арабскому торговцу, который продал его Карлу Смелому. Так?

Макс засмеялся и сунул футляр в карман.

— Вижу, что вы его у меня не купите, — сказал он как бы равнодушно. — Я знаю, что о таких драгоценных камнях всегда рассказывают неправдоподобные истории с рабами и дукатами. Нет, мне история моего рубина неизвестна. Знаю только, что у ювелира вы его не купите за тысячу фунтов, а мне граф разрешил продать его за шестьсот. Я обожаю рубины... Вы верите в язык камней? Я верю, как любой индус. Жизнь меня научила не доверять логике, хотя логика все-таки не совершенно бесполезная вещь в жизни... Вы, верно, любите изумруды? — с насмешкой спросил он. — Изумруд — камень нравственной чистоты и целомудрия. Сапфир приносит здоровье. Аметист излечивает от пьянства, — сообщил Макс, подливая рому себе и Джонсону. — К сожалению, у меня никогда не было

денег для покупки хорошего аметиста... Рубин — камень правды. Есть что-то вызывающее в его яркой, беззастенчивой циничной красоте. Человек, носящий на себе рубин, правдив целиком, то есть не лжет ни себе, ни другим. Я сегодня был за городом у графа, — говорил старик, как всегда беспрестанно перескакивая с одного предмета на другой. — Когда я возвращался домой с этим рубином в кармане, надо мной пронесся аэроплан... Мне вдруг захотелось, чтобы он поскорее пролетел над моей головой, а затем свалился с теми богачами, которых он вез... Вы никогда не испытывали такого чувства?

— Вы слишком много выпили. В самом деле, купите себе аметист.

— Jedes Thierchen hat sein Plaisirchen. Я ужасно люблю эту немецкую поговорку: у каждого зверька свои скромные радости.

— Вы говорите, граф хочет шестьсот фунтов? С ним можно было бы и поторговаться?

— Может быть, он фунтов пятьдесят и уступит, не знаю: ему очень нужны деньги. А что, это вас интересует? Тогда возьмите камень с собой, покажите его экспертам, — сказал Макс, оживляясь.

— А если я вам его не отдам? — пошутил Джонсон.

— Я сказал то же самое графу, — ответил, смеясь, старик. — Он поверил швейцару гостиницы, а я могу поверить вам. В самом деле, возьмите его с собой, это вас ни к чему не обязывает. Буду очень рад, если вы купите: я получаю десять процентов комиссии. Вы видите, мой принцип: карты на стол, как у министров в конце международной конференции, когда они начинают дуреть от скуки и злобы. А теперь разрешите вас оставить, я встаю в шесть часов утра. Я вам добавлю угольев.

Он подсыпал угля в камин и вдруг поспешно бросил кочергу.

— Оцарапался! — тревожно сказал он. — Надо сейчас же пойти смазать йодом!.. Да, да, такие царапины сто раз проходят бесследно, а в сто первый вызывают рак или заражение крови!.. Оставьте вам ром?

— Оставьте. Я вам завтра заплачу.

— Как хотите. Я вас угощал, но если вам неприятно принимать угощение от швейцара, то вы можете и

заплатить... Завтра в восьмом часу утра вы уже будете сидеть дома в своей ванне. — Он с беспокойством смотрел на выступившую на пальце каплю крови. — Вот вам футляр... Никакой расписки мне не нужно. Но, разумеется, если вы потеряете эту штуку, то вы мне заплатите шестьсот фунтов. Yes, Sir!.. Спокойной ночи, вас здесь до шести утра никто не побеспокоит.

## VI

«Не случилось решительно ничего, — подумал Джонсон, налив себе еще рому. — Князь Нехлюдов узнает в проститутке, судящейся за убийство, женщину, которую он когда-то соблазнил. У него угрызения совести, это понятно. Со мной ничего похожего нет, я ее не соблазнял, ее за убийство не судят, она сама говорила, что на заводе ей было хорошо, и эти толстовские аристократы с чуткой совестью — пережиток старых времен. Следовательно, все вздор... Придется здесь провести в кресле ночь — и на этом проклятая формальность кончится. Все обошлось лучше, чем я думал. А я просто немного горжусь тем, что у меня сложная натура, и люблю себя, и это гадко, — думал он, раздражаясь против себя все больше. — Все очень просто. И еще проще то, что я дешево куплю кольцо... Он уступит за пятьсот. Если в магазине мне скажут, что камень стоит больше, то я непременно куплю: будет небольшой overdraft<sup>1</sup>, но в банке знают, что я женюсь».

Ему казалось, что рубин действительно великолепен. «Кэтрин сделает из него что захочет: брошь, кольцо, браслет. Никакого обмана быть не может: я покажу камень и ювелиру, и в клубе; Вилли, кажется, знает толк в драгоценностях». Адвокат говорил, что после получения свидетельства от гостиницы все будет сделано очень быстро. «Быть может, через месяц мы уже будем женаты. Съездим на месяц в Италию... Венеция слишком банальна для свадебного путешествия, это как Ниагара у американцев... Да, конечно, Кэтрин мне нравится, хотя мне с ней скучновато... Почти так же, как с этой несчастной Мэри... Правда,

<sup>1</sup> Превышение кредита в банке (англ.).

Кэтрин образованна, она принадлежит к интеллигенции... Но что у нас нужно, особенно женщине, чтобы принадлежать к интеллигенции или, по крайней мере, чтобы ничего не портить в интеллигентском стиле дома? То, чему учат в школах? Алгебра? Чосер, Шекспир, которых читают раз в жизни? Нужно знать, что Юлий Цезарь был убит Брутом, что Марию Стюарт и Карла I казнили, что во Франции был Людовик XIV, которого звали *le Roi-Soleil*<sup>1</sup>, а потом была революция и два Наполеона разного качества. Надо прочесть по одной или по несколько книг Диккенса, Бальзака, Достоевского, Бернарда Шоу, Голсуорси, Пристли, Стейнбека, Хемингуэя, еще кой-кого. Надо знать названия главных столиц, имена главных президентов, надо знать, кто на ком женат в королевской семье и в Голливуде, надо знать, что атомная бомба грозит концом цивилизации, что Эйнштейн изобрел теорию относительности, — один поезд идет, другой поезд стоит... Надо иногда ходить в модные театры, надо просматривать каждый вечер газету и, разумеется, надо иметь сносное произношение, хотя теперь есть знаменитые люди, украшения салона, сносного произношения не имеющие... Однако Кэтрин мне понравилась при первой же встрече. Ну да, очень понравилась!» — тревожно думал он.

Один из его товарищей, бывший или прикидывавшийся циником, говорил ему, что люди делятся на два разряда: «У одних жажда любви понижается от вина, а у других повышается. Ты, Чарли, принадлежишь ко второму разряду и поэтому должен быть осторожен в некоторых случаях жизни, и особенно на обедах в семейных домах». Мистер Джонсон вспомнил эти слова с очень неприятным чувством. «Допустим, что я и не влюблен в Кэтрин... В самом деле, если бы я был влюблен в нее по-настоящему, то разве меня могла бы взволновать эта девочка? Но Кэтрин мне нравится, у нее милый привлекательный характер, она будет мне отличной женой, — все тревожнее думал он, наливая себе еще рому и закуривая новую папиросу. — И уж она-то, во всяком случае, любит меня! Если б не любила, то были женихи лучше, чем я, хотя бы тот дипломат. У отца восемь тысяч дохода, она единственная

---

<sup>1</sup> Король-Солнце (фр.).

наследница, ему семьдесят лет, и у него болезнь, которую врачи называют *ложной* грудной жабой и которая очень похожа на неложную грудную жабу. Тот дипломат женился бы на ее восьми тысячах с восторгом! — сказал он себе и тут же с бешенством подумал, что другие, верно, думают о нем то же самое. — Это клевета! Я женюсь не для денег, а потому, что хочу иметь жену, детей, дом... Мы поселимся в доме Грея, так как нельзя достать другую квартиру. И хотя он говорит, что мешать нам не будет, придется каждый вечер слушать, что Англия идет к собакам и что мы все окончим свои дни в убежище для неимущих. А позднее этот великолепный дом перейдет ко мне, я превращу ненужную залу в библиотеку, куплю тысячи книг, куплю картины, — да, да, я уже думал об этом! — и у меня будет политический салон, будут бывать либеральные лорды, светочи левой литературы, и самые лучшие из министров — не Шинуэлл, а те социалисты, что вышли из Итона. Затем я пройду в парламент и на пятом десятке, при некоторой удаче, могу стать товарищем министра почты или канцлером герцогства Ланкастерского, — думал он, раздражаясь все больше, он сам не знал против кого. — И это будет не так плохо! И хуже всего то, что я сам думаю, что это будет не так плохо! Можно удивлять людей и этим, а я больше всего в жизни хотел удивлять людей... Князь Нехлюдов в моем положении, вероятно, женился бы на Мэри!»

Эта мысль вдруг поразила его. Разумеется, он прекрасно знал, что никогда ее не осуществит. Но он стал думать, что было бы, если б он женился на проститутке. Невольно улыбнулся, представив себе физиономию Грея в тот момент, когда ему об этом сообщили бы. «Кэтрин весь вечер проплачет, затем вернет мне письма. Через несколько месяцев она выйдет за того дипломата или за другого дурака. В клубе будут говорить, что я всегда был сумасшедший. В министерстве мне, пожалуй, предложат подать в отставку? Хотя теперь не предложат, испугаются огласки: все-таки у власти социалисты. Но я сам, конечно, уйду. Уехать в Гаити<sup>1</sup>. как Гоген? Но чем же я буду жить? Переедем в Австралию, где никто не будет знать ее прошлого... Она не

---

<sup>1</sup> Так у М. А. Алданова: Гоген жил долгое время на Таити. — *Прим. ред.*

больна, сказал комедиант... Да, да, в три-четыре месяца я мог бы ее научить тому, что знает Кэтрин... Все это, конечно, вздор, но отчего же мне не посидеть с ней теперь? Все, все условно, наши предрассудки, наша цивилизация, особенно наше джентльменство. А не условно то, чего мне сейчас хочется больше всего на свете!..» Он встал и, чуть пошатываясь, направился к лестнице.

## VII

Она вышла вечером на Пиккадилли, и за ней тотчас пошел следом красивый молодой блондин очень высокого роста. На нем был черный плащ с синим шелковым шарфом, серый пиджак с бриллиантовыми пуговицами, короткие штаны с женскими чулками. На поясе висела шпага с золотой рукояткой, осыпанной драгоценными камнями. Он был, видимо, страшно сильный и мог всем набить морду. «Симпатичный блондин, пойдем со мной», — сказала она. «А сколько ты возьмешь?» — спросил он, остановившись у фонаря. «Я меньше трех фунтов не беру», — солгала она. «Я тебе дам двадцать фунтов! — сказал он, крепко пожимая ей руку. — И мы еще сначала пообедаем за мой счет, но не в трущобе». «У Лайонса?» — спросила она. «Нет, в «Крайтирион»! Ведь это, кажется, здесь?» Они вошли в ресторан, он снял серую шляпу с черной лентой, и она вдруг увидела, что под шляпой у него бриллиантовая корона. «Так он король!» — с восторгом подумала она. И действительно, Макс к ним подошел и спросил: «Как живем, Ваше Величество? Есть один столик, там холодно, но я поставлю переносную печь. Yes, Sir!» Лакей, низко кланяясь, смел крошки со стола, накрыл его чистой бумагой, шкаф рядом открылся сам собой, и в нем были лангуст и утка. «Вот это ты нам и тащи», — приказал король. «Нельзя, Ваше Величество, мистер Стрэчи не велел», — ответил лакей. «А мне плевать на твоего мистера Стрэчи! — закричал король. — Подай сию минуту, что я велел! Мэри, может быть, никогда этого не ела». — «Слушаю-с, Ваше Величество, я сейчас спрошу старика», — сказал испуганно лакей и убежал. «Ну, положим, утку я

ела, — обиженно сказала она. — Еще на прошлое Рождество ела у Джонни, когда он много выиграл на скачках и нас всех позвал. А лангуста я, может быть, пять раз ела! Это страшно вкусно, спасибо... Я и не знала, что вы король. Страшно рада познакомиться!» — «Да, я король, — сказал он, — и я у тебя струю это пятно выше колена». «Не довольно ли? У вас, верно, есть невеста? — кокетливо сказала она. «Есть, и красивая, да стерва такая, каких свет не видывал», — сказал король. «Если стерва, зачем же вы на ней женитесь?» — «Богатая, страсть, а то не женился бы ни за что!» — «Ну и дурак», — сказал Макс. Он, видно, был сердит, что король ей нравится. Лакей пришел сказать, что хозяин согласен, но в два приема: сначала они съедят лангуста и это будет считаться как завтрак, а потом выйдут на минуту, вернуться и будут есть утку на обед. Король весело смеялся: «Большой же мошенник, твой хозяин, да Бог с ним». — «Чем же он виноват? Это бюджет проклятого рабочего правительства», — сказала она, и королю очень понравилось, что она такая умная. «Выпьем еще виски, а?» — предложил он. Они много пили, по счету король заплатил, не проверяя, и оставил два шиллинга на чай сверх процентов, а когда он надевал плащ, у него от пиджака оторвался огромный бриллиант, она подобрала и подала ему. Король был очень доволен и хотел ее поцеловать, но вспомнил о невесте и не поцеловал, может быть, испугался: не больна ли? «А за то, что ты такая честная, вот тебе все мои пуговицы, я оставлю только на брюках, чтобы не свалились, и я разойдусь со своей стервой, ты у меня будешь главной герцогиней, у тебя будет сто человек прислуги, и работать ты теперь будешь только два раза в неделю, потому что конкуренция, а остальное время будешь каждый день пить виски и есть лангуста, а теперь пойдем танцевать, а потом к Максy в комнату № 5». И он повел ее во дворец, где все мужчины были с женскими чулками и при шпагах, она больше всех танцевала, а стерва королева возненавидела ее и нагнала их, когда они уже стояли в очереди и ждали автобуса. «Сукина дочь, я тебе покажу, как отбивать у меня мужчин!» — закричала королева и хотела ударить ее зонтиком, как тогда Лисси, но как раз увидел Бобби, королева убежала, король побежал за ней, потому что для них хуже всего



скандал. «Кто вы такая?» — строго спросил Бобби. Она ответила, что она теперь главная герцогиня, но он не поверил и хотел составить протокол, но она сказала, чтобы он спросил у Макса, он честный и был профессором в Америке, и любит ее, и ревнует. «Ну, если Макс, тогда другое дело», — сказал Бобби, и они пошли в номер 5 и выпили еще виски, чтобы согреться. «Эх, жаль, проворонила короля, — подумала она, — куда же он убежал, неужели так боится стервы? А вдруг он еще вернется?..» И действительно, кто-то вошел в комнату, зажег лампу, наклонился над ней и взял ее за плечо. Она хотела проснуться, но долго не могла. Король был уже без короны, и от него сильно пахло ромом.

— Я люблю тебя! — прошептал он.

## VIII

Поднявшись в свою комнату, Макс Норфольк, морщась, смазал палец йодом, затем завел будильник, который, впрочем, был ему не нужен: он всегда просыпался в то время, которое себе назначал. Спал он мало и плохо. В кровати еще почитал книгу Бертрانا Рассела и с некоторым удовольствием думал, что он единственный в мире швейцар, читающий философские книги, или единственный философ, служащий швейцаром. И в том, что *они* (он сам не знал кто) довели его до этого, было тоже что-то приятное. Проснулся он ровно в шесть часов и с неудовольствием заметил, что на пижаме осталось пятно от йода. «Эх, беда, йод не сходит!» Он неслышно занялся туалетом. Хотя Макс Норфольк часто себе говорил, что ему совершенно все равно, где жить и как жить, он каждое утро сожалел о своей нью-йоркской комнате с собственной ванной, с кипятком круглые сутки и думал о возвращении в Америку: «Жаль, жаль Европу, ничто ее не заменит, красавица была покойница, но что ж, пожила и довольно: хорошего понемножку...»

Он всегда записывал на листке, кого когда будить. В это утро никто из жильцов не уезжал. Запись была только о номере 5. Без двадцати минут семь он на цыпочках спустился в маленькую кухню гостиницы и

занялся приготовлением завтрака. Он готовил кофе по своей системе, сам его молот, — очень любил бодрящий запах молотого кофе. Поджарил тосты, достал маргарин, нарезал немного салами, которое продавалось без карточек.

К его удивлению, в холле никого не оказалось. Он поставил поднос на столик у камина и пожал плечами, увидев, что бутылка почти пуста. «Может быть, пошел мыться», — подумал он и поспешнее обыкновенного поднялся по лестнице. В коридоре первого этажа на неудобном соломенном стуле, низко опустив голову, сидел мистер Джонсон. Старику показалось, что он спит.

— Доброе утро, сэр, — негромко сказал он. Мистер Джонсон вздрогнул и вскочил, оглядываясь по сторонам. Лицо у него задергалось.

— Доброе утро.

— Я принес вам завтрак. Он внизу в холле... Мэри, конечно, еще спит?

— Не будите ее, — поспешно сказал Джонсон. — Ведь мы не обязаны и уйти вместе, как пришли?

— Кажется, необходимости нет... Вы хотите уйти один?

— Да, я должен уйти сейчас же. Пойдемте вниз.

Макс с растущим беспокойством спустился за ним в холл.

— Завтрак на столике у камина, — сказал старик. — Надеюсь, вы здоровы, сэр?

— Я совершенно здоров... Послушайте, у вас есть деньги?

— Деньги? Какие деньги?

— Я прошу вас оказать мне кредит. У меня с собой всего десять фунтов.

— Этого больше чем достаточно. Как вы помните, я уговорился с Мэри за пять фунтов, а счет гостиницы...

— Да, но мне нужно еще, — перебил его Джонсон.

— Если вы хотите, вы можете заплатить и чеком, — сказал Макс и вспомнил, что некоторые приезжавшие с женщинами клиенты избегали чеков, опасаясь шантажа. — Вероятно, вы не взяли с собой чековой книжки? Разумеется, я могу вам дать денег. Пять фунтов? Десять фунтов?

— Нет, больше. Сколько у вас есть наличными?

— У меня всего пятнадцать фунтов, — сказал старик, хотя у него было двадцать пять.

— Хорошо, дайте мне пятнадцать фунтов... Я очень спешу... У вас есть конверт и бумага?

— Есть, — кратко и резко сказал старик, глядя на него в упор. «Вот как! Экий негодяй», — подумал он. Макс отошел к конторке, взял там листок и конверт, вернулся. Руки у него тряслись от бешенства.

— Вот вам пятнадцать фунтов, — сказал он, почти швырнув на стол деньги, бумагу, конверт. — И отдайте мне мой рубин!

Мистер Джонсон взглянул на него удивленно.

— Рубин? Отдать вам? Но может быть, я его куплю?

— Я не хочу его вам продавать! Я передумал...

С минуту они молча смотрели друг на друга. Затем мистер Джонсон вынул из кармана футляр и, ни слова не сказав, вернул его старику. Тот отошел, тоже ничего не сказав. Мистер Джонсон сел в кресло, что-то написал, порвал листок, написал другое, опять порвал и сунул клочки бумаги в карман, положил в конверт двадцать пять фунтов, заклеил и подошел к конторке. Макс уже сидел за счетной книгой. «Впрочем, какое мне до них дело? Черт с ними!» — говорил он себе. Когда мистер Джонсон, держа в руке конверт, с виноватым видом подошел к конторке, лицо у старика уже было спокойное, равнодушное, скучающее.

— Я не хочу будить ее, — сказал мистер Джонсон, забыв, что уже это объяснил. — Пожалуйста, отдайте ей, когда она проснется.

— Хорошо, сэр, — сказал Макс. Он уже очень жалел, что не дал ему больше денег для Мэри и что взял назад рубин. — Я ей отдам.

— Счет, пожалуйста, пришлите мне. Извините, что побеспокоил вас по такому неприятному делу.

— Что же тут неприятного, сэр? Ведь это была пустая формальность, сэр. Необходимая для такого хорошего дела, как брак, сэр, — сказал старик. «Кажется, он издевается!» — подумал Джонсон. Однако лицо Макса Норфолька не выражало ничего, кроме скуки.

## ПАВЛИНЬЕ ПЕРО

*Много лет назад я посетил три страны Ближнего Востока. Сравнительно долго прожил только в Каире (в исторической гостинице «Шепхерд», сгоревшей во время пожара 1952 года, известной по книгам путешественников девятнадцатого века). Все мои дорожные записи остались в России. Кое-что в памяти сохранилось. Больше дали мне для этого рассказа книги, газеты и сообщения людей, проживших долгие годы в Северной Африке и покинувших ее лишь несколько месяцев назад. Приношу им искреннюю благодарность, в частности Г. Г. фон Лерхе и Ю. В. Бочинскому.*

### I

Аэроплан, улетавший из Лондона в Каир, был пустоват. Туристы в 1955 году из-за тревожных событий и еще более тревожных слухов ездили на Средний Восток<sup>1</sup> много меньше, чем прежде. Жорж Дарси, невысокий плотный пожилой человек с умным и приятным лицом, очень элегантный, несмотря на уже чуть обогнавшееся брюшко, вошел минут за пятнадцать до отлета, расплатился щедро с носильщиком и оглядел кабину с легким неудовольствием. Он часто летал по этой линии и неизменно находил знакомых; на этот раз их не было. По своей привычке сразу всех определил: «Это немцы. Вероятно, какие-нибудь прожектеры. Быть может, тысячный по счету проект Асуанской плотины?.. Этот угрюмый старик в феске едва ли турок, скорее сириец: турки теперь фесок не носят... А тот субъект с папироской, должно быть, русский». Он с ранних лет зачем-то развивал в себе наблюдательность и действительно развил: ошибался приблизите-

---

<sup>1</sup> Middle East (англ.) — на русском языке соответствует понятию «Ближний Восток». — *Прим. ред.*

льно только в трех четвертых случаев, что могло считаться вполне допустимой нормой для человека, не бывшего пророком. Норма была приблизительно соблюдена и на этот раз, старик был именно турок, немцы были обыкновенные коммерсанты, но субъект с папироской был и в самом деле русский. Как бы то ни было, разговаривать было не с кем.

Дарси не очень любил в дороге молчать. К нему тотчас подошла, радостно улыбаясь, милостивая барышня, заведующая кабиной. Он не любил *hostess*<sup>1</sup>, и особенно стюардесс. Для молодых обычно придумывал прозвище, но для этой ничего не смог придумать. Сказал ей то, что говорил всем красивым женщинам:

— Вы еще похорошали?! Как вы это делаете? Вы становитесь просто общественной опасностью!

Она засмеялась. Предложила ему плед и иллюстрированные журналы. Он отказался и попросил дать ему стакан воды: надо проглотить пилюлю. Барышня выразила сомнение в том, чтобы ему нужно было лечиться: на вид ему нельзя дать больше сорока лет. Он хотел было поболтать, но в аэроплан как раз вошел знакомый: мр. Трэйси Лонг, видный чиновник британского министерства иностранных дел, которого он не раз встречал в Лондоне, в Париже, в Каире, очень немолодой, очень учтивый, очень любезный, но несколько скучноватый человек. Они одновременно сказали: «Хэлло!» Дарси сидел в единственном четырехместном отделении кабины. Так как пассажиров было мало, то садиться, собственно, можно где угодно, но заведующая тактично не сказала этого Лонгу: знала, что и добрые знакомые не всегда хотят сидеть в дороге рядом. Место англичанина оказалось в том же ряду, по другую сторону прохода. Он отказался от пледа и иллюстрированных журналов и немного поговорил с Дарси. Тот слушал его английскую речь не без удовольствия. «Уж такой *King's English*<sup>2</sup>, что дальше идти некуда». Узнали, что оба летят в Каир, выразили уверенность в том, что перелет будет превосходный: погода отличная, даже не верится, что уже осень. Заведующая принесла Дарси воду и пошла предлагать пледы и иллюстрированные журналы другим пассажирам.

<sup>1</sup> Бортопроводница (англ.).

<sup>2</sup> Королевский английский (англ.).

Лонг развернул «Таймс», Дарси достал из несессера коробочку с пилюлями и снова сел, привычным движением оправив выутюженные брюки на коленях. Он превосходно одевался, платил у Lanvin по семьдесят тысяч франков за костюм и замучивал мастеров примерками и поправками, имевшими главной целью сделать возможно менее заметным брюшко: с неудовольствием думал, что оно уже немного приближается к цифре 6. С некоторых пор у него иногда бывали сердцебиения. Он стал за собой следить, обращая внимание даже на пустяки. «Простая царапина в ста случаях пустяк, а в сто первом кончается раком!» Впрочем, и раньше любил лечиться, хотя и не верил в медицину. Врач внушительно говорил, что ему необходимо соблюдать пищевой режим. Он уныло соглашался, что необходимо, однако не соблюдал. Это лекарство было новое, американское, лишь вчера купленное им в Лондоне. Дарси не без труда распечатал сложную коробочку и из объяснительного листка узнал, что это 2-ацетиламино 1, 3, 4-тиодиазол-5-сульмонамид, — «черт знает что это такое, и как только они сами себя понимают!» Принимать пилюлю нужно было ровно за час до еды, — «если выйдет и за полтора часа, то, быть может, все-таки не произойдет катастрофы». Он запил пилюлю, поморщившись. Воду пил только в случаях крайней необходимости.

Двери самолета тяжело затворились. Барышня объявила пассажирам, что аэроплан сейчас отлетит, и с ласковой успокоительной улыбкой, давно заученными наизусть словами прочла наставление о ремнях, о курении, о чем-то еще. Немцы слушали внимательно и переспрашивали. Старик в феске даже не взглянул на барышню. Она была в стороне от той точки на стене, на которую он случайно направил взгляд с тех пор, как сел; больше он направления взгляда не менял. Затем барышня еще сообщила о завтраке и напитках и ушла в свое отделение. Проходя мимо Дарси, улыбнулась и сказала ему:

— Вам я пока напитков и не предлагаю. Ведь кофе вы уже, верно, пили? Знаю, что коктейлей вы не знаете и что после Парижа вам надо принести *ваш* амонтильядо 1922 года. Так?

— Совершенно верно, дорогая. Какая у вас память!

Аэроплан понесся по дорожке и оторвался от земли. Как всегда, пробежал легкий гул: даже привычные пассажиры неохотно расставались с твердой землей.

Дарси развернул газету. Нового было немного. Особенно больших заголовков на первой странице не было — и то было хорошо. Но настроение оставалось очень тревожным, надежды на благополучное разрешение суэцкого вопроса по-прежнему не намечалось, акции канала упорно не поднимались в цене после вызванного национализацией падения курса. У Дарси было немало этих акций, но денежная потеря не имела для него большого значения. Он был очень богат, даже не по европейским, а по американским понятиям. Его бабка принадлежала к одной из старых южнофранцузских парфюмерных династий, в которых владельцы в блузах работают на своих фабриках целый день, живут скромно, за роскошью не гоняются и оставляют своим детям огромные, еще увеличенные ими состояния и парфюмерные секреты. Отец его был бретонец, жить в Грассе не хотел и занялся другими делами, преимущественно в странах Среднего Востока.

Жорж Дарси получил прекрасное образование по факультету *lettres*<sup>1</sup>, жил то в Париже, то в Каире и не проживал половины своего чистого дохода. Подоходный налог всегда платил честно — только поручал лучшим специалистам составление своих налоговых записей. Он легко мог бы стать депутатом или, позднее, сенатором, но политикой практически не интересовался и в душе считал всех политиков бессовестными карьеристами. На выборах не голосовал — говорил приятелям, что ему не так важно, придут ли к власти «радикал-социалисты», — они вдобавок не радикалы и не социалисты, — или же «крестьяне», никогда не бывшие крестьянами, или какие-то «независимые», — «это особенно забавно: «*партия независимых*»! Настоящего дела у него не было, хотя он состоял в правлениях каких-то обществ, больше потому, что уж очень много акций этих обществ оставил ему отец. Бывал на заседаниях лишь в меру необходимости и не без удовольствия слушал годовые отчеты руководителей, до недавнего времени весьма жизнерадостные; доклады ревизионных комиссий слушал

---

<sup>1</sup> Филология (*фр*)

зевая: руководители, с ленточками всевозможных западных и восточных орденов в петлицах, как он отлично знал, были не только честные люди, но вдобавок были все так богаты, что на злоупотребления их могло толкнуть разве только внезапное умопомешательство. Деньги сами к нему текли. Он не был женат, и ему не для кого было еще увеличивать богатство. По-настоящему он интересовался главным образом женщинами, да еще искусством. Думал, что ему подходило бы такое отношение к жизни, какое было у раннего Анатоля Франса, он знал, что оно и невозможно, и, что еще хуже, давным давно вышло из моды. Он мог отличить Тициана от самых лучших подделок или, по крайней мере, говорил и даже думал, что может. Знал на память до двадцати тысяч стихов, из них около ста были стихи не французские. Был довольно равнодушен к Китсу и к Донну, хотя знал, что ими в Англии велено восхищаться. Из новых французских поэтов нехотя признавал и Малларме, и Артура Рембо, и Поля Валери. Но предпочитал знаменитых стариков; впрочем, говорил, что классики — это писатели, у которых надо восторгаться даже той ерундой, которая и у них встречается нередко.

Теперь, однако, вопрос о разрешении кризиса на Среднем Востоке имел для него важное значение. Он все больше приходил к мысли, что французам впредь жить в Северной Африке будет невозможно или, во всяком случае, очень неприятно: надо окончательно переселиться во Францию. «Лучше вовремя продать и каирский дом, и марокканское имение, хотя бы с громадной потерей». Относительно имени он уже вел переговоры. Богатый араб предлагал цену — очень низкую, но все же не смехотворную. «А то и просто отберут без всякой платы, и ничего нельзя будет сделать с этими господами!» Африканских государственных людей Дарси считал уже не просто карьеристами, а скорее общественными подонками: «Якобы заняты борьбой с колониализмом, а на самом деле думают только о портфелях, как о скорейшем пути к богатству, и греют руки на чем попало». В отличие от многих богачей, он не считал, что все в мире покупается и продается, но думал, что на Востоке это было более или менее близко к правде и если перестало быть правдой, то преимущественно потому, что теперь там подкупать правителей невозможно: такие огромные деньги там внезапно появились. «С Арабской Лигой



или с казной Ибн Сауда конкурировать невозможно».

Съездил он на этот раз в Париж и Лондон преимущественно для информации: надо было узнать, что думают большие французские и английские дельцы, «они, верно, осведомлены не хуже, а скорее лучше министров». Ничего важного они, однако, ему не сообщили, да, вероятно, знали не больше его. Говорили, что, конечно, положение тревожно, но все-таки, наверное, оно уладится, ведутся серьезные переговоры. Действительно, министры и дипломаты съезжались часто и, по неизменным сообщениям газет, «*procédaient à un vaste tour d'horizon*» или «*confrontaient leurs points de vue après un examen approfondi de la situation*»<sup>1</sup>. Дарси только злился: «Это значит, просто с глубокомысленным видом чесали язык».

В Париже никто из пассажиров не сошел, но вошли три человека, один в европейском костюме, другие в восточных одеяниях. Первый был человек лет тридцати пяти, красивого арабского типа, высокий, стройный, элегантно одетый. «В Лондоне шит костюм», — подумал Дарси, впрочем, считавший, что в этом деле слава Лондона уже в прошлом. «Этот господин похож на рисунки, изображавшие светских людей в дешевеньких иллюстрированных романах, выходивших у нас перед первой войной. Поразительно, как эти рисунки все опошлили!» Новый пассажир был знакомый, марокканец Мулей-ибн-Измаил, с некоторых пор, несмотря на молодые годы, почти сановник, правда, второстепенный. Дарси встречался с ним и в Африке, и во Франции. Этот благодущный веселый человек, учившийся в «*Ecole des Sciences Politiques*»<sup>2</sup>, прекрасно говоривший по-французски, был, по мнению Дарси, как раз образцом худшего рода восточных политических деятелей: смесью французского радикал-социалиста доброго старого времени с французским *je t'en-fichisme*'ом<sup>3</sup>. «Когда он высказывает общие места левой демократической печати, на его лице появляется такое выражение, точно он слышит голос свыше. Кажется, он иногда говорит даже о «*vertu républicaine*»<sup>4</sup>, и

<sup>1</sup> «Приступали к общему рассмотрению положения»... «после детального изучения положения приступали к обмену мнениями по данному вопросу» (фр.).

<sup>2</sup> «Школа политических наук» (фр.).

<sup>3</sup> Наплеватьство (фр.).

<sup>4</sup> Республиканская добропорядочность (фр.).

при этом всегда кажется, будто он сказал непристойность», — думал при встречах Дарси, познакомившийся с Мулеем в доме какого-то армянского миллионера лет десять тому назад. «Тогда ему говорили просто Мулей даже без Си, он носил пиджачок сиреневого цвета, бывший чем-то вроде экзистенциалистского мундира в Каире. Дарси его отнес к разряду полуголодных литераторов, необыкновенно левых по взглядам и необычайно жадных к деньгам, восторгавшихся большевиками и очень старавшихся проникнуть в дома к богатым банкирам и к либеральным пашам. «Да, потом он стал политической персоной, и чуть ли не первый выдумал гнусное надувательство с *interdépendance*<sup>1</sup>. Его фотографии, верно, к необычному его восторгу, стали появляться в газетах, и даже на первой странице, рядом с премьерами и с бандитами», — сердито подумал теперь Дарси.

Немного знал он и другого из вошедших, но не помнил точно ни его национальности, ни даже его имени. «Кажется, Гуссейн бен что-то, или ибн что-то, или ульд что-то». Он был в белоснежном шелковом тюрбане и в такой же белоснежной джеллабе. «Этот, кажется, из их Арабской Лиги, мировой организации подкупа, денег у нее пропасть», — раздраженно определил и его Дарси. Гуссейна сопровождал плохо одетый феллах — «скорее, феллага?» — человек огромного роста с круглыми, неподвижными глазами, с очень неприятным широкоротым лицом. «Немного напоминает изображение чудовищ в кинематографических *dessins animés*<sup>2</sup>... Где я его видел?.. Он, наверно, лакей Гуссейна или «телохранитель», они ведь теперь путешествуют с телохранителями, хотя никто на них покушений не устраивает».

Прежде он любил арабские страны, снисходительно-добродушно относился к арабам, очень ценил древнее арабское искусство и знал в нем толк. Теперь же в тесном кругу сердито уверял, что каждый араб по природе бездельник и что не французы эксплуатируют арабов, а арабы их! Богатые мусульманские помещики сдают землю не своим единоверцам, а непременно французам, так как арабы губят поля по своей лени. «Я плачу им по четыреста франков в день, но если б

---

<sup>1</sup> Взаимозависимость (*фр.*).

<sup>2</sup> Мультфильмы (*фр.*).

платил по восемьсот то они являлись бы на работу только три раза в неделю Вообще надо раз навсегда признать что между нами и ими стена Они для нас те же марсиане а мы для них» — говорил он сердито был вообще вспыльчивым человеком Но скоро от ходил и сожалел о преувеличенно резких выпадах против арабов как министров так и работников люди везде приблизительно одинаковы И вообще это чистая иллюзия будто работники могут где бы то ни было любить хозяев а бедные — богатых даже тех кто делает им добро «Впрочем я никакого добра им не делал разве только платил за труд лучше чем другие»

Носильщик внесши вещи новых пассажиров ука зал им места в том же ряду в котором сидел русский Оба они с ним поздоровались очень любезно Снис ходительно раскланялись с Дарси и с Лонгом Раз мешая их чемоданы все новенькие и дорогие носиль щик на них поглядывал с недоброжелательной на смешкой как теперь смотрели на восточных людей почти все французы Дарси раздражала даже одежда Гуссейна «Очень рад что у них есть национальный костюм но не вижу почему его надо носить в Европе У бретонцев тоже есть свое платье однако я не ношу его Этого и советские сановники на Западе не дела ют» Носильщик принес еще вещи разместил их полу чил на чай и ушел не поблагодарив Дарси вдруг поймал на себе очень сумрачный и злобный взгляд телохранителя и теперь узнал его «Он служил у меня конюхом в имении и был уволен после каких то скан далов Кажется его звали Якуб»

В кабину без носильщика с одним несессером вошла молодая красивая прекрасно одетая дама Увидев Дарси она радостно воскликнула «Хэлло Джордж!» Он также очень ей обрадовался Это была не просто знакомая а приятельница мрс Мэрилин Брюс знаменитая разъезд ная американская журналистка Она даже не взглянула на свой билет села в четырехместном отделении Дарси уступил ей свое место у окна лицом к машинному отделению поставил на сетку ее несессер и сел против нее

— Какая приятная неожиданность Шехерезада! — сказал он Всегда так ее называл говорил и другим и ей самой что она сочиняет не хуже чем знаменитая султанша из «Тысячи и одной ночи» Разумеется знал что это сильнейшее преувеличение — в своих статьях

Мэрилин сочиняла только толкования, а факты передавала верно, во всяком случае, ненамного менее верно, чем другие известные журналисты. «Ну, теперь молчать в дороге не придется!» — радостно подумал он. Она говорила еще лучше, чем писала. Многие считали ее бывшей собеседницей в Соед. Штатах после мрс. Лус, бывшей послом. Мэрилин очень нравилась Дарси, но он знал, что с ней у него никакого романа быть не может, по десяти причинам, и прежде всего потому, что она проводила жизнь в самолетах.

— Сезам, отворись! — так же весело сказала она. Как большинство туристов на Востоке, они оба говорили, будто обожают «Тысячу и одну ночь». Мосье Дарси имел даже в своей библиотеке ее редчайшие издания на разных языках, в том числе и на арабском. Прожив лет двадцать пять в Северной Африке, он кое-как научился читать по-арабски. В действительности эти сказки казались ему скучноватыми, и он знал из них только то, что с детства знают все: лампу Аладина, Али-Бабу и Синдбада-Морехода.

Лонг тоже встал при появлении Мэрилин и выдал на лице радостную улыбку. Поклонились ей издали также африканские сановники: она знала всех сколько-нибудь известных людей в мире.

— Вы очень похорошели, Шехерезада. Как вы это делаете? Но вы переменили цвет волос! Теперь они у вас с розоватым отливом, разве это цвет нынешнего года? Страшно вам идет, вы стали общественной опасностью.

— Бросьте эти ваши французские любезности! Так вы летите в Каир! Все европейцы бегут из Египта, а вы едете в Египет.

— Да ведь и вы тоже.

— Я другое дело, я американка. Против нас египтяне ничего иметь не могут.

— Может быть, но они вас терпеть не могут, — сказал ласково мосье Дарси, немного понизив голос.

— Как и европейцы? Вы себе не представляете, чего я только недавно не наслышалась в Париже и в Лондоне! Антони прямо мне сказал, что...

— Что он вас терпеть не может? — пошутил Дарси. — Едва ли Иден это сказал, но это была бы, поверьте мне, святая истина, «Gott strafe Amerika!»<sup>1</sup> —

---

<sup>1</sup> «Боже, покарай Америку!» (нем.)

сказал он, сделав зверское лицо. Мэрилин засмеялась.

— Все-таки я не думала, что антиамериканские настроения так сильны в Европе.

— Так вам и надо, — сказал Дарси, очень любивший Соединенные Штаты и американцев. — Хорошо, не будем говорить о политике, она внушает мне глубокое отвращение. Сколько мы не виделись с вами? По-моему, полгода!

— В последний раз я была у вас на том вашем изумительном обеде в Каире, с шамбертенном какого-то необыкновенного года и с наполеоновским коньяком. Он произвел на меня неизгладимое впечатление.

— Пользуюсь случаем, чтобы пригласить вас на обед.

— Благодарю вас. А ваш египетский повар меня не отравит за компанию с вами? Теперь это, верно, можно сделать вполне безнаказанно? — весело спросила она, понизив голос.

— Это было бы даже угодным Аллаху делом, но неужели вы думаете, что у меня египетский повар! — сказал Дарси, вполне презиравший нефранцузскую еду, кроме нескольких вещей, как американская «Nova Scotia» или русская икра «Malosol» (он считал это слово названием русского города). — Мой повар коренной лионец.

— Принимаю ваше приглашение с удовольствием, — сказала Мэрилин. Она не раз бывала на приемах у Дарси, который в Египте принимал «весь Каир», а во Франции «весь Париж». В его парижском доме она встречала министров (хотя он недолго любил политических деятелей) и кардиналов (хотя он недолго любил духовенство). Хозяин показывал ей свои картины и умышленно, чуть потешаясь, говорил о них так, как говорят продавцы-профессионалы: «У меня есть два Пикассо, один в двадцать две точки, а другой в тридцать одну», — она даже не поняла, что это значит. Показывал ей картины старого знаменитого голландского мастера и пояснял: «Купил дешево, всего по сто пятьдесят тысяч франков за точку, хотя, как видите, на ней лошадь, а лошади много дороже, чем козы и даже чем собаки. За коров, как вы знаете, ничего не дают, они совершенно обесценены, почти как старинные портреты, особенно бородатые».

Рассказывал, как, входя к продавцам, с первого слова им говорит: «Да, да, я знаю, у вас все продано,

вы всегда это говорите для начала, а эту «вы хотите оставить для себя». Так вот, я хочу купить именно эту и, пожалуйста, сразу называйте настоящую цену, а я за это обещаю вам, что не буду делать вид, будто зеваю и готов заснуть, как делают устарелые знатоки...»

«Кстати, милая Шехерезада, — добавил он, — старики вы теперь можете купить очень дешево, они очень обесценились по сравнению с хорошими импрессионистами. Я могу вам сейчас указать недурного Рембрандта, продающегося по двести пятьдесят тысяч за точку!» Мэрилин только пожалала плечами. Как почти всем людям, ей чужое богатство внушало уважение, которое она старалась преодолеть легкой иронией. Но сама она ни по двести пятьдесят тысяч, ни даже по пятьдесят платить «за точку» не могла. Зарабатывала большие деньги, откладывала мало и почти никаких сбережений не имела, надеясь заново отделать свою квартиру на Медисон-авеню, если окажется бестселлером книга, которую она готовила, как все уважающие себя журналисты. В Париже у мосье Дарси хозяйки дома не было. В Каире, как хозяйка, принимала красавица еврейка, давно бывшая его последней любовницей (хотя он недолюбливал евреев). Дарси называл ее Суламифь. Они были не венчаны, но Мэрилин с этим не считалась, была свободных взглядов.

— Где же вы были эти полгода? Верно, обедали у Хрущева или у римского папы?

— Была и у Хрущева, и у папы, но они забыли меня пригласить к обеду. А на какой же день приглашаете меня вы?

— На любой по вашему выбору! Быть может, и вы, мр. Лонг, сделаете мне удовольствие, пообедаете с нами?

— Очень охотно, благодарю вас, — ответил англичанин, тоже любивший хорошую еду и хорошие напитки. Слова о наполеоновском коньяке произвели и на него впечатление. По скромности своих средств, он столь дорогое удовольствие позволял себе не часто. Дарси, как и он сам, принадлежал к очень хорошему, даже к высшему обществу; оба, впрочем, едва ли могли бы сказать, в чем признаки этого общества, кроме известного минимума материальных средств, прежде довольно значительного, а теперь уменьшавшегося с каждым годом.

— Таueb, — сказал Дарси, больше по воспоминаниям из Нерваля, говорившего, что этим словом арабы всегда выражают полное удовлетворение.

— А как Суламифь? — спросила Мэрилин осторожно. «За эти полгода Джордж мог и переменить даму», — подумала она.

— Все благополучно, вчера получил от нее письмо. Она пишет мне каждый день! — с некоторой гордостью сказал Дарси. — Будто бы очень скучает, да я не верю, — весело добавил он.

## II

Вошли еще пассажиры, незнакомые, все африканцы. Когда они попадали в поле зрения турка, в его глазах усиливалось равнодушное пренебрежение: он презирал арабские страны; еще не очень давно они принадлежали Турции, и в душе он их население рассматривал как свою *райю*<sup>1</sup>. Сходное чувство испытывал Лонг. Англии эти страны, правда, никогда не принадлежали, но прежде каждое ее слово было там законом. Теперь, он знал, было не то: Англия была не та, и Форин Офис, где каждые несколько лет становились хозяевами социалисты, было не то, и он сам был не тот. Ему оставалось недолго до выхода в отставку за предельным возрастом, и он чувствовал все сильнее с каждым годом приближение старости.

Барышня опять в тех же выражениях, с той же интонацией сказала о ремнях и курении. Самолет поднялся в воздух. Немцы, стоя у окон, радостно показывали друг другу быстро отдаляющуюся Эйфелеву башню. Гуссейн встал и направился к лесенке. За ним тотчас последовал телохранитель, и снова Дарси с неприятным чувством почувствовал на себе его тяжелый, пристальный взгляд. Вышел из кабины и русский.

— Куда это они пошли? — спросила Мэрилин.

— Этот самолет — последнее слово техники. Бар помещается вниз, — ответил Дарси.

— Да ведь мусульмане не пьют.

— Они там закажут кофе, а пить будут незаметно из дорожных бутылочек коньяк.

---

<sup>1</sup> Райя — податное сословие, «подданные» в Османской империи. С начала XIX века название обычно относилось к немусульманскому населению и носило презрительный оттенок — *Прим. ред.*

— Покойный король Ибн-Сауд, прозванный «Леопардом пустыни», пил только воду, питался до конца своих дней финиками и спал под открытым небом в саду своих великолепных дворцов.

— О Господи! Правда, он был стар. Мне в его годы останутся «un livre pour veiller, un fauteuil pour dormir»<sup>1</sup>, — грустно процитировал Дарси одного из своих любимых поэтов. — Да, я помню, он был ваш друг. Ведь, кажется, именно интервью с ним положило начало вашей мировой славе? — любезно добавил он.

Это было почти верно. Собственно, покойный король Саудовской Аравии ничего интересного тогда ей не сказал, только ругал евреев и хашемитов, но она так интересно рассказала его необыкновенную куперовскую биографию, так хорошо описала его наружность, его дворец, обстановку его жизни, что ее интервью имело огромный успех, и перед ней открылись двери кабинетов известных государственных людей. Тогда же она избрала своей главной специальностью Средний Восток. Немногочисленные авторы толстых книг о нем иногда про себя ругались, читая ее статьи. Но журналы стали платить ей большие деньги, и ее предсказания нередко передавались газетами всего мира. Собственно, она предсказывала решительно все; в полном согласии с теорией вероятностей, некоторые ее предсказания сбывались, и тогда она о них напоминала, всегда скромно называя себя «this reporter»<sup>2</sup>. О своих несбывшихся предсказаниях, естественно, не упоминала, и их никто другой помнить не мог.

— Он не пил, но, несмотря на свой возраст и на свои сорок ран, страстно любил женщин.

— Это уже лучше.

— У него было тридцать пять сыновей и столько же дочерей.

— Это опять хуже.

— Король был семи футов роста! — восторженно сказала Мэрилин. — Мы, американцы, слава Богу, рослый народ, но на конференции 1945 года вся свита Рузвельта казалась при Ибн-Сауде состоящей из карликов. Кстати, он очень любил американцев, а вот англичан терпеть не мог... Вы позволите мне сказать

---

<sup>1</sup> «Книга для бодрствования, кресло для сна» (фр.).

<sup>2</sup> «Этот репортер» (англ.).



это? — с улыбкой спросила она, поворачиваясь к Лонгу. Чтобы не затруднять ее, он пересел в четырехместное отделение.

— Наши отношения с Его Величеством королем Ибн-Саудом очень менялись, бывали разные периоды. Но если он нас не любил, то это с его стороны некоторая неблагодарность, так как он своим колоссальным богатством всецело обязан нашему майору Холмсу, — сказал Лонг с печальной улыбкой. Мэрилин засмеялась.

— Да, да, это так. Британский майор Холмс, — пояснила она Дарси, — копал землю в Барейне в поисках самой обыкновенной воды и совершенно случайно наткнулся на богатейшие залежи нефти. Он взял концессию, но английские капиталисты ею не заинтересовались, и майор продал ее за гроши. Мы, американцы, тотчас послали туда своих инженеров, переодев их мусульманскими паломниками...

— Какое прекрасное начало для фильма! — сказал Дарси. Лицо Лонга стало еще более грустным. Эта история до сих пор вызывала у него раздражение.

— Теперь Саудовская Аравия получает за нефть от нашего «Арамко» около двадцати тысяч долларов в час! — сказала Мэрилин. Знала, что доходы, исчисляемые на часы, всегда производят на слушателей более сильное впечатление.

Барышня вошла с подносом и радостно объявила, что завтрак будет через полчаса.

— Дайте мне «Том Коллинс», — сказала Мэрилин. — И вам тоже это советую, Джорджи.

— Опомнитесь! — сказал Дарси. — Я цивилизованный человек и отроду коктейлей не пил!

— Где, Джорджи, вы жили перед всемирным потопом? — спросила Мэрилин.

Лонг заказал виски, отпил сразу большой глоток, чуть оживился и даже рассказал об одном столкновении, когда-то случившемся между Бальфуром и Кэмпбелл-Баннерманом. Другие тоже выпили, всем стало веселее. Мэрилин очень хорошо рассказывала о своей последней поездке. Упоминала имена Насера, Шепилова, Бен-Гуриона, Неру, Даллеса, Молле, сообщала анекдоты обо всех, называла — правда, скороговоркой — цифры, метрические тонны, баррели. Закончила она свой рассказ лестным отзывом о заслугах Объединенных Наций: они единственная надежда человечества.

— Объединенные Нации, моя дорогая, — сказал Дарси, — действительно уже имеют одну огромную заслугу: они в последнее время совершенно наглядно доказали, что никуда не годятся. Когда-нибудь историк признает чисто комической попытку объединения государств, самая цель которых заключалась в том, чтобы погубить друг друга. Но наряду с указанным мною большим плюсом был и большой минус: ОН своему наглядному доказательству не поверили! Разумеется, эстетически очень жаль, что идея, начавшаяся с Жана Жака Руссо, Лейбница и Канта, закончилась Кришной Меноном, Шепиловым и афро-азиатским блоком. Жаль также, что нельзя создать отдельные афро-азиатские Объединенные Нации. Тогда, может быть, удалось бы и нам создать другие, куда входили бы только свободные и культурные государства. Эти в самом деле могли бы объединиться. Что ж до ваших цифр, дорогая Шехерезада, то из них, видимо, следует, что нефть правит миром? Это вполне возможно, впредь до того, как им станут править уран, водород или кобальт.

Мулей-ибн-Измаил прислушивался к рассказу журналистки. «Очень умная женщина! И какая красивая!» — думал он. Из ее рассказа узнал кое-что для себя новое. Собственно, о делах Среднего Востока он знал немного. Был в политике новым человеком, вначале очень путался даже в географии и, только когда начал политическую карьеру, зазубрил, что в Ираке столица Багдад, в Сирии Дамаск, в Ливане Бейрут. В кофейнях левого берега Парижа, где он получил политическое образование, этого не знал почти никто, и решительно никто этим не интересовался. Помимо того что ему очень понравилась американка, Мулей, как и Дарси, не любил долго молчать. Он хотел подсесть к разговаривавшим и осуществил это в два темпа: для начала пересел в кресло, оставленное англичанином, раскрыл книгу, но, не читая, с приятной улыбкой смотрел на Мэрилин. Она тотчас о чем-то ласково его спросила. В ней было природное расположение к людям. Мулей тотчас принял участие в разговоре, затем, к некоторому неудовольствию Дарси и Лонга, сел в их четырехместное отделение. Сообщи, что, хотя в Париже были большие и очень интересные переговоры, он возвращается в Африку с удовольст-

вием. Объяснил почему: всякий человек возвращается с удовольствием на родину: родина есть родина.

— А что вы читаете?

— Это по-арабски. К сожалению, вы не знаете нашего прекрасного языка. Это гениальная поэма Черкауи «Письмо египетского отца семейства к президенту Трумэнну», — ответил Мулей. Дарси усмехнулся, восхищенный заглавием поэмы. — Ах, как жаль, что у меня теперь так мало свободного времени, — сказал Мулей-ибн-Исмаил с застенчивым вздохом. — Мне хотелось бы перевести для египетских журналов Маяковского!

— Разве вы владеете польским языком? — осторожно спросила Мэрилин. Мулей снисходительно улыбнулся.

— Маяковский был русский, — пояснил он. — Великий коммунистический поэт. Правда, я и русского языка не знаю, но русские друзья мне обещали помочь.

— Да ведь цензура не пропустит?

— Помилуйте, вы не знаете Бикбаши! Он сам был очень близок к коммунистам, да и теперь им в душе сочувствует. Его любимый композитор Римский-Корсаков.

— Вы очень интересно рассказывали, Шехерезада, — сказал Дарси. — Кого только вы не встречали! Кроме генерала де Голля, — подразнил он ее: знал, что в свое время угрюмый генерал отказал ей в интервью и что она ему этого не прощает, несмотря на свою доброту. — Но неужели вам еще не надоели все эти интервью! Ведь министры в большинстве ограниченные люди.

— Вам просто завидно, Джорджи, что не вы решаете судьбы мира.

— Быть может, я решал бы их не хуже, чем все эти господа во главе с Хрущевым... Кстати, если не секрет, кто этот господин, сидевший там, в третьем ряду. Вы, кажется, с ним поздоровались? — спросил он Мулея.

— Это советский офицер Гранитов, — ответил марокканец. — Он военный инструктор в Египте. Считается у них одним из самых лучших. Очень дельный человек. Можно с ними соглашаться или не соглашаться, но нельзя отрицать, что они фанатики большой идеи, которой принадлежит будущее.

— Отчего бы вам не осуществить эту идею и в вашем новом государстве? — спросил Дарси сердито.

— Я не коммунист, а убежденный демократ!

— Свобода, равенство, братство — это девиз Франции, — сказала Мэрилин.

— Три точки: «Liberté — point, Egalité — point, Fraternité — point!»<sup>1</sup> — весело повторил Мулей каламбура, слышанный им когда-то в Париже. Мэрилин засмеялась. — Во всяком случае, время французской колонизации Алжира кончилось.

— Оно ведь продолжалось полтора года, — сказала Мэрилин сочувственно; она видела, что Дарси сердится. — И обе стороны не виноваты. Алжирцы не виноваты в том, что хотят быть хозяевами в стране, где они составляют огромное большинство населения, а французы не виноваты, что не могут бросить на произвол судьбы миллионы своих соотечественников.

— Но кто же их звал в Алжир?

— Вы знаете, как началась колонизация Алжира? — спросил Дарси, не глядя на марокканца, обращаясь к Мэрилин и к Лонгу. — Последний монарх Алжира, дей Гуссейн, — уж я точно не знаю, чем дей отличается от бея<sup>2</sup>, — был тиран, дикарь, пират и, разумеется, рабовладелец. Однажды к нему явился с каким-то представлением наш консул Деваль. Дей обмахивался от мух павлиньим пером. Он вдруг расшвырнул и ударил этим пером Деваль по лицу. Король Карл X не мог не отнести этого оскорбления к самому себе и к Франции. Тогда были другие порядки, великие державы дорожили честью и оскорбления не терпели. Мы послали войска, они, разумеется, выгнали дей, и он, захватив свои богатства и пятьдесят жен, благополучно уехал в Англию.

— Таким образом, павлинье перо создало в Африке одну из сложнейших проблем в истории, — сказала с улыбкой Мэрилин. — И вот теперь с остатками колониализма борются миллионы арабских фанатиков.

— Как бы мне хотелось, Шехерезада, увидеть хоть раз в жизни фанатика! Но мне все попадались только лжефанатики, то есть люди, которым для захвата власти, или для лучшего обманывания историков и биографов, или просто для денег очень выгодно прикидываться фанатиками. Когда какой-либо политический

<sup>1</sup> «Свобода — точка, Равенство — точка, Братство — точка» (*фр.*).

<sup>2</sup> Дей — название местного правителя в Алжире в годы, когда он был частью Османской империи; «бей» по-туркски «властелин», синоним арабского «эдер». — *Прим. ред.*

деятель в мире начинает изображать фанатика, я знаю заранее, что это жулик и прохвост.

— Могу вас уверить, что на Востоке есть фанатики, — сказал Мулей. — Люди и теперь не ради выгоды идут на смерть.

— На смерть и на грабеж. К тому же за убийство француза или верного Франции мусульманина убийца получает по шестьдесят тысяч франков. Это сообщили не французские, а американские журналы. Откуда берутся деньги, этого я не знаю, — сказал Дарси, сделав ударение на слове «я». Мэрилин опять поспешила вмешаться в разговор.

— Вы несправедливы, Джорджи, в вас все-таки сидит колониалист!

— Все дело в том, чтобы понять дух времени! — сказал Мулей-ибн-Измаил. Он не хотел ссориться. — Заметьте, я не отрицаю, что Франция много сделала для Марокко, но она взяла у нас гораздо больше. Ваши колонисты пришлый элемент, а хозяева страны арабы...

— Я, напротив, думаю, что Франция вложила в африканские колонии гораздо больше, чем вывезла оттуда, — перебил его Дарси. — Наши колонисты зарабатывают много меньше, чем наши крестьяне у нас дома, а так как наше правительство платит несметные миллиарды на прокладку дорог, на школы, на больницы, на пенсии, то выходит, что французы живут в Алжире на счет французов же. Я полагаю, вы не станете отрицать наших культурных преобразований в вашей стране? Если б французов не было, то у африканских стран, быть может, были бы в высшей степени демократические делегации в Объединенных Нациях и они там произносили бы в высшей степени демократические речи, но дома у вас по сей день беи и деи сажали бы людей на кол, а население погибало бы от голода, болезней и грязи. Кроме того, я не совсем понимаю, что такое на Востоке «пришлый элемент»? В той части Марокко, где находится мое имение, хозяевами были последовательно полубелые, цветные, полуцветные, черные, смуглые, разные берберы, негры, финикийцы, персы, македоняне, карфагеняне, арабы, турки, французы, англичане. А кто пришлый элемент в Палестине? Евреи там жили задолго до мусульман, — сказал Дарси. У него раздражение против арабов теперь выливалось в форму умеренной симпатии к евреям.

— Только нас, американцев, никогда на Среднем Востоке не было, — вставила Мэрилин.

— Это, Шехерезада, совершенно верно: когда я впервые попал в Египет, то Соединенные Штаты там представлял ваш посланник в Греции. Он приезжал из Афин на три недели в год в сопровождении одного служащего, так как двум было бы уже нечего делать. Это вам теперь не мешает учить французов и англичан, какую политику надо вести на Среднем Востоке!

— И даже, не гневайтесь, недурно учить.

«Наверное, у милого Джорджи есть акции Суэцкого канала, поэтому он так раздражен. Это ему совершенно не свойственно», — подумала она, вспомнив, что общие друзья называли Дарси самым жизнерадостным человеком в мире и не без зависти заявляли, что удивляться не приходится: «Богат как Крез, здоров как бык, и женщины виснут у него на шее!» Несмотря на его богатства и на все его удачи, знакомые считали Дарси очень умным и даже замечательным человеком.

— Надо понять дух времени! — многозначительно сказал Мулей, и на его лице появилось то выражение, которое он в последние годы принимал, входя в мечеть. Прежде он был атеистом, как большая часть передовой египетской интеллигенции. — Время колониализма безвозвратно кончилось, оно больше не соответствует принципам демократического самосознания. Французы должны наконец понять, что им нужно уйти из Африки и предоставить всем африканским землям определить свое бытие посредством свободно волеизъявления народа.

— Некоторые мои собратья в своих статьях очень любят жирный шрифт или курсив. А вы, Мулей, и думаете жирным шрифтом, — сказала, смеясь, Мэрилин.

— Я подчеркиваю мысли, имеющие значение для всего человечества. И заметьте, что я тем не менее вижу будущее Марокко не иначе как в тесной дружбе с Францией, на началах равноправия и при ее щедрой экономической поддержке.

— Сердечно вас благодарю за то, что вы любезно соглашаетесь принимать нашу экономическую поддержку.

— Если б она не была выгодна и вам, вы ее нам не оказывали бы.

— Сам Черчилль увел войска из Суэцкого канала, хотя еще не так давно говорил: я стал премьером не для того, чтобы председательствовать при ликвидации Британской империи! — сказала Мэрилин. Лонг нахмурился. Он боготворил Черчилля и хорошо знал, что Уинни не виноват. Чтобы перевести разговор, он рассказал об одном столкновении между Ллойд Джорджем и лордом Керзоном.

— Вы, американцы, заставили Черчилля, единственного умного государственного деятеля в мире (Лонг просветлел), увести войска из Суэца, оттуда пошли все неприятности, а теперь вы этим хвастаете, моя дорогая Мэрилин, — сказал Дарси. — Вы, очевидно, восхищаетесь тем, как вы умно поступили!

— Просто Черчилль умный человек, и он хоть на старости лет понял, что колониализм больше не соответствует принципам демократического самосознания и что его время безвозвратно кончилось. По уму я готов отвести Черчиллю второе место после Неру, — сказал Мулей-ибн-Измаил. Лонг не выдержал и фыркнул. Дарси, ни в грош Неру не ставивший, расвирепел.

Заведующая вошла с картами завтрака и раздала их пассажирам. Просмотрев меню, Дарси решил не отвечать марокканцу так, как было хотел. «Качество, впрочем, будет среднее», — подумал он. В Париже, когда обедал не дома, ездил только к «Максиму», к «Лаперуз», в «La Tour d'Argent», да еще в некоторые известные ему небольшие рестораны, о которых не знали не только туристы, но и большинство богатых парижан. Повеселел и Лонг. Он, напротив, в Лондоне питался не очень хорошо. Жил только на свое жалованье, оно было не очень велико, и при огромных английских налогах ему еле хватало на жизнь. Недавно он должен был из экономии отказаться от второго из своих клубов; младшего сына, вопреки семейным традициям, отдал не в Итон, а в более дешевую школу. Все это лишний раз свидетельствовало, что мир стал не тот.

«У них есть Шато-Икем, — радостно сказал Дарси, взглянув на карту вин. — Как вы думаете, Шехезада?»

— «Тауб!» — сказала Мэрилин.

Гранитов последний час дороги опять провел в баре. Много пил, курил одну папиросу за другой; сделал небольшой запас, на самолете папиросы стоили дешевле, чем в городах. С Гуссейном он успел поговорить, они остались довольны друг другом. У него были с собой русские книги, но читать ему надоело.

Он был коренной москвич. Настоящая фамилия у него была странная и смешная: Ваконя. Псевдоним он себе придумал давно, когда молодым человеком записался в партию. Помимо звучности, имя было хорошо по сходству: тверд как сталь — тверд как гранит. Теперь он немного сожалел об этом сходстве в псевдонимах, но беда была невелика. «Никто не обратит внимания, да еще и неизвестно, как сложатся обстоятельства».

Он вышел из предельных низов общества, родился в районе Хитрова рынка, где его отец был разносчиком дешевой еды. Смутно помнил трактиры «Каторгу» и «Пересыльный». Сохранился у него в памяти и тамошний жаргон, и тамошние легендарные герои, известные громкими делами, — их боялась и полиция. После революции удалось отдать его в школу. Он учился хорошо и немало читал. Лет восемнадцати прочел что-то о Чингисхане и влюбился в него навсегда: собирал книги о нем и даже называл свое собрание по-ученому: «Чингисханиана». Когда выбирал псевдоним, не назвать ли себя Темучином или Темучиновым. Но отказался: имя Чингисхана все же не очень подходило для большевика, да и воинственные инстинкты в нем ослабли. Ему хотелось стать дипломатом, притом непременно тайным. Он поступил в высшее учебное заведение, где преподавались восточные языки. С той поры давно научился одеваться и есть как следует; случалось, хотя и редко, бывать в обществе министров и послов, но в душе остался человеком Хитровки. Полусознательно он и своих сослуживцев, и начальство, и правительство рассматривал как людей Хитрова рынка, у них были те же чувства, действовали те же законы, побеждал тот, кто был сильнее, хитрее, умнее. Гранитов допускал, впрочем, что в начале революции было не совсем так. Ильич, которого он никогда не



видел, был, верно, другой человек. Но Сталин был именно смесью Темучина с хитровскими людьми. Его же помощники и примеси Чингихана в себе не имели.

Впрочем, об этом он размышлял очень мало, а о таких вещах, как торжество коммунизма во всем мире, не думал никогда, даже в юности. Это торжество ему было совершенно не нужно. Однако борьбой советской России с западным миром он интересовался чрезвычайно, как в детстве любил смотреть на драки. В драке двух миров он вдобавок принимал участие, все росшее с годами. Все же предпочел бы, чтобы драка была менее острой и бурной: «Еще черт знает до чего доиграются!» — думал он, разумея новую мировую войну. Думал, что война на этот раз была бы концом советского строя, а падения большевиков он ни в каком случае не хотел. Правда, по его убеждению, никакой строй не мог существовать без органов и войск внутренней охраны, но какие они еще будут при новых людях и кого туда наймут?

Еще более, чем события борьбы СССР с Западом, было ему важно то, о чем они свидетельствовали в распри внутри кремлевской верхушки и к чему могли в ней привести. Он знал, что у него, как у всех, есть секретное досье, и, конечно, были там вещи очень опасные в том случае, если бы оказалась проигравшей *его* лошадь. Конечно, можно было бы перекраситься, но это не всегда удавалось: «Могут не тронуть, а могут и отправить к чертовой матери!» Ему было хорошо известно, что этот вопрос — «на ту ли лошадь поставил?» — имеет огромное значение еще для миллионов или, по крайней мере, для сотен тысяч людей, и это его успокаивало. Проще всего было бы ни с какой влиятельной группой не связываться. Однако это было очень трудно: без влиятельной поддержки нельзя было сделать карьеру. Сталиным он был бы в общем относительно доволен, если б не думал, что тот именно к третьей войне и ведет. Но и «десталинизации» скорее сочувствовал. «Зверь был покойник, что и говорить. Врагов «много мучивше убиша», — думал он, любил старые исторические книги. Допускал также, что десталинизация может привести и к неприятным личным последствиям: «Так сказать, к дегранитизации».

Говорить же о таких вещах, хотя бы и в тесном кругу, было не принято, да и невозможно за отсутст-

вием тесного круга. Иногда он и в Москве слушал иностранные радиопередачи (у него была отдельная квартира, соседи подслушивать не могли). Западных антикоммунистов он считал «шляпами», но вдруг кое-что могли знать и они: кто в последние дни побеждает в Кремле? Обычно ничего толком не узнавал, или же слухи, сообщаемые радиостанциями сегодня, на следующий день оказывались ложными. Идейная пропаганда его совершенно не интересовала. Слова о свободе, о правах человека, о народном волеизъявлении были ему не более интересны, чем рассуждения об астрономии.

Он носил в России мундир, имел немалый чин, однако военным не был, хотя участвовал в разных полувоенных делах на Ближнем Востоке. Теперь он числился инструктором по танкам, но в них понимал весьма мало. В точности еще не знал, какова будет на этот раз его миссия. Он пользовался большим доверием начальства. Разумеется, его жена и дочь остались в России, но так бывало с самыми надежными людьми при их отправке за границу.

Незадолго до отъезда его пригласил на обед главный начальник, непосредственно подчиненный министру. Обед был в отдельном кабинете ресторана, и выпито было довольно много. Из разговора выяснилось, что, в зависимости от обстоятельств, на него может быть возложена одна из трех задач: в Сирии был намечен подходящий диктатор, и следовало приглядеться к людям, к партии Баас, к мукадаму Саррайте, нужно было также завязать сношения с Арабской Лигой. И важно было установить еще лучшее наблюдение за доставкой оружия из Марокко и Туниса в Алжир борющимся с Францией повстанцам.

— Там воюют три шайки, — сказал начальник, человек столь же веселый, сколь дельный и осведомленный, — шайка шейха Махмуда, шайка братьев Фархи и шайка племени Яхта, и, разумеется, они ненавидят одна другую еще больше, чем Францию. Во всех этих трех могущественных армиях не наберется и двух тысяч бойцов. Оружие они преимущественно получали от демократа Бургибы, а тому деньги на содержание Туниса щедро дает демократическая Франция. — Он расхохотался. — Ох, эти демократы! Уморушка! Шейху Махмуду они, кстати, в свое время пожаловали

орден Почетного легиона! А людишкам из Арабской Лиги тоже пальца в рот не клади. И вообще, как вы сами знаете, на Востоке всегда вор на воре сидел и вором погонял. В Египте при Фаруке брали все, начиная с Его Королевского Величества. Теперь они стали добродетельнее, и надо давать больше, чем прежде, потому увеличилась ответственность. Война с тель-авивскими жи... с евреями пока отложена. Бикбаши плачет, что получил от нас еще недостаточно «чехословацкого» оружия. Сколько это нам стоит, и сказать вам не могу! Он должен нам платить своим хлопковым дерьмом, да и то не очень платит. И не знаю, как будет через месяц-другой, что решит наше правительство, но в настоящий момент мы считаем наиболее конкретным делом алжирское восстание.

— А что за люди эти Махмуд и братья Фархи? — осторожно спросил Гранитов.

— Разбойники, — ответил начальник убежденно. Он действительно был уверен, что повстанцы руководятся никак не патриотизмом, и не религиозными убеждениями, и не ненавистью к французам.

— Да, но способные ли люди или портяночники? — осведомился Гранитов, у него в памяти всплыло выражение Хитровка.

— Аллах ведает! Вот к этому и надо присмотреться. Вероятно, способные, хотя и не такие, как Бикбаши.

— Арабы произносят Бимбаши, — сказал Гранитов, щегольнувший знанием арабского языка. — А он что за человек?

— Разбойник.

— Мне, верно, придется его повидать?

— Разумеется. Мы вам это устроим в два счета через Киселька. Да это и нетрудно. Насер обожает аудиенции. Недавно принял того... как его... Ну, тот, которому было поручено убийство Троцкого... Когда будете с ним говорить, изображайте на лице восторг и благоговение: прямо Наполеон! Он и это обожает, — сказал начальник и выпил залпом еще бокал крымского шампанского. — Со всем тем, кто знает, вдруг пошлем вас в Соединенные Штаты, — вдруг добавил он. — В Каире получите окончательную инструкцию.

У Гранитова был дипломатический паспорт, и никаких формальностей на аэродроме не было. Египетские офицеры его не встречали, не были извещены о его

приезде. Встретил его только советский офицер Чумаков, которого он немного знал. Это был настоящий военный и инструктор по танкам. Они прошли к выходу. С аэродрома как раз отъезжал Гуссейн в американском автомобиле, звучное название которого почтительно произносят все автомобилисты мира. «А еще недавно, верно, путешествовал на муле, а то и пешком хождением!» — подумал Гранитов. Его, как и Дарси, раздражало великолепие новых восточных савонников и особенно выражение на их лицах, приблизительно означавшее: «Что ж тут особенного? Да, «кадиллак», и это в порядке вещей». Телохранитель подсадил Гуссейна в машину, поклонился, но отошел как будто не очень довольный. У Чумакова тоже был автомобиль, небольшой и довольно убогий. Гранитов сел с ним и закурил, поглядывая на своего спутника. Ничего прочесть в его лице не мог, кроме той суховатой почтительности без подобострастия, которую встречал у большинства советских офицеров. «Верно, из мужичков. И фамилия крестьянская». Офицеры псевдонимов не имели. Этот, видно, его остерегался.

Гранитов знал, что военные его недолюбливают, и сам их недолюбливал. С одной стороны, правда, считал их наиболее надежными из всех отправляемых за границу советских людей и объяснял это очень просто: «Ничего за границей заработать не могли бы, так как, кроме своего ремесла, ничего не знают. Разоблачениями долго не проживешь, да и какие же им могут быть известны секреты! Ну, две какие-нибудь статейки у них купят, а дальше им денежки даром платить не будут. Разумеется, Жукова, Василевского американцы озолотили бы, да маршалам и у нас дома живет так, что дай Бог каждому, нема дурных, не перебегут!» Иногда он даже задерживался мыслями на том, сколько американцы могли бы заплатить Жукову, если б тот перебежал. С другой же стороны, ничего хорошего в долгом счете нельзя было ждать от этой серой офицерской массы. «При случае такое натворят, что хоть в окно сигай!» — думал он. Теперь смотрел на мужицкое лицо Чумакова и приходил к тем же печальным выводам: «Верно, себя во всем утешает тем, что «служит России и русской армии». На того же Жукова, должно быть, молится, хотя Жуков просто удачливый карьерист и в общем ничем не лучше меня. Разумеется, покупает

романы классиков и читает их вслух жене. Деток, надо думать, без шума окрестили «из уважения к предкам». А сейчас, вероятно, себя спрашивает, зачем я пожаловал: не для того ли, чтобы его сместить?»

Они поговорили о политических новостях в Европе. Гранитов спросил офицера, как идет инструкторская работа.

— Люди, может быть, храбрые, но солдаты не первый сорт. Танка не любят и не понимают. К верблюдам, должно быть, привыкли, — ответил с улыбкой Чумаков. Сам он свое дело знал отлично и безуспешно требовал от своих учеников, чтобы они в танке знали каждый винтик и чтобы все было натерто до блеска.

— Однако бедуины были превосходные воины. Вспомните там разных саладинов.

— Верно, с тех пор разучились, да и какие же египтяне бедуины? — ответил офицер с той же улыбкой, в которой как будто скользнуло и легкое беспокойство: не сказал ли что-либо лишнее?

— Египетские офицеры, однако, говорят, что Бимбаши военный гений? Вы его видели?

— Приезжал к нам раз, — сказал Чумаков со вздохом. — Танка, во всяком случае, не знает, это было видно по его вопросам. Бикбаши значит полковник. Полковником он верно был недурным, хотя воевали мало... Что ж, верно, готовятся к войне с Израилем? — осторожно спросил он. Гранитов чуть развел руками, как бы показывая, что этого он знать не может. Офицер опять вздохнул.

Про себя он думал, что египетская армия никуда не годится и если может победить, то лишь благодаря количеству оружия: беспрестанно приходили все новые тяжело нагруженные пароходы. Чумакову было больно смотреть, что из России уходит такое оружие — были даже МИГ-17! — и отдается людям, не умеющим с ним обращаться и не очень желающим учиться. Но ему на многое в России было больно смотреть, особенно после разоблачений Хрущева о Сталине. В своем кругу советские офицеры теперь, не понижая голоса, говорили: «Как же Россия все это терпела двадцать пять лет! Ведь не только они терпели, но и мы! И как терпели и терпим всю эту скверную постыдную жизнь, вдобавок и почти нищенскую?!» Он мало интересовался деньгами, да офицеры жили все-таки

лучше других. Но когда в Москву нахлынули иностранные туристы и оказалось возможным говорить с ними откровенно, он жадно расспрашивал об условиях жизни, о зароботке европейских, особенно американских, рабочих и крестьян, и ему было стыдно и обидно за русского крестьянина и русского рабочего. «Вот тебе и наш социалистический рай, вот тебе и погибающий Запад!» Единственный моральный выход действительно заключался в том, чтобы верно служить русской армии. Но выход был все-таки порой не очень хороший. Его назначили в Египет, он принял назначение охотно, хотя больно было надолго разлучаться с женой, с детьми, с Россией. Если б его назначили в Израиль, то с такой же готовностью он обучал бы еврейских танкистов.

К возможности войны на Среднем Востоке советские офицеры относились довольно равнодушно. В техническом отношении она была бы не очень интересна просто по размеру вооруженных сил противников. О политической же стороне такой войны старались не говорить: все же иногда, за выпивкой, говорили. Как раз накануне один из сослуживцев Чумакова сказал: «При Павле наши солдатики тоже, разумеется, не знали, зачем нам надо было сначала помогать Англии против Франции, а потом Франции против Англии?» «У Насера, видите ли, савра! — саркастически сказал другой. — По-арабски революция называется савра!»

Все смущенно засмеялись. «Война дело благородное, а вот если пошлют усмирять савру каких-нибудь там вафдистов или негибовцев. Аллах их разберет, то это номер другой, ихних мужиков расстреливать!» На этот раз не засмеялся никто. Некоторые из ужинавших не очень любили и русскую савру. Третий же офицер, выпивший уж слишком много водки, вдруг чуть заплетаящимся языком рассказал анекдот об одном из самых высших советских сановников: «Какой-то безумец в Москве, выйдя на Красную площадь, вдруг стал кричать: «Товарищи! Граждане! Этот наш... совершенный идиот и кретин!» Его, разумеется, тотчас схватили, предали суду и назначили тринадцать лет тюрьмы, три года за оскорбление должностного лица и десять лет за разглашение государственной тайны». Все ужинавшие очень смутились от такого анекдота и, видимо, были недовольны: пей, да знай меру!

Чумаков довез Гранитова, проводил в отведенную ему комнату и тотчас простился. На столе был приготовлен холодный ужин, стояли тарелки, накрытые тарелками же, была и бутылочка водки. «Эх, жаль, что не русская. С Москвы не ел и не пил как следует!» — подумал он. Еда была смесью египетской с русской. За границей он в русские рестораны не ходил, так как там преобладали эмигранты. Ему иногда снились по ночам балык, щи, селедка на сковороде. Все же поужинал с аппетитом и выпил половину того, что было в бутылочке, другую половину оставил на ночь; он плохо спал и часто, вместо снотворного, пользовался спиртными напитками, которые действовали не хуже. Он прилег на кровать, продолжая курить. Часто говорил себе, что этого не нужно делать — еще заснешь и заживо сгоришь, — и все-таки курил и засыпал. Выкуривал пятьдесят папирос в сутки.

В Лондоне он получил предписание: ехать в Каир и ждать там новой инструкции. Из трех назначений, о которых говорил в Москве начальник, предпочел бы отправку в Сирию: было лестно участвовать в выборе диктатора, да это было и легкое задание — любой человек мог быть сделан диктатором. «Наши хитровцы тоже не Бог знает какие орлы... Да и жил бы тогда в Дамаске, все-таки город с гостиницами». Неприятнее всего было бы назначение к алжирским повстанцам. Дело было не в опасности, он был не боязлив. Но пришлось бы жить где-нибудь в шатре или просто под открытым небом, а у него уж были и ревматизм, и артрит. «А лучше всего было бы, конечно, чтоб послали в Америку».

Он с усмешкой подумал, что пора бы нашим опять начать то, что иностранные газеты называли «мирным наступлением» — давно что-то не было. Прежде он и сам приписывал некоторое значение таким внезапным выступлениям Кремля и даже искренно обрадовался, когда наши в Женеве так радостно встретились с президентом Эйзенхауэром. «Слава тебе, Господи! Значит, окончательно войны не будет!» Но потом убедился, что все это ни малейшего значения не имеет: может произойти «мирное наступление», может и нечто прямо противоположное. Взаимно исключавшиеся «наступления» чередовались без последовательности, без причины и даже без смысла. Гранитов представлял

себе, как в Кремле вожди за водочкой весело обсуждают очередную штучку: «Начнем, брат Никита, писдрайв, а?» — «Можно. А то и немного подождем? Пусть дурачье еще поволнуется». Ему было хорошо известно, что в Кремле издеваются над западными державами. Беспрестанное применение приема внезапных перемен, собственно, должно было бы, по его мнению, подорвать этот прием. Однако на Западе политические деятели и публицисты всякий раз обсуждали перемены с глубокомысленным видом, придумывали возможные причины, делали соответственные выводы. «А наши, верно, потешаются, конечно, тоже за водочкой». Сталин пил редко — тоже как некоторые герои Хитрова рынка. Его преемники пили много, и это было одной из причин, по которым Гранитов все-таки предпочитал их Сталину; сам очень любил выпить, и у него было основанное на круговой поруке ласковое сочувствие, которое объединяет пьющих людей, особенно русских.

Взглянув на часы, он подумал, что еще, пожалуй, можно было бы поспеть на какой-нибудь фильм. В Лондоне он ходил в кинематограф довольно часто, и западные фильмы предпочитал русским: «В западных тоже много врут, да у нас уж все глупое вранье». Настоящий восточный фильм посмотрел бы с наслаждением, особенно если б о Чингисхане или хоть о Тимуре. Но какие уж у них в Каире фильмы!»

Он достал из чемодана несколько книг, взятых им из России. Станным образом, любил стихи. В Москве иногда общался с поэтами. Они, скрывая страх, разговаривали с ним запросто и чуть ли не дружески. Еще более странным образом, он даже кое-что в стихах понимал — вроде как Толлятти знает толк в живописи. Перелистал Иннокентия Анненского и повторил вслух стихи о смычке и струнах... «И было мукою у них — Что людям музыкой казалось». Кто-то из поэтов при нем сказал, что лучшего двустипшия нет в русской литературе; сказал и сам смутился: Анненский не принадлежал к поэтам, которых полагалось в советской России хвалить. «А ведь это, пожалуй, правда», — подумал Гранитов. Он иногда за вином говорил, что его работа доставляет ему душевные мучения. «Только ее музыкой не считает никто!» Впрочем, стихи скоро его утомили. Раскрыл уже прочтенный роман и принялся его перечитывать. Ему нравилась красавица



Гюль Джамал, в малиновой рубашке, смуглая, как абрикос, украшенная драгоценными камнями, из которых летели голубые искры.

#### IV

«Ласки твои лучше вина, — сказал Дарси, войдя в столовую. — От благовоения твоих мастей имя твое, как разлитое мирро. Ты красива, как шатры Киндарские, как завесы Соломоновы. Прекрасны ланиты твои, шея твоя в ожерельях. О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна, глаза твои голубиные...»

Суламифь знала, что цитаты из «Песни Песней» у него безошибочное доказательство превосходного настроения духа. Дарси в самом деле приехал очень веселый. Пока он купался, лакей разбирал его чемоданы. Она ждала его в столовой, где стол был накрыт к позднему обеду. Думала, что он, наверное, привез ей подарок; еще ей не сказал: готовил, как всегда в таких случаях, сюрприз. Суламифь просила его выкупаться возможно скорее. «Ну, через час-полтора буду готов», — пошутил он. «Даю тебе двадцать минут. Вообще незачем перед обедом купаться. Самолет не железная дорога, ни копоты, ни пыли», — ответила она. Тоже была в восторге от его возвращения.

Он вышел из ванной через четверть часа в халате. Эту вольность позволял себе только в редких случаях: всегда одевался как следует, «чтобы не опуститься и не потерять уважения к самому себе», объяснял он. Суламифь лукаво думала, что уважения к самому себе у него больше чем достаточно. Но, считаясь во всем с его желаниями, тщательно одевалась к обеду и она, даже тогда, когда гостей не было. Вообще никогда не показывалась ему в сколько-нибудь неряшливом виде.

Его желания она угадывала неизменно и во всем другом. Читала те книги, какие полагалось читать, если только они не были уж очень умные и скучные, искусно скрывала скудость своего образования, разговаривала с гостями о политике, литературе, театре вполне прилично, так что ему никогда не приходилось краснеть за нее. Вдобавок она была музыкальна и недурно играла на арфе. Любила этот инструмент с ранних лет и даже целый год зарабатывала им хлеб.

Родилась она в Александрии, ее отец был небогатый еврейский подрядчик. Лет с пятнадцати она была уверена, что выйдет в люди и завоюет своей красотой то, что в романах иногда называлось «правом на счастье». Еще года через три тайком ушла из дому к гастролировавшему тенору, страстно в него влюбилась, услышав, как он на концерте поет арию из «Тоски». С родителями тогда порвала отношения, очень об этом грустила, но своим смелым поступком немного гордилась, певица сердечно любила, угадывала и его желания, умела ублажать газетных рецензентов. Прожили они вместе довольно долго, изъездили всю Северную Африку, денег не отложили, и пришлось расстаться: он должен был уехать на гастроли в Грецию и Турцию, а антрепренер, ссылаясь на скудость сборов, не хотел оплачивать расходы двоих, но при помощи своих связей достал ей место арфистки в дорогом ночном клубе Каира — говорил, что у нее большой талант. Расставаясь с тенором, она долго плакала. Он тоже прослезился, обещал вернуться к ней и на прощание спел ей арию из «Тоски». Больше он не приезжал, вначале писал, но недолго.

В клубе она играла с успехом. Все восхищались ее красотой, приглашали после выступления к столикам и угощали шампанским. Она подсаживалась неохотно и ненадолго; денежные подарки изредка принимала только потому, что на жалованье клубной арфистки прожить было невозможно. Любовников не имела — до появления Дарси.

Это был с обеих сторон *coup de foudre*<sup>1</sup>. Теперь просто не понимала, как могла любить тенора, хотя он был гораздо моложе и красивее, чем этот французский богач. Восхищалась его умом, остроумием, образованием. Скоро переехала к нему и зажила в роскоши, о которой отроду не мечтала. Жениться Дарси не хотел, но она не теряла надежды. Когда он уезжал, писала ему страстные письма, письмовником не пользовалась, но иногда заглядывала в письма Элоизы. Писала с переводной бумагой и оставляла себе копию: «Он, верно, не сохраняет моих писем?» Если сомневалась в орфографии того или другого слова, писала его неразборчиво: может быть, поставила S, а может, и не

---

<sup>1</sup> Любовь с первого взгляда (*фр.*).

поставила. «Чрезвычайно добра, но сама умиляется собственной добротой... И немного *умышленно* простодушна. Вот как те художники, которые сами себя прозвали «*école de peintres naïfs*»<sup>1</sup>, — с улыбкой думал Дарси.

Он сам приятно удивлялся тому, что она оказалась прекрасной хозяйкой дома. По-французски говорила почти как парижанка. Через полгода он нерешительно взял ее с собой в Париж. Суламифь вполне приемлемо разговаривала с епископами и с актерами, с генералами и со специалистами, с Франсуа Мориаком и с Морисом Шевалье (в доме Дарси, как говорилось, «бывали» все, хотя, разумеется, «все» подбирались в известных пределах). Раз на большом обеде у них встретились египетский и израильский посланники, и она так хорошо их рассадила на математически одинаковом от себя расстоянии, с такой математически одинаковой любезностью говорила с обоими, что Дарси был восхищен. «Ты, верно, врешь: твой отец был не подрядчик, а какой-нибудь герцог!» — сказал он, целуя ее после ухода гостей.

Париж очень ей понравился, все же она предпочитала жить в Каире: любила Восток. И только в самое последнее время грустно пришла к мысли, что им лучше совсем уехать из Египта, ему как французу, ей как еврейке. В отличие от него, на арабов не сердилась: «Что ж делать, это их страна». Теперь больше прежнего надеялась, что он на ней женится: «Как-никак ему пятьдесят лет... В Париже, кстати, никто не знает, что мы не женаты и что я была артисткой в клубе». С родителями она не встречалась со дня своего ухода, но вспоминала о них с любовью и в их честь жертвовала немалые деньги сионистским организациям, — Дарси ругался, но давал. Она его деньгами почти не интересовалась. Сошлась бы с ним, если б он был беден, но, разумеется, было хорошо, что он вдобавок очень богат. Нужды насмотрелась с певцом.

— И все ты врешь, это не Соломон ей говорит, а она ему, — сказала Суламифь, тоже — с некоторым недоумением — любившая «Песнь Песней».

— Ты не смеешь поправлять твоего господина! «N'ai-je pas pour toi, belle juive,—Assez, dépeuplé mon

---

<sup>1</sup> «Школа живописцев-примитивистов» (фр.).

sérail»<sup>1</sup>, — процитировал он из «La Sultane favorite»<sup>2</sup> Виктора Гюго. — Ты собака! И совсем ты не похожа на шатры Кидарские, они были гораздо лучше тебя! — сказал он и наскоро ее поцеловал: долго целовались, когда он вошел в дом.

— И ты тоже не так уж похож на царя Соломона!

— Ты намекаешь на мое брюшко и давление крови? Это только показывает твое глубокое невежество. В недавно найденных у Мертвого моря папирусах ясно сказано, что Соломон весил девяносто восемь кило и что у него давление крови было тридцать.

— Хорошо, перестань чесать язык с первой же минуты после приезда. Сядем обедать. Я тебя ждала и еще не обедала.

— Посмела бы ты пообедать без меня! — грозно сказал Дарси, впрочем, это оценивший. Стол был прекрасно сервирован. На белоснежной скатерти стояли бутылки, в хрустальной вазочке на льду была зернистая икра, — знак того, что по случаю его приезда бессольный режим смягчен. Дарси взглянул на икру умиленно и выпил рюмку эльзасской водки. Предпочитал русскую, но от нее отказался из ненависти к большевикам.

— Когда какой-нибудь советский маршал поумнее и похрабрее свернет шею Хрущеву и Булганину, я опять буду пить русскую водку, — сказал он.

— Это непоследовательно. Икра тоже большевистская, а ты ее жрешь! — сказала Суламифь, влюбленно на него глядя.

— Вся жизнь состоит из компромиссов. Икру заменить нечем, это дар Богов, свалившийся с неба туда, куда он не должен был бы свалиться. Знаю, что ты ее, при твоей еврейской скупости, жалеешь: пятнадцать фунтов килограмм, — благодушно ответил он. Любил ее дразнить. Она ахнула от негодования:

— Евреи самый расточительный народ мира. Они во все времена были богатыми людьми, но, за единственным исключением Ротшильдов, ни одно еврейское богатство в истории не продержалось больше трех поколений. Ты, как всегда, врешь!

— Это произошло оттого, что вы из жадности занимались аферами и потому разорялись. Ты собака.

---

<sup>1</sup> «Не для себя ли я, прекрасная еврейка, опустошил порядком свой гарем» (фр.).

<sup>2</sup> «Султанша-фаворитка» (фр.).

Их особенность заключалась в том, что они наедине разговаривали между собой якобы очень грубо, особенно тогда, когда оба были в хорошем настроении духа. Он стал рассказывать о своем путешествии и, хотя для Суламифи особенно не старался, рассказывал хорошо и остроумно. О делах не сообщил ничего, не любил говорить о неприятном. Она справилась об акциях Суэцкого канала больше из приличия — ничего в его делах не понимала. Дарси считал ее самой бескорыстной из бывших у него любовниц. Всего лет десять назад он был очень недурен собой, но почти всегда платил за любовь. Предпоследняя его любовница — не прямо, но ясными намеками — заставила его перед расставанием купить ей виллу в Канне: на прощание он всегда был особенно щедр и расставался с любовницами почти всегда в очень хороших отношениях. Он рассказал Суламифи, что в самолете встретился с Мэрилин и пригласил ее на обед. Она обрадовалась: эта американка ей очень понравилась.

— Будет еще английский дипломат Лонг, ты его не знаешь.

— Надо будет дать хоть одно восточное блюдо. Как ты думаешь? Тафину? Кускус — это очень банально, все иностранцы его знают.

— Можно, — сказал он. Не любил восточную кухню с бараниной, с бобами, морковью и миндалем. — Ты права, для *couleur locale*<sup>1</sup> одно восточное блюдо желательно, но не больше. Что же ты, дура, не спрашиваешь меня, привез ли я тебе подарок?

— Опять привез! Что же?

— Подождешь! После обеда покажу, — сказал Дарси, предвкушая эффект от своего подарка. «Верно, что-нибудь дорогое», — подумала Суламифь радостно. После такой непродолжительной разлуки он мог, собственно, не привозить ничего. Лакей во фраке и в белых перчатках принес вазу с супом. Каирский дом Дарси был построен им самим и отделан со свойственным ему вкусом на европейский лад, без «восточного элемента», который надоел ему и по отцовскому имени в Марокко. За обедом он рассказывал ей политические новости так, точно они были очень веселые. Суламифь слушала не очень внимательно. Политикой

---

<sup>1</sup> Местный колорит (*фр.*).

интересовалась. Насера терпеть не могла, но Нагиба, скорее, любила. Выше всех государственных деятелей ставила Бен-Гуриона, чем несколько раздражала Дарси, несмотря на его новые симпатии к евреям.

— Это израильский Черчилль!

— Ну вот! С Черчиллем никого сравнивать нельзя. Только нашего Клемансо. Ах, если бы он был жив! — сказал Дарси. Сам он большой активности в жизни не проявлял и, быть может, именно поэтому чрезвычайно почитал государственных деятелей, знаменитых кипучей энергией и твердой волей.

После обеда они перешли в гостиную, куда подали кофе. Эта большая, очень роскошно обставленная, не очень уютная комната была чуть не сплошь завешена произведениями знаменитых художников. Дарси поглядывал на картины, в которых знал каждую подробность. Осматривал с радостью, какой в музее от тех же картин и от еще лучших все-таки испытать не мог бы. «Вот что такое собственность! А эти московские большевики серьезно думали, что можно жизнь построить без нее!» В углу гостиной стояла эраровская арфа. Это тоже был его подарок. Дарси вспомнил о своем сюрпризе и быстро, своей чуть переваливающейся походкой, вышел. Принес великолепное горностаевое манто. Суламифь бросилась ему на шею. Столь дорогого подарка она не ожидала. Тут же зажгла все лампы и примерила перед зеркалом; оказалось, что понадобятся лишь самые незначительные поправки. Он говорил грубые слова и любовался ею. В самом деле, она была очень хороша собой, разве только слишком высока ростом: была чуть выше его (не любил сниматься рядом с ней). «*Sur un tapis de Cachemire — C'est la sultane du sé-gail*»<sup>1</sup>, — вспомнились ему стихи Теофиля Готье.

— Да ты, верно, целое состояние истратил! И еще пошлаина!

— Разумеется, ты этого совершенно не стоишь, собака, — сказал он и опять поцеловал ее. Она вдруг прослезилась от волнения, радости и любви к нему; была вообще слаба на слезы. Он часто называл ее плаксой и ласково говорил, что просто этого не понимает: «Может быть, первая часть твоей жизни была невеселая, но теперь нет женщины счастливее, чем ты!»

---

<sup>1</sup> «На кашемировом ковре султанша из гарема» (*фр.*).

Она всегда тотчас с этим соглашалась: «Действительно нет!»

— Ну вот, пошло! Вытри слезы, мой ангел, и, как в парламенте, «перейдем к очередным делам». Что ты разучила за это время на арфе?

— Твое любимое: фантазию из «Кармен».

— Отлично, молодец! Сейчас же и сыграешь, — сказал он. Ему не очень хотелось слушать музыку. Но до спальни еще оставалось не менее двух часов. Помог ей передвинуть арфу на середину комнаты и перенес для нее стул. Она думала, что «Кармен» не может выйти на арфе хорошо, но знала, что это его любимая опера и что он смыслит в музыке не много: даже несколько гордилась, что хоть в этой единственной области она компетентнее его.

— Не знаю, понравится ли тебе?

— Это мое дело. Только арию тореадора, пожалуйста, пропусти, если ты и ее разучила... Надо было быть совершенным идиотом, чтобы всю жизнь с упоением убивать быков. Теофиль Готье, Хемингуэй, да и сам Бизе, верно, восхищались этим из снобизма.

Она стала играть еще старательнее и добросовестнее, чем прежде, в ночном клубе. Он сидел в кресле, развалившись, и слушал с наслаждением «Хабанеру», даже чуть подпевал вполголоса: «Et si tu m'aimes, — Prends garde à toi!»<sup>1</sup> «Лучше музыки не существует: сама радость жизни!..»

Когда длинная фантазия кончилась, он восторженно назвал ее собакой.

— Больше ничего не играй! После «Кармен» я ничего слушать не могу, — сказал он и посмотрел на часы.

— «Смерть Изольды» еще лучше.

— Что ты понимаешь? — сказал Дарси. Он только раз в жизни слышал «Тристана» и закаялся. — Ты сегодня в твоём самом лоллобриджидовском стиле! — Всегда сравнивал ее то с Лоллобриджидой, то с Брижит Бардо, то с Мэрилин Монро. — «Оглянись, оглянись, Суламита: оглянись, оглянись, и мы посмотрим на тебя. О, как прекрасны ноги твои в сандалиях, дочь именитая! Округление бедр твоих, как ожерелье, дело рук искусного художника. Живот твой круглая чаша, в которой не истощается ароматное вино», —

---

<sup>1</sup> «И если ты меня любишь, будь осторожен» (фр.).

продекламировал он, глядя на нее так, как, верно, юный Соломон глядел на ту Суламифь.

## V

Якуб поссорился со своим работодателем. Он прослужил у него целый год, был телохранителем, для чего очень подходил благодаря своей силе, росту и свирепому виду, но исполнял также разные секретные поручения — для них подходил меньше. Гуссейн должен был иногда доверять ему, как и многим другим, не очень большие деньги. Исходил из того правила, что человеку не только безопаснее, но и гораздо выгоднее исполнять более или менее честно свои обязанности, получать жалованье, жить в довольстве, чем совершить растрату и потерять службу.

Все же из правила везде случались исключения. При первом же деловом разговоре в Каире оказалось, что Якуб не может сколько-нибудь правдоподобно отчитаться в доверенной ему в последний раз сумме. Гуссейн очень рассердился. Напомнил, что уже раз его предупреждал, сказал, что он сам должен отчитываться перед Лигой, и даже грозил привлечь его к суду. Угроза была пустая. Оба они прекрасно понимают, что взыскать с Якуба нечего; да были у них и такие дела, о которых и в благосклонном суде говорить было совершенно неудобно. Но, как ни неблагоприятно было ссориться с таким человеком, Гуссейн его рассчитал. Якуб долго просил оставить его на службе. Когда это ни к чему не привело, он потребовал отступного. «По крайней мере за два месяца вперед и билет на дорогу домой в Марокко». Вид у него был такой грозный, что Гуссейн не очень торговался: заплатил за месяц, дал на билет и на путевые расходы. Получив деньги, Якуб изругал Гуссейна, намекнул, что тот, наверное, сам награл в Лиге гораздо больше, и ушел, не простившись.

Он пробыл некоторое время в Каире. Справлялся, не найдется ли хорошей работы. Но ничего не нашел: репутация у него в самом деле была уж очень плохая. Этому он искренно удивлялся: чем он дурной человек? Раздражение у него росло. Он навел кое-какие справки и после некоторого колебания решил отправиться в Марокко. Гуссейн дал ему денег на билет в самолете, хотя отлично знал, что Якуб, если вообще и уедет, то



будет путешествовать гораздо более дешевым способом. И действительно, он часть пути проделал в автокарах, от одной линии переходил к другой пешком, неся в руке свой новенький, купленный в Париже чемодан. Где-то купил израненного осла. Но тот еле плелся под его огромной тяжестью, хотя Якуб, чтобы поощрить его, тыкал в его раны пальцем. Пришлось прощаться с потерей.

Деньги в дорогеплыли не так быстро, как в Каире, соблазнов не было никаких. Его план мог дать ему очень много, но надо было просуществовать некоторое время. Он кое-что отложил на подарки жене и дочери; этих не пропил. Часто просил людей, проезжающих по большой дороге в автомобилях, подвезти его. Европейцев не просил, их он и людьми не считал. Один автомобилист подвез, этого он ласково поблагодарил и заговорил с ним, но, увидев по руке, что это копт, замолчал: копты были, конечно, лучше, чем французы или англичане, все же своими он их считать не мог. Впрочем, верующим мусульманином не был и в мечеть ходил редко (за границей и ни разу не был). Другие автомобилисты, взглянув на него, быстро проезжали мимо. Он вдогонку посылал им страшную брань. Октябрь стоял теплый, раза два он ночевал под открытым небом, положив рядом с собой отточенный, как бритва, нож. Но чаще стучал к феллахам и смиренно просил гостеприимства. Прежде, всего года три назад, не могло быть и речи об отказе: такова была вековая традиция арабского гостеприимства, и все знали, что гость никогда не обидит хозяина. Но теперь люди остерегались: вдруг этот прохожий из Армии Освобождения или разбойник? В большинстве, однако, пускали, давали хлеба и сладкого мятного чаю. Действительно, Якуб хозяев не обижал, благодарил и разговаривал, ругая неверных. Один феллах его не впустил, взглянув — еще не стемнело — на круглые неподвижные глаза прохожего, смущенно сказал, что нет места, и даже поспешил задвинуть запор на двери. Этого феллаха Якуб осыпал бранью.

Если попадались постоялые дворы, он останавливался там и ругался, что нет баранины и что спать надо вповалку. В Париже он с Гуссейном жил в отеле «Крийон». В Марокко же и постоялых дворов было не много. Уже не очень далеко от Мекнеса он после

некоторого колебания попросил гостеприимства у известного ему, как всем, понаслышке Омара-ульд-Ибрагима. Колебался потому, что не любил отшельников и знал, что накормят очень плохо.

Омар был глубокий старец, с доходившей до пояса желто-седой бородою. Говорили, что ему сто лет, на самом деле ему было за восемьдесят. Во всей округе ходили благоговейные рассказы о его уме, учености, пронизательности и святой жизни. К духовенству он не принадлежал, но был больше чем *халил*: был поэт, угодный Богу.

Знал наизусть Коран и вечно перечитывал книги Сунны, как и некоторые другие, оставшиеся от «Джахилиа», от «темной поры», от времени, предшествовавшего Пророку. Думал, что и в них есть настоящие сокровища поэзии, красоты и глубины. Сам был поэтом, хотя писал не много. Говорил на древнем, *настоящем* языке, очень выразительно и почти всегда торжественно. Жил он в крошечной черной кайме, настолько низкой, что Якуб в ней стоять не мог. На земляном полу было несколько циновок. Костер внутри не зажигался даже в зимние дни. В крошечном саду росли оливковые деревья.

К Омару приходили люди даже из далеких деревень, сообщали о своих делах и просили совета, так как он все понимал и всех видел насквозь. Его советы удовлетворяли людей, а часто приводили в восторг: настоящий любимец Аллаха. Не давал он только медицинских советов и отвечал, что этому делу не учился, да и незачем и невозможно человеку лечиться. Платы никогда не принимал, но из соседней деревни ему часто приносили то кринку молока, то овощей. От этого не отказывался: находил, что поэтам хорошие люди и должны помогать. Если же ему забывали приносить еду, то питался оливками и еще какими-то кореньями: в растениях знал толк, как в людях. Своими скудными припасами охотно делился с прохожими: его, им самим когда-то построенная, хижина находилась у проезжей дороги, и у него в дурную погоду, особенно в месяцы сирокко, часто просили приюта.

Он всех к себе впускал, даже руми и иехуди, даже если угадывал, что прохожий — нехороший человек. Никакому разбойнику не приходило в голову его ограбить, и не только потому, что у него ничего не было,

кроме циновок, круглого низенького столика, убогой посуды и нескольких десятков книг: слишком действовала и на худых людей его репутация праведной жизни, его величественная наружность и внушительная речь.

Когда Якуб постучался к нему, старик уже помолвился, сидя на красном куске сукна и припадая головой к земле. Якуб с необычным для него смущением объяснил, что хочет только переночевать, а завтра на рассвете пойдет дальше. Старик молча его выслушал, глядя на него в упор сверлящим взглядом уже выцветавших глаз под густыми желто-седыми бровями. Омар-ульд-Ибрагим умел по наружности и по говору различать племена и признал, что этот гость со смуглым, почти темным лицом — из рода, давно скрестившегося с неграми и с ренегатами, то есть с потомками руми, бежавших из европейских армий и тотчас в Африке принявших ислам. Ренегатов в Марокко презирали еще больше, чем христиан и евреев. Но старик не считал презрение чувством, достойным поэта. Часто он испытывал незнакомых людей своим способом. Дав согласие приютить пришельца, так же внимательно на него глядя, он неожиданно прочел ему свою любимую сурату. Якуб слушал с недоумением.

— В пору конца темноты, — сказал Омар-ульд-Ибрагим, — жил один знаменитый поэт. Его звали Лебид. Он был врагом Магомета и ненавидел его. Но когда он услышал эту сурату, Лебид воскликнул, что ее мог написать только великий поэт, истинный пророк. И он преклонился перед Магометом и принял ислам. Что ты об этом думаешь?

Якуб ничего об этом не думал и только хлопал глазами. И старику стало уж совсем ясно, что это тупой, нехороший человек, который, верно, не только не молился, но никогда в жизни не любовался бархатным звездным небом. Он подал Якубу таз и кувшин, затем показал ему место на циновке у столика и достал хлеб. Отдал гостю две трети, себе оставил треть.

У Якуба была с собой фляжка с финиковой водкой — покупал в дороге, входя с проклятиями в лавки руми и иехуди. Он не удержался, вышел из хижины и в стороне, оглянувшись, залпом выпил все, что во фляжке оставалось. Старик тотчас догадался, зачем он выходил.

Уписывая с жадностью сухой хлеб, Якуб рассказал

о себе (конечно, далеко не все), о том, где побывал, о том, что делается в мире. Омар-ульд-Ибрагим внимательно слушал, изредка задавал вопросы, которые не очень понравились Якубу. Старик часто говорил с прохожими и о земных делах. Феллахи о Насере и не слышали, как и об Арабской Лиге или о Суэцком канале, да и о Египте знали очень мало. Но он знал гораздо больше, хотя и мало земными делами интересовался. Думал, что в Арабской Лиге есть много нехороших людей. Ему очень не нравился Гамаль Абдель Насер: он безбожник, прикидывающийся правоверным мусульманином; если не все, то многое из того, что он делает, строго запрещено Кораном: старика ужасали сообщения людей, побывавших в египетских тюрьмах, об истязаниях, происходивших там и на следствии. Омар-ульд-Ибрагим очень любил свой народ, считал его благородным, воздержным, благочестивым, мужественным, даже добрым, когда дело шло не о неверных. Учение Пророка было самой гуманной и терпимой из всех существующих на земле религий, в разговорах с посещавшими его простыми людьми Омар внушал им, что неверные тоже люди, что Пророк не раз это говорил и что их предки проявляли терпимость, составившую им славу в мире. Это он внушительно сказал и Якубу. Тот опять захлопал глазами. Он даже не сердился на европейцев, как не мог бы сердиться на шакалов, но не мог и относиться к шакалам, как к людям. Когда же старик неодобрительно отозвался о Насере, Якуб побагровел: он считал Насера самым великим из людей.

— Я всю жизнь ел впроголодь, в моей деревне мы питались хлебом, а я хочу есть каждый день и мясо, — сказал он так, точно они говорили именно об этом. Старик гневно взглянул на него. Он не любил, чтобы ему противоречили, и не привык к этому.

— Ты неумный человек, — сказал он. — И Насер неумный, и многие из вас. И ты пьешь. Помни, что Аллах строго запрещает убийства. Теперь ложись и спи. Я буду спать в саду.

Он вышел. Якуб смотрел ему вслед, очень недовольный и угощением, и особенно разговором.

В Мекнесе он остановился на одном из менее убогих постоянных дворов Медины. Сходил в баню со своим новеньким чемоданом. Хотел было надеть смо-

кинг. Гуссейн, которого он, как телохранитель, сопровождал везде на приемы, велел ему заказать себе этот костюм (готового на его рост не было) и объяснил, что смокинг носят только вечером, непременно с белой рубашкой, черным галстуком и черными туфлями. Все это понравилось Якубу. Хотя он европейцев не считал людьми, их правила соблюдал и все-таки смокинга не надел, так как еще было светло. Обедан он в европейской части города, выбрал хороший французский ресторан. Выпил целую бутылку вина и несколько рюмок коньяку, еще в Париже признал, что коньяк лучше финиковой водки. После обеда, уже в темноте, вернулся в Медину и там разыскал трущобу, где жили его давние приятели. Приняли его с восторгом. Они долго о чем-то разговаривали, много пили и обсуждали важные дела. Ножи были у всех, но револьверов не было. Купить было теперь нетрудно, однако денег у всех было очень мало. Якуб сказал, что револьверы и не нужны: что может быть лучше ножа? Выпили на прощание за успех дела. Вернулся он на постоялый двор поздно ночью и, не раздеваясь, повалился на постель, слишком для него короткую, и тотчас заснул.

Проснулся он со свежей головой; никогда не знал похмелья. Расплатился и с чемоданом в руке отправился в свою деревню пешком: автокары в том направлении не ходили. На суке — был четверг — купил, умело поторговавшись, яркий платок для жены и много сладостей для дочери. Ее он очень любил и радовался близкой встрече с ней. Любил и детей вообще: когда бывали деньги, угощал их сладким миндалем. На окраине в лавке тайком купил у румы водки — оба оглянулись: власти не разрешали продавать арабам спиртные напитки. Якуб купил пол-литра, заплатил двести франков и ушел, ругнув хозяина.

Время он рассчитал так, чтобы прийти в деревню после наступления темноты. Не хотел ни с кем на этот раз встретиться. Он презирал своих односельчан. Почти все они были мирные люди, занимались земледелием и разведением овец, все были очень благочестивы, и не пил почти никто. Он родился в этой деревне, и его там недолюбливали. С детства был драчуном, а когда подрос, наводил на соседей страх. Был вдобавок очень завистлив и с шестнадцатилетнего возраста стал пить. Лет восемь назад женился, прожил с женой года

два, затем бросил ее, продав часть имущества. Жене оставил избу из прутьев, небольшой огород и пять овец — «ничего, проживут». Сначала нанялся на работу поблизости, во французское имение. Там платили недурно, но вида французов и их богатства не мог перенести: все это должно было принадлежать ему. Хотел было пройти в испанскую зону. Там, однако, по слухам, платили меньше, и вся испанская зона была очень бедна; бедные европейцы были ему противнее. Пошел далеко, в Египет, где было много богатых единоверцев. По дороге нанимался на работу за гроши и скоро уходил со скандалом. Не засиживался у работодателей и в Египте. Богатые единоверцы тоже показались шакалами. Раз в год или в два года возвращался в свою деревню, иногда на осле, а то и пешком.

Когда в Африке начались бурные дела, он, с кем-то сговорившись в Каире, — на автокарах — отправился в Алжир. Там пробыл довольно долго, вернулся в деревню со свежим кровавым шрамом на лице, привез немало денег. Теперь много хвастал — рассказывал, что ведет борьбу за освобождение арабов и что ему очень везло, удачно убивал французов. Слушали его с интересом, хотя и недоверчиво. В деревне тоже очень не любили неверных, но воевать с ними никто не хотел. На суке некоторые робко говорили, что французы теперь платят большие деньги старикам и больным, а кто будет платить, когда они уйдут? Якуб это опровергал с презрительным смехом: «Только дурак может верить, что людям платят за старость и болезнь! И только негодяй может верить посулам французов, они десятилетиями сосут кровь арабского народа».

Жена была не слишком рада его приезду, но скрыла это и очень благодарила за платок. Девочка же чрезвычайно обрадовалась ему и сладостям. Он долго, со счастливым лицом, поднимал ее в воздух и опускал на землю. Было время пятой молитвы. От жены и дочери он требовал благочестия. Хотел было сказать им что-либо из Корана, однако ничего вспомнить не мог. Жена побежала за яйцами, бобами, сладкой картошкой. Хотела было даже зарезать курицу, но не решилась, — мясо она с дочерью ела раз десять в год, не больше. Тем временем он выпил полсклянки водки. За обедом он обо всех в деревне расспрашивал; хмурился,

узнавая, что такой-то разбогател и купил вторую лошадь; просветлел, узнав, что у другого звери съели несколько овец.

Девочка легла, зажав в кулачке сахарную фигурку, и тотчас заснула. Он сообщил жене, что уйдет еще до рассвета: дела, — быть может, опять отправится в Египет. Она спросила, далеко ли это, и узнала, что очень далеко. Вышел один подышать свежим воздухом. Улица была совершенно пуста, в хижинах было темно. Ночь была лунная. Он прошел, никого не встретив, до опушки леса. Думал, что, быть может, всего этого никогда больше не увидит. Впрочем, почти не сомневался в успехе дела. Допил водку из склянки и, вернувшись, объявил жене, что хочет лечь с ней. Она сначала отказывалась. У него лицо вдруг стало страшным. Он сдавленным голосом сказал, что, верно, у нее есть другой, он завтра же его разыщет и зарежет. Она очень испугалась и уступила ему.

Ушел он в самом деле еще до того, как рассвело. С женой простился ласково, оставил ей немного денег, приказал купить девочке еще сластей. Велел никому не говорить о том, что он приходил. Посмотрел на спящую дочь и быстро удалился.

Жена не удержалась и рассказала о его приходе: все равно девочка расскажет. С гордостью показывала соседям платок (о деньгах ничего не сказала) и объясняла, что он в душе добрый человек и любит ее, был бы совсем хорош, если б не пил. Соседи с сомнением качали головой. Только мальчишки жалели, что его не видели. У них он был популярен из-за огромного роста и страшной силы. С восторгом говорили, что он когда-то голыми руками задушил пантеру, — сам им рассказывал! «А может, и врал: пантеру голыми руками не задушишь», — возражали, впрочем, скептики.

## VI

Через несколько дней после своего приезда в Каир, где у него были дела, Мулей-ибн-Измаил позвонил по телефону к Мэрилин. Американская журналистка чрезвычайно ему понравилась. Не сомневался, что чрезвычайно понравился ей и он. Мулей считал себя неотразимым. Многочисленные успехи у женщин, за-

тем большие удачи в политической карьере усилили в нем эту веру. Еще недавно перед каждым своим действием он мысленно обсуждал три возможности: худшую, лучшую и самую лучшую. Теперь с худшими почти не считался: они маловероятны. Лучшей возможностью в настоящем случае был роман с Мэрилин, а самой лучшей, пожалуй, и брак с ней. «Разумеется, она очень блестящая партия: красавица, знаменитость и, наверное, богачка» (он слышал о ее огромных гонорарах). «Правда, есть и минус: как народ отнесется к моей женитьбе на христианке?» Он теперь думал, что марокканский народ очень следит за его личной жизнью. «Ну, там будет видно!» — думал он, как мог бы думать Наполеон, начиная сражение под Аустерлицем. Было, наконец, и дело. Он очень хотел дать ей интервью. Разумеется, это надо сделать так, чтобы не он просил ее, а она попросила его. Заговорил он с ней по телефону радостно, тоном старого знакомого. Сказал, что ему удалось достать два кресла в тот кинематограф, где все всегда нарасхват, и предложил ей поехать с ним, — «говорят, это замечательный фильм!»

Она согласилась с некоторым недоумением. Но в этот вечер ей было нечего делать, вообще, она уже скучала в Каире и собиралась улететь тотчас после интервью с Насером. Была вдобавок в плохом настроении духа. Утром через свою редакцию получила от неизвестного ей читателя издевательское письмо по поводу недавней своей статьи. Автор, долго проживший в восточных странах, говорил, что она не имеет никакого представления о Востоке, что она просто по-женски восхищается дешевой поэтичностью людей в белых тюрбанах и что она лучше сделала бы, если б вернулась в Соединенные Штаты и писала о дамских модах.

Несмотря на миллионный тираж ее журнала, Мэрилин очень редко получала оскорбительные письма. Была общей любимицей и просто не думала, что у нее могут быть враги. Письмо не только очень раздражило ее, но и расстроило. «Разумеется, этот господин врет со злости или от зависти! Может быть, он сам захудалый журналист или просто неудачник или у него болезнь печени?.. Есть ли хоть доля правды в том, что он пишет? Разумеется, нет!» — говорила она себе. Но



в душе у нее все-таки шевельнулась мысль, что маленькая, очень маленькая, крошечная доля правды может быть в словах этого негодяя. Действительно, ей в свое время необычайно понравился гигант-красавец Ибн-Сауд. Действительно, ей, при всех ее симпатиях к Индии, внушал некоторую антипатию Кришна Менон с его огромным мясистым носом и с костлявыми руками. «Но это ровно ничего не значит. Все вздор, дамского подхода у меня нет. Иден — один из красивейших людей мира, а я о нем писала очень критически».

В отличие от Мулея, она не была влюблена в себя, хотя могла бы быть: знала, что умна, талантлива, обворожительна. Столько людей было в нее влюблено! Ей не раз предлагали руку приятные и даже интересные люди, правда, все-таки неравные ей по рангу и известности. Она отказывалась от их предложений. Говорила, что при своих вечных разъездах по миру настоящей семейной жизни иметь не может и не желает брака, который через год или два закончился бы поездкой в Рено. Но теперь в очень дурном настроении духа думала, что ее жизнь сложилась все-таки неудачно, что ждать больше нечего: еще поездки, еще интервью, еще перепечатки ее статей в «Reader's Digest» — и, в сущности, больше ничего, разве только что книга станет bestseller-ом, да и живут такие книги много, если три месяца.

После обеда Мулей за ней заехал. Был в смокинге, с бриллиантовыми запонками. «Это в кинематограф...» Он показался ей немного вульгарным. Говорил с ней очень много и изысканно, как, по его мнению, разговаривали в лучших парижских салонах; в Париже до войны еще существовали салоны, но он в них никогда не бывал. Раза два спрашивал ее, с кем у нее предполагаются в ближайшие дни политические беседы. Она тотчас поняла, чего он хочет; да понять было и нетрудно. Однако для интервью с ней он был еще недостаточно известен. Она сделала вид, что не понимает.

— Послезавтра у меня назначена беседа с Бикбаши.

— О!

— У меня бывали беседы и с более высокопоставленными людьми... Кстати, думаете ли вы, что ваш султан мог бы поговорить со мной?

— Его Величество убежденный демократ, но получить у него аудиенцию было бы трудно даже такой

знаменитой журналистке, как вы. Впрочем, могу вам сообщить, что некоторые сановники, в том числе и я, хорошо знают все мысли Его Величества. И нам хорошо известно, что вы защищали и защищаете наше дело. Говорят, вы влюблены в Средний Восток, — сказал он, многозначительно на нее глядя. Но уже начинался спектакль.

Для начала показывались какие-то чудеса техники в России. Советский ученый производил опыты в своей лаборатории. Мулей вполголоса сообщил ей, что скоро станет известным гениальное изобретение одного марокканского ученого. Оно произведет в военной технике такой переворот, по сравнению с которым атомная бомба окажется пустяком.

— Да, вам пора тоже делать открытия, — сказала Мэрилин. Он раздражал ее все больше. — А то в изобретении атомной бомбы принимало участие немало евреев и полуевреев — Эйнштейн, Оппенгеймер, Ферми, Тейлор, и ни одного араба! Вообще, надо помнить, что на одной дешевой поэтичности людей в тюрбанах долго держаться нельзя. Надо делать дело!

Мулей смотрел на нее удивленно и обиженно. Впрочем, она сама тотчас пожалела, что сказала это: не любила говорить неприятности.

Потом показывался фильм «Падение Берлина». В последнее время советские фильмы вошли в большую моду в Каире. Все очень восхищались Россией — преимущественно тем, что она так могущественна, никого не боится, даже Соединенных Штатов. Главные батальные сцены вызвали в зале восторг, хотя в пору войны громадное большинство египтян было на стороне немцев. Мэрилин восторгу не выражала. В фильме ничего предосудительного не было, в 1945 году немцы были врагами Соединенных Штатов; но она не любила батальных фильмов, подвиги русских войск показались ей преувеличенными, а честная мужественная советская девушка чуть комичной. Мулей все время что-то шептал ей. Говорил, что Россия великая страна, что Достоевский и Маяковский гениальные писатели, что советская армия превосходна и что вожди большевистской партии фанатики. Когда на экране появился Сталин, Мэрилин фыркнула. Мулей ничего не сказал. Под конец он очень похвалил игру честной и мужественной русской девушки.

Зал осветился, и они издали увидели Лонга. У

него вид был очень угрюмый. Он встретился с ними взглядом, поклонился довольно холодно и тотчас отвернулся. «Так, уже ходит вдвоем в театр с этим арабом», — подумал он. У выхода они столкнулись и обменялись несколькими словами. Он спросил о Дарси и о его обеде. Мэрилин ответила, что больше ничего не слышала.

— Верно, мне уже не придется побывать у него, я через несколько дней уезжаю, — сказал Лонг и простился.

— Должно быть, его миссия не удалась, — сказала Мэрилин с улыбкой. Мулей весело засмеялся.

— Я тоже думаю. Кончен английский престиж! Начинается американская эра в истории, — сказал он и предложил ей заехать в бар: хочется чего-нибудь выпить. Мэрилин опять согласилась, не зная зачем.

Он подозвал такси. Своего автомобиля еще не имел, собирался *начать* с «кадиллака», а это было пока для него слишком дорого. В автомобиле он опять сказал, что знает все мысли и планы султана:

— Как и он, я представляю себе будущее Марокко в тесной дружбе с Соединенными Штатами, при их мощной экономической поддержке. Америка величайшая из стран.

Мэрилин благодарила и поддакивала без горячности.

— А вот один француз, долго живший в Африке, — сказала она, имея в виду Дарси и не желая его называть, — говорил мне, что здесь никому не верит и что нас, западных людей, скрыто ненавидят решительно все. Вы все будто бы наши враги!

— Это совершенная неправда! Французам лучше было бы молчать. Их престиж тоже кончился. И они во всем перед нами виноваты!

— Не во всем, далеко не во всем. Я тоже не верю его словам. Как может один народ ненавидеть другой?

— Верно, этот ваш француз очень боится потерять свои грабительские доходы! Так думать — значит не верить в народную душу и в самую основу демократического мирозерцания, потому что...

— Несчастье колониальной проблемы заключается именно в том, что в ней нет виноватых! — перебила его Мэрилин. Забыла, что уже говорила это при нем на самолете. — Помните ли вы, что Жорж Дарси рас-

сказывал нам о павлиньем перо. По-моему, тут какой-то символ колониализма: честь, престиж, а из-за них потоки крови, без чьей-либо особой вины. Я хочу так назвать статью: «Павлинье перо».

— Я всегда восхищался вашим огромным талантом, особенно вашими интервью, — сказал он. Мэрилин вяло поблагодарила.

В модном, по-американски обставленном, еще полупустом баре они уселись за столик довольно далеко от стойки. Он заказал себе Pernod, выпил его залпом, много говорил и быстро, одну за другой, ел тонкие полоски frites<sup>1</sup>. Ее раздражал хруст. Мулей-ибн-Измаил успел ее утомить. Почему-то она подумала, что в молодости он, верно, питался одной картошкой, ходил босой, в грязной рубашке. «Но ему только делает честь, что он умел выбраться в люди», — ответила она себе, подавляя зевок. Со второй рюмки он, перейдя от картошки к оливкам, переменял разговор совершенно для нее неожиданно. Заговорил о том, что высшее счастье в жизни любовь. Она пила «Том Коллинз» и слушала с все росшим недоумением. Теперь действительно не понимала.

— Неужели? Я думала, что ваша главная цель в жизни власть?

— Да, если хотите. Но власть мне нужна для того, чтобы сложить ее у ног любимой женщины! У такой женщины, как вы! — ответил он, страстно на нее глядя.

Мэрилин расхохоталась так звонко, что мужчины, сидевшие у стойки на высоких стульях, оглянулись. Мулей изумленно на нее взглянул и почувствовал себя так, точно из какого-то ушата на него стала литься все усиливающаяся струя ледяной воды.

— Здесь можно отлично поужинать, — не совсем кстати нерешительно предложил он. Она продолжала хохотать. И вдруг ему стало ясно, совершенно ясно, что при всем блеске его беседы, при всех ее симпатиях к угнетенным нациям, при всей его неотразимости он, араб, для этой влюбленной в Средний Восток американки не существует, просто не существует.

Дом был двухэтажный, частью кирпичный, частью тесаного камня, с внутренним двором, с каменными

---

<sup>1</sup> Жареный картофель (фр.).

лестницами, с какими-то подобиями бойниц, — в далекие времена был арабской крепостью. В первом этаже были парадные комнаты, мандар, еще зал с фонтаном, гостиная, столовая. Они отделялись длинным коридором от небольших, неровных комнат для многочисленной арабской прислуги. Во втором этаже были спальни. Там же рядом у бея помещался гарем, состоявший из одной большой комнаты и нескольких окружавших ее малых. Для couleur locale отец Дарси оставил неприкосновенным помещение гарема, с его низкими диванами, с множеством диковинных часов, с богато разукрашенными мозаикой низенькими столиками. Главные коллекции находились в парадных комнатах. В гостиной висела надпись: «Вы, идущие ко сну, отдайте помыслы Тому, кто не спит никогда». Дарси переводил гостям эту надпись. Коллекции же показывал человеколюбиво, без жестокости, не очень долго: знал, что большинство гостей мало смыслит в арабских коврах, в мекнесских многоцветных тканях, в маракешском оружии, инкрустированном золотом, серебром и слоновой костью: четверть часа добросовестно восхищаются, затем начинают зевать. Он не мог научить арабскому искусству даже Суламифь. Она тоже восхищалась, но про себя думала, что в Александрии, в небогатой квартире ее родителей, была приблизительно такая же мебель и такие же ковры, но только там они были не старинные, а просто старые, истертые, грязноватые, купленные по случаю за гроши.

Они прилетели в Мекнес вечером. На аэродроме их ждал очень неприятный сюрприз.

Знакомый француз, оставшийся на службе у султанского правительства, вполголоса им сообщил, что в окрестностях города произошли серьезные беспорядки. Очень куда-то торопясь, он кратко им посоветовал уехать возможно скорее и, во всяком случае, в имение не ездить. «Переночуйте в «Трансатлантике», там теперь свободные комнаты есть, а завтра непременно уезжайте», — сказал он и, быстро простившись, убежал.

К ним подошел их шофер араб. Приветствовал хозяев почтительно, но как будто менее почтительно, чем обычно, и вид у него был не обычный, не то радостный, не то растерянный. Дарси нерешительно совещался с Суламифью.

— Как же мы можем остаться в Мекнесе? Ведь тот

завтра приезжает к нам в имение подписывать условие! Да и какая может быть опасность? Дом полон слуг.

— Разумеется! — бодрым тоном ответила она, но подумала, что ведь слуги все-таки арабы, хотя и хорошие люди. Повар-француз остался в Каире. — Завтра подпишешь условие, и тотчас после этого можем уехать.

В эту минуту на аэродром стал входить воинский караул. Он состоял из *французских* солдат. Новые султанские войска тоже носили французские мундиры, но с зелеными беретами. «Эти, слава Богу, *наши!*» — радостно подумал Дарси. И точно, вид настоящих французских войск совершенно его успокоил, он повел Суламифь к автомобилю. Шофер понес за ними несесер. Они приехали без вещей, так как собирались на следующий же день вылететь назад. Да и в имении всего было достаточно.

По дороге он расспрашивал шофера. Тот по-французски говорил еще хуже, чем Дарси по-арабски. Суламифь помогала. По словам шофера, какие-то беспорядки как будто были, но он о них толком ничего не знал. Еще, что газолитра осталось мало, придется за ним съездить отдельно.

— Когда отвезете нас, поедете. Могли подумать об этом раньше, — сухо сказал Дарси.

Было уже совершенно темно. Им отворил дверь швейцар, и его вид тоже показался Дарси странным. Впрочем, он очень заботился и суетился. Сказал, что слуги легли спать. Дарси остался недоволен и этим: кто-нибудь мог подождать приезда хозяев. Тоже подумал, что все в доме — арабы и берберы. Суламифь тотчас отправилась осматривать комнаты. Швейцар почтительно бежал впереди и зажигал лампы. Теперь она на все смотрела уже не прежним хозяйским взглядом: имение завтра должно было стать чужим. «Сегодня будет тут наш последний вечер!» — грустно подумала она: в последние дни нерешительно говорила Дарси, что, быть может, все-таки за бесценнок продавать не следует.

Все в доме было в полном порядке, и почему-то это рассеяло ее беспокойство. В спальне постели были постланы. В бывший гарем не заглянула. Спустилась по лестнице, прошла по мандару, по другим залам и вошла в столовую. Тут тоже слуги позаботились. На

столе стояли два прибора, блюда и бутылки. Есть ей не хотелось, они плотно пообедали на самолете. Больше из любопытства подняла с одного из блюд серебряную коническую крышку. Был *тафине*, пирог из голубей с оливками, миндалем, лимоном и бобами. «Мое любимое. Верно, в «Трансатлантике» и купили». В отличие от Дарси, она очень любила восточную кухню. Суламифь отпустила швейцара и дала ему понять, что на прощание он останется ими доволен.

Дарси сидел в небольшой выходящей окнами во двор гостиной первого этажа. В этой комнате они обычно проводили вечера. В ней пол и три стены были покрыты дорогими коврами. На коврах висели сабли и кинжалы. И только на четвертой стене ни ковров, ни оружия не было. Была только картина Утрилло, купленная когда-то за бесценок, а теперь не имевшая цены. Все другие картины были либо в парижском, либо в каирском доме Дарси. Эту он как-то привез из Франции прямо в имение и почему-то оставил здесь.

Это был пейзаж, изображавший перекресток в какой-то деревушке, вместе и обыкновенной, и таинственной. На фоне была мельница с синим верхом, на первом плане непонятно куда ведущие синие ворота. Обычно Дарси казалось, что этот пейзаж так и дышит счастьем, сознанием красоты и радости жизни, — просто непонятно, как это мог написать человек, бывший, по-видимому, душевнобольным? Но иногда, в худые свои минуты, он с некоторой тревогой думал, что есть в воротах этого пейзажа что-то издевательское, почти дьявольское, точно злая насмешка над теми, кто в эту самую радость жизни поверил бы. «Все-таки большой, очень большой был художник! — и теперь подумал Дарси. — Надо было бы к кому-нибудь позвонить по телефону и узнать, какие произошли беспорядки и где? Да не к кому, и уже поздно». Он взял с этажерки первую попавшуюся книгу.

Араб покупал дом со всей обстановкой, кроме библиотеки и коллекций, ими он не интересовался, да их Дарси и не продал бы. Транспортная контора в Мекнесе должна была с завтрашнего дня начать упаковку. Он давно знал управлявших ею французов. На них можно было положиться: все аккуратно примут по списку, бережно уложат, отправят в Париж и там по списку сдадут. Суламифь, правда, говорила, что лучше

было уложить вещи еще при них, а то покупатель может кое-что оставить себе. Но Дарси отвечал, что покупателя он тоже давно знает, это очень честный набожный мусульманин. «Завтра непременно и уедем», — думал он, прислушиваясь с некоторой нервозностью к грохоту автомобиля. Это уезжал за газолином шофер. «Оружие я им оставляю в подарок». Французские власти не так давно роздали европейцам старые винтовки системы Гра, револьверы, а также ракеты для сигнализации воинским частям на случай внезапного нападения. Всюду были вышки с часовыми. Осторожные люди держали оружие у окон, но Дарси даже не вынул его из ящика. «Какое там нападение — на дом, где восемь мужчин!»

— Они оставили нам в столовой ужин, — сказала Суламифь, входя в гостиную. — И нет ничего странного в том, что они пошли спать: они могли думать, что мы приедем позднее, — бодрым тоном добавила она (хотя он и не говорил, что находит это странным).

— Ты, верно, есть не хочешь?

— Думать о еде не могу. Но чаю я выпил бы.

— Я тоже. Тогда лучше будем пить здесь.

— Знаешь что? Хотя и поздновато, я, пожалуй, позвонил бы по телефону в Рабат к этому покупщику. Хочу попросить его приехать завтра пораньше, мы тогда тотчас улетели бы. Что ж тут сидеть?

— Пожалуй, позвони. В десять часов он едва ли уже спит. Тогда ты этим займись, а я заварю чай.

Она вышла. В длинном коридоре было темно и что-то уж необычно тихо. Комнаты прислуги все выходили в коридор, мужская помещалась с одной стороны, женская с другой. Обычно под дверьми свет виднелся и в более поздний час и доносились веселые или ворчливые голоса. Она остановилась и прислушалась. «Ничего... Странно!» Прошла на кухню, выходящую в среднюю часть коридора, поставила воду на огонь, опять зачем-то вышла в коридор. «Точно их нет! — с жутким чувством подумала она. — Да что же, впрочем, тут странного! Ну, легли и уже спят!»

Когда вода вскипела, Суламифь вернулась в гостиную с подносом, с чайником, чашками.

— Что же он ответил? В котором часу приедет?

Дарси развел руками.

— Непонятное дело! Телефон не отвечает!



Суламифь изменилась в лице.

— Неужели за время нашего отсутствия они ухитрились испортить телефон. Или?..

— Или что?

— Нет, вздор!.. Ну, давай пить чай.

Она налила воды в два чайника. Сама пила марокканский, мятный и сладкий. Очень его любила. Разговор не клеился. Она придумывала вопросы.

— Что это ты читал?

Он назвал пьесу Клоделя с некоторой досадой — не только потому, что был дурно настроен. Ему не нравились новые драмы. По его мнению, французский театр был гораздо интереснее и талантливее в ту пору, когда был правдив и реален, хотя бы в еще недавнее время Порто-Риша, Бека, Бернштейна. Этот жанр, по его мнению, не мог устареть, как не могли устареть романы Стендаля, Флобера или Толстого: «Напротив, очень быстро старятся и скоро становятся смешными пьесы с поэтическим завыванием». Ему в этот вечер не очень хотелось говорить — он все без причины нервно оглядывался по сторонам, — но молчать было еще неприятнее. Дарси поговорил о театре, затем о том, как они хорошо заживут в Париже, и наконец, вспомнив о «Песне песней», своим обычном источнике радости, привел некстати цитату. «Прекрасна ты, возлюбленная моя, как Фирца, любезна, как Иерусалим, грозна, как полки со знаменами. Уклони очи твои от меня, потому что они волнуют меня!» — сказал он якобы весело. Но ни Суламифь, ни он сам и от «Песни песней» в этот вечер не развеселились. «Так совсем впадем в черную меланхолию!» — подумал он и предложил сыграть в шахматы. К слову рассказал, что где-то у кого-то были в Париже необыкновенные шахматные фигуры, будто бы точная копия тех, которые Гарун-аль-Рашид послал в подарок Карлу Великому.

— Шахматы только отобьют сон.

— Да не ложиться же спать в десять! — сказал он раздраженно. Она тотчас согласилась. Дарси опять оглянулся, его взгляд скользнул по пейзажу Утрилло, и снова ему очень не понравились синие ворота: «В самом деле, точно издеваются. Того и гляди, отворятся!» Сказал, что, пожалуй, выпил бы вина. Суламифь пошла в столовую за бутылкой. Он сел за столик к

двери, которая вела в длинный коридор. Принесенное Суламифью вино оказалось обыкновенным марокканским. Дарси совсем рассердился. Сказал, что эту бурду пить не будет.

— Да, они, видно, ошиблись.

— Так вот, я их разбужу, пусть кто-нибудь из них соблаговолит встать и спуститься в погреб! — сказал он и сердито нажал пуговку звонка. Суламифь, тоже нервно оглядываясь, ждала с беспокойством. Никто не приходил.

— Что такое! Ведь швейцар, во всяком случае, еще не мог заснуть!

— Лучше на ночь не пить, — еле выговорила Суламифь. — Да, сыграем в шахматы.

Она принялась расставлять фигуры. Пальцы у нее немного дрожали. Дарси продолжал звонить. Затем махнул рукой.

— Завтра я с ними со всеми поговорю как следует!

— На прощание уже не стоит. Ты, кстати, составлял список, сколько каждому дать?

— Не составлял. Просто дадим каждому жалованье за два месяца вперед... А, ты дебютируешь пешкой от королевы? Ты всегда начинаешь пешкой от короля.

Они теории не знали, и оба играли плохо. Дарси знал разные истории о шахматах. Как, совершенно не играя на арфе, он удивлял Суламифь разными замечаниями об истории этого инструмента и о заслугах Себастьяна Эрара, так по поводу шахматной игры: называл имена ее первых мастеров, называл гамбиты, говорил, что слово «мат» значит по-арабски «смерть», и так далее. Рассказывал анекдоты и в этот день, был особенно невнимателен. Когда большая часть фигур еще не была разменена, сделал важный промах.

— Мат! — сказала Суламифь, передвинув ладью. Он что-то пробормотал с досадой. Вдруг на ее лице изобразился дикий ужас. Она поверх его головы смотрела на стеклянную дверь во двор. В ту же секунду странно прозвенело разбивающееся стекло. Дарси оглянулся и вскочил. Ручка повернулась.

— Что это!.. Что такое!

Дверь растворилась. В комнату ворвался огромный человек с маской на лице и с ножом. Суламифь закричала отчаянным голосом. Дарси сорвался с места и бросился к стене за оружием. Синие ворота вдруг

растворились настезь. Человек в маске, как кошка, одним скачком настиг его и изо всей силы всадил ему нож между лопаток. «А-а-а!» — диким криком закричала Суламифь. Ворвавшиеся в комнату другие люди в масках бросились на нее.

## VII

Незадолго до назначенного для приема времени Насер своей быстрой тяжелой походкой вошел в служебный кабинет в том здании, где он принимал посетителей, не принадлежавших к числу друзей. Адъютант передал ему список лиц, которым в этот день был назначен прием. Первым должен был войти Гранитов. Для него накануне была спешно испрошена аудиенция, Насер не очень знал, кто это такой. Так у него часто бывало с советскими людьми: «Может быть, этот и повыше посла? У них не разберешь». Он взглянул на часы. Оставалось еще шестнадцать минут; твердо запомнил, что точность — вежливость королей.

Как все главы правительства, он работал часов десять в сутки, иногда и несколько больше. Правда, сюда входили и полагавшиеся по его должности «развлечения», то есть те же приемы, за чашкой чаю. Но они были еще утомительнее деловых аудиенций. Еще недавно он был очень крепким человеком. Теперь утомлялся быстрее, чем прежде, да и нервная система успела уже немного расшататься. Беседы с иностранцами составляли одно из главных его удовольствий. Он научился хорошо говорить (в начале карьеры не умел) и теперь всегда вел разговор. Это было легче: при ответах на вопросы всегда можно было сказать что-либо лишнее. Между тем разговоры бывали связаны с ответственностью или с тем, что так называется у диктаторов.

Главная цель была в том, чтобы ничем, ни словом, ни жестом, не уронить своего достоинства на Западе: о египетском общественном мнении можно было не беспокоиться: все равно газеты напишут то, что им будет велено писать. Затем необходимо было очаровать собеседника. Тут можно было быть, в зависимости от обстоятельства, грозным, ласковым, величественным, добрым, страстным, холодным, фанатиком, реали-

стом — мало ли чем надо было быть; считался, разумеется, с историческими прецедентами, разные были в истории диктаторские жанры. Еще недавно он был скромным провинциальным офицером и только приступал к ознакомлению с мировым историческим паноптикумом.

Теперь его задача в жизни определилась совершенно. Своих идей у него было очень мало, но к его услугам были чужие, и он привык усваивать их быстро, менял, по мере надобности, легко. Уже несколько лет он считался вождем мощного движения, называвшегося панарабским или даже панисламистским. Это было хорошо. Политики, желавшие ему понравиться (их было немало и за границей), называли его создателем движения. Это было еще лучше — он принимал благосклонно, как должное, хотя эта идея была тоже чужой и довольно старой. К исламу он в душе относился довольно равнодушно. Египтян любил, других же арабов почти не знал, кроме тех высокопоставленных людей, с которыми встречался на разных совещаниях; они в большинстве были очень ему неприятны, особенно короли. Догадывался, что они тоже его терпеть не могут, признают выскочкой и завидуют его престижу. Считал их ничтожными или, во всяком случае, незначительными людьми: им власть досталась по рождению, а он ее достиг сам, своими заслугами и гением.

С юношеских лет он был честолюбив и властолюбив. Как было со многими другими будущими диктаторами, он, подобно Колумбу, искал Индии и попал в Америку. Молодым офицером надеялся на хорошую военную карьеру и мечтал стать генералом — хорошо бы, если б несколько раньше полагавшегося обычно срока. Но войны не предвиделись, и египетская армия существовала больше на бумаге. Жизненный путь определился у него так же случайно, как, например, у Муссолини. Только в Египте, в отличие от Италии, социализм ничего обещать не мог. Другие возможности оказались выгоднее. Он примкнул к группе военных политиков, где конкуренция была невелика. Король Фарук стал очень непопулярен: потерял популярность «Вафд»; еще позднее Нагиб, при помощи которого он сделал карьеру. Все это он использовал со свойственной ему хитростью. Дошел до того, обыч- ной в больших политических карьерах, момента, ког-

да события сами начинают нести и выдвигать человека. От конкурентов освободился, из них Нагиб был последний (впредь до возможного появления нового). И он стал диктатором, о чем в юности и не мечтал — тогда совершенно было бы достаточно стать пашой. Знал, что ремесло диктатора опасно, но он был смелым человеком, и судьба некоторых диктаторов ровно ничего не доказывала: Муссолини и Гитлер погибли, но Франко или Сталин уцелели. Теперь если бы он и хотел, то не мог бы отказаться от власти, так как такой отказ почти наверное означал бы смерть. Да он никак и не хотел: уже несколько лет назад простодушно поверил и в свою звезду, и в свою гениальность: не он первый, не он и последний. Теперь был готовым спортсменом диктаториальной политики, не очень хорошим и не очень плохим.

Ему хотелось стать и «теоретиком». Это было, в конце концов, необязательно — Муссолини, например, теоретиком не был, — но очень желательно: Гитлер и Сталин были. Диктатор-теоретик был, бесспорно, выше чином, чем диктатор обыкновенный. Насер и написал какую-то брошюру «Философия революции». Заглавие было отличное, однако книга, он сам видел, вышла жиденькая. Приближенные, как водится, ею восторгались. Все же до него доходили слухи о разных насмешливых отзывах, вызывавших у него бешенство и кроважидные чувства.

Накануне он лег поздно и не вполне выпался. Проснулся на каком-то необыкновенном триумфе: где-то его при бурных овациях бесчисленных толп венчали повелителем всех восточных народов. Даже досадно было, что проснулся. Он был еще накануне очень возбужден сенсацией: французы обманном способом захватили самолет с вождями алжирских повстанцев, гостями мароккского султана. Этому просто не было имени! Насер был возмущен тоже искренно и простодушно. Своих собственных дел он никогда не порицал — как почти все диктаторы, всегда был прав, — но порицать их с *моральной* точки зрения ему и в голову не приходило: тут совершенно сходилась уже не почти со всеми, а решительно со всеми диктаторами. Не могло прийти ему в голову и то, что тогда так же надо было бы относиться и к другим.

Он пробежал последние телеграммы и телефоно-

граммы. И его возмущение еще увеличилось от того, что как будто действие французов совершенно удалось: захватили опасных врагов, приобрели много ценнейших материалов. Основное распоряжение по печати и по дипломатическому ведомству им уже было дано — возмущаться и негодовать вволю. Больше делать было, собственно, нечего. Он опять взглянул на часы и приказал ввести первого посетителя через две минуты: это значило не через полторы и не через две с половиной. У всех приближенных были хронометры.

Нужна была небольшая декорация. В отличие от Муссолини, он не подражал Наполеону и даже не скрещивал рук. В отличие от Гитлера, не пользовался бешеными криками. Национального диктаторского стиля в путаной истории Египта не нашел. Все же кое-какие несложные секреты ремесла придумал. Достал с полки и положил на письменный стол «Капитал» в английском переводе, с большим золоченым заглавием на переплете. При приеме американцев на столе обычно появлялся Джефферсон, при приеме немцев Клаузевиц (Клаузевица он действительно в свое время читал, когда готовил курс для военной школы). Прежде были книги и для французских и английских посетителей, но со времени национализации Суэцкого канала французы и англичане почти к нему не являлись, да он теперь и не оказал бы им сочувственного внимания. Приготовил первую фразу для *ведения* беседы.

Гранитов приехал за четверть часа до начала приема. Он не был официальным лицом, и для него не имели значения соображения престижа: приняли ли тотчас или заставили подождать. В приемной он развернул местную газету. На первой странице с огромными заголовками сообщались все новые сведения об аресте алжирских заговорщиков: «Неслыханное предательство», «Глубоко возмущен весь цивилизованный мир», «Грубый вызов Магрибу со стороны французских колониалистов»... Все это уже было ему известно. На одной из следующих страниц было небольшое сообщение о том, что действия французов вызвали в Мекнесе нежелательные эксцессы. Произошли нападения на французские фермы в окрестностях города. Об одном из этих нападений сообщались подробности. Разъяренная толпа разгромила дворец французского

колониалиста богача Жоржа Дарси, жившего в этом доме со своей любовницей-еврейкой. Заметка была коротенькая и скромная. О том, что хозяева дворца зарезаны, что деньги и драгоценности были украдены, в ней не говорилось.

Имя Дарси вдруг поразило Гранитова, он даже вздрогнул: с очень неприятным чувством вспомнил, что так звался жизнерадостный пожилой француз, с которым он прилетел из Лондона на самолете. «Вот так штука! — подумал он. — А как пил, как ел!..» Невольно подумал, что и с ним, в конце концов, может случиться какой-нибудь сходный сюрприз. Тотчас взял другую газету и даже не посмотрел на заголовки первой страницы. Оттого ли, что вторая газета, несмотря на строжайшую цензуру, была несколько более независимой, или же потому, что писал более порядочный человек, события в Мекнесе излагались несколько иначе. Конечно, и вторая газета их приписывала негодованию, охватившему арабский мир; но сообщалось, что беспорядки сопровождались грабежами и насилиями над женщинами. В некоторых случаях можно даже предполагать участие уголовных преступников. Гранитов прочел все очень внимательно. У него было довольно живое воображение, он представил сцену убийства, насилия над женщиной, почему-то вспомнил восточную красавицу Гюль Джамал. Как он ни привык к страшным сценам (не раз представлял себе сцены пыток и расстрелов на Лубянке), он испытывал очень неприятное чувство. «Все-таки к *этому наши* никакого отношения иметь не могли... Устроили арабские голубчики... «Народное негодование», знаем, знаем...»

Адъютант вежливо пригласил его в кабинет. В ту минуту, как он появился в дверях, Насер встал из-за стола и сделал пять — ровно пять — шагов навстречу гостю. На лице его была улыбка, по степени приветливости это была улыбка № 2, улыбка № 1 предназначалась только для американского посла Байрода — этот нежно его любил и глубоко почитал, — для Неру да еще для некоторых восточных владык, тех самых, которых он терпеть не мог. Улыбка открыла его огромные зубы. Гость изобразил на лице восторг и благоговение — помнил наставление начальника. Они обменялись крепким рукопожатием и сели. Гранитов было тоже приготовил первую фразу — о том, как он

рад и счастлив знакомству с таким великим человеком, — но Насер первый начал говорить. Спросил, давно ли гость из Москвы, хорошо ли путешествовал, здоровы ли Хрущев, Булганин, Шепилов. И только ответив на эти вопросы, Гранитов мог вставить приготовленные им слова. Они очень понравились Насеру. По природе он был застенчив, с годами застенчивость преодолел, но, как у большинства восточных людей, даже горделивых, заносчивых и злобных, у него в общении с европейцами было нечто вроде inferiority complex<sup>1</sup>. Он уже несколько лет считал себя гением, но ему было очень приятно, когда это ему говорили иностранцы.

Гранитов к арабам вообще относился в душе с насмешкой. Из разговора с Чумаковым лишний раз увидел, что так же к Насеру и к его армии относятся советские офицеры. Сказав, что было нужно, он с почтительной улыбкой стал слушать. «Похож больше на азиатского еврея, чем на африканского араба-мусульманина... Он, впрочем, кажется, сомнительный арап по крови и еще более сомнительный мусульманин?» Был рад тому, что Насер ведет разговор. Говорить было обычно легче, чем слушать, но слушать было выгоднее. «Похож на наших?» Гранитов у всех известных ему диктаторов находил некоторое сходство с «нашими», и если не считал тех тоже людьми Хитрова рынка, то больше потому, что иностранных хитровок представить себе не мог. «Только что же это арап так кипятится?» Сам он отроду ничем не возмущался, действия и своего правительства, и иностранцев, и свои собственные обсуждал и расценивал только практически: умно ли? полезно ли? целесообразно ли? «Они, впрочем все примитивны, восточные людишки, при всей своей хитрости». Насер говорил, что поднимет против французов весь мир. Стон негодования пронесется по человечеству от такого невероятного вероломства, от такого небывалого нарушения основных принципов международного права. Гранитов поддакивал, то качал головой, то одобрительно кивал — и недоумевал все больше. «Ишь, язык без костей! Так говорил дорогой покойник Зиновьев». Он в юности еще слышал и этого, и других, впоследствии

---

<sup>1</sup> Комплекс неполноценности (англ.).



казненных вождей партии. «Да ведь Гришка так говорил на митингах дурачью, а зачем он со мной треплет язык?»

— Просто неслыханно! — подтвердил он негодующим тоном. И, воспользовавшись передышкой в монологе Насера, в полувопросительной форме высказал некоторые свои соображения. Кое-какие не очень существенные дела у него были, иначе было бы неловко просить о приеме. Так, ему хотелось узнать лучше, какие именно средства имеет Арабская Лига и откуда она их достала. Он слышал, что у Лиги есть сотни миллионов долларов, и эта цифра поразила его воображение. «Вдруг сгоряча скажет? Проговариваются они иногда все, даже *наши*. А может, и сам не знает, сколько у Лиги *арапчиков?*» — подумал он, весело вспомнив, что так в старину на Руси назывались голландские червонцы.

Насер на это ничего не ответил. Был недоволен тем, что такие вопросы задает ему иностранец, да еще коммунист. Он России боялся больше, чем какой бы то ни было другой страны. Собственно, только коммунистов и боялся, да еще «Мусульманских братьев» — эти могли и зарезать. Вместо ответа он заговорил о своей великой идее, о том, что он хочет объединить весь мусульманский мир, даже не только арабский. Собственно, об этом тоже было бы лучше не говорить: в его планы входило и привлечение русских мусульман, а это едва ли могло бы понравиться советскому правительству. «Ишь куда загнул, арапская морда!» — подумал Гранитов, слышавший о таких каирских планах. Подумал, впрочем, благодушно и без малейшего беспокойства: насчет агитации в СССР был совершенно спокоен: «У нас не демократишки, живо положили бы конец!.. Ну, болтай, болтай про свою савру».

— Да, я знаю вашу идею, заслуживающую всяческого уважения. Мы к ней так и относимся. У вас великая идея и у нас великая идея! Вот я с радостью вижу у вас на столе книгу гениального учителя, — сказал он: заметил «Капитал» на столе в первую же минуту. «Не читал арап, конечно, как и я, не читал, как и вся наша братия». Ему даже показалась забавной мысль, что начальник, с которым он ужинал в отдельном кабинете московского ресторана, стал бы читать Маркса. Очень сомневался насчет Хрущева, Булганина, Шепилова.

— Я большой почитатель этого великого мыслителя, — сказал Насер, очень довольный. — Разумеется, я не разделяю многих его идей, но у меня никогда не было глупого западного предубеждения против всех коммунистов вообще. Вы, вероятно, знаете, что я в молодости был близок к некоторым из них. И вы, разумеется, читали, что они, в сущности, примкнули к моему режиму. Когда я в апреле признал Китай Мао, египетские коммунисты прислали мне горячую приветственную телеграмму.

— Да, я читал об этом и был в восторге, — ответил Гранитов. «Экая bestия арап!» — подумал он. Ему было известно, что египетские коммунисты прислали Насеру эту телеграмму из тюрьмы. Слышал в посольстве и о том, что на следствии в Египте многие арестованные подвергались пыткам только по подозрению в коммунизме. Профессор Измаил Абдалла Сабр на суде показал следы истязаний, которым подвергался. — Но мы и не ждали другого отношения к великой коммунистической идее от такого умного и просвещенного человека, каким мы вас всегда считали и считаем, — добавил он. Собственно, следовало бы тоже произнести монолог о великой коммунистической идее, но он вообще не умел это делать, а на чужом языке еще меньше. Больше уж никаких, даже незначительных, дел не оставалось. Он повторил, как рад и счастлив был увидеть общепризнанного вождя египетского народа. «Надеюсь, что тебя со временем подколлет какой-нибудь «мусульманский брат», — подумал он и почтиительно откланялся. Насер крепко пожал ему руку и сделал пять шагов по направлению к двери.

Второй он назначил прием знаменитой американской журналистке. Положил на полку «Капитал», искал том Джефферсона, но он куда-то запропастился. Попались сочинения Эмерсона. «Тоже американец. Сойдет», — подумал Насер. «May Days, and Other Poems»<sup>1</sup> ему показались по заглавию недостаточно серьезными. Он положил на стол «Representative Men»<sup>2</sup> (библиотекой занимался один из секретарей). Он позвонил и велел ввести журналистку. Рассчитать точно продолжительность каждой аудиенции было невозмо-

---

<sup>1</sup> «Майские дни и другие стихотворения» (англ.).

<sup>2</sup> «Представители человечества» (англ.).

жно, тут правило «точность — вежливость королей» действовало хуже, и Мэрилин пришлось в приемной подождать минут десять, чем она была не очень довольна. Насер сделал четыре шага вперед и с приветливой улыбкой № 3 крепко пожал ей руку.

После вопросов о том, давно ли она покинула Соединенные Штаты и хорошо ли путешествовала, он заговорил о колониализме. Масок он вперед не готовил, но был недурным актером, и выражение его лица подкрепляло его слова. Когда заговорил об Англии и Франции, лицо его приняло печально-разочарованный вид, какой мог быть, например, у германского нациста в 1945 году при упоминании имени Гитлера. Мог ли он ожидать, что Молле, Иден так себя поведут! Единственная его надежда была на общественное мнение *подлинной*, американской демократии. Соединенные Штаты сами на себе испытывали, что такое британский колониализм! Он не сомневается в их сочувствии Египту.

Мэрилин неопределенно кивала головой. Слушала его внимательно, но заранее знала, что главным в ее статье будут не мысли Насера, а его наружность, манера речи, обстановка приема. Как Толстой, которого она читала всегда с восхищением, Мэрилин при описании людей, дававших ей интервью, строила все в их наружности на одной черте. Так, изображение Ибн Сауда строилось на его колоссальном росте. У Насера она в первую же секунду обратила внимание на его огромные, ослепительно белые зубы. «Дантист на нем не наживется. Тут что-то есть от хищника...» Черта была благодарная и даже символическая — хищник, — но все же ее для портрета не хватало. Ничего другого Мэрилин, при всей своей наблюдательности, заметить не могла. «Курчавая голова... Какая-то самодовольная улыбка под самодовольными усиками», — думала она. Ей казалось, что особенность выражения Насера, быть может, состоит в сочетании самодовольства с застенчивостью или с нерешительностью. Но за это ухватиться было трудно, да читатель и плохо поверил бы, что Насер нерешителен или застенчив. «А все же это так. Никакой «мощи», хотя телосложение крепкое. Право, скорее в нем есть робость. Может быть, он каждую минуту опасается переворота или покушения? Вот чего у моего Ибн Сауда не было. Нос, лоб ничего

не давали, самые обыкновенные нос и лоб. Штатское платье носит для военного недурно... Галстук очень тщательно завязан... Жеста у него нет. У Ибн Сауда *был* жест, и какой!.. Ни картинности, ни магнетизма тоже нет. Все говорят, будто у Гитлера, у Муссолини, у Кемаля был личный магнетизм... Может быть, и врут?» Она слушала слова Насера, но не записывала, полагаясь на свою прекрасную память.

— ...Я уверен, что вы с вашим умом и талантом не будете исходить из внешней видимости и признаете, что в Египте существует настоящая демократия! Я твердо верю в ее принципы, твердо верю в идеи вашей Декларации Независимости. Моя мечта создать со временем — ведь все в один день или в один год не делается, — создать со временем свободный независимый строй в моей стране! — сказал с силой Насер, приступивший к задаче *очаровывания*. Мэрилин по-прежнему неопределенно кивала головой. Это слышала и от других диктаторов. Она привыкла к тому, что ей лгут дающие интервью люди, но не любила, чтобы лгали уж слишком явно, точно считая ее дурой. Была немного им разочарована. «Что ж, страна средняя и диктатор средний. Но если бы интервью надо было брать только у настоящих великих людей, то я оказалась бы безработной. Одним Уинни не проживешь».

— Каково в точности ваше отношение к Израилю? — спросила она, когда он по неосторожности на мгновение замолчал. Что-то промелькнуло в глазах Насера. «Уж не еврейка ли? — спросил он себя. — Как будто нет». Действительно, Мэрилин была совершенно не похожа на еврейку.

— Я не враг евреев, — сдержанно сказал он. — У меня были приятели евреи, даже израильские. В ту пору, когда я защищал крепость (она знала, что это было главным и даже единственным его военным подвигом). Я долго беседовал в дни перемирия с израильским капитаном Коганом, у меня были с ним добрые отношения. Не отрицаю и того, что Бен-Гурион выдающийся человек. Но евреи на Среднем Востоке пришлый элемент, представляющий западное влияние. Англо-французское влияние, — поправился он. — А мы от этого влияния хотим раз навсегда освободиться, как от всех пережитков колониализма, который ведь совершенно чужд и вам, американцам.

— Газеты пишут, будто вы хотите объявить Израилю войну и сбросить его население в море? — спросила Мэрилин. Она часто спорила с людьми, которых интервьюировала, и могла позволять себе эту роскошь: она от них совершенно не зависела, а все они хоть немного от нее зависели. — Действительно ли таковы ваши планы?

— Газеты часто врут! Я ни о какой войне не думаю. Даю вам слово солдата! — сказал он. Мэрилин вспомнила, что ей рассказывал Болдуин, председатель Лиги прав человека: в 1954 году Насер дал ему слово, что сионисты Марзук и Азар, обвиненные в шпионаже, не будут казнены. Через неделю они были повешены. Но об этом она все-таки не решилась напомнить своему собеседнику. — Вы, верно, имеете в виду, что мы покупаем оружие в Чехословакии? Но мы ставим себе единственной целью самозащиту. Разумеется, если на нас нападут, мы будем защищаться до последней капли крови! Мы будем сражаться на море, на берегах, в городах, в деревнях, и мы никогда не сдадимся! — сказал он ей с воодушевлением, как говорил точно те же слова и в своих публичных речах. «Все-таки для плагиата можно было бы придумать что-либо другое, вместо знаменитейшей из речей Уинни», — подумала Мэрилин.

— Американское общественное мнение очень оценит это ваше заверение! — радостным тоном сказала она. Задала еще несколько вопросов. Он отвечал удачно, был находчив в спорах.

— Вы создали очень мощное национально-религиозное движение в мусульманских странах. Это ваша несомненная заслуга. И я совершенно уверена, что это исключает возможность вашего сближения с коммунистами.

Он утвердительно кивнул головой. Хотел было даже добавить, что имеет в виду и советских мусульман, но этого не добавил: правда, можно было бы позднее опровергнуть ее интервью в каком-нибудь малоизвестном египетском издании, но еще лучше было этого не говорить.

— Только совершенно неосведомленные или ограниченные люди могут серьезно говорить о моих симпатиях к коммунизму, — ответил он.

— Не думаете ли вы, однако, что и ваша идея, при

чрезмерном ее раздувании, может привести к нежелательным последствиям... Да, вот эти события в Мекнесе, — сказала она. Ей было известно, что в Марокко произошли беспорядки, но подробностей она еще не знала. Обычно специальный переводчик переводил ей все главное из местной печати, и это было наиболее скучной частью ее журнальной работы. Но в этот день она, торопясь на свидание, велела перевести себе лишь заголовки.

— Я этого не думаю, — ответил Насер искренно: вернее, об этом он совершенно не думал, нежелательные — для других — последствия весьма мало его интересовали. Он заговорил о своих врагах, и лицо его стало мрачным и грозным. Заговорил о египетском народе, который так его любит, — и на лице выразилась нежная умиленность. Был доволен своей беседой.

Она еще спросила о его «Философии революции». Прочла эту небольшую книжку еще в Америке и была в недоумении: «Ни философии, ни революции, что-то сумбурное, даже процитировать нечего». Он с улыбкой № 2 достал книжку из ящика и, немного подумав, сделал надпись: написал только ее имя и подписался, с датой. «Еще иначе подумала бы, что я в ней заискиваю! Да и неизвестно ведь, что она еще напишет». Автограф был не Бог знает какой, но Мэрилин была скорее довольна. У нее было немало таких трофеев, и они лежали на столике ее кабинета на Мэдисон-авеню. Были и гораздо более лестные. Она не очень сознавала, что ее статьи о политических деятелях несколько зависели от того, как эти деятели к ней относились. Но зато хорошо понимала, как их отношение к ней зависело от степени любезности ее статей.

Фотографии Насера во всех видах — в мундире, в джеллабе, в пиджаке, за столом, на трибуне, верхом на коне — можно было купить в любом каирском магазине, да и у редакции их было достаточно. Беседу можно было считать конченной. И она, вставая, сказала то, что говорила в заключение всем принимавшим ее знаменитостям: «Я знаю, как дорого ваше время, не буду им злоупотреблять...» Он встал с улыбкой № 2 и посередине комнаты крепко пожал ей руку. «Кажется, очаровал...»

Она вышла, в общем удовлетворенная интервью. Сам по себе разговор был не очень интересен, но он

давал возможность разредить цитатами ее собственные соображения о нем и о Суэцком кризисе. План статьи у нее наметился. «Очень удачна эта находка о павлиньем перо: все началось из-за вздора, никто не виноват — ни французы, ни англичане, ни египтяне», — подумала она, выходя на перрон. Идея «никто не виноват» была не только верна, но в журнальном отношении очень выигрышна, даже выгодна: «девять десятых читателей согласятся!» К кризису она подошла правильно. Нужна была еще разгадка того, что она мысленно называла «проблемой Насера». Иногда в лучших своих статьях она находила *un trait de génie*<sup>1</sup>, сразу все освещавший.

И только ее автомобиль отошел от подъезда, как ее озарило вдохновение: «*Wuthering Heights*!»<sup>2</sup> С ранней юности она любила классический мрачный роман Эмили Бронте, с тайнами, с бурями, с замками, с загадочным героем Хитклиффом, цель которого заключалась в том, чтобы разрушить вражескую семью Эрншо и объединить свое имение с имением врагов. Хитклифф разными своими чертами напоминал дьявола, но он был выдающийся человек, все приносивший в жертву своей идее. «Разумеется, разумеется. Насер — это Хитклифф, Израиль — это его «семья Эрншо!» — подумала она и даже засмеялась от радости. Теперь статья, прекрасная, блестящая, все объясняющая, обещающая огромный успех статья «Павлинье перо» была готова, совершенно готова.

---

<sup>1</sup> Гениальный штрих (*фр.*).

<sup>2</sup> «Грозовой перевал» (*англ.*).

Этот человек приехал с аэродрома в роскошную нью-йоркскую гостиницу в четвертом часу дня. Одет он был очень хорошо, даже слишком хорошо для дороги. Говорил по-английски бойко, но с сильным и неопределенным акцентом. Ему предложили было номер из одной комнаты. Он сказал, что одной мало, необходимы, совершенно необходимы две, и пояснил: ведь могут прийти гости, как же их принимать в спальней? — «Разумеется, мне нужна и собственная ванна». Узнав, что в этой гостинице все номера с собственными ваннами, покраснел и, не спросив о цене, быстро направился к подъемной машине.

Слуге, принесшему его вещи, он сказал, что комнаты недурны, что он прилетел прямо из Парижа и что перелет был прекрасный, «один из лучших перелетов в моей жизни, а я летал очень много». Вещи у него были хорошие и дорогие: два кожаных чемодана, несессер, портативная пишущая машинка. — «Ее, пожалуйста, поставьте осторожно сюда, на письменный стол. Пишущие машинки — вещь хрупкая, а я без моей не могу прожить дня». Дал на чай доллар. Сообщил еще, что, быть может, пробудет в Нью-Йорке долго, а может быть, улетит через день или через два, и попросил сказать внизу, чтобы ему прислали виски. Слуга, слушавший его с некоторым недоумением, сказал, что заказ надо сделать по телефону, и, почтительно пожелав доброго вечера, вышел. Подумал, что эти французы странные люди, хотя, кажется, симпатичные.

Господин заказал по телефону Scotch and soda, назвал лучшую марку, добавив, что пьет только эту. Затем спросил телефонистку, можно ли будет вызвать по телефону Неаполь и много ли времени займет соединение... Неаполь из гостиницы вызывали не час-

---

<sup>1</sup> В основу этого рассказа положено происшествие, о котором в свое время сообщили газеты.



то, и телефонистка не могла ответить с точностью. — «Нет, пока не вызывайте, теперь в Италии уже довольно поздно, а мой знакомый по вечерам не бывает дома. Я хотел бы иметь соединение около полуночи, там встают очень рано». Телефонистка, тоже с недоумением, ответила, что рассчитать время соединения трудно, она передаст его заказ ночной смены. — «Да, так, пожалуйста, и сделайте, я непременно хочу застать своего друга дома. Искренно вас благодарю».

Он с жадностью выпил виски и пожалел, что не заказал целую бутылку. Тотчас раскрыл несессер и большой чемодан, достал туалетные принадлежности, перемену шелкового белья, другой костюм, книгу (это были стихи). Надел ярко-красный бархатный халат, вызвал горничную, извинился, что принимает ее в халате. Она была молода и миловидна. — «Пожалуйста, отдайте в стирку белье и пусть возможно скорее разгладят костюм. Я знаю, у вас это делают быстро, а я, быть может, очень скоро вас покину... Записать? О нет, это не нужно. Я верю вам, верю гостинице и верю вообще в человеческую добродетель», — сказал он, смеясь. Через полминуты выбежал за горничной в коридор, позвал ее и взял у нее брюки. Перешел в гостиную, вынул из заднего кармана револьвер, сунул в карман халата и опять отдал брюки горничной. Она подумала, что он, верно, оставил деньги; не обиделась, но удивилась: кто же носит бумажник в брюках?

Господин ей скорее понравился. Ему было лет тридцать пять, он был недурен собой, брюнет, немного выше среднего роста, широкий в плечах, по-видимому, очень сильный физически, с крупными резкими чертами бледного лица, с черными, блестящими, иногда странно останавливавшимися глазами; лицо у него было из тех, которые портретисты считают интересными и порою пишут для себя, бесплатно. Портило его обилие золота в обеих челюстях; золотых зубов, коронок, бриджей у него было больше, чем обычно бывает у людей. Да еще на лбу был шрам, впрочем, малозаметный.

— Верно, что-нибудь оставили в кармане? — сказала горничная, улыбувшись.

— Да... Папиросы. Я курю американские, они лучшие в мире, — ответил он. Вдруг лицо его дернулось

страшной гримасой. У него был тик. Горничной стало не по себе. Она вышла, несколько ускорив шаг.

Он сел в ванну и мылся очень долго; особенно долго мыл руки с длинными, тонкими пальцами. Выбравшись, переодевшись, вызвал по телефону Буэнос-Айрес. Достал из меньшего чемодана гири и положил на пол: гимнастические движения делал по утрам, в пижаме. Сам с усмешкой подумал, что только шалый человек, как он, мог везти тяжелые гири на аэроплане, где за каждый лишний фунт надо платить немалую добавку, и только шалый человек мог уехать в Соединенные Штаты с револьвером в кармане: все-таки иногда в таможене происходил и личный досмотр. Но это случилось редко, а риск, очень большой риск, почти всегда доставлял ему наслаждение.

Сообщение с Буэнос-Айресом дали сравнительно скоро. Сначала сказал несколько слов по-испански, затем перешел на французский язык, на котором говорил так же бойко, как и по-английски, и тоже с сильным иностранным акцентом.

— ...Все в полном порядке, — говорил он с особенно ласковыми, вкрадчивыми интонациями. — Что же удивительного, что не доставляют четыре месяца? Вы заказали очень сложные машины, это будут лучшие машины в мире... Да, я говорил: три месяца, но у нас была забастовка. Машины будут высланы вам через две недели, теперь говорю вполне точно. И могу сказать, что вы будете ими довольны... Меня и то в Лионе ругали, что я назначил баснословно низкую цену. Будьте вполне спокойны... Я говорю из Нью-Йорка... Еще не знаю, сколько здесь пробуду. Представьте, и американцы немало у нас заказывают! Скоро собираюсь приехать к вам опять. Вместе осмотрим место ваших заводов... Не забудьте, кстати, что вы мне обещали охоту... А что Анита?.. Как «какая Анита»? Ах да, виноват, бывают же такие обмолвки! Она была очаровательна!.. Конечно, конечно, не «была», а есть, — смеясь, говорил он. — И вообще, аргентинские женщины самые прекрасные в мире, кроме, быть может, американок... Нет, не возражайте, когда американка хороша собой, то она самая прекрасная из женщин! Этого вы ей не говорите, скажите только, что я везу ей из Парижа подарок, — не говорю, что именно, будет сюрприз... А вам, извините, подарка не везу: какой

подарок можно сделать миллиардеру!.. Не скромничайте, даже в Европе известно, что вы богатейший человек в Южной Америке!.. До скорого свиданья. Я так рад, что опять побываю в вашей чудесной стране!

Владелец же огромных аргентинских плантаций и впоследствии сам не мог понять, как он, деловой человек с большим опытом, поддался обману этого авантюриста: при подписании договора заплатил ему аванс, хотя не очень большой по сравнению с суммой заказа на машины. Правда, тот представил доверенность от Лионских заводов, состоял членом их правления и полномочным представителем по приему заказов; он тогда объяснил, что заводы новые, выстроенные после войны на деньги от плана Маршалла, что они представляют собой последнее слово техники. Предложил условия гораздо более выгодные, чем условия американских заводов, сказал, что их фирма хочет завоевать аргентинский рынок и потому первые заказы готова исполнять с самой ничтожной прибылью; показывал фотографии грандиозных заводских строений, старательно обсуждал каждый пункт договора, делал уступки, хотя не во всем, и вздыхал после каждой уступки. Обнаружил совершенное знакомство с техникой, часто вставлял ученые слова.

В петлице у него была розетка Почетного Легиона, он к слову сказал, что охотно выхлопочет орден и для заказчика за заслуги по торгово-промышленному сближению между Аргентиной и Францией: иностранцам Почетный Легион дается гораздо легче, чем французам, — он назвал двух видных французских министров, через которых легко выхлопочет крест. Этот разговор был за обедом; он угощал аргентинца в лучшем ресторане, заказал Mouton Rotschild и шампанское. Говорил о своих путешествиях, о знакомствах. Он знал Черчилля, завтракал у него в Чартвелле, — правда, это было тогда, когда Черчилль был в отставке. — «Теперь Винни опять страшно занят, и я больше к нему не заезжаю, я ведь, собственно, никто, просто богатый промышленник». А имение у него очень скромное — «у Винни земли, верно, в десять тысяч раз меньше, чем у вас. Правда, уголок очень живописный, особенно пруд и домик, где он пишет свои картины, — они, право, очень недурны! Конечно, он не мой друг Ма-

тисс, но у него, несомненно, есть талант!» Сказал, что завтрак был для Англии недурной, хотя тоже скромный. «Клемми чрезвычайно мила, именно такая жена, какая нужна Черчиллю, и он ее обожает, просто смотреть люблю». Аргентинец недоверчиво спросил, много ли было гостей; оказалось, что только их соседка, мисс Генриэтта Сеймур, тоже милая дама. Недоверие владельца плантаций исчезло: «Ну, допустим, о «Клемми» приврал, но не выдумал же соседку». На вопрос же, знает ли он и президента Перона, член правления Лионских заводов ответил, что, к большому своему сожалению, не знает, — «К нему ведь попасть не так легко, но в Париже я был представлен на большом вечере покойной Евите, она была красавица в полном смысле слова». На ресторанный счет друг Черчилля едва взглянул и заплатил, вынув туго набитый бумажник. За кофе аргентинец подписал чек. Позднее, узнав, что ордена у члена правления никогда не было и что никаких заводов не существовало, он только произносил крепкие слова, но ругал больше самого себя, а к авантюристу особенно злобного чувства не сохранил.

Запрошенная же одновременно французская полиция сначала ничего важного сообщить не могла. Его фамилия была ей известна, фишка о нем, разумеется, в архиве была, как обо всех. Он не француз, родился в Тунисе, часто приезжал в Париж, в Марсель, в Лион, на Ривьеру, но во Франции никогда не жил... Ездил в Северную и в Южную Америку, в последний раз прилетел в Париж из Неаполя. Он учился в лицее где-то в Африке. Хотя за ним ничего не значит, он как-то соприкасался в milieu<sup>1</sup>, его там иногда видели секретные осведомители.

После разговора с Буэнос-Айресом он позвонил по телефону в большой нью-йоркский модный дом. Там служила барышня, с которой он познакомился месяца три тому назад и провел вечер без приключений и без успеха. Ему ничего не сказали, но барышню подозвали к аппарату, — вероятно, подозвали не очень любезно: она не выразила радости по случаю его возвращения в Нью-Йорк и сухо сказала, что на службу к ней телефонировать не полагается. Ее тон поразил его. Рассыпался в извинениях — он не знал, у него нет ее личного

---

<sup>1</sup> Преступный мир (фр.).

телефона. Барышня сообщила номер, кратко добавила, что возвращается домой в шесть, и повесила трубку.

Он скоро успокоился. Взглянул на часы, прошелся по комнате, затем сел и поднял крышку пишущей машинки, но писать не стал. Бумага со штемпетом гостиницы была, но на ней он писать не хотел. Стихи и рассказы писал только на толстой, сиреневой с давно вышедшим из моды золотым обрезом, бумаге, которую для него в Париже изготовляли по заказу. Этой бумаги с собой не захватил и грустно думал, что в Нью-Йорке такой не найдешь, а по заказу делать не станут. Придвинул к себе книгу и стал читать стихи. Вынул раззолоченный паркер-51 и делал отметки на полях, иногда ставил восклицательные знаки или писал несколько слов на разных языках. Родного языка у него, собственно, не было. Изредка вынимал из кармана золотой хронометр — на руке никогда часов не носил.

Ровно в шесть часов он через телефонистку, которой успел надоесть, вызвал свою барышню, и опять рассыпался в извинениях. Барышня была любезнее и тотчас приняла его приглашение на обед в Шамбор.

— Так вы не сердитесь, Глория?.. На этот раз я вас в ночной клуб не зову, Глория, — говорил тихо, вкрадчиво и страстно, точно сообщал что-то важное и необыкновенное. Особенно проникновенно произносил ее имя, оно чрезвычайно ему нравилось.

Его интонации сильно действовали на многих женщин. — Не зову потому, что жду поздним вечером телефонного соединения с Парижем. Ведь разница во времени между Францией и Соединенными Штатами составляет пять часов. Сам, вероятно, не мог бы сказать, зачем назвал Париж вместо Неаполя: все равно у телефонистки могли узнать, в какой город он звонил. — Поймете ли вы, как я необычайно рад тому, что снова вас увижу! Это мог выразить словами только великий поэт. Я тоже поэт, но моя лира еще не достигла нужной звучности...

— Я тоже рада, — ответила она довольно равнодушно. Ничего не имела против того, чтобы пойти с ним в знаменитый ресторан и выпить шампанского, настоящего французского шампанского; однако не очень к этому и стремилась. — Только, пожалуйста, не приносите в ресторан орхидей, как в тот раз. Этого никто не делает, они страшно дороги, и вам незачем тратить деньги.

— Ради Бога, Глория, не говорите об этом! Какое значение имеют деньги! — сказал он ей горячо и искренно: деньги для него действительно значения не имели. — Что вы делали эти восемьдесят шесть дней без меня? Думали ли обо мне хоть немного?

— Да, — подтвердила она, тоже правдиво: думала именно немного, но иногда думала. Ей польстило, что он точно помнил, сколько дней прошло со времени их встречи (он их счел как раз перед телефонным разговором).

— «Да!» — недовольно воспроизвел он ее краткий равнодушный ответ. — А я, я не переставал думать о вас, Глория! Думал днем, думал ночью, особенно в тихие лунные ночи. Воспоминание о вас было источником света! Вы стали и моей музой! Да, я написал о вас стихи... Хотите, прочту! — предложил он и придвинул к себе книгу. Действительно, на аэроплане из Нью-Йорка в Европу три месяца тому назад он написал о ней стихи — тогда была сиреневая бумага с золотым обрезом; в Париже заказал для них кожаную папку с вкладным листом красного шелка, но не успел зайти за ней, и листок остался у переплетчика. Он прочел Глории стихи Эдны Сент-Винсент Миллей.

What lips have kissed, and where and why,  
I have forgotten, and what arms have lain  
Under my head till morning; but the rain  
Is full of ghosts tonight, that tap and sigh  
Upon the glass and listen for reply...

Глория слушала не без удовольствия и не рассердилась. Ничего никогда между ними не было, любовников она не имела, но в стихах были позволительны и вольности.

— Очень хороши ваши стихи. Очень хороши.

— Глория, вам нравятся? Я счастлив. Хотите, я прочту еще?

— Хочу, но не по телефону. Прочтете в ресторане. Я должна еще одеться. Нет, не заезжайте за мной. Ждите меня у входа через полтора часа.

---

<sup>1</sup> Какие губы целовал, и где, и почему  
Я забыл. И чьи руки обнимали меня  
До утра; но дождь  
Сегодня ночью полон теней, вздыхающих  
И стучащих по окну, и ждущих ответа... (англ.)

Оделась она как следует: Шамбор! Лучшее короткое платье, *mink cape*<sup>1</sup> (давно все было выплачено магазину, уже были мечты и о *mink coat*<sup>2</sup>). Колебалась, надеть ли шляпу: была прелестная, черного бархара, с *sequins*<sup>3</sup>, но эту шляпу он уже видел. Вошла в зал ресторана в пелерине, затем отдала ее. «Ничего, лучше очень многих». Она была в самом деле хороша собой. Он не оценил ни шляпы, ни пелерины, ни платья, но смотрел на нее с восторгом.

Заказал он все самое дорогое. Она ела с аппетитом и с любопытством, он с жадностью. С первого же блюда они пили шампанское, Хедсвик 1929 года. От провансальских блюд — метрдотель предупредил: они с чесноком — она решительно отказалась. Догадывалась, что на прощанье они поцелуются. Он не очень ей нравился. Его акцент ее немного смешил, но больше не смешило в нем ничего. Почему-то было и немного его жалко. Он был очень не похож на других ее поклонников. Ее не слишком интересовало, кто он, чем занимается, богат ли: и так было ясно, что никогда она за него замуж не выйдет.

Он все время говорил, с жаром, с увлечением, не сводя с нее восторженного взгляда. Все с ужасом ждал, что лицо у него дернется (иногда, к счастью, не дергалось три-четыре часа). После первой бутылки шампанского (тотчас заказал вторую) он снова стал ей читать стихи и больше не выдавал чужие за свои. Его любимый поэт был Эзра Паунд. Она в свое время что-то читала в газете об этом писателе, не помнила точно, что именно, но что-то худое.

— Он, кажется, был нехороший человек, — неуверенно сказала Глория.

— Он был гений! — ответил он возмущенно. Лицо у него чуть дернулось — она не заметила: лакей наливал ей новый бокал шампанского, она следила за пеной. У нее голова уже немного кружилась.

— Неужели гений? Шекспир — это гений.

— Что Шекспир! У него мало того, что меня волнует. Ведь каждый человек должен быть созвучен своему поэту. Я созвучен Вийону и Артуру Рембо... Вы знаете французский язык?

<sup>1</sup> Норковая пелерина (англ.).

<sup>2</sup> Норковое пальто (англ.).

<sup>3</sup> Блестки (англ.).

— Немного, — ответила она и произнесла какую-то якобы французскую фразу, которую иногда говорила иностранным клиенткам. Он нетерпеливо мотнул головой.

— Эзра Паунд был еще больший поэт, чем они. Гению все простительно. Он был каид!

— Что такое каид? Это французское слово?

— Арабское, но оно перешло и во французский язык или в жаргон. Я родился в Северной Африке. — У нее чуть поднялись брови. — Так зовут арабских чиновников, имеющих большую власть. А в Париже иногда так называют сильных, властных, волевых людей, людей, которые в пылу страстей ни перед чем не останавливаются. Гитлер был каид. Сталин был каид... Если хотите, и Черчилль тоже каид. Несколько месяцев назад я прочел его биографию. В молодости он искал приключений...

— Как вы? — пошутила она с легкой безотчетной тревогой.

— Конечно, он искал только доблестных приключений. К счастью для него, он родился в таких условиях, при которых недоблестные приключения были и ненужны и невозможны. А я не внук герцога Мальборо.

— Об этом я догадывалась, — смеясь, сказала она. — Вы и не министр. Я, кстати, не знаю, чем вы занимаетесь.

— Я участвовал в войне на очень далеком африканском фронте. Мне было тогда лет восемнадцать. Говорят, война — школа так называемых преступлений. Действительно, наше поколение воспиталось в обстановке, при которой убить человека ничего не стоило и даже вменялось в заслугу. Но что такое «преступление»? Война — божественное явление, она школа того лучшего, что есть в человеческой природе. Мы когда-нибудь об этом поговорим. И каждое поколение находит, должно находить своих поэтов. Мне так жаль, что я не знал лично Эзры Паунда! Он гораздо выше Т. С. Элиота. Вы любите Т. С. Элиота?

— Люблю, — ответила она еще неувереннее.

— Напрасно. Это вам не идет, Глория! Вы особенная, не похожая ни на кого! Как я... Что сказать о поэте, одно стихотворение которого начинается словом «Polyphiloprogenitive»! И это у него даже не слово, а первый стих! Я и не знаю, что это такое... И еще он



где-то просит Бога: «Teach us to sit still»<sup>1</sup>. Какой же это поэт? Я не хочу и не могу «тихо сидеть»! Я создан для бурь! Люди живут только раз. Я хотел бы жить в пятнадцатом столетии.

— Тогда не было комфорта, не было автомобилей, холодильников... Но и мне хотелось бы, чтобы моя жизнь была сказкой, — сказала она и выпила залпом бокал шампанского. — Этого никогда не будет, но я хотела бы всем быть обязанной мужу, и чтобы он сделал мою жизнь сказкой!

— Вот! Теперь я узнаю вас! Ваша жизнь и будет сказкой, волшебной сказкой, я это обещаю вам! Послушайте, я вам прочту стихи Паунда, — сказал он и прочел еще более взволнованно:

Haie! Haie!  
These were the swift to harry;  
These the keenscented;  
These were the souls of blood<sup>2</sup>.

— Я люблю стихи с рифмой. Мой любимый поэт — это Лонгфелло.

— Вы ему не созвучны! Это не то! Вы особенная, вы просто еще не совсем себя нашли. И вы еще не нашли настоящего человека. «These were the souls of blood», — сказал он и с еще большим жаром заговорил о своей любви к ней: он никогда не видел такой дивной женщины, как она, до встречи с ней он никогда никого не любил. Она слушала его смущенно, хотела сказать, что она его не любит, но не решалась. Кроме того, перебить его было нелегко. Он говорил, не останавливаясь ни на секунду, чрезвычайно быстро, и слушать его слова было все же приятно, ничего такого ей никто никогда не говорил. Сидевший поблизости от них старый американский врач-психиатр, угощавший приезжих коллег, иногда отрывался от разговора с ними и с любопытством поглядывал на этого человека. Метрдотель подкатил на столике горящее блюдо.

— Я... я... Зачем вы это говорите? Из этого ничего не может быть, — сказала она, когда метрдотель отошел.

---

<sup>1</sup> «Научи нас тихо сидеть» (англ.).

<sup>2</sup> Хай!, Хай!

Они были быстры, когда совершали набеги,

У них было хорошее чутье,

И души их были кровавы (англ.).

В автомобиле она попыталась уклониться и от поцелуя. До того поцелуй был бы просто знаком благодарности за обед.

— Нет, я никогда вашей женой не буду, — твердо сказала она, когда автомобиль выходил из Центрального парка. — Я выйду только за американца.

Она хотела было, как полагается, добавить, что они могут навсегда остаться друзьями, но не добавила. Его лицо задергалось, и вдруг стало страшно. Выскочив из автомобиля, он левой рукой сунул деньги шоферу и злобно на него взглянул; правой держал ее за руку, точно боялся, что она убежит. С крыльца соседнего дома на них поглядывали пуэрториканцы. Она знала их и побаивалась; но теперь ей было спокойнее — рядом находились люди. Автомобиль отъехал.

Он все крепче сжимал ей руку и говорил, говорил, все так же странно и цветисто. Говорил, что она необыкновенная, изумительная женщина, просил разрешения подняться к ней, хоть на четверть часа, хоть на пять минут. Она подумала, что смешно объясняться в любви на тротуаре 89-й улицы Вест, у крыльца браунстонхауза, под насмешливыми взглядами пуэрториканцев.

— Не отвечайте! Не говорите «нет»! Не отнимайте у меня надежды!

— Никогда. Я не люблю вас, — ответила она и, вырвав у него руку, взбежала по лесенке. Дверь за ней захлопнулась.

Он стоял на улице еще минуты две. Когда свет зажегся в ее комнате, он пошел, чуть пошатываясь, по направлению к Бродвею. Один из пуэрториканцев сказал на своем языке что-то, по-видимому, насмешливое. Он вдруг оглянулся, лицо его исказилось бешенством, он опустил руку к карману брюк и произнес грубое испанское ругательство. Пуэрториканцы замолчали.

В гостинице он сел на стул у стола. Был в совершенном отчаянии. Глядел упорно иногда в одну точку между потолком и верхом окна, иногда вскакивал, пробегал по комнате, выбегал в спальную и возвращался. «Я недостаточно богат для нее? Но она моих средств не знает. Нет, она не корыстолюбива, я ей просто не нравлюсь! Зачем я ей? Но ведь и прежде я им был не очень нужен! — думал он, вспоминая многочисленных женщин, его любивших. — Неужели я стал

стар? — с ужасом думал он. — Тогда и жить незачем!» Подошел к зеркалу, взгляделся в себя: «Да, не то!..» В глазах, даже в чуть залитом теперь жиром выдающемся подбородке уже было меньше того, «каидовского начала», которое так нравилось женщинам, которое еще больше нравилось ему самому. «А может быть, все-таки дело в деньгах?» — думал он, хотя и знал, что эта американка — порядочная девушка; прежде такие женщины для него не существовали; теперь не существовали другие.

Опять сел за стол и счел деньги в бумажнике. Было около семисот долларов. Больше у него ничего не было. В Африке, как раз перед несчастьем, намечалась одна комбинация с вьетнамской валютой, она должна была принести ему много денег. Комбинация с поездкой в Неаполь и в Индокитай была довольно простая. Он плохо разбирался в сложных комбинациях, которые приносили миллионы финансистам, почти никогда не имевшим дела с полицией, почти никогда не попадавшим под суд. «Поехать в Буэнос-Айрес? Нет, он больше денег не даст, скажет, что подождет машин. Все-таки надо попробовать. Получить деньги, вернуться и бросить к ее ногам?» Он и в мыслях выражался цветисто-дешево.

Вдруг на столе зазвонил телефон, он вздрогнул — совершенно забыл об этом разговоре с Неаполем.

Теперь лицо у него было не бледное, а землисто-серое.

Все было кончено. Маленькая надежда была лишь на то, чтобы еще уехать в какую-либо страну, которая не выдает *никого*. Он одну такую страну знал в Южной Америке. Ясно было, что требование об его аресте уже послано в Нью-Йорк или будет послано через несколько часов, много через день или два. Уехать надо было завтра же. Он опять протянул руку к телефону, но вспомнил, что ночью никакой справки об аэропланах получить нельзя. «Денег хватит на билет, на неделю, там а дальше? Как жить? Как поладить с полицией? Нужно иметь несколько тысяч долларов... Игрный дом...»

На улице он дал шоферу адрес игорного дома — играл там три месяца тому назад. Но по дороге приказал сначала шоферу заехать на 89-ю улицу. Там

остановился у ее дома, вышел и взглянул на окна. Все было темно. Он театрально послал воздушный поцелуй (впрочем, ошибся окном). Лицо у него задергалось. Шофер изумленно на него смотрел. Он снова сел и повторил адрес.

Позднее свидетели показывали, что в игорном доме он оставался недолго. Играл крупно — по их словам, проиграл больше тысячи долларов; на самом деле, он проиграл только шестьсот. Отойдя от стола, потребовал бутылку Хедсвик 1929 года, рассердился, узнав, что этой марки нет, спросил виски; выпил один за другим несколько бокалов, не прибавляя содовой воды. Подошел опять к игорному столу, поставил было с улыбкой пять долларов, точно ставил их в шутку (такие шутки были хорошо известны распорядителю клуба), затем, проиграв, сказал: «Нет, не стоит продолжать, мне нынче не везет».

Вернулся он в гостиницу во втором часу. По словам ночного швейцара, был совершенно спокоен. Ничего особенного не заметил и сонный человек в подъемной машине.

В номере он зажег свет в обеих комнатах и в ванной. Зачем-то уложил вещи; старательно укладывал в несессер многочисленные склянки; полиция на следующий день среди них искала кокаин. Не было. Кроме паспорта с множеством пограничных отметок, была найдена рукопись на сиреневой бумаге с золотым обрезом — как будто начало сценария из жизни Бенвенуто Челлини.

Из меньшего чемодана он достал бумаги и фотографии. Долго смотрел на фотографию женщины красивого восточного типа, очень вульгарной и странно одетой. Затем подумал, что надо все это сжечь, перешел в ванную комнату и над отверстием уборной сжигал, морщась, одну бумагу за другой. Зажечь от брикета фотографию на толстом картоне было нелегко. Он сердито надорвал ее снизу, зажег образовавшийся язычок и повернул карточку вертикально. Пламя вспыхнуло, чуть обожгло ему руку, он уронил остатки в раковину. «Туда ей и дорога», — с внезапной злобой подумал он. Спустил воду, хотел было подобрать и бросить в раковину кусочки пепла, разлетевшиеся по полу ванной, но не подобрал. Достал из несессера баночку, смазал обожженный палец и долго мыл руки.

Затем он сел за стол в гостиной и написал записку по-английски. Просил: по уплате за номер и за телефонные разговоры останется немного денег, отдать их горничной, а вещи продать в пользу бедных. Перецел записку. «Кажется, орфографических ошибок нет? Как пишется «телефон», с «е» или без «е» на конце?» Оставил «е». Подумал, что следовало бы кому-либо адресовать эту записку, и написал сверху слово: «Полиция». Опять счел деньги, счел даже мелочь: семьдесят восемь долларов сорок пять центов да еще немного мелких французских и итальянских бумажек. Приписал: «У меня вещи очень хорошие, не надо продешевить. Один костюм и белье находятся у горничной». Под этим постскриптумом поставил свои инициалы, как делают на договорах, рядом с поправками. Вспомнил о договоре с аргентинцем и усмехнулся. Положил на листок «паркер» и бумажник.

Лицо у него дернулось. Он сел в кресло. Подумал, что автоматический пистолет имеет очень сильный бой, пуля может пробить боковую стену и влететь в соседний номер. Передвинул кресло к стене, выходящей на улицу, — этой стены никогда не пробьет. Заглянул в окно, затем внимательно оглядел все находившиеся в комнате предметы. Передвинул выключатель и осмотрел револьвер: в нем было пять пуль вместо шести.

Вторая телеграмма от французской полиции пришла вскоре после первой. В ней сообщалось, что о покончившем с собой или, быть может, убитом человеке только что получены новые, совершенно другие сведения. В Тунисе три дня тому назад был убит выстрелом из револьвера человек из milieu. Ограбления не было, сведение счетов было не на денежной почве, убийство совершено из ревности, в дело замешана женщина легких нравов. Давались имена и делалась ссылка на Interpol. Есть все основания подозревать человека, о котором запрашивают из Нью-Йорка. Повторялись приметы. Одна примета безошибочная: у него был сильный тик.

## ИСТОЧНИКИ ПУБЛИКАЦИЙ

- «БЕЛЬВЕДЕРСКИЙ ТОРС» — книга «Бельведерский торс. Линия Брунгильды», Париж, «Русские записки», 1938 г.
- «ФЕЛЬДМАРШАЛ» — «Новый журнал», Нью-Йорк, 1942 г., № 1.
- «ГРЕТА И ТАНК» — «Новый журнал», Нью-Йорк, 1942 г., № 1.
- «МИКРОФОН» — «Ковчег». Сборник русской зарубежной литературы. Нью-Йорк, Товарищество русских писателей в Нью-Йорке, 1942 г.
- «ТЬМА» — журнал «Новоселье», Нью-Йорк, 1942 г., № 3.
- «НА «РОЗЕ ЛЮКСЕМБУРГ» — газета «Новое русское слово», Нью-Йорк, 1942 г., 28 июня — 13 июля.
- «АСТРОЛОГ» — «Новый журнал», Нью-Йорк, 1947 г., № 16.
- «НОМЕР 14» — газета «Новое русское слово», Нью-Йорк, 1948 г., 5—7 января.
- «ИСТРЕБИТЕЛЬ» — книга «Истребитель», Франкфурт-на-Майне, «Посев», 1967 г.
- «НОЧЬ В ТЕРМИНАЛЕ» — газета «Новое русское слово», Нью-Йорк, 1948 г., 24—27, 29—30 ноября.
- «ПРЯМОЕ ДЕЙСТВИЕ» — газета «Новое русское слово», Нью-Йорк, 1953 г., 2—6 августа.
- «РУБИН» — рассказ был опубликован только на английском языке в кн.: *A Night at the Airport, Stories by Mark Aldanof*. New-York, Scribner's, 1949. На русском языке печатается впервые по машинописи с авторской правкой, хранящейся в архиве М. А. Алданова в Российском фонде культуры.
- «ПАВЛИНЬЕ ПЕРО» — газета «Новое русское слово», Нью-Йорк, 1957 г., 29—30 ноября, 2—19 декабря.  
При подготовке текста рассказов «На «Розе Люксембург» и «Павлинье перо» также использован материал архива М. А. Алданова в Российском фонде культуры. Редакция выражает благодарность руководству Фонда за содействие.
- «КАИД» — газета «Новое русское слово», Нью-Йорк, 1955 г., 31 июля.

## СОДЕРЖАНИЕ

<i>С. Николас ЛИ.</i>	
<i>Рассказы Марка Алданова.</i>	
<i>(Перевод А. Карпова).....</i>	<i>5</i>
<i>Бельведерский торс.....</i>	<i>26</i>
<i>Фельдмаршал.....</i>	<i>62</i>
<i>Грета и Танк.....</i>	<i>86</i>
<i>Микрофон.....</i>	<i>100</i>
<i>Тьма.....</i>	<i>118</i>
<i>На «Розе Люксембург».....</i>	<i>130</i>
<i>Астролог.....</i>	<i>200</i>
<i>Номер 14.....</i>	<i>235</i>
<i>Истребитель.....</i>	<i>265</i>
<i>Ночь в терминале.....</i>	<i>306</i>
<i>Прямое действие.....</i>	<i>357</i>
<i>Рубин.....</i>	<i>391</i>
<i>Павлинье перо.....</i>	<i>427</i>
<i>Каид.....</i>	<i>495</i>
<i>Источники публикаций.....</i>	<i>509</i>

- Алданов М.**  
49 Сочинения. — В 6-ти книгах. — Кн. 3: Прямое действие. Рассказы. — М.: Изд-во «Новости», 1994. — 512 с.

ISBN 5—7020—0593—7

Громадное литературное наследие крупнейшего писателя русской эмиграции М. Алданова включает ряд рассказов, написанных в основном в последний период его творчества, после начала второй мировой войны. Четырнадцать из них вошли в данный сборник.

Эрудиция автора, широка его историческая мысль, блестящие литературные качества — все это в полной мере характерно для алдановских рассказов. Большинство из них публикуется в нашей стране впервые.

4700000000  
067 (02) — 94

Без объявл.

ББК 84Р



**Марк Алданов**  
**ПРЯМОЕ ДЕЙСТВИЕ**  
Рассказы

Заведующий редакцией *Л.Д.Соболев*  
Редактор *Е.И.Бонч-Бруевич*  
Младший редактор *Н.В.Потатужева*  
Технический редактор *Н.М.Блогина*  
Корректор *Т.П.Поленова*  
Технологи *В.И.Руденко, В.Ф.Егорова*  
ИБ № 10658

ЛР № 040676 от 28 февраля 1994 г.

Сдано в набор 31.03.92. Подписано в печать 15.12.93 г.  
Формат издания 84×108/32. Гарнитура таймс. Офсетная печать.  
Усл. печ. л. 26,88. Уч.-изд. л. 30,5.  
Тираж 15 000 экз. Заказ № 5400. Изд. № 8993.

АО „Издательство «Новости»“  
107082, Москва, Б. Почтовая ул., 7.

Отпечатано с готовых диапозитивов на Книжной фабрике № 1  
Комитета РФ по печати.  
144003, г. Электросталь Московской обл., ул. Тевосяна, 25.

По вопросам полиграфического брака обращаться  
на Книжную фабрику № 1,  
г. Электросталь Московской области.

